А. В. Головнёв

ФЕНОМЕН КОЛОНИЗАЦИИ

А. В. Головнёв ФЕНОМЕН КОЛОНИЗАЦИИ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ БЮРО

А. В. Головнёв

ФЕНОМЕН КОЛОНИЗАЦИИ

Екатеринбург, 2015

ББК 63+28.7
УДК 94:39

Головнёв А. В. Феномен колонизации. — Екатеринбург : УрО РАН, 2015. — 592 с. + 12 цв. илл.

ISBN 978-5-7691-2424-2

Колонизация как пространственное движение живой материи многократно старше человечества и, в отличие от идеологически окрашенного колониализма, представляет собой механизм распространения жизни в природе и культур в ойкумене. Книга продолжает тематику антропологии движения и представляет сюжеты колонизации разных эпох, от древности до средневековья. В сценах палеолита, античности, кочевых империй, европейской трансконтинентальной экспансии, становления Руси и расширения России обнаруживается немало общего. Изучение характера и мотивов колонизации позволяет по-новому рассмотреть природу государственных и этнокультурных образований, механизмов и традиций межэтнических отношений.

Для антропологов, этнологов, этнографов, историков, археологов, экологов, географов, геополитиков, социологов, философов, преподавателей и студентов университетов.

ББК 63+28.7
УДК 94:39

Рецензенты:
д.и.н., профессор Д. А. Функ
к.и.н. Е. В. Перевалова

ISBN 978-5-7691-2424-2

© Головнёв А. В., 2015
© ИИиА УрО РАН, 2015
© Этнографическое Бюро, 2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

Пролог: Тень колониализма 7

Часть I. Классические вариации

Глава 1. Sapiens-колонизация **13**

Потенциал движения *17*
Левантийский мост *21*
Алтайский человек *25*
Власть над пространством *29*
Эффект контакта *34*

Глава 2. Уроки Геродота **38**

Логограф *38*
Одиссея как состояние *46*
Ойкос и ойкумена *51*
Многохитрость *63*
Оракулы *69*

Глава 3. Репертуар кочевника **78**

Мобильность и мобилизация *79*
Контраст и симбиоз *83*
Стайность и стадность *87*
Избранность *91*
Тотальность *97*
Имперскость *99*
Осевший обоз *105*
Город и орда *109*

Глава 4. Эффект реконкисты **117**

Миграции метрополий *117*
Проект принца Энрике *120*
Британия как колония *128*
Закон как технология *136*
Одиссея капитана Дрейка *141*
Этюд о господстве и рабстве *150*
Колониальная лихорадка *158*

Часть II. Магистрали Руси

Глава 5. Нордизм **167**

Междуморье 169
Альянс 174
Три пути 178
«От рода варяжьска» 185
Вечевой человек 191
Новгородское пространство 200
«Полунощные» страны 205
Северные колонисты 214
Закат нордизма 225

Глава 6. Ордизм **231**

Истоки 231
Половецкая дружба 234
Доля «железного пса» 238
Батыево зависание 241
«Честь татарская» 245
Ордынская Русь 252
Князья по вызову 256
Драма пяти убийств 260
Самоуничтожение Орды 264
Татарские цари Московии 268
Пополох 276

Глава 7. Понтизм, или теополитика **282**

Югоцентризм 283
Путь к смирению 288
Миссия в Сарае 294
Освящение и проклятие 299
Затмение 305
Траектория мифа 308
Византийские грезы 317

Часть III. Прирастание России

Глава 8. Окраинные люди **329**

Поле 330
Шаткая украйна 335
Казачьи промыслы 342
Живая граница 347
Стихия Смуты 353
Возвращение на окраину 363

Глава 9. Северный ход **370**

Дорога в поморы 371
Морские диалоги 376
Шкипер Барроу и кормчий Лошак 383
Купцы-искатели 389
Дело Аники Строганова 392
«Новая Голландия» 400
Мангазейский путь 406
Божья дорога океан-море 412
Северная самобытность 420

Глава 10. Уральская рапсодия **428**

Святитель Стефан и кудесник Пам 429
Московский марш 437
Ордынский пояс 442
От Казани до Сибири 451
Переменчивый сентябрьский год 462
Казачьи маневры 474

Глава 11. Рывок на восток **488**

Наказ князю Горчакову: инструкция по колонизации .. 490
Воеводы и остроги 496
Гулящие и служилые 500
Попутчики 512
Непокорные кочевники 521
Frontier и украйна 529

Эпилог: Колонизация вспять 536
Литература 541
Список сокращений 570
Алфавитный указатель 572
Summary: Phenomenon of Colonization 583

Пролог: Тень колониализма

Эта книга продолжает «Антропологию движения» (Головнёв 2009), и главным ее героем по-прежнему выступает *Homo mobilis* (человек движущийся) — на этот раз в роли двигателя колонизации в разных ее проявлениях от палеолитического заселения планеты до средневекового передела мира. Замысел книги состоит не в систематическом описании колонизаций (это грозило бы очередной «всеобщей историей»), а в обзоре нескольких сценариев, в том числе российских, и наблюдении за событиями так, как если бы автор и читатель были их участниками.

В слове «колонизация», происходящем от лат. *colere* (населять, возделывать, посещать, практиковать, охранять, соблюдать) и *colonia* (выселки, поселение на чужой территории), нет ничего предосудительного, как не было, по меркам прежних эпох, и в самой практике освоения новых территорий. В античной древности вывод колоний считался искусством, которому покровительствовал Аполлон. В Европе XIX в. страна, не преуспевшая в колонизации, выглядела второсортной. Создатели экономической теории колонизации в 1840-х гг. Э. Уэйкфилд и Г. Меривейл видели в ней прогресс аграрного освоения новых земель, а П. Болье вдохновенно обобщал: «Колонизация — это экстенсивная сила народа, его способность воспроизводиться, шириться и расходиться по земле, это подчинение мира или его обширной части своему языку, своим нравам, своим идеалам и своим законам» (Болье 1877:517). В. О. Ключевский считал колонизацию сутью российской истории, а Ф. Дж. Тёрнер — американской.

Однако в XX в. колонизация вышла из моды в связи с деколонизацией и расцветом недавних колоний, прежде всего США. Захват мирового лидерства экс-колонией — геополитическая и ментальная революция, опрокинувшая былые ценности и обновившая историческую риторику. Американский антиколониальный пафос, созвучный советскому антиимпериалистическому протесту, накрыл героизированную в прошлом колонизацию тенью порочного колониализма. Само понятие «колонизация» стало в ряд грехов прошлого, вроде рабовладения и крепостничества. Сегодня оно ассоциируется прежде всего с экспансией европейцев на исходе средневековья, а главные фигуранты тех событий — отважные мореплаватели, жестокие конкистадоры, алчные работорговцы, наивные туземцы — собраны в архивную папку «Великих географических открытий».

Понятия «колонизация» и «колониализм» нередко используются как синонимы (Ferro 1997) и благодаря *-изму* рифмуются с «империализмом». Колониализм определяется как идеологически освященное господство метрополии над зависимыми народами (коренными и принудительно переселенными), основанное на завоевании, культе превосходства колонизаторов и их праве использовать человеческие и природные ресурсы колоний в пользу метрополии (Osterhammel 2005:16). В этико-религиозных конструкциях прошлого это выражалось в многообразных версиях избранности метрополий относительно «варваров», «дикарей», «неверных», «туземцев». Идеологема колониализма относится к числу так называемых метанарративов — устойчивых великих идей, в разных вариациях распространенных на планете. Несмотря на то, что корни колониализма периодически подрывались (например, со сменой господствующих религий), они выживали и давали новые всходы. На месте римского колониализма вырос христианско-римский, из которого разошлись ветви британско-протестантского и московско-православного (при этом в новое время европейский колониализм вполне гармонировал с Просвещением, хотя и вызывал отповеди в виде руссоизма). Даже вывернувшись в новейшее время наизнанку в риторике антиколониализма, старая идеологема воскресла в проявлениях неоколониализма, постколониализма, мондиализма, глобализма. Сегодня одной из забавных ее метафор служит кокаколанизация (cocacolanization), обозначающая эрозию местной культуры под давлением культурного империализма «мировой метрополии» (США) через масс-медиа и масс-культуру. Призрак колониализма по-прежнему пугает своей неистребимостью, хотя выглядит все более дипломатично (с приставкой нео-) и виртуально (с приставкой кибер-).

Познавательная задача антропологии-этнологии в отношении колонизации и колониализма сложна тем, что речь идет о феномене старше и объемнее самой науки, которая, как заметил К. Леви-Стросс, родилась и развилась в тени колониализма. С этой же почвой связана базовая методология науки — эволюционизм (утверждающая между прочим статусное неравенство народов и культур на ступенях прогресса), поэтому для рефлексии нужны иные подходы (по меньшей мере, из арсенала релятивизма или какого-нибудь пост-пост-модернизма).

Из вышесказанного понятна осторожность, с которой антропологи и историки произносят слово «колонизация». Однако ситуаций, когда его употребление не только удобно, но и эффективно — например, применительно к эпохам великого переселения народов, античности, первоначального заселения Америки, Австралии, Арктики (см.: Dixon 1999; Colonization 2003; Dietler 2005) — оказывается так много, что в известной мере вся история человечества предстает историей колонизации. Более того, это понятие используется как базовое и вполне академичное в ряде других наук о жизни (например, применительно к сюжетам распространения по планете бактерий, растений и животных). На мой взгляд, в антропологии-этнологии тоже целесообразно использовать это понятие, разделяя «колонизацию» и «колониализм» как, соответственно, реальность и идеологему. Антропологический взгляд, как и биологический, избегает идеологической цензуры: судить Дрейка за пиратство сегодня так же нелепо, как упрекать крестоносцев за разжигание религиозной розни, а людей бронзового века — за то, что они жили не по-христиански. Ниже речь пойдет о феномене колонизации без оглядок на негативную идеологическую коннотацию.

Для антропологии движения феномен колонизации представляет интерес как механизм освоения пространства и социальных взаимодействий, в котором важны не столько итоги освоения (заселения, покорения) новых территорий, сколько истоки движения — ситуативные толчки, породившие мотив, а затем технологию и традицию колонизации. Этот ракурс еще четче отделяет колонизацию от колониализма, поскольку истоки не отягощены бременем итогов с их духом стагнации. Колонизация изменчива и многообразна в конкретных практиках, но универсальна как феномен: ее базовые черты сохраняются с древнейших времен до сегодняшнего дня, поэтому в обнаруживаемых параллелях можно видеть устойчивые явления, а не случайные совпадения.

Феномен колонизации не избежал оценочных суждений, с одной стороны, в тоне осуждения колониализма как подавления самобытности колонизуемых народов, с другой — в идеологической риторике, представляющей колонизацию («присоединение», «освоение») прогрессивным явлением, несущим покоряемым народам просвещение и приобщение к цивилизации. Сторонясь идеологии, отмечу лишь, что во всех случаях колонизация затрагивала

глубинные социальные структуры и ценности, преобразуя общества и генерируя новые реалии. Во многом именно колонизация как поле интенсивной коммуникации и конкуренции способствовала гонке технологий. Контакт, нередко приобретавший характер войны, сочетал эффекты разрушения и созидания, но в обстановке контакта происходил синтез разных хозяйственных и социальных технологий, рождавший новые идеи, культуры, общности, государства.

Иногда меня упрекают в расширительном толковании колонизации. Действительно, я вижу в ней не только собственно переселение людей в колонии, но и стратегию контроля над осваиваемым пространством, в контексте которой это переселение происходило. Осознавая, с какой гигантской по сложности и важности темой мне довелось столкнуться, я заранее признателен читателю, который рискнет вместе со мной отправиться в это нелегкое, но увлекательное путешествие по разным эпохам и странам. Я обращаюсь к этому читателю с единственным пожеланием: смотреть на события не с высоты сегодняшнего дня, а глазами людей, в них участвовавших.

***

В работе над книгой мне помогли советами и совместными размышлениями мои друзья-коллеги из Российской академии наук: С. А. Арутюнов, Б. В. Базаров, А. П. Деревянко, Н. Н. Крадин, В. И. Молодин, В. А. Тишков. Директор Института истории и археологии УрО РАН Е. Т. Артёмов своей доброжелательностью и безупречным тактом оградил меня от множества хлопот, которые выбивают из творческой колеи. С особым теплом и благодарностью я называю моих друзей-сотрудников по сектору этноистории, общение с которыми придает силы и украшает жизнь: Е. В. Перевалова, С. Ю. Белоруссова, Д. Н. Караваева, В. А. Шкерин. Верстка книги в очередной раз легла на плечи С. В. Лёзовой, которая вдобавок совместно с И. В. Зыряновой взяла на себя труд вычитки и правки текста, а совместно с А. С. Роговой — составления карт. Мои сыновья, Иван и Владимир, просили меня не писать на этот раз толсто (уверяя, что сегодня люди читают только тонкие книжки) — я старался как мог.

Часть I. Классические вариации

Глава 1. Sapiens-колонизация

Глава 2. Уроки Геродота

Глава 3. Репертуар кочевника

Глава 4. Эффект реконкисты

Глава 1. Sapiens-колонизация

Природные основания. Потенциал движения. Левантийский мост. Алтайский человек. Власть над пространством. Эффект контакта

Человек оказался (или кажется самому себе) самым успешным колонизатором планеты. Он освоил всю Землю, несмотря на многообразие ее эконишь, и при этом сохранил биологическое единство вида. Sapiens-ойкумена, созданная человеком современного вида, продолжает расширяться по сей день, охватывая уже внеземные пространства, а ее истоки уходят в эпоху, соотносимую со случившейся 50–40 тыс. л. н. «верхнепалеолитической революцией».

В палеолитической ойкумене Homo sapiens не был первопроходцем, а шел по стопам своих пращуров — населившего южную Евразию *Homo erectus* (2 млн л. н.), добравшегося до Америки *Purgatorius* (63 млн л. н.), достигшего монгольских степей *Zalambdalestes* (80 млн л. н.). В свою очередь ранние приматы были наследниками традиций движения существ, осваивавших Землю с момента зарождения жизни, и в этом измерении феномену колонизации (от распространения древнейших анаэробов) около 4 млрд лет.

Сложность антропологического исследования феномена колонизации состоит в том, что ее истоки уходят за пределы истории человеческого рода — вплоть до эры ранних бактерий и водорослей. Жизнь на планете изначально распространялась путем колонизации. Запечатленный в ней механизм движения достался человеку от природы, и в этом смысле не человек породил колонизацию, а колонизация — человека.

Природные основания

Понятие колонизации широко используется в науках о жизни, например в биогеографии и микробиологии. Разумеется, колонии микробов и народов существенно различаются, но обнаруживают и немало общего. Взгляд на природные аналоги помогает различить в человеческом опыте характеристики, обычно ускользающие из поля зрения ввиду их кажущейся тривиальности. Человеку удобнее вести наблюдение не за самим собой, а за окружающей

средой, например за относительно статичной (и легко фиксируемой) жизнью растений. Биологические параллели удобны еще и потому, что обнаружение прачеловеческой древности того или иного явления служит указанием на его изначальность в природе людей.

В развитии фитоценоза Ф. Клементс открыл явление сукцессии (succession) — последовательной смены растительности. Формирование фитоценоза с нуля — на вновь образовавшихся песчаных дюнах, на месте сошедшего ледника или на застывшей лаве — начинают виды, которые иммигрируют на незаселенное пространство и колонизуют его. Растения-мигранты разделяются на успешных колонизаторов и успешных конкурентов: первые осваивают нишу на начальном этапе, вторые — на следующем, когда разворачивается межвидовая конкуренция, после чего наступает биоценотическая реакция, завершающаяся стабилизацией (климаксом). Успешные колонизаторы, захватившие нишу в начале сукцессии, вскоре истощают ее, делая непривлекательной для себя. В этот момент ниша оказывается благоприятной для других видов — успешных конкурентов, которые теснят и сменяют ранних колонизаторов, достраивая биоценоз до сбалансированного климакса (Clements 1928).

Биологическая теория сукцессии не только вызывает ряд антропологических параллелей (последовательности действий и характеров первопроходцев, колонизаторов и устроителей), но и убеждает в сложности колонизации даже на уровне растительности. Казалось бы, в человеческой истории подобные события априори должны быть еще сложнее, но колонизация в мире людей рассматривается линейно, без различения связей, обозначаемых биологами словом «ценоз». Между тем даже нетривиальная концепция Клементса оказалась не вполне адекватной реалиям, и на ее основе биологи развернули целый спектр детализированных и утонченных биоэкологических построений, включая «индивидуалистический» подход Г. Глисона, экосистемность А. Тэнсли, градиентный анализ экологических сообществ Р. Витакера. Некоторые наблюдения еще более «очеловечили» явление фитоколонизации. Например, Ф. Эглер не различает в сукцессии этапов колонизации и конкуренции: он считает, что все участники исходной флористической композиции стартуют совместно, но одни доминируют на

начальном этапе, другие — позднее, что связано с различиями в их репродукции, росте и распространении (Egler 1954). Так, заброшенный земледельческий участок зарастает в последовательности сорняки–травы–кустарники–лес. По Клементсу, эти виды заселяют участок последовательно, по Эглеру — одновременно, но доминируют последовательно (Wilson et al. 1992).

Теория сукцессии предлагает и другие полезные для антропологии понятия, в частности «жизненные качества» (vital attributes) вида, характеризующие его способность к конкуренции и репродукции. Эти качества предопределяют последовательность доминирования в фитоценозе (например, в районе Нью-Джерси) серой березы (*Betula populifolia)*, лесной ниссы (*Nyssa sylvatica*), красного клена (*Acer rubrum*) и бука (*Fagus*): первой доминирует береза (после чего исчезает), следом — красный клен, затем — бук. В праистории и истории подобная сукцессия характерна для археологических комплексов и их компонентов, для кочевых и оседлых сообществ, различных политических и социальных групп и агентов колонизации (например, в российской истории — казаков, купцов, миссионеров, чиновников, крестьян и т. д.). При этом в антропологии, как и в биологии, соотношение «видов» на колонизуемой территории далеко не всегда повторяет их исходный дизайн в метрополии.

Биология оперирует понятием вторгающегося (инвазивного) вида, который может стать доминантным или монотипным, заместив собой туземные (indigenous, native) виды. Подобные эффекты отмечены и в истории человечества, когда вторжение иноземцев приводило к массовому или полному вытеснению или истреблению туземцев (Тасмания, Антильские острова, многие области Америки). Кроме того, в биологии различаются фазы переселения-освоения, в ходе которых число видов-участников сокращается: если в фазе интродукции участвуют 100 видов, то фазу колонизации преодолевают лишь 10 видов, фазу натурализации — 5, а распространение на новом месте выпадает на долю только 2 видов (di Castri 1990).

В антропологии речь идет не о биологических, а о социально-культурных «видах», среди которых наиболее различимы общности, называемые народами. Народ в этнологии сопоставим с видом в биологии (см.: Арутюнов 1989), однако в ракурсе колонизации

это сравнение приобретает особый смысл. Участие представителей разных народов в одном потоке колонизации может принимать различные формы (например, роль чернокожих невольников в освоении европейцами Америки или проводников-торговцев коми-зырян в движении русских на восток), при этом важной характеристикой подобного взаимодействия оказывается понятие «симбиоз», введенное ботаником А. де Бари (de Bary 1879) применительно к лишайникам и обозначающее случаи тесного и устойчивого сожительства организмов разных видов. По словам Л. Маргелис (1983), «секрет эволюции живого — длительная жизнь в симбиозе»; «природа испытывает отвращение к чистой культуре, вне- или внутриклеточные симбиозы — скорее правило, чем исключение».

Симбиоз характерен для многих сценариев колонизационного движения и контакта иноземцев и туземцев. Симбиотические отношения возникают не только между различными этносоциальными группами, но и между людьми и животными, людьми и растениями.[1] Классическими примерами подобного альянса-в-движении служат миграции человека с одомашненной собакой, лошадью, быком, оленем, и этот симбиоз в древности был в буквальном смысле двигателем колонизации. Без собаки трудно представить успешное заселение людьми планеты, особенно северных широт.[2] Симбиоз человека и коня открыл возможность создания обширных многоэтничных империй, контролируемых воинственными и маневренными всадниками. Свою роль в колонизации играли растения, переносимые земледельцами в новые земли.

---

[1] В исторической антропологии, как и в биологии, колонизация может разделяться на первичную (освоение незаселенной ниши) и вторичную (освоение обитаемой территории). Правда, в экологическом смысле человеческая первичная колонизация всегда оказывается вторичной, поскольку люди лишь дополняют существующий биогеоценоз.

[2] Наряду с собакой, приручались и другие представители семейства псовых. В Уюн-ал-Хаммам на севере Иордании обнаружено захоронение человека с лисицей, которому около 16,5 тыс. лет (http://www.physorg.com/news/2011-01-fox-prehistoric-friend.html). Анализ ДНК показывает, что видовое расхождение между волком и собакой обозначилось около 100 тыс. л. н.; свидетельства возможной доместикации собаки в Европе (Гойе, Шове, Предмости) датируются около 35 тыс. л. н., а факт приручения собаки (Бонн-Оберкассель) — 14 тыс. л. н. (http://archaeology.about.com/od/domestications/qt/dogs.htm).

Колонизация играла ключевую роль в образовании новых этнических сообществ, и в этом отношении биология также предлагает полезные параллели. Например, Э. Майр обратил внимание на эффект формирования новых видов из малых популяций, обособленных на границе обитания родительской популяции (концепция перипатрического видообразования). Создание процветающих колоний первоначально малыми группами колонистов оказалось способом распространения многих видов животных и растений (Мауг 1999). Применительно к человеческой истории это наблюдение оттеняет роль малых групп в колонизации, а также особую активность пограничных (маргинальных) сообществ.

К числу простейших колониальных организмов относятся многие зеленые, диатомовые и золотистые водоросли, инфузории, радиолярии, губки, коралловые полипы, мшанки и другие виды. В природе существуют высокоинтегрированные подвижные колонии (сифонофоры, морские перья и др.), образующие колониальные организмы, целостность которых обеспечивается общим органом (стволом, стеблем), генерируемым всей колонией и не принадлежащим индивидуально ни одной из особей. В мире людей роль такого «ствола» может играть религия, мифология или политика: они придают колонизации направленность и целостность, но не принадлежат никому персонально. Примечательно, что и в простейших и в сложных сообществах колония означает некую социальную целостность, воссоздающую себя на новом месте.

Подобные феноменологические параллели гораздо важнее для понимания природы движения, включая миграцию и колонизацию, чем популярные в науке ссылки на природно-климатические факторы вроде похолоданий и потеплений, трансгрессий и регрессий, засух и увлажнений. Внешние толчки играли свою роль в перемещениях людей, но их двигателем были внутренние основания и мотивы, коренящиеся в природе человека.

Потенциал движения

Перечисленные выше обстоятельства значимы для всей истории человечества, тем более для ее начала, когда поведение людей вторило алгоритмам природы. Акцент на естественности вовсе не означает упрощения — напротив, биология показывает сложность колонизации, включающей такие явления, как сукцессия и симбиоз.

Понятно, что человек не всецело соответствовал канонам природы, иначе он не взобрался бы на вершину ценозной пирамиды. Но превосходство его состояло не в отрицании природных оснований, а в повышенной их концентрации и успешном комбинировании.

Можно допустить, что прачеловек был гением симбиоза, благодаря чему выработал высококонкурентные «жизненные качества» и добился устойчивого первенства в сукцессиях. Среди этих качеств — стратегии движения и контроля над пространством, адаптивная гибкость (в том числе двойственное стайно-стадное поведение, всеядность, приспособление к различным эконишам), искусство имитации (мим-адаптации) в отношении природного мира, включая креативное заимствование схем поведения крупных хищников, приручение промысловых и транспортных животных, одомашнивание растений и даже стихий (огня), преобразование ландшафтов путем пополнения одного элементами другого (например, перенос техник обустройства жилищ из горных пещер в долины, распространение одомашненных видов в новых средах, применение пиротехнологий). В известной мере головокружительная карьера человека в природном мире связана с его даром посредника, медиума между различными видами и средами. Именно в посредничестве (стратегии симбиозов) человек накопил критический объем опыта, переросшего в знание, и добился доминирования. В свою очередь успех посредничества основан на разнообразной и гибкой мобильности, позволявшей создавать и поддерживать обширные сети коммуникации.

Распространение биологических видов на обширных пространствах обычно завершается локальным видообразованием. Расселение людей по планете, напротив, привело к глобальному видовому единству, основанному как на физиологической интерфертильности, так и на социальной интеркультурности — способности к диалогу и взаимной адаптации. Очевидно, человек выделяется в природном окружении системой коммуникации, включающей технологии общения (в том числе слово и изображение), сложную социальность (родство, свойство, иерархичность), особые профили деятельности (дипломатия, политика, торговля), а также гиперсексуальность. Последнее свойство сыграло особую роль, поскольку приобретенная человеком свобода от природных

репродуктивных циклов была фундаментальным завоеванием в видовой Homo-революции, обусловившим возникновение сверхприродных потребностей прачеловека. Гиперсексуальность была и остается одним из базовых мотивов отладки механизмов коммуникации, включая частоту половых контактов, перманентную конкуренцию, повышенную плодовитость, пространственную мобильность, ментальные алгоритмы и социальные технологии регулирования секса и родства посредством ритуалов и институтов вроде экзогамии, эндогамии, многообразных форм брака, этических и религиозных регламентаций.

Прочность человеческой коммуникации уже в палеолите перекрыла природно-географическую дискретность планеты. Этот фундаментальный факт антропологии плохо сочетается с популярной картиной примитивной древности, сводимой к простейшему промысловому быту и кормовому поведению. В действительности древняя культура контроля над большими пространствами поражает своей масштабностью и эффективностью. Не случайно профессиональный словарь археологов палеолита уже пополняется терминами «информационная традиция», «сфера взаимодействий» и т. д. Например, Н. Роланд (2008:48) при характеристике освоения гоминидами перигляциальных и бореальных пространств в среднем палеолите отмечает, что адаптация поддерживалась «системой брачных союзов и взаимодействий, охватывавших значительные территории и сопровождавшихся сложением и сохранением общих информационных традиций на протяжении многих поколений, за счет непрерывных контактов, “сфер взаимодействий” и экстенсивных диффузионных полей».

Давний и плодотворный спор между моноцентристами и полицентристами показывает, что человек — явление не точечное, а пространственное, и эволюция его происходила в динамике, а не в статике. Технологические открытия совершались отдельными людьми, но культурой их делала коммуникация. Развитие культурных магистралей, связывающих различные локальные очаги на больших пространствах, было основным достижением и двигателем «верхнепалеолитической революции». Следовательно, очагом сапиентации была не отдельная пещера, а магистраль коммуникации, соединяющая Африку, Европу и Азию.

В подобных реконструкциях на первый план выступает археология больших пространств, фокусирующаяся не на конкретных памятниках и локальных культурах, а на магистралях межкультурного взаимодействия, механизмах симбиоза и сукцессий. При этом выявляются эффекты, выходящие за рамки обычных точечных наблюдений и сравнений. «Человек 60–40 тыс. л. н. мог достаточно быстро менять адаптационные стратегии в связи с меняющимися экологическими условиями, он был более подвижным, вследствие чего инновации могли быстро передаваться на большие расстояния по эстафетному принципу» (Деревянко 2009:8). Эффект эстафеты, имеющий прямое отношение к коммуникации, оборачивается вопросом о ее носителе, ответом на который со времен Ф. Ратцеля служила альтернатива — миграция людей или миграция вещей. В этой формуле, на мой взгляд, недостает центрального звена — мобильного посредника, главного фигуранта эстафеты. С древности его миссия заключалась не просто в переносе новшеств, но и в специализации на технологиях коммуникации, контроле над социальным пространством.

Ключевой характеристикой ранней колонизации была не оседлость или подвижность, а стратегия движения (власть над пространством) с многообразием миграций и взаимодействий. Она предполагала не только физическую мобильность, но и своего рода палеолитическую этнодипломатию, которая обычно рисуется в виде контактов и конфликтов одинаковых по социальному облику племен. Однако не исключено, что уже на заре человеческой праистории сложилась экосоциальная иерархия, и среди групп определились магистральные (подвижные, контролировавшие большие пространства) и локальные (осваивавшие отдельные районы и эконишу). Их взаимодействие можно представить как симбиоз, в котором сочетались носители разных пространственных стратегий — потребители локальных биоресурсов и координаторы обширных социальных пространств (разумеется, это лишь полюса деятельностного спектра, внутри которого существовало множество промежуточных вариантов). Взаимодействие различных по мобильности и адаптации групп оказалось одним из механизмов sapiens-колонизации. Применительно к палеолиту эта версия выглядит пока предположением, но в более позднее время именно симбиоз магистральных и локальных культур был

залогом успешной колонизации, в которой магистральные агенты осуществляли дальние связи, а локальные — освоение конкретных эконишь (см.: Головнёв 2009; 2013).

Левантийский мост

Реконструкция сценариев древней колонизации предполагает изучение не только локальных культур, но и каналов их взаимодействия — магистралей коммуникации. Обращает на себя внимание ряд обстоятельств палеолитического освоения планеты: (1) до предполагаемой миграции Homo sapiens из Африки юг Евразии уже был заселен различными сообществами архантропов; (2) миграция африканских sapiens не была единовременным массовым исходом в библейском стиле; (3) движение шло через Ближний Восток, служивший коммуникативным узлом и своего рода трамплином колонизации.

Евразия стала первой колонией в праистории человечества. «Первое великое переселение» Homo erectus, начавшееся 2–1,8 млн л. н., шло из Восточной Африки через Ближний Восток на север (до Кавказа) и восток (в Южную и Восточную Азию). «Вторая миграционная волна» архантропов прошла с запада на восток Евразии 450–350 тыс. л. н., достигнув территорий Индии и Монголии (см. рис. 1). На Алтае архантропы оставили след в традиции карама (800–500 тыс. л. н.), а около 300 тыс. л. н. мигранты с запада привнесли на Алтай левантийскую позднеашельскую традицию, сохранявшуюся в Южной Сибири до верхнего палеолита. В среднем палеолите в африканской, евразийской и китайско-малайской зонах «развивались отличные друг от друга индустрии, и независимо происходило развитие физического типа человека на основе Homo erectus». Появление людей современного физического типа сопровождалось (например, на территории Китая) не замещением автохтонного населения, а аккультурацией и метисацией (Деревянко 2005:106–114; 2009:8, 9, 34, 72, 73; 2012:6–32) .

В конце среднего палеолита, когда восточноазиатский очаг гоминизации характеризовался медленными темпами развития и даже «угасал, образуя эволюционный тупик, на уровне архантропа и нескольких пережиточных форм» (Васильев 1999; Зубов 2004:184), а в Европе обитали неандертальцы, в Восточной Африке происходи-

ло становление современного человека. Начало «третьего великого переселения» из Африки в Евразию, на этот раз прямых предков Homo sapiens, можно датировать временем 280–270 тыс. л. н., хотя своего пика, называемого «верхнепалеолитической революцией», оно достигло около 50–40 тыс. л. н. Возраст архаичного sapiens в Африке (Илерет, Кения) — 279 тыс. лет, в Восточной Азии (Цзиннюшань, Китай) — 263 тыс. лет, в Европе (Сванскомб, Англия) — 250 тыс. лет (см.: Paabo 1995; Bräuer 2000). Около 60–50 тыс. л. н. Homo sapiens мигрировал из Африки в южную Азию вплоть до Австралии, 40–30 тыс. л. н. заселил почти всю Европу и начал освоение Северной Азии (Вишняцкий 2008:24, 195).

Толчком к sapiens-колонизации иногда считают демографический взрыв с эпицентром в Африке (Reich, Goldstein 1998; Relethford, Jorde 1999). П. М. Долуханов полагает, что «исход значительных популяций из Африки и в дальнейшем из Передней Азии был связан с дефицитом пищевых ресурсов в условиях гипераридного климата, установившегося в течение ранних стадиалов последнего оледенения» (Долуханов 2008:44). Л. Б. Вишняцкий, рассмотрев версии вымирания неандертальцев под напором мигрантов-sapiens, счел реалистичной модель демографического перевеса: «Откуда бы ни пришли первоначально люди современного анатомического типа в Европу — с юга или с востока — их исходный ареал (Африка) по площади был в несколько раз больше ареала неандертальцев, а его естественная несущая способность, или, как еще говорят, демографическая мощность, была в несколько раз выше. Следовательно, демографический потенциал гомо сапиенс должен был значительно превышать демографический потенциал неандертальцев, что и сыграло, вероятно, решающую роль, когда первые начали расселяться в северном и северо-западном направлении» (Вишняцкий 2010:90).

Демографические и экологические сценарии рисуют картину массового исхода, когда расплодившиеся и/или голодные африканцы-sapiens сначала заполонили собой Ближний Восток, а затем разошлись по всему свету. Перепады рождаемости и климата действительно влияли на миграционное поведение, но вряд ли были главными факторами «верхнепалеолитической революции». Срок созревания sapiens внушителен — около 200 тыс. лет. При этом находки архаичного sapiens отмечены как в Африке, так и по краям

Евразии (в Англии и Китае). Это означает, что sapiens-движение по планете началось задолго до верхнепалеолитического демографического взрыва и что сам этот взрыв мог быть вызван не африканским исходом, а накоплением и усилением sapiens на пространствах Евразии, Северной Африки и соединяющего их Левантийского моста. Если активность восточноафриканского «вулкана» и нарастала, то не столько количественно, сколько качественно — как полигона особой стратегии контроля над пространством. Ключевым ее элементом была технология магистральной коммуникации. В качестве главной персоны этого сценария выступает человек движущийся — Homo mobilis, — для которого коммуникация на большом пространстве была не эксцессом, а обыденностью.

Метрополией человечества вплоть до верхнего палеолита оставалась Восточная Африка, а Ближний Восток, связывавший ее с Евразией, служил перекрестком путей и миграционным трамплином. В одном из самых загадочных и увлекательных сюжетов ранней колонизации Евразии — дуэли-диалоге Homo sapiens и Homo neanderthalensis — роль ближневосточного перекрестка особенно заметна.

На филогенетической шкале неандерталец обычно располагается древнее Homo sapiens. Однако недавние палеогенетические изыскания показали, что неандерталец был не косвенным предком sapiens, а его современником: ископаемым останкам раннего неандертальца около 400 тыс. лет, архаичного sapiens — около 300 тыс. лет. Происходят они от общего предка-архантропа Homo heidelbergensis (иногда на эту роль предлагают Homo rhodesiensis или Homo helmei), а расхождение между ними случилось относительно недавно, в интервале 440–270 тыс. л. н. Судя по анализу геномов современного человека и неандертальца, уже после расхождения между ними был генный дрейф в объеме до 4 % генома. При этом неандертальцы контактировали с евразийскими sapiens, но не с африканскими. Останки неандертальцев найдены только в Европе и Западной Азии, но по геному они одинаково близки французам, китайцам и папуасам. Следовательно, генный дрейф между неандертальцами и евразийскими sapiens имел место до расхождения предков европейцев, азиатов и папуасов. Это могло произойти на Ближнем Востоке в интервале 100–50 тыс. л. н. (Green et al. 2010).

Известно, что на Ближнем Востоке различия между sapiens и neanderthalensis минимальны (черепа из пещер Табун, Схул, Кафзех). Если интербридинг sapiens с западноевропейскими неандертальцами сомнителен, то с ближневосточными вполне вероятен. На этом основании неандертальцев иногда считают «кольцевым видом», гибридизация которого с Homo sapiens была возможна на востоке и невозможна на западе (Voisin 2006). В хронологическом измерении неандертальские черты палеоевропейцев последовательно усиливались с их проявления 400 тыс. л. н. до исчезновения последних неандертальцев в южной Иберии около 24 тыс. л. н. Значит, «неандертализация» стала следствием обособления потомков архантропа в Европе — северо-западной периферии среднепалеолитической ойкумены, — тогда как на Ближнем Востоке видовое единство Homo сохранялось. Вероятно, европейцы-неандертальцы стали «тупиковой ветвью» потому, что оказались в отдалении от магистрального Левантийского перекрестка, и в среднем палеолите ни одной из ветвей человечества не хватало потенциала коммуникации для охвата всей ойкумены.

Северяне-neanderthalensis и южане-sapiens были вовлечены в миграционный круговорот на ближневосточном перекрестке коммуникаций и по-своему соперничали за контроль над ним. Ранние sapiens отмечены на Ближнем Востоке около 200 тыс. л. н. (Эль-Зуттие), а около 120 тыс. л. н. sapiens (Схул) и neanderthalensis (Табун) сошлись у горы Кармел в Палестине. Усиленный натиск северян отмечается 80–70 тыс. л. н., причем, по мнению Л. Б. Вишняцкого, «первопричиной экспансии неандертальцев из Европы на Ближний Восток» около 75 тыс. л. н. было извержение вулкана Тоба на Суматре и вызванное им резкое ухудшение климата (похолодание); «неандертальцы, пришедшие на Ближний Восток с севера, вытеснили оттуда гомо сапиенс» (Вишняцкий 2010:80, 83).

Около 50–40 тыс. л. н. борьба Севера с Югом на Левантийском мосту завершилась в пользу sapiens. Вероятно, длинноногие южане одолели коротконогих северян не столько физической силой, сколько технологиями движения, коммуникации и симбиоза. Последовавший затем «закат неандертальской Европы» был лишь следствием утраты контроля над ближневосточным перекрестком — неандертальцы уступили не в Европе, где они обладали

преимуществом северной адаптации, а в Леванте. Вид или культура расширяет пространство до тех пор, пока занимает магистральную позицию; когда стратегический путь пресекается, сообщество лишается хребта и распадается на локальные фрагменты. Что касается южан-sapiens, то захват древней миграционной магистрали обеспечил им успех в колонизации остальной ойкумены и ее существенном расширении.

Homo sapiens одержал верх в конкуренции с Homo-собратьями не потому, что с рождения был наделен особой физиологией, а благодаря выработанному в движении искусству коммуникации. А Ближний Восток оказался местом рождения многих инноваций не потому, что был изначально населен изобретательными людьми, а потому, что стал перекрестком движения и обмена технологиями. Сама по себе изобретательность обитателей Левантийского моста явилась следствием их посредничества, социальной адаптации к перекрестку, где ключевыми качествами были владение информацией и управление коммуникацией.

Левантийский мост был не просто местом встречи, но и генератором движения; остальные пространства расходились от него в виде периферий, в глубинах которых складывались и доживали свой век палеолитические «тупиковые ветви» вроде индонезийского «хоббита», алтайского «Денисова» и западноевропейского неандертальца. Изолятами они стали в силу спада мобильности и коммуникации. Впрочем, уже тогда в смешанной периферийной сапиентации возникали новые магистральные перекрестки, соотносимые по уровню культуры со старым коммуникационным центром (судя, например, по каменным индустриям Алтая или культуры шательперрон во Франции). Более того, палеогенетика свидетельствует о близости неандертальцев Алтая и Европы (Krause et al. 2007), что не исключает дальних магистральных связей в неандертальском мире.

Алтайский человек

В последние годы нужда в адекватных интерпретациях обострилась ввиду хлынувшего в науку потока новых данных палеогенетики. Наиболее заметным поворотом в дискуссиях о происхождении человека стало открытие «многообразия sapiens». Около трети века назад монополия человека современного физического

типа на звание sapiens была подорвана причислением к числу «разумных» неандертальца. Возникла даже неловкость в терминах: неандертальца стали называть Homo sapiens neanderthalensis, а человека современного — Homo sapiens sapiens (с повторным sapiens, будто для тех, кто недослышал). Но и этим дело не кончилось: несколько лет назад на острове Флорес были обнаружены останки Homo floresiensis — человека метрового роста, который обитал в Индонезии в интервале 95–17 тыс. л. н. и охотился на карликовых слонов и гигантских ящериц. Индонезийский «хоббит» был не просто современником Homo sapiens sapiens, но сам был sapiens, несмотря на малый рост (Morwood et al. 2004; Lieberman 2009).

Совсем недавно семейство sapiens пополнилось еще одним членом — Homo sapiens altaiensis, — фаланга пальца и зуб (верхний моляр) которого обнаружены в Денисовой пещере на Алтае. Авторы открытия, А. П. Деревянко и М. В. Шуньков (Деревянко 2012; Деревянко, Шуньков 2012), с полным на то основанием расценили алтайскую находку не как частную сенсацию, а как поворотную веху в антропологии, обозначающую новые реалии в знаниях о человеке и новый горизонт исследовательских задач.

На алтайской окраине среднепалеолитической ойкумены сошлись пути трех sapiens — собственно sapiens, neanderthalensis и altaiensis. По результатам анализа митохондриальной ДНК, их общий предок жил около миллиона лет назад, а на момент встречи на Алтае они заметно различались; на филогенетической шкале алтаец отстоит от сапиенс вдвое дальше, чем неандерталец (Krause et al. 2010). Комплексный анализ митохондриальной и ядерной ДНК показал не столь разительные, но вполне отчетливые отличия: геном денисовца отклонился от геномов современного человека и неандертальца на 11–12 %. Хронологически денисовец и неандерталец отделились от линии развития современного человека около 800 тыс. л. н., а друг от друга — около 640 тыс. л. н. (Деревянко, Шуньков 2012:207).

Встреча на Алтае трех ветвей sapiens произошла около 50 тыс. л. н., когда с запада (предположительно из Средней Азии) проникла «небольшая по численности популяция с мустьероидной индустрией, характерной для представителей неандерталоидного таксономического типа». Иноземцы-неандертальцы, засе-

лившие пещеры Чагырскую и Окладникова, отличались от туземцев техникой обработки камня и физическим обликом. Впрочем, и туземцы представляли собой неординарный синтез древней эректоидной и свежей сапиентной линий развития. С одной стороны, верхнепалеолитические усть-каракольская и кара-бомовская традиции выросли на местной позднеашельской основе, с другой — в них проявились ориньякоидные черты (Деревянко, Шуньков 2012:205, 206).

Схождение трех сапиентных традиций в одно время и в одном месте вряд ли можно считать случайностью, хотя карикатурной выглядела бы и картина геополитической схватки за Алтай на заре верхнего палеолита. Неслучайным оказалось то, что отныне и на долгие тысячелетия Алтай превратился в узел евразийских коммуникаций: позднее именно здесь сходились пути миграций предков алтайских, индоевропейских и уральских народов. Окраинное положение Алтая в позднем плейстоцене вовсе не подразумевало пассивной инертности; напротив, как следует из природных оснований колонизации, пограничные группы обладали повышенным зарядом мобильности и активности. Пришельцы-неандертальцы (а возможно, и шедшие по их следам группы «ориньякоидных» sapiens), несмотря на малочисленность, могли сыграть роль катализатора в генерировании нового транскультурного очага на Алтае, и в этом проявилось еще одно природное основание колонизации — повышенная активность и эффективность действий малых мобильных групп. Кроме того, мигранты далеко не всегда были неудачниками-изгоями, и нередко их движение было мотивировано стремлением к освоению новых пространств и подчинению местных сообществ. Гипотетически допустимо, что неандертальцы тешикташской (сибирячихинской) традиции были мобильной группой, двинувшейся на восток и своим движением пробившей дорогу попутчикам-sapiens. Это вполне согласуется с характеристиками неандертальцев как агрессивного, боевого охотничьего сообщества, а их возможные варианты симбиоза с sapiens не исключают амплуа разведчиков-проводников. Не исключено также, что sapiens как «гении симбиоза» — опять-таки с учетом природных оснований колонизации — обладали выгодными «жизненными качествами», позволившими им освоить новые территории используя боевую мощь и северную адаптацию

неандертальцев (рискну представить неандертальцев «берсерками» sapiens в совместных рейдах). Позднее по законам сукцессии неандертальцы как успешный авангард колонизации уступили первенство успешным попутчикам-устроителям sapiens. Подобный гипотетический сценарий предполагает мобильный симбиоз, в котором sapiens не подвергли neanderthalensis тотальному геноциду (как нередко предполагается), а по-своему приручили их, использовали в северных походах и, наконец, растворили в своей среде. Трудно сказать, насколько сценарий симбиоза был универсальным (праистория семейства sapiens знала и свирепые конфликты), но именно в нем, а не во взаимоуничтожении, видится эффективный алгоритм древней колонизации.

Вероятно, не менее сложны (но пока более туманны) сценарии взаимодействия остальных членов «семьи sapiens». Открытие Homo sapiens altaiensis стало серьезным аргументом в пользу полицентрической концепции эволюции человека. В «новой модели формирования человека современного физического вида» А. П. Деревянко и М. В. Шуньков считают многообразие (политипичность) Homo устойчивым базовым явлением. Homo erectus, послуживший «предковой основой» всей эволюционной цепочки к человеку современного анатомического типа в Африке и Евразии, был политипическим видом, включавшим «сестринские виды» H. heidelbergensis, H. rhodesiensis, H. cepranensis и эректоидные формы в Восточной и Юго-Восточной Азии. Сформировавшийся в верхнем плейстоцене H. sapiens также был политипическим видом, включавшим четыре подвида: H. sapiens africaniensis (Африка), H. sapiens neanderthalensis (Западная Евразия), H. sapiens orientalensis (Юго-Восточная и Восточная Азия) и H. sapiens altaiensis (Северная и Центральная Азия). На сопровождающих публикации рисунках, где скелетная пятерня символизирует семью sapiens, отмечен и пятый член — индонезийский «хоббит» Homo floresiensis, — хотя и со знаком вопроса (Деревянко 2012:59, рис. 38; Деревянко, Шуньков 2012:209, 210, рис. 5). Со временем возможна и дальнейшая детализация этой схемы.

Новая модель существенно превосходит прежние в том, что она отражает сложные антропологические реалии, а не упрощенные кабинетные формулы вроде «единого ствола» или «единого исхода». Правда, «многоликий sapiens» ставит и исследователь-

ские задачи высокой сложности, прежде всего о характере коммуникации, обеспечивавшей, с одной стороны, единство биологического вида, с другой — многообразие культур и их взаимосвязей.

Власть над пространством

Вероятно, еще на Восточно-Африканском рифте Homo habilis (ergaster, erectus) выработал схему власти над пространством, состоящую из иерархически выстроенных отношений и механизма мобильного контроля над территорией. Восточно-Африканский рифт с его биоресурсным многообразием был утробой древнейшей культуры, а путь с гор на равнину — изначальной схемой освоения больших пространств. Гора порождала идею господства над лежащей внизу равниной и одновременно служила убежищем. Соотношение гора–равнина обусловило, с одной стороны, усложнение адаптационных стратегий, с другой — удлинение маршрутов кочевания. Ход «с горки на горку» был ритмом раннего движения, и в комбинации гора–равнина рождалась прагеополитика, выработанная в конкуренции пралюдей с хищниками и другими пралюдьми за власть над пространством.

Ранние памятники не случайно находятся в пещерах и других горных урочищах, а мифологии разных народов пестрят сакральными образами гор. Наиболее ярко эта древняя схема власти над пространством сохранилась у степных кочевников, рейды которых нередко начинались и завершались в горах. При любых перемещениях «взгляд с горы» (выраженный, например, в монгольских мифологемах соколиной охоты Бодончара-простака и священной горы Бурхан-халдун) позволял кочевнику реализовать «высокую стратегию» в конкуренции за степь. По опыту Чингис-хана, как бы далеко ни простирались кочевья и завоевания, точкой возврата всегда оставалась родная гора (подробнее см.: Головнёв 2009:372–382).

Во все времена горы, благодаря мозаичности ландшафта и многообразию условий маневра, служили стыком оседлости и подвижности. В этом отношении горный хребет Евразии, тянущийся от Атлантики до Пацифики (Пиренеи–Альпы–Карпаты–Кавказ–Иран-нагорье–Гиндукуш–Гималаи–Тибет–Наньшань–Иньшань–Хинган с северной дугой Памир–Тянь-Шань–Алтай–Саяны), можно считать «становым» для ранних переселений.

В горных нишах, как в гнездах, укрывались и разрастались сообщества мигрантов, сохраняя потенциал дальнейшего движения по хребту и его отрогам. Не случайно древнейшие пути колонизации непременно проходили по горным цепям, будь то Альпы в Европе, Алтай в Азии или Скалистые горы в Америке. Даже в случаях выхода на равнину люди верхнего палеолита сохраняли «горный стиль» освоения пространства, перенося модель пещеры на сооруженный из дерева и звериных костей дом-бастион. Свидетельства борьбы за стратегические высоты между пещерными людьми и медведями читаются в археологии горных стран Евразии. Примечательно, что самыми «медвежьими» по остеологии оказываются высокогорные пещеры — Драхенлох и Вильденманнлислох в Альпах, Кударо, Азыхская, Цонская на Кавказе. В этой особенности медвежье-человеческих отношений видится не столько промысловая нужда, сколько стратегия власти над пространством. Пещера Драхенлох расположена в такой заоблачной выси (2445 м), что ее статус, как и высокогорной кавказской пещеры Верхняя, был явно не хозяйственно-бытовым, а сакрально-стратегическим. Рейды в высокогорье вряд ли были экономически эффективными, но они приносили главный трофей — «схему хозяина гор». Ритуальный поединок с медведем позволял человеку не просто съесть зверя и захватить его пещеру, но присвоить себе его статус и домен.

Если в Африке прачеловек был органичным звеном биосферы, то в Евразию он явился захватчиком чужих владений и вступил в диалог с хозяевами экониш — крупными хищниками. Уже в эпоху архантропа заселение не было освоением пустых пространств. Выход в Евразию свел человека с пещерным медведем (Ursus spelaeus) — высокоадаптивным хищником, близким человеку по этологии (предпочтению пещер), диете (всеядности), телодвижениям (способности сидеть и вставать на задние лапы). По выражению Л. Нуаре (1925:119), эта схватка была «древнейшей всемирно-исторической битвой, исход которой обеспечил неоспоримое господство человека над землей». Вероятно, этот диалог был не «отчаянной борьбой», а мим-адаптацией, за счет которой человек перенял у медведя способы власти над пространством.

Без медвежьей мим-адаптации немыслимо освоение севера Евразии: «схема медведя», включая обитание в пещерах и землянках (берлогах), могла служить моделью поведения и движения для

многих обитателей древней Евразии (не случайно культ медведя в различных вариациях пронизывает мировоззрение всех народов северного полушария). «Схема белого медведя» прослеживается в культуре арктических охотников мезолита на острове Жохова. По аналогии с пещерными медвежатниками палеолита можно допустить, что жоховские люди были умудренными медведеведами и умелыми медведеводами. Не исключено, что их диалог со зверем включал и ритуалы, намек на которые виден в особом порядке разделки туш и хранении черепов в жилищах (см.: Питулько 1998). Насыщенность Жоховской стоянки медвежьими останками (наряду с человеческими), реконструируемые приемы приманивания и промысла зверя, преобладание в остеологии черепов — все это наводит на мысль о сложном и статусно высоком диалоге человека и зверя, выходящем за рамки гастрономических интересов. Образ человеко-медведя, просматривающийся в деятельностной схеме жоховского охотника, соответствует древней мифогероике, согласно которой дальние походы и медвежьи ристалища были обусловлены не столько хозяйственными нуждами, сколько идеей уподобления человека могучему зверю с его даром освоения северных пространств. Возможно, Жоховская стоянка открывает картину северной мим-адаптации, когда охотники каменного века вырабатывали схему «хозяина Арктики». Многотрудное паломничество, встречи и схватки с белым медведем в чем-то напоминают рейды охотников палеолита в высокогорье Альп и Кавказа. Вероятно, палеолитическая «медвежья схема», только уже в арктической версии, продолжала действовать на севере Евразии, особенно в случаях колонизации новых земель.

Успех колонизации предопределялся эффективными практиками установления контроля над пространством. Главным двигателем миграций и колонизаций в древности обычно считается экономика, прежде всего поиск пищи. По-своему это верно, но «кормовой мотив» настолько перманентен, что для интерпретации поворотных событий исследователи вынуждены отыскивать в праистории взрывы плодовитости или приступы голода (соотносимые с какими-нибудь природными катаклизмами). При рассмотрении адаптации также обычно учитываются бытопищевые ресурсы, представляемые главным благом для человека. Подобный консюмеризм свойствен людям, давно отвыкшим самостоятельно ладить с

живой природой. При освоении дикого и чужого пространства главная проблема состоит не в том, как добыть пищу, а в том, как ею не стать. Стратегия безопасности в древности предполагала мим-адаптации с детальным изучением повадок местных хищников (включая Homo-собратьев) и установлением диалога с ними. Технологии сбора кореньев и лова дичи были вторичными по отношению к технологиям движения и контроля над пространством.

Экспансия в древности далеко не всегда выглядела агрессией, и колонизация могла иметь вид приспособления, встраивания в биосоциоценоз. Наряду с медвежьей, люди заимствовали иные звериные схемы освоения пространства. Судя по остеологии разных памятников палеолита, можно говорить о специализации (и соответствующей мим-адаптации) охотников на добыче лошадей (Солютре, Сунгирь, Гарчи), зубров (Амвросиевка, Анетовка, Молодова), ослов (Староселье), козлов (Тешик-Таш), оленей (Ля Шаппель, Агостино, Мальта), мамонтов (Костенки, Межиричи, Пушкари и другие памятники Русской равнины).

В этом смысле представляется перспективной версия толкования залегания останков мамонта на стоянках палеолита Русской равнины как картины симбиоза или «мирного сосуществования» охотника и дичи. Предложенная в качестве альтернативы спору о пассивно-собирательском или активно-охотничьем стиле потребления мамонтов, эта версия рисует людей палеолита не падальщиками и не истребителями, а своего рода мамонтоводами (хотя авторы подчеркивают, что «речь ни в коем случае не идет о доместикации мамонта»). Подобно северным оленеводам, пасущим стада полуприрученных оленей, обитатели Русской равнины периода валдайского оледенения владели технологиями регуляции зверино-человеческих взаимоотношений и умерщвляли полуприрученных мамонтов прямо на стоянках (отсюда и особый характер залегания останков) (Аникович и др. 2010:132, 133).

Судя по этнографическим реалиям, оленные люди, конные люди и другие профильные животноводы действительно в совершенстве владеют «звериным языком» и навыками взаимодействия с животным. В кочевье смешанное человеко-звериное сообщество воспринимается в единстве, причем с обеих сторон — как людьми, так и животными. Этот симбиоз, начиная с удвоения потенциала движения за счет прирученной собаки, позволил лю-

дям финального палеолита отдалиться от горных укрытий и выйти на обширные равнинные пространства. Особенно значим был союз с конем, благодаря которому власть над пространством приобрела имперский размах (как видно по географии культур степей Евразии энеолита и раннего металла).

Эпоха колонизации открытых пространств, включая морские, породила новые стратегии движения и геополитики, в которых сочетались номадизм и оседлость, динамичная власть кочевников и статичная устойчивость земледельцев. Обозначилась специализация культур и социальная стратификация внутри культур по признаку локальность/магистральность. Выделились магистральные культуры с высоким потенциалом мобильности и коммуникативности. Свойственная им физическая подвижность была выражением внутренней когнитивной мобильности, имеющей мало общего с приписываемой кочевникам пассивной зависимостью от климата и емкости пастбищ. Судя по опыту степных империй, кочевникам свойственна активная схема абсолютной власти над пространством, легко переносимая с локального горно-степного урочища на «весь мир» (что следует, например, из известных высказываний монгольских ханов о своей миссии всемирного господства). По мере развития новых технологий движения складывались новые магистральные перекрестки контактов и взаимодействия культур, к числу которых в Евразии относятся Средиземноморье, Причерноморье, «полуостров Европа» и (позднее) морские метрополии Европы, Балто-Понтийское междуморье, Урал, Алтай, долина Лены и других крупных рек Северной, Западной, Южной и Восточной Азии. Особую роль в истории народов и стран Северной Евразии сыграли мобильные магистральные культуры открытых пространств — степей и морей.

Иногда контакт народов и культур представляется как механическое перетекание заимствований из одного сообщества в другое. В действительности подобные контакты осуществлялись не сами собой, а через торговцев, религиозных лидеров, политических вождей. Именно агенты магистральности прокладывали и поддерживали каналы межкультурного взаимодействия, по роду деятельности обладая навыками этнодипломатии и этнополитики. Им же принадлежала ведущая роль в колонизации. Нередко массы колонистов двигались не по собственной воле,

а по проектам элиты, например при переселении кочевниками земледельцев и ремесленников в пределах покоренных территорий, при высылке в дальние страны преступников, организации невольничьих поселений, создании торговых или промышленных резиденций.

Эффект контакта

Верхнепалеолитическая революция 50–40 тыс. л. н., превратившая Homo sapiens в хозяина ойкумены, вызвала амбивалентный эффект — разрушения (исчезновение неандертальцев) и резонанса взаимодействия Homo sapiens и Homo neanderthalensis. Прежде, на протяжении двухсот с лишним тысяч лет, сапиентация протекала довольно вяло, а затем, на пике противостояния людей Юга и Севера на Левантийском мосту, она стремительно набрала обороты. Этот контакт можно представить как «первую мировую войну» с сопутствующей гонкой технологий (в том числе вооружений). Неандерталец сыграл в истории человечества роль полезного конкурента/спутника sapiens. 50 тыс. л. н. он был самым адаптивно продвинутым Homo, освоившим Север и колонизовавшим Европу. В проекции гоминидной триады неандерталец, наделенный большим мозгом, впечатляющей физической мощью, агрессивностью и мастерством в изготовлении орудий, не уступал Homo sapiens.

Размышляя над плодами конкуренции в Европе между туземцами-neanderthalensis и пришельцами-sapiens, Л. Б. Вишняцкий отмечает, что «появление пришлых человеческих популяций в районах, издавна и прочно освоенных неандертальцами, — или даже только на подступах к этим районам, — обязательно должно было повлечь за собой обострение соперничества за жизненно важные ресурсы и стимулировать тем самым усложнение методов жизнеобеспечения, технологические новации и прочие изменения в культуре». Симптоматично, что в районах, где этой конкуренции не было, «верхнего палеолита либо нет вообще (Восточная и Юго-Восточная Азия, Австралия), либо он представлен только поздними памятниками (Индостан, большая часть Северной Азии). Даже на территории Африки к югу от Сахары, несмотря на раннее и длительное присутствие людей современного анатомического типа, масштаб и интенсивность культурных изменений в эпоху перехода

от среднего палеолита к верхнему не сопоставимы с тем, что наблюдается в северной части Старого Света» (Вишняцкий, 2010:85).

В этом смысле неандерталец — не пасынок праистории, а активный участник сапиентации. Столкнувшись с северянами-неандертальцами, южане-sapiens «переняли у них основные элементы мустьерской технологии», на основании которой возникли индустрии «переходного типа», использованные Homo sapiens в ходе дальнейшего расселения. Иногда все индустрии «переходного типа» приписывают неандертальцам (Mellars 2006). «Вопрос относительно “авторства” этих индустрий (шательперрон, улуццо, селет, ежмановице, стрелецкая “культура”), сочетающих архаические (мустьерские) компоненты и элементы верхнепалеолитических технологий, является предметом дискуссий» (Долуханов 2008:38). Памятники культуры шательперрон, предшествовавшей на юго-западе Европы ориньяку, показывают хронологическую последовательность и преемственность: на Шательперроне неандертальские слои датируются 41–34 тыс. л. н., слои ориньяка — 39–35 тыс. л. н. (Gravina et al. 2005); при этом неандертальная традиция не пресекается, а развивается (судя, например, по художественно-технологическим сдвигам в обработке костяных изделий). Таким образом, на рубеже 40–30 тыс. л. н. заметен технологический подъем не только sapiens-культуры ориньяк, но и neanderthalensis-культуры шательперрон, и неандертальцы оказываются непосредственными участниками верхнепалеолитической революции и генерирования sapiens-культуры. В пространстве Западной Евразии они сыграли роль успешных колонизаторов, которых на стадии освоения сменили (подобно смене видов в биологической сукцессии) успешные конкуренты.

Южанин-sapiens пришел в Евразию по неандертальским тропам. Неандертальцы первыми встроились в евразийский биоценоз, известный как мамонтовый комплекс: фаунистические останки на неандертальских стоянках принадлежат по большей части видам «мамонтовой степи» (Guthrie 1990). Северная адаптация южан-sapiens началась в диалоге с неандертальцами, выступившими (возможно, в буквальном смысле) проводниками sapiens в высокие широты. Не исключено, что неандертальцы составляли компанию Homo sapiens и в походах по Уралу до Полярного круга (см.: Павлов и др. 2006:290, 300; Slimak et al. 2011).

Архантропы продвигались на север задолго до появления в Евразии sapiens. Нижнепалеолитические памятники на юге России (Герасимовка), на Кавказе (Кударо), в Средней Азии (Кульдара, Хондако, Каратау) выявляют непрерывную тенденцию экспансии на север (Роланд 2008:49). 700–600 тыс. л. н. колонизация вышла на рубеж 50° с. ш. (Паркфилд, Боксгров, Аббевиль, Кэрлих), а на Алтае преодолела его (Карама, Горный Алтай, 51° с. ш.). В среднем палеолите неандертальцы отодвинули северную границу ойкумены до 55° с. ш., а на севере Европы проникли и дальше (Волчья пещера, Остроботния, 62° с. ш., 120 тыс. л. н.). В верхнем палеолите sapiens (возможно, в сопровождении neanderthalensis) достигли Полярного круга на Урале (Мамонтова Курья, 66° с. ш., 40–35 тыс. л. н.) и в Восточной Сибири (Яна, 71° с. ш., 28 тыс. л. н.).

Для африканца-sapiens колонизация холодных пространств — аномалия, поскольку у него не было исходной биологической программы продвижения в высокие широты. Экологический (или геополитический) «проект» такого рода мог состояться только во взаимодействии с бореальными туземцами (неандертальцами, палеоалтайцами и другими северными постархантропами). Это движение на север нередко представляется пробными кратковременными рейдами «вперед-назад» (Величко 1997) «кочующих разведчиков» (Келли 1997). П. Ю. Павлов разделяет раннюю колонизацию необитаемых территорий Северной Евразии на периоды проникновения, освоения и заселения, различающиеся по характеру адаптации, по временности или постоянству проживания людей (Павлов 2008:70, 71).

***

Колонизация — технология освоения нового пространства. В отличие от миграции, обозначающей любое значительное пространственное движение, в том числе сезонное, она подразумевает появление нового очага обитания (колонии) при сохранении исходного (метрополии). Колонизация предполагает не просто переход из одной местности в другую, а установление постоянной коммуникации между метрополией и колонией. Она служит механизмом прокладки путей, по которым в древности шло освоение ойкумены и поддерживалось единство вида Homo.

Верхнепалеолитическая революция — распространение по миру Homo sapiens — была делом рук, ног и социальных стратегий человека-хищника (травоядная схема, даже поддержанная самой невероятной плодовитостью, не способна мотивировать захват новых пространств, тем более экологически неудобных). Истребление мегафауны и экспансия — два ключевых признака sapiens-колонизации. Не исключено, что вслед за охотниками мигрировали и иерархически зависимые от них собиратели: охотники захватывали территорию, собиратели ее осваивали, создавая сложные, так называемые симбиотические, культуры верхнего палеолита. В конкуренции побеждал тот вид Homo, который обладал цепкостью в сочетании с подвижностью, гибкостью в сочетании со стойкостью.

Колонизация — всегда столкновение с новыми обстоятельствами и вызовами. В обстановке контакта происходит взаимодействие технологий, которое приводит к их синтезу и обновлению. При этом работают механизмы адаптаций (и мим-адаптаций), создающих более сложную схему деятельности. Иными словами, технологии не подавляют и не исключают друг друга, а образуют синтетическую технологию нового качества.

В ходе sapiens-колонизации сложилась идеологическая схема покорителя пространств, уже в древности толкавшая человека к экологически абсурдным миграциям (в том числе в Арктику), а позднее — к плаваниям по океанам, походам к полюсам, полетам в космос. Это качество было свойственно наиболее мобильным и амбициозным людям древности — Homo mobilis, — создававшим магистральные культуры.

Глава 2. Уроки Геродота

Логограф. Одиссея как состояние. Ойкос и ойкумена. Многохитрость. Оракулы

Сколько бы интригующих сценариев ни рождала археология, мотивы колонизации внятно выражены лишь в слове. Особенно привлекательны свидетельства тех, кто сам причастен к колониям. По счастью, первый же классик истории, Геродот, был искушенным теоретиком и практиком колонизации: он родился в колонии, путешествовал по эллинской ойкумене и участвовал в основании колонии Фурии на юге Италии. Во времена Геродота колонизация была скорее обыденностью, чем историей. Вернее, и тем и другим, так как история была практическим знанием. И позднее «История» Геродота сохраняла свойства актуальной практики, поскольку из нее произрастала ментальная карта европейцев. Текст ее удобен для антрополога тем, что рисует колонизацию как естественную потребность.

Логограф

Для Геродота (484–425 гг. до н.э.) и его современников слово *ἱστορία* означало «исследование», и в этом смысле выражение «историческое исследование» — тавтология. Геродот не был создателем жанра, а шел по стопам своих предшественников-логографов («словописцев»), в том числе высокочтимого им Гекатея Милетского. В ремесле логографа было что-то от детективного расследования, что-то от ваяния памятника героям прошлого, но более всего от живого диалога с персонажами — от путевых записок до интеллектуального обзора. Геродота называют не только «отцом истории» (Цицерон) и «отцом лжи» (Плутарх), но и родоначальником травелога (travelogue) — «путеописания». Действительно, прежде чем стать историком-сказителем, он состоялся как антрополог-путешественник. Возможно, правы те, кто считает, что Геродота мало читать, с ним надо путешествовать.

Несколько лет назад одна за другой вышли книги «Путешествия с Геродотом» Р. Капушински (Kapuscinski 2007) и «Человек, который изобрел историю: Путешествия с Геродотом» Дж. Мароцци (Marozzi 2008). В них отец истории предстает не реликтом древно-

сти, а живым собеседником, компаньоном в пути. При резком сближении эпох оказывается, что за истекшие два с половиной тысячелетия мир не сильно изменился и по-прежнему где-то по меридиану родины Геродота (Галикарнасс, некогда колония эллинов-дорийцев, затем владение Персии, а ныне турецкий Бодрум) пролегает напряженная граница между Западом и Востоком. Опыты «путешествий с Геродотом» привлекательны тем, что связывают нас с первым историком на уровне ощущений. Иллюзия, будто Геродот, перескочив через эпохи, может оказаться нашим собеседником, имеет и обратную проекцию — нашу способность окунуться в древность. Путешествие во времени ничуть не менее познавательно и увлекательно, чем путешествие в пространстве, и обычно эти два измерения сочетаются.

Главное в путешествии — пересечение границ, выход за пределы обжитого мира и открытие нового. Одни люди испытывают удовлетворение от соблюдения границ, другие — от их преодоления. Это связано и с гендерным поведением, и с возрастными пристрастиями, и с профессиональными ориентациями, и с многообразной ситуативностью. Есть у синдрома границы и культурные основания: локальные культуры хранят границы, магистральные — их пересекают. Используя популярную в дискурсе идентичности игру слов *roots/routes*, можно сказать, что первые культивируют «корни» (*roots*), вторые — «пути» (*routes*).

Р. Капушински, сам одержимый путешественник, полагал, что таким был и Геродот. В своей юности польский журналист ринулся в Индию без знания английского, не говоря уже о хинди и бенгали, и постигал культуру индийцев скорее на ощупь, чем рационально. Геродот, с которым сверяет свои впечатления Капушински, был ярким выразителем «трансграничности». Р. Капушински называет его первым глобалистом, Дж. Мароцци — первым в мире путешественником-писателем, историком, антропологом, политологом и зарубежным корреспондентом. Мастерство логографа действительно чем-то сродни ремеслу сегодняшнего политического обозревателя: история отвечает на вызовы современности, мобилизуя свидетельства, предания, сокровенные знания. Это не только накопление фактов, но и конструирование навигационной ментальной карты, без которой действия лишены цели и смысла. История создает пространство стратегий с ценностными

ориентирами, образцами опыта и наборами сценариев. Подобную навигационную карту имел в виду Фемистокл, высказавшись на военном совете у Саламина: «Когда люди принимают разумные решения, то обычно все им удается. Если же их решения безрассудны, то и божество обыкновенно не помогает человеческим начинаниям» (Геродот VIII 60).

Незадолго до Геродота и неподалеку от Галикарнасса жил Гераклит Эфесский (ок. 544–483 гг. до н. э.), изрекший: «Война — отец всего и царь всего; одних она делает богами, других людьми, одних рабами, других свободными». Для евразийского перекрестка и обстановки Ионийского восстания (малоазийских эллинов против персов) эта мысль была не эпатажным восклицанием, а жизненной философией. С нее и начинает свою историю Геродот, задаваясь вопросом, почему эллины и варвары воюют друг с другом. Уроженцы эллинских колоний в Малой Азии, Гераклит и Геродот, сходятся в живом восприятии движения и изменчивости, что не в последнюю очередь связано с судьбами и ритмами жизни мореходов-колонистов. Своей непреходящей популярностью «История» Геродота во многом обязана именно интонациям движения, задающим повествованию живую динамику.

В ту пору вдохновлявшая Геродота Клио была еще юной музой, а не старой девой, и в истории органично сливались достоинства искусства и науки. Динамика присуща композиции и стилю Геродота. Он монтирует сюжеты так, словно они разворачиваются на наших глазах в походах полководцев или в ритме его собственных странствий. Даже неточности и фантазии в этих описаниях (вроде известий о песьеголовых людях или черном семени у эфиопов) по-своему динамичны и реалистичны, поскольку передают межэтнические диалоги и эллинские предубеждения относительно варваров.

При чтении «Истории» создается впечатление, что Геродот увлечен этничностью.[1] Всякий раз, когда персидский царь, египетский фараон или эллинский номарх отправляется воевать, незамедлительно рисуется красочная этнографическая картина.

[1] Понятие этничности лучше не смешивать с какими-либо конкретными и, тем более, туманными формами «этноса». Иначе «этнос» превращается в метафору: «Основные греческие общины перешли от рыхлой структуры этноса к гораздо более интегрированной системе полиса до 700 г. до н. э.» (Старр 2007:522).

Двинулся Дарий в северный поход — открывается скифская панорама, отправился Камбис в Египет — история живописует нравы египтян, ливийцев и эфиопов. Остается заподозрить либо логографа в нарочитой этнизации истории, либо саму историю — в насыщенности этничностью. По-видимому, и для Эллады в целом, и для галикарнассца Геродота, сочетавшего в себе эллинские и карийские корни (его отец Ликс и дядя Паниасид носили карийские имена)[2] и смотрящего на мир сквозь призму греко-персидского противостояния, сюжеты этничности были актуальной повседневностью.

Геродоту свойственна этноэтика, характерная для человека магистральной культуры: он ведет повествование в тоне доброжелательного диалога, настраивающего на долговременное сожительство эллинов и варваров в одной ойкумене. Мастерство этнодиалога позволяет наблюдателю перейти на позицию наблюдаемого и рассматривать события глазами перса или египтянина. Например, разность культур Запада (Эллады) и Востока (Индии) Геродот представляет по-персидски:

> Если бы предоставить всем народам на свете выбирать самые лучшие из всех обычаи и нравы, то каждый народ, внимательно рассмотрев их, выбрал бы свои собственные... Царь Дарий во время своего правления велел призвать эллинов, бывших при нем, и спросил, за какую цену согласны они съесть своих покойных родителей. А те отвечали, что ни за что на свете не сделают этого. Тогда Дарий призвал индийцев, так называемых каллатиев, которые едят тела покойных родителей, и спросил их через толмача, за какую цену они согласятся сжечь на костре своих покойных родителей. А те громко вскричали и просили царя не кощунствовать. Таковы обычаи народов, и, мне кажется, прав Пиндар, когда говорит, что обычай — царь всего (Геродот III 38).

---

[2] Карийские симпатии Геродота слышны в его рассказе о том, что во времена господства Миноса карийцы были «самым могущественным народом на свете». К тому же они изобрели три вещи, заимствованные эллинами: «они научили эллинов прикреплять к своим шлемам султаны, изображать на щитах эмблемы и первыми стали приделывать ручки на щитах» (Геродот I 171).

Геродот без затруднения оглядывает себя глазами другого, преодолевая кажущуюся незыблемой оппозицию эллинов и варваров. В Египте он толкует о варварах с точки зрения египтян: «Варварами же египтяне называют всех, кто не говорит на их языке» (Геродот II 158). При этом в ряде пассажей о культурных ценностях и приоритетах Геродот ставит египтян перед эллинами:

> Египтяне были первыми людьми на свете, кто установил продолжительность года, разделив его на двенадцать частей [по] временам года. Это открытие, по словам жрецов, египтяне сделали, наблюдая небесные светила... Имена двенадцати богов восходят к египтянам, а от них заимствованы эллинами. Египтяне также были первыми, кто стал воздвигать богам алтари, статуи и храмы и высекать изображения на камне (II 4).
> [Поскольку эллины едят говядину, а у египтян коровы посвящены богине Исиде], ни один египтянин или египтянка не станет целовать эллина в уста и не будет употреблять эллинского ножа, вертела или котла. Они даже не едят мяса «чистого» быка, если он разрублен эллинским ножом (II 41).
> Эллинские обычаи египтяне избегают заимствовать. Вообще говоря, они не желают перенимать никаких обычаев ни от какого народа... Что до самих египтян, то жители пригодной для земледелия части страны больше всего сохраняют память и потому разбираются в истории своей страны лучше всех людей, с которыми мне приходилось общаться в моих странствиях (II 77).

О появлении эллинов в Египте Геродот повествует со слов египтян — в сюжете о воцарении Псамметиха (ок. 664–610 гг. до н. э.) они рисуются загадочными «медными людьми». Изгнанный царями-соперниками в приморскую низину Псамметих получил прорицание оракула: «Отмщение придет с моря, когда на помощь явятся медные люди». Вскоре на египетский берег высадились люди в медных доспехах — морские разбойники, ионийцы и карийцы, занесенные в Египет ветром.[3] Пираты занялись привычным делом — «разорением полей», но Псамметих сумел «склонить их поступить

[3] Случайный ветер не впервые занес эллинов в Египет. Как повествует «Одиссея», после Троянской войны спартанский царь Менелай тоже был занесен ветрами в Египет «на пяти кораблях синеносых», после чего, «много в стране той добра собирая и золота, долго странствовал там Менелай с кораблями средь чуждых народов» (Одиссея III 299–303).

к нему на службу наемниками». С помощью «медных людей» он одолел царей-соперников, а ионийцам и карийцам «пожаловал участки земли для поселения друг напротив друга на обоих берегах Нила» и направил к ним «египетских юношей на обучение эллинскому языку».[4] Позднее царь Амасис переселил эллинов с нижнего Нила в Мемфис, «сделав их телохранителями для защиты от своих же египтян», и дозволил им «воздвигнуть алтарь и храмы богов». Благодаря этим колонистам, поддерживавшим связь с родиной, замечает Геродот, «мы так хорошо осведомлены о всех событиях в Египте со времени Псамметиха и позднее». Эллины не только торговали, строили корабли и храмы в Египте, но и были проводниками политики Египта в Средиземном море, например, при завоевании Кипра Амасисом (II 152, 154, 182).

Диалог — кредо Геродота: «Так как я знаю, что человеческое счастье изменчиво, то буду одинаково упоминать о судьбе тех и других» (I 5). Из диалога рождается диалектика мотивов и ценностей. Например, Геродот не просто видит в женщинах одну из причин войн, но и ведет расследование: «Похищение женщин, правда, дело несправедливое, но стараться мстить за похищение, по мнению персов, безрассудно. Во всяком случае мудрым является тот, кто не заботится о похищенных женщинах. Ясно ведь, что женщин не похитили бы, если бы те сами того не хотели. По словам персов, жители Азии вовсе не обращают внимания на похищение женщин, эллины же, напротив, ради женщины из Лакедемона собрали огромное войско, а затем отправились в Азию и сокрушили державу Приама. С этого времени персы всегда признавали эллинов своими врагами. Ведь персы считают Азию и живущие там варварские племена своими, Европа же и Эллада для них — чужая страна». Вопреки своим эллинским привязанностям Геродот заключает, что за разжигание вражды «несомненно тяжкая вина лежит на эллинах, так как они раньше пошли походом в Азию, чем варвары в Европу» (I 4).

Геродот постоянно держит перед глазами сложную картину этничности Эллады. Обсуждая «чистоту» ионийцев в малоазийских колониях, он отмечает, что изгнанные ахейцами с Пелопоннеса

---

[4] По Страбону (XVII 801), во времена Псамметиха I в Египет прибыли на 30 кораблях милетцы и построили укрепленное поселение у Больбитинского устья Нила.

ионийцы, переселяясь в Азию, смешивались с абантами, минийцами, кадмейцами, дриопами, фокейцами, молоссами, аркадцами, дорийцами. Поэтому «глупо утверждать, что эти азиатские ионяне чистокровнее и благороднее остальных ионян». Это касается и тех, кто считает себя «самыми благородными» потомками афинян: в действительности они женились в Милете на кариянках (I 145).

Риторика этничности настолько обильна, что порой кажется избыточной. Сбор эллинских кораблей у Саламина сопровождается этногенетическими комментариями: прибывшие с тридцатью кораблями эгинцы — по происхождению дорийцы из Эпидавра, наксосцы на четырех судах — ионийцы из Афин, мелосцы с двумя кораблями — лакедемоняне, кротонцы с одним — ахейцы, кифнии с триерой и 50-весельным судном — дриопы и т. д. (VIII 46–48). При характеристике мотивов действий Кира, Дария, Ксеркса постоянно указываются этнические корни их союзников и противников. Судя по всему, этнография армии и флота представлялась Геродоту и его современникам стратегически и тактически значимой, и этничность тех времен содержала куда больше проекций, чем распознается сегодня.

На этничности строится ментальная карта Геродота в ее пространственно-временных измерениях. Эта карта сложна, но логограф не намерен ее упрощать в угоду, например, слушателям своей истории (логосы, как и поэмы, читались вслух для публики). Его описания насыщены не былинно-эпической, а реально-жизненной этнографией, притом не всегда тешащей эллинское самолюбие. Так, ионийцам надлежит знать, что их предки были некогда самым слабым племенем среди эллинов и у них не было ни одного значительного города, кроме Афин. Позднее афиняне даже стыдились имени «ионяне», а ценность ему придали ионийские колонисты, создавшие в Малой Азии *додекаполис* (двенадцатиградье) и воздвигнувшие общее святилище Панионий (I 143). Афинянам следует знать, что их предки были пеласгами и звались кранаями; при царе Кекропе их называли кекропидами, при царе Эрехфее — афинянами и, по имени их предводителя Иона, ионянами (VIII 44).

Эти подробности в устах дорийца-карийца из малоазийской эллинской колонии в Персии показывают, что этноязык в его время был общеупотребим, во всяком случае среди интеллектуаль-

ной и политической элиты, к которой принадлежали логографы. До сих пор остается тайной, чем был вызван интерес Геродота к обзору земель и народов. Предположения о том, что он был купцом или сыном купца (см.: Myres 1953:5), путешественником или политиком из круга Перикла (наряду с Анаксагором, Ксенократом, Протагором, Софоклом, Фидием), лишь отчасти проясняют его жизненное кредо. Его труд более всего ориентирован на создание ментальной карты эллинского пространства-времени, где решающую роль играют война, власть, сакральность и этничность. Вероятно, именно на этих основах строилась в ту пору стратегия власти над пространством, и Геродот был, с позволения сказать, гуманитарным технологом или геополитиком своей эпохи. Он конструировал мировоззрение и, тем самым, мироустройство.

На страницах «Истории» Геродот не раз оттеняет роль логографа в принятии судьбоносных решений. Например, в преддверии и в ходе Ионийского восстания логограф Гекатей дважды предлагал тактически сильные ходы. В первом случае, когда тиран Милета Аристагор собрал совет и изложил замысел восстания, он оказался единственным, кто высказался против войны с персами. Сначала он, пытаясь образумить совет, «перечислил все подвластные Дарию народности и указал на персидскую военную мощь». Затем предложил хотя бы добиться господства на море, для чего «взять из святилища в Бранхидах сокровища — посвятительные дары лидийского царя Креза». Впоследствии Аристагор, уже думая о бегстве под угрозой разгрома, вновь собрал совет и предложил вывести колонию-убежище из Милета на Сардон или в Миркин. Гекатей и на этот раз предложил альтернативный вариант крепости-колонии на острове Лерос. Как и в первом случае, мнение Гекатея было отвергнуто, и Аристагор вывел колонию в Миркин, где вскоре погиб от рук фракийцев (V 36, 124–126). Лишь после разгрома Милета ионийцы положились на Гекатея, доверив ему переговоры с персидским сатрапом Артаферном.

В тоне Геродота слышится назидание: пренебрежение словом логографа чревато бедами. Он не сравнивает это слово с оракулом, но преподносит его как несбывшуюся позитивную альтернативу (кстати, в современной геополитике Гекатей числится едва ли не родоначальником талассократической идеи господства моря над сушей, хотя Гераклит в свое время злоязычил: «Многознание

уму не научает, а не то научило бы... Гекатея»). Можно допустить, что и логограф Геродот выступал в афинском совете Перикла в качестве советника-геополитика. Не исключено, что логографам уровня Гекатея и Геродота принадлежало веское слово в колониальной стратегии Эллады. И не только слово, но и дело: в 440-е гг. до н. э. Геродот участвовал в создании панэллинской колонии Фурии в южной Италии, за что был прозван Фурийцем (Борухович 2002:595).

Одиссея как состояние

Для эллинов движение в обширном пространстве Средиземноморья с давних пор было привычным ритмом жизни, что видно в их восприятии моря. «Одиссея» Гомера начинается с «морских страданий»: беседа богов в чертогах Зевса посвящена судьбе морехода Одиссея, гонимого за ослепление циклопа Полифема, сына Посейдона и «нимфы Фоосы, дочери Форкина, стража немолчно шумящего моря» (Одиссея I 71, 72; здесь и далее пер. В. В. Вересаева). Разговор происходит в отсутствие Посейдона, который принимает гекатомбы быков и баранов в стране эфиопов. Сцена на Олимпе напоминает сговор: выслушав Афину, Зевс вступается за Одиссея, полагая, что Посейдон «отбросит гнев свой: не сможет один он со всеми бессмертными спорить и против воли всеобщей богов поступать самовластно» (Одиссея I 78, 79).

Драматургия Одиссеи построена на диалоге морехода и моря, воли и судьбы. Море не своевольно: штиль или шторм ниспосылаются богами, которые, в свою очередь, отзываются на помыслы и действия людей. Море Гомера оказывается миром Одиссея, вокруг которого вращаются все метеособытия. «Субъективное море» — ключевая особенность ментальной карты эллинов, и этим выражена степень их власти над морским пространством. Испытания морем, особенно ярко переданные в легендах об аргонавтах и Одиссее, — ключ к власти над землей (греческая ойкумена немыслима без моря).

Одиссей успешно преодолевает целый каскад испытаний. Великаны-людоеды циклопы и лестригоны, Сцилла и Харибда, чары Цирцеи и Калипсо, коварные лотофаги, сирены и остров Гелиоса — все они искушают морехода, а их преодоление означа-

ет вызов «колебателю земли» Посейдону. Вольно или невольно Одиссей выступает морским богоборцем.

Крайняя точка погружения Одиссея в стихию моря приходится на «волнообъятый» остров Огигия, где «пуп обретается моря» и властвует нимфа Калипсо, «богиня в богинях», дочь Атланта, «которому ведомы бездны моря». Одиссей так загостился у Калипсо, что понадобилось вмешательство Афины. Сразу после «выныривания» Одиссея из сладкого плена нимфы наступает кульминация морского противостояния: именно в этот момент возвращается из страны эфиопов Посейдон и застает Одиссея плывущим на плоту к острову феаков. Владыка моря собственной волей поднимает бурю, опрокидывает плот и бросает Одиссея в пучину. Этот эпизод, как никакой другой, насыщен ощущениями моря вплоть до вкусовых. Одиссей выныривает, «плюясь непрерывно горько-соленой водою» (V 323), хватается за плот, но его в куски разбивает Посейдон; обессиленный, он вплавь приближается к острову, борется с волнами, цепляется за скалы, срывая кожу с ладоней, — все это захватывающе мощно, как может быть только в эпосе людей моря. Наконец, Одиссей на берегу, но «все его тело распухло; морская вода через ноздри и через рот вытекала, а он без сознанья, безгласный и бездыханный лежал: в усталости был он безмерной» (V 455–457).

Благополучный исход семнадцатидневного единоборства с морем — торжество Одиссея в состязании с Посейдоном. Притом спасся он на острове феаков, где правят внуки Посейдона (Алкиной и Арета). Феаки живут «ото всех в стороне, у последних пределов шумного моря» (VI 204, 205); «на корабли полагаясь свои быстролетные, бездны моря они испытуют, — им дал это бог Земледержец. Быстры у них корабли, подобны крылу или мысли» (VI 34–36).

Одиссей поладил с феаками за счет искусной игры на грани собственного и чужого достоинства. Будучи едва отмыт от морской тины, он тут же умудрился понравиться дочери царя феаков Навсикае, которая с первого взгляда принялась размышлять о нем как о подходящем женихе. Он превзошел феаков в метании диска, но уступил в пляске и признал их (Демодока) певческое совершенство. Многохитрый Одиссей настолько очаровал феаков, что они доставили его на Итаку вопреки воле Посейдона. Дело дошло до

того, что «колебатель земли» пожаловался на собственную паству Зевсу:

> Зевс, наш родитель! Теперь никакой меж бессмертных богов мне
> Чести не будет, когда уже смертные люди, феаки,
> Не почитают меня, от меня же ведущие род свой!
> (XIII 128–130).

Посейдон даже намеревался разбить судно феаков, «чтоб они наконец перестали в отчизну странников всех развозить» (XIII 151, 152), но, по совету Зевса, утешился тем, что превратил корабль в прибрежную скалу.

Полного триумфа в «преодолении моря» Одиссею добиться не суждено. Казалось, остался лишь шаг до овладения божественным даром: Эол подарил ему мех с ветрами — власть над морем. «Шкуру содравши с быка девятигодового, в той шкуре крепко Эол завязал все пути завывающих ветров. Стражем сделал его Громовержец над всеми ветрами, дав ему власть возбуждать иль обуздывать их по желанью» (X 19–22). Однако Одиссей не сберег дара, не уследил за своими завистливыми спутниками, и на подходе к Итаке они развязали мех с ветрами, алча сокровищ. Вырвавшиеся ветры унесли корабль назад, к острову Эола, но на этот раз владыка ветров презрительно выдворил Одиссея вон. Так было восстановлено равновесие божественного и человеческого: многомудрому и многохитрому Одиссею не чуждо богоподобие, но не дано быть богом.

Эллинской теодипломатии свойственна почтительность к богам. Однако всякой божьей воле противостоит иная божья воля (такова философия политеизма); кроме того, человек не только способен, но и призван влиять на волю богов. Поэмы Гомера пестрят сюжетами «сделок с богами» посредством жертвоприношений, ссылок на родство, увещеваний, молитв. Многохитрый Одиссей — превосходный теодипломат (особенно успешен его диалог с Афиной). Изысканность теодипломатии особенно ярко проявлялась в оракулах, без которых эллины не принимали судьбоносных решений, в том числе об освоении новых земель.

Обратной стороной этой дипломатии была твердость в отстаивании своих интересов и прав. Насколько гибок и увертлив Одиссей

в обществе феаков, настолько непримирим и неуступчив в отношении женихов Пенелопы, которые не только добиваются руки его жены, но и пируют в его доме, пожирают его скот, соблазняют его служанок. Это уже не предмет дипломатии, а схватка за дом (*ойкос*), за собственное царство Одиссея — «объятую волнами Итаку». Он хитроумно и жестоко истребляет женихов, причем ни герои эпоса, ни сказитель даже не пытаются выразить хоть какую-то жалость к обреченной на заклание толпе горе-женихов.

Мотив непримиримости — пресечение посягательства на власть, в борьбе за которую нет иной справедливости, кроме права победителя. Остров Итака ценен не тем, что плодороден и богат (напротив, он каменист и скуден), а только тем, что он — собственное царство Одиссея. Он не однолюб и неплохо проводит время в объятиях Цирцеи и Калипсо (с первой он прожил год, со второй — семь или десять лет), но борьба за собственную жену Пенелопу делает его месть лютой.

Искушению забыть родную Итаку Одиссей подвергся на первом же острове, куда его отнес шторм: кто вкусит лотос на земле лотофагов, тот забывает о родине и возвращении. На острове сирен звучат чудные голоса, и «кто, по незнанью приблизившись к ним, их голос услышит, тот не вернется домой никогда. Ни супруга, ни дети не побегут никогда к нему с радостным криком навстречу» (XII 41–43). Та же тема рефреном повторяется на островах Цирцеи и Калипсо: Цирцея дает Одиссею зелье, от которого забывают родную страну; Калипсо добивается его любви и супружества, «мягкой и вкрадчивой речью все время его обольщая, чтобы забыл о своей он Итаке». Любовные чары — самое действенное средство забвения родины.

> Нимфа Калипсо меня у себя удержать порывалась в гроте глубоком, желая своим меня сделать супругом (IX 29, 30);
>
> Также старалась меня удержать чародейка Цирцея, в дальней Ээе, желая своим меня сделать супругом: духа, однако, в груди мне на это она не склонила (IX 31, 33).

Женская тема исходно важна, и без нее одиссея невозможна. Геродот, рассуждая о причинах войн и экспансий, сразу обращается к сюжету «похищения женщин». Ответ на вопрос о войне растянут на всю «Историю», однако первый, моментальный и

элементарный, дается в самом начале. Он звучит вполне по-гомеровски — раздоры начались из-за женщин: финикийцы украли в Аргосе эллинскую царевну Ио, а эллины в отместку захватили в Тире финикийскую царевну Европу; из Колхиды греки увезли царевну Медею, а сын Приама похитил в Лакедемоне Елену.

Одиссей стремится к Пенелопе и в Итаку, пренебрегая обещанным Калипсо бессмертием. Это трогательная история взаимной преданности царя и царства, выраженная в сюжете «возвращения царя». Итака — дом и царство Одиссея, однако и на родном острове его трудно представить домоседом. Итака — скорее точка опоры, чем конечная цель. Эллинам присущ сплав противоречивых, на первый взгляд, свойств — привязанности к родине и страсти к странствиям. В двухмерной идеологеме охвата пространства и возвращения домой — основание устойчивости и популярности «схемы Одиссея» среди эллинов.

Для античного грека морское путешествие — скорее обыденность, чем подвиг. До сих пор жители греческих островов и городов ходят в море так же легко, как по суше. Многие полагают, что в море лучше отдыхать, думать и принимать решения, чем на земле. По свидетельству Плутарха, так считали и милетяне из гетерии Плутис, которые для обсуждения и принятия важных решений садились на корабли и плыли в море (см.: Halliday 1928:145). Легкость ощущения моря создавала ту самую ментальную карту субъективного моря, которая характерна для одиссеи.

В свою очередь субъективное море — условие и основание обширной и устойчивой колонизации. Толчков к экспансии может быть сколько угодно, но власть над пространством вырастает из технологий его освоения и присвоения. Ощущение пространства создает модель его освоения. И сегодня одному просторно на кухне, другому тесно в государстве. Для Геродота из Галикарнасса и его соплеменников тема колонизации была врожденной, поскольку все или почти все эллины той эпохи были основателями, жителями или посетителями колоний. Для античного грека колонизация — такое же привычное и обычное дело, как для пчеловода — уход за пасекой.

Ойкос и ойкумена

Понятия *οικος* (ойкос, дом) и *οικουμένη* (ойкумена, мир) служат измерениями освоенности пространства, и от корня *эко* образованы «экология» и «экономика». Этот спектр не только лингвистический, но и феноменологический. Концепт дом–мир настраивает природопользование, хозяйство, мифологию, архитектуру, власть. Логограф Гекатей (ок. 550–480 гг. до н.э.) использовал понятие *οικουμένη* для обозначения освоенного греками мира. Гекатей жил в Милете — мощной метрополии эпохи Великой греческой колонизации, и для него связь понятий *ойкос* и *ойкумена* была живой реальностью и персональным опытом. В эллинской традиции отношение метрополия–колония было многослойным. Например, в «генеалогической» цепочке Афины-Милет-Синопа-Трапезунт (от старшей метрополии к младшей колонии) все города были в разное время колониями, и все выступали в роли метрополий. Милет, будучи матерью восьми или девяти десятков колоний, сам был некогда критской, затем ахейской и афинской колонией. Синопа колонизовалась греками, по меньшей мере, трижды (притом дважды милетянами) и в свою очередь выступала метрополией для ряда понтийских городов (Трапезунт, Кераса, Котиора, Ликаста и др.). Это переменное или синтетическое состояние колония–метрополия было не эпизодом, а механизмом колонизационного движения. Алгоритм колонизации состоял не в фиксации ролей метрополии и колонии, а в установлении сети коммуникаций (см. рис. 2, 3).

Пример Милета удобен тем, что показывает стихию колонизации, которая способна, нахлынув, стремительно поднять какой-либо город до уровня мощной метрополии, а затем вдруг опустошить его. Превращение Милета из поселения колонистов (апойкии) в метрополию было не равномерным эволюционным ростом, а цепью событий, в которых Милет служил транзитом и трамплином колонизационной активности. Истоки бурной «милетизации» кроются в проектах, проходивших через Милет как узел межполисных и международных коммуникаций. В минойскую и микенскую эпохи ничто не выдавало в рядовой апойкии будущей мегаметрополии: в Милете наряду с пришельцами (критянами и ахейцами) обитали туземцы (карийцы и ликийцы).

Милет расцвел с появлением в нем афино-ионийской колонии во главе с легендарным ойкистом (основателем колонии) Нелеем в XI в. до н. э.[5] А «матерью колоний» он стал в VII–VI вв. до н. э., когда милетяне выводили одну за другой колонии по всему восточному Средиземноморью — от Египта (Навкратис) до северного Причерноморья (Ольвия, Пантикапей, Танаис, Фанагория, Феодосия и др.). За пиком последовал крах, связанный с разгромом Милета персами. После очередного погрома македонянами город окончательно увял, и на месте «жемчужины Ионии», как его называл Геродот, расположилась турецкая деревня Палатия.

Эллинский мир насквозь пропитан колонизацией, и культура эллинов основана на движении, генерировавшем власть над пространством (схема Одиссея). Не вполне ясно, греки создали колонизацию или колонизация создала греков. Для Геродота и его современников колонизация — исходная обыденность, состояние, не требующее объяснения. Если о судьбе и счастье Геродот рассуждает с притчами и мудрствованиями, то о колониях сообщает буднично и деловито. Он не сразу бы понял сегодняшнего историка, пытающегося разложить события на причины и следствия. При этом у колонизации оказывается так много факторов и причин, что они растекаются в безбрежности. Возможно, колонизацию правильнее считать не следствием, а исходным свойством или даже основанием жизненной стратегии эллинов. Подобно тому как на вопрос «почему кочевники кочуют?» возможен ответ «потому что они кочевники», вопрос «почему эллины выводили колонии?» допускает ответ «потому что они эллины».

Колонизация служила средством осуществления самых разных проектов. Как система контроля над пространством она обеспечивала стратегию безопасности и пути достижения благополучия. Можно вести речь о внутренних и внешних толчках колонизации, а также об основных направлениях, в которых действовал механизм экспансии (персональные проекты, разрешение социальных конфликтов, военная безопасность, торговая коммуникация, создание очагов аграрного и металлургического производства).

---

[5] Археологические подтверждения прямых связей Афин и Милета в XI в. до н. э. см.: Desborough 1972:178–180.

Персональные проекты колонизации осуществлялись теми, кто сталкивался с трудностью или невозможностью самореализации в родном полисе, чувствовал стесненность его рамками или по воле случая оказывался «лишним». Такова, например, судьба лакедемонянина Феры, который в период становления дорийского государства в Лаконике (в конце X в. до н. э.) правил Спартой в качестве опекуна двух своих племянников-престолонаследников. Когда племянники выросли и заняли престол, Фера оказался не у дел. «Проблема лишнего» породила проект вывода колонии на известный Фере по родственным связям остров Каллисту, освоенный к тому времени финикийцами. Он собрал людей из разных спартанских фил, а также вызвался увезти с собой мятежных минийцев и тем самым избавить от них Лакедемон. Фера выступил в роли ойкиста, и остров стал называться его именем (Геродот IV 147, 148).

Четыре столетия спустя, около 520 г. до н. э., сходным образом поступил очередной «лишний» претендент на спартанский престол Дорией. Его старший брат и законный престолонаследник Клеомен был слабоумен, «со склонностью к помешательству», тогда как он, Дорией, «всегда первенствовал среди сверстников и прекрасно понимал, что по доблести престол должен принадлежать ему». Когда лакедемоняне возвели на царство Клеомена, разгневанный Дорией отправился на чужбину, причем так спешно, что не совершил подобающих обрядов, «даже не вопросив дельфийского оракула, в какой земле ему следует поселиться». По подсказкам жителей Феры он отплыл в Ливию, где основал поселение «в прекрасной местности на реке Кинипе», но ненадолго. Через два года, изгнанный ливийцами и финикийцами, он возвратился в Пелопоннес, но сразу же, ведомый «колониальным инстинктом», с тем же кругом соратников двинулся на Сицилию (V 42, 43), где пал в борьбе с эгестянами и финикийцами.

Персональные проекты «лишних людей» из элиты — распространенный и даже мифологизированный мотив вывода колоний. В приводимых Геродотом преданиях мотивами миграций элиты выступают родственные раздоры: сын Европы Сарпедон переселился с Крита в Малую Азию из-за вражды с братом Миносом; Лик (родоначальник ликийцев) прибыл из Афин, изгнанный братом Эгеем (I 173). Персональный фактор колонизации виден в

ключевой роли ойкиста. В большинстве случаев ойкисты были аристократами и даже басилеями (например, Архий Сиракузский и Херсикрат Керкирский — Гераклиды из коринфского правящего дома Бахтиадов, возводившие свою родословную к Гераклу). Ойкист почитался при жизни и посмертно: в колониях совершались ежегодные церемонии в честь ойкиста; в классическую эпоху он давал имя новому городу (Фукидид IV 102.3).

Персональный проект был и средством разрядки социальных конфликтов. Например, Фера увлек с собой мятежных минийцев, претендовавших на привилегии спартанцев. Переселение могло стать результатом гражданской смуты, когда за море отправлялись проигравшие или изгнанники, как в случае с Синопой или с Баркой (Грэхэм 2007:173). Легенды о колонизации нередко повествуют о переселениях во главе с изгнанниками — политическими беженцами или осужденными за преступления, обычно за непреднамеренное убийство (Иванчик 2005:144). Отток лишних во все времена был одним из ключевых факторов миграций, но его не следует понимать как демографический слив через край. Теснота, в том числе экономическая, возникала не механически ввиду избытка населения (навстречу эмигрантам-колонистам шли корабли с рабами)[6], а из-за межличностных и социальных трений. Известно, что тираны нередко выводили колонии для высылки инакомыслящих. Инициаторы колонизации были заинтересованы в удалении «лишних людей», имея в виду не столько рты, сколько умы.

В ряде ситуаций колонизацию подгоняли внешние толчки — натиск дорийцев, лидийцев или персов. Мощная волна ионийских миграций X–IX вв. до н. э. в Малую Азию была вызвана дорийским нашествием (возвращением Гераклидов), а из Малой Азии в Причерноморье в V в. до н. э. — наступлением персов. Бегством была и миграция фокейцев, которые, по свидетельству Геродота, при осаде Фокеи персами погрузились с имуществом на

[6] Среди греков пионерами импорта рабов-иноземцев считаются хиосцы, которые, в отличие от поработивших местные племена лакедемонян и фессалийцев, захватывали или покупали рабов во Фракии, Фригии и на других окраинах греческой ойкумены (см.: Лаптева 2009:303, 304). Геродот описывает судьбу хиосца Паниония, торговавшего оскопленными мальчиками в Сардах и Эфесе (VIII 105, 106).

корабли и пустились в плавание (I 164).[7] Сделав неудачную попытку купить у хиосцев Энусские острова, они решили отправиться на остров Кирн (Корсику), где двадцатилетием ранее, по оракулу, основали город Алалия. Но прежде они совершили действия, отрезающие путь к возвращению. Двинувшись в Фокею, они перебили оставленную там персидскую стражу. «После этого они изрекли страшные проклятия тем, кто отстанет от похода. Затем погрузили в море кусок железа и поклялись, что не вернутся в Фокею прежде, чем это железо не всплывет». Вопреки проклятиям, часть фокейцев (больше половины), охваченная «мучительной тоской по родному городу и насиженным местам», нарушила клятву и вернулась в Фокею. Остальные отплыли на Корсику (I 165).

Этот редкий по детализации эпизод показывает «антропологию колонизации» с ее сложной драматургией конфликтных решений, когда морской табор беженцев мечется от острова к острову, скрепляемый ритуалами и клятвами, раздираемый эмоциями и разногласиями.

В дальнейшем драма своевольных фокейцев переросла в трагедию. На Корсике они прожили пять лет и воздвигли святилища богам. Однако их соседство (а также грабежи и разорения) вызвало недовольство туземцев и контролировавших это пространство карфагенян. Союзный флот карфагенян и этрусков двинулся на фокейцев. В морском сражении фокейцы одержали «Кадмейскую победу» (победу без победителя): весь их флот был разбит (из 60 кораблей 40 погибло, а остальные 20 потеряли боеспособность, «так как у них были сбиты носы»). На этом корсиканский эпизод судьбы фокейцев завершился, и они с женами и детьми погрузились на уцелевший корабль и отплыли в Регий, а затем в Энотрию, где захватили город Элея (ок. 535 г. до н. э.) (I 166, 167).

Этот опыт фокейской колонизации выглядит тупиковым, хотя на счету фокейцев есть и успехи, например создание цветущей Массалии в устье Роны и Эмпория в Иберии. Геродот приписывает фокейцам первенство в освоении моря: «жители Фокеи первыми

---

[7] Так же поступили жители Теоса, которые при приближении персов сели на корабли и отплыли во Фракию, в город-колонию Абдеру (Геродот I 168). Бежавший от персов теосец Фанагор, по свидетельству Арриана, основал Фанагорию.

среди эллинов пустились в далекие морские путешествия. Они открыли Адриатическое море, Тирсению, Иберию и Тартесс» (I 163). Расположенный к фокейцам царь Тартесса (на юге Иберии) предлагал им переселиться из Ионии в его владения, но фокейцы отклонили приглашение.

Доблестные фокейцы — та их часть, что под началом Креонтида двинулись на Корсику (см.: Грант 1998:236), — выглядят успешными тактиками, но не стратегами. Они не воспользовались предложением царя Тартесса для заблаговременного вывода колонии. При экстренной эвакуации они оказались беженцами (возможно, покупка Энусс у хиосцев не состоялась также из-за чрезмерной жесткости фокейцев, хотя обычно по этому поводу речь идет об опасении торговой конкуренции). Избыточную решимость они проявили и в клятвенном отречении от родины, и в разбоях на Корсике. В итоге они потеряли и ойкос и ойкумену, оставшись с одним кораблем и затерявшись на юге Италии. При ином сценарии это небольшое сообщество мореходов[8] могло создать обширную и долговременную колониальную сеть, восстановив или переместив метрополию.

В реалиях Эллады середины I тыс. до н. э. стратегия безопасности была на порядок важнее любой экономики, поскольку в случае поражения вся экономика попросту переходила в руки победителя. Как видно из размышлений Гераклита, из истории и норм Спарты и других греческих земель и городов, в те годы победитель просто становился господином, а побежденный рабом. Не менее унылые последствия грозили тем, кто оказался в подчинении у персов. По свидетельству Геродота, «в завоеванных городах персы, выбрав наиболее красивых мальчиков, вырезали у них половые органы и обращали в евнухов, а самых миловидных девушек уводили в плен к царю. Так они поступали и предавали огню города вместе со святилищами богов. Так-то ионяне в третий раз были обращены в рабство: сначала лидийцами, а затем дважды персами» (Крезом, Киром и Дарием) (VI 32).

Заблаговременное выведение колонии-убежища — азбука эллинской системы безопасности. В уже упоминавшемся споре лого-

[8] По приблизительным подсчетам, численность жителей Фокеи в конце Ионийского восстания составляла около 2,5 тыс. чел. (см.: Roebuck 1959:21–23).

графа Гекатея с тираном Милета Аристагором обсуждался вопрос не о выведении колонии, а о месте ее выведения (Гекатей предлагал Лерос, Аристагор избрал Миркин). В другом случае Гекатей настаивал на необходимости «добиться господства на море», и спор опять-таки касался не самой идеи, а способа ее достижения (Гекатей предлагал использовать для наращивания флота посвятительные дары Креза из святилища в Бранхидах). Господство на море и колония-убежище — звенья одной стратегии.

По необходимости полис мог превратиться в морской табор. Афинянин Фемистокл, убеждая спартанца Еврибиада дать персам бой у Саламина, припугнул наварха: «Если же ты этого не сделаешь, то мы немедленно с женами, детьми и челядью отправимся в италийский Сирис. Город этот уже с давних времен наш, и по изречениям оракула мы должны там поселиться. А вы, лишившись таких союзников, как мы, еще вспомните мои слова!» (VIII 62). Так же поступили афиняне при появлении армии Ксеркса: они «решили покинуть свой город, собрали свое имущество, сели на корабли и, таким образом, сделались морским народом» (Фукидид I 18). Десять месяцев спустя персидский полководец Мардоний вновь вступил в Аттику, и в очередной раз афиняне покинули свой город, став морским народом. Подобно уязвившим Дария скифам, мореходы-афиняне искусно уходили от тяжелых ударов Ксеркса и Мардония, переселяясь с суши на корабли.

Тотальное давление персов резко повысило мореходную и колонизационную активность эллинов, особенно малоазийских ионийцев. По Фукидиду, ионийцы лишь во времена покорения Ионии Киром Персидским обзавелись флотом и добились господства на море у своих берегов (I 13.6). Это не значит, что у них прежде не было флота, но военная угроза вынудила их к морской мобилизации. Еще ранее, в первой половине VII в. до н. э., давление лидийской державы Гига вызвало экспансию Милета в направлении Пропонтиды и Понта (Roebuck 1959). Впрочем, и до усиления лидийского государства, в VIII в. до н. э., Митилена и Хиос создавали колонии у Дарданелл и на фракийском берегу (Кук 2007:252). Следовательно, морская колонизация, свойственная эллинам с давних пор, заметно активизировалась в условиях тотальной угрозы.

Состояние «морской народ», даже краткосрочное, обладало мобилизующим эффектом. Стратегия контроля над пространством не только обеспечивала безопасность, но и порождала морскую экспансию, включая пиратство и торговлю. Многие колонии выводились путем захвата чужих земель и выглядели славными деяниями лишь в глазах эллинов, тогда как карийцам, этрускам или финикийцам они представлялись разбоем. Показательно в этом отношении Геродотово предание об ионийском Милете, согласно которому афиняне-ионийцы, теснимые ахейцами, прибыли в Милет, перебили мужчин и «женились на кариянках, родителей которых они умертвили. Из-за этой резни карийские женщины под клятвой ввели у себя обычай и передали своим дочерям: никогда не вкушать пищи вместе со своими мужьями и не называть мужей по имени за то, что те умертвили их отцов, мужей и детей, а затем взяли их в жены» (I 146). Захватом чужих селений сопровождался вывод колоний коринфянами (Ортигия, Сиракузы), мегарцами (Гераклея Понтийская), фокейцами (Элея) и т. д.

Пиратство не всегда легко отличить от «законного грабежа», особенно применительно к греческой ойкумене, где субъектов права и правды всегда было слишком много. В минойскую эпоху (около середины II тыс. до н. э.) Крит из пиратского логова превратился в талассократию по праву сильнейшего.[9] Именно Крит выступал первоначально очагом морской колонизации, давшей начало греческому заселению Малой Азии. В эпоху Гомера разбой на море и в приморских городах был царским промыслом и не во всех случаях назывался пиратством. Морские странствия Одиссея, возвращавшегося с Троянской войны, начались с пиратского набега на Исмар — город киконов (фракийцев). По словам Одиссея, «ветер от стен илионских к Исмару пригнал нас к киконам. Город я этот разрушил, самих же их гибели предал. В городе много забравши и женщин и разных сокровищ, начали мы их делить, чтоб никто не ушел обделенным» (Одиссея IX 39–42).

Царь Одиссей — не единственный, кто промышлял пиратством. По той же причине задержался с возвращением в Спарту царь Менелай. В «Одиссее» обыденность пиратства видна в пассаже, описывающем прием на Тафосе незнакомцев-мореходов:

[9] О талассократии Миноса см.: Молчанов 2000.

Странники, кто вы? Откуда плывете дорогою влажной?
Едете ль вы по делам иль блуждаете в море без цели,
Как поступают обычно разбойники, рыская всюду,
Жизнью играя своей и беды неся чужеземцам?
(Одиссея III 71–74).

Фукидид со знанием дела повествует об эпохе бума пиратства. «В древности эллины и те из варваров, которые жили на материке близ моря, а равно все обитатели островов, обратились к пиратству с того времени, как стали чаще сноситься друг с другом по морю. Во главе их становились лица наиболее могущественные, которые и поддерживали пиратство ради собственной корысти и для доставления пропитания слабым. Нападая на неукрепленные города, состоящие из отдельных селений, они грабили их и большею частью так добывали себе средства к жизни. Тогда занятие это не считалось еще постыдным, скорее, приносило даже некоторую славу» (Фукидид I 5).

Геродот и Фукидид дружно свидетельствуют, что расцвет Самоса (и всей Ионии) наступил при тиране Поликрате, который в 530–520-х гг. до н. э. захватил власть на море. Его флот насчитывал 100 пентеконтер — пятидесятивесельных военных кораблей. Он знаменит многими успешными начинаниями и редкостным везением. Взлет его могущества связан с решительными действиями на море, где Поликрат без разбору грабил проходившие мимо суда. Проницательный тиран заметил, что друзья больше благодарили его не тогда, когда он их не грабил, а когда грабил и возвращал награбленное. Проект Поликрата состоял не в стяжании богатств, а в завоевании морской власти. Он «первый из эллинов возымел мысль утвердить господство на море, если не считать Миноса Кносского и предшествовавших ему владык моря; так сказать, из рода людей Поликрат первый рассчитывал на владычество над Ионией и островами» (Геродот III 122).

Фокеец Дионисий стал пиратом, лишившись дома и родины после поражения ионийцев в морской битве с персами у Милета (494 г. до н. э.). Пиратство он предпочел рабству. Захватив в бою три вражеских корабля, он принялся мстить финикийцам, бывшим главной морской силой персов. Взяв курс на Финикию, он потопил несколько торговых кораблей и захватил богатую добычу.

Затем он направился в Сицилию, где «стал заниматься морским разбоем, не нападая, впрочем, никогда на эллинские корабли, а только на карфагенские и тирсенские» (VI 17).

У пирата много общего с торговцем, и нередко их занятия сочетались. Аристотель называл пиратство одним из основных хозяйственных занятий наряду с рыболовством, охотой, пастушеством и земледелием. Пират вызывал страх и негодование, но выполнял сходную с торговцем функцию контроля над морскими коммуникациями. Если Самос Поликрата расцвел на организованном пиратстве, то взлет Милета и Сибариса связан с магистральной торговлей (богатство милетян и роскошь сибаритов стали притчей во языцех). Не исключено, что рост колонизационной активности в значительной мере проистекал «из понимания восточными греками тех грандиозных возможностей, которые таила в себе торговая экспансия» (Кук 2007:256).

В экономическом ракурсе торговля и ремесло стоят рядом. В пространственной стратегии они существенно различаются: ремесленник, даже если он производит продукцию на экспорт, работает и мыслит локально, тогда как торговец действует в пространстве сети, выходящей за границы полиса. Социальный статус ремесленника обычно низок — в Спарте отношение к нему граничило с презрением, в Коринфе было несколько мягче (см.: Хэммонд 2007:400). Эллинская культура в силу своей магистральности была ориентирована не только на собственное производство, но и на создание торговых сетей и новых ремесленных очагов.

Существенную роль в выведении и поддержании колоний играла работорговля. Древняя Греция была страной обильного и многообразного рабовладения, включавшего «рабов труда и рабов удовольствия». В 309 г. до н. э. в Афинах насчитывалось 21 тыс. свободных граждан и 400 тыс. рабов, т. е. в среднем по 20 рабов на афинянина (по другим подсчетам, соотношение свободных и рабов в Аттике было 1 : 3). Центрами работорговли были Афины, Хиос, Кипр, Самос, Эфес, Делос (где в день продавалось до 10 тыс. рабов), и «все греческие колонии посылали на рынки целые толпы рабов» (Ингрэм 2011:17, 18, 22, 23). Не исключено, что во многих случаях колонии выводились к местам, удобным для добычи «тел» (по выражению Гезихия), и вся колониальная сеть в этом смысле была сетью для лова рабов.

Едва ли смысл греческой колонизации сводился к торговле, как нередко представляется в современных дискуссиях, «однако невозможно отрицать, что сведения, необходимые для выведения колоний, в большинстве случаев доставляли торговцы» (Грэхэм 2007:176). Кирена была заселена в 630-е гг. до н. э., в то самое время, когда первый греческий торговец, сбившись с курса по пути в Египет, приобретал тартесское серебро (Браун 2007:55). Среди целей вывода Питекус первенствует создание Эмпория — торговой гавани, откуда товары развозились по всей Италии (Ridgway 1973).

В рамках развития сети коммуникаций следует рассматривать и аграрные проекты. Популярная версия об аграрном характере греческой колонизации (см.: Gwynn 1918) представляет целью колонизации поиск плодородных земель. Например, вывод колоний в Питекусы и Кимы объясняется плодородием почв на юге Италии (Ridgway 1973:12). Земледелие было источником жизнеобеспечения, но его пространственную стратегию определяли не сами земледельцы, а их владельцы. Удел земледельца, сопоставимый (по Платону) с рабской долей, состоял в выполнении работ локального характера. Голод, истощение почв, колебания климата могли быть причинами переселений, но и в этом случае организаторами миграций выступали не рабы и земледельцы, а их хозяева. Аграрий прочно связан с участком обрабатываемой земли, и его перемещение в пространственной сети направлялось магистральной элитой. Земледельцы вместе с землей могли перейти от одного правителя к другому, и в его воле было их переселение. В то же время земледельцы были неотъемлемой силой колонизации: без их участия освоение новой территории было невозможно. Среди эллинов наибольшей привязанностью к земле и аграрному труду выделялись беотийцы, которые были выгодными партнерами в выведении колоний.

Метрополией был город, который не просто выводил колонию, но и создавал сеть коммуникаций, обеспечивавших безопасность, торговлю, частные и социальные проекты. Число колоний могло расти и сокращаться, но суть колонизации состояла в отладке сети. В разное время крупнейшими сетевыми центрами (метрополиями) в Элладе были Коринф и Мегары (позднее Афины) на Истме, Халкида и Эретрия в Эвбее, Милет и Самос в

Малой Азии. Некоторые колониальные сети выглядели столь обширными и политически мощными, что заходила речь об «империях», например о Кикладской державе (Страбон X 446–449), о «колониальной империи» Коринфа.

Эти сети были крепки полисной идентичностью и эллинской этничностью. В растяжке от ойкоса до ойкумены выстраивались те многообразные связи, из которых сплеталась сеть метрополий и колоний с их взаимной поддержкой и конкуренцией. Чем динамичнее была сеть, тем стабильнее — полис. Впрочем, полис существовал не сам по себе, а в сетевой динамике, где средствами мобильности были корабль и колония. Иногда колония создавалась как звено панэллинской сети. Навкратис в Египте стал с 620 г. до н. э. торговым центром, где бок о бок обосновались эолийцы, ионийцы, дорийцы. Позднее Афинами эпохи Перикла были созданы панэллинские колонии Фурии и Амфиполь (Браун 2007:54).

Эффективная и адаптивная социальная и политическая организация полиса была, наряду с «сильной культурной моделью», конкурентным преимуществом эллинов в контакте с другими народами (Грэхэм 2007:192). При обилии свободомыслия и конкуренции среди эллинов впечатляет их приверженность полису. Жители колоний часто называли себя гражданами города-метрополии. Так, жители Ольвии в V в. до н. э., много лет спустя после основания этой колонии, упорно считали себя милетянами (Геродот IV 78).

Колония была клоном метрополии — с теми же культами, календарем, диалектом, алфавитом, государственными институтами и филами. Иногда колония сохраняла традиции лучше, чем материнский город. Например, колонисты-лакедемоняне не перевозили с собой царя, но режим царства благополучно перекочевал через Феру в Кирену, и заика-миниец Батт стал царем спартанской колонии в Ливии. В Малой Азии колонисты-ионийцы воспроизвели, помимо прочего, свойственные балканской Ионии «двенадцатиградье» и структуру четырех фил.

Граждане метрополии обладали в колониях особыми правами: во время жертвоприношений они обычно получали первую порцию, а во время общих праздников в метрополии колонии посылали туда установленные обычаями жертвы (Фукидид I 25.4). Материнский и дочерний полисы всегда рассматривались как

естественные союзники, а войны между ними считались позором (Грэхэм 2007:184, 185). «Древним обычаем», по словам Фукидида, было приглашение ойкиста из метрополии, когда колония выводила свое дочернее поселение. Например, жители Керкиры (колонии Коринфа), приняв ок. 620-х гг. до н. э. решение о выведении колонии Эпидамн, вызвали ойкистов из Коринфа, а также пригласили коринфских поселенцев (как и некоторых иных дорийцев) (Фукидид I 24.1, 2). Нередко колония и метрополия при отправке колонистов давали клятву взаимного доступа, как значится в тексте договора IV в. до н. э. между Киреной и Ферой (Форрест 2007:306). Существовал обычай переноса огня из священного очага богини Гестии, находившегося в метрополии, в колонию, чтобы там разжечь такой же священный очаг (Wycherley 1967:166–177).

Однако при всей близости метрополии и колонии новый город изначально представлял собой отдельное государство со своим гражданством, и дальнейшая его политика зависела от воли его элиты. При этом метрополия иногда вела себя достаточно жестко по отношению к колонии, не допуская возвращения эмигрировавших колонистов. Например, появление на Фере отправившихся в Ливию колонистов во главе с ойкистом Баттом было встречено как нашествие врагов. Ферейцы начали «метать в них стрелы, не позволяя пристать к берегу, и приказывали плыть обратно» (IV 156). Эретрийские колонисты, будучи изгнаны из Керкиры приплывшими туда коринфянами под предводительством Харикрата, попытались вернуться на родину, однако соотечественники не дали им сойти на берег Эретрии (Плутарх. Греческие вопросы XI).

Многохитрость

У Гомера Одиссей — «многохитрый» и «многомудрый», и прозвища эти достались ему за искусство дипломатии. Хитрость и мудрость не противопоставляются в негативном свете прямоте и простоте, а выглядят достоинствами в неожиданных ситуациях и в контактах с чужеземцами (завоевание симпатий феаков — триумф этнодипломатии Одиссея). В деле колонизации именно эти качества, а не царственность Агамемнона и не доблесть Аякса, играли ключевую роль.

Судя по гомеровским эпитетам, конкуренцию многохитрому Одиссею составляли прежде всего «плутоватые» финикийцы. Вероятно, многое в практике колонизации греки переняли у финикийцев, включая торговлю металлами (особенно драгоценными) и рабами, счет и слоговое письмо, некоторые навыки кораблестроения и навигации (см.: Kirsten 1956:47). Среди характерных для финикийцев и полезных в деле колонизации умений примечателен их дар «естественного присутствия» в любых обстоятельствах. В «Одиссее» финикийцы упоминаются неоднократно, и всякий раз складывается впечатление их естественного присутствия в стране эллинов.

Прибыв инкогнито на Итаку, Одиссей выдумывает историю своего появления и рассказывает о финикийцах, которые доставили его сюда сонного среди ночи, а сами отплыли в Сидонию. Правдоподобие вымысла показывает, насколько часто у островов Эллады в ту пору сновали корабли финикийцев. В другом случае, сочиняя очередную историю скитаний, Одиссей в облике лысого старца повествует о своих пиратских рейдах в Египет, и вновь в его легенде всплывает «финикиец коварный и лживый», который сначала увлек его в Финикию, а затем замыслил продать его в рабство в Ливию. В рассказе свинопаса описываются будни финикийцев в Элладе:

Как-то причалили к нам финикийцы, народ плутоватый.
Много красивых вещей привезли в корабле они черном.
А у отца моего была финикиянка в доме,
Стройная, редкой красы, в рукодельях искусная женских.
Голову хитрые ей финикийцы искусно вскружили.
Близ корабля их стирала она, и один финикиец
С нею сошелся любовью и ложем. А слабому полу
Голову это кружит, даже самой достойной из женщин.
Начал ее он расспрашивать, кто она, родом откуда,
Тотчас она указала на дом наш с высокою кровлей:
— Родина мне, — похвалиться могу, — Сидон многомедный
Был мне отцом Арибант. В великом он плавал богатстве.
Но захватили меня пираты тафосские, — с поля
Шла я тогда, — и сюда привезли, и этому мужу
Продали в дом, за меня подходящую давшему плату
(Одиссея XV 415–429).

В рассказ о злоключениях сидонской пленницы вписывается картина финикийской торговли:

Целый год финикийцы у нас оставались и, много
Наторговавши, на полый корабль погрузили товары.
После ж того как корабль для отъезда они нагрузили,
К женщине тотчас послали гонца, чтоб ее известил он.
В дом отца моего пришел человек плутоватый.
Он ожерелье из зерен принес золотых и янтарных.
Мать подошла, сбежались рабыни и то ожерелье
Начали щупать руками, глядели глазами, давали
Цену. А он в это время рабыне мигнул тихомолком...
(Одиссея XV 455–463).

Финикийцы были не только вездесущими торговцами, но и воинами-мореходами у египетских фараонов и персидских царей. Вступая в контакты и союзы с разными правителями и народами, они сохраняли свою деятельностную схему и идентичность. Не слишком беспокоясь о приоритетах власти, они служили в чужих армиях и довольствовались вторыми ролями (впрочем, по описанию Геродота, именно царь Сидона сидел первым по статусу в войске Ксеркса). Самобытная и гибкая дипломатия финикийцев свойственна мастерам симбиоза. Их волновал контроль над морем и торговой сетью, и они ревниво следили за нарастающей колониальной экспансией конкурентов-эллинов. При малейшей возможности с впечатляющей методичностью они добивали отдельные ослабевшие греческие колонии и флотилии (особенно в южном и западном Средиземноморье). Время от времени они превосходили эллинов в соперничестве за Эгеиду (вступив в союз с Киром, Дарием и Ксерксом), Геллеспонт, Пропонтиду, Понт.

В конкуренции с плутоватыми финикийцами вызрела эллинская «многохитрость». Впрочем, греческая этнодипломатия отличалась от финикийской. Если финикийцы оплели Средиземноморье торгово-транспортной паутиной и рассматривали его как рыночно-ресурсное пространство, то эллины строили свою ойкумену на культуре полиса, создавая очаги производства и вовлекая в свою орбиту туземцев. Если финикийцы обладали своего рода экстерриториальностью, рассеиваясь повсеместно в качестве профессиональных торговцев, то спектр воздействия эллинов на колонизуемые сообщества был шире — от вытеснения и/или

порабощения местных жителей (Сиракузы, Гераклея Понтийская) до альянса с местными правителями (Ольвия в Причерноморье, Эмпорий в Иберии) и службы в войсках фараона (Навкратис в Египте). При множестве вариаций внутри этого спектра и неизменном различении себя и варваров эллины основывали эти связи на долговременном партнерстве.

Установление прочного партнерства требовало основательной взаимной адаптации. Тактическим приемом, обеспечивавшим неспешное сближение и страховку на случай агрессии со стороны туземцев, было первоначальное поселение на острове близ предполагаемой колонии. Во многих случаях колонисты останавливали выбор на островах, лежащих недалеко от материка, и на островах в эстуариях рек (Winter 1971:12–29). Островная тактика обеспечивала господство на море, безопасность, регулируемый диалог и нарастающее доминирование. Колонизацию южной Италии (будущей «Великой Греции») в 730-е гг. до н. э. коринфяне начали с острова Ортигии, изгнав с него сикулов, обращенных в крепостных и данников (Фукидид III 103.1, 2; IV 20.4).

Прежде чем создать Эмпорий в заливе Росас, на восточном склоне Пиренейского горного кряжа, фокейцы и массалиоты высадились на небольшом острове неподалеку от побережья, а вскоре утвердились и на материке. По сведениям Страбона и Тита Ливия, туземцы-индикеты пожелали иметь общую с колонистами-греками защитную стену, так что внутри Эмпория было два города, обнесенных одной внешней стеной и разделенных внутренней. Со временем обе части воссоединились, образовав единую общину (Грэхэм 2007:170, 171).

Вопреки неоднократным прорицаниям Пифии, ферейцы долго не решались вывести колонию в Ливию. Наконец ферейский ойкист Батт с двумя 50-весельными кораблями двинулся к африканским берегам, но высадился не на материке, а на острове Платея неподалеку от побережья Ливии. Выдержав двухлетнюю паузу и получив очередной оракул, ферейцы двинулись на материк и «основали поселение в самой Ливии против острова. Местность эта называлась Азирида». В первые шесть лет отношения эллинов с туземцами ладились, и ливийцы даже предложили колонистам переселиться в более благоприятное место, где бьет ключ Аполлона и «небо в дырках» (Геродот IV 156, 157, 159).

Тот же сценарий морской колонизации с острова реализовался в районе Днепро-Бугского лимана в северном Причерноморье: выходцы из Милета в середине VII в. до н. э. высадились на острове Березань, а затем основали Ольвию на берегу лимана. Березань и Ольвия обеспечивали контроль над морскими и речными коммуникациями, уходившими далеко в глубь материка (Грэхэм 2007:151, 152). Этот контроль осуществлялся не силой, а искушением культурой (включая вино и вакхические увеселения). Воздействию такого рода подверглись прежде всего скифские правители, с которыми колонисты вступали в доверительные и договорные отношения. В паутине эллинской культуры оказался, например, скифский царь Скил, у которого мать была истриянкой, а жена — борисфениткой (обе из среды греков-колонистов). По свидетельству Геродота, «мать научила его говорить и писать по-эллински», и скифскому образу жизни он предпочитал эллинские обычаи. Время от времени царь приближался с войском к городу борисфенитов, оставлял свою свиту у ворот, один входил в город, облачался в эллинскую одежду и по месяцу и более жил по-милетски (борисфениты называли себя милетцами по метрополии) в своем выстроенном в эллинском стиле роскошном дворце с женой-борисфениткой.

Очарованный эллинской культурой, скифский царь принял посвящение в таинства Диониса, хотя у скифов вакхические исступления эллинов вызывали насмешки и порицания. Стараниями некоего хитроумного борисфенита скифским вождям удалось увидеть Скила, шествующего в толпе вакхантов. Возмущенные кочевники избрали нового царя, а Скилу пришлось искать спасение во Фракии. Новый царь скифов Октамасад двинулся войной на фракийцев, добился выдачи Скила и отсек ему голову. «Так крепко скифы держатся своих обычаев, и такой суровой каре они подвергают тех, кто заимствует чужие», — заключает свой рассказ Геродот (IV 80).

Судьба Скила служит примером неумеренной колонизации, когда избыточное сближение грозит нарушением равновесия культур. Переход этой грани обычно случался из-за межэтнических браков. Именно полуэллинство открыло Скилу путь к греческим богам и ритуалам, а позднее привело к гибели за измену отцовским обычаям. Со своей стороны борисфениты построили

скифскому царю дворец, окруженный беломраморными сфинксами и грифонами, запирали за ним городские ворота и оберегали от скифских глаз.

Не всякий вывод колонии начинался с высадки на прибрежном острове, но тактика плавного вторжения на новую территорию была свойственна большинству эллинов. Уже обсуждавшиеся случаи резких атак фокейцев Креонтида или спартанцев Дориея подрывали партнерство и предопределяли крах колоний. Греки рассматривали колонизацию вовсе не как оккупацию и завоевание чужих земель. Многохитрость состояла не в силовом захвате, а в культурном и торговом «обволакивании» туземцев. Путешествия с целью вывода колоний совершались на военных пентеконтерах, а не на круглых торговых судах (Грэхэм 2007:179), но военная оснастка кораблей колонистов имела не столько батальный, сколько психологический эффект.

Иногда между колонистами и туземцами возникали отношения, напоминающие симбиоз, но часто неустойчивый и не всегда основанный на безоблачном партнерстве. По легенде, некогда (условно в середине II тыс. до н. э.) красавец Милет, преследуемый царем Крита Миносом, обосновался в Малой Азии, дав имя будущей «матери колоний» (Грейвс 1992:226), и между колонистами (критянами) и туземцами (карийцами и лидийцами) в основном царил лад. Позднее, в эпоху ионийской колонизации XI в. до н. э., между эллинами и туземцами (карийцами и лелегами) разгорелись войны (Huxley 1966:47–54). Затем ионийцы и карийцы выступали успешным колонистским тандемом в Египте: Псамметих I захватил власть в Египте с помощью ионийцев и карийцев, предоставив им место для поселения. Примечательно, что и в этом случае эллины первоначально (около 660 г. до н. э.) поселились в дельте Нила, поближе к морю, и лишь позднее поднялись вверх по реке и основали город Навкратис в 630–620-е гг. до н. э. (Браун 2007:53; Кук 2007:253). Не исключено, что лидийский царь Гиг позволил милетянам основать на своих землях колонию Абидос, поскольку видел в них удобных наемников (Roebuck 1959:112, 114).

Греческая колонизация повсеместно сопровождалась эллинизацией местного населения. Напротив, процесс варваризации греческих общин не характерен для архаического и классическо-

го периодов. Если возникало смешанное или объединенное поселение, как в Леонтинах, оно сохранялось в таком виде недолго (Грэхэм 2007:188, 189). Греческой этнодипломатии был свойствен сдержанный диалог, когда плотность контакта тщательно контролировалась, а поведение в отношении к иноплеменникам строго регламентировалось.

Эта регламентация предполагала жесткую нормативность поведения самих колонистов, поскольку промах одного немедленно и надолго бросал тень на все сообщество. В годы Великой колонизации произошло усиление власти вождей-ойкистов, которая, по мнению Аристотеля, превышала даже власть лакедемонских царей и включала военное предводительство, судебные и религиозные полномочия. Поведенческий регламент колонистов предопределил усиленную разработку норм права, и не случайно свойственная эллинскому миру VII в. до н. э. письменная кодификация права появилась вначале в колониях, а затем в метрополиях. Спарта обходилась устным законодательством (Ликург), а колонии породили целый ряд прославленных законодателей, включая Залевка в ахейских Локрах, Харонда в ионийской Катане, Диокла в дорийских Сиракузах. Законы Залевка и Харонда первой половины VII в. до н. э. рассматривались как самые древние писаные законы у греков (Виллетс 2007:282).

Оракулы

Прагматика эллинов свободно сочеталась с мифологией, образуя прагматичную мифологию. Ни одно судьбоносное решение, будь то война или вывод колонии, не принималось без оракула. Цицерон (О дивинации I 1.3) задавался риторическим вопросом: «А Греция разве выслала хоть одну колонию в Эолию, Ионию, Азию, Сицилию, Италию без оракула Пифии или Додонского, или Аммона?»

По Геродоту, искусство прорицания, как и поименное почитание богов, пришло в Элладу из Египта, и жрица Зевса в Додоне, древнейшем греческом прорицалище, появилась из египетских Фив (II 52, 58). В середине VIII в. до н. э. на первый план среди святилищ-прорицалищ вышли Дельфы, и их успех определенно связан с Великой греческой колонизацией. Приблизительно с 735 г. до н.э. (после основания сицилийского Наксоса) любой

полис, вынашивая колониальные планы, обращался прежде всего в Дельфы за божественной санкцией (Форрест 2007:366). Именно в это время сложилось представление о круглой ойкумене, в центре которой помещается Эллада, а в центре Эллады — пуп Земли Дельфы.

Первоначально в Дельфах властвовали жрецы с Крита, которых бог Аполлон в момент основания святилища предостерегал от пустых слов и дурных дел (Форрест 2007:342):

Если же слово пустое за вами замечу иль дело,
Если проявите гордость, что часто меж смертных бывает, —
Люди другие тогда властелинами станут над вами,
И в подчиненье у них навсегда вам придется остаться
(«Гимн к Аполлону Пифийскому»).

После 600 г. до н. э. опасения Аполлона сбылись, и контакты Дельф с Критом затихли. В 590-е гг. до н. э. Фессалия, Сикион и Афины в ходе Первой священной войны «освободили» оракул Дельф. С 550 г. до н. э. управление делами оракула переходит в ведение совета, назначавшегося амфиктионией — религиозным союзом, названным по имени героя Амфиктиона (Форрест 2007:371–373). Расцвет Дельф связан с ростом международных и межполисных связей (Кулишова 2001). Вопросы контроля над пространством решались непременно по воле Аполлона. Согласно оракулу Гераклиды получили власть и согласно оракулу ее потеряли: Кандавлу был предречен плохой конец, а узурпация власти его телохранителем Гигесом была освящена дельфийским оракулом, подтвердившим его право на престол. Вознамерившись перенести с Крита в Лакедемон государственное устройство, Ликург вопросил оракул в Дельфах. Позднее спартанцы, решив завоевать Аркадию и одолеть тегейцев, получили из Дельф указание перенести в Спарту останки Ореста, сына Агамемнона, после чего стали одерживать долгожданные победы над тегейцами (Геродот I 7–13, 65–68).

Для Геродота рассказ о прорицании — неотъемлемая часть повествования о событии. Часто интрига сюжета состоит именно в соотношении прорицания, толкования и происшествия. Например, лидийский царь Крез получил сразу два оракула — из Дельф и Амфиарая — о том, что если он начнет войну с персами,

то сокрушит великое царство. Позднее, уже разбитый и плененный, Крез узнал, что оракул подразумевал крушение его собственного царства, а не персидской державы Кира.

На получение этого двусмысленного и рокового оракула Крез потратил несметные богатства, запросив прорицания с нескольких святилищ, включая Дельфы, Додону, Бранхиды, Амфиарай, Абы, Трофонию и Аммона в Ливии. В драму пророчества были вовлечены, помимо Аполлона, богини судьбы Мойры (Атропа, Клото и Лахесис), а в суждениях о нем прозвучали высокие сентенции вроде «судьбы не могут избежать даже боги» (Геродот I 46, 91). Судя по воссозданной Геродотом атмосфере, ритуал прорицания-толкования имел целью не только собственно предсказание, но и освящение затеи через согласование с богами и жрецами. Если речь шла о колонии, эта «публикация» проекта служила тому, чтобы новая апойкия стала полисом, поскольку она обретала общеэллинское признание при ее освящении Дельфами.

Прагматичные греки мало похожи на религиозных фанатиков, и их апелляции к богам и прорицателям напоминают не слепую веру, а делегирование полномочий в туманных ситуациях. Ритуал прорицания порой только усиливал неопределенность, превращая происходящее в игру случая. Аполлон в Дельфах именуется Локсий — «вещающий иносказательно»; его иносказания передает восседающая на треножнике одержимая Пифия; ее бессвязные экстатические восклицания преобразует в речь жрец; изречения жреца толкуют мудрецы, соотносящие оракул с реальностью. Ключевым звеном этой цепи неясности была Пифия, роль которой первоначально играла не умудренная жизнью матрона, а красивая юная девица; лишь после случившегося однажды похищения Пифии похотливым фессалийцем на эту роль стали подбирать зрелых женщин, одетых в платье незамужней девушки (Форрест 2007:365).

Порой Пифия становилась жертвой не только сластолюбца, но и политика. Так случилось с прорицательницей Периаллой, когда в споре за престол Лакедемона прорицание Дельф вопросил спартанский царь Клеомен. На вопрос, является ли его соперник Демарат сыном Аристона (и, соответственно, законным претендентом на престол), Пифия дала отрицательный ответ. Демарат был низложен и бежал в Персию. Вскоре, однако, выяснилось, что оракул вещательнице внушил дельфийский интриган Кобон,

действовавший по наущению Клеомена. В итоге Пифия была лишена сана, Кобон изгнан из Дельф, а Клеомен зарезался в безумии. Впрочем, спартанцы допускали, что безумием Клеомен обязан не Аполлону, а Дионису, из-за частых пирушек со скифами, у которых он научился пить неразбавленное вино (Геродот VI 66, 67, 75, 84).[10]

Прагматичная мифология не исключала спора с богами. Однажды, например, жители Кимы отправили послов к Бранхидам (в Дидимы) с вопросом, что ответить на требование персов выдать беглого мятежника Пактия. Послы вернулись с оракулом «выдать Пактия персам». Однако Аристодик, сын Гераклида, усомнился в истинности ответа, полагая, что послы лгут. Кимейцы собрали новое посольство к Бранхидам, включив в него Аристодика. По прибытии в Бранхиды Аристодик обратился к богу и получил прежний оракул — выдать Пактия персам. Тогда он стал ходить вокруг святилища и разорять гнезда воробьев и других птиц, которые нашли себе приют при храме. Послышался голос, взывавший к Аристодику: «О нечестивейший из смертных! Зачем дерзаешь ты на такое деяние? Зачем изгоняешь ищущих защиты из моего храма?» Аристодик возразил богу: «Владыка! Сам ты помогаешь прибегающим к твоей защите, а кимейцам приказываешь выдать молящего о защите!» А бог ответил ему словами: «Да, так я повелеваю, чтобы вы скорее погибли из-за вашего нечестия и впредь не приходили вопрошать оракул о выдаче молящих о защите». После такого ответа кимейцы не захотели выдать Пактия из страха погибнуть или, оставив у себя, подвергнуться осаде. Поэтому они отослали его в Митилену (Геродот I 158–160).

Свободный диалог с богами — языческий стиль религиозности. В греческой мифологии люди и боги связаны многообразными, вплоть до интимных и конкурентных, отношениями. По Гомеру, «В образе странников всяких нередко и вечные боги // По городам нашим бродят, различнейший вид принимая, // И наблюдают и гордость людей и их справедливость» (Одиссея XVII 485–487). В этой атмосфере и жрецы-прорицатели не только придерживались сложившихся канонов, но зачастую вели себя и вы-

[10] У скифов пили неразбавленное вино и напивались допьяна как мужчины, так и женщины. Кроме того, женщины разливали вино по одежде, считая это прекрасным обычаем (Иванчик 2005:139).

глядели экстравагантно. Например, у жрицы Афины в Педасах, близ Галикарнасса, по преданию, в случае грозящей опасности отрастала длинная борода.

Оракулы Аполлона о создании колоний могли многообразно трактоваться, оспариваться и игнорироваться. Взаимное упорство, если не упрямство, богов и людей проявилось, например, в истории вывода колонии из Фер в Ливию, по поводу чего спартанцы-ферейцы вопрошали оракул не менее пяти раз. В первый раз царь острова Феры Гринн прибыл в Дельфы принести гекатомбу, а Пифия повелела ему основать город в Ливии. Гринн возразил: «Владыка! Я уже старик, и мне слишком тяжело отправиться в путь. Повели это сделать кому-нибудь из более молодых людей здесь». Ферейский царь указал на сопровождавшего его минийца Батта. Однако «по возвращении на Феру царь и его спутники пренебрегли изречением оракула: они не знали, где находится Ливия, и не решились наудачу отправить поселенцев» (Геродот IV 150).

По другой (киренской) версии, мальчик-заика Батт прибыл в Дельфы для избавления от речевого недуга, а Пифия изрекла: «Батт, ты пришел ради речи, Феб же, владыка Аполлон, в Ливию, агнцев кормящую, шлет поселенцем тебя». Избранник Аполлона принялся возражать: «Владыка! Я пришел вопросить тебя о моей речи, а ты возлагаешь на меня другую невозможную задачу, приказывая вывести поселение в Ливию. Но с каким войском? С какими людьми?» Пока Пифия повторно настаивала на предсказании, Батт пустился в обратный путь на Феру (IV 155).

Пренебрежение к оракулу — со стороны царя Гринна или заики Батта — стоило ферейцам благополучия. Бог семь лет не посылал дождя на Феру, и на острове засохли все деревья, кроме одного. Ферейцы во второй раз вопросили оракул, и Пифия вновь повелела им выслать колонию в Ливию. Ферейцы отправили вестников на Крит разузнать путь в Ливию. Там они отыскали ловца багрянок по имени Коробий, который был однажды отнесен бурей на остров Платея у ливийского берега. Ведомые Коробием, ферейцы во главе с ойкистом Баттом высадились на острове Платея неподалеку от берегов Ливии (IV 151, 153, 156).

Прожив на острове два года, но испытывая прежние тяготы, ферейцы в третий раз отправились в Дельфы. Они пожаловались на продолжающиеся неурядицы, несмотря на поселение в Ливии.

В ответ Пифия изрекла: «Ведаешь лучше меня кормящую агнцев Ливию, в ней не бывав. Мне же, бывшему там, дивна твоя мудрость безмерно». На сей раз Батт решил основать поселение в самой Ливии, напротив острова Платея, в местности Азирида (IV 157). Так возникла колония Кирена.

В четвертый раз оракул вмешался в судьбу колонистов через полвека, при третьем царе Кирены Батте Счастливом. В ту пору киренцы решили призвать к себе новых эллинов-поселенцев, обещая им земельные наделы. Пифия поддержала приглашение изречением: «Кто слишком поздно придет в вожделенную Ливии землю, после раздела земли, пожалеть тому горько придется». В Кирену нахлынула целая волна эллинов-мигрантов, отчего возникли земельные конфликты с туземцами. Ливийцы, прежде радушно принимавшие эллинов, ополчились на них, призвав на помощь египтян во главе с царем Априем (IV 159).

В пятый раз киренцы отправились в Дельфы вопросить оракул, при каком государственном устройстве им лучше всего жить. Пифия велела им пригласить посредника из Мантинеи в Аркадии. По просьбе киренцев мантинейцы послали к ним Демонакта, который, ознакомившись с положением дел в городе, разделил население на три филы — ферейцев, пелопоннесцев и критян, других островитян. Он выделил царю Батту царские владения и жреческие доходы, а все остальное, что принадлежало прежде царю, сделал достоянием народа (IV 161). Таким образом, все шаги по выведению колонии — от создания апойкии до устройства ее законов — совершались по согласованию с Дельфами.

Помимо дельфийского посредничества, участие Аполлона и его жрецов в важных событиях обеспечивалось храмовой колонизацией. Храмы с оракулами Аполлона возникли, помимо Дельф, в Делосе, Дидимах, Кларосе, Абах, на Пелопоннесе, в Филле, Херонее. По легенде, еще аргонавты возвели храм Аполлону Эмбасию (Береголюбцу) у Кизика. Царь Батт устроил в Кирене великолепные святилища, афиняне в Милете создали два святилища Аполлона: покровителем самого Милета считался Аполлон Дельфиний, а неподалеку от Милета, в Дидимах (Бранхиды), находился храм Аполлона Филесия; ионийский ойкист Милета Нелей специально обращался с вопросом о месте

будущего поселения в святилище Аполлона в Дидимах (Кобылина 1965:74–114). Феокл воздвиг алтарь Аполлона Архегета в Нанкосе на Сицилии. По воле дельфийского оракула на Хиос из Гестиеи прибыл басилей Амфикл. По свидетельству Страбона, при основании Массалии действиями колонистов руководил оракул Аполлона, повелевший им взять проводника от Артемиды Эфесской (IV 1, 4).

Аполлон стал символом и патроном греческой колонизации. Он выступал не только Мусагетом (водителем Муз), но и Мойрагетом (водителем Судеб), пророком и властителем пространства осваиваемой ойкумены. В классическую эпоху Аполлон превратился в главного «колониального» бога, который считался основателем многих греческих колоний, а консультация с его оракулом в Дельфах была обязательной для всякого ойкиста. История об основании любой колонии непременно содержала в себе рассказ об особом оракуле, а Дельфы контролировали греческую колонизацию во всех ее деталях (Грэхэм 2007:174).

Парадокс состоит в том, что Аполлон считался покровителем мудрости, а его оракулы, как часто утверждают, были загадочны и нелепы (это тем более странно, что, как полагают многие исследователи, большинство пророчеств было поздними подделками и могло быть отредактировано). Дельфы — тот самый храм, которому, по словам Платона, мудрецы посвятили «начатки своей мудрости»; по рассказу Диогена Лаэртского, Фалес и Биант, признанные мудрецы своего времени, отказались именоваться мудрейшими, признавая безусловный приоритет Аполлона (I 28, 29, 82, 83). Туманный оракул и высшая мудрость сходятся в той высшей точке, где пересекаются траектории Мусагета и Мойрагета, где открываются новые возможности и правит «божественный случай».

В деле выведения колоний неясный оракул был адекватен неопределенности судьбы, и в этом состоит, как ни странно, рациональность культа и ритуалов Аполлона. Колонизация не поддерживала уравновешенный миропорядок (как нередко преподносится), а нарушала его, развиваясь в бурлящей стихии разрывов и перемен. При обращении к ее истокам, а не итогам, видно, что главным мотивом экспансии были не выгоды торговли и не выселение лишних ртов, а открытие пространства возможностей и неясностей.

Оракул — иная по качеству гуманитарная технология в сравнении, скажем, с посулами политического демагога (др.-греч. *δημαγωγός* — «народный вождь», популист), нацеленными на житейскую обыденность. Это головоломка, способная раскручиваться в неожиданные альтернативные сценарии. Прорицание всегда было не предопределением, а вызовом и испытанием, полным шансов и рисков. Естественно, оракул обращен не к плебсу, а к деятельной элите, которой была полна античная Греция. Это технология креативной мотивации, дающая претенденту клубок возможностей в неясной перспективе.

История Геродота полна оракулов, но она ничуть не примитивнее позднейшей исторической демагогии, ищущей материализации в рациональной обыденности. Избыточна риторика исследователей, снисходительно оправдывающих пристрастие отца истории к прорицаниям, видениям и священнодействиям тем, что «во всем этом он был истинным сыном своей эпохи» и не стремился отыскать подлинные причины событий (Борухович 2002:613). Геродот не только адекватен своей эпохе, но и технологичен в представлении оракула как священной санкции и креативного импульса. К счастью, антропология его истории-исследования позволяет различить этот старый мотив, подвигавший героев античности на рискованные и неординарные деяния. Озарявшие их вещие сны и пророчества в чем-то сродни открытиям, и их толкование вряд ли может быть сведено к рутинной причинно-следственной логике.

Геродот — жрец-исследователь истории как поля возможностей, а не руин происшедшего. История в его подаче священна именно потому, что она мотивирует и направляет людей в принятии решений. При этом он, осуждая соотечественников за религиозное невежество, сдержан в описаниях священных технологий. Повествуя о богах Египта, Геродот восклицает: «Да помилуют нас боги и герои за то, что мы столько наговорили о делах божественных!» (II 46). Отец истории многого недоговаривает, и в этом состоит этика посвященного, сдержанно — для мирян — повествующего о сакральном. Потому и интересно путешествовать с Геродотом, что его история полна жизни и обращена в равной мере в прошлое и в будущее, а его собственные путешествия связаны с обзором в греческой ойкумене не только достижений, но и возможностей.

***

Критская, кикладская, коринфская, афинская, милетская колониальные сети лишь метафорично могут зваться «империями», поскольку строились они не на иерархии, а на партнерстве и конкуренции. Пупом греческой ойкумены было дельфийское капище Аполлона, а не дворец властителя. Впрочем, успехами своей экспансии, особенно в сочетании со сходными достижениями финикийцев, греческие полисы провоцировали подражание со стороны сильных властителей (как известно, дорийцы расселялись лишь в тех землях, где уже обитали другие эллины). Более того, взлеты колониального движения часто приходились на тирании, и выведение колонии предполагало «культ личности» ойкиста. Единовластию в греческой ойкумене мешала лишь конкуренция разных метрополий, ревниво следивших (не без участия жрецов Аполлона) за успехами друг друга. Эллинские метрополии слишком основательно прикипели к полисному стилю и слишком ревниво следили друг за другом, чтобы допустить усиление одной из них до реальной империи. Зато полуварварские окраины эллинского мира — Скифия, Македония, а затем Рим — преуспели в военной экспансии и культе единовластия. Александр Великий, а затем римские властители превратили ойкумену в империю, освященную вскоре всемирной христианской миссией.

Глава 3. Репертуар кочевника

Мобильность и мобилизация. Контраст и симбиоз. Стайность и стадность. Избранность. Тотальность. Имперскость. Осевший обоз. Город и орда

Пралюди, заселившие планету, были кочевниками, и их практики освоения и покорения земель и племен легли в основу репертуара колонизации. Средневековые кочевники в своих миграциях и завоеваниях сохранили немало от этой первоначальной схемы колонизации, дополнив ее масштабами имперскости. Кочевая орда отличается от прочих сообществ тем, что может быть одновременно метрополией и колонией; ее ядром выступает не стольный град, а движущаяся ставка вождя. В динамичной социальной ткани, создаваемой кочевниками, нелегко отыскать устойчивые формулы культурного или экономического влияния, а город предстает не матерью (как в греческой традиции), а пасынком кочевой колонизации.

Кочевой стиль предполагает охват большого пространства, в котором происходит передвижение не только кочевников, но и оседлых жителей по воле кочевников. Направления и характер перемещений оседлых жителей определяются не их потребностями и мотивами, а нуждами и интересами (иногда сиюминутными капризами) кочевников. Более того, часто эти перемещения вызваны политикой подчинения, а не социальной или экономической целесообразностью. Кочевники были заинтересованы не во внутренней организации оседлых сообществ, а в их подчинении, нередко путем разобщения, смешения, замещения. Тем самым кочевая империя действовала как миксер в пространстве колонизации. «Эффект миксера» присущ всем империям, но у кочевников он особенно выразителен.

Насколько экспансию кочевников можно считать колонизацией, если их империи были эфемерными, а оседавшее в городах потомство быстро растворялось в оседлой культуре? Допустимо ли противопоставление кочевников и оседлых, если они составляли симбиоз, доходивший до синтеза? Только ли от дикости исходит убежденность кочевников в своем праве вершить судьбы городов, «пасти и разводить» земледельцев?

Мобильность и мобилизация

Из этологии известно, что живые существа ведут себя по-разному в состояниях статики и динамики и что движение (миграция, переход) предполагает мобилизацию. Например, стая бабуинов на отдыхе рассеяна и занята едой, сном, сексом, чисткой, зато при миграции становится сплоченной и организованной: доминанты и самки с детенышами образуют ядро стаи и движутся в центре; оболочку ядра составляют прочие самцы и молодые самки; в авангарде и арьергарде, предупреждая нападения хищников, движутся молодые самцы. Особый порядок миграции, охоты и обороны отмечен у многих других видов животных. Та же дихотомия поведения свойственна и сообществам людей с резким контрастом мира (покоя, отдыха) и войны (рейда, миграции). Замечено, что в состоянии покоя вожди племен принимают мало решений, а в состоянии мобилизации — много. Свободолюбивые ирокезы, в быту опиравшиеся на традиции и персональные мнения, в условиях войны забывали о личной свободе, подчинялись вождю и придерживались жесткой дисциплины (Wallace 1968:174, 176, 177). Как видно, понятия «мобильность» и «мобилизация» связаны не только этимологически, но и сущностно.

Поскольку мобильные группы чаще и дольше, чем оседлые, находятся в тонусе мобилизации, у них вырабатываются специфические социальные технологии. Кочевники, при нехитром материальном быте, выработали сложную военную организацию и социально-политическую структуру: многоступенчатую иерархию (24 ранга у хунну), десятичную организацию разделенного на крылья войска-орды (тумен, тысяча, сотня, десяток), систему виртуозных маневров (ложное отступление, облава), мгновенной мобилизации и быстрой связи (вестовые, ямская гоньба). Эта система отличается от бюрократии оседлых обществ тем, что ее ядро (вождь и его ставка) связано цепью мгновенных реакций со всей ордой, благодаря чему орда способна выполнять и «чувствовать» волю вождя. Как показал обзор мотивов и действий Чингис-хана, самые успешные его решения (например, по преобразованию армии) были приняты не в паузах мира, а в гонке войны (Головнёв 2009:357–419). Эта мобильно-мобилизационная технология не только кратно усиливает агрессию и мощь кочевников, но и ошеломляет склонных к покою оседлых жителей.

Земледельца и ремесленника подавляет не столько реальная сила кочевника, сколько магия его власти, сочетающая внезапность и стремительность, агрессию и дипломатию, жестокость и милость, буйство и порядок. Алгоритм господства генерируется в мобильном менталитете и служит эффективным инструментом завоеваний. Кочевник воплощает в себе власть и даже играет ею, вовлекая в эту игру оседлых жителей.

Локальным сообществам чуждо стремление к пересечению границ. Даже война в их практиках предполагала не передел пространства, а поддержание или восстановление сложившегося порядка. Им не свойственна экспансия: обычными для них мотивами войны были охота на женщин, конкуренция вождей, месть, захват имущества, но не чужой территории. По наблюдениям Р. Гарднера, у дани Новой Гвинеи война была «главным элементом культуры» и высшим, почти религиозным, призванием мужчин, вне которого они попросту не считались людьми. При этом регулярные военные стычки не нарушали племенных границ, а по-своему их укрепляли: сражения проходили на пограничных пустырях (Варабара, Токолик, Сиобара) по правилам, включавшим предварительный выбор места и времени, введение в бой равных по численности групп, насмешки над врагами на линии схватки (вроде «идите домой к своим женам и сладкому картофелю») (Gardner 2006:14, 25, 29). По свидетельству Н. Шаньона, у яномамо Амазонии война была хроническим состоянием, но территориальный захват не был ее целью или следствием (Chagnon 1968:110). Племенная война могла быть «условием самосохранения общества» (Mead 1968:217) и «серьезным экономическим делом» (Goldshmidt 1989:17), но ее мотивы и цели оставались персональными и локальными. Сходными чертами, несмотря на иной антураж, характеризовались бесконечные распри между средневековыми европейскими королевствами или русскими княжествами. В соблюдении установленных правил, в том числе границ, они больше напоминали турниры (с отстаиванием престижа, суверенитета, с добычей трофеев), чем территориальную экспансию. В отличие от локального военного состязания, магистральная военная экспансия предполагает решительное пересечение границ.

Магистральная мобильность вписана в мотивационную схему и ментальную карту кочевника. Земледелец, рыбак и ремесленник

выработали иную схему: им близка уютная локальная ниша с родными местами и очерченными границами, но чуждо пересечение границ, вторжение в чужое пространство, состояние долгого пути. Повседневный контроль над обширным мозаичным пространством предполагает неординарную физическую и информационную мобильность. Кочевники, будь то охотники-воины, коневоды или мореходы, обладали естественными преимуществами в освоении разнородных биосоциальных пространств. Их военные технологии включали маневренную тактику нападений и предупреждения встречных облав, стремительность передвижений и доведенное до культа военное дело. Генерируемые ими деятельностные схемы «пастырей» и технологии управления локальными сообществами промысловиков и земледельцев были изначальным праимперским алгоритмом власти и межплеменной иерархии.

Военно-политическое доминирование кочевников в отношениях с оседлыми цивилизациями Африки, Евразии и Америки Ф. Ратцель определяет как «закон истории»:

> Можно сказать, что земледельцу присуща прирожденная слабость, которая легко объясняется непривычкою владеть оружием и стремлением к обладанию землей и оседлости, ослабляющем мужество и предприимчивость. Высшую силу выражения политической силы мы находим, напротив, у охотников и скотоводов, представляющих во многих отношениях противоположность земледельцам. В особенности это можно сказать о пастушеских народах, у которых к подвижности присоединяется способность к массовым действиям и к дисциплине. Здесь именно деятельно проявляется то, что не позволяет земледельцу развивать свои силы, — недостаток оседлости, подвижность, упражнение энергии, мужество и искусство владеть оружием. Окидывая взглядом нашу землю, мы видим в действительности, что самые крепкие организации так называемых полукультурных народов вызваны к жизни сочетанием этих элементов. Исключительно земледельческий народ, китайцы, находятся под властью маньчжуров, персы повинуются туркестанским властителям, египтяне подчинялись и теперь подчиняются гиксам, арабам и туркам, т. е. кочевым народам. Во внутренней Африке кочевые вагумы являются основателями и охранителями самых крепких государств Уганды и Уньоро, а в поясе государств

> Судана, тянущемся от моря до моря, каждое из них основано выходцами из степей и пустынь; в Мексике утонченный земледельческий народ толтеков находился в подчинении у грубых ацтеков... Мы видим здесь закон истории. Менее плодородные плоскогорья и прилегающие к ним полосы не потому способствовали повсюду развитию высшей культуры и образованию культурных государств, что они обладали более прохладным климатом и этим поощряли земледелие, а потому что здесь соединялась завоевательная и охранительная сила номадов с устойчивой работой скучивавшихся в культурных оазисах, но не имевших способности к образованию государств, земледельцев (Ратцель 1902:27).

Обычно в обзорах миграций древности внимание концентрируется на экологических и экономических характеристиках. Их учет полезен, но не достаточен для понимания феномена мобильности. Климатические сдвиги подталкивали людей к передвижению, но сами по себе не поднимали их на кочевье и не приводили к оседлости. При этом тот, кто имел превосходство в мобильности и технологиях контроля над пространством, обладал преимуществом маневра в адаптации к природным переменам.

Кочевая традиция упорно утверждает иррациональную, на первый взгляд, идею: богатство и сила орды (народа) во многом зависят от вождя (хана), и не орда кормит хана, а хан — орду. В древнетюркских надписях VII–VIII вв. настойчиво повторяется, что только каган способен «вскормить народ»: Муган-каган «хорошо вскормил народ»; Бильге-каган «одел нагой народ», накормил «голодный народ», «неимущий народ сделал богатым, немногочисленный народ сделал многочисленным» (Кляшторный, Савинов 2005:152, 164).

Со времен «вскормленного» каганами Тюркского каганата прошло без малого тысячелетие, но благополучие орды по-прежнему зависело от хана. Крымский хан Менгли-Гирей со знанием дела оценивал состояние Большой орды и ее хана Шейх-Ахмета в 1501 г.: «Ши-Ахмет, недруг наш, охудел... а худы нынеча добре и пеши, и наги». Крымскому хану вторил московский посол И. Мамонов: «Орда нынеча худа» (Памятники 1884:358, 368). Трудно сказать, предвидел ли Менгли-Гирей гибель Большой орды через год, но его диагноз «охудение» был верен. Между тем сам Менгли-Гирей в

то же время и в тех же условиях нашел возможность укрепить Крымское ханство, просуществовавшее еще триста лет.

Во многом именно стратегия и маневры хана обеспечивали сытость и мощь орды. Несвоевременное разрастание орды или, наоборот, дробление грозило ее поражением или самоуничтожением. Орду надо было не просто кормить, вдохновлять, поднимать в походы, в меру наделять добычей, но и делать все это на скаку, предугадывая и рассчитывая состояние пастбищ и погоду, упитанность коней и настроение войска, позиции союзников и противников. Искусство хана состояло не только в устойчивой стратегии, но и в динамичной изменчивой тактике. Между тем «научный подход» до сих пор предполагает выворачивание реалий наизнанку и представление номадизма как эколого-экономической системы с занижением ролей элиты и вождей.

Позиция «экономического человека» читается и в старой «трехступенчатой» концепции, где кочевому скотоводству отводилось место между охотой и земледелием (Ж.-Ж. Руссо, А. Гумбольдт, Л. Бюхнер и др.), и в более поздних версиях возникновения скотоводства от земледелия (Э. Хан, Г. Кунов и др.), и в предположениях об одновременном появлении земледелия и животноводства вследствие неолитической революции (Г. Чайлд и др.). Однако кочевой менталитет непереводим на язык оседлости, и феномен власти кочевника необъясним в экономической логике А. Смита или К. Маркса, ориентированной на европейскую шкалу прогресса. Не случайно экономические толкования номада рассеиваются в безбрежном диапазоне от «бедного кочевника» (Lattimore 1940:522) до «создателя мир-системы» (Abu-Lughod 1989).

Контраст и симбиоз

Своими истоками кочевничество ближе к охоте, чем к земледелию. Примеров превращения земледельцев в кочевников «история почти не знает» (Марков 1976:30), а переход к кочевому скотоводству бродячих охотников обычен. По наблюдениям С. И. Вайнштейна, в Восточном Средиземноморье (Сание, пустыня Негев) «в происхождении кочевого скотоводства заметную роль сыграли подвижные охотничьи племена, заимствовавшие домашних животных у своих оседлых соседей». Органичность и «возможность перехода к пастушескому номадизму подвижных охотничьих племен,

не знавших земледелия, подтверждается на материалах ряда народов, в частности — оленеводов Северной Евразии», а также индейцев североамериканских прерий (например, кайова и команчи), за короткий срок, после приобретения лошадей в конце XVI в., превратившихся из пеших охотников и собирателей в коневодов-кочевников (Вайнштейн 1991:285–288).

Свойственный антропологии движения «мотивационизм» обращен внутрь (или исходит изнутри) человека. В этом ракурсе спор о происхождении кочевника от бродячего охотника или оседлого земледельца приобретает новое качество. Для антропологии движения важна не удойность кобылицы и калорийность творога, а настройка мотивационной схемы и ментальной карты в стратегии пространственного контроля. Классическим примером превращения охотника в воина-кочевника служит сюжет о предке монголов Бодончаре-простаке, который изначально был нищим бродягой, кормившимся соколиной охотой и объедками волчьей добычи. Следуя за полетами своего сокола, он обнаружил стойбище мирных людей, захватил их вместе с имуществом и сделал своими слугами «при табуне и кухне». В разговоре с братьями Бодончар так обосновал претензию на добычу: «Люди, что стоят на речке Тунгелик, живут — все равны: нет у них ни мужиков, ни господ; ни головы, ни копыта. Ничтожный народ. Давайте-ка мы их захватим!» (Сокровенное сказание 26–39).

Так зачиналась великая империя. В архетипе Бодончара выражены мотивы и ментальная карта охотника: соколиный взгляд, господство хищника над пространством, лов добычи и хозяйское с ней обращение. Меняются лишь арены и цели охоты — от куропаток до людей и целых народов. Подобный перевод взгляда с природы на общество универсален для кочевников разных эпох и культур. Охотник, какие бы орудия ни использовал, всюду ищет добычи и контроля над пространством (последнее необходимо для того, чтобы самому не стать добычей). Эта позиция выражена в мифологеме хищника, например волка в хеттской, иранской, латинской, германской, кельтской, тюркской, монгольской, самодийской и других традициях.[1]

[1] Одна из вариаций этого ряда представлена мифологемой волка или воина-пса как проявления доблести и мужской солидарности молодых воинов у спартанцев, ирландцев, осетин (Иванчик 2005:175, 176).

Примечательны вехи взросления Акшаима, героя башкирского кубаира:

Когда мне был один год,
Я прыгал, как волк,
Когда достиг двух лет,
Выбрал стрелу стальную.
Когда достиг трех лет,
Взлетел, как птица.
Когда достиг пяти лет,
Подпоясался туго
И стал известным стране,
Когда достиг шести лет,
... вышел бороться один.
Когда достиг семи лет,
Созрев, стал джигитом.
Когда достиг восьми лет,
Прыжками рванулся вперед.
...Когда исполнилось девять,
Оседлал я гнедого.
Когда достиг десяти,
На правом боку был сагайдак,
На левом был меч,
И я пошел на врага
Ради племени, ради страны (Липец 1984:47).

Схема кочевника настроена на движение как залог господства над пространством и на войну как средство достижения этого господства. Багдадский автор ал-Джахиз (ум. в 869 г.) писал о тюрках:

Тюрки — народ, для которого оседлая жизнь, неподвижное состояние, длительность пребывания и нахождения в одном месте, малочисленность передвижений и перемен невыносимы. Сущность их сложения основана на движении, и нет у них предназначения к покою... Они не занимаются ремеслами, торговлей, медициной, земледелием, посадкой деревьев, строительством, проведением каналов и сбором урожая. И нет у них иных промыслов, кроме набега, грабежа, охоты, верховой езды, сражения витязей, поисков добычи и завоевания стран. Помыслы их направлены только на это, подчинены лишь этим целям и мотивам, ограничены ими и связаны только с

> ними. Они овладели этими делами в совершенстве и достигли в них предела. Это стало их ремеслом, торговлей, наслаждением, гордостью, предметом их разговоров и ночных бесед (цит. по: Кляшторный, Савинов 2005:106).

Иначе настроена мотивационно-деятельностная схема рыбака и земледельца, соотнесенная с ритмами природы, уловов и урожаев. В ней доминирует внимание к биоресурсам и локальному родственно-соседскому миру. Унылый, но во многом точный, эскиз статичной крестьянской схемы набросан Ф. Броделем:

> Многочисленное крестьянское население, жившее в условиях, близких к простому воспроизводству, вынужденное без устали работать, чтобы выдержать удары частых неурожаев и выплачивать множество своих повинностей, замыкалось в границах своих повседневных задач и забот. Оно едва могло пошевелиться. И трудно в такой вот среде вообразить себе легкое распространение технического прогресса или согласие пойти на риск, связанный с выращиванием новых культур или с новыми рынками. Складывается впечатление масс, погруженных в рутину, почти спящих (Бродель 1988:246).

Впрочем, при взгляде изнутри в крестьянской схеме обнаруживается своя гармония и стройность. Например, в стихах А. Кольцова крестьянская доля выглядит поэтично и по-своему динамично:

> Красавица зорька
> В небе загорелась,
> Из большого леса
> Солнышко выходит...
>
> Весело я лажу
> Борону и соху,
> Телегу готовлю,
> Зерна насыпаю...
>
> Выйдет в поле травка —
> Вырастет и колос,
> Станет спеть, рядиться
> В золотые ткани...

С тихою молитвой
Я вспашу, посею.
Уроди мне, Боже,
Хлеб — мое богатство! («Песня пахаря» 1831 г.).

Допуская жесткое сравнение, схему охотника/кочевника можно назвать хищной, а схему собирателя/земледельца — травоядной. В разных культурах между ними обнаруживается дробный спектр промежуточных вариантов, в той или иной мере тяготеющих к обозначенным полюсам. На первый взгляд, крайние позиции контрастны до конфликтности. Однако это аберрация внешней оценки: кочевника — как бича божьего, земледельца — как угнетенного страдальца. На самом деле воинственный кочевник и мирный земледелец могут лишь умозрительно отделяться друг от друга. В реальности — там, где их пространства пересекаются, — они сосуществуют и образуют естественный симбиоз, в котором земледелец олицетворяет кормящую культуру, кочевник — мобильную силу. Один осваивает локальную эконишу, другой связывает локальные экониши в мозаичное полотно. У них разные, но взаимодополняющие модели безопасности и контроля над пространством — кормовая (локальная) и силовая (магистральная). Первая основана на экохозяйственной адаптации и труде, вторая — на экосоциальной адаптации и войне/политике. Первая развивает технологии оседлости (разработка локальных ресурсов) и плотного врастания в землю, вторая — технологии мобильности (коммуникации, управления) и охвата больших пространств. Они поддерживают друг друга, поскольку кочевник опирается на локальные очаги, а земледелец нуждается во внешней защите своей ниши.

Стайность и стадность

Кочевник привязан не к месту, а к движущейся орде (войску, табору, табуну, стаду). Безопасность для него состоит в контроле над пространством, где главную и постоянную угрозу представляют другие кочевники. Атмосфера степной войны всех против всех передана монгольским «Сокровенным сказанием» (254):

Звездное небо поворачивалось — была всенародная распря. В постель свою не ложились — все друг друга грабили. Вся поверхность земли содрогалась — всесветная брань шла. Не прилечь под свое одеяло — до того шла общая вражда.

В «Сокровенном сказании» превосходно описан и страх кочевника — в эпизоде загнанного меркитами на гору Бурхан-халдун Темучжина. Будущий Сотрясатель Вселенной испытал тогда «великий ужас», представляя свою жизнь «избленванной», а самого себя — жалкой вошью и прячущейся ласточкой. Подобные ощущения он испытал и при облаве тайчжиутов, голодая и скрываясь в лесу в течение двух недель. Зато позднее Чингис-хан отличался почти патологической бдительностью, мотивировавшей жестокий порядок в его орде. Осторожность хана, внешне напоминающая трусость, была замечательным свойством в условиях степных конфликтов, когда охотник мог вмиг превратиться в добычу. Обратной стороной искусства облавы было умение ее избегать. Все ханы бегали от своих недругов (и это было маневром, а не трусостью), но Темучжин делал это лучше других. После тайчжиутского плена он ни разу не попадал в расставленные ловушки. Совершая стремительные и дальние перекочевки, невзирая на ночь и усталость, он превосходил ожидания противника. Он был виртуозом предупредительных маневров, исчезал, как невидимка, и появлялся, как дух из дымника (подробнее см.: Головнёв 2009:379–411).

Умение вовремя уклониться от облавы не только спасало вождя, но и мобилизовало орду. Подобный маневр мангытского князя Эдиге, спасшего эль мангытов от разящего удара Тимура в 1391 г., позволил ему собрать и подчинить себе Мангытский юрт. Участвуя в походе Тимура и зная о его планах, Эдиге послал гонца в северокавказские кочевья, чтобы они, «оставив свою страну и покинув родину, отошли в такие места, добираться до которых тяжело и опасно, и при этом не задерживались бы на стоянках по два дня. В противном случае Тимур может догнать и разгромить их». Вскоре в междуречье Яика и Эмбы, в тех самых местах, «добираться до которых тяжело и опасно», бий Эдиге собрал орду, позднее названную Ногайской (Трепавлов 2002:66, 71). Как видно, вынужденная дальняя перекочевка не смутила и не возмутила мангытов, а, напротив, сплотила их вокруг вождя.

Парадокс лавинообразного роста монгольской орды состоял в том, что мотивационно он исходил из заботы хана о собственной безопасности, но оказался эффективным средством господства и завоеваний. В условиях степной турбулентности накаленный до

психоза инстинкт самосохранения вождя сплотил орду и раздул ее до империи (психоз безопасности всегда крепит социальное единство). Особое значение в организации монголов и их победах имел механизм, который в теории управления называется прямой-и-обратной связью центральной системы. Поразительная согласованность действий монголов, иногда воспринимаемая как рабское подчинение хану, в действительности была системой кочевой безопасности. Ее ядром стала когорта нукеров и гвардия *кешик*, пронизавшая, будто нервная сеть, всю орду и наладившая ее молниеносную связь с ханом. Эта технология безопасности строилась на высокой мобильности (при опережающих действиях хана и ставки), стремительной коммуникации, жестком единстве орды и культе вождя. Вольнолюбивые степняки самозабвенно жертвовали собственными амбициями во имя хана и орды.

Сила орды — в агрессивных лидерах из клана ханов-царей, при этом орды безмятежно переходили к новым властителям-победителям. В этом выражалась своеобразная степная «демократия», состоявшая в единодушном признании целыми улусами власти сильного. Например, в 1380 г. на Калке войско Мамая вместо сражения дружно присягнуло хану Тохтамышу и перешло в его орду: «Мамаевы ж князи сшедше с конь своих и биша челом царю Тохтамышю, и даша ему правду по своей вере, и яшася за него, а Мамая оставиша поруганна» (ПСРЛ Т. 43 2004:137).

Орда не существует без вождя, и ее агония обычно выражается в конвульсивной смене ханов (беков), как это было во времена «великой замятни» в Золотой Орде или в последние дни Большой Орды. При этом абмиции ордынцев сталкиваются друг с другом и создают «давку» (в летописях «замятню»). Орда самоуничтожается теми же силами элиты, которыми и создается. При этом борьба выходит за рамки обычаев, неся с собой отце-брато-сыно-убийства и безудержный террор. Разрушительная сила кочевой элиты сопоставима с ее созидательной мощью, благодаря которой собираются громадные империи.

Быстрый переход от защиты к агрессии, превращение опасливого стада в азартную стаю — талант стайно-стадного человека. В степи переход покорного улуса в режим воюющей орды и наоборот был обыденностью и зависел от воли вождя. Кочевникам свойственна маневренность в обеспечении безопасности, включающая

тактики опережающего удара, предупреждения облавы, заманивания отступлением. Быстрота маневра позволяла им резко сменять бегство на атаку и повергать врага в смертоносное оцепенение. Монгольская облава — иллюстрация психологического преимущества загонщика над добычей.

Охотник-кочевник-воин постоянно имеет дело с угрозами и рисками. Для него страх — не гнетущая неизвестность, а привычный инструмент. Управление страхом — ключевая технология кочевника. Преобразованный в агрессию и направленный на жертву, страх расчищает путь лучше копья и меча. Подгоняемый нарочитыми актами жестокости страх мчится впереди кочевой орды и подавляет волю защитников крепостей. При виде парусов викингов и знамен монголов жители городов нередко сдавались без боя, пускались в паническое бегство и даже кончали жизнь массовым самоубийством (как случилось при взятии монголами Пекина и Ганджи).

Для оседлой «кормящей культуры» кочевая модель безопасности чужеродна и амбивалентна, поскольку содержит в себе как защиту, так и угрозу (что, впрочем, свойственно любой власти). Эта безопасность начинается с опасности — набега кочевой орды. В борьбе за селение кочевник сражается не с земледельцем, а с прежним правителем земледельца, тоже кочевником, и судьба оседлой общины решается в схватке кочевников. Недавний враг-агрессор вскоре превращается в покровителя-защитника, так как локальная общность чаще признает право победителя, чем хранит верность прежнему покровителю. Отныне очередной «свой кочевник» защищает село или город от «чужих кочевников», берет на себя роль миротворца и пастыря оседлой общины. Земледелец может не любить кочевую власть и даже проклинать ее (обычно постфактум), но он умеет смиряться с этой властью и считать ее залогом безопасности. Ему ближе психология единства в стадности с опорой на волю пастыря.

Психологически для земледельца чужеродная кочевая модель безопасности несет не преодоление страха, а его подавление: кочевник монополизирует страхи земледельца, а земледелец с готовностью отдает их на милость победителю-господину. Модель безопасности земледельца развернута на две сферы — природы и общества. В первой он чувствует себя по-хозяйски, обладая емкой экологической культурой и поддержкой сельской общины, в

совершенстве владеет знаниями местности и календаря, навыками обработки земли и материального жизнеобеспечения. Он способен ладить с природой на уровне психического диалога — посредством ритуалов и крестьянской магии. Земледелец в силах — «с божьей помощью» — пережить стихийные бедствия и невзгоды вроде неурожая. Угроза голода не порождает у него страха, что выражено в русских пословицах: «Сыта не сыта, а всегда весела», «Дома и солома едома», «С поста не мрут, а с обжорства мрут», «Дай земле, и она тебе даст». Иначе представляются ему угрозы, исходящие из внешнего социального мира (например обреченность в поговорке «пусто, словно Мамай прошел»). Насколько земледельцу уютно в родной природе, настолько тревожно в предчувствии внешнего насилия.

При смене кочевой элиты земледелец признает за победителем право контроля, не желая входить в поле высшей власти (позднее это поле на Руси занял барин и чиновник). В древности власть кочевника была традицией и не считалась завоеванием. Не случайно русские летописи пестрят призваниями на помощь и (со)правление морских и степных кочевников — от варягов до половцев. Собственная властная элита произрастала в «кормящей культуре» в двух вариантах — от осевших кочевников и от освоивших власть полукровок. В этих случаях симбиоз разных культур перерастал в их синтез, генерируя новую культуру.

Избранность

Кочевникам свойственна простодушная убежденность в своем превосходстве над оседлыми народами. По представлениям древних тюрок, все человечество изначально было разделено на тюрок, имеющих свое государство и свои законы, и их врагов, предназначение которых — подчиниться тюркским каганам, «стать рабами и рабынями». Непокорных ждало уничтожение. Каждый народ стремится к подчинению иноплеменников и господству над ними (Кляшторный 1964:47).

Кочевник наделен не только территориальной, но и социальной мобильностью. Он может быстро менять роли пленника-раба и вождя, от пастьбы коней переходить к «пастьбе» народов. Парадокс и преимущество кочевника состоит в том, что он одновременно минималист и не чужд мирового господства. Кочевник

непринужденно преодолевает границы и превращается из посетителя в покорителя. «Открытая» ментальная карта располагает к власти над пространством. Это особенность кочевого менталитета, не выводимая из рациональных расчетов экономических и экологических нужд. При этом кочевник так же быстро захватывает, как и теряет. Он часто находится на грани риска и ценит мобильность как динамичное равновесие, стыкующееся с убеждением: остановка означает конец (поражение, рабство, смерть). Для него безопасность, как и мощь, — в движении. Для кочевников соотношение «господин–раб» — нечто вроде полюсов, между которыми располагается спектр возможностей перехода «из грязи в князи» и наоборот. У оседлого земледельца такого выбора нет, и его состояние зависимости оказывается статичным.

Ментальная карта монголов была открыта для захвата всего мира: само по себе мгновенное превращение обычных коневодов в миродержцев свидетельствует о потенциале экспансии кочевников. Темучжин из бедняка и раба, каким ему довелось бывать в юности, в считанные годы превратился в Сотрясателя Вселенной Чингисхана; то же самое произошло с его нукерами, еще недавно доившими кобыл. «Монгольская мечта» стала прямым продолжением легенды о предке монголов Бодончаре — нищем охотнике, захватывавшем людей так же легко и естественно, как сокол — куропаток. Архетип Бодончара окрылял монголов верой в то, что миру предназначено быть их добычей. Притязания монголов выражены в ярлыке Чингис-хана: «Всю поверхность земли от восхода солнца до захода господь всемогущий отдал нам» (Рашид-ад-дин II 1952:211). Плано Карпини засвидетельствовал это в своих записках:

> [Монголы] не заключают мира ни с какими людьми, если те им не подчинятся, потому что... они имеют приказ от Чингисхана, чтобы, если можно, подчинить себе все народы... Поэтому их император так пишет в своих грамотах: «Храбрость Бога, император всех людей» (Плано Карпини 1993:48, 52).

Внешний мир виделся из орды огромным полем военно-промысловых угодий, а ритм «промысла» зависел от настроений и решений хана и курултая. Чингис-хан и его потомки смело делили не только покоренные земли, но и едва разведанные. Например, ко времени смерти Джучи и Чингис-хана (1227 г.) кыпчаки еще не

были окончательно покорены, однако, назначая Дешт-и Кыпчак старшему сыну, Чингис-хан изрек: «Пусть будет пастбищем для твоих коней» (Утемиш-хаджи 1992:91). С тех пор Улус Джучи включал «Хорезм и Дашт-и Кыпчак от границ Каялыка до отдаленнейших мест Саксина, Хазара, Булгара, алан, башкир, Урусов и черкесов. Вплоть до тех мест, куда достигнет копыто татарской лошади» (Тизенгаузен 1941:204).

Монгольская «копытно-конская» метонимичность подразумевала безграничную власть над пространством. Для кочевника-покорителя граница была не препятствием, а искушением. В отличие от средневекового путешественника-европейца, для которого пересечение границы сродни подвигу, кочевник трансграничен. В кочевой ментальности понятие «путешественник» вообще сродни трюизму, поскольку состояние пути — обыденность. Стремление кочевника к пути и охвату большого пространства инстинктивно; оно не мотивировано, поскольку путь и есть мотив. Этому трудно дать рациональное определение (исходя, например, из расчетов емкости пастбищ), можно лишь подыскать ассоциации: «раздолье», «удаль», «даль». Свойственная кочевнику «схема сокола» ориентирована не на удобство пастьбы (это «схема овцы»), а на власть над пространством.

По отношению к покоряемым народам монголы занимали позицию этноизбранности с идеологемой превосходства и господства. Прямо противоположные установки этики своего и чужого показывают значимость этничности в монгольской орде.

По отношению к своим:

> Словопрения между ними бывают редко или никогда, драки же никогда, войн, ссор, ран, человекоубийства между ними не бывает никогда (Плано Карпини 1993:30).

По отношению к другим:

> Они очень вспыльчивы и раздражительного нрава. И также они гораздо более лживы, чем другие люди, и в них не обретается никакой почти правды; вначале, правда, они льстивы, а под конец жалят, как скорпион. Они коварны и обманщики и, если могут, обходят всех хитростью... Они очень алчны и весьма крепко удерживают все свое и очень скупые дарители. Убийство других людей считается у них ни за что (Плано Карпини 1993:31).

Сила монгольской империи обеспечивалась безусловным господством рода Чингиса, Алтын уруга (Золотого рода), — элитной этнокасты монголов. Впрочем, речь идет не о традиционном родстве, а о новом, выплавленном в ходе борьбы Темучжина за власть, — о родстве по хану, орд-родстве. Известно, что Темучжин создал империю, опрокинув прежнее родство и освободившись тем самым от оков традиции и границ дозволенного. Трудно сказать, с чьей стороны последовал решающий толчок к этому опрокидыванию — родни, бросившей на произвол судьбы сироту Темучжина, или его самого, убившего в ссоре единокровного брата. Подобно хуннскому вождю Модэ, он шел к власти по трупам родни и близких, в том числе названого брата Чжамухи и названого отца Тоорил-хана. Стихия измен, убийств и обид освободила юного Темучжина от условностей родства и открыла путь к самоутверждению (Головнёв 2009:385). Переход «Рубикона родства» выглядит интимной патологией, но с него и начинается имперскость.

Новое родство, сложившееся на преданности хану как орд-родство, было свежим и актуальным, разраставшимся в ходе военной экспансии. Чингис-хан создал свою орду, опрокинув прежнее родство и иерархию (в том числе главенство «названого отца» кереитского Тоорил-хана). Он создал новое родство в виде своей орды и физиологически породил ядро империи — Алтын уруг (Золотой род) своих потомков-Чингисидов. Второй пояс орды составили преданные нукеры-нойоны и уцелевшие родственники Чингис-хана — собственно монголы и иноплеменники, сменившие былую идентичность на преданность хану (например, железные псы из урянхайцев). Третий, внешний, пояс составили влившиеся в орду вольные и невольные союзники — «татары» (выражение «монголо-татары» точно характеризует орду с ее монгольским ядром и татарской оболочкой).

Орда как абсолютная ценность перекрыла собой все устоявшиеся личные ценности, включая родство, за счет культа хана и окружавшей его элиты. «Революционность» Чингис-хана в отношении прежней иерархии открыла шлюзы вседозволенности и исключительности. «Нарушитель границ» становится вождем, а не отщепенцем, когда обретает социальную поддержку. Ядром будущей империи обычно выступает банда боевиков, смело нарушающих сложившийся порядок. Их действия преступны относи-

тельно традиции, но позднее стараниями придворных идеологов обретают вид борьбы за истину и справедливость (всякая революция противозаконна, пока не победит). Так, например, выглядит траектория Тимура, который в смуте боев за власть между монгольскими ханами и тюркскими эмирами в Мавераннахре сколотил банду разбойников, побывал в плену, посидел в темнице, а затем, собирая попутчиков в растущую орду, в 1370 г. стал верховным эмиром Турана с миссией установления долгожданного мира и порядка. Узурпация власти, несмотря на попытки Тимура через брак с наследницей Чингисидов назваться ханским зятем (*гураган*), была столь очевидна, что удержать власть можно было только нарастающей агрессией. Набирая обороты и расширяя диапазон, агрессия главаря бандитов выплеснулась за пределы Мавераннахра на Могулистан, Золотую Орду, Кавказ, Персию, Индию, Сирию, Османскую империю. Возбуждая социальный трепет на грани хаоса и порядка, Тимур, нарушив все мыслимые границы (социальные, территориальные, ментальные), создал поверх них империю.

По мотивации агрессивные создатели империй существенно отличались от правителей, стоявших на страже традиционных рубежей. Наследные монархи и родовая аристократия выступали хранителями устоев и границ власти. Строитель империи — по корням маргинал (сиротами или бастардами были, например, Цинь Шихуанди, Таньшихуай, Темучжин, Владимир Святославович, Вильгельм Завоеватель, Иван Грозный). Нарушая границы, он совершал насилие над окружающим миром. Именно маргиналы обладали мотивацией преодоления и слома прежних границ и норм, замещения их новыми идеологемами и статусами. Имперские (в новейшее время империалистические) войны часто инициировались лидерами, происходившими с окраин, из меньшинств или маргинальных сословий (Александр Македонский, Тимур, Наполеон, Гитлер, Сталин). Феномен разрушителя границ, роднящий зачинщиков захватнических войн и революций, исходит из ущемленных амбиций, из своего рода персональной реконкисты.

Без идеи превосходства и исключительности невозможно захватить чужую землю и превратить покоренный народ в рабов. Необходимая для этого жестокость в порабощении и управлении может основываться только на убеждении в собственной

избранности и в инакости/неполноценности побежденных врагов. О подобном стиле завоеваний и о происхождении государственности убедительно писали Л. Гумплович и Ф. Оппенгеймер (Гумплович 1895; Oppenheimer 1914). Яркий иллюстративный ряд для «завоевательной теории» предоставляют кочевники, создававшие свои орды и империи на резком противопоставлении элиты и черного люда. Для более эффективного управления покоренными народами монголы создавали дополнительную прослойку из наемников-чужеземцев, не связанных родством и религией с местными жителями. Например, в Китае при Хубилае было много чиновников из мусульман и даже христиан (одним из них был Марко Поло, прослуживший хану 17 лет).

> Все китайцы не любят управления великого хана, потому что поставил он над ними татар и всего чаще сарацин; а этого китайцы не выносили, так как обходились с ними, как с рабами. Великий хан овладел Китаем не по праву, а силой и не доверял китайцам, а отдал страну в управление татарам, сарацинам и христианам, людям из его рода, верным и не туземцам (Книга Марко Поло 1956:109).

Особенный эффект величия империи создавало нарочитое сопоставление преимуществ монголов (прежде всего в мобильности и воинственности) и слабостей покоренных. Огромные размеры степной империи не только не смущали монголов, но и создавали им образ владык пространства — в нечеловеческих расстояниях выражалось величие. Занимавшие по нескольку месяцев поездки князей покоренных стран в ставку верховного хана едва ли не главной целью имели демонстрацию безграничности пространства и, соответственно, власти. Из величины пространства рождалась идеологема величия кочевой власти. На ней основано понятие «Великий Монгольский Улус» (Yeke Mongγol ulus). Дальность походов монголов, кажущаяся оседлому жителю затруднением, кочевнику представлялась превосходством, поскольку обеспечивала безопасность империи — ставка верховного хана в Халхе оставалась неуязвимой. Кроме того, проезд по огромной империи был методом укрощения знати завоеванных стран (в том числе русских князей, грузинских царевичей, султанов халифата): монголы не только настаивали на их поездках в далекую ставку хана, но и осознанно делали эти по-

ездки мучительными и унизительными. Идеологема кочевой колонизации заключалась не в рациональном освоении новых пастбищ, а в установлении господства над большим пространством.

Тотальность

Из разных побуждений — религиозного менеджмента, идеологического камуфляжа, научного анализа — феномен власти давно и безуспешно пытаются разобрать на части, в том числе найти его подоснову в тяге к наживе и материальным выгодам. Однако власть представляет собой исходный мотив-инстинкт, образующий, наряду с родством и сексом, фундаментальную триаду социальности (Головнёв 2009:122–134). Его символизация, кодификация и рационализация в виде статуса, престижа, богатства, права и т. д. приобретают головокружительно сложные формы «культуры», но его «натура» остается простой и неизменной, как всякий инстинкт. Не случайно именно в измерениях родства, секса и власти люди, вопреки рассудку, переживают самые жгучие и неотвязные страсти, восторги и обиды.

Одной из основ империи является идеологема об исключительности ее создателя и носителя — вождя и его рода (народа). Она рождается из власти над пространством и из психологии охотника, видящего в других жертву-добычу. Идеология полного господства сочеталась с культом верховного хана и устрашающе-величественными церемониями, такими, например, как ритуальное убийство 20 тыс. человек при погребении Мункэ-хана, соблюдение тишины и полного спокойствия за полмили от местонахождения хана, величественные процессии сезонных поездок хана, запрещение охоты за двадцать дней пути от угодий хана, дозволение ловить жемчуг и добывать бирюзу только по воле хана — «а кто противное учинит, жестоко раскается» (Книга Марко Поло 1956: 88, 96, 118, 126, 136).

Тотальная власть хана обеспечивалась его тотальной собственностью на орду — ее членов, их имущество, отношения и действия. Кочевой ордизм возможен лишь при условии подавления индивидуального собственничества.

> Император же этих татар имеет изумительную власть над всеми. Никто не смеет пребывать в какой-нибудь стране, если где император не укажет ему. Сам же он указывает, где пребывать

> вождям, вожди же указывают места тысячникам, тысячники сотникам, сотники же десятникам... Все настолько находится в руке императора, что никто не смеет сказать: «это мое или его», но все принадлежит императору, то есть имущество, вьючный скот и люди, и по этому поводу недавно даже появился указ императора (Плано Карпини 1993:40, 41).

Высшей мерой ордынского повиновения хану была верховная собственность на женщин. Безусловное право хана на женщин улуса создавало единство орды, устраняло амбиции и конфликты.

> Если он [хан] просит дочь девицу или сестру, они дают ему без всякого противоречия; мало того, каждый год или по прошествии нескольких лет он собирает девиц из всех пределов татар и, если хочет удержать каких-нибудь себе, удерживает, а других дает своим людям, как ему кажется удобным (Плано Карпини 1993:40).

Верховная власть — стержень и абсолютная ценность орды. События, воспринимаемые современниками как судьбоносные, а историками как эпохальные, в момент их свершения мотивировались исключительно конкуренцией за власть в орде. Соотношение личных мотивов и «логики истории» в репертуаре монгольских ханов проявилось, например, в прекращении Батыем завоевания Европы ввиду смерти великого хана Угэдэя в 1241 г. и в аналогичном поведении хана Хулагу в разгар сирийской кампании 1259 г. при получении известия о смерти великого хана Мункэ. Оба хана вели успешные завоевания (соответственно, в Европе и Леванте), но прервали их немедленно, в самый неподходящий момент, когда встал вопрос о верховной власти в Монголии. Зов орды был несоизмеримо сильнее искушений Средиземноморья.

Плодовитость ханских гаремов обеспечила быстрый рост Золотого рода, насчитывавшего к концу XIII в. до 20 тыс. человек; в 1311 г. в орде насчитывалось 1400 царевичей (Moses, Halkovic 1985:86). Как отмечает Н. Н. Крадин (2010:242–244), стремительное размножение вождей с их неискоренимыми властными амбициями создавало угрозу единству империи. Однако само по себе единство сложилось именно на основе элитного рода, который разросся в элитный народ. Созданная Чингис-ханом и его Золотым родом империя охватила Северный Китай, Туркестан, Иран,

Месопотамию, Закавказье и Восточную Европу. Контролировать это огромное разноязыкое пространство мог лишь многочисленный Золотой род. Орда саморазрушалась из-за отяжелевших властных амбиций оседающих и взрослеющих вождей.

Порожденная ханом кочевая империя не умирает вместе с ним лишь постольку, поскольку его призрак в виде его наследников и наследства продолжает витать над покоренным пространством. Со смертью Чингис-хана в 1227 г. орда-империя разделилась между его сыновьями на четыре улуса и постепенно теряла свою мобильность и целостность. Оседание орды связано с заменой кочевого ордизма чиновничьим. Уже при первых Чингисидах облик орды изменился. Мощная экспансия вызвала формирование силовых узлов на периферии — окраинных дочерних орд со своими военно-промысловыми угодьями и улусами. Уже тогда обозначились варианты ордизма по-китайски, по-ирански, по-русски, по-индийски, по-хорезмийски. Например, китайская версия ордизма выразилась при хане Угэдэе в бюрократизации управления и строительстве оседлых резиденций. На смену «стратегии железных псов» пришла политика Елюя Чуцая, изрекшего мудрость: «Империю можно создать из седла, но управлять ею из седла невозможно». В Каракоруме силами китайцев возводился дворец хана (хотя Угэдэй предпочитал проводить время в юрте рядом с дворцом), строились усадьбы знати и храмы разных конфессий, кварталы китайских и чжурчженьских ремесленников, постоялые дворы посланников и купцов со всей Евразии.

Имперскость

Завоевательная стратегия монголов вырастала не из экономических расчетов, а из соперничества за пространство и власть. При этом экспансия и агрессия были не умыслом амбициозного хана, а «проклятием успеха»: чем большее пространство захватывала орда, тем больше угроз она скапливала в себе и вокруг, от мести врагов до зависти соседей. Успешный хан бросал вызов всей Степи и становился мишенью для конкурирующих орд; его главное богатство — «гарем и табун» — превращалось в вожделенную приманку для тьмы соперников. Подавляя врагов и присоединяя покоренные «улусы», орда накачивалась напряжением — завоевательной энергией, генерируемой между полюсами

агрессии и страха, охоты и безопасности. Отныне безопасность хана, а также его гарема и табуна, могла быть обеспечена только раскручиванием маховика войн.

Империя Чингис-хана выросла из степных облав и погонь. Преследуя найманов и меркитов, монголы вышли в Кыпчакскую степь; гоня кыпчаков, они добрались до Руси, а в погоне за кыпчакским ханом Котяном достигли Венгрии и Адриатики (здесь они охотились не только за половецким ханом, но и за венгерским королем Белой IV, который, проиграв в 1241 г. битву за Пешт, вовремя понял, что спастись может только бегством, и обнаружил необычайную прыть, бегая от монголов по землям Австрии, Далмации, а затем затаившись на островах Адриатики). Погоня за хорезмшахом Мухаммедом (1221) привела монголов в Иран, за султаном Джелал-ад-дином (1223) — в Индию. Тактика охоты на ханов-соперников создавала эффект снежного кома, поскольку с гибелью очередного вождя его улус присоединялся к победителю. Осознавая роль хана в орде, монголы решительно расправлялись с вождями врагов: «их [монголов] замысел состоит в том, чтобы господствовать на земле, поэтому они выискивают случаи против знатных лиц, чтобы убить их» (Плано Карпини 1993:49). Насколько был важен центр для самой орды, настолько же рьяно монголы громили центры и правителей других стран.

Кочевая колонизация исходит из ядра кочевой империи — собственно орды (в ее монгольском значении как ставки хана), во имя которой совершались все походы и подвиги. Мощь монгольских ударов определялась не числом воинов и не остротой сабель, а верой в превосходство хана и орды. Размах и успех завоеваний монголов порой не поддается рациональным расчетам. Например, курултай 1235 г. на берегах Онона принял абсурдное, на первый взгляд, решение об одновременном наступлении «на все четыре стороны» — против восставшей Кореи, на южно-китайскую империю Сун, на мусульманских правителей Ирана и на Кыпчакскую степь. Л. Н. Гумилев справедливо настаивал на том, что «победы одерживали не скопища кочевников, а небольшие, прекрасно организованные мобильные отряды, после кампаний возвращавшиеся в родные степи. Число выселявшихся было ничтожно даже для XIII в. Так, ханы ветви джучидов Батый, Орда и Шибан получили по завещанию Чингиса всего 4 тыс. всадни-

ков, т. е. около 20 тыс. человек, которые расселились на территории от Карпат до Алтая» (Гумилев 1990:46).

Можно ли считать эти рейды миграциями и шагами колонизации? На мой взгляд, именно в мобильной системе монгольских военных кочевий состоит искусство контроля над большим пространством и алгоритм кочевой колонизации. Устойчивость этой системе придавал мощный центр — собственно орда (кочевая ставка хана). От нее исходили и к ней сходились силовые линии, охватывавшие пространство походов и завоеваний. В своем исходном состоянии орда представляет собой «идентичность в хане». Алгоритм ордообразования складывался из тотальной власти олицетворяющего орду хана, мобилизации и мобильности ханского улуса и освоения окружающего мира посредством военного и даннического промысла (см. рис. 4).

Трудно не согласиться с Н. Н. Крадиным в том, что «создание кочевых империй — частный случай “завоевательной” теории политогенеза», но так же трудно принять его политэкономическую риторику, согласно которой степные империи «были созданы для изъятия прибавочного продукта извне степи»; «сила власти правителя степного общества базировалась на его умении организовывать военные походы и перераспределять доходы от торговли, дани и набегов на соседние страны» (Крадин 2004:190, 191). «Прибавочный продукт», «доходы» — европейские понятия, чуждые кочевникам (К. Маркс намучился в свое время с «азиатским способом производства», так и не сумев его истолковать).

Многие исследователи (У. Айонс, Дж. Флетчер, Т. Барфилд, Л. С. Васильев, Н. Н. Крадин, А. И. Фурсов и др.) обращали внимание на то, что кочевая империя вырастает не из скотоводства, а из внешней политики. По наблюдениям Т. Барфилда, для внутренних потребностей кочевого общества государственные структуры не нужны; они возникали лишь в контакте с соседними оседлыми государствами для их военного принуждения к уплате дани или открытию пограничных рынков (Barfield 1981:45–60; 1992:32–84). Эта развернутость орды вовне связана не только с исконным симбиозом кочевник–оседлый, но и с главным направлением промысла номадов-воинов. На самом деле государственные структуры кочевникам все же нужны, потому что они считают внешний промысел своим внутренним делом.

Военный промысел, а не выпас лошадей, был политэкономией и идеологией их экспансии. В эпоху орд-империй это пространство внутреннее, оно включено в их ментальную карту в качестве угодий, освоение которых — вопрос времени и тактики.

А. М. Хазанов отметил несколько вариантов адаптации кочевников к внешнему миру: (1) участие в посреднической торговле; (2) торговля с соседними оседло-земледельческими обществами; (3) набеги, грабежи и поборы земледельческих обществ; (4) данническая эксплуатация земледельцев и навязывание им зависимости; (5) завоевание земледельческих обществ; (6) вхождение в состав земледельческих государств в качестве зависимой группы (Khazanov 1984:157, 158). К этому списку Хазанова я бы добавил седьмой пункт — правящая элита в оседлом обществе. На примере Китая видно, что многие династии Поднебесной происходили с «варварского Севера»: сяньбийская Тоба Вэй (386–536), киданьская Ляо (907–1125), чжурчженьская Цзинь (1115–1234), монгольская Юань (1279–1368), маньчжурская Цин (1636–1912). В ряде случаев борьба за обладание оседлым Китаем велась между кочевыми вождями разных поколений, как это было при смене киданей чжурчженями, а чжурчженей монголами.

По наблюдениям Н. Н. Крадина, рост и упадок земледельческих цивилизаций и степной полупериферии синхронны: империя Хань и держава Хунну появились в течение одного десятилетия; вслед за объединением Китая под династией Суй, а затем Тан, возник Тюркский каганат; напротив, смуты и кризисы в Китае сопровождались развалом соседних кочевых политий (Крадин 2001:39). Правда, как замечает сам автор, из этого ряда выпадает держава Чингис-хана, которая родилась без имперского стимула со стороны Китая.

Стимулирующий механизм «малое царство — малая орда, большое царство — большая орда» действовал не только на Востоке, но и на Западе. Например, успехами имперского строительства, в частности рейнскими походами Цезаря, Рим не подавил, а усилил военную схему германцев; экспансия Франкской империи Карла Великого вызвала встречную волну завоеваний викингов (Головнёв 2009:195, 252). Не лишено оснований размышление иранского историка Таги Бахрами о том, что во времена походов Александра Македонского в Иране выросло число

кочевников, искавших спасения от чинимых его войсками насилий, а с установлением порядка Сасанидов кочевничество пошло на убыль (Марков 1976:23). Известно, что туареги стали кочевниками Сахары в стремлении уйти от арабского политического господства и арабизации (Першиц 1968:320–355). В евразийской Арктике бум кочевничества и «оленеводческая революция» были реакцией на экспансию скандинавской и российской государственности (Головнёв 2004).

В этих случаях решающую роль играл не сам по себе расцвет южных империй, а их наступление на владения кочевников. В ответ ущемленные кочевники резко наращивали мобильность и собирались в орды, захватывая у соседей средства передвижения (коней, верблюдов, оленей) и расширяя диапазон кочевий. Начиналась степная «война всех против всех», из которой победителем выходил самый удачливый главарь военной банды, провозглашавшийся каганом, ханом или эмиром. Идея реванша и возмездия делала его вождем орды, разраставшейся на военном промысле. При этом в кочевнике включались схемы охоты и облавы, а среди захваченной добычи особую ценность имели пленники-рабы. В борьбе с оседлой империей кочевая орда сама дорастала до империи, покоряя и поглощая различные страны и народы. Однако, добившись реванша и захватив «мир», она теряла идеологию возмездия, а со смертью хана-объединителя распадалась или сама становилась мишенью реванша со стороны одного из покоренных сообществ, жаждущего ротации ролей «господин–раб».

Приведенный сценарий схематичен: в реальности судьба орды-империи зависела от множества частностей и случайностей, включая происшествия на охоте (смертельная травма Чингисхана), пристрастие к религиозной моде (манихейство уйгур, иудаизм хазар) или к алкоголю (слабость Угэдэя). Обычно век орды-империи длился немногим дольше бурной жизни ее создателя, по инерции теплясь в его ближайших потомках. По подсчетам С. В. Данилова, держава хунну жила 300 лет, сяньби — 90, жужаней — 150, тюрок — 190, уйгуров — 90, киданей — 220, монголов — 160. Рождение кочевой империи неизменно связано с выдающимся предводителем: Модэ у хунну, Таньшихуй у сяньби, Шелунь у жужаней, Бумын-каган у тюрок, Абаоцзи у киданей, Чингис-хан у монголов (Данилов 2004:182, 186). Кочевая империя без вождя

немыслима. Многие орды были «одноразовыми империями» — существовали в течение жизни их создателей. Более долголетние, вроде Хазарии, оставались в тонусе благодаря войнам с кочевыми соседями (арабами, прикаспийскими и причерноморскими степняками). Как заметил Т. Муш, с закатом могущества орды кочевник, еще недавно бывший господином пространства, становится маргиналом с сомнительными правами на территорию (Муш 2012).

Кочевые империи принято называть эфемерными, подчеркивая их государствоподобие. Однако спонтанность кочевых империй означает и естественность. На ровном месте в считанные годы создавались огромные орды хунну, сяньби, монголов. Маодунь, Таньшихуай, Темучжин, Тимур сделались «императорами вдруг» — даже не в течение жизни, а за ее краткий отрезок; так же лавинообразно возникали их орды-империи. Это одно из свойств кочевого владычества: сильная власть создается резким усилием и стремительным маневром, она не вызревает, а врывается в покоряемое пространство. В номадологии нередко подчеркивается значение внутренних процессов в кочевом обществе как фактора внешней военной экспансии и образования империй (К. П. Калиновская, Е. И. Кычанов, В. В. Трепавлов, Р. П. Храпачевский и др.), но при этом внимание концентрируется на имущественном и классовом расслоении, порождающем государство (см., например: Кычанов 1997:36, 37). В действительности орда-империя рождалась не в классообразовании, а в мобильности и магистральности. Легкость и повторяемость рождения орд убеждают в том, что магистральность, военный промысел и идея господства заложены в мотивационно-деятельностной схеме кочевника.

Кочевая империя не оставляет материальных следов, адекватных ее мощи. Это сродни «монгольскому синдрому» в археологии: покорив огромное пространство Евразии, монголы «почти ничего после себя не оставили» (Черных 2009:144). Археология кочевников действительно выглядит уныло за отсутствием толстого культурного слоя. Номады не оставляют явных археологических следов, кроме погребальных курганов (нередко, правда, изобилующих предметами роскоши и символами господства), а их присутствие на местах оседлости читается лишь по скупым вкраплениям степного оружия и иного «импорта». Социальные

технологии кочевых империй не откладываются в земле, и могучая орда может оставить после себя пустое место. Распространению политической власти и колонизации, как правило, соответствует унификация культурного пространства (Головнёв 2010:226–228).

Осевший обоз

Обычно предполагается, что «неолитическая революция» стала результатом экономического прогресса, демографического взрыва или экологического кризиса. В этих толкованиях «разделение труда» между скотоводами и земледельцами выглядит стадиями эволюции. Однако антропология движения рождает иную версию: первые укрепленные поселения были «огороженной» собственностью кочевых вождей, т. е. организаторами прагородов были пракочевники. Уже в VIII тыс. до н. э. в южном Леванте обозначились сопоставимые по масштабам явления — обширная кочевая циркум-аравийская культура и громадные стены Иерихона. На том самом Левантийском мосту, где с глубин палеолита угадывается узел геополитики, в начале голоцена формировались различные стратегии власти над пространством, условно обозначаемые как схема маневра и схема стены. Возможно, первые стены не отделяли горожан от кочевников, а защищали собственность одних кочевников от притязаний других.

Каково бы ни было содержание прагорода — огороженный гарем, загон для рабов, склад провизии — внутри за стенами жили люди оседлые, но властвовали над ними люди мобильные. Ранние земледельческие оазисы расцвели не сами собой, а благодаря усилиям кочевых вождей. Крупные земледельческие станы были созданы теми, кто контролировал пространство, — «собирателями собирателей». В свою очередь «собранные собиратели» стали той массой зависимого населения, основанием социальной пирамиды, которая сделала возможным крупное аграрное производство с ирригацией и другими формами интенсивного земледелия и животноводства.

Сценарий прагорода как осевшего обоза предполагает, что изначально мобильные охотники и контролируемые ими собиратели, включая женщин и рабов, представляли собой единое сообщество. Неолитическая «городская революция» — обособление и рост городов — была вызвана не самопроизвольным развитием

оседлой экономики и культуры, а переделом власти над пространством, при этом главную роль сыграли все те же мобильные вожди. Согласно этому сценарию, кочевники оказываются не грабителями чужих городов, паразитирующими на оседлой культуре, а организаторами этих городов. Их пристрастие к контролю и захвату городов оказывается исходной традицией. Иначе говоря, тяга кочевников к городам — наследие древнего репертуара и продолжение исконного симбиоза. Более того, как показывает позднейшая история, во многих случаях правителями городов и государств были недавние кочевники суши и моря, и по факту контроля над пространством захват города был продолжающейся конкуренцией между разными кочевниками, а не «цивилизационным конфликтом» оседлых и кочующих.

Представляя прагород осевшим от «тяжести сокровищ» обозом кочевого вождя, следует учесть трудности его защиты. С утратой маневренности обоз-город превращался в неподвижную мишень. Его безопасность предполагала существенное наращивание охраны и фортификаций, что вызывало ответную реакцию нападавших. Конкуренция за города укрепляла их обороноспособность. Кочевые вожди по-своему тяготели к искушениям городов, оседая в них. Динамика власти состояла в ее постоянном перетоке из шатров во дворцы. Тем самым военно-политический рост города совершался при участии и под контролем кочевников, в их конкуренции и за счет ресурсов подконтрольных им территорий. С усложнением подчиняемого пространства за счет крупных селений усложнялась технология этого контроля, включая средства войны и вооружения, политическое и административное управление, жреческие и торговые услуги. Цепная реакция в конкуренции между кочевниками за город, а позднее между кочевниками и городами послужила генератором милитаризации.

Траектория оседания обоза, неоднократно повторявшаяся в истории кочевников, отмечается вплоть до позднего средневековья. Свидетельства европейских путешественников позволяют наметить три фазы перехода от кочующего города к столице правителя. В годы путешествия Гильома Рубрука орда оставалась кочевой, за ставкой Мункэ-хана во множестве следовали его приближенные, «как мухи за медом» (Рубрук 1993:128); кочевья знатных монголов создавали впечатление «движущегося города»:

Когда они [монголы] снимают свои дома для остановки, они всегда поворачивают ворота к югу и последовательно размещают повозки с сундуками с той и другой стороны вблизи дома, на расстоянии половины полета камня, так что дом стоит между двумя рядами повозок, как бы между двумя стенами. Женщины устраивают себе очень красивые повозки... Один богатый моал, или татарин, имеет таких повозок с сундуками непременно 100 или 200; у Бату 26 жен, у каждой из которых имеется по большому дому, не считая других, маленьких, которые они ставят сзади большого; они служат как бы комнатами, в которых живут девушки, и к каждому из этих домов примыкают по 200 повозок. И когда они останавливаются где-нибудь, то первая жена ставит свой двор на западной стороне, а затем размещаются другие по порядку, так что последняя жена будет на восточной стороне, и расстояние между двором одной госпожи и другой будет равняться полету камня. Таким образом, один двор богатого моала будет иметь вид как бы большого города, только в нем будет очень немного мужчин (Рубрук 1993:80).

Самая слабая из женщин может править 20 или 30 повозками, ибо земля их очень ровна. Они привязывают повозки с быками или верблюдами одну за другой, и бабенка будет сидеть на передней, понукая быка, а все другие повозки следуют за ней ровным шагом. Если им случится дойти до какого-нибудь плохого перехода, то они развязывают повозки и перевозят их по одной. Ибо они едут так медленно, как ходит ягненок или бык (Рубрук 1993:81).

Следующее поколение верховных правителей несколько оседает, и у ханов появляются стационарные резиденции вроде тех, что строил Хубилай в Китае. Хан со свитой осуществляет сезонные перекочевки между своими дворцами. Движение в империи остается интенсивным, но уже больше напоминает сеть коммуникаций вокруг столицы. Ханбалык — резиденция хана — стягивала к себе сеть «императорских» дорог. Ставка полуосевшего хана Хубилая в описании Марко Поло представляет собой ядро «инфраструктуры власти» великого хана.

По какой бы дороге ни выехал из Канбалу [Ханбалыка] гонец великого хана, через двадцать пять миль [около 40 км] он приезжает на станцию, по-ихнему янб [ям], а по-нашему кон-

> ная почта... На каждой станции по четыреста лошадей; так великий хан приказал; лошади всегда тут наготове для гонцов, когда великий хан куда-либо посылает их... Когда нужно поскорее доложить великому хану о какой возмутившейся стране или о каком князе, или о чем важном для великого хана, гонцы скачут по двести миль в день, а иной и по двести пятьдесят миль... По большим дорогам, где гонцы скачут, купцы и другой народ ездит, великий хан приказал через каждые два шага насадить деревья... А сделал это великий хан для того, чтобы всякому дорога была видна, и заблудиться нельзя было. И по пустынным дорогам есть дерева; для купцов и для гонцов великое от этого удобство; и во всех царствах и областях есть дерева по дорогам (Книга Марко Поло 1956:121–123).

Наконец, даже превратившись в город, ставка правителя сохраняет жесткую централизацию как главную ценность осевшей орды. При этом столица стремительно разрастается до гигантских размеров, вбирая в себя «кочевые города» и «караван-сараи». Если кочующей ставке-орде само движение, включающее маневренность, экологичность, центробежность, не дает разрастись до аномальных размеров, то осевшая ставка становится мишенью и жертвой властецентризма. Как только ставка оседает, все импульсы движения направляются в одну точку, и город вскоре разрастается до гипертрофированных размеров мегаполиса своей эпохи. Такой столичный город основан исключительно на власти. Подобное наследие орды-столицы наблюдал в Дели Великого Могола французский врач.

> Дели был городом Великого Могола куда больше, чем Париж — городом Людовика XIV. Как бы ни бывали порой богаты там банкиры и хозяева лавок на главной улице Чандни Чоук, они ничего не значили в сравнении с государем, его двором, его войском. Когда в 1663 г. Аурангзеб предпринял поездку, направляясь в Кашмир, за ним последовал весь город, ибо он не сумел бы прожить без императорских милостей и щедрот. Образовалось неправдоподобно огромное сборище, которое французский врач, принимавший участие в экспедиции, оценил в 300 или 400 тыс. человек (Бродель 1986:559).

Город и орда

Древний китайский историк Сыма Цянь утверждал, что у хунну «нет городов, обнесенных внутренними и внешними стенами» (Таскин 1968:34), но археологи обнаружили в хуннском пространстве около двух десятков городищ (Иволгинское, Баян Ундэр, Дурены, Гуа Дов и др.). Материалы раскопок показали, что обитатели селений были не кочевниками, а оседлыми земледельцами, рыбаками, животноводами, ремесленниками. Жители городка на реке Иволге, притоке Селенги, в хуннское время (II–I вв. до н. э.) разводили свиней, мелкий и крупный рогатый скот (в 100 м от городища располагался загон для скота — «малое» городище), ловили рыбу, занимались гончарством, железоделательным и бронзолитейным производством, изготовляли мотыги, серпы, зернотерки, чугунные сошники. Они жили в полуземлянках со стенами из сырцового кирпича. Городок площадью 75 га населяло 2 500–3 000 человек. Фортификации шириной 35–38 м состояли из четырех валов и трех рвов. Укрепленное поселение на Иволге, просуществовав два века, было разгромлено и сожжено (Давыдова 1985:27; 1995:10–13; Крадин 2001:83, 86, 91, 92; Данилов 2004:35–49; Кляшторный, Савинов 2005:28).

Как видно, иволгинцы делали то, чего не делали кочевники хунну: занимались рыболовством, а не охотой; разводили свиней и быков, а не лошадей; обитали в полуземлянках, а не в юртах. За Иволгинским городищем не случайно закрепилось название «Китайское место»: найденные на нем земледельческие орудия (лопаты, кельты, насады на пахотные орудия, серповидные ножи) технологически связаны с Китаем; на некоторых предметах (каменных точилах, сосудах) обнаружены китайские иероглифы. Множество костей собак и остатки отопительной системы *кан* указывают на присутствие в городе выходцев с Дальнего Востока (Кореи, Дунбэя). Не удивительно, что и погребальный обряд Иволгинского могильника отличался от хуннского (Бродянский 1985:49; Давыдова 1985:20–22; 1995:32, 33; Данилов 2004:49–55; Артемьева 2008:40; Крадин 2010:246).

Судя по всему, в укрепленном стане на Иволге жили и умирали не кочевники хунну, а пленники и беглецы. Рыболовы, свинопасы, гончары, оружейники, земледельцы — при всей экономической значимости их труда — были рабами кочевников. Вероятно,

в остроге, помимо оседлых жителей, располагался хуннский караул. Не исключено, что на Иволге существовал невольничий лагерь, укрепления которого предохраняли не только от набегов, но и от побегов.

Среди ханьских низов хуннский плен слыл за легкое рабство, и в северные степи, где было «веселее жить», бежали из Китая рабы и разного рода разбойники, воры, дезертиры (Гумилев 1993:121, 122). «История ранней династии Хань» под 33 г. до н. э. сообщает о просьбе ханьского императора к хуннскому шаньюю не принимать перебежчиков (Таскин 1968:49; 1973:41). Массовость бегства из китайского рабства в хуннское указывает не только на вольготность степной неволи по сравнению с китайской, но и на существование условий и порядка приема рабов-эмигрантов.

Невольничьи трудовые лагеря традиционны для кочевников всех эпох. Например, для обеспечения своего кочевого войска рыбой сяньбийский вождь Таньшихуай захватил более 1000 семей рыбаков вожэнь и переселил их на реку Ухоуцинь (Материалы 1984:80). Для снабжения двух пограничных туменов правители Ляо переселили на реку Толу в Чжэньчжоу (Чинтолгой балгас) 700 семей бохайцев, чжурчженей и ханьцев, разместив их в городке с квартальной планировкой и скученными жилищами (всего в пространстве киданьской империи Ляо в X в. известно около пятидесяти городков) (Крадин 2010:252, 254). Так же поступали кочевники в других местах: например, в средние века и новое время правители Западного и Центрального Судана собирали пленников в земледельческие поселения (Куббель 1988:131, 178).

Впрочем, не только острогами полнилась степь. Кочевые ханы, подражая оседлым царям, создавали ставки с «архитектурой престижа» — ханскими дворцами, в том числе «для китайских принцесс» (смакующий подобные версии фольклор недалек от реальных мотивов правителей), храмами разных религий и стелами славы каганов. В измерениях безопасности «престижная архитектура» была уязвима, и реальная ставка кагана оставалась кочующей. Однако мотив престижа часто оказывался выше расчета, тем более что степные владыки иногда впадали в соблазн вечности — на стеле в честь Мункэ-хана в 1257 г., за два года до его смерти, была выбита надпись: «Пусть Мункэ-хан здравствует на протяжении десяти тысяч лет» (см.: Данилов 2004:90). Впрочем, строили

«столицы престижа» не сами кочевники, а те, кто умел это делать, — пленные и беглые ханьцы, согдийцы, хорезмийцы.

Для кочевников точками опоры в безбрежной степи служили священные горы, урочища, святилища. По преданию, записанному Рубруком, до возвышения монголов в Халхе властвовал Унк-хан (в «Сокровенном сказании» — Тоорил-хан), резиденцией которого был городок Каракорум. После того как «некий ремесленник» Чингис одолел Унк-хана и захватил власть в Халхе, Каракорум сохранил значение символа этой власти, и монголы «считают этот город за царственный и поблизости его выбирают своего хана» (Рубрук 1993:101). Именно Каракорум и его окрестности наполнялись архитектурой престижа в монгольскую эпоху.

Крах кочевой империи сопровождался сносом «архитектуры престижа»: уйгурский Хар-Балгас (Орду Балык) с его дворцом и пагодой был разрушен в 840-е гг. кыргызами; монгольский Каракорум (монг. Хархорин, кит. Холинь), возведенный китайцами в 1235 г., ими же (минскими войсками) был сожжен в 1380 г. Однако, несмотря на недолгий век, построенная в степных владениях ставка-дворец обозначала кочевую власть, стягивая к себе караваны купцов, миссии послов и жрецов разных стран и религий. Ничто иное, кроме власти, не делало Орхон столь популярным в средневековой Евразии.

В отношении к чужим городам кочевник испытывал страсть охотника и не спешил занять место добычи. Все кочевники, степные и морские, предпочитали не вселяться в захваченный город, а контролировать его на расстоянии. Так вели себя мореходы (эллины, викинги), сохраняя свои форпосты на островах, а «морские конунги» средневековой Скандинавии и вовсе не владели участками суши, властвуя над морем и побережьем с кораблей (Головнёв 2009:221–226). Это свойственно и степным кочевникам, которые не оседали в покоренных городах Китая, Ирана или Руси, а располагались на дистанции в кочевых ставках. Сходным образом вели себя в завоеванных странах арабы, не оседая в земледельческих селениях, а сохраняя подвижность «воинства ислама» (Беляев 1965:150, 171).

Кочевники оседали в городе лишь вследствие потери воинственности и мобильности (закон Ибн-Хальдуна). В VIII в. это точно выразил Тоньюкук, советник тюркского Бильге-кагана:

> Тем, что мы всегда могли оказывать сопротивление, мы обязаны как раз тому, что кочуем в поисках травы и воды, не имеем постоянного жительства и живем охотой. Все наши люди опытны в военном искусстве. Если мы сильны, мы снаряжаем наших воинов в набеги, если становимся слабыми, бежим в горы и леса и прячемся там. Когда мы построим замки, чтобы жить в них, и изменим наши старые привычки, тогда в один прекрасный день мы будем побеждены. К тому же ученые в буддийских и даосийских храмах проповедуют людям только добро и покорность. Эта дорога не ведет к войне и завоеванию власти. Поэтому нам не стоит строить (Бичурин 1950:274).

Несколько десятилетий спустя предсказание тюрка отозвалось в судьбе уйгуров. Подавляя по просьбе Танских правителей восстание согдийских колонистов в Китае, уйгурский каган Моюн-чур (746–759) пленил согдийцев, но вскоре сам оказался в плену их религии (манихейства) и пристрастия к городам. Руками согдийцев он поставил в завоеванной Туве более десятка крепостей для охраны северных границ от кыргызов. Однако именно городки вызвали мощную встречную агрессию кыргызов, сокрушивших Уйгурский каганат в 840 г. Крах тактики «оседлых ставок» не вернул отяжелевших уйгуров на путь кочевий: мигрировав на запад, они осели в Турфанском оазисе, где создали княжество с городами, торговлей и земледелием (это не значит, что сами уйгуры принялись пахать землю, — они оставались правящей элитой).

По тюркским преданиям, легендарный Огуз-хан завещал «всегда кочевать, никогда не становиться оседлыми». У монголов «переход кочевников, их царевичей и главарей в города считался нарушением ясака Чингис-хана». И позднее ордынцы осознавали, что «урбанизация» противна их жизненному стилю. Например, во второй половине XV в., когда могольский Юнус-хан поселился во покоренном им Ташкенте, его сын Ахмед вместе с частью моголов осознанно ушли в степь и продолжили кочевье (Бартольд 5 1968:173).

Сходный сценарий «обременения оседлостью» реализовался в пост-чингисханской орде. Траектория ордынского градостроительства отмечена вехами: в 1235 г. утомленный роскошью и пьянством Угэдэй-хан распорядился оградить Каракорум стеной, воз-

вести дворец Вань-ань-гун, а каждому из царевичей «построить в окрестностях дворца по прекрасному двору»; этому примеру последовала армия — в 1275 г. Чан Вэй, тысячник гвардии Хубилай-хана, прибыл в местность Хугшин Тээл и поставил «военный городок отважных воинов»; менее чем через столетие, в 1369 г., изгнанный из Китая последний юаньский правитель Тогоонтумур-хан построил в Монголии городки (в том числе Хэрлэн Барс, Олон Байшин), в которых скоротал остаток своих дней (Древнемонгольские города 1965:132; Данилов 2004:95, 99, 165). В те же сроки развалилась Золотая Орда с ее отяжелевшими от богатства, рабства и чиновничества ханскими ставками.

С. А. Плетнева (1982:78, 121, 145) в цикле «от кочевий к городам» отмечает таборную, полукочевую и полуоседлую стадии. Эти размышления перекликаются с наблюдениями Ибн-Хальдуна, только в поле зрения оказывается не *асабийя* (дух воинственности), а «стадии развития» оседлости. Подобное смещение акцента с кочевья на город свойственно многим размышлениям о вреде кочевания и пользе оседлости. Однако если бы подобных взглядов придерживались Модэ, Таньшихуай и Темучжин, кочевые империи были бы созданы не ими. Для кочевника оседлость — не прогресс, а увядание. В городе, как на кладбище, заканчивается век кочевой орды, на смену которой в дикой степи нарождается новая.

Город — не идеал кочевника, а добыча (если это чужой город) или элемент инфраструктуры коммуникации (если он построен для нужд орды). Оседлость вообще — презренное состояние в глазах кочевника: например, татары, ругая провинившихся детей, изрекали нечто вроде проклятия: «Чтоб тебе, как христианину, оставаться всегда на одном месте и нюхать собственную вонь» (Герберштейн 1908:143, 144). Властью хана города захватывались, строились, разрушались, переносились с места на место в интересах орды, а не ради оседлости. Спектр функций города — осевший обоз, огороженный гарем, невольничий лагерь, «архитектура престижа», резиденция дипломатии, хозяйственная колония, узел торговли, военная база, объект военно-даннического промысла — исходил не из потенциала самого города, а из нужд и капризов кочевников. Вся политэкономия степного города была проекцией власти: в нем ковали, растили и строили не то,

что было выгодно ремесленнику и земледельцу, а то, что предпочитал кочевник. Власть, как магнит, притягивала торговцев — на пике могущества Золотой Орды трассы Великого шелкового пути поднялись на север, в Урало-Поволжье, а после успеха Тимура вновь сместились на юг, в Среднюю Азию, Иран и Левант (Федоров-Давыдов 2001:224). Город разрушался с закатом орды, создавшей или использовавшей его — без кочевника он терял жизнеспособность. При этом степной город не играл той военно-стратегической роли, которая ему нередко приписывается по аналогии с оседлыми цивилизациями.[2] Утрата оседлой резиденции вовсе не означала поражения орды. Фортификации даже раздражали кочевников, и те с удовольствием их рушили, а властители, уверенные в своей мощи (например, монголы), городков не укрепляли.

***

Кочевая колонизация внешне мало похожа на просто выведение колоний как поселений. Конфигурация власти в исполнении кочевников выглядела как сеть силовых линий, стянутых к центру орды. Кочевые пути были дорогами власти, по которым гнали тьмы пленников (только из завоеванного Хорезма в Монголию было угнано 100 тыс. ремесленников), шли купеческие караваны (городок Бийбалык в уйгурских владениях был основан согдийскими и китайскими торговцами), трусили миссионерские мулы (по соизволению монголов в Закавказье строили буддистские храмы) (Рашид ад-Дин 1952:217; Данилов 2004:58; Крадин 2010:256). В эпоху кочевников центральная Евразия напоминала котел, в котором властная рука кагана перемешивала покоренные народы. Согдийцы в Северной Китае, китайцы и арабы в Средней Азии, славяне в Прикаспии, татары в Крыму — все они были разнесены по степи ордынскими ураганами. Многие «города» в Великой степи были невольничьими станами, и их укрепления были скорее тюремными, чем военными. Вместе с тем города и оазисы оседлости были для кочевников основными

[2] В этом отношении меня всегда смущали музейные экспозиции, в которых величие кочевой империи демонстрируется через красоту городов. Этот прием эффектен для воздействия на современного горожанина, но далек от кочевых реалий, в которых город — лишь тень могущества хана и орды.

промысловыми угодьями; орды и селения дополняли друг друга в многообразном взаимодействии кочевых и оседлых практик и традиций. Кочевая колонизация обычно сопровождалась переселениями горожан и селян, создававших оседлую (кормовую) инфраструктуру кочевых орд. В этом смысле полиэтничность — не попутный эффект, а условие жизнеспособности орды.

Бесцеремонность, с которой кочевники гоняли по степи селян и горожан, показывает их небрежение к оседлости. К скитаниям по-своему адаптировался и земледелец, оказываясь в компании с кочевником в местах, куда его никогда не забросила бы оседлая судьба. Приобретая качества вынужденного мигранта, он не терял и прежних навыков, которые срабатывали при малейшей возможности «врасти в землю». Мигрирующий с кочевником (в обозе, войске, оковах) земледелец, несмотря на испытания, часто превосходил своей живучестью кочевника, поскольку, с одной стороны, он был более адаптивен к земле, с другой — менее подвержен рискам конкуренции за власть. Пригнавший его кочевник погибал в очередной схватке, а земледелец оставался невредим, отвесив поклон новому господину. В итоге реальным колонизатором оказывался не буйный кочевник, а покладистый земледелец. Возникшие вольно или (чаще) невольно оседлые колонии оказывались долговечнее создавших их орд: «кормящая культура» врастала в новую почву, а принесший ее «вихрь власти» улетучивался. Более того, пустившие корни поселенцы находили возможность через торговцев, миссионеров или тех же кочевников налаживать и поддерживать связи с родиной. Тем самым по пробитым кочевниками магистралям выстраивались новые нити коммуникации локальных культур, приобретавших магистральные качества во взаимодействии с кочевниками (таковы, вероятно, пути распространения согдийцев, армян, русских).

Судьбы кочевых орд выглядят иначе. Обладая мощью на пике экспансии, они рассеивались по смерти вождя и замещались новыми ордами. Если кочевники оседали в городах, они, даже став политической элитой, утрачивали прежние обычаи. Преимуществом кочевника в момент захвата страны была непринужденность контактов с чужеземцами и поведения на чужих территориях. В дальнейшем это же качество оборачивалось быстрой аккультурацией (например, монголов в среде татар, китайцев,

иранцев, русских и т. д.). Особенно легко она происходила в условиях мира, поскольку на войне культура подвижности доминантна, в мирном покое — рецессивна.

В истории кочевников ядро орды играет роль метрополии, подчиняющей и объединяющей оседлые селения, создающей сеть коммуникаций и миграций. Кочевник пробивает пути и выступает на первых порах успешным колонизатором, но вскоре на авансцену колонизации выходит переселенец-земледелец, более успешный в практике долговременного выживания. Это напоминает биологическую сукцессию, в которой одни виды выступают успешными колонизаторами, другие — успешными конкурентами, замещающими колонизаторов в освоенной нише. Симбиоз кочевник–оседлый лежал в основе универсальной технологии колонизации, сочетавшей динамику и статику, импульсы движения и механизмы оседания.

Глава 4. Эффект реконкисты

Миграции метрополий. Проект принца Энрике. Британия как колония. Закон как технология. Одиссея капитана Дрейка. Этюд о господстве и рабстве. Колониальная лихорадка

Сегодня никого не смущает, что полмира говорит по-английски, а самая обширная страна планеты — по-русски, что одна из Америк называется Латинской, а в геральдике разбросанных по разным океанам стран представлены британские символы. Всего лишь тысячелетие назад житель блистательного Константинополя или просвещенной Кордовы не рискнул бы допустить, что дни вечной империи и могучего халифата сочтены, а из неприметных окраин-колоний вскоре вырастут политические гиганты. Обитатель захолустной Лузитании на краю Иберии не ведал, что его маленькая страна станет владычицей трех океанов (впрочем, и об океанах он тогда ведал мало). Житель Нортумбрии на севере Англии не предполагал, что его истоптанной завоевателями стране суждено превратиться в величайшую метрополию планеты. Собирателю дикого меда на Москве-реке не пришло бы в голову, что на месте тенистой рощи когда-нибудь вырастет столица громадного царства. За тысячелетие произошла миграция метрополий, преобразившая мир. И дело не в физико-географическом перемещении, а в калейдоскопическом перераспределении идей и людей, в «социохимических реакциях», порождающих новые очаги власти и социальной энергии.

Миграции метрополий

Многие метрополии были когда-то колониями, и всем странам довелось побывать колониями. Смена ролей, как в классических примерах Мидии и Персии, Греции и Рима, зависела от успехов элит, преобразовывавших колонию в метрополию. В «имперской модели» метрополия (например, Рим, Константинополь, Москва) рождалась как политическая цитадель, разраставшаяся в мегаполис, господствующий на обширном пространстве покоренных и зависимых колоний-провинций. В «полисной модели» метрополия создавала сеть дочерних полисов-колоний, которые

иногда сами превращались в метрополии (например, Афины — «мать метрополий», в том числе «матери колоний» Милета). В «кочевой модели» метрополия находилась в мигрирующей ставке правителя (например, монгольская орда). Метрополия — не столько конкретное место, сколько очаг власти, способный перемещаться в пространстве; «миграция метрополий» означает перемещение центров власти и экспансии.

Ни одна империя не сложилась на мире и согласии, хотя каждая на это постфактум претендовала. Главный, если не всеобщий, путь создания империи — завоевание. В истории невозможно отыскать первозавоевание, и всякая агрессия оказывается в той или иной мере эхом предыдущей (о чем хорошо писал Геродот). До развития риторики пацифизма новейшего времени война считалась и служила универсальным инструментом решения вопросов о власти и была едва ли не повседневностью. Не лишено оснований ироничное определение понятия «мир» в «Словаре Дьявола» А. Бирса: «*Мир*, сущ. В международных отношениях — период мошенничества между двумя периодами сражений».[1]

Стойкость имперскости подсказывает, что это не вирус, а органическое свойство, которое не исчезает, а лишь преобразуется. Очередная империя рождается в лоне предыдущей или в противоборстве с ней. Громя предшественницу, новая империя наследует имперскость. Возможно, однажды археологам удастся выявить исходную мать-империю каменного века (где-нибудь между Нилом и Кавказом), породившую эпидемию imperium. Но и сейчас понятно, что истоки имперскости уходят в неведомые глубины и что масштабные завоевания, вроде римских или арабских, шли не по бездорожью, а по давно проторенным путям. Экспансия хунну была ответом на захват Ордоса императором Поднебесной Цинь Ши-хуаньди, походам германцев в Средиземноморье предшествовали походы римлян в германские земли, завоевания Москвы были эхом завоеваний Орды.

В начале римской эпохи словом *imperium* называлась власть городского магистрата, в конце — огромная средиземноморская держава. По ходу этой эволюции *imperium* было правом правителя (позднее консула) назначать наказания, призывать граждан в

[1] “Peace, n. In international affairs, a period of cheating between two periods of fighting” (Bierce 1925).

армию и командовать армией (Burbank, Cooper 2010:28). Со времен Августа титул императора означал правителя правителей (подобно ассирийскому или библейскому «царю царей»), и на него не могли претендовать «простые самодержцы». У *imperium*, наряду с тремя главными характеристиками (суверенное правление, обширная территория и абсолютное единовластие), развилось особое качество — идеологема мировой державы (Pagden 1995:15, 17, 27, 28). Речь идет о власти, которая посредством завоеваний и колонизации устанавливает контроль над большим пространством, и преодолевая экологические, этнические, экономические и иные границы, синтезирует политический конструкт, именуемый империей.

Но есть закон сохранения границ: преодоленный территориальный или культурный рубеж не исчезает, а преобразуется, например, в иерархический (кастовый, классовый). Победоносная иноэтничная группа, вторгшись на чужую территорию и устанавливая свое господство над туземцами, преобразует бывшую территориальную границу в социальную. Поэтому в имперской иерархии, несмотря на густой идеологический макияж, видны тени прежних границ. В имперских метрополиях, какими бы революциями они ни промывались, постоянно регенерируются иерархические границы. Показательна, например, стойкость социальной стратификации в современной Британии — вплоть до подчеркнутых языковых и поведенческих барьеров (Фокс 2011), а также постоянное возрождение социальной иерархии в России, несмотря на политические потрясения с их риторикой равенства и справедливости.

Рано или поздно завоевание оборачивается отвоеванием, в чем и выражается эффект реконкисты. Она может быть отложенной, как в случае с Римом или Ордой, или стремительной, как в опыте Наполеона и Гитлера, приведших вражеские армии в собственные столицы. Реконкиста может принять вид высокоорганизованной диаспоры, как это произошло с евреями, неоднократно плененными, разгромленными и рассеянными (вавилонянами, египтянами, римлянами), но неизменно бравшими реванш в контроле над социальным пространством посредством международной торговли, дипломатии и религии. Реконкиста может выразиться в религиозной войне, как это случилось на Ближнем Востоке, где захват сельджуками Святой земли в 1077 г. вызвал ответное движение

крестоносцев. Все завоевания — по-своему реванши и реконкисты, что нередко выражается мотивом священной освободительной войны.

Проект принца Энрике

В исторической классике понятие «реконкиста» относится к отвоеванию христианами Иберии у мавров (арабов и берберов) в VIII–XV вв. Реконкиста началась сразу вслед за конкистой — оккупацией Иберии халифатом, но она не представляла собой противостояния сплоченного воинства Христа и единого воинства Аллаха. Мавры покорили страну не тотальной войной, а дипломатией союзов, начиная с вторжения в 711 г. по призыву правителя Сеуты графа Юлиана, пылавшего ненавистью к вестготскому королю Родерику: по преданию, король обесчестил его дочь Ковиллу, и воины Аллаха оказались орудием мести венценосному распутнику. Король франков Карл Мартелл, остановивший в 732 г. у Пуатье конницу Абд эль-Рахмана, вряд ли ощущал себя спасителем Европы и предтечей крестоносцев, равно как не считали себя изменниками, вступая в альянсы с маврами, аквитанский герцог Эд и визиготы Нарбонны. В течение трех веков отношения мавров с кастильцами, арагонцами и португальцами балансировали на грани конфликтов и контактов, и только с конца XI в. — после первого крестового похода и вторжения в Иберию берберов (альморавидов и альмоадов) — реконкиста приобрела устойчивый оттенок священной освободительной войны. Усилия иберийцев переросли в успехи во многом благодаря расколу империи ислама в 750 г. на Аббасидский халифат и Кордовский эмират, а также поддержке франкских, нормандских и британских рыцарей.

Именно иберийцы, единственные из европейцев, кто сполна перенес «маврское иго» (а до него — римское и вестготское), первыми вырвались на просторы океанов и создали морские трансконтинентальные империи. Особенно примечателен опыт Лузитании/Португалии, «падчерицы Европы», совершившей головокружительный взлет от провинциального графства до мировой державы. Подобный эффект реконкисты обозначился и на восточной окраине Европы — на Русской равнине, где случилась своя кочевая колонизация, а затем реконкиста, превратившая

Московию в евразийскую империю. Из множества сопутствующих обстоятельств именно кочевой фактор представляется главным в стремительном превращении окраинных колоний в обширные империи.

Португальская реконкиста по-своему продолжала арабскую конкисту, а эпизод «ре» был актом перетекания агрессии из одного социального тела в другое, напоминающим не то схватку, не то соитие. Лузитанское тело было аморфным до тех пор, пока его не охватила так называемая «королевская колонизация», включавшая дипломатию с арабами, взаимодействие и договоры с городами (особенно с Лиссабоном и Порту), строительство замков и храмов. Победой над арабами при Орике в 1139 г. граф Афонсу Энрикеш обозначил Португалию, а «народный избранник» 1385 г. Жуан I Ависский в противоборстве с кастильцами мобилизовал сообщество людей, которых хронист Португалии Фернан Лопеш называл «истинными португальцами» (Варьяш, Черных 1990:82).

Последовательность конкиста–реконкиста–конкиста строилась не просто на передаче эстафеты колонизации от оседающих мавров к активизирующимся португальцам. Едва ли эффект реконкисты был вообще возможен при простом стыке магистральной (арабской) и локальной (лузитано-португальской) культур. «Социохимическая реакция» была усложнена рядом существенных ингредиентов. В Иберии уже до мавров присутствовала магистральность римского и готского образцов. В ходе реконкисты итальянское влияние вновь набирало силу, диверсифицируясь в папской геополитике и генуэзской торговле. Относительно роли генуэзцев в переходе португальцев через Гибралтар остается немало неясностей, но вряд ли случайно совпадение их наплыва в Лиссабон и Северную Африку в начале XV в. и морского похода португальцев на Сеуту в 1415 г. (Бродель 1992:138, 139, 162). В широком спектре, от кораблестроения и навигации до дипломатии и шпионажа, генуэзцы были участниками португальского прорыва. Вместе с венецианцами они были и главным источником большой геополитики, знаний о мире, в частности о Востоке: рукопись книги Марко Поло, привезенная из Венеции доном Педру, повысила у португальского принца Энрике интерес к итальянским землепроходцам и укрепила его намерение открыть ход на восток.

Учет многообразных интересов и обстоятельств часто приводит к нагромождению аргументов (от хорошей погоды до рыцарских достоинств Ависской династии), объясняющих, почему именно Португалия стала первой трансконтинентальной империей. При обилии доводов и персонажей непременно важная роль в этом переходе отводится принцу Энрике. Речь можно вести о «проекте дона Энрике», связавшем все остальные факторы в направленное действие.

Дон Энрике (1394–1460), сын Жуана I Ависского и Филипы Ланкастерской, известный как Генрих Мореплаватель, вопреки прозвищу, мореплавателем не был, и ему не досталось славы Бартоломеу Диаша и Вашку да Гамы. Третий сын короля, он не был и наследником престола, и его виды на земную власть были созерцательными. Зато как магистр Ордена Христа он мог себе позволить проектирование «потустороннего» пространства, в чем опыт папства помог ему не меньше, чем знания арабских и итальянских капитанов, поскольку в средние века магистры многих рыцарских орденов вынашивали и осуществляли проекты священной войны и колонизации на окраинах католической ойкумены.

В мотивации Энрике свобода преобладала над властью. Его с детства окружала творческая атмосфера, созданная отцом, королем Жуаном — магистром ордена Ависа, просветителем, писателем и реформатором, а также старшими братьями — доном Дуарте, одним из создателей литературного португальского языка, и доном Педру, путешественником и переводчиком Цицерона на португальский. На гербе Энрике начертаны слова: «Талант к добрым свершениям». Энрике не чужд традиции (он, как и отец, был магистром духовно-рыцарского ордена с 1420 г.), но традиции особого свойства: в ту эпоху военно-религиозные ордены были ключевыми игроками европейской геополитики, а в Португалии — еще и нациестроительства (Орден Ависа дал основателя династии, Орден Христа — стратега колониальной империи). Потребительски мыслящие исследователи неустанно указывают на богатства Ордена Христа, которые Энрике расходовал на нужды мореходства. Однако дело не только в казне ордена (кстати, в тратах магистр был бережлив и совестлив), но и в праве на смелые проекты «по Божьему велению» и в ответственности за их реализацию.

Проект Энрике был по-своему свободен от «земных» интересов и ориентирован на море и небо (в прямом и переносном смысле). Инфант не только молился, но и строил обсерваторию. В окружении богословов, астрономов, картографов, навигаторов принц Энрике подобно алхимику вываривал ментальную карту новой Португалии и новой Европы. Его проект был не утилизацией имеющихся ресурсов, а авантюрой по созданию новых возможностей. Проект был развернут на перспективу (в части морской и религиозной стратегии), а не замкнут на конечной цели, поэтому достижения и изменения обновляли его, а не завершали и не прерывали. Взятие Сеуты в 1415 г. было не только Рубиконом между реконкистой и конкистой, не только военным триумфом и местом принятия рыцарства принцами Дуарте, Педру и Энрике, но и точкой обновления проекта: мавры указали путь к золотоносной Гвинее, и в 1416 г. португальские корабли двинулись на покорение африканской Атлантики; известия о христианской Эфиопии на востоке Африки и легенда о царстве пресвитера Иоанна дополнили проект планом охвата Черного континента и сарацинских орд христианской империей. А легкость, с которой 45-тысячная португальская армия на 200 кораблях всего за день — 14 августа — взяла этот «ключ к Средиземноморью», была воспринята как торжество воинства Христова над сарацинскими ордами.

Создать собственный флот пытался еще португальский король (он же поэт и просветитель) Диниш (1279–1325). Однако удалось это только Энрике благодаря организации «фабрики мореходства» в Сагрише и Лагуше, а также путем привлечения к морским экспедициям мореходов-чужестранцев, прежде всего генуэзцев и венецианцев. Скептики до сих пор оспаривают реальность легендарной морской школы в Сагрише, но как бы на самом деле она ни выглядела и где бы ни располагалась, нет сомнения в том, что детище Энрике было эффективным и давало все, что требовалось для развития флота и мореходства: шкиперов, навигаторов, каравеллы, карты, навигационное оборудование, заказы на морские экспедиции. В Сагрише и Лагуше работали обсерватория, корабельная верфь и мореходная школа, разрабатывались планы новых экспедиций. В морской школе португальские рыбаки и матросы под руководством итальянских и каталонских моряков обучались морскому делу, навигации, картографии.

Здесь были сведены воедино знания и достижения, давшие португальцам конкурентные преимущества: португальские каравеллы сочетали североевропейское четырехугольно-парусное снаряжение с латинским (средиземноморским) треугольно-парусным; магнитный компас был китайским изобретением; астролябия была усовершенствована арабскими навигаторами; сведения по навигации и географии были получены в Португалии от итальянских моряков, чья связь с евразийским пространством стала возможной благодаря монгольскому миру (Burbank, Cooper 2010:154). «Морская академия» дона Энрике стала той самой лабораторией, в которой была синтезирована идея морской империи и выработана технология ее реализации.

Энрике не только посылал капитанов открывать новые земли, но и занимался практической колонизацией, начиная с Сеуты, Мадейры и Азорских островов. Он сам картографировал новые земли, собирал сведения о богатствах открываемых берегов — на португальских картах Африки появились красноречивые названия: Перцовый берег, Берег Слоновой Кости, Золотой берег, Невольничий берег. Когда дело дошло до главного богатства Африки — чернокожих туземцев с «головой Сатира и телом Антиноя», Энрике поколебался, но благословил промысел рабов. Так очередной проект, исходно мотивированный свободой, обернулся рабством на уровне трансконтинентальной индустрии. Дон Энрике и в этом отношении был зачинателем глобальной по эффекту и значению европейской промышленной работорговли и массового применения труда рабов для колонизации и развития новых территорий. Впрочем, эта новация на самом деле была давней традицией.

Иногда историки утверждают, что рабство в христианской Европе, включая Португалию, возникло по экономической нужде: «Испытывая трудности включения в торговлю золотом, португальцы обратились к работорговле, поскольку рабов можно было продавать на золото» (Vogt 1979). В действительности рабство не только было известно в Иберии с глубокой древности (в I тыс. до н. э. на стелах юга полуострова изображались воины в окружении рабов), но и представляло собой устойчивую сеть: в начале новой эры юг Иберии, наряду с Сицилией, Критом, Кипром и Балеарскими островами, был одним из очагов работорговли в Среди-

земноморье (Barton 2009:3; Black 2011:39). Позднее первенство в средиземноморской работорговле захватили арабы, совершавшие регулярные экспедиции за черными рабами через Сахару. В целом «охота на людей» была привилегией доминантных обществ и их элит. И когда в 1443 г. экспедиция Нуну Триштана, обогнув Кап-Блан, захватила на островах Арген 30 чернокожих туземцев, это было не только успехом промысла, но и продолжением реконкисты: португальцы открыли и освоили «рабоугодья» мавров. Лиссабон торжествовал, Энрике собирал новую экспедицию, и в 1444 г. Лансароти Писанья на шести каравеллах доставил с Арген 165 рабов, в 1445-м — еще 235. Правда, доверчивые туземцы, поначалу выплывавшие на челнах навстречу каравеллам, стали пугливы и враждебны. В ответ португальцы стали строить на африканских берегах форты и фактории, а для эффективной охоты завели собак, натасканных на загон и ловлю людей.

Магистр Ордена Христа Энрике поощрял эту практику, гармонировавшую с тогдашней христианской этикой. Со своей стороны папа Николай V в 1452 г. санкционировал исключительное право португальцев на завоевание африканских земель и обращение их жителей в рабство (это было расширением прежних привилегий: в 1420-е гг. папа Мартин V предоставил принцу Энрике право владения всеми новооткрытыми землями Африки). Престижная, доходная и «богоугодная» торговля черными невольниками стала по воле Энрике государственной монополией. Португалия преуспела в рабском промысле: рынки Лиссабона и Лагуша быстро наполнились рабами; к середине XVI в. рабы составляли 10 % населения Лиссабона; то же происходило с колониями, которые португальцы активно заселяли рабами: к 1800 г. население Бразилии на 40 % (1 млн из 2,5 млн жителей) состояло из рабов (Андерсон 2001:83).

При жизни Энрике его проект оставался мечтой — несмотря на открытие африканских богатств, путь в Индию был миражом, а силы мавров по-прежнему казались несметными. План нанесения сокрушительного удара по сарацинам обернулся страшным поражением под Танжером в 1437 г., когда в плену оказался португальский принц Фернанду. Пока Энрике решался на его выкуп за огромную мзду, Фернанду умер в плену, оставив брату тяжесть вины и сомнения. Свои последние годы (он умер в 1460 г.) Энрике,

хотя и продолжал методично посылать морские экспедиции, провел в одиночестве в Сагрише.

Однако изобретенная Энрике португальская мореходная схема набирала обороты. Морская политика стала королевской страстью, и особенных успехов Португалия достигла при втором «мореплавателе», короле Жуане II (1481–1495). В 1487 г. Бартоломеу Диаш достиг мыса Бурь (Доброй Надежды), в 1498 г. состоялось эпохальное плавание Вашку да Гамы в Индию, а в 1500 г. Кабрал открыл для португальцев Бразилию. Будто по воле всевышнего, моряки маленького иберийского королевства покоряли океан за океаном, и, будто завороженные, им на милость отдавались целые страны. Колониальная лихорадка разогревалась подсчетами невероятных прибылей от заморских экспедиций — по распространенной легенде, первый вояж Вашку да Гама окупил расходы на экспедицию в 100000 раз за счет золота, специй, перца и слоновой кости (см. рис. 5).

Мореходы Португалии с лихвой осуществили замысел Энрике о великой христианской империи, сдавившей в морских объятиях царство сарацин. Вашку да Гама, в 1503 г. отправившийся в повторную экспедицию уже в качестве «адмирала Индии», грабил и топил арабские суда, после чего оставил в индийских водах военную эскадру, контролировавшую морские пути и берега Индийского океана. Позднее судьбы мусульман вершил вице-король Португальской Индии Альбукерке, подчинивший Гоа, иранский Ормуз, а в 1511 г. покоривший Малакку и замкнувший путь в Индийский океан с востока. Успешная дипломатия, обволакивавшая действия португальцев, позволила им добиться не разовых побед, а долговременных успехов. Выйдя в Тихий океан с запада, они завязали контакты с Китаем, а в 1542 г. достигли берегов Японии и основали там первую европейскую факторию. За столетие Португалия, эта «золушка Европы» (по выражению С. Цвейга), превратилась в глобальную империю, включавшую владения в Африке, Южной и Восточной Азии, Океании и Америке.

Вслед за Португалией на покорение океанов двинулась Испания. Конкуренция между португальским и кастильским дворами сыграла роль катализатора в гонке колонизаций. Ослепленная успехом на Востоке, Португалия упустила западный вектор, и генуэзец Колумб, проведший несколько лет в мор-

ской школе в Сагрише и первоначально предлагавший проект заокеанского вояжа португальскому монарху Мануэлю, вышел в море под флагом Испании. Та же судьба постигла еще один проект по поиску западного хода к Молуккским островам, предложенный Фернаном де Магальяшу. Потерпев, как и Колумб, неудачу при португальском дворе, сменив подданство и имя, в 1519 г. Фернандо Магеллан повел испанскую флотилию в судьбоносное для мира и для себя (он был убит туземцами на острове Мактан в апреле 1521 г.) кругосветное путешествие.

Португальская реконкиста увенчалась глобальной конкистой. Но, как гласит арабская пословица, «все достигшее своего предела начинает убывать». Дерзания основателей Ависской династии сменились триумфами XVI в., и Португалия утонула в золоте, специях, рабах. Когда в начале 1578 г. молодой и честолюбивый король Португалии Себастьян строил планы дальнейшей экспансии в стиле Жуана I и Энрике, предполагая захваты на севере Африки и в Индии, только сумасшедшему могло прийти в голову, что в одночасье реконкиста португальская сменится реконкистой маврской, португальские воины будут обращены в рабство, Ависская династия пресечется, а Португалия вновь превратится из мировой империи в графство. Последний день империи буквально окутан мистикой: в битве с маврами в августе 1578 г. король Себастьян помчался с обнаженным мечом навстречу врагу и исчез. Позднее Филипп II испанский, к которому юный Себастьян обращался за помощью, помог ему посмертно, похоронив его прах в Лиссабоне. Заодно король Филипп похоронил и независимость Португалии, присоединив ее к Испании. Так вспыхнула и погасла яркая и короткая имперская судьба Португалии.

Впрочем, проект принца Энрике не иссяк, а, будто вирус, охватил Европу и весь мир. Этот проект изначально был одновременно португальским и экуменическим, и это его качество возникло в союзе с папством. В свою очередь католическая церковь приобрела в лице принца Энрике, его Ордена и его морской школы поразительно эффективное орудие захвата и покорения мира, намного превосходящее сухопутные армии крестоносцев. Не случайно Рим был столь внимателен к вестям из Атлантики, а Энрике оповещал папу о каждом открытии, прося благословения. Взаимное

благоволение мореходов и клириков убеждает в согласованности их целей и действий. Папа Евгений IV пожаловал Португалии не только открытые земли, но и еще неоткрытые, чтобы привести проживающие на них народы в лоно католической церкви. В 1454 г. булла папы Николая V дала Португалии права на все земли и острова, «как уже приобретенные, так и те, которые будут приобретены к югу от мыса Бохадор, с полным отпущением грехов всем, кто может потерять жизнь во время этих завоеваний». А 39 лет спустя, в 1493 г., папа Александр VI подтвердил буллу 1454 г. и добавил к ней пункт, дающий португальцам право на открытие земель «от мыса Бохадор и вплоть до Индии» (Малаховский 1980:7, 8). Так состоялся католический раздел мира, по которому граница между империями прошла в 100 итальянских лигах к западу от островов Зеленого Мыса. Все нехристианские страны, расположенные к западу от этой линии, объявлялись владениями Испании, а к востоку — владениями Португалии. При слиянии Португалии с Испанией линия раздела исчезла, мировой метрополией стала Испания, а «императором мира» — Филипп II. Впрочем, и это «издание» мировой метрополии оказалось временным.

Британия как колония

История окраины Европы — Великобритании — представляет собой яркий пример превращения извечной колонии в мощную метрополию. Не погружаясь в британскую праисторию, уходящую вглубь на 400 тыс. лет (Сванскомб) и наполненную множеством миграций и нашествий, достаточно бросить взгляд на «историческую» серию колонизаций Британских островов.

В I в. началась римская колонизация Британии, длившаяся без малого четыре столетия (43–410 гг.), в ходе которой римляне основали многие британские города, в том числе Лондон (Londinium) и Йорк (Eboracum). В римскую эпоху обозначились внутренние границы Британии: Шотландия осталась за валом Адриана — лимесом, которым в 120-е гг. империя отгородилась от северных варваров (пиктов и бригантов). Римская Британия слабела вместе с метрополией: последняя видимость порядка отмечена при императоре Феодосии в 368–369 гг., после чего обозначились признаки упадка городов и торговли (например, театр в Веруланиуме

стал использоваться под свалку) (Блэк 2008:26). В агонии империи взбунтовавшиеся британские легионы в 406–407 гг. избирали императорами-узурпаторами то солдата Марка, то бриттского аристократа Грациана, то выходца из «низших солдатских чинов» Константина III, уведшего британскую армию в охваченную войной Галлию (Drinkwater 1998:269–298). На призыв о помощи в 410 г. отступающий под ударами Алариха император Гонорий посоветовал британцам самим заботиться о своей обороне. В ходе раздела поверженной империи франки взяли Галлию, остготы — Италию, вестготы — Испанию, бургунды — область Роны, вандалы — часть Северной Африки, а англы, саксы и юты — Британию.

В V в. римская колонизация Британии сменилась англосаксонской. Правда, ее истоки уходят в III в., когда в пространстве от Норфолка до Гемпшира образовался Саксонский берег. С падением Рима англосаксы наводнили Британию, причем поводом к их нашествию стал зов о помощи вождя бриттов Вортигерна, соперничавшего с шотландскими пиктами. В 449 г. на острове Танет в устье Темзы высадилось войско ютов во главе с Хенгестом и Хорсой. Помощь оказалась избыточной и переросла в завоевание. Юты и последовавшие за ними англы и саксы создали на землях бриттов семь королевств (Гептархию): Кент (юты), Ист-Англию (восточные англы), Мерсию (западные англы), Нортумбрию (северные англы), Суссекс (южные саксы), Эссекс (восточные саксы), Уэссекс (западные саксы). Крещеные бритты называли завоевателей «варварами» и «волками», а те в свою очередь определяли бриттов «рабами» (Walas, Wealas). Уцелевшие и оставшиеся на территории Англии бритты оказались на положении рабов, а бритты Уэльса, Девоншира и Корнуолла сохранили независимость (Грин 2007:9, 12; Блэк 2008:33). Пришельцы проявляли нетерпимость к христианству и священникам (из северных германцев англосаксы упорнее и дольше прочих сопротивлялись христианизации). В смуте войн и колонизации на Британских островах развернулась охота за рабами и работорговля (Black 2011:36). Два века длилось покорение Британии и превращение ее в землю англов (Engeland), при этом получилось, что англы перебрались на новое место вместе со своей страной: старая Англия осталась на севере Европы, а новая образовалась на Британских островах.

В VII в. нордический вектор колонизации в очередной раз сменился средиземноморским. На этот раз призрак Римской империи вернулся в Британию в облике папства. Англосаксонская языческая неуступчивость размывалась политической конкуренцией за первенство в Британии. В борьбу королей Мерсии, Уэссекса и Нортумбрии вмешался король Кента Этельберт, который на рубеже VI–VII вв. заручился поддержкой континента, заключив брак с Бертой, дочерью франкского короля Кариберта Парижского. Христианка Берта прибыла в Кентербери в сопровождении епископа, которому для богослужения была отдана старая полуразрушенная церковь св. Мартина. Римский папа Григорий Великий послал проповедовать Евангелие в Британии аббата Августина, который прибыл на тот самый остров Танет, где двумя веками ранее высадились юты Хенгеста. Через год крестился король Кента Этельберт, а еще через несколько лет, в браке с сестрой кентского короля, принял христианство король могущественной Нортумбрии Эдвин. Рука Рима вновь обозначилась на Британских островах, только в перчатке кардинала — в VII в. папа поставил епископом Кентерберийским Феодора Тарсийского. Вскоре очаг христианства на севере Англии усилился настолько, что именно здесь нортумбрийский монах Беда Достопочтенный в 731 г. написал «Церковную историю народа англов». Англы-нортумбрийцы стали спутниками и вдохновителями Карла Великого в его крестовом походе на саксов. На время Старая Англия и Новая Англия поменялись ролями: отныне новоанглийские духовники несли в старую метрополию свет римского христианства. Нортумбриец Алкуин и его единомышленники двигались в авангарде североевропейских захватов Карла Великого. Их активность оказалась настолько же эффективной, насколько и роковой. Христианская конкиста вызвала языческую реконкисту.

В конце VIII в. язычники-викинги обрушились на Британию. Их первые удары пришлись на главный монастырь Нортумбрии на острове Линдисфарн (в 793 г.). В 830–840-е гг. флотилии норманнов охватили рейдами весь Британский архипелаг. Датские викинги, следуя колонизаторской традиции, высадились все на том же острове Танет (850 г.), затем в Йоркшире (865–867 гг.) и Мерсии (874 г.), и подчиненная ими область стала называться

Данелаг (Датское право). Королю Уэссекса Альфреду удалось приостановить экспансию викингов и захватить в 886 г. Лондон; позднее, построив флот и укрепив армию и сеть городов-крепостей (бургов), он сумел отразить нападения датчан в 892–896 гг. Преемникам Альфреда под флагом защитников христианства от язычников удалось потеснить норманнов и начать реконкисту. При этом короли Уэссекса, Эдуард Старший, Ательстан и Эдмунд, к середине X в. захватили не принадлежавшие им прежде земли, распространив свою власть на всю Англию, в том числе на находившиеся во власти датчан Мерсию и Нортумбрию. Король Уэссекса Ательстан взял Йорк (927 г.), вторгся в Шотландию (934 г.), разбил объединенные силы скоттов, стратклайских бриттов и заключил союзы с государями главных европейских стран. Ательстан считал себя королем, а может быть даже императором Британии, как видно по его хартиям. Побежденным датчанам было позволено удержать свои земли, и область датского права (Данелаг) сохранила свои особенности, включая и свои законы, но датчане приняли христианство (Блэк 2008:49). Англия обязана своим единством викингам, уничтожившим все английские королевства, кроме одного — Уэссекса. Погром монахов в Англии норманнами способствовал национализации церкви за недостатком мощного клира, зависимого от папства. К рубежу тысячелетий реконкиста Англии близилась к успешному завершению: Эдред (946–955) был первым королем всей Англии; в 973 г. Эдгар (959–975) провел пышную церемонию коронации в Бате, во время которой он первым из всех правителей был коронован как король всех англичан (Блэк 2008:46–49, 55). Однако подоспела вторая волна норманнского завоевания, накрывшая Британию в начале XI в.

Ее спровоцировал король Англии Этельред (978–1016), сын Эдгара, устроивший в день св. Брайса, 13 ноября 1002 г. массовую резню датчан. В числе прочих была убита Гуннхильд, сестра короля Дании и Норвегии Свена Вилобородого, который поклялся отнять у Этельреда Англию. В поисках поддержки Этельред, не напрасно прозванный Неразумным (Unready), заключил роковой альянс с Нормандией, женившись на Эмме, сестре нормандского герцога Ричарда Доброго. Между тем викинги Свена Вилобородого брали один город за другим; последним в 1013 г. пал Лондон;

Этельред бежал в Нормандию, и Англия вторично была покорена норманнами. Свен и его сын Кнут Великий считали Англию частью своей скандинавской империи. По Олнийскому договору (1016 г.), Англия была разделена между Кнутом и Эдмундом Железнобоким, старшим сыном Этельреда, а после смерти Эдмунда Кнут был избран королем Англии (1016–1035). Унаследовав датскую корону (1019 г.) он создал под своим скипетром датско-британскую империю. Аристократия Англии пополнилась датской знатью, страна была разделена на несколько эрлств. Именно Кнут сделал Лондон военно-административным центром Англии (Блэк 2008:57, 58).

В 1060-е гг. нордический вектор в колонизации Англии опять сменился континентальным, на этот раз нормандским. Метрополией выступила «страна пиратов» Нормандия — недавняя колония викингов, созданная Хрольвом Пешеходом и его потомками на французском берегу Ла-Манша. Пока в Англии правили датские короли, при нормандском дворе взрослел Эдуард (впоследствии Исповедник), сын беглого английского короля Этельреда. Он говорил по-нормандски, придерживался нормандских материнских традиций, пренебрегая уэссекскими отцовскими. Перед Эдуардом встали вопросы гамлетовской сложности, поскольку его мать Эмма после смерти Этельреда стала женой Кнута Великого, и Эдуард — не через отца, а через отчима — получил доступ к английскому трону. Став королем, Эдуард (1042–1066) оставался нормандцем и окружал себя нормандцами. Фактически нормандская колонизация Англии началась при нем. Более того, будучи бездетным, он посулил английскую корону нормандскому герцогу Вильгельму, который со временем настолько свыкся с мыслью об Англии, что при жизни Эдуарда заручился клятвой поддержки от Гарольда, еще одного претендента на английский престол. Клятвопреступление Гарольда, избранного королем Англии после смерти Эдуарда в январе 1066 г., вызвало вторжение Вильгельма нормандского и Харальда норвежского. Первым пал Харальд, получивший стрелу в горло в битве при Стэмфордбридже; стрелой в глаз был повержен в битве при Гастингсе Гарольд. По праву победителя Вильгельм (Завоеватель) овладел Англией и на Рождество 1066 г. в Вестминстерском аббатстве был провозглашен ее королем. Началась (вернее продолжилась) нор-

мандизация Англии: англосаксонская знать была замещена нормандскими баронами, и жители Англии так же быстро восприняли нормандские имена, как прежде — датские (Репина 2007:237, 240). Через полвека в англо-нормандском пространстве произошло, с одной стороны, усиление британского политического центра, с другой — расширение владений короны на континенте. Плантагенеты рассматривали Британию как довесок к своим европейским землям. За счет браков с домами Анжу и Аквитании Генрих I и Генрих II оказались обладателями огромных территорий на континенте — женитьба на Элеоноре Аквитанской дала Генриху II (1154–1189) более обширные владения во Франции, чем были у короля Франции. Ричард I (1189–1199), став королем, проводил за пределами Англии еще больше времени, чем его отец. Его активное участие в Третьем крестовом походе, захват Акры и победа над Саладином при Арсуфе (1191 г.) обернулись не только его пленом в Германии (1192–1194) и огромным выкупом (150 000 марок), но и рискованным сближением с папством (Блэк 2008:85, 86, 91, 93).

На рубеже XII–XIII вв. наступление Англии на Европу повернуло вспять. Иоанн (1199–1216), занявший английский престол после гибели Ричарда, растерял владения короны на континенте, включая Нормандию и Анжу. Объятия папства становились стесняющими: в 1208 г. Иоанн отказался признать поставленного папой Иннокентием архиепископа Кентерберийского, за что на Англию был наложен интердикт, запрещавший все богослужения в стране, а на следующий год папа отлучил Иоанна от церкви. Король ответил конфискацией церковных земель и угрозой изувечить всех итальянцев. Папа издал буллу о низложении Иоанна, объявил против него крестовый поход и поручил исполнение своего приговора Филиппу французскому. Иоанн сдался: 15 мая 1213 г. он преклонил колени перед папским легатом Пандульфом, передал свое королевство папскому престолу и присягнул на верность папе как своему сюзерену. Англия стала папским фьефом. Вскоре при попустительстве папы английский престол был временно захвачен Людовиком, сыном Филиппа. Трагедия и смерть Иоанна, потерявшего Англию и уронившего ее достоинство, стали дном, о которое ударилось королевство. Давление со стороны Франции и Рима достигло критической

точки. Заняв престол, юный сын Иоанна Генрих III (1216–1257) допускал вмешательство Рима в английские дела, и живший при дворе папский легат Пандульф претендовал на участие в управлении государством (Блэк 2008:93, 94, 135; Грин 2007:129, 130, 147). При Генрихе III Англию наводнили итальянцы и провансальцы, однако именно шаткость монархов и разгул иноземцев сыграли решающую роль в сплочении англичан. Национальное движение, вобравшее в себя разнородные силы и ресурсы — потомков нормандских баронов, жителей Лондона, студентов Оксфорда и архиепископа Кентерберийского Стефана Лангтона — объединилось вокруг Великой хартии вольностей. С этого момента бывшая колония Рима, Дании, Нормандии, Франции круто меняет свою историю, шаг за шагом превращаясь в метрополию.

В семи предыдущих абзацах охарактеризованы семь периодов колонизации Британии — с начала новой эры до середины XIII в. Есть эпизоды, которые роднят разные волны колонизации. Почти обрядом выглядит высадка завоевателей на острове Танет в устье Темзы — опорном пункте колонизации Британии англами (597 г.), миссионерами-папистами, викингами (именно на Танете в 850–851 гг. викинги впервые остались зимовать). Во многих случаях захватчики являлись сначала на зов о помощи в роли спасителей, а затем превращались в завоевателей: бритт Вортигерн позвал англосаксов, король Эдуард посулил английский престол Вильгельму, Ричард I альянсом с папством вызвал претензии Рима на Англию. При этом военная экспансия принимала вид «легитимного вторжения». Существенную роль сыграли элитные матримониальные связи и интриги; ни одно вторжение не было целиком чужеземным, а шло по линиям прежних связей и коммуникаций.

Среди очагов колонизации Британии доминировали римский и нордический. Всякий раз завоеватель сталкивался с сопротивлением предшественников — очередные конкистадоры воевали с потомками прежних конкистадоров; иногда конкиста сменялась реконкистой (Уэссекская династия, Плантагенеты). Народ Британии сложился из нескольких волн завоевателей — бритты, римляне, юты, англы, саксы, даны, норманны, нормандцы, французы в свое время конкурировали за место под британским солнцем. Тактика конкисты обычно включала этапы жестокого поко-

рения и великодушного мира. Например, при завоевании Англии Кнут Великий вел себя как два разных человека в фазах жестокого покорения и милостивого правления. Умиротворение сопровождалось едва ли не нежностью захватчика к покорившимся жителям Англии — исполненными христианского духа посланиями к подданным, роспуском датского войска, возвращением к «закону Эдгара». Дипломатия покорения, начинавшаяся жестоким захватом и сопровождавшаяся благодетельной милостью, создавала эффект едва ли не симбиоза победителей и побежденных, тем более что датчане действительно не были для Англии чужаками: в то время «их язык мало отличался от английского, и они не принесли с собой ни новой системы землевладения, ни нового государственного порядка. Кнут правил не как завоеватель, а как природный король» (Грин 2007:69, 70).

Тринадцать веков колонизации Британии — история не только поражений, но и побед. На островах происходило как утеснение побежденных, так и накопление победителей. Британия была «краем земли», где заканчивались завоевания и колонизация упиралась в океан. Колонизаторы и их потомки становились своего рода пленниками покоренной земли, перевозя сюда свою прежнюю родину (например, англы — Англию). Долгое время волна за волной в Британии оседали колонизаторы-победители, наращивая человеческий потенциал.

Как бы жестоко ни вели себя при завоевании Британии англосаксы, норманны и нормандцы, именно им Англия обязана многослойностью своей аристократии, сложившейся из нескольких поколений завоевателей-победителей. При этом очередная колонизация сталкивала прежних завоевателей с элитной позиции, обеспечивая диффузию сословий. Волны колонизации перемешивали элиту и народ Англии, благодаря чему происходила своего рода аристократизация масс.

Ставшая почти традицией колонизация создала в череде конкист и реконкист ситуацию конкуренции элит, когда разнородные этнические, клановые, локальные и конфессиональные группы сохраняли свои преференции и могли рассчитывать на их ревитализацию «при смене власти». Эта атмосфера конкуренции и дипломатии в немалой степени способствовала успеху британского нациестроительства а, впоследствии, глобальной колонизации.

Одним из конкурентных преимуществ Англии послужила технология регулирования мотивов и интересов на основе закона-договора.

Закон как технология

Стержнем английскости стал закон, а не религия и не деяния героя-правителя. С незапамятных времен право в Британии было ключевым инструментом культуры, регулирующим взаимодействие различных персон и сообществ. Уже «во времена Чосера государственная администрация требовала большей правовой и языковой стандартизации, и это означало проникновение элитной культуры в нижние слои через слияние языков. Это также означало создание британской мифологии и переписывание истории, начиная с Жоффрея из Монмота (Geoffrey of Monmouth) в конце XII в.» (Smith 1986:109).

Культ права как социальной технологии свойствен европейцам, в том числе англичанам, настолько, что делает закон не принудительной нормой, а пристрастием, кодом поведения и мировоззрения. «Обзаконивание» — стиль английского контроля над пространством. Англичанин удовлетворяется лишь тогда, когда представит реальность в категориях права. Английская картина мира испещрена, структурирована и преобразована законами — от физики и философии до бытового пари и спорта: мячом играли во всем мире, но узаконили футбол и регби англичане; кулачные бои распространены повсеместно, но классический бокс изобретен в Англии. Культ права создает иллюзию консерватизма англичан, хотя в действительности английская традиция состоит в моментальном правовом кодировании любой инновации, а затем в представлении всего английского как закона (для всех).

В известной мере пристрастие к закону — следствие того самого «колонизационного тупика», который выпал на долю британцев и в котором закон оказался эффективной технологией баланса амбиций сменявших друг друга элит. Известно, что индивидуализм и элитные амбиции умиротворяемы и регламентируемы лишь покорностью общему закону. Кроме того, на Британских островах сошлись и смешались мощные правовые традиции римлян, англосаксов, норманнов, создав эффект правовой колонизации. Не-европейцу в Англии тесно от законов, но англичанину в этой

тесноте уютно.[2] Более того, англичане сумели распространить культ закона как непререкаемую ценность по всей планете и представить законность по-английски мировым эталоном.

Возможно, потому Великобритания до сих пор не нуждается в письменной конституции, что право у нее внутри и повсюду, и сама она — воплощенный закон. Закон-изнутри отличается от закона-извне тем, что он работает непринужденно. Именно такой закон более всего соответствует теории общественного договора. Трудно сказать, с каких хронологических глубин в Британии утверждается культ права (древних бриттов, римлян, легендарного короля Артура, англосаксов, короля Оффы), но каждое новое завоевание не разрушало, а обновляло эту традицию. Своими законами-договорами связаны не только государственные институты, но и любые сообщества Британии — англосаксонские рыцари, нормандские бароны, университетские братства, клубы, профсоюзы.

Среди многих законов, структурировавших Англию и Великобританию, особое значение имеет принятая в 1215 г. Великая хартия вольностей. Примечательно, что Хартия родилась не на пике побед, а в кризисе поражений. Виновник и жертва этого кризиса, король Иоанн, растерявший почти все европейские владения английской короны, отступивший перед Францией и признавший себя подданным Рима, сумел настолько ущемить достоинство своей страны, что современники злословили по поводу его смерти: «Как ни гнусен ад, но и его запятнало появление гнусного Иоанна» (Грин 2007:127). Лихорадочные метания этого многострадального

[2] Эта особенность англичан сохраняется до сих пор и кажется иногда абсурдной. В ходе полевых исследований в Англии в 2011 г. мне довелось убедиться, что англичане действительно упорствуют в некоторых ни к чему не обязывающих обстоятельствах. Например, инновационные англичане отказываются от смесителей горячей и холодной воды в рукомойниках. На уровне гостиничного завтрака это выражается в том, что во многих отелях предлагается один и тот же big English breakfast из яичницы, сосисок, соуса и тостов. В одной из маленьких частных гостиниц на юге Англии я заметил, как легко «узакониваются» правила. В первое утро мне предложили, как обычно, кофе или чай. Я выбрал кофе. На следующее утро вопроса уже не последовало, и портье с приветливой улыбкой поставил мне на стол кофейник. Мой протест против кофе в пользу чая вызвал удивление — англичанину невдомек, как может один и тот же человек пить по утрам то кофе, то чай.

короля сплотили англичан вокруг права (Хартии), и главную роль в защите достоинства страны сыграли потомки недавних колонизаторов — нормандские бароны. Кульминация наступила, когда отлученный от церкви Иоанн покаялся и запросил у Рима поддержки против принявших Хартию баронов, и папа Иннокентий отлучил от церкви мятежных баронов и жителей Лондона.

Решающим в этом противостоянии стал голос архиепископа Кентерберийского, церковного примаса Англии. Стефан Лангтон оказался перед дилеммой — папство или Англия. Он сделал выбор в пользу страны и Хартии, за что был отстранен папой от обязанностей примаса (до обособления Англии от Римской церкви оставалось еще три века). Путь секуляризации закона и отделения церкви от государства оказался оптимальным для утверждения гражданского права. Лишь тот закон, что вершится не по милости бога и воле короля, а вопреки им, приводит к общественному договору, и тогда в кризисных ситуациях срабатывает не механизм путча, а гражданское право. Хартия предстала как технология защиты достоинства Англии, став основанием ее роста, а Стефан Лангтон, несмотря на сан, выступил служителем скорее английского закона, чем римской церкви.

Борьба за Хартию против Рима и собственного короля превратила жителей Англии в англичан. Хартия утверждала главенство закона Англии над королевской властью и его превосходство над римским правом. По существу движение за Хартию стало религиозной реконкистой, вызволившей Англию из состояния колониальной окраины. Роль антитезы, которую для взлета Португалии сыграл халифат, в Англии исполнино антипапское движение (в том числе лоллардизм в эпоху великой схизмы). Превращение Англии из колонии в метрополию началось с религиозной реконкисты, направленной против папства с союзными испанскими и французскими монархами.

Если негативным персонажем в английском повороте был король Иоанн, то эталоном английской идентичности выступил король Эдуард I — «англичанин на троне», с которого начинается «конституционная Англия нашего времени» (Грин 2007:176). Трудно сказать, был ли Эдуард наделен идеальным английским характером или английский характер сложился по образцу Эдуарда. Для историографии традиционен его портрет: «Как истый англича-

нин, он был своенравен и надменен, стоек в своих правах, неукротим в гордости, упрям и упорен, медлен в понимании и узок в симпатиях; с другой стороны, он также отличался справедливостью, бескорыстием, трудолюбием, добросовестностью, уважением к истине, умеренностью, сознанием долга, религиозностью. Он унаследовал, правда, от анжуйцев их наклонность к бешеному гневу» (Грин 2007:188). Эдуарду I удалось установить английскую гегемонию над Уэльсом и Шотландией (укрепление Англии в противовес Риму и континентальной Европе в XIII в. сочеталось с внутрибританской колонизацией). Изгнание евреев из Англии в 1290 г. при Эдуарде I было знаком растущего национализма и стремления к полному контролю над социальным пространством.

Впрочем, еще век английский суд вершился по-французски — лишь во второй половине XIV в., при Эдуарде III, английский стал языком суда и школы. Это случилось после победы Эдуарда III английского над Филиппом VI французским в битве при Креси 1346 г. С этой «битвы королей» началась военная реконкиста Англии, направленная против континента, прежде всего Франции. Несколько месяцев спустя был разбит и пленен союзник континента король Шотландии Давид Брюс. За взятием Кале последовала победа Черного Принца (сына короля Эдуарда Вудстока) над французами при Пуатье (1356 г.) с пленением французского короля Иоанна Доброго и публичным провозом его по Лондону (за этот позор Франция поплатилась громадным выкупом и Жакерией). Наконец, разгром кастильского флота впервые, хотя и ненадолго, сделал английского короля «владыкой морей» (вскоре кастильский флот взял у англичан реванш у Ла-Рошеля, а к 1374 г. Англия потеряла все свои континентальные владения, за исключением Бордо и Байонна) (Грин 2007:238).

Маятник побед и поражений стимулировал соперничество Англии и Франции, и борьба за первенство шла с переменным успехом: метрополии менялись местами, за конкистой следовала реконкиста. Эта взаимная колонизация, несмотря на путаницу интересов и мотивов, послужила едва ли не главным механизмом нациестроительства в Англии и Франции.

Решающие события, сделавшие Англию метрополией, произошли в XVI в., когда Генрих VIII подписал Акт о верховенстве (1534 г.), провозгласивший короля главой церкви в Англии. Тем

самым Генрих VIII отменил статус Англии как папского феода, и прилив пуританского этнонационализма привел к формированию английской нации (Smith 1986:109). Акт был прямым продолжением Хартии, хотя непосредственным поводом для антипапского бунта послужил отказ папы разрешить Генриху VIII развод с Екатериной Арагонской (ради женитьбы на Анне Болейн). Брачные предпочтения Генриха отразились в последовавших зигзагах английской истории: (1) его дочь от Екатерины Арагонской, католичка Мария, став королевой (1553–1558), вернула Англию в лоно папства (после брака в 1554 г. с Филиппом II испанским); (2) его дочь от Анны Болейн, протестантка Елизавета, вступив на престол после смерти сводной сестры (1558–1603), вернула Англии самостоятельность, избавив от объятий папы и Филиппа II.

Антипапская позиция Англии сделала ее «островом свободы» для европейских предпринимателей. В 1566 г. сэр Т. Грэшэм основал королевскую биржу; на берегах Темзы нашли убежище торговцы и промышленники из разгромленного испанцами Антверпена; в «пяти портах» Англии обосновались голландские мореходы и пираты. Примечательно, что в это время уже не королевские указы, а инициативы англичан задавали стране новые ориентиры действий: пока Елизавета размышляла о браке с католиком герцогом Анжуйским, англичане формировали отряды добровольцев в помощь Голландии и переправлялись через Ла-Манш на службу к принцу Конде и Генриху Наваррскому (Грин 2007:430).

Будто пробудившись от спячки, английские мореходы ринулись в дальние путешествия, торговые, промысловые и пиратские экспедиции. Правда, даже в пиратстве они сохраняли пристрастие к закону. В тюдоровскую эпоху пиратство без патента считалось преступлением, тогда как «лицензионный грабеж» был популярен и назывался privateering (каперство). Этот промысел предполагал погром судов стран, находившихся в состоянии войны с Англией и ее союзниками, причем лицензию на каперство можно было получить без одобрения королевы у кого-либо из союзников Англии. Через четыре года после вступления Елизаветы на престол Ла-Манш буквально кишел каперами, имевшими патенты от принца Конде и гугенотских вождей и не

обращавшими внимания ни на жалобы французского двора, ни на репрессивные меры Елизаветы (Williamson 1927:67).

В описаниях историков пираты обычно выглядят отщепенцами или, в лучшем случае, романтиками-разбойниками на обочине реальной истории. Между тем пиратская вольница в XVI в. сыграла примерно ту же роль в английской колонизации морей, какую в колонизации Северной Евразии сыграла казачья вольница. Корсарам было открыто то, что запретно для монархов, — нарушение сложившихся норм и границ. Этот инструмент преодоления права позволил законолюбивой Англии превратиться из колонии в метрополию.

В этом контексте достойна внимания фигура знаменитого «адмирала корсаров» Фрэнсиса Дрейка (ок. 1540–1596), родившегося на юге Англии (в Девоншире), где в те годы процветало каперство. В предлагаемом ниже «крупном плане» значимо расхождение между монаршей и пиратской мотивациями и действиями, а также преодоление стереотипа пирата как нетрезвого алчного разбойника, чуждого серьезной политики. Ф. Дрейка можно считать не только народным героем Англии, но и одним из родоначальников великой морской империи.

Одиссея капитана Дрейка

Фрэнсис был еще ребенком, когда его отец Эдмунд и дядя Ричард бежали из охваченного восстанием католиков Плимута в Кент. Католический террор королевы Марии Тюдор стал для Фрэнсиса травмой детства, и он всю жизнь хранил неприязнь к католицизму и приверженность к англиканству. Его отец был корабельным священником, и домом для Фрэнсиса и его одиннадцати младших братьев служил корабль. С десяти лет Дрейк ходил юнгой на торговом судне во Францию и Голландию, а в совершеннолетие стал хозяином и капитаном барка «Юдифь», завещанного ему прежним владельцем.

В судьбе Дрейка заметную роль сыграл его троюродный брат Джон Хоукинс (1532–1595) — один из создателей морского флота Англии, потомственный мореплаватель и торговец. Его отец, Вильям Хоукинс, посещал гвинейский берег Африки и наблюдал за действиями португальцев-работорговцев; по их следам он первым из англичан достиг Америки (Бразилии) в 1530 г. (Kelsey

2003:4). Джон сочетал авантюризм с дипломатией и расчетом; он стал пионером английской работорговли, которая в те годы была престижным занятием (на гербе Хоукинса 1565 г. изображен обвитый цепью черный невольник) (Грин 2007:411; Black 2011:66, 67). С 1566 г. Джон увлек своего кузена Дрейка в рискованные дальние плавания и позднее не раз вдохновлял его на смелые авантюры и победы. В свое последнее трансатлантическое плавание Дрейк и Хоукинс ушли вместе и умерли так же дружно, как жили. Перед смертью, случившейся у пуэрто-риканского города Сан-Хуан 12 ноября 1595 г. на борту «Гарланда», Хоукинс завещал 2 тыс. фунтов стерлингов королеве Елизавете для компенсации ее потерь от их неудачной экспедиции, а лучший бриллиант и крест с изумрудом — «дорогому кузену сэру Фрэнсису Дрейку». «Дорогой кузен» лишь на два с небольшим месяца пережил своего друга и соратника: в ночь на 28 января 1596 г. смертельно больной дизентерией Дрейк с помощью слуги облачился в боевые доспехи и на рассвете встретил смерть, как подобает воину. У берегов Панамы свинцовый гроб с телом адмирала Дрейка был опущен на дно моря под грохот пушечного салюта, а в качестве погребального эскорта были затоплены два корабля флотилии и несколько захваченных испанских судов (Малаховский 1980:165).

Дрейка называли «пиратом королевы Елизаветы». Однако он был скорее союзником, чем слугой трона. Он предопределял или направлял помыслы королевы, к тому же делал это эффектно. Дрейк едва ли не первым поймал в паруса ветер английской морской экспансии, на пути которой стояла Испания — владычица океанов и любимица пап. Католическая Испания Филиппа II стала возбудителем и объединителем английских амбиций. Мотив конкуренции и реванша в отношении Испании сблизил помыслы Елизаветы и Дрейка в 1570-е гг. Менталитет корсара позволил Дрейку разглядеть в имперском блеске Испании добычу. Кроме того, у Дрейка и Хоукинса обнаружились счеты к испанцам за коварный погром кораблей в 1568 г. у мексиканского побережья.

Проведав о замыслах пирата, Елизавета назначила ему тайную аудиенцию и начала со слов: «Дрейк, мне бы хотелось отомстить королю Испании за нанесенные обиды». На вопрос королевы, как это лучше сделать, Дрейк ответил, что удар испанцам следует нанести в их «Индии». Елизавета поддержала план напа-

дения на Панаму и внесла значительный денежный пай на экспедицию (The World Encompassed 1854:215). Внимание королевы к экспедиции Дрейка трогательно: она снабдила его в дорогу благовониями и сладостями, прислала морскую шапку и зеленый шелковый шарф с вышитыми золотом словами: «Пусть всегда хранит и направляет тебя Бог». А на последней аудиенции перед отплытием подарила Дрейку меч, сказав при этом: «Мы считаем, что тот, кто нанесет удар тебе, Дрейк, нанесет его нам» (Малаховский 1980:56, 61). По возвращении Дрейка из триумфального кругосветного плавания (1577–1580) королева удостоила его рыцарства, причем, согласно легенде (возможно, рожденной в викторианскую эпоху), сама возложила меч на плечо корсара.

Дрейк не первым обогнул земной шар, но он был первым из англичан, заявившим претензию своей страны на охват планеты и, тем самым, контроль над миром (см. рис. 5). В 1573 г., увидев Тихий океан после пешего перехода через Панамский перешеек, Дрейк поклялся, что «если всемогущий бог продлит его дни», то он «пройдет на британском корабле по этому морю» (в то время Тихий океан именовался Испанским морем) (Малаховский 1980:46). Дерзновения Дрейка развеяли миф о морском всесилии Испании. Корсар с тайного благословения королевы виртуозно захватывал испанские корабли и форты, отнимал колониальную казну и нарушал испанскую монополию на торговлю рабами. Разумеется, Дрейк был не одинок: помимо его братьев и друга-наставника Хоукинса, многие английские корсары (непременно протестанты по вероисповеданию) двинулись на покорение «испанских морей».

Дрейк в 1579 г. открыл эру английской Америки, пройдя севернее испанских владений по Тихому океану до побережья Калифорнии. Там он принял от местного вождя инсигнии (скипетр и корону), назвав покоренную землю Новым Альбионом (The World Encompassed 1854:128, 129). Чуть позже еще один пират королевы, Уолтер Рэли, разведал земли севернее испанских владений по Атлантическому побережью и назвал новую колонию Вирджинией, в честь королевы-девственницы. Оба корсарских проекта оказались «потерянными», но именно они проложили путь английской колонизации Нового Света. Дрейк, кстати, принял участие в судьбе первых колонистов Вирджинии, бедствовавших на острове Роанок. В ходе пиратского рейда 1585 г. по Вест-Индии он

решил навестить островитян-колонистов и 1 июня подошел к месту их высадки. Найдя их в удручающем положении, адмирал предложил на выбор: либо вернуться вместе с ним в Англию, либо получить от него корабль с продовольствием и два пинаса. Колонисты выбрали последнее. Адмирал нагрузил продовольствием судно «Дрейк» и направил к берегу. Но разразившаяся трехдневная буря потопила корабль. Дрейк предложил колонистам другое судно, но те, напуганные плохим предзнаменованием, не захотели оставаться в Америке и попросились на корабли флотилии. Так закончилась первая попытка английской колонизации Нового Света (Малаховский 1980:125).

Дрейк стяжал славу грозного и своевольного капитана. Перед входом в Магелланов пролив он подавил смуту в команде, казнив колеблющихся офицеров, в том числе Томаса Доути. Позднее, 9 января 1580 г., уже в Индийском океане, «Золотая лань» напоролась на риф, и в трюме открылась течь. Даже опытные моряки, пав ниц, молились. Судовой священник Ф. Флетчер усугубил панику, назвав случившееся божьей карой за казнь Т. Доути. Дрейк спокойно дождался конца молитвы, а затем послал всех, включая капеллана, откачивать воду из трюма. Он велел выбрасывать за борт муку, тюки тканей, оружие, боеприпасы. На очереди были мешки с драгоценностями, когда «случилось чудо». Ветер начал стихать, вода прибыла, и киль корабля поднялся над рифом. После двадцати часов кошмара «Золотая лань» обрела свободный ход. Когда улеглось ликование, сменившее массовую истерику, Дрейк вызвал к себе Флетчера. Адмирал принял священника, сидя в кресле на нижней палубе. «Фрэнсис Флетчер, — сказал Дрейк, — я отлучаю тебя от церкви господней и лишаю всех выгод и преимуществ, проистекающих от этого, и отдаю тебя сатане и всем присным его». Затем он приказал повесить на грудь капеллана дощечку с надписью: «Фрэнсис Флетчер — величайший плут и мошенник на свете». Впрочем, несколько дней спустя гнев адмирала остыл, и он разрешил священнику вернуться к пасторским обязанностям (Малаховский 1980:99, 100).

В другом случае, ставшем притчей и обыгранном в комедии Лопе де Вега, Дрейк захватил у берегов Никарагуа испанское судно. Щедрый на милость, капитан наградил владельца судна, дона Франциско де Сарата, крестом ордена св. Сантьяго «за храбрость».

Курьез состоял в том, что дону Франциско был вручен орден, только что отнятый у него же. В своих записках дон Франциско ответил Дрейку взаимным расположением: «Этот генерал по имени Фрэнсис Дрейк, лет 35 от роду, небольшого роста, с белокурой бородой — один из величайших моряков, когда-либо ходивших по морям, и как навигатор, и как командир» (Nutall 1914:201–206).

Примечательно, что страсть к сокровищам Дрейк, как и многие другие корсары, сочетал с пренебрежением к богатству. Легкость добычи и растраты богатства всегда отличала пирата от обывателя. Подчас, особенно в критических ситуациях, действия Дрейка не имели ничего общего с экономическим расчетом. Например, в ходе удачного рейда по Панамскому побережью в 1572 г. он захватил много трофейных кораблей. Однако перед входом в Магелланов пролив он ради маневра не только отпустил трофейные корабли, но и сжег два собственных судна, в том числе «Лебедь», составлявший его личный капитал (Малаховский 1980:41, 69).

И все же сокровища Дрейка могли вскружить голову не только моряку, но и монарху. Елизаветинская Англия была бедной страной, особенно на фоне Испании. Экономист Дж. Кейнс подсчитал, что годовой доход английской короны в ту пору составлял около 300 тыс. ф. ст., а испанские трофеи Дрейка — около 600 тыс. ф. ст. За счет добычи Дрейка Елизавета могла погасить весь внешний долг, остаток средств вложить в Левантийскую компанию, а затем доходы от Левантийской компании инвестировать в Ост-Индскую компанию и т. д. (Keynes 1930:156, 157). Иными словами, трофеи Дрейка помогли запустить маховик «британского чуда» XVII–XVIII вв. Не случайно Елизавета носила в короне поднесенные Дрейком алмазы, а Филипп II прилагал все усилия для расправы с пиратом, угрожавшим Испании более реально, чем королевский флот Британии.

Потрепав заморские владения Испании, Дрейк перевел взгляд на саму Испанию, которая в ту пору, в начале 1587 г., собирала Армаду для северного похода на Англию. Дрейк разработал план «подожжения бороды испанского короля» — пиратского набега на Испанию для предотвращения сбора кораблей Армады в Лиссабоне. Первоначально одобрив замысел, Елизавета вскоре заколебалась и отправила в Плимут курьера с приказом воздержаться от враждебных действий, применения силы и причинения ущерба городам и

портам Испании. Однако Дрейк уже вышел в море. Королевский курьер потребовал пинас, погнался за флотилией, но тщетно — Дрейк был недосягаем. В отличие от королевы, он пребывал в боевом настроении, написав своему единомышленнику Уоллсингему в день отплытия (2 апреля 1587 г.): «Ветер командует мне: иди. Наш корабль поднял паруса» (Mason 1941:269, 270).

И все же рука королевы дотянулась до флотилии Дрейка в лице посланного ему на помощь (для его сдерживания) вице-адмирала Уильяма Бороу. Подойдя к Кадису, Дрейк собрал на флагмане «Бонавентура» военный совет, на котором, как обычно, выслушал все мнения и принял собственное решение: пополудни сходу атаковать Кадис. В числе возражавших был вице-адмирал Бороу, настаивавший на тщательной подготовке нападения. Дрейк самовольно отдал приказ к штурму, и, к удивлению всех участников сражения, а также короля Испании, лихая пиратская атака увенчалась полным триумфом англичан: неприступный Кадис был разгромлен за сутки. По словам современников, Дрейк нанес «удар в сердце маркиза Санта Круз, великого адмирала Испании», который впал в безысходную печаль и вскоре умер (Mason 1941:277).

После погрома Кадиса Дрейк устремился к мысу Сан-Висенти на юго-западе Португалии. Не исключено, что адмирала привлекала не только возможность захвата мыса для установления контроля над морским перекрестком Средиземноморья и Атлантики, но и призрак принца Энрике, построившего на мысу замок Сагриш и знаменитую мореходную школу (по воле случая здесь сошлись пути двух выдающихся стратегов морской колонизации). И Дрейк, вопреки очередному протесту вице-адмирала Бороу, высадился с корабля и с мечом в руке сам повел матросов на штурм замка.

После взятия Кадиса и Сагриша Дрейку пришлось умерить пыл. Если прежде королеву смущали причуды Дрейка, то теперь стали раздражать. Она была вынуждена оправдываться перед испанским королем через лорда Берли за самоволие пирата, а среди своих советников выражала гнев словами: «Он никогда не разбивал, а только раздражал врага к большому для меня ущербу» (Mason 1941:295). На просьбу Дрейка отдать Бороу под суд королева ответила отказом и даже поощрила вице-адмирала, назначив инспектором королевского флота. Дрейк превысил меру своеволия, наступив королеве на «мозоль власти».

Впрочем, в тот момент Елизавете было не до придворных опал. Близившаяся схватка с испанской Армадой возбудила в Англии настолько сильный национальный порыв, что отошли в тень даже религиозные распри. В походе на Англию Филипп II рассчитывал на союзников по конфессии, но и они оказались более англичанами, чем католиками. Дворяне-католики собрались под знаменами графа Лестера в Тилбери, лорды-католики вели свои суда против Армады рядом с эскадрой лорда-адмирала Говарда Эффингема и флотилией корсаров Фрэнсиса Дрейка. 19 июля 1588 г. паруса Армады развернулись у мыса Лизард и берега Англии вспыхнули сигнальными огнями, страна изготовилась к бою (Грин 2007:434).

В английском фольклоре появление Армады у британских берегов прочно связано с именем Дрейка. По легенде, на борту его флагмана шла размеренная послеобеденная игра в шары, когда капитан сторожевой пинаса принес весть о том, что у мыса Лизард, в 60 милях к западу от Плимута, появился испанский флот. Все игравшие с тревогой обернулись на Дрейка, но адмирал невозмутимо произнес: «У нас достаточно времени, чтобы закончить игру и после этого разбить испанцев». До сих пор эта история, даже если в ней есть фольклорный налет, восхищает и умиляет англичан.

Великая Армада, вдвое превосходившая по мощи английский флот, была скована нерешительностью, порожденной в немалой степени ошеломляющей превентивной атакой Дрейка. Испанский адмирал герцог Медина Сидония выискивал любой повод для отсрочки похода, ссылаясь, например, на шторм, расшвырявший корабли у Ла-Коруньи. При проходе Армады мимо Плимута на советы атаковать Медина возражал, что его план предусматривает соединение флота с сухопутной армией Фарнезе в Кале, а атака на Плимут с высадкой десанта принудила бы его «давать одну битву за другой, терять людей от ран и болезней, оставлять за собой отряды для охраны сообщений». В итоге, сокрушался герцог, «в короткое время силы моей армии ослабеют настолько, что я буду не в состоянии идти вперед на глазах неприятеля, а еретики и другие враги вашего величества получат время вмешаться; в то же время могут явиться большие затруднения, которые погубят все, и я не буду в состоянии их устранить» (Грин 2007:435).

Испанский адмирал руководствовался той самой многословной медлительностью, которой недоставало корсару Дрейку,

когда он выигрывал сражения и проигрывал милость двора. Медина и Дрейк — антиподы в азарте, решимости и мобильности. Военные историки дружно считают преимуществом англичан скоростные качества их небольших судов. Однако, командуй ими герцог Медина, от этого преимущества не осталось бы следа. Англичане, напротив, буквально впились в хвост Армады, преследуя ее от Плимута. По существу Армада начала отступать с момента своего появления в британских водах.

Пораженческое настроение довершилось бойней в Кале. Сбитые в кучу ветром и огнем англичан, с разорванными парусами и сломанными мачтами, тяжелые испанские галеоны напоминали стадо на заклании. Отчаяние адмирала Медины в разгар битвы было прямым продолжением его стратегии осторожности. «Мы погибли, сеньор Оквенда, — кричал он одному из своих капитанов, — что нам делать?» — «Оставьте другим говорить о гибели, — ответил Оквенда, — вашей светлости нужно только велеть подать свежие заряды». Однако разгромленная Армада уже упустила шанс даже на достойное отступление. Испанский военный совет принял решение о возвращении в обход Оркнейских островов. «Никогда ничто, — комментировал бегство Армады Дрейк, — не нравилось мне так, как вид неприятеля, гонимого к северу южным ветром... Я надеюсь вскоре поставить дело так, что герцогу Сидонии захочется в порт св. Марии под его апельсиновые деревья». Разыгравшаяся вскоре морская буря добила Армаду (Грин 2007:438; Блэк 2008:187).

Разгром Армады стал триумфом Англии как растущей морской империи. На место пирата Дрейка пришла целая плеяда одухотворенных деятелей английской политики и культуры. В последние годы жизни адмирал корсаров был мэром Плимута и ходил в свои не очень удачные морские экспедиции. Известие о смерти Дрейка — последнее, что порадовало измученного переживаниями и болезнями Филиппа II. Испанский король признался, что не чувствовал себя так хорошо со времен Варфоломеевской ночи, и Севилья светилась огнями иллюминации по поводу смерти заклятого врага. Пожалуй, испанский монарх лучше других видел роль Дрейка в катастрофе Испании и взлете Англии.

Еще недавно владычество Испании казалось незыблемым. Открытия Колумба, завоевания Кортеса и Писарро сделали ее мировой империей. В 1571 г., после победы в заливе Лепанто,

Испания отняла у Османской империи господство в Средиземном море. Король Испании был властителем Неаполя и Милана, Нидерландов и Фландрии, мирового рынка Антверпена. Каждый шаг Филиппа II благословлялся папством — испанский монарх был лидером и надеждой католического мира; от него ждали поддержки католики Франции, борцы с ересями во Фландрии и Англии. До полного торжества в Европе и Атлантике Испании оставалась одна победа — над пиратской Англией.

Филиппу II противостояла бедная островная страна с королевой-девственницей на троне. Это напоминало игру кошки с мышкой до тех пор, пока не разыгралась пиратская стихия. Сначала и она казалась легко устранимой помехой, поскольку в самой Англии морские авантюристы были не в ладах с законом. Однако именно неподконтрольность, мобильность и смелость корсаров, каперов оказались их конкурентным преимуществом. Филипп II и его военачальники были медлительны и расчетливы, корсары — стремительны и непредсказуемы. В морской вольности рождалась Британская империя.

Из «крупных планов» с проекцией на зарождение Британской империи Дрейк выигрывает даже на фоне королевы Елизаветы и графа Лестера. Он, выросший из юнги в адмирала, бывший корсаром и ставший сэром, прошел по всему социальному пространству английскости и открыл геополитическое пространство британскости. Он торговал неграми и жег испанские галеоны, а королева всходила на палубу его пиратского судна, чтобы посвятить его в рыцари. Легендарный корсар не очень хорошо писал и читал, но виртуозно владел кораблем и морем (на гербе Дрейка изображен земной шар, по которому идет парусное судно). Протестантская неприязнь к католикам сочеталась в нем с крайним суеверием и языческим культом моря. Совпадение фамилии Дрейк с символом владыки моря в англо-норманнской мифологии (англ. Drake, исп. El Draque, лат. Draco ‘дракон’) не расходилось с самооценкой: на первом рыцарском гербе Дрейка был изображен крылатый дракон. Он бросил вызов самому могущественному монарху Европы того времени Филиппу II, и ему не раз удавалось «поджечь бороду испанского короля». Он при жизни стал национальным героем, и в его образе черпала энергию морская идентичность британцев, дополняемая и обновляемая именами Мартина Фробишера, Генри

Гудзона, Уильяма Баффина, Джона Дэйвиса, Джеймса Кука. Затем, когда Британия стала организованной империей, и еще позднее, когда она пыталась смыть с себя клеймо империализма, Фрэнсис Дрейк был отодвинут в ряд романтических персонажей полузабытой старины.[3] Однако в 1560–1590-е гг. именно от него исходила парадоксальная дерзость англичан, одолевших испанского Голиафа и двинувшихся на покорение океанов.

Этюд о господстве и рабстве

Алгоритм «господин–раб» коренится в природной иерархии. С древности власть над социальным пространством выражалась в соотношении господства и рабства. Вопреки убеждениям эволюционистов, иерархия ниоткуда не появляется (как стадия развития) и никуда не исчезает; для человека она исконна, поскольку предшествовала его появлению, и обладает свойством изначальной данности. Благонамеренные попытки заместить ее искусственными конструктами вроде религиозных и социальных братств показывают, что иерархия не устраняется, а только преобразуется. Автор «Левиафана» прав в обозначении приоритета: «На первое место я ставлю как общую склонность всего человеческого рода вечное и беспрестанное желание все большей и большей власти, желание, прекращающееся лишь со смертью» (Гоббс 1991:74).

Для экспансии власти, в том числе в версиях колонизации, мотив господства и рабства представляется ключевым. Рационально-

---

[3] Отношение сегодняшних англичан к Дрейку выразил Д. Уолтон в интервью, записанном Д. Н. Федоровой в ходе этнографической экспедиции в Англию летом 2010 г.: «Фрэнсис Дрейк? Конечно, он был когда-то одним из великих героев; он открывал новые земли в исторически важный момент, когда колонизовалась большая часть планеты. Он плавал вокруг света, что сделало его национальным героем. Он был и ключевой фигурой в разгроме испанской Армады, что добавило к его репутации звание великого британца. Он совершил кругосветное плавание на «Золотой Лани», и памятник этому кораблю стоит поныне ниже станции «Лондонский мост»... Мой сын фотографировался у этого памятника и старался выглядеть крутым! Это помогает хранить живую память [о Дрейке]. Образованные люди еще помнят его имя, но он уже не обладает той вдохновляющей силой, какую имел в XIX в. Я бы сказал, что для большинства людей он — скорее реликвия прошлого, чем живая легенда...» (Материалы этнографической экспедиции ИИиА УрО РАН; проект «Идентичность и мультикультурализм в условиях постимперскости (на материалах Великобритании)» (рук. А. В. Головнёв) по гранту РГНФ 10-01-00241а).

рыночная европейская мысль пытается разложить его на атомы выгоды. В стиле западного консюмеризма господство и рабство принято толковать с позиции экономической выгоды и целесообразности; Дж. Ингрэм в ракурсе экономического эволюционизма определял рабство как «громадный шаг вперед на пути прогресса», хотя в нравственном отношении «оно имело крайне пагубное влияние как на рабов, так и на господ» (Ингрэм 2011:7, 10). Ф. Энгельс посвятил целую книгу («Анти-Дюринг») опровержению размышлений Е. Дюринга о первенстве политики над экономикой, убеждая, что «насилие есть только средство, целью же является, напротив, экономическая выгода» (Маркс, Энгельс 1961:162). Если слово «насилие» заменить понятием «иерархия» и вспомнить о ее естестве, то пафос марксистов останется лишь указанием на их собственную цель — закодировать историю материально-экономическими формулами. Европейская культура камуфляжа власти впечатляюще многослойна и слепит косметикой религиозных, правовых, экономических и научных нарративов.

Мотив власти над социальным пространством всегда был базовым, тогда как торговые, ресурсные и прочие потребительские практики выступали в качестве попутных технологий. Фактор власти играет в колонизации ведущую роль, и код «господин–раб», явно или завуалированно, пронизывает социальное пространство всех эпох. Речь идет не только о ловле и продаже рабов, но и о подчинении целых стран и народов. В этом отношении нельзя не сослаться на восходящую к Гераклиту «завоевательную теорию» о приоритете войн в общественном устройстве, когда победители становятся правителями, а побежденные — подданными. Понятно, что речь идет о войне как инструменте реализации базового (при этом лукаво прикрываемого экономическими и прочими «законами») мотива человеческого поведения — мотива власти. До недавнего времени рабство было средством удовлетворения самых разных потребностей — от желания иметь верного слугу («дядя Том») и прекрасную наложницу («Аида») до стремления к порабощению целой страны (Илотия) и созданию колонии рабов (Ямайка). Рабовладение оказывается не эпизодической формацией, а многообразной социальной универсалией.

В рабовладении есть интимность обладания, во все времена мотивировавшая добычу рабов. На пересечении власти и секса

особенно ярко выглядит охота за рабынями, служившая одновременно манифестацией власти. Эта древняя мотивация дальних походов и пересечения границ наиболее выразительна у кочевников, в частности в знаменитом билике Чингис-хана о «наслаждении и удовольствии» (Головнёв 2009:66–73, 126–128, 394–396). Та же доминанта представлена в известии о походе египтян на кушитов: фараон Хакаура Сенисерт (Сесострис) III (1870–1831 до н. э.), известный частыми экспедициями в Нубию, оставил в крепости Семна у второго порога Нила надпись: «Я захватил их женщин, я привел их подданных, я вышел к их колодцам, я побил их быков, я вырвал их ячмень, я поджег его» (История Древнего Востока 2002:33, 34). И позднее спрос на африканских женщин в качестве домашних слуг и секс-рабынь был высок (в том числе в странах ислама и христианства). В Египте эфиопские женщины, славные своей красотой, стоили дороже рабов-мужчин (Lane, Johnson 2009:513).

Сообщения о захвате полона обычны для рунических памятников древних тюрок. При этом «тексты фиксируют прежде всего, а зачастую исключительно, увод в неволю женщин и девушек, иногда мальчиков и юношей, но никогда — взрослых мужчин. Женщин и девушек упоминают как главную военную добычу, их требовали в качестве контрибуции, их отнимали у подвластных племен, если те поднимали мятеж или задерживали выплату дани» (Кляшторный, Савинов 2005:156). Исходный инстинкт охотника на женщин разрастается у кочевника до геополитики, в которой право на женщин — право победителя. Острота этого синдрома власти иллюстрируется судьбой хорезмшаха Мухаммеда, соперника Чингисхана в степях Евразии. Долгое время он успешно уходил от ударов монголов, и даже известия о падении Бухары и Самарканда не сломили его воли. Мухаммед был неуязвим до тех пор, пока монголы не взяли крепость Карун, где скрывался его гарем. Узнав о том, что «его гарем обесчещен», хорезмшах умер (Рашид-ад-дин 2 1952:209–213).

Спектр реализации господства, отчасти совпадавший с мотивацией победителей, включал секс-рабство, домашний сервис, ритуальные жертвоприношения, работорговлю, освоение новых территорий, экономическое использование, военную службу рабов и создание рабской иерархии. Право победителя, начинавшееся с разгрома мужчин и захвата женщин, продолжалось в устройстве

господства через государственно-правовое подчинение завоеванной страны. Вариант прямого подчинения с оккупацией территории классически представлен Спартой, при этом завоеватели образовывали правящую элиту, а завоеванные (илоты, пенесты, мариандины и др.) оказывались трудящимися массами с жестко регламентированными повинностями. Часто они рассматривались как содержимое земли и, согласно «договорам», не могли от нее отчуждаться (Шишова 1991:140). Этот «крепостной регламент» характерен для стран с осевшей элитой.

Понятие «рабство» охватывает различные состояния — от персональной зависимости[4] до подчинения целых стран и народов. Сегодняшнее неприятие рабства гуманно, но с ним нечего делать в истории, поскольку в аболиционистской проекции все прошлое окажется «вне закона». Толковать древнее и средневековое рабство с позиций правозащитника XXI в. бессмысленно, тем более опираясь на современные интерпретации рабства, включающие долговую кабалу, принудительный труд, принудительную проституцию и принудительный брак (по классификации «Международной ассоциации против рабства» 2000 г.).

В ранних цивилизациях, судя по кодексам Эшнунны и Вавилона, рабы были органичной частью общества. В Библии рабство известно с допотопных времен (Быт. 9:25), а история продажи Иосифа и другие ветхозаветные сюжеты не только раскрывают его многообразие, но и связывают с волей Божьей (на что любили ссылаться плантаторы американского Юга). Сцены рельефов и росписей, изображающие пленных со связанными за спиной руками, воинов в окружении рабов, кровавые жертвоприношения, героизируют победителей-поработителей в разных концах Средиземноморья (Массон 1989:64; Barton 2009:3).

Рабство побежденным — общий императив завоеваний. В протошумерской письменности раб обозначался как «человек (чужой) горной страны» (Вайман 1974). В античности рабство было настолько естественно, что Платон не представлял без него идеального государства. Аристократ по рождению, успев-

[4] Так называемое домашнее, или патриархальное, рабство, в силу своей обыденности и «человечности», в памятниках древности трудноразличимо. В англоязычной литературе это «первоначальное» рабство относится к категории личного имущества (chattel slavery). И. Я. Фроянов предпочитает выражение «первобытное рабство» (1996:46).

ший побывать и рабом, он не понаслышке знал о том, что избыток свободы приводит к рабству и что рабами должны быть добываемые в войне варвары, но не эллины. Аристотель считал науку о приобретении рабов чем-то вроде науки о войне или об охоте; он не мыслил общества без рабства, но негодовал на порабощение одних эллинов другими, видел в «природном рабе» одушевленное тело, которое служит «частью тела» господина; сам Аристотель владел 13 рабами (Ингрэм 2011:24). Полибий в «Истории Рима» представляет рабов как атрибут жизни благородного человека; при этом его похвалы удостоились жители Абидоса, которые при взятии их города войсками Филиппа V македонского предпочли рабству смерть (Black 2011:19). По Страбону (III, 12), в Аттике рабов называли по стране происхождения, например Лидиец, Сириец, Дав (из Дакии), Гета (из страны гетов). Добыча рабов была одним из главных мотивов расширения греческой колониальной сети.

Эллинское рабовладение сочеталось с демократией полиса (Finley 1981). Каждый свободный афинянин был рабовладельцем, обладая, по меньшей мере, одним рабом. Ярче всего гармония свободы и рабства обозначилась в Спарте, где, по выражению Крития, «раб полностью порабощен, а свободный совершенно свободен» (Шишова 1991:160). Мыслителям античности рабство представлялось обратной стороной свободы. Оно необходимо в отношении других (варваров), но неприемлемо для себя (эллинов). Идея свободы выросла из отрицания рабства. Но не отрицания вообще, а неприятия для себя с пожеланием для других. В этом смысле свобода отождествляется с господством. Стратегия безопасности выражалась императивом: чтобы не быть рабом, нужно быть господином.

В Риме право победителя было неотъемлемо от права на рабов. При Акве Секстии и Верцелле было взято в плен 90 тыс. тевтонов и 60 тыс. кимвров; Цезарь однажды продал в Галлии 63 тыс. пленных кельтов; Август вывел из страны салассов 44 тыс. пленных; Иудейская война дала Риму 97 тыс. рабов; римский консул Элий Кат (4 г. н. э.) переселил во Фракию с противоположного берега Истра 50 тыс. гетов (Страбон III, 10). Судя по тону Цезаря в «Войне с галлами», размах продажи пленных расценивался не как коммерческий успех, а как триумф римского господства над побежденными народами-рабами (Ингрэм 2011:45; Black 2011:19).

Мало что изменилось в новое время. Рабы и слуги продолжали оставаться аксессуаром приличного человека, а принуждение к зависимости других (по цвету кожи, вере, культуре) не вызывало этических затруднений. По вывозу и продаже рабов Европа XVII–XVIII вв., вероятно, превзошла античный мир: в первой половине XVII в. из Африки в Америку было импортировано около полумиллиона рабов, во второй — около миллиона (Lovejoy 1982:481). При этом более всех преуспели свободолюбивые британцы: в XVIII в. британские корабли вывезли из африканских портов более двух миллионов рабов. Английские порты конкурировали друг с другом: до 1710 г. в работорговле первенствовал Лондон, затем Бристоль, а с 1740-х гг. ведущие позиции занял Ливерпуль (Richardson 1989).

На Западе рабство гармонировало со свободой (в том виде, как ее понимали европейцы). По оценке Дж. Блэка, западный мир нового времени «был системой рабства, управляемой в основе своей свободным предпринимательством, и эта ситуация обеспечила главное содержание торговли рабами в этом мире: она была ответом на экономические нужды и результатом поиска экономических возможностей» (Black 2011:10). Парадоксальное сочетание свободолюбия и рабовладения выражено в позиции Т. Джефферсона, одного из отцов-основателей «империи свободы» и авторов американской Декларации независимости (1776 г.): в первоначальном варианте Декларации он обвинял монарха Британии Георга III в поддержке африканской работорговли, а сам всю жизнь оставался состоятельным рабовладельцем в Вирджинии. Среди просвещенных европейцев была в ходу своеобразная рабовладельческая антропология о негрских племенах, напоминающая выкладки собаководов: «В Верхнем Египте торговцы рабами осведомляются с точностью о месте происхождения раба, а не о его индивидуальном характере... Так, нубийцы и племя галла считаются очень верными, северные абиссинцы — вероломными и изменниками, большинство других — хорошими домашними рабами; абиссинцы из Фертита — необщительными и мстительными» (Дюркгейм 1991:129).

Эллинское и британское пристрастие к рабовладению при обостренном неприятии рабства для себя — не лукавство, а идеология контраста, делающая мир черно-белым, состоящим из своих и чужих. Противопоставление свобода/рабство впервые было выражено в античности, а первые обвинения рабству были высказаны

стоиками. В Англии антирабская риторика обозначилась на исходе XIII в., когда оппозиция укоряла Эдуарда I в использовании налогообложения для порабощения. В XVIII в., в период разгула работорговли, Дж. Томсон в пьесе «Альфред: Маска» (1740 г.) выразил независимый дух британцев. В уста ангелов, славящих рождение Британии из лазурных волн, он вложил слова, ставшие рефреном патриотической песни:

Rule, Britannia, rule the waves;
Britons never will be slaves.[5]

Государство, ориентированное на безопасность власти, наращивало и безопасность рабства, включая охрану рабов и охрану от рабов. Свойственная империям «индустрия рабства», охватывавшая подчиненные народы, предполагала динамичный и разнообразный контроль над социальным пространством. Поскольку отрыв раба от родины существенно сужает диапазон его возможностей и снижает сопротивляемость, одним из приемов контроля была депортация целых городов и народов, практиковавшаяся еще властителями Вавилона, Ассирии и Персии (Smith 1986:46). Рабы, переселенные на новые территории, образовывали невольничьи поселения, города и целые страны (в новое время Санто-Доминго, Ямайка).

Эффективным имперским инструментом была субординация рабства, когда одни рабы поневоле, а затем по «невольничьей воле», управляли другими. Размноженные рабские привилегии вырастали в пирамиду рабства, вершину которой занимали высокостатусные рабы. Безопасность рабства становилась функцией самих рабов, враставших в структуры власти, которая все более насыщалась идеологией рабства в ущерб аристократическим канонам господства. Так были построены рабские армии гулямов в Халифате, Персии и Индии, мамлюков в Египте, янычар в Турции. Для субординации рабства в европейских колониях применялось управление одних рабов другими. Португальцы для управления рабами на плантациях на острове Сан-Томе у западного берега Африки использовали в качестве милиции специально доставлен-

[5] «Правь, Британия, правь морями; Британцы никогда не будут рабами». Стихи написаны в период британского нациестроительства, но в слове *Britons* слышится двойственность — «британцы» и «бритты» (древние кельты, порабощенные англосаксами). Не очевидно, что Томсон, родом из Шотландии, подразумевал лишь одно его значение.

ных рабов (в том числе евреев). Во французской колонии Сан-Доминго были черные рабовладельцы, управлявшие сотней тысяч черных же рабов, и иерархия рабства породила целую администрацию черных плантаторов, привилегированных рабов, погонщиков, надсмотрщиков (Black 2011:58, 109).

Во многих подобных случаях иерархия господства превращалась в иерархию рабства. Менталитет власти насыщался рабскими мотивами, а ее стержнем оказывалась автократия, олицетворенная диктатором (обычно из бывших рабов или полурабов) и скрепленная монотеизмом. Если иерархия господства предполагает мироустройство по своему усмотрению, то иерархия рабства настраивает бояться и подчиняться власти. Она чревата разного рода путчами, переворотами и революциями, которыми полнятся истории «рабских» империй.

Все империи и колонии в той или иной мере пережили дрейф от иерархии господства к иерархии рабства, и все испытали перерождения власти. При сохранности внешних форм (в названиях, династиях, инсигниях) империи, начавшись с господского мироустройства, вскоре испытывали прилив во власть покоренных, а затем и реванш бывших рабов и данников. Это проявилось в империи Александра Македонского, обернувшейся сатрапиями; в триумфе Рима, завершившемся реваншем варваров; в завоеваниях Чингис-хана, оставившего после себя нагромождения ига. Имперские мотивы, как правило, начинались с победной идеологии мироустройства, продолжались охранной идеологией спасения власти, а завершались самоуничтожением империи во внутренней борьбе за власть.

Имперская колонизация была экспансией власти, сопровождавшейся рождением новых метрополий, миграциями элит и массовыми перемещениями зависимого населения, в том числе рабов. Перемещались и сами очаги власти. Кроме того, власть в империях претерпевала дрейф от иерархии господства к иерархии рабства, которая взрывала империю переворотами и революциями. Благодаря этой динамике власть разрасталась и усложнялась. Из ее новых очагов выплескивались новые завоевания, и имперская динамика превратила планету в полигон достижений, упражнений и извращений власти.

Колониальная лихорадка

Становление индустрии рабства, великие географические открытия и бум колонизации — грани одной эпохи. С XVII в. лидерство в этом движении захватила Англия. Существенную роль здесь сыграла не только отвага Дрейка и дипломатия Елизаветы, но и морская летопись Ричарда Хаклюйта (Hakluyt 1589). Длинное название его труда оканчивается примечательным акцентом: «Главные навигации, путешествия, сообщения и открытия Английской нации». Последняя пара слов декларирует новую идентичность англичан как нации мореходов-покорителей, создателей будущего (еще не названного) Pax Britannica. Хаклюйт не только вдохновлял соотечественников своим «морским эпосом» на мировую колонизацию, но и разрабатывал колониальные «американские» проекты, в том числе по Вирджинии. Англичане не напрасно считают Хаклюйта едва ли не самой значительной фигурой в своей морской экспансии, хотя был он летописцем-компилятором и пропагандистом колонизации, а не мореходом-путешественником (не считая переездов через Ла-Манш) (см. Borge 2003:1–9).

«Книга навигаций» Хаклюйта еще не вышла, когда испанские конкистадоры уже подчинили всю срединную Америку, в том числе державы ацтеков и инков, завезли в новые владения чернокожих рабов, породили креолов и метисов, открыли университеты. При этом они не были пионерами в деле колонизации, а шли по стопам своих соседей португальцев. С опозданием пустившись в колониальную гонку, англичане сначала подражали иберийским колонизаторам, затем пиратски урывали куски их добычи и только в начале XVII в. преуспели в создании собственных колоний. За первыми неудачными опытами вывода колоний в 1585 и 1587 гг. последовало закрепление в Вирджинии к 1610 г., после чего развернулась английская колонизация Америки с участием Вирджинской, Лондонской и Плимутской компаний, со знаменитым рейдом отцов-пилигримов на «Мэйфлауэре» в 1620 г. и заселением Новой Англии в 1630–1640-е гг.

В XVII в. повторилась история миграции Англии: как в V в. она переехала с севера Европы на Британские острова (в районе Кентербери англосаксы создали «новую Англию»), так в XVII в. мигранты из «старой Англии» (Британии) создали на востоке Северной

Америки (побережье от Коннектикута до Мэна) очередную «новую Англию». В обоих случаях произошло перемещение не только названия, но и потенциала метрополии. На сей раз из очередной «новой» Англии выросла очередная мировая метрополия под названием США. Страна, провозглашенная позднее «империей свободы», начиналась с войн, истребления туземцев и индустрии рабства.

Классик геополитики американский адмирал А. Мэхэн объяснял «удивительный и единственный успех Англии как великой колонизаторской державы» (в сравнении с Испанией, Францией, Голландией) естественной «способностью нации основывать цветущие колонии». Дело не в административной системе (по ее уровню англичане уступают французам), поскольку забота правительства о своих колониальных владениях всегда эгоистична — колония неизменно становится дойной коровой метрополии. Дело в колонисте и чертах его «национального характера». Английский колонист, во-первых, охотно селится на новом месте и, сохраняя воспоминания о своем отечестве, не мучится жаждой возвращения туда (как это делает француз, всегда тоскливо оглядывающийся на прелести своей очаровательной родины). Во-вторых, отождествляя свои интересы с интересами колонии, англичанин заботится о развитии ресурсов своей новой страны (в отличие от испанца, узкий круг интересов которого не позволяет эффективно развивать колонию, и от голландца, который сосредоточен на выгодах торговли с колонией, а не на ее процветании) (Мэхэн 2003:236–238).

Американец Мэхэн был убежден, что именно США — шедевр колониального искусства, с чем едва ли согласились бы бразильцы и канадцы, не говоря уже о венесуэльцах и кубинцах. Кроме того, его оценка датирована концом XIX в., тогда как более ранние оценки могли быть иными: с XV по XIX вв. роли западноевропейских стран (Португалии, Испании, Нидерландов, Великобритании, Франции) в колонизации и мировой торговле заметно менялись, и будь Мэхэн современником Вашку да Гамы или Пизарро, он иначе расставил бы акценты. В свое время успехи Испании в конкисте и колонизации Америки породили в Европе поговорку «Бог стал испанцем». Но если вести речь не просто о колонизации, а о миграции империи, то англосаксонский опыт действительно впечатляет. При переезде в Америку imperium не просто сохранился, но и креативно преобразился на новом месте. Если вслед за Мэхэном

видеть силу английской колонизации в чертах национального характера (вопреки системе государственного управления), то в феномене Америки бросается в глаза тот самый культ права (общественного договора), за счет которого сама Англия в свое время превратилась из колонии в метрополию.

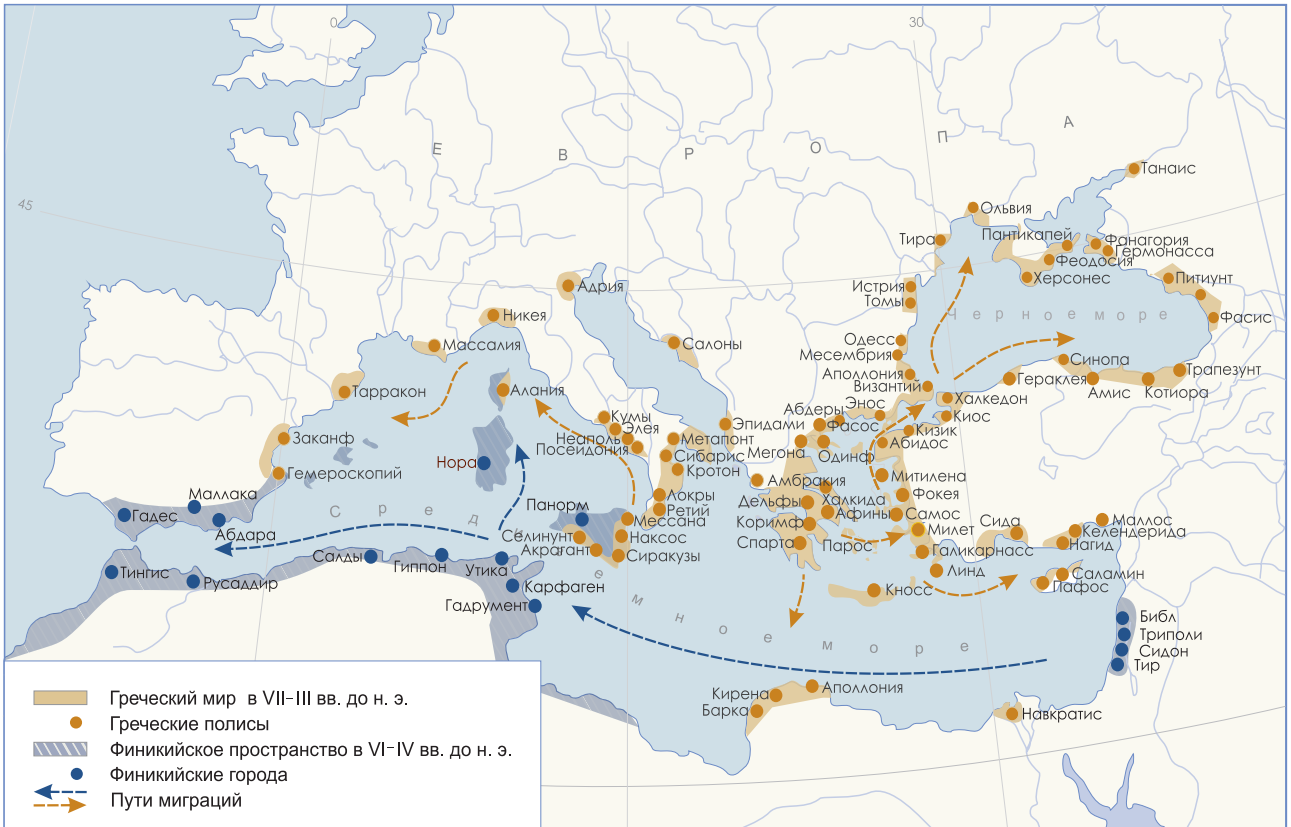
Впрочем, не везде англичане вели себя одинаково. Например, в Западной Африке, где португальцы проникали в глубь континента, англичане обходились арендой береговых торговых пунктов у местных вождей. Португальцы, как и англичане, применяли разные методы колонизации на западе и востоке Африки, юге Индии и Японских островах, причем стиль отношения к туземцам зависел от фазы колонизации (или, языком биологии, сукцессии) и стечения обстоятельств. В этом измерении отмечаются ситуативные различия: норманны и нормандцы при колонизации Британии начинали свирепо, а заканчивали миролюбиво; португальцы в Индийском океане, наоборот, начинали мягко, а продолжали жестко.

Колонизация не только переносила поведенческие схемы мигрантов, но и существенно преображала облик туземных обществ даже там, где притока белых иммигрантов не было. В отличие от Америки и Австралии, в Африке (южнее Сахары) не было крупных поселений европейцев, за исключением колонии голландских буров на юге Африки (немногим более 15 тыс. человек в XVIII в.). Воздействие европейцев в Африке выразилось в очередном, после арабо-мусульманской экспансии, витке работорговли и политогенеза. Многие государства возникли или преобразовались вследствие или в целях промысла рабов: Мали, Сонгай, Канем-Борну, государства Йоруба, Ашанти, Уганды (Шинни 1982; Roland, Atmore 2001). Арабская (транссахарская) и европейская (атлантическая) работорговля существенно преобразила политический ландшафт будущего «третьего мира». В гонке имперской экспансии и колонизации только в середине II тыс. н. э. сошли с исторической сцены державы ацтеков в Центральной Америке, инков в Андах, мамлюков в Египте, Сонгай в Западной Африке, Лоди в Северной Индии. В XVIII в. рассыпались империи Матарам на Яве и Моголов в Индии. На их место пришли политии, зависимые от европейских держав, или колониальные образования.

Колонизация Нового Света пробудила стихию кочевой магистральности, уже угасавшую в Старом Свете. Благодаря испанцам,

Рис. 1. Заселение Евразии в палеолите (по: Деревянко 2012:10, 19; рис. 3, 13)

Рис. 2. Колонизация Средиземноморья (Греция и Финикия)



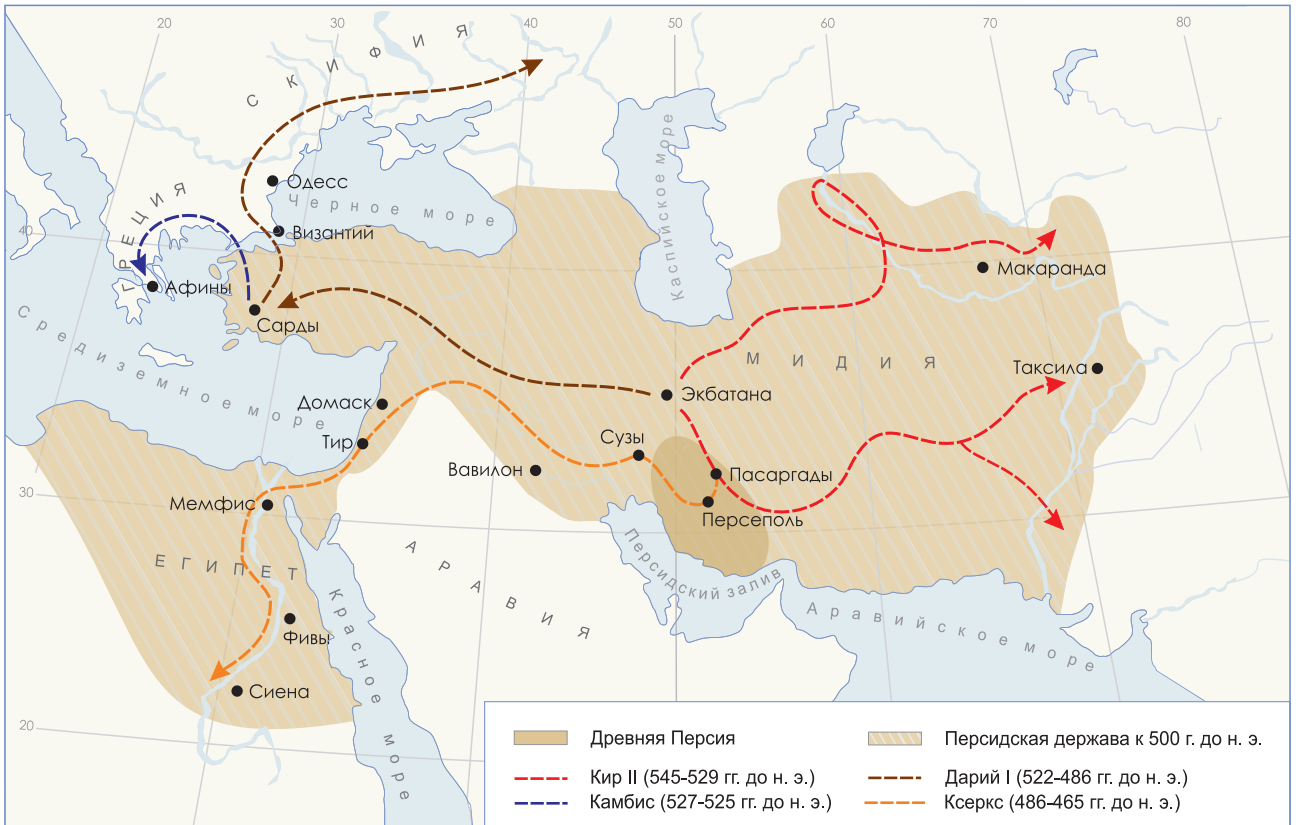


Рис. 3. Персидские завоевания

Рис. 4. Монгольская экспансия

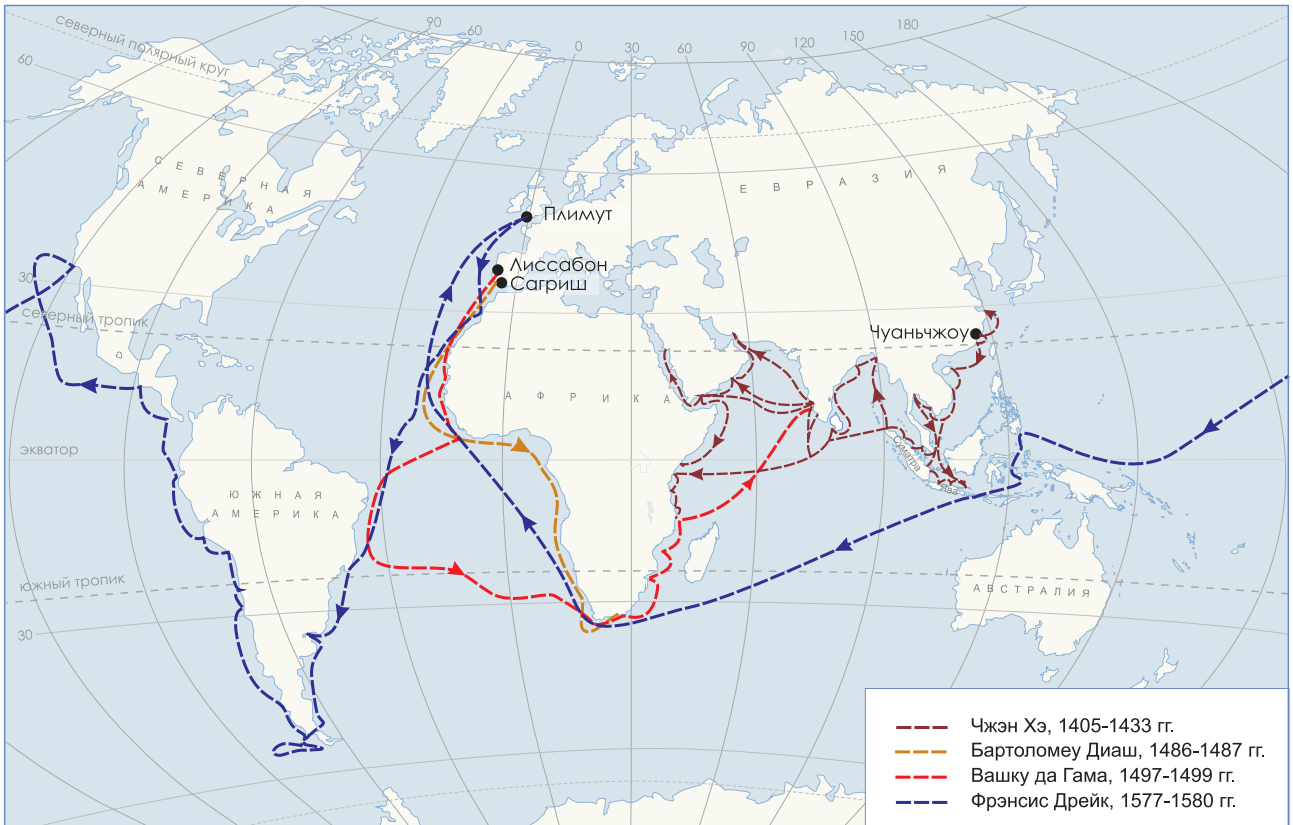


Рис. 5. Морские экспедиции

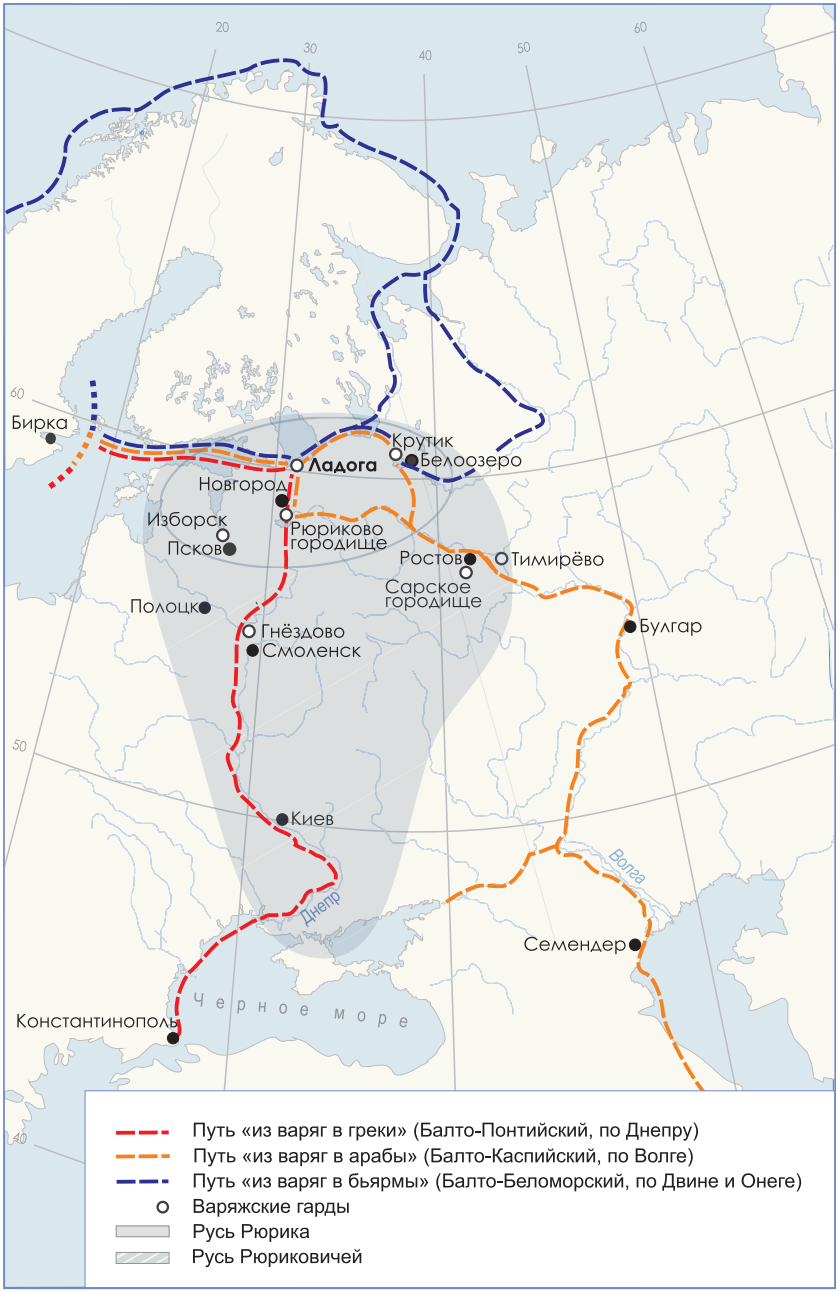


Рис. 6. Варяжская Русь (IX–XI вв.)

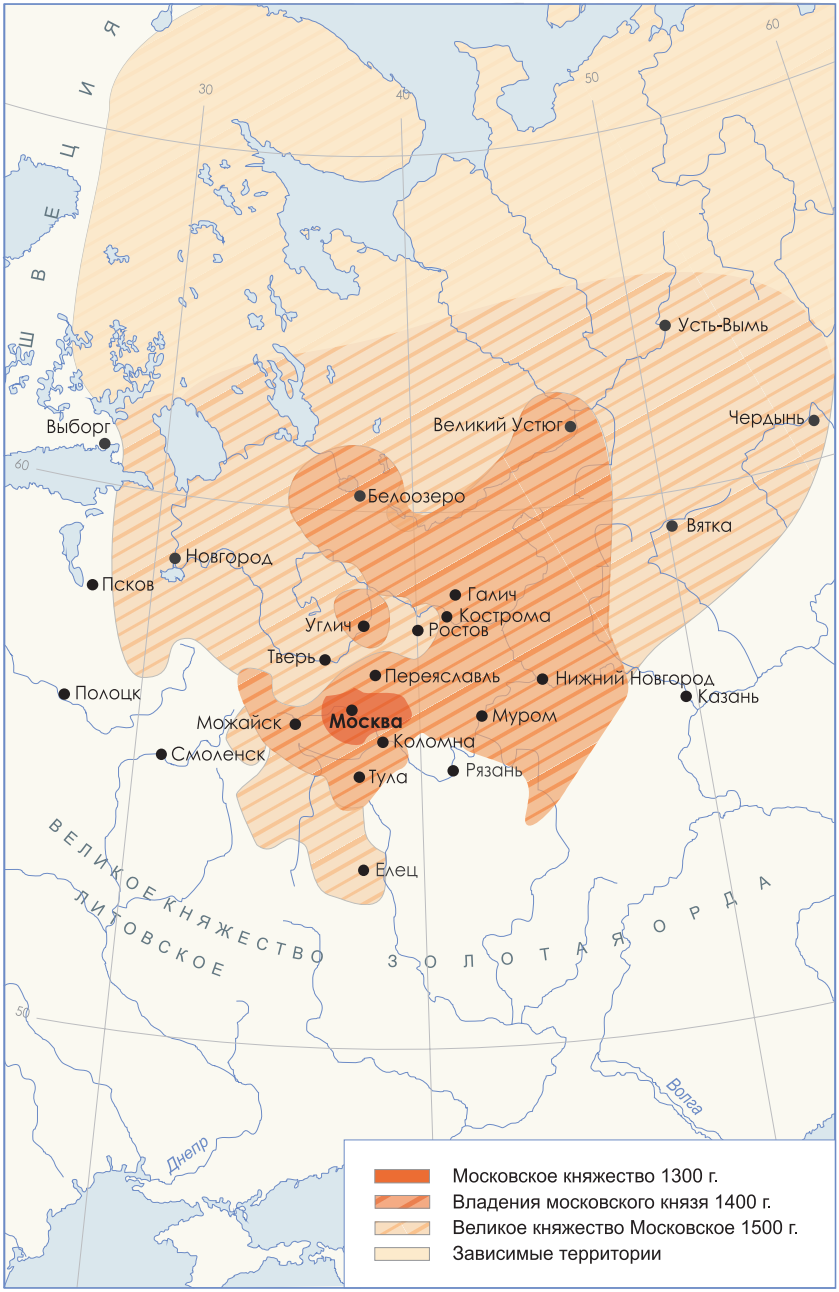


Рис. 7. Рост Московского княжества

Рис. 8. Татарские сакмы (шляхи) и русские засечные черты (конец XVI в.)

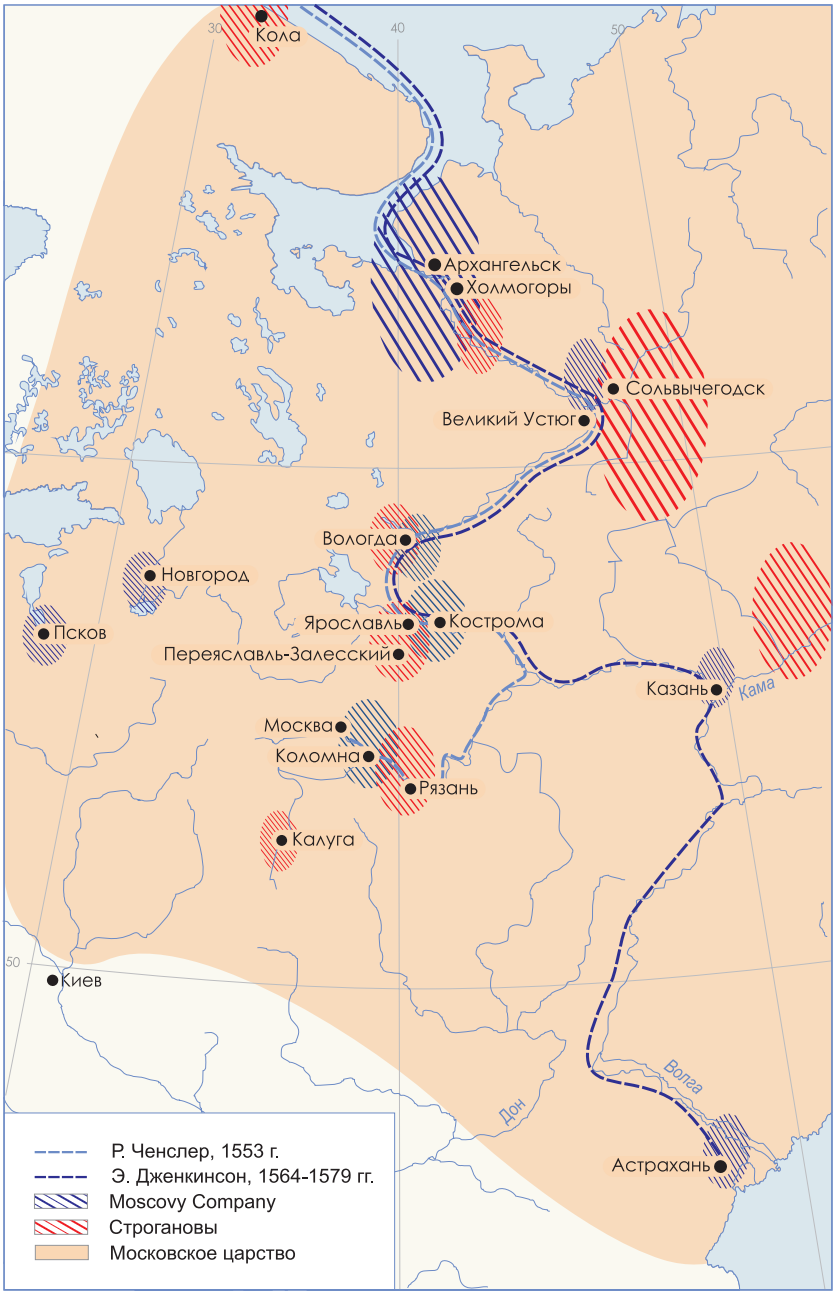


Рис. 9.Торговые сети Строгановых и Moscovy Company
(вторая половина XVI в.)

Рис. 10. Ордынский пояс (середина XVI в.)

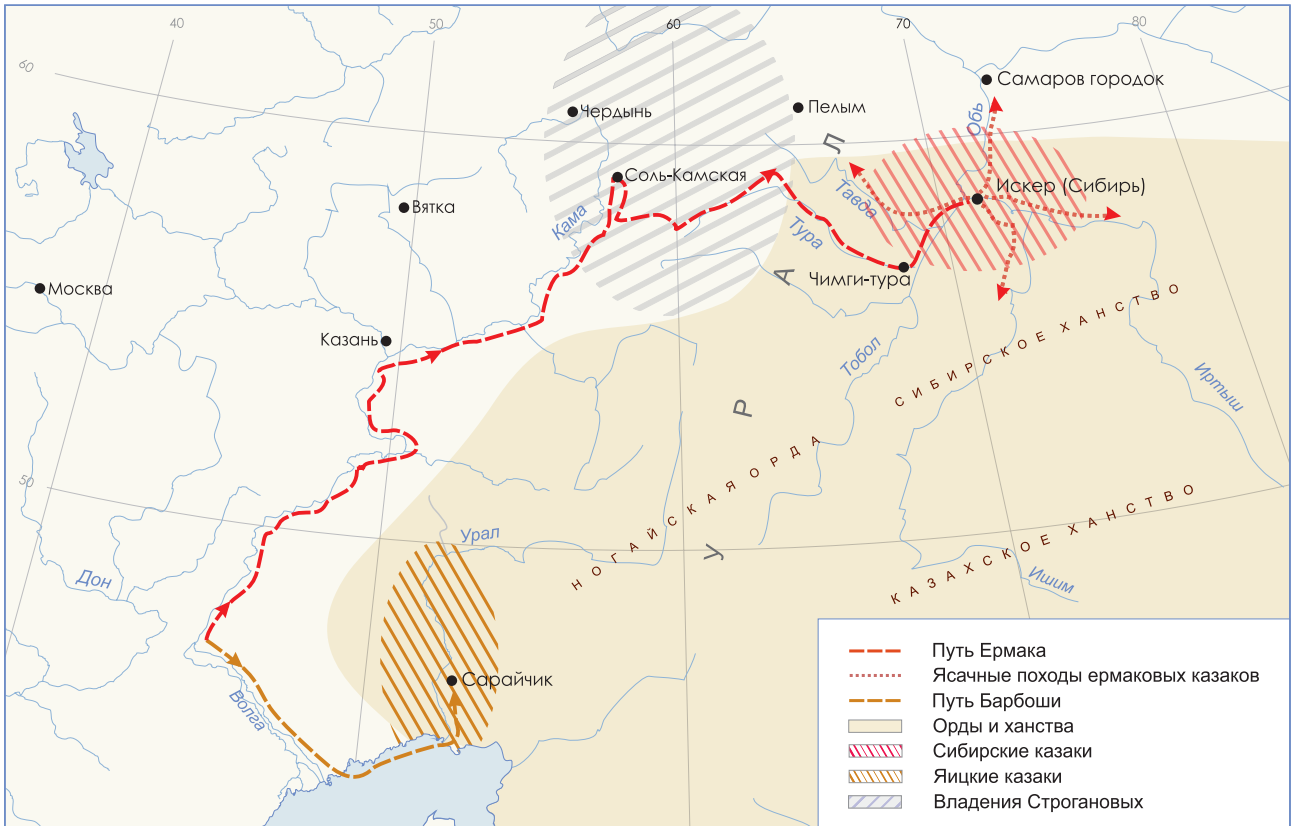


Рис. 11. Казачьи экспедиции Ермака и Барбоши (1580-е гг.)

Рис. 12. «Острожная колонизация»

привезшим с собой лошадей, в американских прериях развернулась новая культура конных индейцев. Сиу превратились в конных охотников на бизонов и двинулись на Великие равнины, тесня другие племена. Под воздействием европейцев в районе Великих озер сложилась Лига ирокезов, потеснившая алгонкинов, на юго-востоке — Крикская конфедерация; в Циркумкарибском регионе появилось королевство Мискито. Апачи захватывали пленников, которых продавали испанцам (например, за пятилетие 1771–1776 гг. в одной из мексиканских провинций апачи убили 1674 человека, пленили 154, довели до запустения 11 фазенд и ранчо и угнали 68 256 голов скота). Колонизация превратила Америку в ристалище, где соперничали европейские державы и союзные (или противостоящие) им индейцы: апачи, пуэбло, навахо, команчи, сиу и др. (Service 1968:162–164; Burbank, Cooper 2010:256–258).

При многообразии частных мотивов европейских конкистадоров, доведших колонизацию до болезненной лихорадки, главным в ней был эффект прибыли. Охота на людей и ресурсы захватываемых земель порождала новые ценности и символы, хотя базовой мотивацией оставалась палеолитическая жажда добычи. Идея христианской исключительности и проистекающего из нее права на покорение других народов, равно как виртуозное мастерство европейцев в придании своим действиям статуса закона, разделили планету на колонизаторов и колонизуемых. При этом конкретные цели и ценности колонизации варьировали в широком спектре. Об испанских конкистадорах говорили: «Они шли с крестом в руках и с ненасытной жаждой золота в сердце». Морские походы португальцев были нацелены на реванш в отношении сарацин, а затем обрели статус «битвы за перец» (пряности): когда в сентябре 1499 г. Вашку да Гама вернулся из Индии в Лиссабон с грузом пряностей, перец стал символом торжества и приобрел значение, выходящее далеко за пределы гастрономии.

В поедании перца, ношении сибирских мехов видится не только рационализм любителей комфорта, но и символизм владычества. Вкушая цейлонскую корицу, европейский негоциант символически присваивал заморские владения, и экзотическая снедь заметно прибавляла во вкусе за счет статуса. Уже постфактум сложилось представление, что без перца нет кухни, что специи являются не только пикантной приправой к пище и лекарственными средствами, но и

отличными консервантами, позволяющими долго сохранять мясо и рыбу. Впрочем, трофеи колонизации действительно пополнили европейский быт картофелем, чаем, кофе, сахаром, шоколадом, табаком, ромом, а также темнокожими рабами и рабынями.

В качестве трофеев победители развозили по миру и заразные болезни. Эпидемия сифилиса охватила Италию в конце XV в. Итальянцы связывали ее с вторжением в 1494 г. наемной армии короля Франции Карла VIII; правда, армия более всех и пострадала — после года пребывания в Италии половина солдат болела сифилисом. Уже в 1496 г. болезнь распространилась в Голландии, Великобритании и Греции, в последующие несколько лет достигла Прибалтики и Скандинавии. На Ближнем Востоке сифилис появился в 1499 г. Как видно, эпоха великих географических открытий была и эпохой сифилиса. Болезнь была поистине интернациональна: в Италии ее называют французской, во Франции — неаполитанской, в Англии — болезнью из Бордо, французской или испанской, в Польше — немецкой, в России — польской, на Ближнем Востоке — европейскими прыщами. У японцев есть основания говорить, что заболевание пришло к ним из Китая, а китайцы указывают на португальцев (Бужилова 2005:452, 453).

Сифилис — не единственная болезнь колониальной эпохи. Империя вообще порождает многое из несовместимого со здоровым долголетием, например террор. Империя не вечна, хотя обычно себя таковой провозглашает (Вечный Рим, Вечный Эль). Зато имперский дух живуч, и многие столетия его усердно культивировали, лишь в последнее время застыдившись слова «империя». На смену одной империи приходит другая, и империя продолжает жить, только под другим именем, с новой династией, в иной столице. За конкистой следует реконкиста, за реконкистой конкиста, за Римом Рим, за Рейхом Рейх. Динамика и конкуренция империй настолько значимы для истории, что для многих историков образуют ее течение и смысл. В конкуренции империй набирала обороты гонка честолюбий, вооружений, изобретений. Как бы ни варьировали формы империй, от древних кочевых до современных финансовых и виртуальных, главным их признаком выступает контроль над многообразным пространством, основанный на военно-политическом господстве.

***

Европейская колонизация планеты, сопровождавшаяся массовой работорговлей (в том числе негроторговлей), основывалась на идеологеме христианской исключительности и обеспечивалась целым набором эффективных технологий, включая военно-морские захваты, христианизацию, распространение европейского права. С папских булл 1481 и 1506 гг. о разделе сфер влияния в мире между Испанией и Португалией колонизация превращается в колониализм. Сегодня европейский колониализм средневековья объясняют разного рода лихорадками (золотой, пушной, перечной, слоновокостной), однако их синхронность и многообразие наводят на мысль, что все они были отблесками охватившей Европу ментальной лихорадки. Не исключено, что за рациональными обоснованиями кроется то, что О. Шпенглер определил как основание европейской (фаустовской) культуры: «Воля к власти, обнаруживаемая также и в сфере этического, страстное желание возвести свою мораль во всеобщую истину, навязать ее человечеству, переиначить, преодолеть, уничтожить всякую иную мораль — все это исконнейшее наше достояние»; эта культура «в сильнейшей степени направлена на расширение, будь то политического, хозяйственного или духовного характера; она преодолевала все географически-материальные преграды; она стремилась, без какой-либо практической цели, лишь ради самого символа, достичь Северного и Южного полюсов; наконец, она превратила земную поверхность в одну колониальную область и хозяйственную систему» (Шпенглер 1 1993:522).

Во многом европейский порыв был реконкистой, спровоцированной и напитанной предшествовавшей экспансией ислама. Португальский принц Энрике и его последователи, одолевая халифат под знаменами папства, превратили иберийскую реконкисту в глобальную колонизацию. Испанским и итальянским мореходам к концу XVI в. удалось пресечь морские притязания Османской империи, но прежде именно турецкий контроль над торговыми путями между Европой, Африкой и Азией вынудил европейцев искать обходные пути к югу от Африки. При этом они использовали арабские политические и навигационные технологии, полагая, что их плавания и открытия происходят в пределах исламского мира — не случайно Колумб взял с собой в плавание переводчиком говоряще-

го по-арабски еврея-выкреста, и когда люди Колумба высадились на Карибах, они заговорили на языке ислама (Burbank, Cooper 2010: 132, 149). Впрочем, арабы в свое время тоже создали империю Омейядов на месте Византийской империи, заимствуя или имитируя ее структуру и характер (Гальперин 2001:74).

Примечательно, что за десятилетие до похода португальцев на Сеуту (1415 г.) развернулась морская экспансия Китая, которая также имела исламский корень. Великий евнух-адмирал Чжэн Хэ, сарацин (мусульманин, *сэму*) по рождению, в 1405–1433 гг. охватил своими экспедициями огромное пространство Южных морей. Семь грандиозных морских походов, в которых участвовало от 48 до 62 больших кораблей с 27–30 тыс. солдат и матросов на борту эскадры, имели целью установление торговых и дипломатических связей с Индией, Аравией и Африкой. В странах Южных морей быстро росло число китайских колонистов, многие княжества Индонезии, Малайского полуострова, Шри Ланки, Южной Индии признавали свою зависимость от Китая (Бокщанин 2002:532; Chunjiang Fu et al. 2005; Dreyer 2007). Поднебесной оставался шаг, чтобы стать первой мировой океанической империей. Но шаг был сделан в противоположном направлении — Китай замкнулся на суше. В 1436 г. на смену императору Чжу Ди, поддерживавшему расширение международных связей и морскую экспансию, пришел император Сюаньде, взявший курс на изоляцию Китая. Послы 11 заморских стран были отосланы из Пекина, а морские путешествия стали приравниваться к измене родине.

Европейские историки до сих пор недоумевают по поводу разворота Минского Китая от моря к суше (Бродель 1992:544; Finlay 1992:230; Burbank, Cooper 2010:153). У Китая была своя реконкиста против свергнутой монгольской династии Юань, но она, в отличие от иберийской, была более континентальной, чем морской. Конец морских походов совпал со смертью адмирала Чжэн Хэ на исходе седьмой экспедиции 1431–1433 гг. Кроме того, китайская морская экспансия возглавлялась людьми умеренными в страстях — «главным евнухом» Чжэн Хэ и подчиненными ему семьюдесятью императорскими евнухами, командовавшими кораблями. Не исключено, что агрессия европейских конкистадоров, в отличие от китайской сдержанности, не в последнюю очередь была мотивирована или разогрета «основным инстинктом».

Часть II. Магистрали Руси

Глава 5. Нордизм

Глава 6. Ордизм

Глава 7. Понтизм, или теополитика

Глава 5. Нордизм

Междуморье. Альянс. Три пути. «От рода варяжьска». Вечевой человек. Новгородское пространство. «Полунощные» страны. Северные колонисты. Закат нордизма

Во времена В. О. Ключевского слово «колонизация» было благозвучно и открывало суть истории отечества: «История России есть история страны, которая колонизуется... Переселение, колонизация страны была основным фактом нашей истории». Эта история-колонизация делится на периоды: днепровский (VIII–XIII вв.), верхневолжский (XIII — середина XV в.), великорусский (середина XV — начало XVII в.), всероссийский (начало XVII — середина XIX в.), — которым соответствуют разные качества «человеческого общежития»: Днепровская Русь — городовая и торговая, Верхневолжская — удельно-княжеская и вольно-земледельческая, Великая (Московская) — царско-боярская и военно-земледельческая, Всероссийская империя — огромное равнинное пространство, объединенное императорско-дворянской властью (Ключевский 1987 1:50–53). В конце XIX в. колонизация представлялась не только «основным фактом» истории, но и «народным движением», которое превратило маленькую Русь в громадную Российскую империю.[1]

М. К. Любавский развернул идею своего учителя в монографическом «Обзоре истории русской колонизации с древнейших времен и до XX века» (Любавский 1996). Представляя отечественную историю как поступь колонизации, автор создал впечатляющую панораму разрастания русского пространства в экспансии земледельцев и промысловиков, войнах и политических проектах, проявлениях воли и неволи. В этой грандиозной панораме нашли место обобщающие сопоставления и частные наблюдения вроде сходства бродников и казаков, древних славяно-русских миграций и покорения Сибири, оборонительных линий князя

[1] Подобный «позитивный» взгляд на колонизацию, в целом свойственный российской дореволюционной историографии, выражен, например, С. М. Середониным, полагавшим, что для России «история окраин есть в то же время история колонизации» (Середонин 1906–1909:5).

Владимира и царя Алексея. В движении русских нельзя не заметить «и известной страсти к перемене мест, привычки к бродяжничеству, житейского авантюризма, которым проникнуто было население в древней Руси, слабо населенной, непрерывно заселявшейся. Русскому человеку не сиделось на месте; все ему хотелось лучшего, все тянуло на новые места» (Любавский 1996:268).

После Второй мировой войны с крушением колониального миропорядка особенно громко зазвучал голос недавней колонии США, и понятие «колонизация» быстро обросло негативными коннотациями. В СССР это настроение было поддержано антиимпериалистической идеологией, и в 1960-е гг. слово «колонизация» стало замещаться «заселением» и «освоением». С тех пор «колонизация» остается в идеологической опале и воспринимается с оглядкой на идеологию.

Вопреки моде я возвращаюсь на позиции В. О. Ключевского и М. К. Любавского, считая понятие «колонизация» адекватным и естественным для отечественной истории. Более того, я распространяю его за пределы собственно русской истории и применяю ко всем персонажам праистории и истории Евразии, где встречаются различные, нередко конкурентные или взаимодополняющие, векторы колонизации. В моем понимании феномен колонизации лучше всего раскрывается через механизмы взаимодействия локальных и магистральных культур.

В палеолите магистрали охотничьих миграций пролегали вдоль горных цепей; в неолите обозначились водные (речные и морские) магистрали, освоенные воинами-промысловиками; в бронзовом веке магистралями стали открытые пространства, которыми овладели конные воины и мореходы. С этого времени ведущую роль в геополитике Северной Евразии играли культуры кочевников суши и моря, охватывая большие пространства и связывая локальные культуры в сложные сообщества, в том числе империи.

По силе воздействия в Евразии выделялись североевропейский и центральноазиатский очаги экспансии, вызывавшие явления, обозначенные мною терминами «нордизм» и «ордизм». Кроме того, в истории Руси/России особую роль играл Понтийский (Черноморский) узел коммуникаций, связывавший Северную Евразию с Передней Азией и Южной Европой. Эти три силовые линии (не считая европейской, отчетливо обозначившейся в но-

вое время) сыграли решающую роль в формировании стратегий колонизации и ментальной карты (или набора ментальных карт) России.

Слова «нордизм» и «норманизм», означающие северность, не лишены негативного шлейфа из-за популярности нордического мифа в Третьем Рейхе. Между тем понятия, образованные от слова *Nord*, общеупотребимы в европейских языках и для Скандинавии служат ядром идентичности (*Norden/Nordisk/Nordic*). В России, напротив, нордизм артикулируется невнятно, хотя североевропейские основания в отечественной истории очевидны: собственно Русь с ее варяжскими князьями, градами и вечем обнаруживает северные корни. Северность России обусловлена исторически (начиная с ключевой роли ладожско-новгородского Севера в древности), геоэкономически (с учетом ресурсной мощи современного Российского Севера) и геополитически (ввиду пространственного господства России в высоких широтах Евразии и «арктическом средиземноморье»). На мой взгляд, северность как основание идентичности наиболее перспективна для России, которая после распада СССР обозначилась на карте как крупнейшее северное государство с географическим центром на Полярном круге в низовьях Енисея.

Истоки норд-русской культуры обстоятельно рассмотрены в трех главах книги «Антропология движения» — «Викинги», «Гарды» и «Кочевники Арктики» (Головнёв 2009). Поэтому здесь я ограничусь расставлением акцентов в ракурсе преемственности стилей колонизации викингов и новгородцев.

Междуморье

Нордизм не в одночасье появился на востоке Европы. Приглашение Рюрика было данью уже сложившейся нордической традиции и следствием колонизации скандинавами южных и восточных путей задолго до летописно-легендарного «призвания варягов» (862 г.). Скандинавский очаг колонизации обозначился уже в эпоху неолита, когда в циркумбалтийском пространстве сложилась нордическая мореходная культура. С бронзового века миграции с европейского Севера достигали Средиземного и Черного морей, а пересекавший Восточную Европу по Висле «Янтарный путь» был устойчивой трассой миграций и контактов. В римском

железном веке давление *superiores barbari* (северных варваров) настолько усилилось, что Скандинавия заслужила звание «фабрики племен» (*officina gentium*) или «утробы народов» (*vagina nationum*), а рождаемые ею воинственные германцы (кимвры, тевтоны, готы, герулы, скиры, вандалы, англы, саксы, юты, свеи) своими рейдами подавили Римскую империю и колонизовали Европу.

Впервые Балто-Понтийское междуморье было объединено готами, проложившими в II–III вв. путь между Балтийским и Черным морями. При этом миграции готов представляли собой не одноразовое переселение с севера на юг, а устойчивый мост коммуникаций. Меотийская (азово-черноморская) Готия была первоначально колонией балтийской Готии, плацдармом для военного промысла на юге Европы, а затем (в IV в.) превратилась в империю, охватившую пространство Балто-Понтийского междуморья (держава Германариха). По словам В. О. Ключевского, созданное в IV в. «обширное царство» готского вождя Германариха — «первое исторически известное государство, основанное европейским народом в пределах нынешней России» (Ключевский 1 1987:121). Таким образом, нордизм стал магистральной традицией в Балто-Понтийском междуморье, по меньшей мере, с готской эпохи.

В пространстве междуморья готы объединили своим движением множество локальных культур, и по проложенным ими путям расселялись локальные сообщества, в том числе славяне. Балто-Понтийское междуморье превратилось в арену взаимодействия локальной славянской и магистральной готской культур. Различаясь деятельностными схемами, славяне и готы дополняли друг друга в системе адаптации: промысловики-земледельцы владели локальными природными ресурсами, мореходы-воины — главными путями и военной властью. Славяне использовали готов в качестве посредников и военной силы при межплеменных столкновениях, а готы занимались в славянских землях военно-торговым промыслом, включая добычу рабов.

После гуннских погромов в период Великого переселения народов (IV–VII вв.) магистральные связи в Балто-Понтийском междуморье эпизодически поддерживали свеи — следующее за готами поколение «детей Скандзы». Об их движении в междуморье свидетельствуют фрагменты саги об Инглингах, в частности сюжет о пятилетнем вояже шведского конунга Свейгдира в Страну

Турок и причерноморскую Великую Швецию (Sviþjóð hin mikla**)**, а также известия Бертинских анналов 839 г. о посланцах народа росов-свеев, которым управляет хакан (Chakanus). А. В. Назаренко допускает, что в 830-е гг. существовала «прото-Русь» во главе с «хаканом росов», а в 866–867 г. эта «прото-Русь, одновременно с Болгарией, обрела церковное возглавление из Константинополя» (Назаренко 2012:21). Прямой наследницей нордической магистральной традиции готов и свеев стала Варяжская Русь IX–XI вв.

Викинги были не первопроходцами, а наследниками своих нордических предков — готов, англов, саксов, ютов, свеев. На западе (в Британии) и востоке (в Балто-Понтийском междуморье) они не прокладывали новых путей, а обновляли прежние. В этом смысле старый вопрос — существовала ли государственность у восточных славян до викингов — звучит риторически хотя бы потому, что нордическая традиция распространилась в междуморье задолго до Рюрика, и местные правители, включая готских королей, не могли не оставить внушительного генетического и политического наследия.

В середине VIII в. в Балто-Понтийском междуморье появился новый форпост норд-колонизации — Aldeigjuborg (Aldeigja, Старая Ладога). Раскопки показали, что первая судоремонтная мастерская в Ладоге была построена в 753 г., здесь же найден склад кузнечных и слесарных инструментов из Скандинавии, а также бронзовое навершие с изображением Одина в окружении воронов (Рябинин 1985:161–180). Таким образом, движение викингов по Восточному пути (*Austrvegr*) началось за полвека до норманнских налетов на Британию (790-е гг.) и носило более устойчивый характер, чем их разбои на Западном пути (*Westvegr*). Не случайно именно *Austrvegr* превратился в обширную *Austrríki* (Восточную страну), тогда как на Западе норманны создали лишь отдельные колонии вроде Нормандии, Неаполитанского и Сицилийского королевств.

В Старой Ладоге ремесленники занимались обработкой янтаря и изготовлением янтарных бус, и в 753–770 гг. кузнечно-ювелирная мастерская первых ладожан была прочно связана со Скандинавией. Около 780 г. в Ладоге появились первые клады арабского серебра, одновременно начали действовать судоремонтная и стеклодельная мастерские (Лебедев 2005:223, 224). По размаху

связей Альдейгьюборг стоял в одном ряду с такими торгово-ремесленными центрами Скандобалтии, как Хедебю и Рибе в Ютландии, Каупанг в Норвегии, Павикен на Готланде, Бирка в Швеции, Ральсвик, Волин и другие на юге Балтики (Носов 1990:207).

Ладога была межэтническим перекрестком. Кроме скандинавов и славян, с ней связаны колбяги (*kylfingr*) — «гибридное» финно-скандинавское сообщество, известное по «Русской Правде», византийским, арабским и скандинавским источникам, а археологически представленное «приладожской курганной культурой» IX–XII вв. (Мачинский 1988:90–103). Aldeigjuborg вырос на земле финнов, о чем говорит имя города: скандинавское *Aldeigja*, вероятно, произошло от финского **Alode-jogi* 'Нижняя река', а затем перешло в русское *Ладога*. Предполагается, что в той же последовательности — финны–норманны–славяне — происходило заселения края: (Schramm 1986:396). В Альдейгьюборге зимовали и меняли корабли бродячие викинги, сюда же и стягивались их попутчики и союзники, а также доставляли «трофейный полон».

Ладога стала центром военных сборов, формирования дружин, брачных контактов, обмена дарами, отправления дружинных и торговых культов и ритуалов. Вероятно, она была и местом сбора дани с кривичей, словен, мери, веси, чуди, муромы, черемис, мордвы, перми и других племен, названных в этнографической преамбуле и первых статьях Начальной летописи данниками варягов/руси. Во всяком случае именно отсюда дань вывозилась на морских судах в Скандинавию или перенаправлялась по речным путям в других направлениях. Примечательно, что Начальная летопись рисует состояние варяжского данничества как status quo, и остается только гадать, сколь давно и широко раскинули норманны свои властно-данническо-торговые сети по северу и востоку *Austrríki*. Этот летописный status quo сам по себе показывает исконность норманнского присутствия и естественность появления Старой Ладоги в «Восточной стране». Поэтому в 862 г. состоялось сначала изгнание старых варягов, а затем призвание новых: «Изъгнаша варяги за море, и не даша имъ дани... идоша за море къ Варягом к Руси... и изъбрашася 3 брата с роды своими, пояша по собе всю Русь, и придоша» (ПСРЛ Т. 1 1926:20, 21). Впоследствии эти старые варяжские владения были унаследованы ладожанами

и новгородцами, а опыт изгнания-призвания варягов сохранился в новгородской практике выдворения-приглашения князей.

Сетование послов на отсутствие порядка в земле словен, кривичей, чуди и веси связано не с безвластием, а с избытком претендентов на власть («и бысть межи ими рать велика и усобица, и въсташа град на град»). С этим согласуются известия скандинавских саг о конкуренции между норманнами за Ладогу. Например, в конце IX — начале X в. конунг Эйстейн отбил город у престарелого конунга Хергейра, а затем сын Эйстейна конунг Хальвдан овладел им и отдал в управление ярлу Скули. При этом правительницей Ладоги все это время оставалась княгиня Исгерд, дочь конунга Хлёдвера из шведского Гаутланда. Сначала она была женой Хергейра, а после его гибели — Эйстейна, сделавшего ей предложение: «Ты выйдешь за меня замуж и отдашь все государство в мою власть». Впоследствии Исгерд была отдана Хальвданом в жены ярлу Скули вместе с «государством, которым она владеет здесь в Гардарики» (Глазырина 1996:51–85).

Частая смена мужей не меняет статуса ладожской княгини, сохраняющей власть над городом и страной. Это обстоятельство проливает свет на характер норманнской колонизации. Как показали раскопки, среди жителей Ладоги были как скандинавы, так и скандинавки, причем соотношение мужских и женских варяжских погребений на Руси и в Скандинавии примерно одинаково. Этот ординарный, на первый взгляд, факт свидетельствует о преобладании мирных контактов между скандинавами и славянами Ладоги (Давидан 1971:143; Стальсберг 1999:158–163). Присутствие женщин-скандинавок характеризует Альдейгью как основательно обустроенную колонию. При этом в Ладоге варяжки рожали уже не скандинавов, а викингов-ладожан.

Эпоха викингов была временем «кочующей руси». В городах могли сидеть и править женщины (как Исгерд в Ладоге, а Ольга в Киеве), тогда как мужчинам-воинам надлежало быть в походах. Русь-рать была мобильным войском, подчиняющим и контролирующим социальное пространство. Смысл исходного понятия *русь* (сканд. *ruβ*, *roβs*) — ‘корабельная команда, рать’ — адекватен путям и силам, создавшим пространство древней Руси. И Рюрик шел к словенам, «пояше по собе всю русь», и Святослав вел свою русь в хазарские и дунайские походы. В летописном выражении

«русь идет» важен акцент на глаголе, поскольку именно технология движения, включая дальние походы и «кружение» полюдья, была алгоритмом колонизации. В этом алгоритме создавалась Варяжская Русь IX–X вв. в период от Рюрика до последнего русского князя-викинга Святослава.

Город той поры (сканд. *garðr*, рус. *град*) был местом оседлости только для женщин и челяди. Для *руси* он служил перевалочной базой, пунктом походных сборов, убежищем для отдыха, домашних удовольствий и увеселений. Ключевой русский град Старая Ладога был для *руси* не местом уютной оседлости, а генератором и регулятором путей. Норманнская колония стала ростком новой метрополии, трамплином на путях колонизации варягами северных и восточных земель и племен. В ладожском узле сходились, по меньшей мере, три великих пути «из варяг»: Балто-Каспийский (по Волге) «в арабы», Балто-Беломорский (по Двине и Онеге) «в бьярмы» и Балто-Понтийский (по Днепру) «в греки».

Альянс

Ладога была основана в середине VIII в. в устье Волхова, к западу от которого «тянулись незаселенные болотистые места, а на восток лишь далеко на р. Сяси начинались районы, занятые финноязычными племенами»; это был «пункт, оторванный от основного славянского мира» (Носов 2012:102, 107). Приильменская низменность, где в IX в. возникло Городище (городок Рюрика), а в XI в. вырос Новгород, прежде была «настолько слабо освоенной, что археологических памятников предшествующего времени почти нет» (Лебедев 2005:540). Археология показывает, что ядро северорусской культуры сложилось в редконаселенной финской земле в ходе внешней скандинаво-славянской колонизации.

Порожистый Волхов с неплодородными землями прежде не привлекал ни промысловиков-финнов, ни земледельцев-славян. Он представлял интерес лишь как магистраль междуморья для скандинавов. Однако вряд ли норманны VIII в., отправляясь на восточный военно-торговый промысел, рисовали себе перспективу грандиозной паутины евразийских путей или строительства Русского государства. Даже имея в виду опыт предков (готов и свеев) по освоению Восточного пути, основатели Ладоги реализовали свои частные проекты, которые в конкуренции и взаимодо-

полнении со временем разрослись в большой «проект Гардарики». Иначе говоря, норд-колонизация исходила из частных мотивов викингов, собиравших военно-торговые дружины и создававших на востоке сеть коммуникаций и опорных пунктов.

Сколько-нибудь основательное освоение скандинавами дальних военно-промысловых угодий предполагало диалог с туземцами и создание в их среде сетей партнерства, а также заселение опорных баз «своими колонистами». Роль попутчиков в колонизации Волхова сыграли балтийские славяне-поморяне, с которыми у новгородцев обнаруживается множество параллелей, включая язык, физический тип, археологический вещевой комплекс. Например, хлебные печи, которые «можно рассматривать как этнографическую черту славянского населения», идентичны в слоях X в. Ладоги, Городища, Новгорода и польского Поморья (Гданьск, Щецин) (Носов 2012:114). Вероятно, морской ход между Поморьем и Ладогой был двусторонним и действовал в ритме военно-торговых миграций викингов.

Подобными спутниками викингов были, судя по всему, и прибалтийские финны. Археология показывает, что в эпоху викингов (IX–XI вв.) южная часть Восточной Ботнии, прежде густозаселенная, запустела. А. Эря-Эско предполагает, «что население оттуда могло продвинуться к Ладожскому озеру, после того, как начали действовать восточные торговые пути; торгово-политический центр в связи с этим окончательно сместился с Ботнического залива» (Эря-Эско 1986:170; см. также: Киркинен и др. 1998:15, 16). В свое время А. Хакман (Hackman 1905) и А. Европеус (Europaeus 1923) полагали, что карелы северо-западного Приладожья сформировались в XII–XIII вв. в результате расселения финнов с запада.

Значение альянса с попутчиками и туземцами обнаруживается при сравнении ладожского пути с западно-двинским (даугавским), остававшимся закрытым большую часть эпохи викинов (IX–X вв.). Причина этого кроется не в трудностях плавания по Даугаве, а в напряженных отношениях норманнов с лесными балтами (латгалами), которые «длительное время препятствовали торговым контактам вдоль течения Даугавы» (Еремеев 2012:296, 297).

Приглашенные и принужденные переселенцы становились постоянными жителями норманнских баз — сторожами, аграриями, фуражирами, строителями. В тревожном окружении туземцев они

хранили верность своим патронам-воинам, которые в свою очередь опирались на своих людей в чужих землях. Таким оседлым поселенцам было удобнее налаживать отношения с местным населением путем бытовой «народной дипломатии». Тем самым из конкурирующих частных проектов норманнов успешными оказывались те, которые включали славянских и финских переселенцев.

Остается предположить, что норманны осознанно приглашали или принуждали северных славян к поселению на путях своих военно-торговых экспедиций. По этому сценарию варягам принадлежит первенство в «призвании славян» на Ладогу во второй половине VIII в. Век спустя уже славяне, обосновавшись на Волхове, призывали очередных варягов в Гарды. Истекший век многое изменил: за несколько поколений северославянская общность вокруг норманнского пути обрела свое «словенское лицо», пополнив собственное прибалтийское наследие элементами культур попутчиков-скандинавов и местных финнов. Смешанные браки и совместная колонизация укрепили альянс скандинавов и северных славян, зародившийся еще на берегах Балтики и в совместном движении к Волхову в VIII в. И впоследствии, судя по летописям, русь и словене были неразлучной парой во многих походах IX–XI вв.

Норманнская магистральная колонизация была одновременно славянской локальной колонизацией. Норманны заселяли территории Приладожья и Приильменья в компании балтийских славян как спутников и хозяйственных колонистов. Походы норманнов на северо-востоке Европы без участия славян не породили бы колоний. В удвоенном потенциале кроется ключ к феномену «русской экспансии». Культуры скандинавов и славян усиливали друг друга в ходе совместной колонизации: норманны пробивали путь войной и торговлей, славяне осваивали местные земли; норманны умели побеждать, славяне — выживать; норманны контролировали магистрали, славяне — локальные ниши. Две культуры шли бок о бок, и не случайно длинные скандинавские дома и славянские печи стояли по соседству в Старой Ладоге.

Бродячая скандинавская *русь* и северные славяне, прокладывавшие пути и создававшие цепь колоний по Волхову, верхней Волге и другим рекам Русской равнины, обладали разными, но сочетавшимися качествами. Социальная адаптивность и «поклади-

стость» славян стала залогом того, что вояжи норманнов привели к колонизации именно тех пространств, по которым они продвигались вместе со словенами. Русская культура рождалась не в статике поселений, а в ходе совместной скандинаво-славянской колонизации — симбиоза-в-движении. Изначально она была синтетической культурой больших пространств, включавшей опыт норманнов, славян, финнов, балтов, а также заимствования у отдаленных народов вроде иранцев, тюрок, угров. «Кочующая русь» жила в ритмах местного полюдья (сбора дани и рабов) и дальних военно-торговых экспедиций (походов на Царьград, Дунай, Волгу, в Закавказье). Старая Ладога за столетие переросла уровень скандинавской колонии и превратилась в узел трех норманнских путей и многообразного полиэтничного взаимодействия. Одно то, что захоронения норманнов, славян и финнов обнаружены здесь на общих кладбищах, свидетельствует о сложившемся межэтническом союзе.

В этом симбиозе и трансграничье развивалась новая культура — норд-русская (верхнерусская, новгородская). Она прошла три этапа: ладожский (VIII в.), ильменский (IX–X вв.) и новгородский (XI в.). Викингская колония Ладога (Aldeigja, Aldeigjuborg) была военно-политическим центром на перекрестке путей «из варяг», но оставалась восточной гаванью «морских кочевников». Переход варяжских князей и их спутников через волховские пороги на берег Ильмень-озера и основание княжеского варяжского городка (Рюриково городище) в IX в. открыли новую сеть коммуникации, ядром которой стали «речные кочевники». В XI в. под прикрытием Рюрикова городка сложился посад-город, в котором обосновались союзные норманнам славяне и финны, а также торговцы-скандинавы. Резиденция князя в Рюриковом городке и выросший в двух километрах ниже по реке «посад» образовали сообщество, называвшееся Новгородом. Схема образования посада-города рядом с княжеским городком (*garđr* + *град*) повторилась в истории целого ряда русских городов того времени — Смоленска у Гнёздова, Ростова у Сарского городища, Мурома у Чаадаевского городища.

Новгород, как следует из его названия, был новопоселением — колонией, созданной в последовательности *garđr* (Рюриков городок) — *riki* (Гардарики) — *град* (Новгород). Иначе говоря, возникшая варяжская колония-*гард* обеспечила вторичную колонизацию

обширной округи, из которой собралась новая колония-*град*. По аналогии с биологической сукцессией, инициаторами и первичными колонизаторами выступали норманны, вторичными успешными устроителями — славяне при участии финнов. В этом альянсе (или симбиозе) не было приоритетов: мобильность воинов-торговцев обеспечивала им элитный статус и первенство на этапе прокладки путей, а на этапе освоения преимущество устойчивости имела культура оседлости. Поэтому довольно скоро мобильная элита обросла оседлым окружением и растворилась в нем, утратив многое из культурного фонда предков, включая язык (викинги повсеместно усваивали местные языки). Колонизация выглядела многогранно: варяги использовали славян как «своих поселенцев», а славяне использовали варягов как «свой транспорт» для дальних перемещений и освоения новых земель.

Нордизм в колонизации выражался в создании опорных пунктов движения — гардов, обраставших местным населением и превращавшихся в города с присущими северной традиции вечевыми устоями и размахом торговли. «Эстафета» городов и путей основывалась на персональных проектах и сетях корпоративной коммуникации, а не на административной централизации. В стиле, близком к греко-полисному, северные колонии легко множились и порождали свои подобия, превращаясь тем самым в метрополии.

Три пути

Из варяг в греки, арабы и бьярмы — пути, образовавшие восточную паутину коммуникаций норманнов (см. рис. 6). По летописям известен лишь первый, «из варяг в греки», тогда как два других реконструируются на основе археологических, исторических и фольклорных свидетельств. Стилизуя их названия в «летописном ключе», я показываю их взаимосвязь во времени и пространстве, а также их общий исток — «из варяг». Примечательно, что путь «в греки» был лишь первым среди равных, причем вовсе не древнейшим; в ракурсе колонизации два других направления играли ничуть не меньшую роль, а главное — образовывали «древнерусский мир» в его реальной сложности и протяженности.

Связующим узлом этих трех путей выступала Aldeigja — Старая Ладога, основанная в середине VIII в. Ранние (IX в.) находки скандинавского происхождения представлены лишь в се-

верных областях будущей Руси — от Верхнего Поднепровья до Ладоги, а значительные серии таких предметов происходят лишь из Старой Ладоги и Рюрикова городища (Макаров и др. 2014:22). Следовательно, отсюда, из Ладоги и Поволховья, изначально исходила варяго-русская колонизация.

Путь «из варяг в арабы» был первой восточной магистралью, по которой с начала IX в. вверх по Волге текло арабское серебро, вниз — рабы и пушнина. Движение руси с севера на юго-восток сопровождалось созданием цепи колоний — подобий Ладоги — перевалочных баз, превращавшихся в гарды (*garđr*). Первая цепь гардов возникла по Волхову и верхней Волге: Рюриково городище (Приильменье), Сарское городище (у озеро Неро), Михайловское и Тимерёво (под Ярославлем). Иногда верхневолжские гарды вставали на месте туземных селений; например, Сарское городище выросло из поселка мери. Археология показывает, что варяги осваивали земли мери и до их «официального призвания», причем усиление скандинавских и финских традиций происходило одновременно. В погребальном обряде заметно нарастание финских черт — деревянных «домиков мертвых» на кострищах, глиняных лап и колец, астрагалов бобра, круглодонной керамики, копоушек, бубенчиков (Кирпичников и др. 1986:208–210, 212, 215, 216). Не исключено, что речь может идти о совместных миграциях в Поволжье руси и балтийских финнов.

Вместе с русью в Ростовскую землю, Ярославское и Костромское Поволжье в IX в. двигались ладожско-ильменские славяне и финны (Седов 1982:карта 35; Дубов 1982:33–45). В. О. Ключевский отмечал, что заселение Ростово-Суздальского края славянами «началось задолго до XII в., и русская колонизация его первоначально шла преимущественно с северо-запада, из Новгородской земли, к которой принадлежал этот край при первых русских князьях» (Ключевский 1987:289). «Земля мери (Ростов) была, по-видимому, покорена или колонизована словенами», — полагал А. А. Шахматов (1904:66), указывая на наименование Ростово-Суздальского края в IV Новгородской летописи «Словенской землей». По мнению Е. Н. Носова, «балтийско-волжский путь ни в коей мере нельзя считать лишь путем скандинавов... Теми же путями, по которым восточное серебро доставлялось к истоку Волхова, в обратном направлении шли группы словенских колонистов в Волго-Окское

междуречье» (Носов 1990:189). Как видно, колонизация Верхнего Поволжья проходила по той же схеме русо-славяно-финского движения, что и освоение Ладоги и Ильменя из Балтии: русь выступала военно-торговым ядром, славяне и финны — сподвижниками, заселявшими и осваивавшими локальные ниши.

Закрепившись на Волжском пути, русы прошли в Каспийское море, а по волго-донскому волоку — в Азовское море. Вторжения руси в Грецию и Амстриду в 840–865 гг., их морские походы в Средиземноморье могли осуществляться с «готского плацдарма» — Подонья и Меотиды (Приазовья), куда викинги добирались по Волге. Таким образом, первоначально русь прошла к южным морям по Балто-Каспийскому пути, и первые гарды южнее Волхова появились на Волге — не случайно арабские географы сообщали, что русы живут к востоку от славян (Заходер 1962:33), а некоторые исследователи допускали возможность существования на средней Волге «докиевского» норманнского государства (Смирнов 1928:223–229).

Волжский путь имел свои восточные ответвления, в частности камско-уральское. Одним из следов коммуникации от Фенноскандии до Урала являются кресала с бронзовыми рукоятями, которые в эпоху викингов, с конца IX по начало XI вв., стремительно распространились в этом пространстве. Л. А. Голубева (1973: 178) полагает, что подобные огнива, найденные на севере Восточной Европы, в Финляндии, Швеции и Норвегии, изготовлялись в Прикамье финно-угорскими мастерами и попадали на далекий запад торговым путем через Сухону, Вычегду, Белоозеро и Ладогу. Не исключено, что огнива могли распространяться и по Волжскому пути. Некоторые из них украшены композициями на бронзовой ажурной рукояти стального кресала, напоминающими, по мнению Г. Ф. Корзухиной, сцену скандинавской мифологии «Óдин и вороны» (Корзухина 1977:156–159). Такое кресало найдено в Прикамье, а в Суздале среди коллекции варяжских вещей XI в. обнаружены две круглые подвески: на одной изображен Один с воронами, на другой в орнаментальную кайму включена руническая надпись, указывающая на принадлежность вещи некоему Олаву (Кирпичников и др. 1986:266). «Один и вороны» — распространенный сюжет на наконечниках ножен, кресалах эпох Вендель и викингов (Хлевов 2002:210, 220).

Включенность Волго-Камского перекрестка — Волжской Булгарии — в Балто-Каспийский путь норманнов иллюстрируется известным описанием Ибн-Фадлана работорговли русов и похорон руса в Булгаре на Волге (Атиле) в 921–922 гг. (Заходер 1962:53–59). И век спустя, несмотря на оттеснение Балто-Каспийского пути Балто-Понтийским, старая Волжская магистраль оставалась в поле зрения норманнов. В 1029 г. князь Ярослав Мудрый и его жена Ингигерд предложили изгнанному из Скандинавии норвежскому конунгу Олаву Толстому (впоследствии Святому) стать правителем страны Вульгарии, которая, по словам Ярослава, «составляет часть Гардарики, и народ в ней некрещеный» (Стурлусон 1980:335, 340). Олав предпочел вернуться в Норвегию, где погиб в битве под знаменами христианства (иначе геополитическая карта Восточной Европы могла бы выглядеть иначе). Страна Вульгариа (Vúlgáríá, Valgaria, Vvlgaria, Wlgar/i/a) обычно отождествляется с Волжской Булгарией (Metzenthin 1941:121; Hollander 1964:483). Правда, в российской историографии со времен Н. М. Карамзина на это принято возражать, что в то время Булгария не была частью Руси, и Ярослав не мог предлагать Олаву чужие владения. Возможно, Ярослав действительно предлагал Олаву не Волжскую Булгарию (которая к тому времени была уже страной ислама), а пограничное с ней волжское пространство.

В любом случае этот эпизод примечателен как «проект колонизации», пусть и неудавшийся. Мотивация Ярослава могла сложиться из ряда обстоятельств: (1) помощь норвежскому королю-изгою как возвращение долга норманнам, трижды утверждавшим его на княжении в склоке с братьями; (2) желание обрести на «диком востоке» соседа-правителя в лице скандинавского короля-христианина; (3) стремление избавиться от беспокойного гостя, бывшего некогда женихом Ингигерд. Основанием же мотивации была убежденность Ярослава в том, что Волжский путь — испокон веку норманнское пространство и всякое утверждение на нем норманнского господства — дело благое и правое. Подобная «норманнская» точка зрения усиливалась апологией христианизации, свойственной обоим конунгам. Подчеркнутая в высказывании Ярослава, она в те времена освящала любой захват с целью приведения некрещеного народа в лоно истинной церкви.

Путь «из варяг в бьярмы» (Северный морской путь), открытие которого приписывается норвежцу Оттару, установился в конце IX в. Вслед за Оттаром, обогнувшим Нордкап и посетившим страну бьярмов, двинулись другие викинги. Большая сага об Олаве Трюггвасоне (в рукописи Flateyjarbók) упоминает Хаука Длинные Чулки, посланного конунгом Харальдом Прекрасноволосым «на север в Бьярмаланд, чтобы добыть меха» (Джаксон 1991:136). Этот арктический путь в Бьярмию назывался «финским». Был и балтийский — «шведский» — путь, которым шведский конунг Эйрик, прослышав о рейде Хаука в Бьярмию, отправил туда своего викинга Бьёрна Чернобокого (Тиандер 1906:426–430). Сага о шведском конунге Стурлауге Трудолюбивом повествует о его походе в Бьярмию, битве с конунгом бьярмов Раундольвом, победе и подчинении Бьярмии. Сага о Хальвдане рассказывает о том, как норвежский конунг провел на Восточном пути шестнадцать лет, подчинив Ладогу и Бьярмию (Глазырина 1996:157–159). Судя по сагам, за Бьярмию конкурировали норвежские и шведские викинги, а в Ладоге арктический и балтийский пути замкнулись в «северное кольцо».

Ключевую роль в «северном кольце» играло Белоозеро. Белозерская весь значится в числе племен, призывавших варягов. Не случайно здесь встал один из трех форпостов братьев-варягов — археология подтверждает появление на Белоозере норманнов во второй половине IX в. (городище Крутик). Одновременно в истоках Шексны, в низменной местности, возникло славянское селение Белоозеро (Седов 1999:206, 208, 209).[2] В очередной раз русо-словенский альянс оказался механизмом колонизации.

В русской колонизации Беломорья «северное кольцо» викингов сыграло путеводную роль. В очередной раз скандинаво-славянский симбиоз-в-движении привел к переселению ильменских словен по путям, проторенным мореходами-норманнами. Своими походами в Бьярмию викинги-ладожане открыли путь русскому заселению Севера, по которому вслед за ними прошли новгородцы, которые сами были «от рода варяжьска». Памятниками со-

[2] По другим оценкам, украшения, бытовые вещи, культовые предметы и детали вооружения скандинавского облика на памятниках Белого озера и Шексны датируются более поздним временем (Макаров 2012:457).

вместных северных путей скандинавов и северных славян можно считать древнейшие волоки в «Заволочье» (Онежско-Двинские земли), названия которых — Немецкий (Вытегра–Ковжа) и Словинский (Словянка–Порозовица) — говорят о варяго-словенском движении (Любавский 1996:204). Области контроля норманнов стали данническими владениями новгородцев, а скандинавская «Бьярмия» была переозвучена в новгородскую «Пермь» (первоначально Пермью звались области «Колопермь» на Кольском полуострове и «Старая Пермь» в Подвинье).[3] Символом традиционной, уходящей во времена викингов связи между Поволховьем и Подвиньем осталось созвучие названий столиц Северной Руси и Русского Севера — Hólmgarđr (Новгород) и Холмогоры.

Третьей магистралью, исходившей из Ладоги, был путь «из варяг в греки», шедший в противоположную от Бьярмии сторону. Судя по тому, как изначально Рюрик простроил силовую линию своих владений — от Изборска (Трувор) через Ладогу к Белоозеру (Синеус), южное направление было для него «чужим»; туда двинулись на вольный промысел Аскольд и Дир и нашли на Днепре селение Киев, платящее дань хазарам. Археология Ладоги и Рюрикова городища показывает, что формирование центров власти, торговли и ремесла началось на Севере раньше, чем в Среднем Поднепровье (Макаров 2012:455).

На южном от волховских гардов направлении ключевая роль в IX в. принадлежала Гнёздову на перекрестке путей по Волхову, Двине и Днепру. Сочетание локальных (металлообработка, судостроение) и магистральных (международная торговля, военное дело) функций, равно как устойчивый контакт пришлых скандинавов и местных кривичей, позволяет видеть в Гнёздове крупнейшее «гнездо» руси на пути «из варяг в греки». Местные кривичи были участниками призвания Рюрика и союзниками Олега в его походе. Гнёздовский гард, наряду с Рюриковым городищем (ранним Новгородом), стал колыбелью новой славяноязычной верхнерусской культуры. Расцвет Гнёздова, как и волжских гардов, пришелся на X в., а закат — на середину XI в., когда неподалеку от него поднялся славяно-русский Смоленск (Лебедев 2005:227, 481, 482).

---

[3] «Слово Биармия, очевидно, значит то же самое, что Пермия» (Витсен 2010:1169).

Киев по возрасту приходится младшим братом Ладоге, Рюрикову городку и Гнёздову, а «матерью городов русских» он был назван позже, когда стал христианской столицей Руси. В верховьях Днепра варяги расположились в начале IX в., в среднем течении — во второй его половине. Прежде, в V–VIII вв., на Горах Киевских существовали разрозненные поселения, центральным из которых было городище на Старокиевской горе. Во второй половине IX в., в соответствии с летописными событиями, начался рост киевского посада на Подоле, а к концу века в Киевском некрополе появились скандинавские курганы и погребения воинов с конем и оружием (Лебедев 2005:549, 561). Два поколения (считая поколение за четверть века) понадобилось варягам для продвижения от волховских порогов к днепровским. Киев обязан своим укрупнением Игорю, которого Олег оставлял на время походов и который был более удачлив в сидении, чем в движении, а особенно Ольге, превратившей город в семейное гнездо и очаг христианства. Не случайно Киев (*Kænugarðr*) не упоминается ни в рунических надписях, ни в скальдических стихах норманнов IX–XII вв., а в королевских сагах назван лишь в «Пряди об Эймунде».

За три века движения руси по Восточному пути, с 750-х по 1050-е гг., варяжские князья постоянно утверждали свою власть походами с севера на юг: (1) Рюрик, прибыв из-за моря, двинулся с севера (Ладоги) на юг (Ильмень); (2) Аскольд и Дир, отпросившись у Рюрика в Царьград, прошли с севера на юг и овладели селением под названием Киев; (3) Олег походом с севера на юг захватил пространство от Ладоги до Киева; (4) Святослав в отрочестве княжил в Новгороде, затем отправился воевать на юг; (5) Владимир походом с севера на юг захватил власть, одолев братьев с помощью варягов; (6) Ярослав с помощью варягов походами с севера на юг трижды захватывал и утверждал свою власть.

Святослава и Ярослава разделяет поколение, но за это время изменился ритм жизни князей: подвижная воинственная *русь* остановилась и осела, превратившись в государство Русь. Ярославу не передалась легкая походка его деда. На Царьград он не ходил, завоеваниям предпочитал матримониальную международную политику, «любил церковный устав» и книги, строил города и храмы, в том числе заложил в 1037 г. «город великий Киев» со златыми вратами и храмом Софии.

В XII в. варяжские пути постепенно замирают. На севере место Ладоги занимает Новгород, и уже новгородцы совершают дальние поездки по Бьярмии-Перми. На юге и востоке движение норманнов слабеет и замещается встречным воздействием Киева и Булгара. Существенную роль в смене мотиваций и остановке движения норманнов сыграло христианство, «осадившее» северных воинов-торговцев и изменившее их отношение к иным землям и народам. На Руси сменился вектор движения: оно пошло в противоположном направлении — с юга на север. Его генератором стал Киев, а мотивационно-деятельностной основой — христианство. Последовавшая «феодальная раздробленность» стала следствием остановки пути: варяги осели, магистраль иссякла, динамичная прежде Русь распалась на статичные локальные княжества.

«От рода варяжьска»

В Лаврентьевской летописи под 862 г. «первыми насельниками» северных городов, которыми «обладал Рюрик», называются: в Новгороде — словене, в Полоцке — кривичи, в Ростове — меря, в Белоозере — весь, в Муроме — мурома (ПСРЛ Т. 1 1926:20). По отношению к этим городам варяги характеризуются как «находники». В словах «насельники» и «находники» просматриваются характеристики локальной и магистральной культур, свойственные, соответственно, местным сообществам и связующей их мобильной элите. Корни «сел» и «ход», различающие эти роли, внятно обозначают оседлость и подвижность участников этого взаимодействия.

В том же фрагменте летописи есть разъяснение: «ти суть людье Новогородьци от рода Варяжьска, преже бо беша Словени». Эта фраза породила историографические муки: кто же все-таки новгородцы — варяги или словене? Многих комментаторов почему-то смущает прямо следующий из летописного сообщения сценарий смешения насельников-словен и находников-варягов под общим именем «новгородцы». Между тем именно метисация норманнов, славян и финнов была механизмом образования новой общности и новой культуры с участием насельников и находников.

Помимо названий церквей (Варяжская на Торгу, Святого Олава) и улиц (Варяжская, Иворова) варяжский профиль Новгорода открывается в именах знати — Якун (сканд. Hákon), Ивор (сканд.

Ivar) и др. А. А. Молчанов (1997) допускает, что упоминаемый в летописи под 1096 г. новгородец Гюрята Рогович происходил из норманнской знати — его отцом был Рог(волод), сын Эйлива, внук гаутландского и ладожского ярла Рёгнвальда. А. А. Гиппиус возводит к тому же скандинавскому корню, наряду с Гюрятиничами, бояр Михалковичей и Мирославичей, которые не случайно роднились с Рюриковичами (Петр Михалкович выдал дочь за князя Мстислава Юрьевича в 1155 г., а Якун Мирославич — за Ростислава Мстиславича в 1176 г.). «Женитьба князя на боярской дочери — явление экстраординарное для русского княжеского дома и (какова бы ни была политическая подоплека таких браков) несомненно требовавшее какого-то генеалогического оправдания. Происхождение невест от Рёгнвальда Ульвссона, состоявшего в родстве с несколькими скандинавскими монархами, вполне могло составить такое оправдание» (Гиппиус 2006:102).

Потомки одного только Рёгнвальда Ульвссона составили больше половины новгородских посадников XI–XIII вв. К их числу могли относиться и посадники Ладоги, в том числе Нежата Твердятич, Михаил Федорович, Семен Михайлович (Мусин 2002:83, 84). Первым избранным на вече новгородским епископом в 1156 г. стал Аркадий из рода Михалковичей (Гиппиус 2006:100–106). Между тем не только ярл Рёгнвальд оставил след в генофонде Новгорода.

Если вспомнить о скандинавских корнях самих Рюриковичей, то присутствие «рода варяжьска» в Новгороде приобретет вид впечатляющего факта. Традиция киевского княжеского дома отправлять старших сыновей на княжение в Новгород может рассматриваться как своего рода возвращение к очагу. И помощь, которую обретали в варягах Рюриковичи, тоже была «родной», как и встречная поддержка скандинавских конунгов, находивших приют в Новгороде-Хольмгарде (Олав Трюггвасон, Олав Толстый, Харальд Суровый и др).

В королевских сагах часто упоминаются Новгород (Hólmgarđr) и Ладога (Aldeigjuborg), тогда как прочие русские города (Киев, Полоцк, Суздаль) — лишь по два раза (Джаксон 1991:119, 145). Судя по сагам, из всех русских городов Хольмгард пользовался особым вниманием и расположением норманнов. Именно в Новгород отсылал захваченные в Средиземноморье трофеи вождь византийской дружины веринговъ Харальд Суровый.

> Все имущество, какое он добыл и в каком не нуждался для того, чтобы содержать себя, он посылал с верными людьми на север в Хольмгард на хранение к Ярицлейву [Ярославу] конунгу, и там скопились безмерные сокровища…
> Когда Харальд прибыл в Хольмгард, Ярицлейв принял его отменно хорошо. Он провел там зиму и получил в свое распоряжение все то золото, которое прежде посылал туда из Миклагарда [Константинополя], и самые разные драгоценности. Там было столько добра, сколько никто в Северных Странах не видал в собственности одного человека…
> В ту зиму Ярицлейв конунг выдал свою дочь [Елизавету] за Харальда… (Стурлусон 1980:405, 411).

Как видно, конунг Харальд считал Хольмгард более надежным местом хранения сбережений, чем родная Скандинавия. Позднее Харальд выторговал у конунга Магнуса половину Норвегии в обмен на половину привезенных из Хольмгарда сокровищ. Более того, в Хольмгарде его ждали не только богатства, но и невеста — дочь князя Ярослава Елизавета (так героя обычно ждет невеста «в родной стороне»).

Поскольку не один Харальд хранил сокровища в Хольмгарде, не удивительно, что Новгородская земля обильна норманнскими кладами, из которых самый большой весом 100 кг был обнаружен на реке Ловать в 170 милях от Новгорода, в то время как самый большой клад из найденных в Швеции (Сконе) весил менее 9 кг (Сойер 2002:131). Однако наследием Новгорода «от рода варяжьска» были не только трофейные сокровища, но и умение их добывать.

В скандинавских сагах Хольмгард запечатлен как международное торжище. В «Легендарной саге об Олаве Святом» он назван *kaupbær* ‘торговый город’ (в «Гнилой коже» — *kauptún)*; из дюжины древнерусских городов, упоминаемых в сагах, это определение применяется только к Новгороду (Джаксон 1991:164, 165). Показательна сцена на новгородском рынке, в которой участвует малолетний норвежский королевич Олав Трюггвасон.

> Однажды Олав сын Трюггви был на рынке [Хольмгарда]. Там было много народу. Тут он узнал [эста-викинга] Клеркона, который убил его воспитателя Торольва Вшивая Борода. У Олава был в руке топорик, и он ударил им Клеркона по голове так, что топорик врезался в мозг, и сразу же побежал домой и сказал Сигурду, своему дяде, а Сигурд сразу же отвел Олава в

дом жены конунга [Вальдамара — князя Владимира] и рассказал ей, что случилось. Ее звали Аллогия. Сигурд попросил ее заступиться за мальчика. Она отвечала, посмотрев на мальчика, что нельзя убивать такого красивого мальчика, и велела позвать к себе людей во всеоружии (Стурлусон 1980:101).

Атмосфера международной ярмарки, где могли по случаю затеряться или встретиться гости из Скандинавии, в том числе члены королевской семьи, соответствует норманнскому восприятию Новгорода-Хольмгарда как «города-торжища» (*kaupbær*, *kauptún*). Примечателен и почтительный тон скандинавского сказителя, в котором описываются последовавшие за убийством события и их правовая подоплека.

В Хольмгарде господствовал такой нерушимый мир, что, согласно закону, всякий, кто убил человека, не объявленного вне закона, должен быть убит. Поэтому, следуя обычаю и законам, весь народ бросился на поиски мальчика. Тут стало известно, что он в доме жены конунга, где много людей во всеоружии. Сообщили конунгу, и он явился со своей дружиной, чтобы воспрепятствовать кровопролитию. Было заключено перемирие, а потом и мировая. Конунг назначил виру, и Аллогия выплатила ее. С этих пор Олав жил у жены конунга, и она очень любила его. В Гардарики было законом, что люди, которые были конунгами по рождению, не могли оставаться в стране без разрешения конунга... Она добилась своими уговорами того, что конунг обещал помощь. Он взял Олава под свою защиту, и Олав был у него в таком почете, в каком подобает быть конунгову сыну (Стурлусон 1980:101).

Скандинавов трудно удивить законностью, но по тону саги видно, что сказитель склоняет голову перед законом Новгорода (ничего подобного о скандинавских городах саги не говорят). Закон Хольмгарда выше власти князя и конунга, он также вне этнических предпочтений: наказание полагается за убийство чужака, эста Клеркона. Суровый закон вмешивается даже в узы князя и княгини: жена платит мужу виру как условие умиротворения горожан. Тут же следует пассаж об условиях пребывания конунга в Гардарики. В пересказе Снорри Стурлусона закон Хольмгарда выглядит чуть ли не «скандинавской мечтой», осуществленной норманнами за пределами родины.

Правовой этюд из саги об Олаве Трюггвасоне относится ко времени княжения в Новгороде Владимира Святославича — за поколение до «Русской правды». По существу Ярослав принял Правду как данность, а не как нововведение, и в ее принятии повинны все те же варяги все в том же Новгороде. Нашумевший конфликт 1015 г. между варягами и новгородцами случился, как известно, из-за того, что призванные Ярославом заморские воины слишком по-хозяйски вели себя в Новгороде, «насилие деяти на мужатых женах». В ответ новгородцы побили варягов на Поромоне дворе, за что князь, собрав дружину, посек мстителей (НПЛ 1950:74).

Историки советско-материалистической школы сочли насилие над женами частным поводом, за которым кроются более весомые основания конфликта — классовая борьба и «увеличение повинностей с населения» на содержание варяжского войска (Черепнин 1965:132; Буганов 1986:14, 15). Однако свободный от марксистской учености летописец указал на главную во все времена причину межэтнических столкновений — контроль над социальным пространством, в котором «право на женщин» имеет первостепенное значение.

Гнев Ярослава на новгородцев и его заступничество за варягов обычно объясняют сложностью ситуации: варяжская дружина была его опорой в чудом не состоявшемся (вернее, отложенном) столкновении с Киевом: князь-отец Владимир уже собирался в поход на Новгород за своеволие сына и неуплату «урока», но скоропостижно умер. Следом старший княжич Святополк перебил братьев, о чем Ярослава известила сестра Предслава буквально в ночь избиения новгородцев. На следующий день Ярослав «сътвори вече на поле» и начал речь словами: «Любимая моя и честная дружина». Покаявшись в охватившем его накануне «безумии», он призвал свою рать («братие») к походу на Святополка, и, словно забыв о случившемся побоище, на Киев в одном строю двинулись три тысячи новгородцев и тысяча варягов.

Как видно, конфликт между варягами и новгородцами (потомками варягов) был делом дружины, и военный поход быстро замял распрю. Однако сразу после взятия Киева Ярослав вручил новгородцам, помимо платы за успешную рать (по 10 гривен), «правду Рускую» — по существу «ратную правду», начинающуюся со слов «убиет муж мужа» и продолжающуюся перечислением

условий обиды и мзды для варягов, колбягов, русин, словен, гридин, мечников, купцов, ябетников и других новгородцев.

В следующем драматическом эпизоде, когда Ярослав в июле 1018 г. был разбит Болеславом и бежал в Новгород, «хотяше бежати за море», новгородцы во главе с посадником Коснятином посекли его ладьи, собрали всем миром деньги и сами пригласили варяжскую рать (ПСРЛ Т. 1 1926:144). Частота конфликтов и примирений, свойственная как викингам, так и новгородцам, не исключала, а регламентировала их многосторонние связи.

Дети скандинаво-славянского альянса из числа новгородцев обладали сдвоенной идентичностью. Как всякие полукровки и, тем более, жители полиэтничного города-торжища, они с детства владели искусством этнодиалога, что предопределяло их успех в расширении сети коммуникаций и партнерства в обширных варяго-новгородских владениях. Носитель сложной идентичности, к тому же мотивированный тремлением к самоутверждению в ситуации пограничья или трансграничья, способен на смелые действия и преобразования (о чем свидетельствует персональный опыт Владимира Святославича на Руси, Вильгельма Завоевателя в Англии, Пржемысла Отакара в Чехии). Такой же, только коллективный, потенциал был свойствен метисному сообществу новгородцев, создавших свое деятельностное пространство на основе собственных мотиваций. Всему этому способствовало элитное самосознание «от рода варяжьска».

Рост и расцвет Новгорода означал не просто переход от норманнской культуры к славянской. На Волхове произошел синтез локальной (славянской) и магистральной (норманнской) культур. Сдвиг варяжской резиденции из Ладоги в Новгород (первоначально Рюриково городище), т. е. из низовий Волхова в его верховья, означал становление новой системы отношений и новой культуры, ориентированной уже не на морские, а на речные пути. Если Ладога замыкала кольцо морских путей, то варяжский городок на Ильмене связывал сеть речных путей. Ладога была восточной гаванью «морских кочевников», Новгород стал столицей «речных кочевников». Переход Рюрика через Волховские пороги из Ладоги на Ильмень имел эпохальные последствия, поскольку привел к сложению магистральной северорусской (новгородской) культуры.

Новгородская культура обладала преимуществами обеих материнских культур — варяжской мобильностью и славянской цепкостью. Символом ее движения стал ушкуй (речное судно), а оседлости — хоромы (большой дом). Пиратским стилем новгородские ушкуйники напоминали викингов, и само прозвание *ушкуйник* в значении «ладейный человек» по смыслу идентично обозначению варяжской корабельной дружины словом *русь*. В новгородской деятельностной схеме переплелись норманнская магистральность (дальняя торговля, сбор дани и военный промысел) и славянская локальность (комплекс местных производств, экологических, социальных и сакральных обычаев). Ее нордический стержень сохранил викингский алгоритм контроля над обширным социальным пространством: приоритет частных проектов с созданием сетей партнерства; мобильность элиты на водных путях в сопровождении «попутчиков»; война, дань, торг и брак как система коммуникации с местными племенами; вечевая демократия с призваниями-изгнаниями военных вождей.

Новгородская культура окрепла и к XIII в. заместила культуру викингов на северо-востоке Европы. Во всяком случае, новгородцы не только установили контроль над принадлежавшими прежде викингам землями Приладожья и Бьярмии, но и совершали набеги на Скандинавию. Например, в августе 1187 г. столица Швеции Сигтуна подверглась разгрому со стороны карел и, судя по всему, новгородцев; при этом архиепископ Уппсалы был убит, а храм и город опустошены (среди трофеев оказались бронзовые врата шведского храма, украсившие одну из церквей Новгорода).

Вечевой человек

Новгород выглядит изгоем русско-российской истории на фоне всепоглощающей идеи централизации. Север и Юг варяжской Руси предстают разнозаряженными полюсами в отношении власти: Новгород отталкивает князей, Киев их притягивает; в Новгороде укрепляется народовластие, в Киеве, Владимире и Москве — княжеское единовластие; Новгород видит социальный идеал в служении князя, Москва — в служении князю. В Новгороде и Москве одни и те же слова «боярин», «отчина», «государь» имеют разный смысл.

Эти полюса демократии и автократии на Руси — не вариации общего алгоритма власти, а цивилизационно различные основания. Характерная черта новгородцев — вечевой нрав — таинство для тоталитарного и бюрократического мышления. В московской трактовке новгородское вече всегда выглядит буйством толпы. На самом деле вече — не драма, а быт, не бунт, а самость. Князь и холоп хорошо понимают друг друга, но отторгают ценности вечевого человека; и, наоборот, вечевые люди не в ладах со статусно-иерархической зависимостью тоталитарных людей.

Изначальная самобытность Новгорода связана с западным (балтийским) происхождением основавших его колонистов — северных славян и норманнов, а также с их долговременным взаимодействием с местным прибалтийско-финским населением. Будучи попутчиками в освоении нового пространства, норманны и славяне образовали слаженный альянс: в варяжско-славянской колонизации Ладоги и Волхова не было барьера между завоевателями и завоеванными, как на юге Руси. Деятельностная схема новгородца состояла не в подчинении других, а в создании сети партнерства.

В документах Ганзы вече переводится как *ding* — по созвучию и аналогии со скандинавским *thing* (*тинг*). Сходство скандинавского *тинга*, русского *веча* и финского *кэрая*[4] как народного собрания и волеизъявления естественно во взаимной адаптации этнотрио Северной Руси. Вероятно, варяжский тинг не учредил, а лишь укрепил славянские и финские устои народовластия. В самой Скандинавии эта норма (например, право свейского тинга *taga ok vraka konongr* — «принять и согнать конунга») со временем была урезана королями-объединителями — Харальдом Прекрасноволосым, Эйриком Победоносным и их последователями. А на окраинах викингской ойкумены (например, в Исландии и Новгороде) верховная власть по-прежнему реализовалась через народное собрание (*тинг*, *вече*).

Шведский исследователь Ю. Гранберг отметил, что в древнерусских источниках слово *вече* встречается с 997 г. (при осаде печенегами Белгорода) по 1518 г. (в упоминании о псковском вечевом колоколе). По его наблюдениям, источники не характеризуют

[4] У финнов и карел в средние века действовала старая финская традиция народного собрания *кэрая* (Киркинен и др. 1998:39).

вече как форму или орган высшей власти. В «ранний период» (997–1185) вече собиралось при осаде города и приближении врага, для важных оповещений или служило формой мятежа; в это время «вече» обозначало «собрание горожан в критической ситуации, когда они не могли положиться на своего князя». В «средний период» (1193–1446) большинство упоминаний о вече связано с Новгородом — со случаями городских собраний, мятежей и конфликтов, а также избрания по жребию архиепископа. В «поздний период» (1454–1518) вече упоминается в связи с собранием горожан для сообщения важных известий, в том числе при разрыве отношений Пскова с Новгородом по настоянию Москвы в 1477 г., для утверждения мирных договоров, вручения даров, назначения воевод, выслушивания послов. В целом автор приходит к заключению: «Слово вече обозначает просто собрание жителей города — городской общины... *много горожан*... влияние и сила веча заключалась просто в возможностях большой толпы, в ее непредсказуемости и стихийности». Разнообразие функций и действий веча не впечатляет Ю. Гранберга, и на протяжении всей книги он повторяет как заклинание: вече — не политический институт (Гранберг 2006).

Действительно, вече в южных городах (Белгороде Киевском, Владимире Волынском, Звенигороде Галицком, Киеве) имело мало общего с устойчивым институтом и напоминало стихию толпы. Однако в случае с Новгородом заметно отличие: под 1148 г. Ипатьевская летопись повествует о прибытии князя Изяслава Мстиславича в Новгород для призвания в поход новгородского войска. Князь и новгородцы обмениваются любезностями: новгородцы встречают князя на подступах к городу «за три днища»; княжич Ярослав посещает обедню в Святой Софии; Изяслав созывает новгородцев «от мала до велика» на обед, где «веселишася радостью великою». Лишь наутро «пославъ Изяславъ на Ярославль двор; и повеле звонити вече», на котором новгородцы и псковитяне дали князю согласие на совместную рать (ПСРЛ Т. 2 1843:40).

По обходительности диалог князя с новгородцами имеет мало общего с полюдьем и даже вейцлой (пиром, устраивавшимся скандинавской знатью в честь конунга или ярла). В стиле партнерства выдержан и диалог веча с князем Мстиславом Удатным в 1214 г.

> Мьстислав же созвони вече на Ярославле дворе и поча звати новгородци к Кыеву на Всеволода на Чермьнаго. Ркоша ему новгородци: «камо, княже, очима зриши, тамо и мы главами своими вержем». И поиде князь Мьстислав с новгородци к Кыеву месяца июня в 8... и доидоша Смолнеска, и бысть распря новгородцом [с] смолняны, а по князи не поидоша. Князь же, целовав всех, поиде, поклонивъся; новгородци же, створивше вече о собе, и почаша гадати. И рече Твердислав посадник: «братье новгородци, якоже преже сего страдале деде и отци за Рускую землю, тако, братье, и мы поидем по своем князи» (ПСРЛ Т. 3 1950:251, 252).

Примечательно, что вече проводится не на городской площади, а в военном походе. Мстислав не корит новгородцев за распрю, а «целует всех», кланяется и отправляется дальше восвояси, предоставляя новгородцам самим решать вопрос об участии в походе. Плоды дружественной дипломатии не заставляют себя ждать и выражаются в патриотической тираде посадника Твердислава. Однако речь идет не о служении князю, а о «страдании» за Русскую землю. Впрочем, иногда «походное вече» выглядит неуклюже, как об этом с досадой повествует С. М. Соловьев, описывая рейд новгородцев на помощь ладожанам в 1227 г., когда те бились с ямью (финнами) на Ладоге.

> ...что же делали в это время новгородцы? Они стояли на Неве да вече творили, хотели убить одного из своих, какого-то Судимира, да князь [Ярослав Всеволодович] скрыл его в своей лодье, потом возвратились домой, ничего не сделавши (Соловьев 1 1988:622).

Походное вече — не административный институт вроде ратуши, которого упорно доискивается в Новгороде шведский историк Ю. Гранберг: это стиль диалога, свойственный новгородцам и используемый ими в ответственных ситуациях, включая военные походы. Это способ принятия решений, когда индивидуальный мотив через сход преобразуется в общее действие. Летописи пестрят выражениями «новгородцы сказали», «новгородцы решили», и нелегко представить, как достигается это согласование, если не велением князя или посадника. Вече генерирует иное по природе согласование персональных мотивов в общем решении/действии. Как и следует из популярной этимологии веча от «ве-

щать», оно основывается на высказывании, убеждении и согласовании, и вечевой человек владеет этими приемами в активе и пассиве (убедителен и убеждаем и т. д.). Несмотря на социальность, вече опирается на персональную волю, и каждый новгородец носит вече в себе и олицетворяет его.

В сценах тинга и веча нередко просматриваются персональные мотивы, обретающие социальный резонанс. Сага о Харальде Серая Шкура повествует о приезде конунгов Харальда и Сигурда в Вёрс, где они созвали тинг бондов. «На этом тинге бонды набросились на них и хотели их убить, но они спаслись и пустились прочь». Причиной «бунта» стало сластолюбие Сигурда Слюны, который, попировав в доме херсира Клюппа в отсутствие хозяина, вошел ночью к его жене Алов и «лег с ней против ее воли». Позднее херсир Клюпп настиг конунга-насильника и пронзил его мечом, поплатившись за это собственной жизнью (Стурлусон 1980:95, 96).

Нечто подобное взбудоражило новгородское вече в 1418 г. Не вполне ясно, как боярин Данил Божин обидел жену некоего Степанка, но «наученный дьяволом» (по словам летописцев) муж набросился на боярина, вопя: «О друзи! Пособьствуйте ми на злодея сего!» На вопль, как на колокол, собралось разъяренное вече, избившее боярина до полусмерти и сбросившее его в Волхов (в побоях неистовствовала и обиженная женщина). Проплывавший мимо рыбак людин Личко спас Данила, подобрав его в свой челн, что еще больше распалило толпу. Народ ринулся громить дом рыбака, а тем временем Данил, обретя подмогу и пылая местью, захватил Степанка. В ответ на Ярославом дворе зазвонил вечевой колокол, и собравшиеся люди, уже в доспехах, двинулись разорять дома Данила и его соседей на Космодемьянской улице. Те воззвали о помощи к архиепископу, передав ему Степанка, и владыка направил возмутителя спокойствия на вече, отрядив туда же архимандрита Варлаама с миротворческой миссией. Усилиями владыки, архимандрита, посадника и тысяцкого ссора, едва не переросшая в общегородское побоище, была замята (ПСРЛ Т. 3 1950:95; 408–410).

Любители классовой борьбы уловят в треугольнике Данил — Степанко — жена Степанки признаки извечного противостояния боярства и черни; историки Новгорода рассмотрят в нем пресловутую

враждебность Торговой и Софийской сторон. Но для понимания вечевого нрава важнее другое — цепь реакций, исходящая от обычного человека и охватывающая, как снежный ком, весь город. На самом деле классовости в происшедшем не больше, чем в любой обыденности: не из классовых побуждений боярин Данил посягнул на жену Степанка, а она яростно била его на городской площади; из волховских вод боярина спас рыбак, который по статусу ближе Степанку, а соумышленники Степанка нашли опору в посаднике и тысяцком — боярах.

В вече по цепочке персональных мотивов и связей действует механизм родства–соседства–дружбы, реализующийся не в сумме индивидуальных интересов, а их ситуативном дизайне. Главное отличие веча от других «масс» (паствы, армии) состоит в том, что его поведение складывается из цепочки персональных импульсов и согласований, а не определяется велением свыше. Вспышки страстей открывают эмоциональную среду веча. Выражения «сотворити вече», «почаша вече деяти», «слышати вече» передают живой до непредсказуемости характер народовластия. Кроме того, вечевая практика предполагает обильную коммуникацию за пределами собрания людей, и эта информационная сеть тоже составляет ауру и жизнь веча, хотя обычно остается за рамками летописей.

Живость веча допускает изменчивость его настроения, доходящего порой до исступления, и тогда вече ведет себя как разъяренная толпа, творящая самосуд, сметающая князей, посадников, бояр. В 1316 г. при приближении к Новгороду князя Михаила тверского с низовским войском предатель Игнат Беск, «перевет державший к Михаилу», был избит на вече и сброшен с моста в Волхов. Новгородцы в 1346 г. «позвониша вече» и убили на нем бывшего посадника Остафью Дворянинца за то, что он «лаял» и называл «псом» Ольгерда литовского. Псковитяне в 1463 г. «с степени съпхнули» князя Владимира Андреевича, а в 1486 г. убили на вече посадника Гавриила. В этих случаях «вечник» звучит как «мятежник». Однако вече далеко не всегда мятежно. В диалогах с Мстиславом Удатным оно поддерживает князя — в 1215 г. Мстислав и новгородцы целуют на вече крест друг другу «и в живот и в смерть», а уходя на другое княжение (Киев, Галич), Мстислав собирает вече и извещает новгородцев: «вы вольни в князех».

Эпизоды противостояния различных концов города, их сговоры, брани, сечи, а затем скорые примирения показывают, что Новгород жил в динамике расхождения–схождения позиций, их ситуативного регулирования. В 1218 г. разыгралась показательная для веча сцена. На посадника Твердислава поднялись жители Торговой стороны и Неревского конца, а в его поддержку выступили Людин конец и Прусы, «и так были веча по всю неделю». К. Цернак видит в них переговоры (Zernack 1967:159), Ю. Гранберг — мобилизацию вооруженных группировок (Гранберг 2006:57). Князь Святослав прислал своего тысяцкого на вече с заявлением, что вины на Твердиславе нет, но все же отнял у него посадничество. В ответ Твердислав заявил вечу: «Тому есмь рад, оже вины моей нету; а вы, братье, в посадничестве и в князех». Судя по реакции веча, князь выступил невпопад, а посадник — кстати. Новгородцы разных концов собрали общее вече и, забыв распри, дали дружную отповедь Святославу: «Княже, оже нету вины его, ты к нам крест целовал без вины мужа не лишити; а тобе ся кланяем, а се наш посадник, а в то ся не вдадим» (ПСРЛ Т. 3 1950:58, 59, 259, 260).

В принятии решений вече не лишено эмоций и страстей, но иногда скрупулезно в подборе свидетельств. В 1270 г. после убийства Иванка и бегства на Городище приспешников князя Ярослава новгородцы «взяша домы их на разграбление и хоромы разнесоша», а на вече выразили претензии, изложенные в посланной князю грамоте: «Чему еси отъял Волхов гоголными ловци, а поле отъял еси заячими ловци; чему взял еси Олексин двор Морткинича; чему поимал еси серебро на Микифоре Манускиничи и на Романе Болдыжевичи и на Варфоломеи; а иное, чему выводишь от нас иноземца, которыи у нас живут». Перечислив «вины» князя, вече выносит вердикт: «ныне, княже, не можем терпети твоего насилья; поеди от нас, а мы собе князя промыслим». В ответ князь Ярослав направил на вече своих посланцев с поклоном: «Того всего лишюся, а крест целую на всеи воли вашеи» (ПСРЛ Т. 3 1950:88, 319, 320).

В иной ситуации вече ведет себя как следственный комитет, основываясь на допросе и очной ставке. В 1446 г. вече с участием посадника Сокира допрашивает литейщика Федора Жеребца о хождении в Новгороде монет с низким содержанием серебра.

«Ливца и весца серебряного Федора Жеребца на вече, напоив его, начаша сочити: “на кого еси лил рубли?” Он же оговори 18 чловек, и по его речем иных с мосту сметаша, а иных домы разграбиша, и ис церквеи вывозиша животы их; а преже того по церквам не искали» (ПСРЛ Т. 4 1848:443). Как видно, проведение и поведение веча ситуативно и всякий раз во многом спонтанно. Это отличает его от канонизированных и упорядоченных чиновничьих и церковных служб. Это же осложняет его восприятие летописцами.

Новгород никогда не был княжьим владением вплоть до его покорения Иваном III и разгрома Иваном IV. Он был образован как конфедерация различных сообществ на основе согласования их интересов и прав. Это своего рода согорожанство, или, пользуясь современным языком, гражданское общество. В документах новгородцы не уставали указывать на согласование интересов всего мира. Персональность как основа этого мира читается в нарочитом обилии личных имен в новгородских актах. Например, в грамоте середины XV в., данной князю Василию Темному новгородцами на «черный бор» в Новоторжских волостях, примечательна эта персонификация и многоликость: в ней перечислены действующие (поименно) и бывшие посадники и тысяцкие, а также все сословия (даже «черные люди»):

> От посадника Великого Новагорода степенного Офонаса Остафьевичя, и от всех старых посадников, и от тысяцкого Великого Новагорода степенного Михаила Ондреевичя, и от всех старых тысяцких, и от бояр, и от житьих людеи, и от купцов, и от черных людеи, и от всего Великого Новагорода. На вече на Ярославле дворе (Грамоты 1949:38, № 21).

Новгородская судная грамота также подчеркивает общественное согласование:

> Се покончаша посадникы Ноугородцкие, и тысятцкие ноугородцкие, и бояря, и житьи люди, и купци, и черные люди, вся пять концов, весь государь Великий Новгород на вече на Ярославле дворе» (Памятники 1953:212).

Многоликость образует органическое единство посредством «практичных символов», которые, помимо конкретных функций, играют синтезирующую роль. К их числу относятся князь, архи-

епископ, посадник, вече, а также сам господин (или государь) Великий Новгород. Бывший пригород Новгорода Псков тоже со временем стал самоопределяться «господином»: «То воля господина Великого Пскова у святой Троицы на вече» (Грамоты 1949:38). Вече в данном случае играет роль объединительного символа, наряду с «господином» и «святой Троицей».

С городской идентичностью связано внимание новгородцев и псковитян к своей «черни». В 1136 г. новгородцы, изгоняя князя Всеволода, попрекают его: «не блюдеть смерд» (НПЛ 1950:24, 209). В свою очередь северный «черный люд» истово ратует за свой город. В 1255 г. «меншии» новгородцы на вече осуждают проордынские действия Александра Невского, целуя икону Богородицы с готовностью на «смерть за правду новгородьскую, за свою отчину» (в Новгороде иначе понимали отчину, чем во Владимире и в Орде). В 1259 г. Александр привел татар на «число» (перепись) в Новгород, против чего «чернь» решительно восстает: «умрем честно за святую Софию и за домы ангельскыя» (ПСРЛ Т. 3 1950:80–83).

Как видно, чернь в Новгороде не только имеет голос, но и отдает его за правду новгородскую и за святую Софию. У черни в Новгороде есть «отчина», тогда как в Низовой земле она есть только у князя. Отличается в Новгороде и положение князя, приглашаемого и изгоняемого, лишенного права на землю. И боярин новгородский более сходен с венецианским патрицием, чем с московским боярином — княжеским слугой. А правящий боярин — посадник — обращается к согорожанам «братье».

Вечевой человек утверждает контроль над социальным пространством в привычном ему стиле персональных мотивов и проектов (в новгородском случае в основном торгово-промысловых). Он наделен бунтарством и яркой персональностью, что запечатлено в богатом именнике новгородских летописных историй и северорусских фольклорных циклах, например, о Садко и Василии Буслаеве.

С. М. Соловьев предполагает, что «первое общенародное вече» собралось в Новгороде, «когда князю Ярославу нужно было объявить гражданам о смерти Владимира и поведении Святополка» (Соловьев 1 1988:214). Однако задолго до Ярослава вечевое поведение обнаруживается, например, в эпизодах изгнания и призвания

варягов. Нет нужды и датировать рождение вечевого строя 1136 г., как это делал в духе своего времени Б. Д. Греков (1929), полагая, что с изгнанием князя Всеволода Мстиславича Новгород пережил революцию, утвердившую республику, уничтожившую княжеское землевладение, установившую выборность князя и переход верховной власти к вечу. Новгородцы и прежде строили свои стратегии на персональных мотивах и инициативах, используя призванных, поставленных или избранных князей и архиереев в интересах своего сообщества (города, народа).[5]

Можно предположить, что Новгород родился из веча или сложился из разных веч, включая норманнский тинг и финский кэрая. И новгородская колонизация была вечевой колонизацией: Новгород создавал колонии по своему подобию, и новгородская колониальная сеть вырастала из персональных и корпоративных интересов и проектов.

Новгородское пространство

Наследием «от рода варяжьска» была и Новгородская земля, простиравшаяся от Балтики до Урала, с ее многочисленными городами и народами, погостами и данниками. Г. В. Вернадский представлял Новгород «не просто городом-государством, а огромной империей, над которой владычествовал город» (Вернадский 2001:14). Однако с имперским центром Новгород имел мало общего, поскольку выстраивал не властную вертикаль, а сетевую коммуникацию. Если южная часть пути из варяг в греки напоминала державу, хотя и лоскутную, то северная сеть городов и путей была скорее общим рынком, чем политическим телом.

Сам по себе Новгород — кластер общин, сходных самоорганизацией, в том числе вечевым нравом. В городских спорах и конфликтах самость проявляли не только пять концов города — в XIV–XV вв. Новгород делился на Неревский, Загородский и Людин (Гончарский) концы на Софийской стороне, Славенский и

[5] В этом отношении уместны размышления И. Я. Фроянова о том, что «после 1136–1137 гг. положение княжеской власти в Новгороде упрочилось, а роль князя возросла»; князь перестал быть наместником Киева, но стал «олицетворением республиканского органа власти, что и вызвало его известное возвышение, засвидетельствованное данными сфрагистики» – распространением печатей княжеской принадлежности (Фроянов 1992:206).

Плотницкий — на Торговой стороне, но и отдельные улицы (например, Прусская), сотни и ряды.[6] Проекцией этой «многоконечности» была вся Новгородская земля, сложившаяся как конфедерация вечевых городов и волостей. Г. М. Лебедеву Новгородская земля XI–XIII вв. представлялась «федерацией» трех славяно-русских городов (Новгорода, Пскова, Ладоги с принадлежащими им волостями, погостами, «пригородами») и трех «финских племен-конфедератов» (карел, ижор, води с их Карельской, Ижорской и Водской землями) (Лебедев 2005:445).

В. Л. Янин полагает, что в основании Новгорода лежат три разноэтничных конца: Славенский «Холм-город» был городком словен, Неревский — финнов (чудских племен), Людин — кривичей (Янин 2004:22–24). Если к этому добавить соседний княжеско-варяжский городок (Городище) на Ильмене, то сложится картина разноэтничной колонии, превратившейся со временем в метрополию Северной (Верхней) Руси. В коммуникации Новгорода и Новгородской земли не всегда видны «центр и периферия»: первоначально город был сборной колонией окрестных земель и народов, а затем сам стал ядром огромной страны. Связь Новгорода со своими пятинами и волостями всегда была двусторонней и по-своему этнизированной; в нем гнездились этносообщества вроде Готского двора и корпорации Югорщина, а концы и улицы поддерживали отношения со своими партнерами за пределами Новгорода. Тем самым Новгородская земля напоминала огромную паутину связей, сходящихся в Новгороде и выстроенных в балансе интересов города и его отдельных общин. Северорусскому стилю управления и колонизации свойственно сетевое пространство, а не иерархическая вертикаль или пирамида.

Помимо сетевой самоорганизации Новгорода, значимую роль в формировании конфедеративного народовластия на севере Руси сыграла Ладога, изначально бывшая центром Гардарики, а затем ставшая самоуправляющимся ярлством.[7] Запутанная, на

[6] По Новгородской судной грамоте (ст. 36, 42) правовая структура города включала концы, улицы, сотни и ряды (Памятники 1953:227).

[7] Ладога – «крепость посадника Павла» – долгое время состояла в особых отношениях со Швецией, пока в 1164 г. не отразила «Первый Крестовый поход шведов в Финляндию, Ингрию и Карелию»; выдержав осаду, ладожане подвели черту под владельческими притязаниями пресекшейся династии Стейнкиля (Лебедев 2005:487).

первый взгляд, схема соподчинения, когда бывшая столица (Ладога) уступает первенство новой столице (Новгороду), но при этом сохраняет связь со старой метрополией (Швецией) и собственную автономию внутри Новгородской земли, была не чем иным как основой конфедеративного устройства всего северорусского сообщества. Полицентризм Новгородской земли сложился не в последнюю очередь благодаря противовесу Ладоги, долгое время сохранявшей статус самостоятельного ярлства.

Отношения со старыми городами — Ладогой и Псковом — основывались на общности интересов, друзей и врагов, но предусматривали согласование позиций. Псковитяне и ладожане могли участвовать в новгородском вече, но иметь особое мнение. На вече 1136 г., когда новгородцы изгнали князя Всеволода Мстиславича, были и псковитяне. Однако вскоре они приютили у себя Всеволода и наотрез отказались выгнать его по требованию новгородцев, подступивших ко Пскову с князем Святославом Ольговичем. Всеволод и умер во Пскове, и город продолжал упорствовать, передав княжение его брату Святополку (Фроянов 1992:205).

Многосложность интересов и действующих лиц видна в конфликте 1384 г. между князем Патрикием Наримантовичем и данными ему в кормление городками Корела и Орехов. Люди городков пожаловались в Новгород на князя, и часть новгородцев их поддержала. На сторону князя Патрикия, выехавшего для разрешения конфликта с Городища в Новгород, встал Славенский конец с вечем на Ярославом дворе, а на сторону городков — Людин, Неревский и Загородский концы с вечем у Софии (их поддержал и Плотницкий конец во главе с тысяцким Есифом). Вооруженное противостояние со стычками продолжалось две недели.

> Бысть жалование на Патракия князя к Новугороду от городчан, и выеха князь в город, и подня почулом Славеньскии конец, и смути Новгород. И стояху славляне по князи, и съзвониша вече на Ярославли дворе по 2 недели, а здесе и на сеи стороне три конци другое вече ставиша, по две же недели, у святеи Софеи, и тысячки Есиф ходи на сию сторону на вече, плотничани и добрыи люди. И бысть на Черьтисове недели, в четверг, удариша Славеньскии конець на тысячкого на Есифовъ двор с веча, с Ярославля двора, и плотничани тысячкого Есифа не выдаша, и биша грабежников и полупиша.

> А тогда быша у князя Патракиа два чловека в дому, Курилка Олисеикове да Мишка Щекоткове, попович с Подола. И бысть на мясопустнои недели, вторник, февраля 9, доспеша 3 конци, Неревскии, Загородскии, Людин, на Славеньскии конец, и стояше у святеи Софьи на вечи, всякии в оружии, аки на рать, от обеда и до вечерни; и Плотоньскои конец съслався послы с треми конци, на славлян хотеша ити. А заутра в среду не потягнуша плотничани на славлян с треми конци, и списаше три грамоты в одина слова обетныи, и славляне, собе доспев, стояше с князем на вечи на Ярославли дворе; в вторник на мясопустнои недели, в четверток славляне от своеи стороне мост великои переметаша промежи двемя городнями. И по усобнои тои рати поидоша вся 5 конецев во одиначество: отняша тыи городи у князя, а даша ему Русу да Ладогу, а Наровьскии берег, и грамоту списаша с князем и запечаташа на вечи на Ярославли дворе (ПСРЛ Т. 4 1848:340, 341).

Можно только догадываться, сколько мнений и обстоятельств было учтено в течение двухнедельных дебатов. Примечательно многоголосие Новгорода, от лица которого выступали князь Патрикий, тысяцкий Есиф и все пять концов новгородских, причем в разных сочетаниях (Плотницкий занимал особую позицию). Лишение князя прежних областей кормления (Корелы и Орехова) и наделение новыми (Русой, Ладогой и берегом Нарвы) показывает не только главенство города над князем, но и значимость волостей в партитуре согласований между главным городом и огромной землей.

Столь же многообразны и многослойны позиции частных лиц и корпораций, образующие сеть новгородских коммуникаций. В их числе — интересы торговли, промыслов, сбора дани, войны, безопасности, христианского миссионерства и религиозного доминирования, а также, что особенно выразительно у новгородцев, освоения нового пространства для свободной жизни. Последнее подразумевало не занятие пустошей, а колонизацию дальних стран в стиле мягкого подчинения туземцев с элементами данничества и партнерства. Эта смесь интересов иногда оказывалась гремучей, как в случае с князем Патрикием. Князья, призывавшиеся для обеспечения безопасности Новгорода и владений, нередко сами становились главной угрозой этой безопасности, как было с Александром Невским, Иваном Калитой, а особенно Иваном III.

Столь же важной и двойственной фигурой в Новгороде был архиепископ с его миссией мира и справедливости в раздорах новгородцев между собой и с князьями. Зависимость пастырей от киевской (владимирской, московской) митрополии создавала шаткость их позиции в вечевом городе. С первых дней христианизации Новгород не только следовал Киеву, но и противостоял ему, возведя «альтернативную» Софию. Вскоре после учреждения русской митрополии Новгород добился автономии в церковных делах и права избрания епископа по жребию в присутствии веча у Софии. Первым епископом Новгорода в 1156 г. был избран Аркадий из бояр Михалковичей — человек «от рода варяжьска». Впоследствии новгородцы поддерживали зависимость владыки от веча: в 1228 г. они сместили архиепископа Арсения, в 1337 г. — архимандрита Есифа. Отказ в 1385 г. от апелляционного суда митрополита означал дальнейшее ослабление зависимости архиепископа Новгородского от митрополита всея Руси. Новгородское православие отличалось насыщенным фоном язычества, а впоследствии — обилием ересей, самобытными церквами[8]. Огромная и многоликая Новгородская земля символически объединялась Святой Софией и архиепископом, чья миссия в колонизации (благословение) напоминает оракул Дельф в Элладе.

Бояре, мужи новгородские, составляли круг северной аристократии, создавшей и поддерживавшей сеть партнерства, в том числе торгового и даннического. В какой-то мере характер новгородского боярства передается археологическими и историческими данными. В. Л. Янин представляет боярскую усадьбу площадью 1200–2000 м² с большим господским домом (каменным теремом, как в усадьбе Мишиничей) в центре, домами челяди и ремесленными мастерскими вокруг. Кроме того, эти огромные боярские усадьбы образовывали кластеры, например гнездо из 10–15 усадеб бояр Мишиничей-Онцифоровичей в Неревском конце, окруженное скоплением церквей. Такое боярское гнездо обладало влиянием и физической силой в новгородской политике, в

[8] Расцвет новгородского церковного зодчества рубежа XII–XIII вв. выразился в строительстве малых храмов частными заказчиками – боярами, купцами, уличанскими старостами. Такова, например, церковь Параскевы Пятницы на Торгу, построенная в 1207 г. купцами, которые вели заморскую торговлю, а также церковь Бориса и Глеба, поставленная гостем Садко Сытиничем (Рыбаков 1986:301).

частности через своих ставленников — посадников и тысяцких. Владения отдельных бояр в Новгородской земле были «размером в иное европейское государство» (Янин 2004:26–28, 44).

Новгород, хотя и небесконфликтно, делился властью со своими колониями. Псков, некогда «пригород» и «младший брат» Новгорода, с 1348 г. стал зваться государем великим Псковом. Псковская земля делилась на Псков и 12 пригородов с примыкавшеми к ним волостями. До XV в. псковские князья имели право посылать своих наместников лишь в псковские пригороды Изборск и Остров, позднее (в 1414–1428 гг.) — в семь пригородов, и только в 1467 г. они получили право посылать наместников во все 12 пригородов.

Город-метрополия воспроизводил в колониях дух и порядок самоуправления, тиражировал свободу вопреки собственной выгоде. Как отмечал В. О. Ключевский, новгородские пригороды «иногда отказывались принимать посадников, которых посылал главный город; Торжок не раз ссорился с Новгородом и принимал к себе князей против его воли; в 1397 г. вся Двинская земля “задалась” за великого князя московского Василия по первому его зову и целовала ему крест, отпав от Новгорода. Вообще в устройстве областного управления Новгородской земли заметен решительный перевес центробежных сил, парализовавших действие политического центра» (Ключевский 2 1988:71).

Новгородцы унаследовали от норманнов не только пути, но и стиль движения. С переходом от варягов к новгородцам пути в арабы, бьярмы и греки не замерли, а обрели новое дыхание. Больше других преобразился южный (днепровский) путь, попавший под контроль Киева и ставший княжеско-церковной магистралью. Северный и восточный пути, благодаря окраинности, во многом сохранили традиционный облик.

«Полунощные» страны

История Севера, написанная в южных столицах, вместо картины самобытного и устойчивого мира рисует образ вечно недоосвоенной и недопонятой ресурсной окраины. Письменная история Севера начинается с неопределенности, вернее с загадочной данности — летописного перечня варяжских данников. Затем примерно те же племена обнаруживаются в составе Новгородской

земли. Позднее русские поморы в своих странствиях и промыслах осваивают те же северные земли. И всякий раз один и тот же Север будто заново открывается очередными «первопроходцами». Для южных летописцев и историков северная история имеет смысл лишь в проекции на южные события.

Примером стороннего взгляда на северную историю служит переданный киевским летописцем под 1096 г. рассказ новгородца Гюряты Роговича о походе в Югру.

> Се же хощю сказати яже слышах преже сих 4 лет, яже сказа ми Гюрятя Роговичь Новгородец, глаголя сице яко послах отрок свои в Печеру люди иже суть дань дающее Новугороду; и пришедшю отроку моему к ним и оттуду иде в Югру. Югра же людье есть язык нем и седят с Самоядью на полунощных странах. Югра же рекоша отроку моему: «Дивьно мы находихом чюдо, егоже несмы слышали преже сих лет, се же третье лето поча бытии; суть горы заидуче [в] луку моря, имже высота ако до небесе; и в горах тех клич велик и говор, и секут гору хотяще высечися; и в горе тои просечено оконце мало, и туде молвят, и есть не разумети языку их, но кажють на железо и помавають рукою просяще железа; и аще кто дасть им нож ли, ли секиру [и они] дають скорою противу. Есть же путь до гор тех непроходим пропастьми, снегом и лесом, темже не доходим их всегда; есть же и подаль на полунощии» (ПСРЛ Т. 1 1926:235, 236).

Обычно эта история преподносится как географическое открытие или первое упоминание северных народов югры и самояди. В Повести временных лет (по версии Д. С. Лихачева) этот рассказ, помещенный вслед за Поучением Владимира Мономаха, выглядит самостоятельным повествованием (ПВЛ 1950:167; 2003:77). Однако реальный его контекст, как следует из Лаврентьевской и Ипатьевской летописей, иной, что объясняет и его отсутствие в новгородских летописях, и его изложение под 1096 г., хотя Гюрята поведал эту историю четырьмя годами раньше, в 1092 г.

В 1096 г. в Киеве случилось событие, из-за которого печерский монах-летописец вспомнил рассказ Гюряты четырехлетней давности и внес его в летопись. В полдень 20 июля, когда монахи Киево-Печерского монастыря (включая летописца) почивали по кельям после заутрени, в обитель ворвалось воинство «безбожного и шелудивого» половецкого хана Боняка. С боевым кличем,

высекая двери, «сыны Измаиловы» грабили кельи разбежавшихся по хорам и задам монастыря послушников. Несколько человек из братии были убиты, строения пожжены, «святой дом» осквернен. Не остановились половцы даже перед гробом игумена Феодосия, хватая иконы и глумясь над святынями со словами: «Где есть Бог их? Пусть поможет им и спасет их!»

Остается только гадать, как пережил погром сам летописец, но на половцев он излил праведный религиозный гнев, вложив в свои проклятия доступные монаху познания об изгнанных в пустыню Етривскую четырех коленах Измаиловых, к которым он причислил половцев, и о «заклепанных» Александром Македонским в горах нечестивых коленах, которые вырвутся из заточения «при конце мира». Картину нависшей над христианами демонической угрозы он и дополнил известием от Гюряты о заклепанных в непроходимых полунощных горах людях.

> Мне же рекшю к Гюряте: «Си суть людье заклепении Александром Македоньскым царем», якоже сказаеть о них Мефодий Патарийскый, [глаголя: Александр, царь Макидоньский], взиде на восточные страны до моря наричемое Солнче место, и виде ту человекы нечистыя от племене Афетова, их же нечистоту видев: ядаху скверну всяку, комары и мухы, коткы, змие и мертвець не погребаху, но ядяху, и женьскыя изворогы и скоты вся нечистыя; то видев Александр убояся, еда како [умножаться и] осквернять землю, и [загна их на] полунощныя страны и горы высокия; [и] Богу повелевшю, сступишася о них [горы великия], токмо не ступишася о них горы на 12 локоть, и ту створишася врата медяна и помазашася сунклитом; и аще хотять взятии, не възмогуть, [ни огнем могуть] ижещи; вещь бо сунклитова сица есть: ни огнь можеть вжещи его, ни железо его приметь. В последняя же дни по сих изидуть 8 колен от пустъыня Етривьскыя, изидуть и си скверни языци, иже суть в горах полунощных по повеленью Божию (ПСРЛ Т. 1 1926:236).

Летописный сюжет о печере, югре, самояди и замурованных в горах людях лишь внешне напоминает этнографический рассказ о северных землях и народах. На самом деле монах-летописец истолковал сообщение Гюряты в стиле апокрифического «Откровения» Мефодия Патарского (предположительно VII в.) с его изгнаниями и возвращениями измаильтян, грядущим восстанием нечистых

народов Гог и Магог.[9] Популярные в христианском мире пророчества Мефодия, на которые ссылается летописец, содержат те же сюжеты о бегстве сыновей Измаила в пустыню Етрив и о днях, когда отворятся медные (или железные) врата северных гор и оттуда изыдут нечистые народы, запертые Александром (Истрин 1897:20, 22, 142–144). Вероятно, летописца уже в 1092 г. поразила перекличка пророчества Мефодия и рассказа Гюряты о северных горах и их обитателях, когда он ответил новгородцу: «Это люди, заклепанные Александром, царем Македонским». Четыре года спустя благодаря набегу хана Боняка актуализировался другой сюжет из «Откровения» Мефодия — о зловредных измаильтянах. Тем самым реальность «совпала» с пророчеством, чего и жаждет религиозное сознание.

Северные этнографические детали из сообщения Гюряты приведены в летописи для подтверждения того, как сбывается южное пророчество; при этом летописец поместил аравийскую пустыню Етрив «между севером и югом», в число колен Измаила

[9] Предание о «запертых» Александром Македонским народах встречается у Иосифа Флавия, позднее в сочинениях св. отцов, затем в сирийских источниках 628–636 гг. и широко распространяется в версии легенды об «опасных народах» Гог и Магог (Anderson 1932). Коран повествует о строительстве Александром Македонским (Зу-л-карнайном) залитой расплавленной медью железной стены, преграждавшей Гогу и Магогу путь к людям (Коран 18. 92–98). Оживление и развитие легендарного сюжета связано с монгольским нашествием, воспринятым современниками как прорыв демонических сил из заточения. Матфей Парижский вписывает в «Великую Хронику» под 1240 г. тираду: «Дабы не была вечной радость смертных, дабы не пребывали долго в мирском веселии без стенаний, в тот год люд сатанинский проклятый, а именно бесчисленные полчища тартар, внезапно появился из местности своей, окруженной горами; и пробившись сквозь монолитность недвижных камней, выйдя наподобие демонов, освобожденных из Тартара (почему и названы тартарами, будто «Из Тартара»), словно саранча, кишели они, покрывая поверхность земли»; «Полагают, что эти тартары, одно упоминание которых омерзительно, происходят от десяти племен, которые последовали, отвергнув закон Моисеев, за золотыми тельцами [и] которых сначала Александр Македонский пытался заточить среди крутых Каспийских гор смоляными камнями. Когда же он увидел, что это дело свыше человеческих сил, то призвал на помощь бога Израиля, и сошлись вершины гор друг с другом и образовалось место, неприступное и непроходимое»; «Однако, как написано в “Ученой истории”, они выйдут на краю мира, чтобы принести людям великие бедствия» (см.: Матузова 1979:137, 138).

вписал половцев, обитателей северных (Уральских) гор причислил к нечистым замурованным народам. Впрочем, несмотря на «южную аранжировку», фрагмент северного повествования все же уцелел: выдержка из рассказа Гюряты содержит собственно новгородские географические и этнографические детали, включая посещение отроком платящей дань Новгороду печеры[10] и соседствующей с самоядью югры. Новгородский стиль читается здесь и в доверительном диалоге отрока с югрой.

Скорее всего, отрок боярина Гюряты Роговича не был первопроходцем Севера. Норманны освоили бьярмийские пути, по меньшей мере, с IX в., и их ладожские и новгородские потомки унаследовали их как традицию. Именно этот контекст позволяет видеть в сообщении новгородских летописей под 1032 г. северный поход: «Улеб иде из Новаграда на Железные врата, и опять [вспять] мало их приде» (ПСРЛ Т. 5 1851:136; Т. 42 2002:63). В стиле только что упомянутой «модной» мифологии Железными вратами могли быть названы те самые горы высокие в полунощных странах, о которых полвека спустя говорил Гюрята (хотя для варягов были досягаемы и дербентские «Железные врата»). Вероятно, не только интуиция, но и доступные письменные известия позволили В. Н. Татищеву выделить среди событий 1032 г. «войну на югров» с сопроводительной выдержкой из летописей: «Новгородцы с Улебом ходили на Железные врата, но было несчастие, побеждены были новгородцы от югдор» (Татищев 2 2003:75). В северном контексте рассмотрел этот поход и С. М. Соловьев, связав его с рейдами князя Ярослава на чудь в 1030 г. и его сына Владимира на ямь в 1042 г.; при этом в Улебе он распознал Ульфа, сына ладожского ярла Рагнвальда, а в серии новгородских походов по Северу — «верное известие о начале утверждения русских владений в этих странах» (Соловьев 1 1988:206). К этому можно добавить лишь один комментарий: новгородцы не заново открывали Север, а осваивали его как наследие «от рода варяжьска».

Своего рода репризой неудачи Улеба был поход новгородцев в Югру 1193 г. На этот раз летописец щедрее на слова, но итог рейда столь же удручающий.

---

[10] В переложении В. Н. Татищева летопись сообщает, что Гюрята Рогович посылал своего отрока (служителя) «с торгом в Печору» (Татищев 2 2003:113).

В то же лето идоша из Новагорода в Югру ратью с воеводою Ядреиком; и приидоша в Югру и взяша город, и приидоша к другому городу, и затворишася в граде, и стояша под городом 5 недель; и посылаху из города к ним с льстивою речью, ркуще тако: яко «сбираем сребро, и соболе, и иная узорочиа, а вы не губите нас, своих смердов и своеи дани», а в то время копяще воиско. И яко уже скопишася вои и выслашася из города к воеводе, рекши тако: «поиди в город, поемши со собою 12 мужа»; и иде в город, понявши с собою попа и Иванка Легена и иных вячьших; и иссекоша я на канун святыя Варваре; и выслаша пакы, и пояша 30 муж вятьших, и тех иссекоша; и потом 50. Потом рече Савка князю югорьскому: «аще, княже, не убиешь еще Яковца Прокшиница, а живого пустиши в Новъгород, то тому ти, княже, опять привести вои семо, и землю твою пусту сътворит». И призвавши князь Яковца Прокшиница, и повеле его убити. И рече Яковець Савици: «брате, судит ти бог и святая Софея, аще еси подумал на кровь братьи своеи; и станеши с нами пред богом и отвещаеши за кровь нашю». И то ему рекъшю, убиен бысть. Тъ бо Савица перевет держаше отаи с князем югорьскым. И потом, яко изнемогоша людие гладом, стояле бо бяху 6 недель, слушающе лестьбе их, и на праздник святого Николы вылезъше из града, исъсекоша вся; и бе туга и беда останку живых, бе бо осталося их 80 муж. И не бяше вести чрес всю зиму в Новъгород на них, ни на живых, ни на мертвых; и печаловахутся в Новегороде князь и владыка и всь Новъгород... и тогда приидоша из Югре избыток живых. И убиша Събышку Волосовица и Негочевица Завиду и Моислава Поповица саме путникы, а друзии кунами ся окупиша; творяхутъ бо съвет державъше съ Югрою на свою братью, а то богови судити (НПЛ 1950:232–234; ПСРЛ Т. 42 2002:79).

История эта полна загадок — недаром летописец завершает рассказ словами «бог рассудит». Неясно, например, почему новгородские воины, партия за партией (12, 30 и 50 человек), покорно, аки овцы на заклание, шли в югорский городок. При этом первым поддался соблазну сам воевода Ядрей, да еще с благословения и с участием войскового попа; а четвертым на очереди оказался Яков Прокшинич, помянувший перед смертью святую Софию, однако столь же доверчиво отдавшийся в руки югорского князя. Во всех случаях расправа происходила как будто не с пленниками, а с гостями. Очевидно, коварство в стиле княгини

Ольги было делом рук не югорского князя, а новгородских «переветников» — Савки и его сообщников, часть которых была убита на обратном пути, а часть откупилась «кунами». Не исключено, что еще одна часть осталась в Югре; по крайней мере, летопись молчит о судьбе Савки, которого не постигла ни месть соратников, ни божья кара. Новгородский поход провалился из-за раздора среди самих новгородцев (нечто подобное, как повествует сага об Олаве Святом, случилось с Ториром, Карли и другими викингами, участвовавшими в рейде на Бьярмию). И эта распря, вероятнее всего, была борьбой за влияние в Югре. Судя по тому, что у возвращавшихся ратников были «куны» для мзды за свой сговор с югорским князем, дань с Югры они все-таки взяли. Таким образом, югорская драма 1193 г. состояла не в расправе югричей над новгородским войском, а в склоке между самими новгородцами, суть которой — «не поделили Югру». В летописи звучит голос одной из сторон, тогда как мотивы Савки не комментируются. Можно допустить, что новгородцы их все же учли, не поднявшись в рейд-реванш на Югру, а лишь «попечалившись» и сославшись на Божий суд.

Новгородская рать 1193 г. обнаруживает риск, если не вред, в долгом северном походе большого войска, которое истощает и побеждает само себя (численность отряда Улеба в 1032 г. неизвестна, но и тогда «вспять мало их приде»). Гюрятин отрок явно успешнее общался с югрой, чем воевода Ядрей. Влияние Новгорода, точнее новгородцев, на северные территории определялось не военными экспедициями (хотя без них не обходилось), а частными предприятиями и связями. Воеводы (Улеб, Ядрей), а не князья, возглавляли северные походы не только ввиду дальности пути, но и потому, что дело было частным. Целью военных экспедиций могло быть сокрушение соперников из числа соотечественников или иноземцев (например, булгар), однако устойчивые отношения патроната и партнерства строились на персональных связях.

Стиль личного партнерства предопределил интерес новгородцев к нравам и верованиям туземцев-северян. Новгородцам приходилось бывать в северных землях в качестве гостей (в двух смыслах — купцов и посетителей) и волей-неволей познавать обычаи хозяев. Для Гюряты северные пути и туземные легенды были важны сами по себе, тогда как для киевского летописца они послужили

лишь поводом вспомнить христианское пророчество. Подтверждая силу Бога и слабость бесов, летописец под 1071 г. невольно сопоставляет действия киевского тысяцкого Яна Вышатича, собиравшего дань в Белозерье и жестоко каравшего местных волхвов, и некоего новгородца, гостившего у чудского кудесника. Новгородец сам попросил кудесника поволхвовать, а затем снял с себя крест и вынес его из дома, когда выяснилось, что крест мешает призыванию языческих духов («бесов»); в довершение между новгородским гостем и северным колдуном состоялась беседа об обличье и местообитании чудских богов (ПСРЛ Т. 1 1926:125, 126).

В той же интонации звучит летописный рассказ под 1114 г. о падении в Ладоге из туч «глазков стеклянных... проверченных». По этому случаю летописец (вполне в духе сравнительной этнографии) приводит случаи падения с небес пшеницы при Прове, серебряной крупы при Аврелиане, камней в Африке, кузнечных клещей в Египте, а также белок и оленей в странах полунощных.

> ...еще мужи старии ходили за Югру и за Самоядь, яко видивше сами на полунощных странах, спаде туча и в тои тучи спаде веверица млада акы топерво рожена и възрастьши и расходится по земли и пакы бывает другая туча и спадают оленци мали в неи и възрастают и расходятся по земли. Сему же ми есть послух посадник Павел Ладожкый и вси Ладожане (ПСРЛ Т. 2 1843:4, 5).

Интерес ладожан и новгородцев к северным мифам таков, что находки стеклянных бус в Волхове детьми и летописцем (это уже из области археологии) вызвали мифологический экскурс, да еще и засвидетельствованный посадником Павлом и «всеми ладожанами». Северянам вообще свойственно «живое народоведение», исходящее из непосредственного персонального общения с разными племенами. Эта народная этнография отражена и в знаменитом новгородском сказании «О человецех незнаемых на восточной стране и о языцех розных» XV в.[11]

Сказание повествует о девяти племенах самоеди. Каменные самоеды, живущие у Югорской земли «по горам по высоким», ез-

[11] Сказание было распространено в рукописных сборниках XV–XVI вв. (древнейший датируется серединой 1490-х гг.). Версия о его записи в Перми со слов пленных вогулов в 1483 г. (Плигузов 1993) не лишена была бы оснований, если бы сказание звучало хоть сколько-то в угорском стиле.

дят на оленях и на собаках, платье носят соболье и оленье, едят оленину, собачину и бобровину, да еще «кровь пьют человечью»; есть у них люди-лекари, которые больному брюхо режут и нутро вынимают; есть там море мертвых, к которому плачущих старых людей гонит железной палицей «велик человек». Самоеды-Малгонзеи «ездят на оленях и на собаках; а платье носят соболие и оление, а товар их соболи»; сии люди невелики ростом, но «резвы велми и стрельцы скоры и горазды»; едят мясо оленье и рыбу, «да меж собою друг друга едят». «Линные» самоеды проводят месяц лета в море — тело у них трескается, и оттого они лежат в воде, не выходя на берег. Самоеды, что «по пуп мохнаты до долу», торгуют соболями, песцами и оленьими шкурами. Самоеды, у которых «рот на темени», кладут еду себе под шапки и жуют, двигая вверх и вниз плечами. Самоеды, которые «по зиме умирают на два месяца», примерзают изошедшей из носа водой к земле, а «как солнце на лето поворотится», снова оживают. Люди безлесной страны Баид живут в земле, носят платье, рукавицы и обувь из соболей, а еды и товара у них иного нет, кроме больших черных соболей. Самоеды, у которых нет голов, а «рты меж плеч» и «очи в грудях», едят сырые оленьи головы; они немы и товаров у них нет, а стреляют железными стрелами из железных трубок, ударяя по ним молотками. Самоеды, живущие вверх по Оби, «ходят по подземелью» с огнями; там над озером «свет причуден» и стоит «град велик»; людей не видно, а во дворах еды и товаров множество; но стоит взять их без оплаты, как они исчезнут и окажутся на прежнем месте (Титов 1890:3–6).

Девять племен самоедов — каменные, малгонзеи, линные, по пуп мохнатые, со ртами на темени, по зиме умирающие, по подземелью ходящие, безголовые, люди безлесной земли Баид — персонажи пестрой этнографической картины новгородцев, разнообразие которой сродни их собственной многоликости в распределении на концы, улицы, сотни, ряды, пятины, волости. Северорусские (новгородско-поморские) купцы-путешественники XV в., в среде которых сложилось сказание, явно превосходили в этнографической тщательности позднейших московских чиновников. При всей экзотичности восточная страна с ее «незнаемыми человецами» предстает вполне «знаемым» пространством торговли. Этот своеобразный путеводитель для купцов демонстрирует

осведомленность и заинтересованность (судя по тиражу списков сказания) жителей Русского Севера в состоянии дел «на восточной стране»; сказание дает точные и полезные для торговцев сведения: «а соболи ж у них черны велми и великы»; «а торг их соболи, да песцы, да пыжы, да оленьи кожы».

Итак, варяжский путь «в бьярмы» ладожане и новгородцы продолжили до «полунощных стран». Их походы к печере, югре и самояди не лишены экзотики, что подогревало популярность «полунощной мифологии». Однако эти походы, начатые норманнами, стали для новгородцев регулярной практикой, сопровождавшейся часто постановкой погостов и торговых факторий. Первые походы по северным землям новгородцы совершили вместе с норманнами еще в X в.; позднее, в XI в., продолжили освоение этих пространств с ладожанами, а затем установили свой контроль над этими бьярмийскими путями и проложили их дальше за Камень. Новгородцы в полунощных странах были не случайными гостями, а регулярными посетителями; можно думать, что эти новгородцы, осваивавшие дальние края были не только из самого Новгорода, но и из погостов и городцов — новгородских колоний, которые сложились как сеть на восточном (Волжском) и северном (Двинском) путях. Новгородская колонизация напоминала плетение тонкой паутины, которая легко разрывалась и так же легко восстанавливалась; поэтому, несмотря на случавшиеся неудачи и поражения, новгородские походы в полунощные страны продолжались. Это было не административное подчинение, а сплетение охваченных земель нитями торговли и личных контактов.

Северные колонисты

Сеть северной колонизации строилась на цикличном движении: новгородцы создавали свои погосты в дальних землях, а переселенцы из отдаленных земель прибывали в Новгород. В этом колониальном круговороте Новгород был сборной колонией Новгородской земли, а Новгородская земля — сетью колоний Новгорода. Метрополия создавала на окраинах «новгородской ойкумены» свои копии, которые в свою очередь генерировали свои сети коммуникации. Таким образом, сеть порождала сеть, причем в разных, в том числе встречных, направлениях, и становилась многослойной.

Как отметил И. П. Шаскольский, «новгородцы сохраняли на подчиненной территории весь местный уклад жизни», включая языческую религию, местную племенную администрацию; на землях покоренных Новгородом племен в XI–XIII вв. не было (или почти не было) русской администрации, русских войск и крепостей, русских поселков (в Финляндии, землях води, ижоры, саамов и большей части Карелии и Эстонии)». Благодаря диалоговой манере взаимодействия местная племенная знать эстов, ижоры, карел, еми и других племен обычно поддерживала новгородскую власть (эст Лембиту, лив Ако, ижорянин Пелгусий, карел Валит и др.); кроме того, туземная элита входила в состав новгородской аристократии (выходец из еми тысяцкий Семен Емин, боярин карел Иван Федорович Валит и др.). «Благодаря тому что новгородцы ограничивались (во всяком случае в первое время, в XI–XIII вв.) лишь данью с подвластных племен, они могли подчинить при весьма ограниченных людских ресурсах… колоссальную территорию от Волги до Ледовитого океана и от норвежских фьордов до Оби» (Шаскольский 1978:16, 17).

Симбиотический стиль новгородской колонизации отразился в археологии; например, судя по находкам украшений, в обращенной к Водской пятине части Новгорода жило довольно много женщин финно-угорского происхождения (Рыбаков 1986:303); карельские вещи встречаются во всех трех древнейших концах города — Неревском, Славенском и Людине, а также на Рюриковом городище (Варенов 1997:102). Не случайно участие карел в новгородских ратях, например, в 1149 г. против суздальского князя Юрия Владимировича на Волге (Шаскольский 1961:127).

Город Корела (Кексгольм, Кякисалми), из-за которого в 1384 г. разгорелся конфликт новгородцев с князем Патрикием, был не заурядным селением в дельте Вуоксы, а торжищем, связывавшим балтийскую и новгородскую торговлю. Новгородская летопись под 1143 г. выделяет карел среди чудских племен. В то время они занимались дальней торговлей на путях Балтии и Беломорья, добираясь по Днепру до Византии, по Волге — до Каспия и стран Ближнего Востока. На западе присутствие карел отмечено вплоть до шведской области Вестерботтен (Киркинен и др. 1998:15–23).

Исторически и этнографически финно-угры как будто не выделяются торговыми пристрастиями. Исключение составляют

группы, расселенные на варяго-новгородских торговых путях, особенно в Бьярмии. В восточно-финских диалектах слово *permi*, связанное с названием страны Бьярмии, означало «бродячий торговец» (Vilkuna 1966:64–93). Очевидно, торговый оттенок в *бьярм-permi* появился ввиду активности жителей «Крайней земли» — предков карел и коми-зырян — в международной торговле IX–XIII вв. на путях между Скандинавией и Уралом.

Заметная роль прибалтийских финнов в освоении речных путей «Крайней земли» отмечена заимствованием новгородцами и псковитянами финского слова *ушкуй* для обозначения ладьи — главного средства северорусской колонизации. Слово *ушкуй* имеет финские корни: др.-вепс. *uškoi*, стар. фин. *wisko*, эст. *huisk* означает «лодка» (Фасмер 1987:180–181); одно из общефинских значений *uiskoi* — «большое судно»; в прибалтийско-финском *usko* (*vsko*) — «судно», «ладья»; в олонецких говорах *у́шкой* — «челн», «лодка». В озерной Финляндии (Тавастланде) каждый квартал общины имел свой *wisko*, в древнем Пскове каждый конец имел свой *ушкуй* (Богданов 1912:138, 139).

Карелы и пермяне примкнули к магистральной балто-каспийской торговле в качестве пушноторговцев и местных купцов-посредников. Дальняя торговля норманнов и новгородцев предполагала подключение попутчиков и локальных торговых узлов. Норманно-новгородское движение стимулировало финно-пермскую торговлю (позднее предприимчивость и торговая хватка коми-зырян обернулась им прозвищем «северные евреи»). А. М. Белавин обоснованно видит в «древнерусской колонизации» Севера и Урала «движение единого потока славянских, балтских, финских, скандинавских колонистов», особенно подчеркивая «совместный (единый) славяно-финский поток колонизации» в XII–XIV вв. (Белавин 2000:140, 142).

Движение новгородцев по финно-пермскому миру Восточной Европы и Урала отмечено «траекторией Перми». Первоначально Пермью (Бьярмией) называлось побережье Беломорья, позднее к Колоперми и Старой Перми добавилась Великая (дальная) Пермь в Приуралье.[12] В значении «крайняя земля» Пермь обозначала

[12] Ф. Б. Успенский полагает, что «модель с названием “великий” всегда относится к области вторичной колонизации, а не к метрополии (ср. Великобритания и Бретань, расположенная на материке, или Великая

освоенные новгородцами, вслед за норманнами и ладожанами, северные и восточные земли. Ядром Старой Перми была Двинская земля, прежде других колонизованная новгородцами. Т. А. Бернштам отметила, что «мощь этой области, ее роль в усвоении, развитии и преображении общерусских традиций, в том числе и культурных, в севернорусской зоне, до сих пор не оценена по достоинству» (Бернштам 1983:8).

На Северной Двине и ее притоке Пинеге новгородцы появились не позднее XI в.: найденная в Новгороде (слой XI в.) деревянная пломба для запечатывания северной дани с княжеским знаком двузубца и надписью «В Пинезе 3 тысяче» показывает, что новгородцы в то время собирали на Пинеге дань пушниной (Рыбина 2000:32, 33). Из Устава Святослава Ольговича 1137 г. также следует, что новгородцы владели землями на Двине и Пинеге. В договоре Новгорода с князем Ярославом Ярославичем 1264 г. среди волостей, которые держат мужи новгородские, значатся «Вологда, Заволоцье, Колоперемь, Тре, Перемь, Югра, Печера». Впрочем, с первых же лет обособлению Заволочья от Новгорода способствовали интриги соседей-суздальцев. Например, хождение князя Мстислава, сына Андрея Боголюбского, в 1166 г. «за Волок» вызвало отказ двинян платить Новгороду дань. В ответ новгородская рать Даньслава Лазутинича взяла дань в Заволочье, после чего князь Андрей послал войско на Новгород (Булатов 1997:111).

Если в контроле над Полунощными странами новгородцы и двиняне конкурировали преимущественно друг с другом, то их волжско-камские маршруты пересекались с владениями могущественных соседей — суздальцев (позднее московитов) и булгар (позднее татар). Узлы новгородской паутины появлялись на Волге, Каме и Вятке, а навстречу с юга на север тянулись щупальца централизованных держав. В XI–XIII вв. Восточный (Волжский)

Греция (Magna Grecia) в Южной Италии)» (Успенский 2002:226). Это верно, но дело не столько во вторичности, сколько в отдаленности. Размах колонизации создавал особый статус дальности независимо от первичности или вторичности метрополии и колонии (тем более что они могли меняться ролями). Великая Швеция, в отличие от скандинавской Швеции, — дальняя, но при этом исходная; Великая Венгрия — тоже исходная, но дальняя от точки отсчета, европейской Венгрии; Великая Пермь — самая дальняя Пермь (в сравнении со Старой/Двинской и Кольской) относительно метрополии — Ладоги, позднее Великого Новгорода.

путь был магистралью двустороннего булгаро-новгородского движения; между Великим Новгородом и Великим Булгаром шел оживленный и конкурентный диалог с вовлечением в него народов Поволжья и Урала. Булгары в своем движении на север достигали народов *вису* (пермь)[13] и *йура* (югра). Булгаро-новгородский «мост» прослеживается не только в распространении сходных «колониальных товаров», но и в общих знаниях и нормах. Из одного источника происходят не только булгарский и новгородский этниконы для североуральских туземцев (*югра–йура*), но и обычаи общения с ними — булгары практиковали на Севере ту же немую торговлю (Заходер 1967:63), что описана в новгородском сказании «О человецех незнаемых». В торговле Булгар и Новгород не только конкурировали, но и союзничали: летопись под 1229 г. сообщает: «В сие время глад был во всей Руси два года и множество людей помирало, а более в Новеграде и Белеозере, но болгары, учиня мир, возили жита по Волге и Оке во все грады русские и продавали и тем великую помочь сделали» (Татищев 3 1964:225).

Новгородская сеть колонизации на востоке пересекалась с булгарско-татарскими владениями и рассекалась суздальско-московскими клиньями. В треугольнике Новгород (Двина) — Булгар (Орда) — Суздаль (Владимир, Москва) разворачивалась конкуренция за Север и Урал. Булгарские селения в XI–XIII вв. на севере достигали средней Камы, а орбита булгарского влияния — Камы, Перми Вычегодской и Зауралья. В XII в. булгарские отряды доходили до Суздаля и Северной Двины, вызывая ответные походы русских войск (Кучкин 1975:32, 33; Фахрутдинов 1975:47, 67, 68; Оборин 1990:58; 129; Савельева 1991:104). Князья северо-восточной Руси заявляли претензии на Старую Пермь с 1170-х гг., когда князь Всеволод Большое Гнездо поставил в устье р. Юг городок Гляден (1173 г.), рядом с которым к 1212 г. вырос Великий Устюг, а Юрий Всеволодович, потеснив новгородцев, «пермские дани к себе взял» (ВВЛ 1989:23; Оборин 1990:63). В начале XIII в. соперничество за Вычегодскую и Камскую Пермь между булгарами и владимирцами продолжалось: в 1218–1219 гг. булгары дваж-

[13] Нередко *вису* по созвучию отождествляют с белозерской весью (Смирнов 1952:225; Голубева 1973:7–9; Фахрутдинов 1984:14), однако более убедительна локализация вису на Каме (Талицкий 1941:47–54; Леонтьев 1986:5; Макаров 1990:131; Белавин 2000:34, 35).

ды совершали набеги на Устюг, а владимирская рать в 1220 г. вышла из «Юстьюга на верх Камы», спустилась до ее устья и «взяста по ней много градков» (Оборин 1990:64).

На Волжском пути новгородцы обосновывались на Каме и Вятке. Давность новгородской колонизации Вятки, как и подлинность Вятского летописца, не раз дискутировалась и называлась «басней XVII века» (Спицын 1893:178; Луппов 1929; Эммаусский 1949:5, 9; Трефилов 1951:78), однако археология подтвердила русское присутствие на Вятке в XII в. (Седов 1982:196; Макаров 1985:12, 13; Оборин 1990:64, 65). Если викинги осваивали Волжский путь с IX в., то нет ничего «басенного» в хождении по нему новгородцев в XII в., хотя сооружаемые ими станы или городки могли быть недолговременными. Не исключено, что ушкуйники действительно совершали набеги на булгарский город Бряхимов «на реце на Каме» в 1157 г. (ПСРЛ Т. 9–10 1965:210–247). По «Повести земли Вятской», в 1174 г. или 1181 г. новгородские ушкуйники совершили набег на Вятку, взяв вотякский Никульчин и черемисский Кокшаров (Котельнич) городки. Позднее был основан Хлынов, ставший убежищем не только ушкуйников, но и беглецов от татар во второй половине XIII в.

Основанный ушкуйниками Хлынов имел немало общего с Новгородом, включая городскую планировку, бревенчатые мостовые, жилища.[14] В его политическом устройстве выразились черты новгородской боярской республики (ведущая роль боярства и купечества, отсутствие князей, заметная роль веча). Однако, по мнению В. А. Оборина, Хлынов «не стал новгородской колонией», а Новгород не использовал его как свой опорный центр, хотя ушкуйники пополняли его население в XIII–XIV вв. (Оборин 1990:65, 66).

Вятчанам, как и двинянам, действительно не была свойственна трогательная почтительность в отношении к метрополии, характерная для эллинских колоний, и именно эта «вольность в квадрате» обусловила рассеянность и турбулентность Новгородской земли. Конфликтность выразилась и в легендах о переселении новгородцев на Двину и Вятку: «Повесть» представляет двинян «отметнувшимися» от Новгорода из-за нежелания платить дань,

[14] Новгородские корни Хлынова (Вятки) не вызывали сомнения и у татар, которые называли город *Нократ* (искаженное *Новгород*).

а вятчан — «беглецами», «разбойниками» и «самоволниками»; «Сказание о вятчанех» содержит предание о переселении на Каму и Вятку новгородских жен-изменниц, согрешивших со своими холопами, пока мужья-воины в течение семи лет были в корсуньском походе.[15] Как бы то ни было, эти легенды о переселении содержат мотивы протеста и изгойства, и специфика новгородской колонизации состоит в том, что в новых землях создавались колонии не Новгорода, а новгородцев. Двина и Вятка были областями новгородской колонизации, но с первых дней занимали независимую позицию по отношению к метрополии. Они изначально больше напоминали мини-метрополии, чем колонии, привязанные к материнскому городу.

Для огромной Новгородской земли Новгород оставался связующим звеном, матрицей самоорганизации, а не центром власти. Новгородские ушкуйники и торговцы продолжали восточные рейды, попутно вовлекая в свои затеи двинян, волжан, вятчан. Новгородский стиль колонизации читается в эпизоде конфликта из-за двинских владений середины XIV в.

Героем событий 1342 г. стал боярин Лука из рода Мишиничей, сын посадника Варфоломея. Лука не только покупал двинские владения, например Тайбольскую землю (Корецкий 1969:285), но и захватывал их. По-видимому, у него возник конфликт из-за Двинских угодий, ставший достоянием новгородской общественности и архиепископа Василия Калики, друга семьи Мишиничей. Лука явно расходился во мнениях с влиятельными новгородцами и владыкой. Летопись подхватывает историю с момента, когда Лука «не послушав Новаграда, митрополица благословенна и владычня, скопив с собою холопов збоев, и поеха за Волок на Двину, и постави городок Орлиц; и скопивши Емцан, и взя землю Заволочкую по Двине, все погосты на щит. В то же время сын его Онцифор отходил на Волгу, Лука же в двусту выиха воевать, и убиша его заволочане» (НПЛ 1950:355, 356).

[15] Сюжет о согрешивших со слугами женах, известный со времен Геродота (о возвращении скифов из мидийского похода), имел широкое хождение в Европе. По мнению Д. Уо, источником вятской легенды послужил рассказ о холопьей войне из «Истории о великом княжестве Московском» шведского дипломата Петря Петрея де Ерлезунда, опубликованной в 1615 и 1620 гг. (Уо 2003).

Боярин Лука покорил Двинскую землю в варяжском стиле — по собственной прихоти, вразрез с мнением новгородской знати, силами небольшой дружины, летом на ладьях, срубив городок (оказавшийся, кстати, «твердым и толстым» — в 1398 г. новгородцы с трудом взяли его после четырехнедельной осады). Лука и погиб по-варяжски, в военном походе. Его авантюры были популярны среди новгородцев, иначе весть о его гибели не вызвала бы в Новгороде смуты и гонений на Федора и Ондрешку, заподозренных в заговоре против Луки:

> Въсташа чорныи люди на Ондрешка, на Федора на посадника Данилова, а ркуци, яко те заслаша на Луку убити; и пограбиша их домы и села. А Федор и Ондрешко побегоша в Копорью в городок и тамо седеша зиму всю и до великого говениа. И в то время прииха Онцифор, би чолом Новуграду на Федора и на Ондрешка: «те заслаша моего отца убити»; и владыка и Новгород послаша анхимандрита Есифа с бояры в Копорью по Федора и по Ондрешка, и оне приихаша и ркоша: «не думале есме на брата своего на Луку, что его убити, ни засылати на его» (НПЛ 1950:356).

Зима не охладила страстей новгородцев:

> Онцифор с Матфеем созвони веце у святей Софеи, а Федор и Ондрешко другое созвониша на Ярославли дворе. И посла Онцифор с Матфеем владыку на веце и, не дождавше владыце с того веца, и удариша на Ярославль двор, и яша ту Матфея Козку и сына его Игната, и всадиша в церковь, а Онцифор убежа с своими пособникы; то же бысть в утре, а по обеде доспеша весь город, сия страна собе, а сиа собе; и владыка Василии с наместником Борисом доконцаша мир межи ими; и възвеличан бысть крест, а диавол посрамлен бысть (НПЛ 1950:356).

Торг за владения, военный рейд, конкуренция и конфликт, вечевое противостояние, раздел заволочских владений («сия страна собе, а сиа собе»), примирение враждующих сторон с участием владыки и архимандрита, бояр и черни — ритм и драматургия новгородской колонизации. Впечатляет размах походов Луки (с захватом всех погостов Заволочья) и его сына Онцифора (по Волге), охвативших огромное пространство северных и восточных путей. Лука олицетворяет новгородский стиль колонизации: нечто подобное происходило до и после него, например

поход Ядрея полутора веками раньше и экспансия Строгановых два века спустя.

Волго-камско-вятское направление новгородской колонизации развернулось в походах ушкуйников, собиравшихся с Волхова, Двины, Вятки и совершавших набеги по Волге вплоть до Сарая (что неоднократно вызывало раздражение Орды и Москвы). Например, в 1360 г. они взяли город Жукотин, подчиненный Орде, в 1366 г. совершили очередной рейд на Волгу.

> Ездиша из Новаграда люди молодыи на Волгу без новгородьчкого слова, а воеводою Есиф Валъфромеевич, Василии Федорович, Олександр Обакунович; того же лета приихаша вси здрави в Новъгород. И за то князь великыи Дмитрии Иванович розгневася и розверже мир с новгородци, а ркя тако: «за что есте ходиле на Волгу и гости моего пограбисте много» (НПЛ 1950:369).

В начале XV в. (между 1401 и 1409 гг.) двинский боярин Анфал Никитин ушел в разбой на Волгу и Каму, основал Анфаловский городок на Каме, побывал в плену в Орде, а в 1417 г. был убит таким же вольным новгородским ушкуйником Михаилом Розсохиным. Летом 1471 г. отряд вятчан во главе с Костей Юрьевым, «шед суды Волгою на низ», захватил и разграбил Сарай (татары Большой Орды, кочевавшие в дне пути от Сарая, а затем казанцы безуспешно пытались перехватить вятчан). По мнению Ю. Г. Алексеева, «этот неслыханный по дерзости и удаче рейд должен быть по справедливости оценен как выдающееся военное предприятие. Впервые за всю историю русско-ордынских отношений нападению подвергается не Русская земля, а сама Орда: не Москва или Рязань, а надменная столица ордынских ханов взята на щит; не ордынцы, а русские “много товара взяша и плен мног поимаша”. По своей форме поход Кости Юрьева был, по-видимому, типичным набегом ушкуйников, лихих корсаров русских рек» (Алексеев 1989:67).

Новгородская колониальная сеть была благоприятной средой для ушкуйников — вольницы в квадрате (речные пираты были вольницей даже по отношению к вольному Новгороду). Ушкуйные братства (дружины, банды, флотилии, городки) обладали не только устрашающей, но и притягательной силой для ищущих славы и богатств обитателей северных и восточных пу-

тей. Альянсы в северной колонизации строились не на подчинении, а на совместных выгодах и авантюрах, впечатляющих своей географией. Вольная жизнь и власть над собственной судьбой — ценности, которые, наряду с наживой, были драйверами новгородской экспансии и которые до сих пор свойственны северянам.

Вольные колонии на Двине и Вятке были не перевалочными базами для новгородских торговцев и ушкуйников, а самостоятельными сообществами, сложившимися из новгородцев, их попутчиков и туземных промысловиков и воинов. По стилю колонизации и походов эти «ватаги» продолжали варяжские традиции, и Н. М. Карамзин не зря называл ушкуйников «русскими норманнами» (Карамзин 1 2003:735). Волжский путь в XIV в. оживился рейдами речных пиратов, добиравшихся до Сарая. При этом мотивы дальних походов ушкуйников были стары как мир — лов и продажа рабов. Например, в 1375 г. новгородцы (числом 2 тыс.) на 70 ушкуях взяли Кострому, неделю пограбили город, взяли полон и повезли в Казань на продажу, грабя по ходу волжские и камские селения. Затем пошли вниз по Волге к Сараю, грабя купцов-христиан, и в Астрахани продали полон. Здесь, правда, новгородских удальцов во главе с воеводами Прокофием и Смольянином напоили и умертвили татары (Татищев 3 2003:143, 144).

По всей восточной «украйне», от севера до юга, вновь заходили вольные русские ладьи и караваны. Вероятно, не только в ладейном, но и в разбойно-военном деле волжские казаки были наследниками новгородских речных пиратов. Во всяком случае на Вятке в XV в. сложилось самоуправление с выборными воеводами, *ватаманами* (предводителями речных флотилий-ватаг) и подвойскими (судебными). Это «казачество» восточной украйны было связующим звеном между северными «людьми веча» и южными «людьми круга». Не только сходство нравов и практик новгородцев и казаков, но и их взаимодействие на «волжской дуге» стало основой восточной окраинной вольницы.

Исследователей смущает неопределенность «суверенитета» северо-восточных колоний Новгорода — Двинской земли и Вятки. Например, Ю. С. Васильев полагает, что если формально «земли по Северной Двине и ее притокам Емце и Ваге принадлежали в конце XIV — XV веках исключительно новгородским боярам», то

в двинских боярах «следует видеть новгородских бояр, имевших вотчины на Двине» (Васильев 1976:14). Подобные умозаключения не лишены оснований: тот же Онцифор Лукинич, совершивший в 1342 г. поход с Двины на Волгу, после смерти отца вернулся в Новгород; в 1348 г. он во главе новгородской рати ходил на Ижору, где «избиша немцов 500, а иныхъ живых изимаша, а переветников казниша»; а в 1350–1354 гг. Онцифор был новгородским посадником (НПЛ 1950:360–364).

Однако тем и отличается новгородская сетевая колонизация от имперских образцов, что представляет собой не систему администрирования, а мобильный дизайн персональных, клановых и корпоративных проектов. Разбросанность владений новгородцев в обширном пространстве предполагала частые и долгие поездки, в ходе которых новгородец оказывался и обитателем волостей-колоний. В глазах горожан такой новгородец-странник нередко был одновременно двинянином или вятчанином. Баланс интересов зависел от политической и торговой конъюнктуры, в которой он мог оказаться союзником правящей в Новгороде «партии» или ее противником. Из-за этой конъюнктуры одни новгородцы в летописях могли называться поборниками святой Софии, а другие «переветниками» (например, в описании югорского похода 1193 г.). При этом новгородцы-изгои могли обосноваться в Двинской или Вятской земле, радеть за ее процветание, а при смене власти вернуться в Новгород и поменять свой статус с «переветника» на «поборника». В ритме партийных рокировок в Новгороде происходила ротация хозяев и изгоев. Аритмию вносили отдаленные узлы колониальной паутины, подверженные воздействиям соседних стран.

Новгородская вольница сполна обладала как достоинствами веча, так и его пороками. Новгородская земля, лишенная политического каркаса, время от времени превращалась в территорию смуты. Например, в 1417 г. на Севере разыгралась «война всех против всех»: заволочане восстали против Новгорода; устюжане и вятчане двинулись на заволочан и сожгли Борок, Емцу и Холмогоры; заволочане в отместку разграбили и сожгли Великий Устюг (Титов 1889:5; Оборин 1990:73). В дальнейшем эти разлады сыграли роковую роль в противоборстве Новгорода и его свободных колоний с централизованной Москвой.

Закат нордизма

Со времен Ивана Калиты обозначились, а в княжение Дмитрия Донского усилились притязания Москвы на владения Новгорода. В 1386 г. московский князь двинулся ратью к Новгороду, «держа гнев про волжанъ на Новгород» (кроме того, Дмитрий принуждал новгородцев к уплате «черного бора» ордынскому хану Тохтамышу); «за волжан взя князь великыи у Новаграда 8000 рублев» (НПЛ 1950:380, 381). Москва помогла псковитянам, двинянам и вятчанам обособиться от Новгорода. Например, в 1397 г. князь Василий Дмитриевич послал «ко всеи Двиньскои слободе» боярина Андрея Албердова с предложением «чтобы есте задалеся за князь великыи, а от Новагорода бы есте отнелеся» (НПЛ 1950:389). Москва сулила двинянам защиту, новгородские имения по Двине и Ваге, а также право беспошлинной торговли в своих владениях. Тогда в дипломатической дуэли Москвы и Новгорода впервые зазвучало обращение «двинские бояре». В Уставной двинской грамоте 1397 г. великий князь Василий Дмитриевич «пожаловал есмь бояр своих двинских»(Титов 1889:5; Данилова 1955:236–246; Булатов 1997:117, 118).[16] Решающая фаза дуэли Москвы и Новгорода пришлась на княжение Ивана III.

Все началось в 1469 г. со словопрений: в летописном эпизоде переговоров Ивана III с новгородским посадником Василием Ананьиным слово «отчина» применено московским князем к Новгороду 13 раз, будто заклинание (например, «исправитися ко мне, моя отчина») (Новгородские летописи 1879:279–281). Призывы московского князя подчиниться «по старине» подразумевали Рюриково наследие (в этом смысле риторическая атака Ивана на Новгород началась с притязаний на истоки нордизма). Ответом была антимосковская риторика Борецких, в которой Новгород назывался властелином, а не отчиной московского князя (злодея, а не государя). Полемика о власти стала реальной причиной судьбоносного похода Ивана на Новгород в 1471 г. Семь лет спустя, в 1478 г., риторическая дуэль повторилась. На этот раз Иван III осерчал на Новгород за то, что его именовали не

[16] Василий Дмитриевич установил контроль над Вологдой, и в руках Москвы оказалась вся верхняя часть Сухоно-Двинского водного пути от Вологды до Великого Устюга, что открывало дорогу в Двинскую землю (Шильниковская 1987:9).

государем, а лишь господином. Для участвовавшего в очередных переговорах посадника Василия Ананьина на сей раз дипломатия закончилась трагично — собравшиеся на вече новгородцы порубили его на части топорами (ПСРЛ Т. 5 1851).

В данном случае риторика — не словесная шелуха, а формула власти. В притязаниях Москвы на новгородские и прочие земли принято усматривать интересы к пушнине, «поткам» (охотничьим соколам и кречетам) и другим ресурсам Севера. Отчасти эта «буржуазная» трактовка интересов Москвы верна, но вуалирует более важный мотив всепоглощающей власти. Этот лейтмотив был очевиден для Орды и Москвы, но вторичным для Новгорода. Вся новгородская дипломатия, включая денежные откупы, «выгодные» военные союзы с Москвой, предложения о рациональном разделении властных полномочий, показывает, что новгородцы были не в ладу с московским менталитетом. В диалоге с Москвой они полагались на новгородский здравый смысл, пока им наконец не открылся совершенно иной, московский, здравый смысл. Миг прозрения наступил запоздало, вперемешку с отчаянием. Лишь немногие, вроде Марфы Борецкой, «кожей чувствовали» московскую угрозу, и не полагались на незыблемость новгородской вольности. Когда в Новгороде разразился «кризис отчизны» 1470–1471 гг., «литовской партии» Борецких удалось настоять на признании Новгородом патроната Казимира, короля Польши и князя Литвы (Манусаджянас 2000:222–226). Литовские князья (Патрикий Наримантович, Семен Ольгердович, Роман Федорович, Александр Чарторыйский и другие) и прежде не раз сидели в Новгороде, чередуясь с «низовскими» князьями, однако на сей раз Москва отреагировала на этот шаг как на измену.

Примечательно, что оба похода на Новгород, в 1471 и 1478 гг., Иван III предпринял неожиданно и быстро, после протяжных словопрений, в пору весенней и осенней распутицы, когда Север считался непроходимым и неприступным. Оба раза Новгород был застигнут врасплох и новгородцы запоздало убеждались, что Иван III явно превосходит их силой и маневром. Этот гений власти, подобно удаву, размеренно обвивал жертву, а последний удар наносил резко, будто превращаясь на миг в стремительного ордынского полководца. Это был великий князь, убежденный в своем праве и призвании сломить Великий Новгород.

Реальная колонизация Новгорода Москвой началась не с захвата территорий, а с рукоположения в Москве новгородского архиепископа Феофила в 1471 г., после чего святая София оказалась в прямом подчинении московской митрополии. Так, по нормам эпохи, Москва установила власть над Новгородской землей, и Новгород превратился в епархию Москвы. В январе 1480 г. обвиненный в заговоре Феофил был заточен в монастырь, а в 1482/3 гг. отрекся от кафедры. Избранный в Москве в 1483 г. на его место старец Сергий пытался одолеть дух святой Софии: у гроба почитаемого новгородцами архиепископа Моисея он «возвысився умом высоты ради сана своего и величества» и назвал святителя «смердовичем» (ПСРЛ Т. 3 1841:310). После этого Сергий тронулся умом (летописец винит в этом новгородцев: «они же ум отняша у него волшеством»), ему во сне и наяву стали являться новгородские святые. В июле 1484 г. умалишенный Сергий вернулся в Троицев монастырь, а на новгородскую кафедру заступил твердый разумом и московскими убеждениями архимандрит Чудовского монастыря Геннадий (Алексеев 1989:159–163).

Под занавес новгородской драмы архиепископ и бояре, уступая одну вольность за другой и уже расставшись с вечевым колоколом, просили Ивана III только об одном — не выводить бояр и не лишать их новгородских вотчин. Жалованной грамотой 1478 г. Иван III дал Новгороду соответствующие обязательства, но тут же их нарушил (Тихомиров 1962:279, 280). Прием зачистки захваченной и колонизуемой земли путем выселения элиты известен со времен древней Ассирии (Smith 1986:46), а на Руси его успешно применил Всеволод Большое Гнездо, когда в борьбе с Рязанью он мятежных бояр с семьями «расточил по разным городам, а город Рязань сжег» (Ключевский 1 1987:332). Этот же прием использовал при колонизации Новгорода Иван III, осуществив «вывод бояр», лишенных своих вотчин и переселенных в «низовские земли». Зимой 1487 г. было выведено 7 тыс. «житьих людей», зимой 1488 г. — еще 1 тыс. купцов и «житьих людей». На отобранных у них вотчинах были испомещены московские служилые люди, в том числе холопы (Абрамович 1975:18–20; Зимин 1982:78; Бенцианов 2000:241, 251). Зимой 1483 г., по словам московского летописца, «поймал князь великий больших бояр новгородских и боярынь и казны их и села все велел отписати на себя. А им подавал поместья

на Москве под городом. А иных бояр, которые коромолу держали на него, тех велеле заточити в тюрмы по городам» (Алексеев 1989:161). «Сим переселением был навеки усмирен Новгород. Остался труп, душа исчезла…» (Карамзин 1 2003:714).

Эффективность этого способа колонизации — пересадки элиты — подтверждена в разных странах при разных режимах. Так вели себя имперские колонизаторы с древности до современности; так, на своем уровне, до сих пор ведут себя администраторы, утверждаясь во власти путем замещения прежних специалистов, независимо от их деловых качеств, «своей командой». В новгородской драме «вывод бояр» был действием, к которому новгородцы в своей практике не прибегали. Напротив, их сетевая колонизация предусматривала, опору на местную элиту, тогда как московская властная колонизация предполагала ее удаление и замещение.

Вслед за Новгородом административная московская колонизация захватила все вольные новгородские колонии, которые в момент подавления метрополии дружно встали на сторону Москвы. В 1471 г. московский князь поднял в поход на Новгород псковитян, вологжан, вятчан. Двиняне тоже фактически сражались на стороне Москвы, разбив 12-тысячную новгородскую рать князя Василия Шуйского-Гребенки (Булатов 1997:119). После разгрома Новгорода пришла очередь новгородских автономий. В 1489 г. войском Ивана III был взят Хлынов, уничтожен Никульчин городок, приведена к присяге Вятская земля; при этои влиятельные вятчане были выведены из Вятской земли в другие уезды, «и писалися вятченя в слуги великому князю» (Гуссаковский 1962:118–121; Оборин 1990:81). В 1510 г. Василий III, воспользовавшись конфликтом между псковитянами и их князем, уничтожил остатки независимости «города святого Спаса»: по Новгородской 4-й летописи, московский князь «с Крещаниа ходил подо Пьсков да Пськов взял и вече спустил, и посадников и бояр и купцов и всех лутчих людеи вывел с собою, и колоколы вечные» (ПСРЛ Т. 4 1848:461). В отличие от новгородцев, вятчан и псковитян, двиняне не подверглись выводу, и двинские земли не пошли в раздачу московским помещикам (вероятно, ввиду отдаленности Заволочья), а перешли в разряд государственных, оброчных, после чего слились с «черносошными»; двинские своеземцы постепенно стали крестьянами (Копанев 1971:286, 287).

Москва успешно использовала распри северян, предлагая им поочередно свою поддержку, а затем поочередно подчиняя. Новгородская колониальная сеть, включая ряд автономий — Новгород (с пятью концами), Псков, Двину, Вятку, — была настолько же эффективна в партнерстве с местным населением, насколько уязвима для внешнеполитических воздействий. Вечевые автономии по своему усмотрению обращались к Москве, Твери, Литве, Швеции, Ордену или Орде для реализации собственных проектов, часто в ущерб «общеновгородской идентичности». Более того, в своих действиях северные автономии часто выражали ситуативные интересы отдельных партий или персон. Новгородское «многоголосие» исключало политическую централизацию, тем самым облегчая игру внешних сил. Если Орда не захватывала своими рейдами северных земель, то Москва в силу географического соседства и религиозно-культурной близости наступала на земли Новгорода (в XV в. единственным политическим противовесом ей выступала Литва). Со своей стороны новгородские сообщества во взаимных распрях и частных инициативах заигрывали с Москвой, заключая с ней временные союзы. Политический дар Ивана III сыграл решающую роль в разъединении новгородцев, псковитян, двинян и вятчан, которые охотно участвовали в походах друг на друга, уповая на волю бога и великого князя. Когда им поочередно становилось ясно, что союзное великое княжество и есть главная угроза их независимости, было поздно — Москва уже не просто стояла на пороге, а по-хозяйски распоряжалась их владениями и ими самими.

В. Л. Янин полагает, что «присоединение Новгорода к Москве оказывается не актом подавления демократии, а актом, в котором реализовалось социальное недовольство низов новгородского населения. Не было столкновения деспотизма и демократии. Было столкновение двух однородных сил феодализма, в котором новгородская боярская власть не получила поддержки со стороны народа... Присоединение Новгорода к Москве не было завоеванием, а стало антибоярской акцией и самих новгородцев — плотников и сапожников, кузнецов и горшечников» (Янин 2004:18, 29).

На мой взгляд, дуэль Москвы и Новгорода — столкновение различных по природе цивилизационных и ментальных традиций ордизма и нордизма. Вечевая демократия, окончательно добитая

Иваном IV, в военно-политическом отношении оказалась слабее московской автократии ввиду внутренней конкуренции новгородских фракций и северных автономий, а также самонадеянности новгородцев, полагавших, что они обладают достаточным дипломатическим и экономическим ресурсом для отладки отношений с державными соседями. Главный их просчет состоял в недооценке нарастающего потенциала Москвы и ее великого князя.

***

Норд-русская традиция не пресеклась с разгромом Новгорода. Основанная на индивидуально-корпоративной деятельностной схеме и по природе не нуждающаяся в крепкой столице, она распространилась по всему Северу Евразии, особенно ярко отразившись в культуре русских поморов и урало-сибирских «промышленных и гулящих людей». Отодвинувшись в тень других магистралей, нордизм эпизодически активировался, причем в самых критических эпизодах отечественной истории. Когда в начале XVII в. Московия погрузилась в Смуту, именно из Новгорода Великого, будто по сценарию варяжской эпохи, на помощь поверженной Москве в 1613 г. двинулась северная рать князя М. В. Скопина-Шуйского при поддержке «наемных варягов» шведского корпуса Я. Делагарди. Позднее нордизм, уже изрядно смешавшись с имперскостью, проявлялся в активации «северного измерения» российской политики: в начале XVIII в. в конкурентном диалоге со Швецией развернулась империя Петра Великого с ее северной столицей; в советское время северная геополитика, включая освоение Севморпути, стала не только новой военно-политической и ресурсной стратегией, но и героикой-модой эпохи советского могущества. Вместе с тем в России сохранились и сущностные свойства нордизма, составляющего противовес столичному административному централизму. Впрочем, и Москве от норд-традиции Рюриковичей достался полезный для последующей экспансии инструмент — городки как способ захвата и подчинения территории, с которых началась «острожная колонизация».

Глава 6. Ордизм

Истоки. Половецкая дружба. Доля «железного пса». Батыево зависание. «Честь татарская». Ордынская Русь. Князья по вызову. Драма пяти убийств. Самоуничтожение Орды. Татарские цари Московии. Пополох.

В слове *орда* (*ordou*, *horde*) различимы два одинаково важных для феномена ордизма значения: ставка хана и кочевой народ-армия. В тюрко-монгольской традиции ордой именовалось именно кочевье хана, а его владения назывались *улус* (принадлежащий хану народ) и *юрт* (подвластная хану и населенная его улусом территория). Возможно, в евразийский репертуар понятие *орда* (мобильный военный лагерь правителя) внесли кидане (Burbank, Cooper 2010:97). Хорошее определение дал Н. Витсен, составивший первый свод сведений о Тартарии: «Орда или хорда — это много людей вместе, под одним главой, живущие в степях» (Витсен 2010:984).

Истоки

Ордизм — алгоритм организации власти и социального пространства, выработанный многими поколениями кочевников. В нем устойчива не сама орда, а «механизм ордообразования». Калейдоскоп орд и ханов не меняет, а определяет суть ордизма: это механизм мобильной мобилизации кочевых сообществ (орд), который не только допускал, но и предполагал объединение различных по происхождению и языку групп под началом хана. Степная власть отличалась острой состязательностью, жесткостью и недолговечностью — очередной лидер-победитель мог по своему усмотрению смешать и переименовать прежние улусы, как это случалось в истории тюркских каганатов и империи монголов. При этом бывшие грозные орды растворялись в новых: несмотря на свирепые войны, между ними не было культурного конфликта, и прежняя орда (или уцелевшая ее часть) легко вливалась в новую орду. Чехарда кочующих, появляющихся и исчезающих ханов и их народов (улусов) не подрывала, а генерировала устойчивую картину ордизма до тех пор, пока сохранялся и действовал инстинкт кочевника.

Кроме механизма ордообразования, действует механизм ордоуничтожения. Власть обладает потенциалом разрастания, но обделена свойством самоограничения. Когда она до краев наполняет общественную жизнь и становится ее главной ценностью, рано или поздно происходит нарыв и надрыв этой властной опухоли. В успокоенных обществах, особенно у осевших кочевников, часто происходит извращение власти. В этом свою роль играет старение элиты, вследствие чего в триаде ключевых социальных инстинктов — секс, родство и власть — первый ослабевает, а последний гипертрофируется. Случается, что во внешне спокойных обществах сублимация во власти достигает критического уровня, срываясь в безудержную и, на первый взгляд, беспочвенную вражду лидеров. Пожилые самодержцы начинают истреблять своих потенциальных конкурентов, в том числе сыновей (в российской истории классические примеры — Иван IV и Петр I). Ослабление секса и родства патологически усугубляет манию власти, превращая ее в оружие самоуничтожения. Сила, некогда централизовавшая государство, ныне раздирает его на куски, государев двор переполняется заговорами и убийствами, начинается чехарда правителей, и империя разваливается так же бурно, как нарождалась.

Алгоритм ордообразования достался тюркам и монголам от кочевых предков, коренясь в стайно-стадном поведении древнейших степняков. Роль вождя велика в любом обществе, но у кочевников хан обладал тотальной властью и олицетворял собой орду. Культ вождя у кочевника инстинктивен и не поддается рациональному объяснению. В его основе — стайно-стадный инстинкт, зовущий людей к совместному движению, действию, общению и создающий соответствующие смыслы жизни, ритуалы, ценности. В этом смысле орда — не средство достижения персональных целей, а самоценность. Для кочевника личные устремления осуществимы и ценны лишь в орде. Поскольку орду олицетворяет хан, то служение ему оказывается самореализацией каждого члена орды, и в каждом воине-степняке живет пылкая и самоотверженная «идентичность в хане». Это не вынужденное рабство, а искренняя преданность, сопричастность вождю и орде. Жить — значит быть в орде. Для каждого кочевника мотив орды персонален, но возведен в степень солидарности десятков, сотен, тысяч, туменов.

Ордизм не чужд южнорусскому пространству: он здесь родился в эпоху неолита. Ростки кочевничества в евразийских (южнорусских) степях видны в коневодстве среднестоговской культуры и в курганах майкопской культуры IV тыс. до н. э. (Телегін 1973; Черных 2009:209–220). С тех пор немирная цепь конных индоевропейских орд от Европы до Китая стала магистралью кочевой культуры, генератором власти и «кузницей вождей». В бронзовом веке (II тыс. до н. э.) по Великой степи прокатились боевые колесницы, распространились обряды погребения с конем, петроглифы с изображениями запряженных лошадьми повозок. В XII в. до н. э. на смену колесницам пришло всадничество, и по его стремительному распространению в степях Евразии, в Греции, Анатолии, на Кипре, Кавказе видно, насколько евразийский мир был связан конными людьми.

В раннем железном веке евразийской степью владели индоевропейские всадники, самые восточные из которых, юэчжи-тохары, кочевали на границе с Китаем. Вероятно, у предков хунну были свои основания и традиции ордизма, но кочевую империю в Центральной Азии они создали не без влияния и участия индоевропейцев. Последовавшая хунно-гуннская экспансия на запад прошла по дорогам, проложенным древними индоевропейцами, и, таким образом, не породила ордизм, а лишь обновила его прежнюю скифо-сарматскую версию. Иначе говоря, состояние степи — всегда в той или иной мере состояние орды.

На рубеже эр «коне-люди» степей столкнулись в Причерноморье с северными «море-людьми». На долгие годы понтийский перекресток степных и морских кочевий стал узлом евразийской геополитики. Вожди Великой степи и Балто-Понтийского междуморья контролировали этот узел в ритме попеременного господства магистральных горизонталей и вертикалей: скифо-сарматскую горизонталь в III в. н. э. сменила северная вертикаль готов; в IV в. возобладала горизонталь гуннов, которую в V в. заместила вертикаль свеев; в VI–VII вв. развернулась горизонталь тюрок, рассеченная в VIII–IX вв. вертикалью викингов, которая была подавлена в XIII в. горизонталью монголов.

Северяне и степняки не только соперничали, но и поддерживали друг друга, в том числе конкуренцией, мотивировавшей борьбу за пространство и гонку вооружений. У каждой магистрали было

свое пространство контроля. Накануне образования Руси славяне Балто-Понтийского междуморья были не просто разделены на даннические области варягов и хазар, но и вписаны в социокультурные контексты Севера и Степи. Как на севере в ходе колонизации складывались скандинаво-славяно-финские альянсы, так на юге формировались союзы степняков и славян, обозначившиеся, например, в участии антов и склавинов в походах гуннов, аваров, болгар и в их расселении на Балканах в середине I тыс. н. э. Позднее дунайско-карпатские славяне оказались в орбите влияния болгар и мадьяр, а днепровские поляне — хазар. Как заметил М. К. Любавский, хазары были для славян защитой от нападения с востока; «входя в состав хазарской державы, славяне и расселились так широко по степным пространствам нашего юга» (Любавский 1996:97). Во времена господства в южнорусских степях печенегов (X–XI вв.) и кыпчаков-половцев (XI–XIII вв.) днепровские славяне были подчинены варяжским князьям и входили в государство под названием Русь.

Половецкая дружба

Конфликты между орд-людьми и норд-людьми не исключали союзов, в том числе дипломатических, брачных и религиозных. Через них степное влияние, прежде всего военно-политическое, распространялось далеко на север. Маневры князя Владимира Святославича между Севером и Югом выражались в том, что в Новгороде он звался по-скандинавски «конунгом», а в Киеве по-хазарски «каганом».[1] Титул *каган* носили правители многих соседних народов: царь аварской страны Сарир в Дагестане (*хакан ал-джибал* — «правитель гор»), правитель росов в «Бертинских анналах», киевские князья Владимир и Ярослав в «Слове о законе и благодати», князь Тмутаракани Олег в «Слове о полку Игореве». Распространенность титула *каган* свидетельствует о глубоких традициях ордизма на юге Балто-Понтийского междуморья.

Межэтническое взаимодействие всегда и везде облегчалось смешанными браками и рожденными в них полукровками.

[1] Если допустима реконструкция прото-Руси в виде «Русского каганата», как предлагает А. В. Назаренко (2012:33), то не на среднем Днепре в варианте «прото-Киева», а, с учетом мобильности *руси*, на варяжских путях Балто-Понтийского междуморья.

В связях с половцами особенно преуспел князь Олег тмутараканский, который взял в жены дочь половецкого хана Осолука, а своего сына Святослава женил на дочери хана Аепы (на другой дочери Аепы Владимир Мономах женил своего сына Юрия Долгорукого). Олег не раз пользовался половецкой силой в междоусобице на Руси (например, в 1094 г. с войском половцев он отбил Чернигов у Владимира Мономаха); Юрий Долгорукий пять раз водил половцев на Киев. Дочерей половецких ханов брали в жены киевские князья Святополк Изяславич и Рюрик Ростиславич. Русско-половецкие войны XI–XIII вв. не препятствовали брачным и политическим союзам, и половецкая кровь владимиро-суздальских князей (Андрей Боголюбский был сыном половецкой княжны, Ярослав Всеволодович был женат на половчанке, мать Александра Невского была наполовину половчанка) задолго до монгольского нашествия насытила Русь тюркским ордизмом.

Пограничье леса и степи было на самом деле трансграничьем с двусторонним движением. Сценарий оседания кочевников в южнорусских лесах повторялся из века в век. Степняки, регулярно грабившие порубежные лесные области, постепенно прирастали к ним, и чем успешнее был их военно-даннический промысел, тем прочнее они оседали под бременем трофеев и связей. Обороняя свои военно-ясачные владения от других орд, кочевники становились их стражами, заключали с местной элитой брачные и военные союзы, вживались в оседлую среду и культуру. В свою очередь лесные вожди стремились «приручить» соседей-кочевников для обороны от прочих «диких» степняков. «Приручение» вело к внешне неприметному сдвигу: кочевник-колонизатор вскоре оказывался проводником встречной оседлой колонизации.

Так происходило, вероятно, с неолита и продолжалось в эпохи скифов, гуннов, авар, хазар. На Руси печенеги, торки и половцы вели военный промысел, а затем обживались в долинах Днепра, Днестра, Дона, Дуная с удобными для кочевников ландшафтами и пастбищами. Например, в Поросье (долине р. Рось) возникла колония кочевников, пополнявшаяся новыми выходцами из степи. Под новыми именами — черные клобуки, берендеи, ковуи — кочевники выступали конфедератами русских князей и, по ситуации,

своенравной вольницей.[2] Со времен Владимира и Ярослава эта «Поросская оборонительная линия» с цепью городков Торческ (основан торками), Дверен (пожалован хану торков Кун-тугды князем Рюриком Ростиславичем) и другими была пристанищем служивших русским князьям степняков, хотя в них располагались и русско-славянские рати (подобными конфедератами половцы выступали на Кавказе, где служили грузинскому царю Давиду Строителю, а позднее в Венгрии и Египте). Многие половецкие ханы крестились: перед битвой на Калке два половецких хана (Юрий Кончакович и Данило Кобякович) носили православные имена, а третий (Бастый) крестился перед сражением ради союза с русскими против монголов. В свою очередь русские перенимали военное искусство степняков, сближались с ними и роднились. Так сложились смешанные пограничные группы воинов/разбойников — берендеев, берладников, бродников — предшественников казаков в Диком поле.

В ходе западных завоеваний начала XIII в. монголы соперничали за степную власть с кыпчаками (половцами), и южнорусская степь с прилегающими землями называлась ими «Кыпчакской степью» (Дешт-и Кыпчак; в русских летописях «Земля Половецкая»). После разгрома Субэдэем найманов и меркитов на Иртыше в 1207 г. монголы вышли в Кыпчакскую степь, продолжая теснить половцев на Дону и на Днепре. Ко времени битвы на Калке (1223 г.) монголы уже ощущали себя владыками западной степи, считая кыпчаков «холопами и конюхами». Впрочем, половецкие ханы упорствовали и, отступая на запад, мобилизовали для борьбы с монголами всех доступных союзников, включая русских князей.

---

[2] По наблюдениям М. К. Любавского, киевские князья «стали селить в Поросье печенегов и торков, попадавшихся им в плен или же добровольно поступивших к ним на службу. Тут жили берендеи, коуи, каспичи, турпеи и боуты — по-видимому, отдельные колена все тех же печенегов и торков. Все они фигурируют в летописи под именем *черных клобуков*. Черные клобуки в массе вели кочевой образ жизни и со своими стадами и вежами передвигались по тучным пастбищам Поросья. В свои городки, которые настроили для них князья (упоминается Торческ), они укрывались по зимам и во время половецких нападений... Как лихие наездники, черные клобуки были чрезвычайно полезны в борьбе со степняками, и князья киевские охотно давали им приют в жалованье» (Любавский 1996:133).

Русские князья, отважно ринувшиеся навстречу монголам по зову половецкого хана Котяна, обладали иной пространственной и информационной культурой. По словам летописцев, «татары» явились ниоткуда и канули в никуда: «Того же лета [1123] явишася языци, их же никто же добре ясно не весть, кто суть и отколе изидоша» (Лаврентьевская летопись); «Приде неслыханная рать: безбожнии моавитяне, рекомые татарове» (Ипатьевская летопись). Если монголам Русь виделась далекой лесной окраиной Кыпчакской степи, то Монголия из Руси не виделась вообще — южнорусские путешествия тех лет вряд ли выходили за пределы каспийско-понтийских степей.

Вдохновителем встречи монголов на левобережье Днепра был князь Мстислав Мстиславич Удатный, зять хана Котяна, в ту пору княживший в Галиче. К нему пожаловал тесть, прося помощи и принеся в дар «коней, верблюдов, буйволов и девок». Мстислав поднял на монголов всю Южную Русь. Прозвище Удатный он стяжал в походах с новгородцами на чудь, где благополучно «травил» села, брал дань и «множество полона». На немноголюдном севере он был «легок и храбер», преисполнен новгородского народомыслия (часто собирал вече и ладил с ним). На юге он укрепился за счет брачного союза с половцами, при этом был чужд патронажных амбиций, раздавая престижные столы своим союзникам (например, Киев — Мстиславу Старому). Прибегали к его руке и половцы, прося помощи и отдавая под его начало свое войско (на Калке половецкую конницу вел в бой Ярун, воевода Мстислава).

«Храбрые и высокоумные» русские князья — три Мстислава (галицкий, киевский и черниговский) — открыто бросили вызов монголам, убив их послов, прибывших с предложением союза против половцев. Они не могли не знать о татарском (и не только) обычае «никогда не заключать мира с теми людьми, которые убили их послов» (Плано Карпини 1993:71), как и о двухлетней давности трагедии затравленного монголами хорезмшаха Мухаммеда, ранее убившего послов Чингис-хана. Однако они шли ва-банк, представляя себе возможные последствия власти монголов, предполагавшей полное подчинение и покорное служение по ордынскому образцу (позднее с монгольскими парламентерами расправлялись киевляне, поляки, венгры и другие).

Судя по расправе над послами и масштабам сбора войск, три Мстислава вполне осознавали судьбоносность этой схватки для Руси. Киевский князь Мстислав Романович Старый заявлял: «Донеже [я] есмь на Киеве, то по Яику, и по Понтийское море, и по реку Дунай сабле [татарской] не махивати» (ПСРЛ Т. 15 1965:343).

На Калке превосходство кочевников над «высокоумными» князьями было фатальным: русские, будто завороженные, совершали один промах за другим, преуспев лишь в роли добычи. Вначале пылкие молодые князья (Даниил галицкий, Мстислав Немой, Олег курский и другие) бросились в погоню за отступавшей монгольской конницей и, как водится, угодили в западню. Затем дрогнувшее русско-половецкое войско потеряло контроль над битвой: «конюхи-половцы» ударились в бегство и смяли русские полки; Мстислав Удалой бросился к переправе через Днепр, уничтожая за собой ладьи и обрекая отставших соратников на гибель; Мстислав Старый принялся огораживаться от татарской конницы деревянным тыном, буквально сооружая себе могилу.

Разгром парой монгольских туменов многочисленной русско-половецкой армии на Калке свидетельствовал о качественной разности сил. Дело не в вооружении и отваге — князья русские, по свидетельству летописца, были храбры и доблестны. Разность состояла в обилии у одних и нехватке у других власти над пространством и стратегии завоевания. Монголы выступали в роли охотников, половцы и русские — добычи. От Калки у победителей монголов осталась определенность с опорой на свою силу, у побежденных русских — неопределенность с опорой на божью волю.

Доля «железного пса»

Тактика облав и преследования, положившая начало монгольской колонизации, олицетворена «железными псами» Чингис-хана (данное им Чжамухой прозвище вполне соответствует стилю облав). «Железные псы» ярко охарактеризованы в «Сокровенном сказании» словами Чжамухи: у них «лбы — бронзовые, морды — как долото, языки — как шила, сердца — железные, а плети — мечи»; они «питаются росою, а ездят верхом на ветрах»; «это они сорвались с цепей и ныне, ничем не сдерживаемые, ликуют и подбегают, брызжа слюной» (Сокровенное сказа-

ние, 195). Своим поразительным единством монгольская империя не в последнюю очередь обязана вездесущим и летучим «железным псам». Самый яростный из них — Субэдэй-багатур — одновременно и слепое орудие хана, и его всевидящее око; и жестокий воин, и гибкий стратег. Иногда легендарный Субэдэй напоминает всемогущего джинна, рабски преданного своему хозяину. Он непреклонен и непобедим, как сама Орда — несть числа его победам, и лишь одну битву, с волжскими булгарами в 1223 г., он проиграл, потеряв в ней собственный глаз и боевого друга Чжэбэ (13 лет спустя Субэдэй сполна отомстил булгарам, уничтожив их столицу и вырезав ее жителей). Субэдэй — олицетворение колонизации по-монгольски. Он объехал всю монгольскую ойкумену, громя татар, найманов, китайцев, меркитов, хорезмийцев, персов, грузин, алан, кыпчаков, русских, поляков, венгров, хорват.

Сила монголов состояла в изощренной пространственной стратегии. Субэдэй и другие монгольские полководцы превосходили противника не в лобовых ударах, а в облавных маневрах, включавших глубокую разведку и гибкую дипломатию. Монгольский военачальник не только видел лицо врага, но и представлял его затылок — пути отхода, тылы, позиции союзников и противников, равно как свои возможности он рассматривал в сценариях броска и выжидания, наступления и отступления. Монгольская тактика опережающего действия состояла в предварительном овладении пространством путем переговоров с союзниками и противниками, захвата пленных (в том числе «языков»), рекогносцировочных рейдов. Пристрастие монголов к пленным и заложникам часто представляется в красках наживы, эксплуатации и похоти, хотя в действительности речь может идти о многогранной «технологии плена», предусматривавшей освоение и подчинение социального пространства. Излюбленная монгольская практика использования пленных в качестве живого щита в наступлениях была не только средством сбережения собственных сил, но и способом узнавания местности (от троп и бродов до картины междоусобиц) и новой раскладки мотивов (по правилу «совместно пролитой крови» невольники наступления становились союзниками монголов и врагами оборонявшихся). В этих испытаниях битвой и расправой монголы быстро набирали из местных жителей отряды сателлитов.

Возглавляемый Субэдэем и Чжэбэ кавказо-кыпчакский поход 1222–1224 гг. был разведкой боем, хотя участие в нем двух «железных псов» показывает стратегическое значение этой разведки. Монголы не столько громили, сколько осматривали «угодья», изучая местность и подбирая союзников. К моменту битвы на Калке они уже прошлись по Ирану, Закавказью, Крыму и Северному Кавказу, умело разобрались в местных конфликтах, склонив кыпчаков к союзу против аланов этнографическим доводом: «Мы и вы — один народ и из одного племени, аланы же нам чужие; мы заключаем с вами договор, что не будем нападать друг на друга и дадим вам столько золота и платья, сколько ваша душа пожелает, [только] представьте их [аланов] нам» (Тизенгаузен 2 1941:31, 32). Разбив аланов, они взялись за кыпчаков, заручившись услугами их шатких союзников, в том числе русскоязычных бродников («казаков» XIII в.).

Впечатляет оперативность и эффективность разведки монголов и их дипломатии-на-скаку. Действия, подобные обходу Дербента по кавказским горам с ударами в разных направлениях, поочередным разгромом местных племен и попутным привлечением сателлитов, вряд ли были осуществимы по заранее продуманному плану. Стратегия охвата и подчинения пространства реализовалась в тактике стремительного маневра и импровизации, предполагавшей, помимо удали и военного искусства, мобильность и точность информации. Тот же кавказский рейд при малейшей ошибке в выборе маршрута и очередного союзника мог окончиться западней и полным крахом. За разведкой, нередко теряющейся в тени больших армий и грандиозных битв, в монгольской практике кроется ключ к успеху — стратегия информационного охвата пространства и превращения его в «охотничье угодье».

В самом общем виде роль «железных псов», без устали рыскавших в поисках добычи и угодий для орды, состояла в разведывании удобного для военного промысла пространства. Первоначальные жестокие грабежи имели целью как наживу, так и подчинение территории путем ее зачистки от мятежных вождей и наведения страха на оседлое население. Кочевники вовсе не стремились вытоптать конями покоряемую землю, они по-своему берегли ее как долговременное угодье, лишь иногда поддаваясь азарту разбоя или злобе мести. Особенно важно было распра-

виться с мобильными вождями вроде половцев, которые составляли конкуренцию новым «пастырям» в подчинении захваченного «стада». В этом отношении показательна судьба половецкого хана Котяна, в преследовании которого «железные псы» домчались до Адриатики.

> Знаменитый хан Котян, тесть Даниила Романовича Галицкого, недолго продержался в степях с прибытием татар. Он выпросился на жительство с 40 тысячами половцев у венгерского короля Белы IV под условием принятия христианства. Половцам были отведены земли между Дунаем и Тиссой, где они долгое время держались особняком от местного населения. Часть половцев попала даже в Египет [один из султанов Египта происходил из половцев] (Любавский 1996:162).

Батыево зависание

13 лет спустя Батый уже не посылал парламентеров к русским князьям, а просто брал один город за другим. Серия погромов Руси 1237–1240 гг. сопровождалась облавой на князей, разрушением городов, массовыми убийствами, насилием, грабежом и пленом. Русские летописи описывают монгольское нашествие как апокалипсис:

> Придоша безбожнии Измаилтяне, преже бившеся со князи Рускими на Калхом. Бысть первое приход их на землю Рязанскую, и взяша град Рязань копьем… убиша Юрья князя и княгиню его, и всю землю избиша, и не пощадеша отрочат до сосущих млека (ПСРЛ Т. 2 1843:175, 176).
>
> Татарове… избиша князя и княгыню, и мужи, и жены, и дети, церньца и черноризиц, иерея, овы огнем, а инех мечем (НПЛ 1950:287).
>
> Створися велико зло в Суждальской земли, якоже зло не было ни от крещенья якоже бысть ныне… взяша Суждаль, [татары] и святу Богородицю разграбиша, и двор княж огнем пожгоша, и монастырь святого Дмитрия пожгоша, и прочии разграбиша… и люди все иссекоша, а что чернец уных и черниц, и попов и попадий и дьяконы и жены их, и дчери и сыны их, то все ведоша в станы свое (ПСРЛ Т. 1 1846:197).

В отличие от первого рейда на Русь после битвы на Калке в 1223 г., когда монголы не брали городов, в ходе нашествия 1237–

1240 гг. они нацеленно громили их. Граничивший со степью Киев был превращен в лагерь рабов.

> [После побед над турками татары] пошли против Руссии и произвели великое избиение в земле Руссии, разрушили города и крепости и убили людей, осадили Киев, который был столицей Руссии, и после долгой осады они взяли его и убили жителей города; отсюда, как мы ехали через их землю, мы находили бесчисленные головы и кости мертвых людей, лежавшие на поле; ибо этот город был весьма большой и очень многолюдный, а теперь он сведен почти ни на что: едва существует там двести домов, а людей тех держат они в самом тяжелом рабстве (Плано Карпини 1993:41, 42).

Монголы покорили, но не оккупировали Русь. Всякий раз после набегов они возвращались в Кыпчакскую степь, не оставляя в захваченных городах своих гарнизонов и, очевидно, не намереваясь в них располагаться. После взятия Киева Батый повел орду «на Угры», где увлекся европейскими сражениями и грабежами. Казалось, монголы повторяют сценарий прежних кочевых завоеваний, когда степная орда (например, гунны) докатывалась до Дуная и, расположившись в Паннонии, вела грабительские войны в сопредельных землях. Насыщаясь добычей и постепенно оседая, кочевники становились конфедератами европейских правителей (например, авары), перенимая язык (например, болгары) и религию (например, венгры) оседлых европейцев. Первоначально движение Батыя идеально совпадало с классической траекторией, и не миновать бы Европе нового Аттилы, если бы не череда случайностей.

Батый прекратил европейскую кампанию сразу по получении известия о смерти в декабре 1241 г. верховного хана Угэдэя. Отчего бы ни умер Угэдэй, от пьянства или яда, его смерть резко изменила планы Батыя, развернувшего орду на восток. Предположения об иных мотивах Батыя — тяжелых потерях в русской и европейской кампаниях, усталости от долгой войны, опасениях за тылы (Егоров 1985:26, 27) — имеют право на существование, но не вполне в ладах с ментальностью монголов. Воюющая орда не знает усталости; отдельные поражения (например, от булгар в 1223 г. или чехов в 1241 г.) только дразнят ее, способную быстро восстановить мощь и нарастить свои размеры за счет сателлитов. Все эти изумлявшие европейцев качества орда сохраняет, пока ее ведет хан и его нуке-

ры. При нарушении единовластия она может взорваться мятежом, распасться на куски, безвольно сдаться противнику.

Батый взял курс из Европы на Халху по закону орды — вопрос о власти и избрании верховного хана был неизмеримо важнее периферийных завоеваний. Батый мог не претендовать на верховенство в Орде, но отстранение от верховной власти грозило ему потерей орды и чем-нибудь вроде очередного «случайного» отравления. Был и особый повод для тревоги: совсем недавно Батый отправил в Халху своих двоюродных братьев Гуюка (сына Угэдэя) и Бури (сына Чагатая) с жалобой на их оскорбительные выходки на пиру. Угэдэй едва не казнил собственного сына за подрыв единоначалия в войске, и эта драма в доме Чингисидов могла стоить верховному хану нервов, а быть может и жизни. Приход к власти ханши Туракины, матери Гуюка, также не сулил Батыю благополучия.

Впрочем, ситуация в Каракоруме «зависла»: Туракина-хатун поначалу ревностно следовала заветам свекра и мужа, опираясь на поддержку могущественного деверя, хранителя ясы Чагатая; при этом дело как будто шло к передаче верховной власти внуку Угэдэя юному Ширэмуну, «который был очень одарен и умен» (Рашид-ад-Дин 1960:118). Но полгода спустя Чагатай умер, и Туракина принялась править сама, оттесняя сподвижников мужа и затягивая созыв курултая. Все это время Батый проводил в выжидательных кочевьях по Прикаспийским степям, остановив свою орду на пути между Европой и Каракорумом.

Когда наконец в 1246 г. собрался монгольский курултай, на него съехались многие Чингисиды, в том числе потомки Угэдэя, Чагатая, Толуя, а также младший брат Чингис-хана Тэмугэ-отчигин с восьмьюдесятью сыновьями. Прибытия на курултай Батыя, в то время старейшины Чингисова рода, ждала вся Орда (Субэдэй настаивал на его поездке в Монголию). Но Батый остался в своем улусе, «сославшись на слабое здоровье и на болезнь ног», и отправил на курултай своих братьев Орду, Шибана, Берке, Беркечара, Тангута и Туга-Тимура. Избрание великим ханом Гуюка еще прочнее привязало Батыя к его Кыпчакскому улусу. В дальнейшем напряжение между ханами Востока и Запада усилилось: Гуюк настойчиво вызывал Батыя в Каракорум, но встречал уклончивые отказы. Дипломатия едва не переросла в войну,

когда Гуюк с большим войском направился из Коренного юрта на запад и подошел к Самарканду, а навстречу ему со своим войском двинулся Батый (Рашид-ад-Дин 1960:118–121). Неожиданная смерть Гуюка разрешила ханскую дуэль в пользу Батыя.

В 1249 г. Батый собрал у себя в улусе курултай, на котором предложил выбрать великим ханом Мункэ. Многие Чингисиды уклонились от участия в нем, ссылаясь на то, что всемонгольский курултай может собираться лишь в Коренном юрте. Тем не менее, само по себе проведение курултая и участие в нем будущего каана Мункэ утвердило статус Батыя как старейшины (*ака*) Золотого рода. Избранный в 1251 г. великим ханом, Мункэ неизменно поддерживал своего могущественного дядю и тем самым способствовал обособлению его улуса.

Зависание орды Батыя на Волге превратило улус Джучи в самостоятельную кочевую метрополию. Окрестные земли, в том числе южная и восточная Русь, обречены были стать угодьями кормления Батыевой орды. Монголы привнесли на Русь новую магистраль, заметно превосходившую по мощи прежние печенего-половецкие образцы ордизма.

Для поворота отношений Орды и Руси в русло колонизации важны два синхронных и связанных друг с другом обстоятельства: (1) Батыево зависание на Волге и (2) подчинение Орде князей восточной Руси. Исторически оба имели свои альтернативы, и потому особый интерес представляют личностные мотивы главных героев событий — хана Батыя и князя Ярослава Всеволодовича, диалог которых предопределил судьбу «ига» и ордизма на Руси.

Присутствие Батыя на Волге предоставило русским князьям альтернативу сопротивления или подчинения. В 1237–1240 гг. Юрий рязанский, Юрий суздальский, Мстислав рыльский и другие князья пали в сражениях, а уцелели те, кому удалось уклониться от битв и расправ. С 1242 г. уклонение стало все более затруднительным, и влиятельные князья южной (Киево-Черниговской), восточной (Владимиро-Суздальской) и юго-западной (Галицко-Волынской) Руси были вынуждены определиться в отношении к Орде. Три главных персонажа этой истории — Михаил черниговский, Ярослав владимирский и Даниил галицкий — выбрали свои варианты, ставшие судьбоносными для их земель.

«Честь татарская»

Южная (Киево-Черниговская) Русь оказалась ближайшим кормовым угодьем Батыевой орды: по свидетельству очевидца, «эта страна вся опустошена татарами и поныне ежедневно опустошается ими» (Рубрук 1993:94). В пограничье со степью вводилось прямое правление ханских наместников (например, алана Михея), а общий контроль осуществлял племянник Батыя царевич Куремса. Некоторые области, вроде Болоховской земли, сразу изъявили покорность монголам и сделались «житницей Орды». Южнорусские князья, не тешившие себя иллюзиями монгольской милости, открыто выступали против Орды, а монголы при первой возможности их попросту уничтожали. Михаил черниговский, участник битвы на Калке, будучи киевским князем в 1239 г., повторил ритуал «сжигания мостов» — перебил монгольских послов, после чего скрывался в Польше, Венгрии, Волыни, призывая европейских государей выступить против Батыя. В 1245 г. строптивый князь, наряду с другими русскими князьями, все же угодил в Орду, вероятно залученный туда «лестью». За отказ пройти монгольский обряд очищения и поклонения Чингис-хану (в летописях «кусту») по приказу Батыя Михаил был «заклан», причем голову ему отрезал «некто, бывший прежде христианином, а потом отвергшийся христианской веры и ставший поганым законопреступником, по имени Доман» (Памятники литературы 1981:232).

Убийство русского князя руками единоплеменника-отступника — излюбленный монгольский прием «пролитой крови». Подобные убийства намеренно превращались в ритуалы (а не ограничивались «случайным» отравлением) для «приручения» знати. Проливший княжью кровь путивлец Доман и подобные ему пособники хана становились надежными проводниками ордынского влияния. Черниговского князя Андрея Мстиславича вызвали в Орду по обвинению в конокрадстве (понятный монголам навет) и казнили; узнав об этом, в Орду прибыли его жена и младший брат, которых хан заставил, несмотря на отказ княгини и плач отрока, публично совокупиться «согласно обычаю татар» (Плано Карпини 1993:26). Подобные расправы и унижения играли роль рабского клейма, демонстрируя главный закон Орды — безоговорочное повиновение. Усмиренная русская знать обретала ордынскую выучку

и возвращалась в родные земли с новой миссией служения хану. Так происходила ордизация русской знати — специфическая колонизация «по вызову».

Владимиро-Суздальская Русь также оказалась в прямом доступе монголов по путям волго-донского водораздела. Однако не столько географическое соседство, сколько взаимное расположение хана Батыя и владимирского князя Ярослава Всеволодовича открыло путь ордынской колонизации Восточной Руси. Прежде Ярослав не был заметным персонажем летописей, выступая статистом или неудачником: в 1206 г. он проиграл спор за Галич, а Всеволод Чермный выгнал его из Переяславля, посадив туда своего сына Михаила (который с тех пор стал недругом Ярослава); позднее он уступил Новгород Мстиславу Удатному, а в Липицкой битве 1216 г. потерпел от него поражение. На Калке Ярослав не бился, на помощь брату Юрию на р. Сить не явился (в отличие от младшего брата Святослава). Время от времени, княжа в Новгороде, Ярослав совершал походы на Чудь, Литву и более всего отличился именно в северных кампаниях (например, крещением Корелы в 1222 г.).

В 1237 г. Восточная Русь была буквально обезглавлена — князь Юрий остался лежать на поле брани с отрубленной головой, и в разгромленный Владимир въехал на княжение Ярослав. Он был первым русским князем, прибывшим к Батыю по его возвращении из Европы (1243 г.). Согласно Лаврентьевской летописи, хан «почти(л) Ярослава великою честью, и мужи его, и отпусти и рек ему: “Ярославе! буди ты старъй всъм князем в Русском языце”». По поводу столь теплых отношений высказывалось подозрение в давнем сговоре Ярослава с Батыем, спровоцировавшем монгольское нашествие на Русь (Сахаров 1999:77, 90). Действительно, пути князя и хана во ходе монгольского нашествия на удивление вовремя расходились — когда Ярослав княжил в Киеве, Батый громил Владимир, когда Ярослав перебрался во Владимир, Батый принялся крушить Киев. Впрочем, эта конспирология исходит лишь из допущений, тогда как на самом деле Ярослав мог заслужить расположение Батыя по правилу дружбы против общего врага (например, Михаила черниговского).[3]

[3] Л. Н. Гумилев полагает, что вернувшийся из Европы «бедняга Батый оказался властителем огромной страны, имея всего 4 тыс. верных воинов при сверхнатянутых отношениях с центральным правитель-

В 1243–1246 гг. владимирский летописец (Лаврентьевская летопись) не освещает никаких иных событий, кроме поездок Ярослава и других русских князей в Орду. Именно в это трехлетие затягивается «узел ига», надолго связавший Русь с Ордой. Сын Ярослава Константин прокладывает путь в Каракорум, отправившись туда по воле отца в 1243 г. и вернувшись «с честью» в 1245 г. Вслед за Ярославом в 1244 г. к Батыю едут хлопотать «про свою вотчину» князья Владимир Константинович углицкий, Борис Василькович ростовский, Василий Всеволодович ярославский; в 1245 г. к ним на свою беду присоединяется и Михаил черниговский с внуком Борисом; в 1246 г. Ярослав повторно держит путь к Батыю,[4] а от него — в Каракорум.

Поездка Ярослава в Коренной юрт обозначила новую для Руси магистраль. Путешествие было долгим и мучительным, как и пребывание в верховной ставке в ожидании курултая. Все эти трудности призваны были впечатлить князя величием империи и его собственным ничтожеством. По свидетельству Плано Карпини, Ярослав был одним из первых среди знатных гостей каана, но и ему довелось вкусить доли ханского слуги, когда приставленный к нему татарин шел всегда впереди и занимал главное место, а русскому князю оставалось «сидеть сзади зада» (Плано Карпини 1993:31). Этот статус — «сзади зада» — стал для русского князя местом в имперской иерархии Орды. Смерть Ярослава, случившаяся в 1246 г. не то в ставке каана от яда (по версии Плано Карпини), не то на обратном пути (по версии русского летописца), подвела итог его ордынской карьере и открыла счет множеству подобных карьер, включая его сына Александра.

В исторических сочинениях часто звучит утверждение, будто Ярослав преуспел в борьбе со своими соперниками за верховную власть на Руси, в частности за киевский стол. Это клише мешает

ством. О насильственном удержании завоеванных территорий не могло быть и речи... И тут Батый, человек неглупый и дальновидный, начал политику заигрывания со своими подданными, в частности с русскими князьями Ярославом Всеволодовичем и его сыном Александром. Их земли не были обложены данью» (Гумилев 1997:376).

[4] Не исключено, что Ярослав и его люди причастны к «закланию» Михаила в Орде. Известно, что «через сына Ярослава» Михаилу было передано предупреждение, «что он будет убит, если не поклонится» Чингис-хану (Плано Карпини 1993:26).

понять реалии: Ярослав боролся не за верховную власть на Руси, а за верховную милость «хана всея Руси», выражавшуюся в ярлыке на великое княжение. При Батые великими князьями киевскими были Ярослав и его сын Александр, но с 1243 г. ни тот ни другой в Киеве не появлялся. Столица переместилась в Сарай, и дороги князей шли мимо Киева — в Орду. Кроме того, укреплять киевское княжение было бессмысленно и небезопасно, поскольку самое страшное преступление, по меркам ордизма, состоит в претензии на какую-либо не одобренную свыше власть. И содержание власти на Руси изменилось: отныне князь из правителя превратился в слугу правителя. Подобный статус утверждался всегда и везде, включая повседневную приниженность в так называемом Батыевом знамении — сохранившемся до XV в. обычае носить в знак покорности княжеский колпак с вогнутым верхом (Горский 2005:198).

За десятилетие 1237–1246 гг. Орда Батыя превратилась в метрополию южной и восточной Руси, а Русь — в ханский улус. Эффект подчинения был достигнут двойным ударом — жестокой войной и ханской милостью. Князья и бояре начали ездить по «Ярославовой дороге» в Орду как в столицу, считая пребывание в ставке хана целью и смыслом властных отношений. Типичная черта ордизма — решение всех ключевых вопросов в ханской ставке — стала прививаться русским князьям, объединяя их в когорту «улусников». Орда из страшной угрозы быстро преобразилась в оплот справедливости; хан Батый вскоре был признан на Руси царем (цезарем) и уже при жизни назывался Добрым.

Двое из трех великих русских князей, Михаил и Ярослав, в отношении к Орде обозначили полюса непримиримости и покорности. Оба расстались с жизнью в Орде, притом почти одновременно (в 1246 г.), и для современников обе судьбы были по-своему пугающими. Третий великий князь, Даниил Романович галицкий, выбрал свой стиль контактов с Ордой — мобильный маневр, включавший уход от лобовых столкновений и пограничную дипломатию между Ордой и Европой. Этот метод избегания облав был, вероятно, заимствован им как у половцев, давних союзников галицко-волынских князей, так и у самих монголов (Даниил сполна познал их тактику в битве на Калке). Бегство в этой тактике означало не поражение, а сохранение сил, и главным мерилом подчинения или сопротивления были не террито-

рии, а князья с их дружинами — именно поэтому монголы гнались не за числом взятых городов, а за избегающими схваток правителями. Эти маневры были состязанием в контроле над пространством, от которого зависел исход поединка (причиной поражения Юрия владимирского, врасплох застигнутого на реке Сить Бурундаем в 1238 г., была именно «потеря пространства»).

С началом монгольского нашествия Даниил галицкий предусмотрительно бежал от монголов «в Угры» (Венгрию), а его брат Василько волынский — в «Ляцкую землю» (Польшу). Галицко-Волынская земля была разорена, но некоторые области уцелели, отдавшись монголам и став житницей Орды (Болоховская земля). Как только Батый удалился на Дунай, Даниил на рубеже 1241–1242 гг. вернулся в свое княжество, ужаснулся погромам (в Берестье и Владимире-Волынском), наказал болоховских изменников за то, что монголам «орют пшеницю и проса», и поспешно возвел новую столицу — Холм. В манере Даниила переносить столицы и строить новые города (помимо Холма, им основаны Львов, Угровеск, Данилов) виден заимствованный у степняков «почерк кочевника». Он строил города не для уютной оседлости, а для стратегической мобильности, и мог так же легко оставить город, как и возвести его. Когда Батый вернулся «изо Угор» и послал отряд Маномана и Балая на поиски Даниила, тот, покинув Холм, укрылся на Волыни у брата Василька. При этом он не таился в укромных местах, а «кочевал» по своим владениям. Более того, он расширял подконтрольное пространство, совершая походы в соседние страны. В «кочевом» стиле Даниил с братом Васильком прошлись по польским землям до Вислы, били литву под Пинском, гнали ятвягов «за много поприщ», сражались с дружинами венгров, поляков и князя Ростислава. Если Лаврентьевская (владимиро-суздальская) летопись в 1240-е г. содержит сухие известия о смертях и поездках князей в Орду, то Ипатьевская (галицко-волынская) полна описаний баталий и погонь.

Однажды Даниил изменил своему правилу и явился в стан Батыя. Случилось это после того, как посланец от Могучея прибыл к нему с требованием: «Дай Галич!» Судя по всему, искушенный в степных интригах Даниил предполагал, что Могучей (по разным версиям, один из Чингисидов, сыновей Джучи или Чагатая, владевший собственным улусом) заявлял свою волю, а

не намерение Батыя. Только дипломатическая игра, вплоть до замысла стравить Чингисидов, могла подтолкнуть Даниила к решению: «Не дам полуотчины своей, но еду к Батыеви сам» (его визит в Орду состоялся в 1245–1246 гг.). Поездка к врагу — особый вид путешествия, в котором все видится с изнанки, и галицкий летописец не жалеет красок для монгольских кошмаров: «скверная их кудешьская бляденья и Чингизаконова мечтанья, скверная его кровопитья, многыя его волшьбы». В ставке Батыя некто Соногур, приближенный Ярослава владимирского, зловеще предрекал Даниилу: «Брат твой Ярослав кланялся кусту, и тобе кланятися».

Сюжет «куста» (капища Чингис-хана) связал всех трех великих князей — Михаила, Ярослава и Даниила. Первый отверг «куст», второй ему кланялся, третий (здесь летописец уклончив) не то «избавлен бысть Богом злого их бешения и кудешьства», не то все же «поклонися по обычаю их».[5] Во всяком случае Даниил благополучно минует «куст» и в следующей сцене, в веже Батыя, предстает уже по-ордынски посвященным: хан угощает его кобыльим кумысом («черным молоком») с благодушным напутствием: «Ты уже наш же татарин: пий наше питье». Князь, не уставая кланяться (это слово повторяется девять раз в описании его визита в Орду), гостил у Батыя без малого месяц (25 дней) и «отпущен бысть и поручена бысть земля его ему».

Если владимирский летописец гордится «честью», оказанной в Орде русским князьям (например, Ярославу и его сыну Константину), то галицкий летописец стыдится этой «чести». «О злее зла честь Татарская!» — начинает он знаменитый пассаж, сопоставляя великого князя Романа, отца Даниила, который «бе царь в Руской земли, иже покори Половецкую землю и воева на иные страны вси», с Даниилом, стоящим на коленях перед ханом и называющим себя «холопом». «Злая честь татарская» воспринимается летописцем, родней князя и, вероятно, самим князем как унижение и «обида». Вместе с тем о Могучее в галицко-волынской летописи речь больше не заходит, да и беклербека

[5] Ритуал очищения-поклонения в Орде предполагал прохождение меж двух огней, коленопреклонение перед изображением Чингис-хана и перед шатром Батыя, а также общение с ханом стоя на коленях (Юрченко 2003:79).

Куремсу Даниил «николи же не бояся» и «держаше рать» с ним в 1252–1254 гг., разгромив его под Кременцом, отбив Бакоту, Луцк, Возвягель и другие волынские земли. Даниилу не напрасно приписывается честь первых русских побед над монголами, несмотря на последовавшие в 1258–1259 гг. уступки темнику Бурундаю, включая совместные русско-монгольские походы на Литву и Польшу и «разметывание» городских укреплений (правда эту «честь» Даниил уступил брату Васильку и сыну Льву, сам скрывшись в Польше и Венгрии).

Даниил умудрился для Батыя быть «татарином», для папы римского — «католиком». В 1253 г. папа Иннокентий IV объявил крестовый поход против Орды, а в 1254 г. удостоил Даниила королевского титула Rex Russiae. Даниил принял венец и скипетр, но не религиозное подданство. Он маневрировал между Ордой и католической Европой в «трикстерском» стиле, создавая противовесы и стравливая своих «заклятых друзей» (например, Орду с Литвой). И после смерти Даниила, несмотря на старания Бурундая, а затем Ногая, Галицко-Волынская Русь лишь со стороны Орды виделась «ханским улусом», а со стороны Европы оставалась «Русским королевством» (наследники Даниила Лев и Юрий продолжали титуловаться Rex Russiae). Ордизм не прижился в юго-западной Руси еще и благодаря встречному влиянию Польши и Литвы, подчинивших галицко-волынские земли к концу XIV в.

Примеры трех князей, Михаила черниговского, Ярослава владимирского и Даниила галицкого, легли в основу репертуара русско-монгольских диалогов на долгие десятилетия. «Презрение к Орде» по примеру Михаила осталось в памяти, но не получило широкого распространения — мученическая смерть популярна лишь в агиографии. Пожалуй, самый яркий персонаж этого недлинного ряда — тверской княжич Дмитрий Грозные Очи, зарезавший в Орде Юрия московского и поплатившийся за это собственной жизнью. Среди потомков Михаила, которые могли бы наследовать его позицию, не оказалось удачливых претендентов на великое княжение. Боровшийся за галицкий стол сын Ростислав удалился в Европу, женился на дочери венгерского короля Белы IV и в дальнейшем, до своей смерти в 1262 г., выступал фигурантом зарубежной истории, например Болгарии, царем которой он однажды пытался себя провозгласить.

«Избегания Орды» в манере Даниила придерживались его наследники в Галицко-Волынской земле (до пресечения династии Рюриковичей). Сходная тактика позволяла князю Рязани Ингвару Ингваревичу избегать связей с Ордой до своей смерти в 1252 г., хотя Рязанское княжество подверглось самым лютым погромам в 1237 г. и находилось в непосредственной близости от Орды (когда на место Ингвара сел его брат Олег Красный, недавний узник Орды, Рязань тут же оказалась в объятиях монголов). Среди владимиро-суздальских князей по меньшей мере два Ярославича, Андрей и Ярослав, пытались следовать правилу избегания (включая бегство в Новгород, Псков и Швецию), но в Восточной Руси возобладала линия их отца Ярослава и брата Александра.

Ордынская Русь

«Подчинение Орде» в стиле Ярослава перенял его сын Александр, повторив схему отца до деталей, включая поездки в Сарай и Каракорум, походы с новгородцами в Прибалтику, приязнь к Орде и неприязнь к Европе. Александр и умер, подобно Ярославу, в пути из Орды с подозрением на отравление. Не исключено, что именно наследие отца предопределило особую доверительность в отношениях Александра с Ордой. Л. Н. Гумилев (1997:215, 255) даже допускает, что он побратался с Сартаком, сыном Батыя, хотя вряд ли ордынский владыка-Чингисид позволил себе уравняться в братстве с иноплеменным князем-слугой.

Братья Александра, Андрей и Ярослав, предпочли не отцовский опыт, а тактику «избегания Орды» Даниила галицкого (не случайно Андрей женился на дочери Даниила в 1250 г.). Лаврентьевская летопись под 1252 г. сообщает: «Здума Андрей князь Ярославич с своими бояры бегати; нежели цесарем [хану] служити». Впрочем внешне действия Александра и Андрея нередко совпадали: в 1247 г. они оба, хотя и врозь, отправились в Каракорум, а в 1249 г. вернулись оттуда с ярлыками «от Орды»: Александр на «Кыев и всю Русьскую землю», Андрей — на Владимирский стол. Андрей вместе с Александром бил «немцев» на Чудском озере в 1242 г. (суздальский летописец связывает победу именно с его участием), а затем неоднократно (в 1257 и 1258 гг.) ездил вместе с ним в Орду.

Однако по существу позиции братьев заметно разнились: Александр служил Орде, Андрей избегал ее (хотя, подобно Даниилу

галицкому, не гнушался ханскими милостями и ярлыками). Вырываясь из объятий Орды, Андрей бежал в Швецию, его брат-единомышленник Ярослав тверской — в Ладогу и Псков, тогда как Александр, исполняя или предупреждая ханскую волю, сражался со шведами на Неве, с «немцами» под Псковом, с антиордынской оппозицией в Новгороде, а силу черпал в Сарае (его поездки в Орду многозначительно затягивались; например, согласно Новгородской Первой летописи, в 1246 г. «поеха князь Олександр в Татары», и лишь четыре года спустя, в 1250 г., «приеха князь Олександр из Орды»). Судя по всему, в 1250-е гг. семейство Ярославичей бурлило геополитическими раздорами: Александр, вслед за отцом, стоял за Орду, Андрей и Ярослав — за Европу.

Спор Александра и Андрея разрешился Ордой. По свидетельству В. Н. Татищева, в 1252 г. «пошел князь великий Александр Ярославич в Орду к хану Сартаку, Батыеву сыну, и принял его хан с честию. И жаловался Александр на брата своего великого князя Андрея, что тот, сольстив хана, взял великое княжение под ним, как старшим, и грады отческие от него взял, и выходы и тамги хану платит не сполна. Хан же разгневался на Андрея и повелел Неврюю султану идти на Андрея и привести его перед собой» (Татищев 3 2003:20). Известно, что одновременно с «Неврюевой ратью», посланной на Андрея, на Даниила галицкого был отправлен Куремса, и многие историки расценивают это совпадение как выверенный тактический ход, к которому причастен гостивший у Сартака Александр. Если рейд Куремсы захлебнулся, то поход Неврюя достиг цели, и разбитый Андрей бежал в Швецию (к врагу Александра Биргеру), а Ярослав — в Ладогу и Псков. Этот эпизод стал поворотным в судьбе Восточной Руси. По словам Дж. Феннела, «так называемое татарское иго началось не столько во время нашествия Батыя на Русь, сколько с того момента, как Александр предал своих братьев» (Феннел 1989:149).

Географически грань между стратегиями нордизма и ордизма проходила, как и в прежние столетия, по водоразделу рек Балтийского и Понтийского стока, и потому столь остро разворачивалась схватка за Новгород, норд-русский форпост. Для самих ордынцев Новгород был недосягаем, поскольку лежал за пределами военно-промысловых походов, и в сборе дани с северных земель в качестве посредника использовался русский князь.

А в «низовской земле» усилиями Александра началась «ордизация» в виде административных реформ — переписи населения и его организации по монгольскому десятичному принципу. Подобные реформы были обычными в практике монголов и давали эффект реального подчинения, поскольку решительно меняли общественную структуру — от самоорганизации к удобному для новой власти управлению; разделенный по усмотрению завоевателей народ и его элита дробились и превращались из самостоятельного сообщества в звенья новой иерархии.

В 1257 г. «приехаша численици, исщетоша всю землю Суждальскую, и Рязанскую, и Мюромскую, и ставиша десятники, и сотники, и тысящники, и темники» (Лаврентьевская летопись). Если преобразование Восточной Руси в ордынский улус прошло гладко, то в Новгороде Александр и татары столкнулись с резким отторжением «числа». Известие о том, что «хотят татарове тамгы и десятины на Новегороде» вызвало бунт новгородцев и убийство лояльного Александру посадника Михалка. Когда зимой в Новгород прибыли «послы татарьскыи с Олександром», княживший в Новгороде сын Александра Василий бежал в Псков, хотя прежде Александр по-отечески опекал его, и ничто, кроме страха и стыда, не могло вызвать эту сыновью измену. Новгородцы отказались давать десятину и «тамгы» (переписываться), отпустив татар «с миром» и дарами хану, а Александр выгнал сына своего из Пскова и послал его «в Низъ» (Суздальскую землю), казнив его дружину, «кто Василья на зло повел» — «овому носа урезаша, а иному очи выимаша» (НПЛ 1950:307).

Два года спустя новгородцы, устрашенные вестью об ополчившейся на них «низовской земле», уступили, «яшася по число». Вскоре прибыли переписчики, «татарове сыроядци Беркаи и Касачик с женами своими, и иных много», но вновь столкнулись со стихийным мятежом новгородцев и запросили у Александра «сторожей», которые и стерегли их «по ночам». Александр сам двинулся с татарами из Городища в Новгород, принудил новгородцев к переписи, а после отбыл вслед за татарами на Низ, оставив на новгородском столе малолетнего сына Дмитрия.

1262 г. стал роковым для Александра. Его ордынская политика дала сбой — Ростов, Суздаль, Ярославль и другие города Восточной Руси, «не терпяще насилия поганых», поднялись на татар и «из-

гнаша, иных побиша». В ответ хан Берке послал на Русь отряд с заданием «попленити христианы» и увести в степи «с собою воиньствовати» (Егоров 1997). Сгон мятежных «улусников» в ордынское войско всегда был эффективным средством усмирения и вместе с тем усиления режима управления (тем более что Восточная Русь уже была реорганизована по десятичному армейскому принципу). Александр оказался на грани ролей русского князя и монгольского темника, все глубже увязая в им же налаженной ордынской дружбе-службе. Его четвертая поездка в Орду стала последней. Новгородская Первая летопись сообщает под 1262 г.: «Поиде князь Олександр в Татары, и удержа и Берка, не пустя в Русь; и зимова в Татарех, и разболеся». Наконец выехав осенью 1263 г. «ис Татар», больной князь Александр добрался до Городца, принял 14 ноября монашеский постриг и в ту же ночь умер.

Личная драма Александра по глубине и сложности соразмерна драме всей Руси XIII в., и распространенные образы его как святого защитника страны или коварного ее губителя выглядят плоско и карикатурно. Не ослабевающая по сей день притягательность Александра — не в его храбрости (в отношении шведов) или покорности (в отношении монголов), а в смеси того и другого, смирения и властолюбия, веры в бога и надежды на авось. Александр принял на себя «иго» и не совладал с ним, истово ратовал за Орду и был ею подавлен, преследовал своих братьев и сына, а затем берег их от татарской расправы.

Вряд ли Александр рассчитывал, что его союз с Ордой перерастет в долгое «иго». Изначально он мог видеть в Орде по-своему удобную военную машину, подобную старым половецким ордам (по материнской линии Александр был внуком половецкого хана Котяна). Мощь нового степного союзника могла на первых порах казаться даже преимуществом, а когда выяснилось, что союзник намерен не только «кормиться» на Руси, но и заглотить ее, отступать от «дружбы» было поздно. Александр сделал свой выбор между нордизмом и ордизмом, причем настолько решительно и убедительно, что за ним последовали другие восточнорусские князья, в том числе мятежные прежде братья. Андрей после возвращения из Швеции и до своей смерти в 1264 г. нечасто упоминается в летописях (в 1258 г. он сопровождал старшего брата в поездке в Орду, в 1259 г. — в Новгород); «Александр превратил его

из опасного противника и мятежника в угодливого служилого князя» (Феннел 1989:153). Ярослав неоднократно просил помощи у Орды, получил ярлык на великое княжение, а затем умер, «ида из Татар», как его отец и старший брат.

Александр не первым в истории Руси балансировал на грани нордизма и ордизма. Задолго до него ее испытали Олег, Святослав, Владимир, Мстислав Удатный и другие русские князья. Александр выбрал ордизм и стал его миссионером (впрочем, не только он выбрал Орду, но и она его). Александр известен прозвищем «Невский», хотя по политической миссии и персональным предпочтениям он мог бы зваться «Ордынским». С него Русь вместе с ее князьями вошла в состояние «холопства»: «Княжества тогдашней Северной Руси были не самостоятельные владения, а данническое “улусы” татар; их князья звались холопами “вольного царя”, как величали у нас ордынского хана» (Ключевский 2 1988:41).

Российские историки нередко стремятся возвести русско-ордынские отношения в степень межгосударственных, хотя в действительности это были отношения Орды-империи и Руси-улуса, и выражение «Ордынская Русь» представляется не метафорой, а правовым статусом. Сегодня это состояние видится бесправием русского улуса в обстановке ордынского произвола, поскольку не существовало письменных уложений и уставов. Однако в монгольской традиции оно было вполне правовым, если иметь в виду неограниченное верховное право хана в Орде и покоренных странах.

Князья по вызову

Сегодня перепись населения считается признаком цивилизованного устройства и порядка. Так же считали монголы, переписывая покоренные народы и облагая их данью. В Ордынской Руси это называлось «число», за которым стоял порядок подчинения и ответственности, как в войске, где каждый из сотни (и прежде всех сотник) отвечает за всю сотню. На первых порах татары «сами собирали наложенную ими на Русь дань — ордынский *выход*, для чего в первые 35 лет ига три раза производили через присылаемых из Орды *численников* поголовную, за исключением духовенства, перепись народа, *число*; но потом ханы стали поручать сбор выхода великому князю владимирскому» (Ключевский 2 1988:21). Перевод ответственности за сбор выхода на русских кня-

зей может показаться ослаблением прямого подчинения Русского улуса Орде. В действительности это свидетельствует об обратном: Русский улус, подобно другим владениям Орды, встраивался в ее систему управления во главе с местными князьями, которых хан своими ярлыками уполномочивал собирать выход.

У потомков Александра «ордынский синдром» усугубился. Особенно преуспел в связях с Ордой его сын Андрей городецкий, которого тоже называли «Невским», а Н. М. Карамзин считал «разорителем отечества», заслужившим «ненависть современников и презрение потомства» (Карамзин 1 2003:443, 447). Будучи великим князем владимирским в последнее двадцатилетие XIII в., Андрей Александрович с постоянством, доходившим до назойливости, ездил в Орду за помощью и приводил на Русь одну татарскую рать за другой. По разрушительности эти рати Андрея сопоставимы с походами Батыя. Пример Андрея был заразительным — многие восточнорусские князья вслед за ним выражали холопскую покорность хану и считали жизненным успехом поездку в Орду, персональное сближение с татарами (включая дружбу и браки), участие в совместных военных походах. Многие верхневолжские князья участвовали в ратях Андрея, в том числе в печально знаменитой «Дюденевой рати»; трое из них были женаты на татарских княжнах, а один — Федор Ростиславич Черный (позднее причисленный церковью к лику святых) — прожил в Орде многие годы и получил во владение 36 русских городов, будучи зятем, любимцем и виночерпием хана Менгу-Тимура.

Часто не только агиографы, но и историки ставят в заслугу князьям, в том числе канонизированным церковью Александру Невскому и Федору Черному, «сохранение мира и спокойствия» путем дипломатии и уступок Орде. Обходя стороной ценности вроде «заслуг» и «мира любой ценой», отмечу лишь, что паузы в набегах татар на Русь нередко удлинялись не благодаря миротворчеству покорных князей, а из-за смут в самой Орде.[6] Кроме того, татары никогда не стремились выжечь дотла Русский улус, а по-своему рачительно содержали его, давая возможность горо-

[6] Например, в 1256–1259 гг., когда борьба джучидов за власть в Золотой Орде сопровождалась серией «скоропостижных смертей» — Сартака, малолетнего Улагчи, ханши Боракчин-хатун.

дам восстановиться, селам насытиться, рабам и рабыням подрасти. Со временем татарская колонизация Руси привела к равновесию ордизма в самой Орде и Ордынской Руси, и фактором регулирования набегов стал диалог татар Орды и татар Руси.

В 1259 г. татарские чиновники-переписчики прибыли в Новгород с женами и свитами — уже не воевать, а управлять. Скорее всего, таким семейным караваном они приехали в Новгород из «низовской земли», а не из далеких волжских степей (в любом варианте поездка с женами свидетельствует об умиротворении покоренной татарами земли). Речь уже может идти о бытовой колонизации татарами Восточной Руси — с оседанием и созданием семей. Есть и другие свидетельства татарского присутствия в русских городах. Например, под 1262 г. Лаврентьевская летопись сообщает об убийстве в Ярославле некоего Изосимы, отвергшего Христа и принявшего ислам (что предполагает основательный контакт с мусульманами). По свидетельству Новгородской Первой летописи, «низовское» войско, наряду с великим князем владимирским, вел «великий баскак владимирский» Амраган. Позднее татарское присутствие в русских городах, притом в качестве элиты, стало повседневностью.

И все же ордынская колонизация Руси шла не путем физического переселения татар в русские города и села. Изначально она происходила вне Руси, в Орде, в форме «приручения князей». Это колонизация не территории, а людей с их отрывом от родных мест и отеческой среды. Как заметил Д. Островски, «московские князья часто ездили в ханство по долгу подданных», а их сыновья (будущие московские князья) были заложниками в Сарае «в продолжение большей части тех лет, когда формируется человеческая личность» (Островски 2001:144). Иначе говоря, московские князья росли в ханстве и волей-неволей становились ордынцами.

Властная ордынская колонизация была дистантной, но от этого не менее эффективной. Дистантность предполагает не постоянный контакт, а эпизодический, притом непредсказуемый по времени и характеру, отчего всякое проявление власти кажется иерофанией. Образ недосягаемой власти не мешает ей быть вездесущей. При этом тонус покорности даже возрастает, поскольку ожидание власти генерирует не просто подчинение, а ожидание подчинения. От неопределенности и страха это ожидание превращается в схему (архетип) покорности.

Ордынское господство на Руси не было тотальным и безысходным, а допускало альтернативы (например, «избегание Орды» в стиле Даниила галицкого). «Иго» устанавливалось там, где его принимали, как это случилось в Восточной Руси с постоянными визитами князей в Орду, а чиновников Орды на Русь. В отличие от Восточной Руси, где татарские численники успешно переписали население и организовали его по монгольскому десятичному образцу, на западе Руси переписей не было.

На Руси монгольская система коммуникации, сохраняя свои магистральные функции, приобретала локальные очертания, выстраиваясь в сеть государевых дорог и ямов. Этой административной сети придавался смысл чрезвычайной важности в регламентах смены лошадей, действий ханских ярлыков (пайцз). Ордизм перерождался из кочевого в чиновничий. Однако распад орды не означает исчезновения ордизма. В виде алгоритма власти он распространяется и укореняется в покоренных странах. Ордынская Русь оказалась одной из стран, в которых ордизм не только прижился в виде многолетнего «ига», но и основательно укоренился.

Форпостом ордизма на Руси стала Москва — ничем прежде не примечательный городок. В Москве не было веча, и это облегчило ее использование как резиденции ордынской власти. Для административной колонизации больше подходили не крупные вечевые города и не яркие князья, а удобные для подчинения и контроля звенья управления и коммуникации. В конкуренции за верховенство (например, с Тверью) Москва ни разу не проявила строптивости в отношении Орды, тогда как Тверь не раз портила отношения с татарами. Московские князья не превосходили своих конкурентов ничем, кроме покладистости и служебного рвения. Родоначальник московской династии Даниил, младший сын Александра Невского, великим княжением не владел и не заявлял на него претензий. Ни ему, ни его сыновьям Юрию и Ивану статус великого князя был как будто не впору. Однако именно посредственность оказалась их преимуществом в борьбе за ханскую милость.

В географическом отношении Москва тоже была форпостом коммуникаций Орды, поскольку к ней вели Батыевы шляхи — пути, по которым татары совершали рейды в Восточную Русь. Один из них, Муравский шлях, вел напрямую к Туле по водоразделу Днепра и Северного Донца. До Тулы простирались летние

ордынские пастбища в пойме Верхнего Дона. Батыевые шляхи образовывали ордынский клин в русских землях, административно обозначенный баскачествами — территориями, управляемыми татарскими баскаками. Между Ордой и Москвой пролегали земли двух баскачеств — Тульского и Коломенского. Тула одноименна с монгольской рекой Тулой (в знаменитом Трехречье), а некоторые авторы, начиная с Н. М. Карамзина, связывают это название с именем матери хана Джанибека Тайдулы, которой в золотоордынские времена Тула принадлежала; в пределах тульского баскачества жили делюи — тяглые люди, выделявшиеся для обслуживания золотоордынских послов. На севере к Тульскому баскачеству примыкало Коломенское, а Коломна была «отчиной» монгольского посла и передавалась в качестве наследственного владения ордынским баскакам (Егоров 1985:41, 42). Таким образом, «баскаческий клин» упирался в Москву, обеспечивая ей устойчивую связь с Ордой. Подбирая не столько ярлык к князю, сколько князя к ярлыку, хан учитывал его верность и удобство его контроля из Орды. Кроме того, при великом князе владимирском был великий баскак владимирский (или наоборот, князь при баскаке), и их расположение на силовой «баскаческой» линии было привычным и удобным для монголов приемом администрирования.

Драма пяти убийств

«Татарский расчет» — едва ли не главный фактор развития Руси и ее нового элитного ядра, формировавшегося в Москве. Правда, это случилось не по законам какой-либо экономической или культурной целесообразности, как любят писать историки, а благодаря удачным маневрам московских князей (Даниловичей) в Орде.

В то время на Руси великим князем был Михаил тверской, единственный оставшийся в живых внук князя Ярослава Всеволодовича. Его великое княжение поддерживал хан Тохта, а после его смерти в 1312 г. — хан Узбек. Первенство Михаила по статусу мог оспорить лишь Михаил городецкий, сын великого князя Андрея Александровича (Горский 2005:42), однако реальным соперником великого князя стал Юрий московский. По русским нормам Юрий в этом споре выглядел узурпатором, однако судьба Руси решалась не на Руси и не по законам Руси.

Юрий московский, двоюродный племянник Михаила тверского, сделал карьеру в Орде. Удача улыбнулась ему в лице Кончаки, сестры хана Узбека, на которой он женился во время своего двухлетнего пребывания в Орде. Кончака стала женой московского князя под именем Агафья, и в ее крещении, как и в организации этого стратегического брака, ключевую роль сыграла Сарайская епархия. В приданое за Кончакой Юрий получил ярлык на великое княжение, а в сопровождение — посла Кавгадыя с татарским отрядом. Двумя годами ранее, в 1315 г., такой же ярлык и ордынского посла (по имени Таитемер) получил Михаил тверской, но хана Узбека это не смущало.

Михаил тверской уступил капризу Узбека, признав Юрия великим князем, и уехал к себе в Тверь. Однако Юрий не удовлетворился столь легкой победой и в компании с Кавгадыем, женой Агафьей и братом Борисом пустился по следу уязвленного соперника разорять его Тверское княжество. 22 декабря 1317 г. у села Бортенево Михаил встретил и разгромил московское воинство, понудил Юрия к бегству, пленил его жену и брата, а Кавгадыя пригласил в гости в Тверь, почтил его и отпустил. Подобное своеволие, несмотря на искусную дипломатию Михаила, выходило за рамки дозволенного. К тому же в тверском плену вдруг умерла Кончака-Агафья (по одной из версий, «зельем уморена бысть»). Поездка князя Михаила в Орду, где Кавгадый и Юрий уже донесли о случившемся, была сродни пути на Голгофу — Михаил был казнен 22 ноября 1318 г. по обвинению в невыплате дани, сопротивлении ханскому послу и смерти Кончаки (Горский 2005:50).

Юрий добился первенства в ханской милости, но ненадолго; его репутация на Руси и в Орде была подорвана — женитьбой на Кончаке-Агафье (для Руси) и ее тверским пленом (для Орды); интригами в Орде (для Руси) и связями с Новгородом (для Орды). По словам В. О. Ключевского, «Юрий московский в Орде возмутил даже татар своим родственным бесчувствием при виде изуродованного трупа Михаила тверского, валявшегося нагим у палатки» (Ключевский 2 1988:41). Юрия небезосновательно винили в смерти Михаила тверского, сыновья которого, Дмитрий и Александр, вынашивали планы мести. Весной 1322 г. Дмитрий тверской оказался в Орде и сумел настроить Узбека так, что тот отправил «по Юриа князя» посла Ахмыла, который «много створи пакости...

много посече християн, а иных поведе в Орду» (в походе Ахмыла принял участие и находившийся в Орде брат Юрия Иван Калита). Преследуемый Ахмылом и тверскими князьями, Юрий метался между Москвой, Владимиром, Новгородом и Псковом, потеряв статус великого князя (осенью 1322 г. Узбек отдал ярлык Дмитрию тверскому). Исход для Юрия был предрешен. Когда в 1325 г. он в очередной раз оказался в Орде, князь Дмитрий тверской по прозвищу Звериные Очи (или Грозные Очи) поразил его ударом кинжала.

Самосуд стоил Дмитрию почти года мучительного ожидания смерти: он убил Юрия 21 ноября 1325 г., а был казнен по приказу Узбека 15 сентября 1326 г. Эта традиционная для ордынцев пытка ожиданием с последующей расправой учит повиновению — не жертву, а свидетелей. Преступление Дмитрия состояло не в том, что он зарезал Юрия, а в том, что он сделал это «безъ цесарева слова», посягнув на верховное право хана казнить и миловать.

Три убийства устрашили современников, особенно Ивана Даниловича, брата Юрия, который в ту пору находился в Орде. Его карьера началась на фоне интриг и метаний старшего брата. Он оказался в Орде в качестве заложника, участвовал в карательной экспедиции Ахмыла, был свидетелем взмахов ордынской «сабли правосудия». Уроки страха и подчинения не прошли даром, и на протяжении всей жизни Иван пребывал под гипнозом Орды. По наблюдениям А. Н. Насонова, «Калита половину, вернее — большую часть своего княжения (на великокняжеском столе) провел в Орде или на пути в Орду или из Орды» (Насонов 1940:110). Во всех тогдашних склоках на Руси он хранил верность хану. Во многих походах на Русь, то на поиски Юрия, то для усмирения мятежных тверичей, с татарским войском всякий раз шел кстати оказавшийся в Орде Иван Калита.

Так случилось и в 1327 г., когда в Твери, вотчине великого князя Александра, брата Дмитрия Грозные Очи, восставшие тверичи сожгли ордынского посла Шевкала, двоюродного брата хана Узбека, и перебили сопровождавших его татар. Для наведения порядка в улусе хан вызвал Ивана Калиту и послал его с карательным войском (рать Федорчука) на Тверь. Александр укрылся в Пскове, где его по истечении десяти лет попытался достать Иван Калита, склоняя к покаянию хану, а затем через митрополита Феогноста добился его отлучения от церкви и отъезда в

Литву. В конце концов, после двенадцати лет изгнания и гонений, Александр явился в Орду, где сначала был помилован, а затем, усердием Ивана Калиты, казнен вместе с сыном Федором.

Именно Иван Калита, соединив в себе преданность хану, рачительность улусника и коварство интригана, сумел извести соперников и прирастить улус. Убийство тверских конкурентов стало средством возвышения московских князей. Верность Ивана Орде у одних вызывает осуждение, у других — понимание, поскольку служба Орде усиливала Москву. Созданию положительного образа Ивана Калиты порадели прежде всего московские священнослужители и летописцы XV–XVI вв. — в «Слове о житии и преставлении» Дмитрия Донского его дед рисуется «собирателем земли Русской» (ПСРЛ Т. 4 1925:351). Иван Калита действительно собирал земли, расширив великое княжество за счет Дмитрова, Галича, половины Ростова и, возможно, Углича (Горский 2005:66, 67). И это собирание было тем успешнее, чем ревностнее князь служил хану. «Собирание земель» было возможно исключительно как экспансия власти Орды в лице Москвы и ее князя. Иван Калита и его сыновья сполна удостоились «чести татарской»: как отмечает летописец, московские князья были «пожалованы богом и царем» (ПСРЛ Т. 18 1913:92). Важнейшим приобретением Москвы можно считать заимствование ордынского «права» на захват чужих территорий (см. рис. 7).

Вместе с тем Иван Калита сумел создать адекватную игу систему безопасности для Руси. По оценке М. К. Любавского, «Московское княжество во второй половине XIII в. и первой четверти XIV в. было наиболее безопасным краем бывшей Восточно-Суздальской земли… Сюда поневоле должно было сбиваться население соседних разоряемых областей». А истоки колонизационной силы Московского княжества и «захватного характера» его политики кроются в скудости его природных ресурсов и большом притоке населения (Любавский 1996:217–219). Фактор безопасности, даже ценой подчинения, сыграл значимую роль в формировании русской общности, поскольку этничность вообще основана на системе безопасности.

Ордынская традиция власти, укорененная в Москве Иваном Калитой, дала всходы в политическом устройстве Московии. Сын Ивана Симеон бывал в Орде так часто (6 раз за 13 лет княжения),

будто пытался превзойти в преданности своего отца. На середину XIV в. пришелся пик зависимости Москвы от Орды. Однако в это время случился кризис кочевой империи, разорвавший ее на враждующие орды.

Самоуничтожение Орды

Монгольский стиль колонизации предполагал не заселение покоренных земель с последующим на них оседанием, а мобильный контроль над обширным пространством кочевой империи. Во всех подчиненных странах монгольские ханы и их слуги продолжали кочевать (даже самые «оседлые» из них предпочитали кочующие ставки дворцам и городам). Как только хан со своим улусом прекращал агрессивное движение, он тут же оказывался мишенью для соседней орды или проигрывал в конкурентном противостоянии местным правителям, которые быстро усиливались, если не упускали случая военного усиления за счет орды. Так случилось, например, с монгольскими правителями Китая и Кыпчакской степи, причем срок «оседания орды» составил полтора века. Причиной тому был развал самих монгольских орд, и механизм самоуничтожения вызывал состояние, называвшееся в русских летописях «замятня».

Сигизмунду фон Герберштейну принадлежит замечательное наблюдение о татарах-кочевниках эпохи заката Орды (начала XVI в.):

> Насчет голода и сна [татары] до такой степени выносливы, что иногда выдерживают это лишение целых четыре дня, предаваясь тем не менее необходимым трудам. И в свою очередь получив что-нибудь на съедение, они пресыщаются выше меры, и этим обжорством вознаграждают себя за прежнюю голодовку, не оставляя после себя ничего. И таким образом, обремененные пищей и трудами, они спят по три или по четыре дня подряд. В то время как они спят таким глубоким сном, литовцы и русские, в область которых они делают внезапные набеги и угоняют оттуда добычу, пускаются за ними в погоню и, откинув всякий страх, повсюду поражают их неосторожных, обремененных пищей и погруженных в глубокий сон без караулов, в беспорядке (Герберштейн 1908:141).

Это наблюдение применимо не только к эпизодам голодной охоты и последующего насыщения, но и к общему тонусу кочев-

ников: голодная орда быстра и непобедима, тогда как сытая тяжелеет и становится легкой мишенью и жертвой. Долгая сытость — главный бич кочевников, сокрушающий орду эффективнее любого врага.

В середине XIV в. хан Джанибек завоеваниями в Персии и Азербайджане расширил пространство Орды до максимальных размеров — от Иртыша до Днестра, включая Белую и Синюю орды, Булгарский, Хорезмийский, Кавказский и Русский улусы. Его сын и наследник хан Бердибек правил всего пару лет (1357–1359), но успел круто изменить настроение Орды. Прекратив внешние войны, он потерял недавно покоренные области Азербайджана и Ирана, а главное — завоевательную агрессию, объединявшую кочевую империю. Более того, он обратил эту агрессию внутрь Орды, начав борьбу за власть с убийства дюжины своих родственников, в том числе восьмимесячного младенца-брата. С него в Орде началась «великая замятня». В конце своего краткого правления Бердибек был убит; за ним последовали Кульпа (правил 5 месяцев, убит), Навруз (5 месяцев, убит), Хизр/Хидырь (14 месяцев, убит), Тимур-Ходжа (5 недель, убит); затем Орду терзали сразу несколько вождей: Мурат на правобережье Волги, Абдулла в Заволжье (при эмире Мамае), Болактемир в Булгарии, Тагай в Наручади (в Заволжье с 1363 по 1380 г. сменилось от 8 до 13 правителей — Горский 2005:82). Пораженная собственной агрессией, Орда вошла в фазу самоуничтожения.

Закат Орды связан не только с «перепроизводством» ханов, но и «перепромыслом» угодий. На волне успеха Орда стремительно разрасталась, собирая в себя попутные улусы. Затем она волей-неволей, даже при бережном отношении к покоренным странам, опустошала их. В этом смысле орда достигала триумфа на краю пропасти — ее военно-грабительская масса превышала кормовые ресурсы, особенно когда она останавливалась в завоеваниях и начинала вытаптывать одно и то же «пастбище». Часто именно это «вытаптывание», уже лишенное мотивации новых захватов и свежей добычи, вызывало склоки внутри ордынской элиты.

Погрязшая в смуте, Орда терпела поражение за поражением и теряла одно владение за другим, начиная с западных. В начале 1350-х гг. молдавский воевода Драгош Водэ изгнал монголов за Днестр. В 1355 г. Ольгерд Литовский установил контроль над

чернигово-северскими землями, в 1363 г. разбил татар у Южного Буга и вышел в ордынскую степь Поднепровья. В 1361 г. Хусейн Суфи отколол от Золотой Орды Хорезмийский улус.

Для русских князей ордынская «замятня» стала стихией самоутверждения, когда к страху и покорности добавился стратегический расчет. Курьезы в Орде нарушали устои власти. Например, после смерти 13 ноября 1359 г. великого князя Ивана Красного «вси князи Роусьскыи» по обычаю направились в Орду, где в то время правил Навруз. Самозванцу Наврузу («сыну» хана Джанибека) было явно не до вдумчивого управления Русью, и он дал ярлык на великое княжение Андрею нижегородскому, который не питал склонности к «государевой службе» и отказался от ярлыка в пользу своего младшего брата Дмитрия суздальского. Тот пошел было во Владимир занимать великокняжеский стол, но самозванца Навруза в Орде сменил самозванец Хизр (еще один «сын» Джанибека). Русские князья вернулись в Орду засвидетельствовать верность новому владыке, но вскоре и тот отбыл к праотцам. Разъезжая взад-вперед с сомнительными ярлыками, девятилетний Дмитрий московский (будущий Донской) и его спутники не могли не усомниться в крепости ордынского царя, и впоследствии Дмитрий первым нарушил «канон явки», прекратив частую езду в Орду.

Из-за смуты в Орде русским князьям волей-неволей пришлось воевать с татарами — не потому, что они вдруг ощутили прилив сил, а потому, что их вовлекали в сражения одни татары против других. В 1360–1370-е гг. рязанские и нижегородские князья уже мерялись силами с ордынскими князьями: Олег рязанский в 1365 г. разбил Тагая, Дмитрий нижегородский в 1367 г. — Болактемира. Беклербек Мамай активнее других вовлекал русских князей в татарские схватки. В 1370 г. по его воле и в сопровождении его посла Ачихожи Дмитрий нижегородский воевал укрывшегося «в Болгарех» князя Хасана (Асана), который был разбит и сменен ставленником Мамая Мухаммед-Султаном (вскоре Хасан основал свою новую ставку — Казань). В 1377 г. московско-нижегородское войско еще раз ходило «на Болгары» (Егоров 1985:63; Горский 2005:92).

Как видно, в преддверии 1380 г. русские князья успешно прошли испытания в сражениях с татарами. И когда Мамай встретил на Куликовом поле боеспособную русскую рать, не ро-

беющую перед ордынской конницей, он в первую очередь должен был винить в происходящем самого себя, поскольку неоднократно призывал русских ратников в походы на татар и тем самым искоренял привычную робость. И случилось это в тот самый момент, когда Орда начала распадаться — метрополия слабела, а периферийный улус набирал мощь.

Дмитрий московский (1359–1389) был уже реальным соперником для татарских князей в конкуренции за власть в пространстве Орды. При этом «Московский улус» обладал особой устойчивостью на фоне хаотично собиравшихся и распадавшихся степных орд: даже после поражения лесное княжество вскоре воспроизводилось вместе со своими городами, селами и людьми. Татарские ханы и князья в условиях замятни утратили главное преимущество орды — ее централизованность — и оказались в хаосе всеобщей войны, будучи попеременно или даже одновременно преследователями и преследуемыми. Мамай сражался на Куликовом поле, а из заволжской Кок-Орды ему уже грозил Тохтамыш. В свою очередь Тохтамыш, подчиняя Орду и грабя Русь, с опаской оглядывался на мощь своего благодетеля Тимура. Оба вкусили доли временщиков и бегали от своих соперников по окраинам Орды. Особенно впечатляет география бесконечных поражений и скитаний хана Тохтамыша — «призрака Орды», скрывавшегося в Крыму, Литве, Руси, Сибири. Из мощной метрополии Орда превратилась в арену разбоев, поглощавших силы слабеющих кочевников. Силовые точки рассыпавшейся империи рассредоточились на окраинах Великой степи, в том числе в Руси.

Дмитрий Донской, несмотря на бегство от Тохтамыша летом 1382 г. и последующую выплату ордынского выхода, имел основания величаться «царем русским», как это прозвучало в «Слове о житии и преставлении великого князя Дмитрия Ивановича» (Горский 2005:140). По своей роли в замятне он не уступал прочим «царям орды», а по устойчивости и надежности Московский улус превосходил летучие степные отряды и кочевья. Кроме того, есть основания видеть в Москве не только крепнущую русскую цитадель, но и убежище для татар. Например, среди московских киличеев (послов) Дмитрия в Орду первым значится Толбуга, имя и статус которого (киличей — от тюркского *килиш* — «ходить друг к другу») свидетельствуют о татарском присутствии в Москве.

Столкновения с ордынскими отрядами не мешали Москве чеканить монеты с ордынской легендой и платить ордынский выход. Финал ордынско-русских отношений напоминал их начало: в отличие от периода подчинения и подданства русских князей с их частыми поездками в Орду, со времен Дмитрия Донского эти визиты стали более редкими, зато участились набеги татар на Русь (Мамай 1380 г., Тохтамыш 1382 г., Едигей 1408 г. и др.). Эти набеги по характеру напоминали завоевательные экспедиции, что свидетельствует об обновлении отношений бывшей метрополии Орды и зависимого улуса Руси.

«Великая замятня», начавшаяся при жизни московского князя Василия Темного (1415–1462), расколола Орду на несколько орд — Большую, Крымскую, Ногайскую, Казанскую. Пока одни ордынские князья продолжали набеги на Русь, другие избрали ее своим убежищем. После разгрома Золотой Орды Тимуром на исходе XIV в. начался массовый отток ордынцев на окраины бывшей империи, в том числе на север. В середине XV в. некоторые кочевые улусы осваивали лесные угодья — например, зимой 1444 г. золотоордынский царевич Мустафа кочевал близ Рязани и из-за лютых морозов и падежа лошадей просился зимовать в городе (Соловьев 2 1988:392). Приближалось время, когда «Золотая Орда ныне или завтра долженствовала исчезнуть по ее собственным, внутренним причинам разрушения» (Карамзин 1 2003:717).

Татарские цари Московии

Кн. Н. С. Трубецкой утверждал: «Московское государство возникло благодаря татарскому игу... “Свержение татарского ига” свелось к замене татарского хана православным царем и к перенесению ханской ставки в Москву» (Трубецкой 1995:157). В этом наблюдении выражена позиция евразийцев, отмечавших судьбоносное воздействие монгольских и татарских традиций на Московскую Русь, унаследовавшую от Орды принцип верховной (ханской) собственности на землю и ее население, методы учета подданных (переписи), коммуникации (ямская гоньба), управления (русский лексикон пополнился монголо-тюркскими словами «деньги», «казна», «таможня», «ярлык», «ясак»). Д. Островски добавляет к числу монгольских заимствований московские двойные административные структуры, должности тысяцкого (у мон-

голов *беклярибек*), «двор» (*орда*), административное деление на волости и пути (*тумены* и *даруги*), печать (*тамга*), дипломатический церемониал, «челобитье» (у тюрок *bas ur-*), военное дело и вооружение, местничество и покорное служение, термины «базар», «балаган», «барыш», «стакан» и др. (Островски 2001:148–153, 166). Не самыми существенными, но знаковыми являются заимствования русскими у татар понятия *сеунч* («победа, весть о победе» — в начале XVII в. была составлена «Книга сеунчей» с перечнем побед русских войск), а также боевого клича *ура!* Вслед за евразийцами Н. М. Мириханов рисует прямую преемственность между Золотой Ордой и Российской империей, подчеркивая, что не менее четверти русских аристократических родов происходили из «тюрко-татар» (Мириханов 2002:47).

В середине XV в. начался новый этап ордынской колонизации, когда ханы и царевичи разных орд, теряя силу и власть, приходили на Русь не завоевывать, а жить и служить. Реально властвуя, ханы не ехали на Русь, вызывая к себе князей, а утратив власть, сами потянулись в Московию. Если учесть, что ханы кочуют не в одиночку, а непременно с ордой, то можно представить сдвиг направленности колонизации: отныне Москва наполнялась ордизмом не только через политическое влияние, но и путем физического переселения ханов и орд. При этом ордизм мало-помалу «переходил на оседлость».

Роль посредника в рокировке «метрополия–колония» между Ордой и Москвой сыграл внук Тохтамыша хан Улу-Мухаммед (1405–1445), в свое время правивший Золотой Ордой и Крымом, скрывавшийся в Литве, а затем в Булгарии. Сыновьям Улу-Мухаммеда Махмутеку и Ягупу удалось в бою под Суздалем в 1445 г. пленить великого московского князя Василия II и получить за его освобождение огромный выкуп («всю казну»), а также русские земли по Оке в кормление татарам. Эта сделка вызвала негодование двоюродных братьев московского князя, которые ослепили Василия, вопрошая: «Для чего любишь татар и даешь им русские города на кормление? Для чего серебром и золотом христианским осыпаешь неверных? Для чего изнуряешь народ податями?» (Карамзин 1 2003:623). Обратной стороной этой драмы стало появление на Руси ордынских царевичей, прибывших на кормление и ратную службу.

После смерти Улу-Мухаммеда в 1445 г. казанским ханом стал его старший сын Махмутек (Бахтин 2008). Соперничество за власть в Казани между Махмутеком и его младшими братьями Касимом и Ягупом совпало по времени (1446–1447 гг.) и переплелось событийно с борьбой за власть на Руси между Василием II и Дмитрием Шемякой. На оси Казань–Москва обозначились враждебные полюса — Махмутек в союзе с Шемякой, Василий в союзе с Касимом и Ягупом, — но в целом образовалось общее пространство «татарско-русской замятни».

Соперничеству Казани и Москвы суждено было затянуться еще на столетие, но именно в середине XV в. случился судьбоносный поворот: вслед за Василием Темным, вернувшимся из казанского плена, на Русь прибыл казанский царевич Касим. Если прежде «вольные цари» посылали на Русь своих темников и баскаков, и лишь горемыка Тохтамыш в своих ратных странствиях навестил северную Русь, то теперь Москва приобрела собственного хана, царевича-изгоя Касима. Практика союзов и приглашений степных царевичей была популярна со времен половцев; Витовт литовский оказал прием Тохтамышу, а его внук Василий Темный (1425–1462) проявил повышенную симпатию к татарам: есть сведения, что и до Касима на московской службе в 1445–1446 гг. состоял Чингисид Бердедат, сын Худайдата (Горский 2005:148). Однако именно с Касима начинается эпоха татарских ханов Московии.

Выступление султана Касима в защиту Москвы случилось в 1449 г., когда «скорые татары Седи-Охматовы» совершили набег на Русь, «много зла учинили христианам, секли и в полон вели», а также пленили жену князя Василия оболенского. В этот момент на разбойных татар двинулся из Звенигорода «султан Кайсым». При этом реакция ордынцев на появление султана напоминала замешательство нашкодивших слуг: «они разбежались по земле», «побежали назад», а Касим, «с коими встретился, тех бил и полон отнимал». Можно не сомневаться, что заступничество султана перевернуло в глазах ордынцев статус Москвы. Василий II поддержал этот переворот передачей во владение Касиму в 1452 г. Городца Мещерского на Оке, где султан «построил град себе, именовал Крым ханский» (Татищев 3 2003:362; Вельяминов-Зернов 1863:28).

Так в пределах Московского княжества возникло Касимовское царство (ханство), равное по статусу Казанскому и Крымскому.

Вскоре расселенные по Оке татарские царевичи образовали щит против набегов ордынцев, обычно переходивших Оку в районе Коломны и Серпухова. «Окская украйна» превратилась в оборонительную линию: среднюю Оку заслонил Касим, на верхней Оке в Новом городке на устье Протвы вскоре встал казанский царевич Муртоза — «с татарами для отражения татар» (Любавский 1996:240, 247).

Отныне всякий ордынский вождь, посягнувший на Москву, имел дело не только с русским князем, но и с ордынскими царевичами. В 1450 г. ордынский отряд Малымбердея был разбит татарской конницей из Коломны на р. Битюг, левом притоке Дона в его среднем течении. Так далеко в степные владения Орды московские войска прежде не заходили. Вслед за своим отцом, Василием Темным, Иван III тоже «предпочитал действовать против Орды преимущественно руками союзных, зависимых и служилых татарских правителей» (Горский 2005:147, 148, 184). В 1472 г. хан Ахмат прервал грабительский поход на Русь, узнав о сосредоточении на Оке московских войск, среди которых «царевич Даньяр Каисимович на Коломне стоит с татарами, а князь Андрей Большой в Серпухове, а с ним Муртаза царевич Мустафин, сын царя Казанского». Ахмат «побеже прочь», опасаясь, что «князя великого царевичи» Даньяр и Муртаза «возьмут Орду и царицу его» (Алексеев 1989:71).[7] Хан лучше других осознавал опасность татарских царевичей с их тактикой встречных облав и дальних рейдов.

Касимовские татары послужили не только оборонительным щитом Московии, но и ключом к новой дипломатии. Татарские царевичи, оказавшись «на службе» московского князя, привнесли с собой на Русь формальный статус «царства». Как видно из духовной грамоты Ивана III и «докончаний» его сыновей Василия и Юрия о «выходах ординских», «Царевичев городок» (Касимов) в те годы приравнивался по статусу к ханствам Крыма, Астрахани и Казани (Горский 2005:166). Альянс с Чингисидами вывел Москву на первый план в ордынском политическом пространстве, создав

[7] 31 декабря 1472 г. великий князь дал царевичу Муртазе, сыну казанского хана Мустафы, «городок новый на Оке со многими волостями». К 1479 г. на Руси обрел «опочив» бежавший из Крыма Джанибек (Зенебек), а осенью 1479 г. к московскому князю на службу прибыли братья крымского хана Менгли-Гирея Нур-Даулет (Мердулат) и Айдар (Алексеев 1989:77, 83, 85).

основу «братских» отношений с правителями Крыма, Казани и других орд. Поддержка крымского хана Менгли-Гирея, в том числе его своевременные набеги на литовские земли (Подолию),[8] заметно поколебали решимость хана Большой Орды Ахмата в 1480 г. на Угре, и погром зимовища Ахмата в 1481 г. ханом Ибаком и ногайскими мурзами вряд ли обошелся без «татарской руки» Москвы. Царевич Мегмет-Аминь, сын Ибрагима, получивший от Ивана III в кормление Каширу, в 1487 г. был отправлен с ратью (в компании Даниила холмского) на Казань, где посажен на царство и правил «в качестве московского присяжника и данника», а Иван III добавил к своему титулу звание «Болгарский» (Любавский 1996:260, 261). Благодаря касимовским царям великий князь московский приобрел право высшей ордынской дипломатии и, соответственно, прямой доступ к Казани, Астрахани, Ногайской орде.

Касима, Ягупа и их наследников обычно называют «служилыми Чингисидами». На самом деле татарские царевичи, обосновавшиеся в Московском княжестве, сыграли не просто служебную, а ключевую роль в рокировке «метрополия–колония» между Ордой и Москвой. За своими царевичами татары двинулись на Русь (как и в Литву) уже не воевать, а служить. «Призвание татар» с тех пор стало московской традицией. В 1471 г. в походе Ивана III на Новгород участвовал сын Касима царевич Данияр, а князь Василий Оболенский-Стрига возглавлял татарскую конницу; в 1477 г. московскую рать на Новгород вел казанский царевич Муртаза; в 1518 г. Василий III при приближении войск крымского хана оставил Москву на попечение татарского царевича Петра. По этому поводу удачно выразился Н. М. Карамзин: «политика великих князей вооружала монголов против монголов» (Карамзин 1 2003:680). При Иване Грозном около города Романова на Волге были «испомещены многие татарские мурзы». Становясь русскими помещиками, татары «принимали крещение и сливались с русскими служилыми людьми» (Ключевский 2 1988:192). С годами «русских татар» становилось все больше, и приток татар на

[8] Отступив от Угры, Ахмат «распусти вои по всей земли Литовскии», пленил 12 городов и большой полон вывел. Иначе говоря, грабительский набег в ордынском стиле состоялся, но пришелся не на московские, а на литовские земли. Правда, именно добыча (богатство и полон Литовской земли) спровоцировала Ибака на убийство и ограбление орды Ахмата зимой 1481 г. в междуречье Волги и Дона.

Русь принял вид переселенческой колонизации. Подобно половцам три века назад, татары селились в городах, заводили русских жен и крестились. Они оставались военно-политической элитой, но адаптировались к новой культурной среде. Москве от Орды достались не только войска, но и дани. Например, после стояния на Угре московские сборщики дани продолжали собирать ордынский выход (Алексеев, 1989:149), который превратился в «московский выход» и лег в основу фискальной системы новой державы.

Синдром русско-татарского со-властия проявлялся в Московии до Смуты, и распри между правителями, например по поводу Казани, только подтверждают эту связь. Иван Грозный всю жизнь доказывал свое право на царский титул, но при этом в 1574 г. венчал на московское царство — «великим князем всея Руси» — касимовского хана Саин-Булата, в крещении Симеона Бекбулатовича (до него в 1553 г. под тем же именем Симеон с отчеством Касаевич был крещен и включен в круг «московских царей» последний казанский хан Едигер). В 1574–1575 гг. царские указы выходили от имени Симеона Бекбулатовича, а Иван слал ему челобитные, подписываясь князем московским Иванцом Васильевым. Он «вышел из города, жил на Петровке; весь свой чин царский отдал Симеону, а сам ездил просто, как боярин, в оглоблях, и как приедет к царю Симеону, ссаживается от царева места далеко, вместе с боярами» (Соловьев 3 1989:546, 547). Затем Иван вернулся на царство, а Симеону Бекбулатовичу пожаловал титул великого князя тверского и отдал Тверь и Торжок.

По замечанию В. О. Ключевского, «здесь не все — политический маскарад»: царь Иван, одержимый угрозой боярской измены, иногда всерьез ощущал себя в Москве изгнанником и скитальцем (судя, например, по духовной 1572 г.), скрывался в Александровской слободе, Петровке и даже помышлял о побеге в Англию. Отгораживаясь от земщины с ее боярством, он провозглашал татарских ханов правителями Руси: «можно сказать, что Иван назначал того и другого Симеона председателями думы земских бояр... выставляя себя особым, опричным князем московским» (Ключевский 2 1988:167–169).

Ивана Грозного трудно заподозрить в потворстве боярской земщине и добровольных уступках власти. Эта иерархическая бутафория, помимо маний и фобий, содержит понятное современникам

представление о Московии как о татарском царстве и трезвый расчет на исполнительность татарских царей-соправителей. Иван тешился властью, раздавая титулы тем самым татарам, которые еще недавно раздавали ярлыки русским князьям. Его статусное превосходство над «московскими Чингисидами» выражалось более всего в их крещении и в женитьбе по христианскому обряду Симеона Касаевича на Марии Кутузовой, а Симеона Бекбулатовича на Анастасии Черкасской. Крещеный хан — покоренный хан, даже если он величается великим князем всея Руси. Иван Грозный открыл эпоху «крещеного ордизма», исходящего уже не из Орды, а из Московии.

Не исключено, что татарские пристрастия Ивана Грозного связаны с его родословной: он потомок, с одной стороны, Дмитрия Донского, с другой — Мамая[9] (в этом смысле для него Куликовская битва — семейная история). А если учесть, что Мамай был женат на дочери хана Бердибека, то Иван IV оказывается причастным и к Золотому роду Чингис-хана. Это использовали и льстецы из татар; например, мирза Белек-Булат называл Ивана IV «Чингишовым сыном Белым князем» (Зайцев 2004:151). Иван не только смело венчался на царство, но и с чингисидской решительностью собирал под свою руку другие татарские царства. Когда после взятия Казани и Астрахани в 1550-е гг. он стал «трижды царем», на тронных приемах иногда демонстрировались все три короны.[10]

Многим историкам симпатии Ивана Грозного к «царю Симеону» кажутся странными, но Борису Годунову они внушали тревогу. В 1598 г. бояре целовали крест Борису с присягой «царя Симеона Бекбулатовича и его детей и иного никого на Московское царство не хотети видети»; вскоре царь Борис лишил Симеона вотчины, сослал в дальний городок и, по слухам, ослепил. Не остался равно-

[9] Внук Мамая Лекса перешел на службу к великому князю литовскому Витовту, принял в Киеве крещение под именем Александр и, получив от Витовта в удел город Глинск, стал именоваться князем Глинским. Его потомок князь Василий Глинский, вместе с братьями Иваном-Мамаем и Михаилом, в 1508 г. выехал из Литвы в Москву, а в 1526 г. дочь Василия Глинского Елена вышла замуж за великого князя Василия III и стала матерью Ивана IV (Долгоруков 1857:359; Зимин 1988:142).

[10] Например, на приеме посольства Бауса (1583–1584 гг.) царь сидел «имея возле себя три короны: московскую, казанскую и астраханскую» (ЧОИДР 1884:98).

душным к долгожителю Симеону и Лжедимитрий I, постригший его в монахи под именем Стефан, и Василий Шуйский, велевший сослать Симеона на Соловки. Как видно, на рубеже XVI–XVII вв. иерархические игры Ивана IV представлялись реальным риском.

Апогеем «крещеного ордизма» стало правление Бориса Годунова, потомка татарского мурзы Чета, выехавшего из Орды в Москву при Иване Калите, крестившегося под именем Захария и основавшего в 1330 г. Ипатьевский (Ипатский) монастырь под Костромой (Любавский 1996:189). Само избрание нового царя «всем миром» служит иллюстрацией этого гибрида колонизации:

> Под угрозой тяжелого штрафа за сопротивление полиция в Москве сгоняла народ к Новодевичьему монастырю челом бить и просить у постригшейся царицы ее брата на царство. Многочисленные пристава наблюдали, чтобы это народное челобитье приносилось с великим воплем и слезами, и многие, не имея слез наготове, мазали себе глаза слюнями, чтобы отклонить от себя палки приставов. Когда царица подходила к окну кельи, чтобы удостовериться во всенародном молении и плаче, по данному из кельи знаку весь народ должен был падать ниц на землю; не успевших или не хотевших это сделать пристава пинками в шею сзади заставляли кланяться в землю, и все, поднимаясь, завывали, точно волки. От неистового вопля расседались утробы кричавших, лица багровели от натуги, приходилось затыкать уши от общего крика (Ключевский 3 1988:25, 26).

За впечатляющим «московским голосованием» последовало создание Годуновым целой индустрии слежки, доносов, опал, пыток, казней. Этот, по выражению В. О. Ключевского, «рабоцарь» (царь из рабов) представлялся современникам «загадочною смесью добра и зла», и именно ему, правившему Московией уже при царе Федоре, Россия обязана крепостным правом (Ключевский 2 1988:290, 291; 3 1988:20–29).

В XVI в. на стыке монгольской (ордынской) и нижнерусской культур сложилась орд-русская или московская (по названию ее форпоста) культура, основанная на жестком централизме власти и военно-данническом промысле. «Оседлый ордизм» (в российском варианте «крещеный ордизм») существенно отличен от своего кочевого прообраза. Ордизм органичен для кочевья, а в статичном социальном теле он вызывает вздутия и разрывы (смуты).

В российской историографии фактор орды (ига) расценивается в широком спектре: (1) «Золотая Орда в период расцвета — по-видимому, самое свободное и отличающееся высоким уровнем жизни населения степной зоны богатое государство Европы... Верховная власть Орды... способствовала формированию на Руси единого мировоззрения и, следовательно, этноса — русского этноса» (Кульпин 1998:24, 183); (2) «Русские князья оказывались лично зависимыми от Орды, как крепостные, они привыкали к рабскому, унизительному положению... Представления о нормах права — как международного, так и государственного, а тем более личного — на несколько столетий были совершенно исключены из системы мышления русского народа... Ясно, что все это создавало не только препятствия на пути развития русской государственности, придавало этому развитию уродливо-извращенные, чисто рабские черты, но и оказывало огромное негативное воздействие на формирование психологии русской нации в целом, причем как общественной, так и личной психологии» (Похлебкин 2000:43). С разных позиций историки сходятся в том, что именно ордынский период был временем формирования этносоциального пространства России, при этом факт нациестроительства вызывает воодушевление, а качество рожденной «в холопстве» нации — уныние.

Н. М. Карамзин, завершая рассказ о «стоянии на Угре», облегченно вздохнул: «Здесь конец нашему рабству» (Карамзин 1 2003:722). Это верно в плане прямого подчинения Руси Орде. Однако сам по себе ордизм не ушел вместе с ханом Ахматом в степь. Он основательно укрепился в Московии, превратившись в один из господствующих в пространстве России архетипов. Русь освободилась от Орды, но не от ордизма, вросшего в ее менталитет и политику. По наблюдению Г. В. Вернадского, «влияние монгольской модели на Московию дало свой полный эффект только после освобождения последней от монголов» (после 1480 г.) как «эффект отложенного действия», связанный с переходом на московскую службу «сонмов татар» (Вернадский 1997:341, 342).

Пополох

Кочевой ордизм подразумевал не оккупацию страны, а ее превращение в военно-промысловое угодье, где собиралась дань,

шла охота на рабынь и рабов. Монголам вполне по силам было навести жесткий порядок в дани и повинностях, но это лишало «дикую охоту» прелести азарта и риска. Создается впечатление, что они намеренно не сближались с завоеванными народами, сохраняя их статус «дичи». Кочевая колонизация оседлой страны состояла не в оседании кочевников в городах, а в контроле над покоренным пространством. С оседанием кочевник теряет власть над пространством и начинается новая фаза колонизации — «переход кочевников на оседлость».

Примечательно, что изначально к улусу Джучи отошла лишь Нижняя Русь — область рек южного стока, некогда принадлежавшая хазарам, а затем находившаяся в орбите влияния печенегов и половцев, тогда как Верхняя Русь, по рекам балтийского стока, оставалась вне ордынских рейдов. Поход полководцев Батыя не достиг Новгорода, что обычно объясняют весенней распутицей и неудобством северных дебрей для степной конницы. Все это верно, но суть в том, что монголы отправились на Русь не ради оккупации страны, а на большую облавную охоту, которая предполагала не только азартный разгул, но и своевременное возвращение. Судя по всему, Бурундай не дошел 100 верст до Новгорода по «промысловому расчету» облавы и возвращения с добычей. Северная поворотная точка конной облавы степняков и позднее находилась примерно на том же тверском рубеже, где весной 1238 г. остановилась монгольская конница.

«Оседлым углом зрения» представляются описания ордынских ратей как завоевательных военных походов. Так выглядят рассказы летописей и в еще большей мере историков, повествующих об ордынско-русских отношениях как о межгосударственной политике. Действительность проще: ордынцы регулярно проводили на Руси облавную охоту на людей, а попутно усмиряли мятежных князей. Ордынцы брали один и тот же город многократно не потому, что в очередной раз утверждали свое господство, а потому, что промысловое угодье «поспевало» для нового опромышления. Впрочем, в этом промысле было свое распределение ролей: ордынцы тешились добычей, русские князья использовали, как могли, эти рейды для своих целей. Некоторые (лучше других Иван Калита) умудрялись выступать диспетчерами татарских походов, и в этом состоял внутриколониальный менеджмент. Расчет

призывавших татар князей состоял в том, что татарская рать не оставалась на Руси, а лишь грабила ее и удалялась прочь с добычей.

Главной добычей для кочевников всегда были люди-рабы, и не только в целях экономической выгоды от работорговли. Европейское мышление, сводящее все жизненные цели к деньгам и обогащению, отличается от кочевнического, для которого деньги и богатства служат эквивалентом лишь в общении с европейцами. Для кочевника сама по себе власть над «стадами людей» имела базовый жизненный смысл, и «стадо», контролируемое напрямую или на расстоянии, было экзистенциальной ценностью и «человеческим капиталом». Кочевое кормление представляло собой своеобразный стиль колонизации, когда колонисты не оседали, а периодически кочевали по покоренному улусу.

На Руси набеги татар вызывали состояние, называемое в летописях «пополох». По смыслу это напоминает потревоженное охотниками промысловое угодье. Одна из функций русских князей, с точки зрения хана, состояла в умиротворении людей после облавы для их восстановления к следующей облаве. Эта роль сродни егерской по поддержанию порядка в охотничьих угодьях и их охране от посторонних вторжений. По-видимому, жители Руси толком не понимали, что с ними происходит и почему завоеватели не правят ими, а занимаются «люделовством». Разумеется, ни о какой договорной основе подобных отношений речь не шла, и от неясности происходящего «пополох» только усиливался.

Летописцы наполняют описание каждого нашествия Орды драматическими подробностями, важными для русских князей и самих летописцев. Для Орды каждая такая драма была лишь поводом для очередной «охоты», и все нашествия проходили по одному сценарию:

> Скрывая свое движение от московских степных разъездов, татары крались по лощинам и оврагам, ночью не разводили огней и во все стороны рассылали ловких разведчиков. Так им удавалось незаметно подкрадываться к русским границам и делать страшные опустошения. Углубившись густой массой в населенную страну верст на 100, они поворачивали назад и, развернув от главного корпуса широкие крылья, сметали все на пути, сопровождая свое движение грабежом и пожарами, захватывая людей, скот, всякое ценное и удобопереносное

> имущество... Полон — главная добыча, которой они искали, особенно мальчики и девочки. Для этого они брали с собой ременные веревки, чтобы связывать пленников, и даже большие корзины, в которые сажали забранных детей. Пленники продавались в Турцию и другие страны. Кафа была главным невольничьим рынком, где всегда можно было найти десятки тысяч пленников и пленниц из Польши, Литвы и Московии. Здесь их грузили на корабли и развозили в Константинополь, Анатолию и в другие края Европы, Азии и Африки... Пленные прибывали в Крым в таком количестве, что один еврей-меняла, по рассказу Михалона, сидя у единственных ворот перекопи, которые вели в Крым, и видя нескончаемые вереницы пленных, туда переводимых из Польши, Литвы и Московии, спрашивал, есть ли еще люди в тех странах, или уж не осталось никого (Ключевский 2 1988:197, 198).

Князьям приходилось умиротворять разоренный очередным набегом Русский улус, а летописцам (и позднее историкам) подбирать слова для толкования этой охоты как политического события. Нередко случались конфузы и в действиях князей и в пояснениях летописцев, отчего возникали картины «паники на птичьем дворе». Например, вторжение татар зимой 1239 г., по словам М. К. Любавского, «вызвало сильную панику среди населения, еще не пришедшего в себя после Батыева погрома» — «Бе же пополох тогда по всей земле, сами бо себя людие не ведаху кто где бежит от страха». В 1252 г. Неврюева рать, разбив князя Андрея Ярославича и уведя в Орду множество людей, также вызвала «пополох» и бегство жителей, и князю Александру Ярославичу «пришлось собирать разбежавшихся людей и водворять их на прежнее местожительство». Князь Андрей городецкий, четырежды приводивший на Русь татар, пытался нацелить их на Переяславль, где сидел с дружиной его противник князь Дмитрий, но татары, едва ступив на Русь, «рассыпались по всей стране, ... все запустошили и пограбили... и повели в плен мужчин, женщин и детей». Показательна траектория Дюденевой рати, которую в 1293 г. привел на Русь Андрей: татары «опустошили Муром, Владимир, Суздаль, Юрьев, Переяславль, Москву, Коломну, Можайск, Волок Ламский, Дмитров, Углич и другие города и уезды» (Любавский 1996:183).

Ю. Г. Алексеев заметил, что «длительность ордынских “ратей” измерялась, как правило, неделями, самое большое 1–2 месяцами...

В случае успеха (Тохтамыш в 1382 г., Едигей в 1408 г., Улу-Мухаммед в 1439 г., Мазовша в 1451 г.) они форсировали Оку, выходили к Москве, рассыпались отрядами по Русской земле, предавая города и волости огню, мечу и разорению... Тохтамыш простоял под Москвой всего несколько дней, а затем, взяв ее, быстро отступил за Оку. Едигей стоял под Москвой три недели, Улу-Мухаммед — десять дней, Мазовша — два дня». Правда, это точное наблюдение истолковывается несколько прямолинейно: «На длительную кампанию у Орды не хватало сил и средств», и только в 1480 г. на Угре «впервые за всю историю русско-ордынских войн хан Ахмат проводил длительную кампанию, не надеясь на внезапность, а рассчитывая нанести удар наверняка и с решительным политическим результатом» (Алексеев 1989:90, 91).

Риторика научного сочинения — «удар наверняка», «решительный политический результат» — иллюстрирует разность менталитета кочевника и историка. Там, где ордынский воин тешился удалью, разбоем и добычей, ученый ищет значимого политического итога. Затем оказывается, что победа (например, над Мамаем) вдруг оборачивается поражением (от Тохтамыша), и вместо «решительного результата», которого так недостает историку, обнаруживается бесконечная и беспечная охота, из-за которой «иго» вместе с «пополохом» затягивается на два с половиной века.

Слово «пополох» странным образом созвучно слову «холоп», и в исторической реальности они взаимосвязаны: холопство — не социальный статус, а состояние души, подавленной страхом и растерянностью. Когда Иван Грозный заявлял: «Жаловать своих холопей вольны мы и казнить их вольны же», — он обращался к охватившему все слои московитов холопству. «Пополох» надолго пережил «иго» — иго прошло, а пополох остался. Тактика пополоха как тонуса стадного страха была своего рода порядком, поддерживаемым Ордой в покоренных улусах, а затем, как и методы укрощения «князей по вызову», была унаследована российской практикой управления.

***

Ордизм соответствует типу властной, или административной, колонизации, в максимальной форме представленной кочевыми империями. Прочно вошедший в культуру Руси-Московии, ор-

дизм не обошел своим влиянием и Европу, где он выразился в арабском завоевании. Можно видеть сходство в проектах Генриха Мореплавателя (1394–1460), сочетавшего реконкисту и католицизм, и Ивана III (1440–1505), связавшего русскую реконкисту и византийскую идею.

Проще всего отождествить ордизм в российской традиции с имперскостью, культом правителя, завоевательной агрессией и, соответственно, с властной, или административной, колонизацией. Однако через ордизм в русскую культуру передалось и свойство мобильности и мобилизации (на психологическом уровне это до сих пор выражается кличем *ура*, заимствованным русскими от ордынцев). В отличие от быстро расцветающих в войне и гибнущих в мире степных кочевых империй, Московское царство укрепилось на цепкой славянской локальности и ордынской магистральности. По потенциалу и устойчивости московская культура превзошла соседние, включая степных кочевников и вечевых людей Севера.

Ордизм поныне жив, сохраняя Россию как страну единовластия. Он создает основание традиционного межэтнического диалога русских и татар, а в идеологическом измерении — евразийства. При этом он довлеет настолько, что историки до сих пор следуют ему, не осознавая корней своей приверженности единству и целостности державы. Остается удивляться, насколько близко в пантеоне героев отечества стоят столь разные персонажи, как Александр Невский и Дмитрий Донской — применительно к сюжетам колонизации первый привел Русь в иго, а второй вывел ее обратно. Однако по существу это справедливо, так как ордизм — не темный эпизод российской истории, а ее устойчивый вектор.

Глава 7. Понтизм, или теополитика

Югоцентризм. Путь к смирению. Миссия в Сарае. Освящение и проклятие. Затмение. Траектория мифа. Византийские грезы

Нордизм и ордизм не ужились бы в одном пространстве без идеологического купола, преобразующего их жесткие силовые линии в картину порядка. Эта третья магистраль имеет вид теополитики — «политики от бога», призванной придать реалиям идеальный облик, создать сверхдействительность. Речь идет не о фикции, а о практической идеологии, организующей и упорядочивающей мотивы и ценности. Такую роль, как заметил К. Гирц, играет религия, образующая «ауру абсолютной реальности», или «реальной реальности» (Geertz 1973:112). Гуманитарные технологии, которыми оперирует религия, существенно отличаются от технологий, генерирующих реалии иного уровня, например демографические или экономические. Религиозный дизайн пространства — дело умов, душ и рук посвященных, принимающих на себя бремя высшей, а иногда единственной, «истины».

Как-то в середине 1990-х на лекции в Дартмутском колледже меня спросили: «Кому в России принадлежит земля?» Я ответил: «Богу. Вопрос лишь в том, кому в России принадлежит Бог». Можно применить это суждение к земле не только в физическом смысле, но и в ее измерении как страны или народа. Во все времена у разных народов религии не только освящали действия, но и направляли их. Из уже рассмотренных сюжетов экспансии и колонизации это видно по роли Дельфийского оракула в греческой колонизации, религиозной идеи — в проекте португальского принца Энрике. Без «перста Божьего» не состоялась ни одна колонизация, без идеи богоизбранности не обошлась ни одна империя. Это в полной мере относится и к России, судьба которой пропитана религиозностью.

Понятие «понтизм»[1] (от греч. *πόντος* — «море») как историко-географическое обозначение пути, по которому в Восточной

[1] Слово «понтизм» — не самое благозвучное для русского слуха, зато удобно в сочетании с ордизмом и нордизмом. Можно игнорировать жаргонное значение слова *понт* («выгода», «блеф»), хотя оно по случайному совпадению перекликается с характером некоторых идеологем и мифологем, свойственных понтизму.

Европе шли завоевания и религии, относится ко времени, когда Понт (Черное море) был крупнейшим евразийским перекрестком водных и сухопутных коммуникаций. Здесь сплетались магистрали юга (пути вдоль гор в эпоху камня и по морским проливам в эпоху металла), севера и запада (речные пути Балто-Понтийского междуморья) и востока (по Великой степи). Именно в Причерноморье, по представлениям древних, проходила граница между Европой и Азией.

С эпохи бронзы на этом перекрестке южные царства встречались с «северными варварами». Если для южан этот путь вел в Колхиду и Гиперборею, то для северян он был дорогой в Элладу, позднее в Рим, Царьград и Святую землю. В понтийском узле в разное время сплетались эллино-скифский (или даже милетский, судя по господству милетских колоний на берегах Понта Евксинского) и римско-готский пути коммуникации. В теополитическом измерении эта магистраль выразилась в эллинском влиянии на Причерноморье, затем в распространении христианства в Закавказье (Армении, Грузии), иудаизма (у хазар), ислама (у булгар и кочевников степей). В эпоху варяжской Руси южный (понтийский) вектор реализовался в походах викингов на Византию и Болгарию, принятии ими христианства от ромеев (по преданиям, со времен Аскольда и Дира) и религиозной зависимости Руси от византийской церкви.

Югоцентризм

В российской историософии понтийский вектор устойчиво соотносится с греческим православием и нередко именуется «византизмом», хотя он действовал задолго до рождения Византийской империи (IV в. н. э.) — по меньшей мере, со времен греческой колонизации Причерноморья, в том числе появления дорийского Византия (VII в. до н. э.). К. Д. Леонтьев, первым употребивший слово «византизм», сетовал, что оно сослужило ему «плохую службу в русской литературе», вызывая бесконечные нападки даже со стороны единомышленников (Леонтьев 1996:663).

В историографии этот вектор выражен югоцентризмом, опирающимся на версию дунайского (южного) происхождения славян, звание Киева «мати градом русьскым» и византийские истоки православия. Между тем это наименование Киева связано не с рожде-

нием, а с крещением; Киев, если угодно, — «крестная мать» (или отец) Руси. Как заметил И. П. Медведев, прозвание Киева «матерью городов» исходит из его соперничества с Константинополем (aemula Sceptri Constantinopolitani) и «является несколько неуклюжим калькированием греческого слова женского рода “митрополис” (преном Константинополя), в то время как и название “Киев” и само русское слово “город” — мужского рода» (Медведев 2014:301). Иначе говоря, звание «матери» применительно к Киеву — не более чем подражание византийскому обозначению Константинополя как «матери городов» (mitropolis).

В летописях нет названия «Киевская Русь» — это поздний и поныне популярный идеологический и историографический конструкт, настраивающий на восприятие Киева как очага древней государственности Руси. Эта идеологема настолько увлекательна, что заставляет даже серьезных исследователей опрокидывать реалии и представлять становление государства с юга на север — толковать путь «из варяг в греки» как путь «из грек в варяги» (Рыбаков 1982:284, 294). Идеологема «Киевская Русь» — эффект понтизма в двух смыслах: как доктрина югоцентризма и как теополитика христианства.

Долгие столетия христианство называлось на Руси «греческой верой». Многие ранние святители и миссионеры происходили из греков, в том числе создатели славянской письменности монахи из Фессалоник Кирилл и Мефодий, креститель киевлян в 988 г. архиерей Михаил, основатели Киево-Печерского монастыря монахи Антоний и Феодосий, строитель киевской Софии Иоаким (Анимица 2003:10, 11). За редкими исключениями, вроде митрополита Илариона, церковными иерархами на Руси были греки. Константинопольский патриарх полностью контролировал русскую епархию, направляя на Русь митрополитов, назначая епископов, а иногда архимандритов и игуменов; раз в два года киевский митрополит ездил в Константинополь с подарками и отчетом, а также отправлял патриарху дань, собираемую с русских архиереев и епархий. Некоторые киевские митрополиты-греки и на Руси хранили свои константинопольские придворные титулы, ставя их на своих печатях: протопроедр и митрополит Ефрем (1054–1068), митрополит и сенкелл Георгий (ок. 1068–1073). Таким образом, отмечает Я. Н. Щапов, «во главе русской церкви постоянно нахо-

дился официальный представитель другой державы» (Щапов 1989:56–58; см. также: Николаевский 1879:12, 13). По словам С. А. Зеньковского, «Русская церковь всегда считалась Византией чем-то вроде колониальной, но богатой, экономически очень выгодной, но духовно вовсе не такой уже ценной частью Константинопольского патриархата, от которой ожидали подарков, денежной помощи, почитания и послушания, а не равного с Византией культурного уровня» (Зеньковский 2006:138).

Религиозную экспансию можно считать особой формой колонизации, которая выражается в движении не столько людей, сколько идей. Навстречу религиозным идеям и миссионерам по понтийскому пути двигались паломники, наемники и рабы. Как отметил С. П. Карпов, в XIII–XV вв. «через византийскую территорию шел поток рабов из Северного Причерноморья в мамлюкский Египет» (Карпов 2014:41). Русская епархия была одной из семи десятков митрополий Константинопольского патриархата и не могла служить каналом массовой миграции греков на Русь. Однако малое количество греков на Руси несопоставимо с огромной ролью внесенного ими христианства. Религиозная идея часто оказывается более сильным колонизатором, чем толпы мигрантов и вереницы торговцев. После крещения на рубеже тысячелетий Русь превратилась из варяжской в христианскую.

Религиозная колонизация, представляемая постфактум как духовная судьба, в действительности полна драм и альтернатив. И дело не в массе смертей, сопровождавших религиозные войны, а в изменении смысла жизни и бытия. Осуществляемая от имени бога религиозная колонизация открывает сверхъестественные возможности для тех, кто от этого имени действует. На Руси первыми крестились викинги (по легенде, начиная с Аскольда и Дира), некогда ополчившиеся на христиан, а затем сами принявшие христианство, захваченное в числе прочих трофеев на юге и западе Европы. Варяги, которые прежде пробивали путь мечом, отныне освятили его крестом. Выбор Владимира позволил ему преодолеть в себе и в Руси господско-рабскую варяжско-славянскую двоякость и создать христиано-русскую общность, освященную имперской религией.

Теополитика Владимира в короткий срок сделала его Святым, а княжескую резиденцию Киев — столицей христианской Руси.

В «Слове о законе и благодати» (1051 г.) киевский митрополит Иларион утверждает миссию князя Владимира: «как Константин Великий с матерью своею Еленой веру утвердил, крест принеся из Иерусалима и веру по всему миру распространив, так и ты с бабою твоею Ольгою принесъша крест от новаго Иерусалима, Константина града, и сего по всеи земли своеи поставивша, утвердиста веру». При Владимире, по словам Илариона, «капища разрушались и поставлялись церкви, идолы сокрушались и являлись иконы святых, бесы убегали, крест же освящал грады» (с той поры на долгие времена утвердились в качестве подвигов святых «сокрушение идолов» и «разрушение капищ»). В заслугу «кагану Георгию» (князю Ярославу Мудрому) Иларион ставит создание величественного Киева: «И славныи град твои Кыев величьствомъ, яко венцемь, обложилъ, предалъ люди твоа и градъ святыи, всеславнии... “Радуися, благоверныи граде! Господь с тобою!”»

Впрочем, не только Владимир и Ярослав, но и церковные иерархи, в том числе Иларион, созидали новую для Руси «абсолютную реальность». По словам Д. С. Лихачева, киевский митрополит выступил «предвещателем духовной судьбы России и русского народа»: «Концепция Илариона, считавшего Русь и ее главный город Киев преемниками миссий Константинополя и Иерусалима, продолжала существовать и после завоевания Руси в XIII веке татарами, а на падение Киева ответила усложнением концепции, видя в городах Владимире и Москве преемников Киева и Второго Рима — Константинополя» (Лихачев 2007:35, 36).

Можно только догадываться, каким религиозным энтузиазмом были охвачены в ту пору князья и их окружение, если за короткий срок Киев превратился в сопоставимый с Константинополем город храмов. Титмар Мезенбургский в начале XI в. характеризовал Киев как большой город с 400 церквами и 8 рынками. Адам Бременский называл его соперником Константинополя и «блестящим украшением Греции» (православного мира). В пожаре 1017 г. в Киеве сгорело до 700 церквей (Ключевский 1 1987:182). Столица Владимира и Ярослава представляла собой религиозную колонию Византии, стремительно превращавшуюся в метрополию («мать городов») вновь крещенной страны. В подражание Константинополю «Киев украшают золотыми воротами, строят в нем церкви тем же святым, что и в Константинополе (св. Ирины, св. Георгия, но прежде

всего, конечно, св. Софии)» (Медведев 2014:301). В распространении храмов Софии от Константинополя до Киева, а затем до Новгорода и Полоцка видится траектория «софийской колонизации» с греческим клиром и царственным обликом храмов.

Не только блеск куполов многочисленных церквей освящал новую реальность Руси. Как отмечал Д. С. Лихачев, сила русской культуры и христианства — в письменном слове, которым в полной мере владели церковь, монастыри, монахи (Лихачев 2007:60, 61). Слово от бога способно изменить историю, создав миф, который в свою очередь становится фактом истории. Христиано-центризм (югоцентризм) книжников-монахов, заместивший варяжский североцентризм, скоро передался всем книжным людям, а через них и обывателям (по древнерусской пословице «свет инокам — ангелы, свет мирянам — иноки»). С появлением славянской письменности и распространением христианства в ментальной карте жителей Руси ось мироздания уперлась в Царьград и Святую землю.

Понтийская магистраль была не только руслом греческой религии, но и генератором русско-христианской мифологии. По ней на Русь передалась идеологема Царьграда как нового Иерусалима и нового Рима, а Киева как нового Царьграда, из которой произросли идеи «Русь — новый Израиль», «Москва — новый Иерусалим», «Москва — третий Рим» (см.: Ботор 2009). Религиозно-мифологическая эстафета Иерусалим–Рим–Константинополь–Киев–Москва служила каналом постоянной подпитки христианской идентичности.

Расцвет Киева, пришедшийся на княжение Ярослава, был недолог. Киев вырос как южнорусский форпост на пути из варяг в греки, а с его освящением и возвышением на Руси сменился вектор магистрального движения: оно пошло в противоположную сторону, с юга на север. Ярослав на Царьград уже не ходил, завоеваниям предпочитал матримониальную международную политику, «любил церковный устав» и книги, строил города и храмы. Социокультурный взлет «Киевской Руси» принято связывать с благотворным воздействием христианства и политики централизации. На самом деле величие это было подготовлено трехвековым движением норманнов (руси) и северных славян по балто-понто-каспийским магистралям, а южная религия лишь прошла по путям, проложенным северными язычниками. Когда

же единение в северном пути сменилось единением в южном боге, Русь начала слабеть и распадаться. «Варяжский путь» замер, крестившиеся варяги осели, динамичная прежде Русь распалась на статичные локальные княжества.

Киевский понтизм был по-своему порождением ладожско-новгородского нордизма и в то же время его инверсией. Это был обратный путь в разных смыслах — с юга на север, от магистральности к локальности. Религия, пусть и имперская, была не механизмом магистрального движения, а адаптивной идеологией. Периферийность Руси в тогдашней христианской ойкумене и церковной иерархии не мотивировала развитие самобытности, тем более что агенты этой идеологии направлялись из метрополии-Византии и служили ей. Собственных ресурсов для усиления Руси греко-православной церкви явно недоставало.

Киев как «псевдо-Константинополь» отцвел и ослабел уже в домонгольский период: при Ярославичах он еще был первым столом, через поколение — одним из первых, а затем был заброшен — Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо не ехали в Киев, посадив туда своих ставленников. Как отметил Б. Самнер, упадок интереса русских князей к Киеву ознаменовался его разграблением в 1169 г. Андреем Боголюбским (Sumner 1947:35). И дело не в атаках торков или половцев — с кочевниками у киевлян сложились вполне союзнические отношения, включавшие браки и крещение половецкой знати. Мотивация русской элиты сократилась в масштабах и локализовалась на уделах. Киевский стол утратил великокняжеский статус со смертью Александра Ярославича (1263 г.), а в конце XIII в. из Киева бежал и митрополит Максим, после чего город пришел в запустение. Впрочем, особая роль Киева, несмотря на его неожиданно скорый закат, долго оставалась религиозно значимой: до образования в 1589 г. Московского патриархата митрополит Русской церкви звался Киевским.

Путь к смирению

«Бога бойтеся, царя чтите», — увещевал паству в первом соборном послании апостол Петр. Описывая воздействие проповеди Христа на дикую и грубую натуру северных варваров, в том числе готов, Афанасий Александрийский отметил: они приносят жертвы своим идолам, яростно враждуют друг с другом и даже од-

ного часа не могут остаться без оружия, но, приобщившись к христианству, тотчас же от войны обращаются к земледелию (цит. по: Буданова 1990:71). На свой лад один из восточных авторов так же судил о варягах-русах: «В 912–13 г. или 944–45 г. русы приняли христианство, но исповедание этой веры “притупило их мечи”, и они отправили четырех мужей в Хорезм, чтобы при посредстве хорезмшаха стать мусульманами» (Заходер 1962:32). На самом деле римский противник арианства и восточный поборник ислама правы лишь отчасти: теополитика христианства с одинаковым успехом поощряла агрессию завоевателей и покорность побежденных — в пластичности состоит универсальность мировой религии.

Христианство адаптивно к любой власти, безотносительно ее этничности, демократичности и даже конфессиональности. Подобно чужеземной военной гвардии вроде верингов в Византии или янычар в Турции, христианские духовные миссии — например, греческих святителей Руси митрополитов Михаила (990–992 гг.), Леонтия (992–1007 гг.) и Иоанна (1007–1015 гг.) — действовали по воле правителя, преступая и разрушая местные традиции. Чужеземная отстраненность греков-иерархов позволяла им «по воле божьей» игнорировать жизненные драмы покоряемых язычников и освящать власть, в согласии с которой проводилась христианизация. Международная дипломатия светских и религиозных иерархов допускала множество ухищрений, благодаря чему у чужеземных священнослужителей на Руси сложилась репутация «хитрых греков». По словам В. О. Ключевского, «грек и плут всегда считались у нас синонимами» (в летописи XII в. об одном епископе сказано: «Был он льстив, потому что был он грек»). Объясняется это тем, что «насаждать христианство в далекой и варварской митрополии константинопольского патриарха присылались в большинстве далеко не лучшие люди из греческой иерархии... Отчужденные от паствы языком, понятиями и сановным церемониалом, они не могли приобрести пастырского влияния, довольствовались установкой внешнего церковного благолепия, усердием набожных князей и старательно пересылали на родину русские деньги» (Ключевский 3 1988:274).

Не раз отмечался парадокс: в условиях ордынского ига православие на Руси окрепло. Более того, язычники монголы и мусульмане татары поразительно легко нашли общий язык с христиан-

ской церковью на Руси. По этому поводу клерикалы любят толковать о чудотворной силе истинной веры, усмиряющей самых свирепых воителей, другие (например, Л. Н. Гумилев) — о тайных христианских пристрастиях степных владык, в том числе хана Сартака. На самом деле монголы действовали по правилу теополитики, согласно которому самым надежным способом покорения страны является контракт с держателями религии. Если удается поладить с церковью, окормляемая ею паства покорно следует за своими пастырями; если же, напротив, местная церковь не идет на сговор с завоевателем, сопротивление становится необоримым.

Разность религиозной реакции на монгольское нашествие хорошо видна в сопоставлении языческой Литвы и христианской Руси. Восточная Русь с христианской смиренностью несла на себе монгольское иго, когда по соседству, в это же самое время в боях поднималась языческая Литва, ставшая реальным противовесом Орде. Литовские вожди и жрецы, до 1254 г. удерживавшие свою страну от крещения, успешно противостояли внешней агрессии, несмотря на разрозненность племен и междоусобицы вождей; более того, именно в отстаивании независимости литовские племена образовали государство во главе с князем Миндовгом. В то самое время, когда после битвы на Калке русские князья уповали на божью милость, Литва расширяла свои пределы, сражаясь по кругу своих границ. В 1236 г. Миндовг разгромил под Шауляем войско крестоносцев, направленное папой Григорием IX на языческий оплот Европы. Одновременно литва не только отразила набеги татар, но и завоевывала западнорусские земли.

Восточная Русь полностью покорилась завоевателям и признала себя улусом Орды. Эта покорность обычно воспринимается как безысходность. Однако у нее была своя режиссура, нагнетавшая атмосферу обреченности. На первый взгляд, эту режиссуру следует приписать хану Батыю в его вышеописанном «зависании». Однако погромы, как бы кошмарно они ни выглядели, не затронули многих крупных городов (в том числе Смоленска, Новгорода, Пскова); монгольская конница вернулась в степь, а затем отправилась в долгий европейский поход. Монголы не физически оккупировали Русь, а подавили ее психически. По возвращении из Европы Батыю даже не пришлось повторять военные рейды — русские князья сами явились к нему на поклон.

В картине покорения монголами Руси теряется за своей кажущейся очевидностью факт наречения монгольского хана царем. Владимирская (Лаврентьевская) летопись именует Батыя царем уже под 1237 г. в описании прихода татар «на Рязанскую землю», тогда как галицкая (Ипатьевская) обходится без этого титула. По наблюдениям А. А. Горского, русские летописцы начинают так величать сначала великого хана в Каракоруме, а с 1260-х гг. — правителя Улуса Джучи. Прежде титул «царь» («цесарь») относился на Руси только к византийскому императору. Позднее, с конца XII в., он распространился на императора Священной Римской империи («цесарь немецкыи», «цесарь римьскыи», «Фридрих цесарь»). Поскольку незадолго до монгольского нашествия, в 1204 г., Царьград был захвачен крестоносцами, на Руси это событие было расценено как «погибель царства». Образовавшуюся на месте «царства» лакуну и заполнила собой Орда, на правителя которой был перенесен царский титул (Горский 2005:87).

В этой реконструкции опять-таки скрыта режиссура: кому на Руси так остро не хватало «царства» и кто «благословил на царство» монгольского хана? Учитывая, что слова «царь» и «царство» на Руси исконно содержались в религиозном лексиконе и репертуаре, становится очевидной ключевая роль церкви и Византии в признании новой власти. Именно церковь обладала монополией на идею «царства», имевшую на Руси скорее духовное, нежели светское, содержание. Если факт перенесения царского титула с византийского императора на монгольского хана представить как действие, то окажется, что греческие церковные иерархи (никто иной не мог санкционировать повсеместное употребление этого священного понятия монахами-летописцами) передали высший символ власти монгольскому хану, что само по себе выглядит как «заочное венчание» монгольского хана на православное царство. В этом смысле становятся понятными летописные клише, сопровождавшие выдачу князьям ярлыков от хана, — «пожалованы богом и царем».

Режиссура, в отличие от императива, включает драматургию, сочетающую разные мотивы и позиции. Новый миропорядок был, с одной стороны, освящен исходящей от бога (церкви) иерархией, с другой — насыщен мотивами божьей кары и богоугодного страдания. Если в Варяжской Руси христианство было религией

победителей, то в Ордынской Руси оно стало религией побежденных. Монахи-летописцы в духе христианской традиции характеризовали набеги кочевников, например половцев в 1092 г., как божий промысел: «Это Бог напустил на нас поганых, не их милуя, а нас наказывая, чтобы мы воздержались от злых дел. Наказывает он нас нашествием поганых; это ведь бич его, чтобы мы, опомнившись, воздержались от злого пути своего» (ПВЛ 2003:67). По традиции и нашествие татар объявлялось «батогом Божьим, вразумляющим грешников, чтобы привести их на путь покаяния». В религиозном репертуаре уже присутствовала удобная формула перестановки ценностных акцентов — с превосходства на смирение и покаяние.

Впрочем в средние века не только христиане, но и мусульмане видели в монголах карающий меч бога. Перс Джамал ал-Карши размышлял: «Может быть, они [монголы] — одно из знамений конца Света? Может быть, Аллах дал им власть над людьми, заставив повиноваться им, благодаря чему смог сломать шеи персидских царей и укротить беспредельную власть румских кесарей. Они — победоносное племя Аллаха, захватывающее всё и всех на земле. Их ожидала победа везде, куда бы они ни направлялись» (Юрченко 2006:277, 278). В мировых религиях победитель не может не быть силой и волей Всевышнего — в этом состоит технология контроля над всем сущим и происходящим, а также готовность религии обернуться для побежденных формулой смирения.

Религия — не руководство к конкретному действию, а обширный диапазон возможностей, и не христианство как таковое звало Русь в рабство, а тогдашние идеологи и правители церкви. Ни одна религия, в том числе христианство, не настроена исключительно на господство или рабство, победы или поражения. В одних ситуациях она выступает боевым знаменем, в других — утешением. В религии, как и в «воле божьей», отыскиваются мотивации и оправдания любым действиям и следствиям. И не сами религии, а священнослужители превращали их в средство господства или рабства, вернее и того и другого в разверстке на соответствующие социальные слои.

«Молиться, а не сражаться» — установка христианства побежденных. Подобная интонация сопровождает монгольскую угрозу начиная с Калки. Когда в 1223 г. монголы преследовали уцелевших бе-

глецов у Днепра, жители города Святополча, по словам летописца, вышли навстречу не с мечами, а с крестами — и «так избавились от них» (ПСРЛ Т. 15 1965:343). На долгие годы вынос икон для избавления от врага (а в быту и от пожара) стал православной традицией сопротивления. Подобные средства поощрялись воспетыми летописцами чудесами спасения Руси ликами Богородицы: Смоленска — от татар в 1239 г., Москвы — от Тимура в 1395 г.

Религия побежденных генерирует соответствующие идеалы — культ страдания и жертвенности, в котором унижение представляется божьей волей и дорогой в рай, а конец света превращается в мечту. Свидетель монгольского нашествия Серапион владимирский с горечью взывает к своей пастве как к «последним людям»:

> Слышасте, братье, самого Господа, глаголяща в Евангелии: «И в последняя лета будет знаменья в солнци, и в луне, и в звездахъ...» Тогда реченное Господом нашимь ныня збыстьcя — при насъ, при последнихъ людех. Колико видехомъ солнца погибша и луну померькъшю, и звездное пременение! Ныне же земли трясенье своима очима видехомъ; земля, от начала утвержена и неподвижима, повеленьемь Божиимь ныне движеться, грехы нашими колеблется, безаконья нашего носити не можеть. <...> Мы же единако не покаяхомъся, дондеже приде на ны языкъ немилостивъ попустившю богу; и землю нашю пусту створша, и грады наши плениша, и церкви святыя разориша, отца и братью нашю избиша, матери наши и сестры в поруганье быша. Ныне же, братье, се ведуще, оубоимься прощенья сего страшьнаго и припадемъ Господеви своему исповедающесь: да не внидем в болши гневъ Господень, не наведемъ на ся казни болша первое (Памятники литературы 1981:440, 442).

И. Н. Данилевский (2005:131) отметил, что никакого «потом» в то время не существовало, «наступили последние времена». Примечателен диалог митрополита Кирилла с паствой при погребении князя Александра Ярославича: «Чада моя, разумейте, яко уже заиде солнце земли Суздальской!» — «Уже погыбаемь!». И бысть же вопль, и кричание, и туга, яка же несть была, яко и земли потрястися». Состояние безысходности и обреченности способствовало укреплению ордынской власти и даже ее обожествлению. Складывалась традиция, охарактеризованная применительно к московской России Н. А. Бердяевым: «Понимание христианства было рабье» (Бердяев 2004:20).

Татарские погромы воспринимались как преддверие конца света, когда всякое сопротивление судьбе противно богу. Возможно, некоторое время хан в Ордынской Руси воспринимался как антихрист, но царство его было по-своему законным и предреченным, и довольно скоро новоявленный царь стал «добрым», в русских церквах стали молиться за царя Батыя (позднее и за других ханов-царей), а в Сарае была создана православная епархия.

Эпизоды выдачи ярлыков русским князьям показывают, с какой легкостью ордынские цари обращались со своими «улусниками», и насколько бесправие русского князя в Орде нуждалось в религиозно-идеологическом примирении реалий и иллюзий. В русском восприятии правовой статус этому состоянию могла придать только церковь, и сращение ордизма с понтизмом было делом православных идеологов, создавших хану и Орде ореол богоугодного господства. Религиозная идеология заместила в Ордынской Руси русское право, существовавшее со времен Варяжской Руси.

Миссия в Сарае

Ощущение конца света при нашествии монголов дополнилось исчезновением последнего доордынского митрополита Руси Иосифа при взятии монголами Киева в 1240 г. На место пропавшего грека-митрополита Даниил галицкий назначил Кирилла, который побывал в Никее и добился у константинопольского патриарха Мануила II официального поставления в митрополиты Руси. По возвращении в Киев Кирилл объехал русские епархии (Чернигов, Рязань, Владимир, Новгород), а в 1261 г. основал новую епархию в Сарае (первым епископом сарайским стал Митрофан).

Сарайская епархия была учреждена на месте переяславской (в 1239 г. Переяславль-Южный был разгромлен и епископ Симеон погиб). Она возникла в разгар ордынской политики Александра Ярославича, при хане Берке, который был ревностным мусульманином, но стратегом в теополитике. Придя к власти в 1257 г., он провел перепись в подвластных странах, «и везде служители всех религий, исключая еврейских раввинов, были освобождены от подати» (Соловьев 2 1988:154). Подобная милость к служителям культа обеспечила Орде поддержку локальных религий, и учрежденная в Сарае епархия скрепила взаимодействие Орды и церкви.

М. К. Любавский полагает, что создание Сарайской епархии связано с большим количеством русских христиан, оказавшихся непосредственно в составе Орды.

> Татары, щадя русское окраинное население, имели на него и особенные виды, о которых узнаем из сообщений летописи. Так, татары оставили в юго-западной Руси население в Побужье и в Болохове, т. е. на верховьях Случи и Горыни и Южного Буга, «да им орют пшеницу и просо»... Летопись передает даже такой факт, что после погрома татарские баскаки устраивали на Украйне слободы, куда привлекали разными льготами разбежавшееся русское население, очевидно с той же целью взимания натуральной подати хлебом. Такие слободы, например, были устроены баскаком Ахматом около Курска. Затем, несомненно, что под непосредственную власть татар попали и рязанские селения по Хопру, Ворскле и Черленому Яру. Этим объясняются притязания на эти селения со стороны Сарайских епископов, которые поставлены были именно для русских, живших среди татар. Очевидно, что число этих русских было весьма значительно, если понадобилось основание особой епархии. Епархия называлась Сарайской или Подонской, по месту, где было главное кочевье Золотой Орды. К ней была причислена и епархия Переяславля южного, что может опять-таки служить косвенным указанием, что и в Переяславской области, наиболее опустошенной, уцелело какое-то население и что это население попало в непосредственную зависимость от татар... Пограничное русское население, состоявшее под непосредственной властью татар, управлялось татарскими баскаками и своими старшинами-атаманами, которые собирали дань и передавали баскакам. Такие атаманы, по известию литовско-русской летописи, были на Подолье [и в Поросье] (Любавский 1996:166).

По ритму жизни сарайская владычная кафедра больше напоминала ветхозаветную скинию, чем обычное епископство, поскольку кочевала вместе со ставкой хана и окормляла многочисленных и многоликих христиан Орды, за исключением якобитов и несториан. Она была частью Орды в двух смыслах — как участница ханского кочевья и как епархия для всех обитающих в Орде христиан, прежде всего русских. В первом измерении сарайский кочующий епископ обладал особыми возможностями взаимодействия с ханом и его приближенными, во втором — оказывался

в центральной позиции по отношению к Руси, поскольку отвечал за всех ордынских христиан, а Русь в ту пору была лишь одним из улусов Орды. Таким образом, пересечение силовых линий политической власти (с центром в Сарае) и религиозной власти (с центром в Константинополе) приобрело вид излома в сторону Орды.

По законам ордынской власти (близости к хану), у сарайского епископа возник мощный ресурс влияния на всю русскую епархию. Поскольку ярлыки князьям и епископам выдавались в ставке хана, легко представить, какую роль в судьбах светской и духовной власти на Руси играл приближенный к хану сарайский епископ. Вскоре возникла конкуренция за эту позицию, выразившаяся в трениях между киевским митрополитом и сарайским епископом. Во всяком случае, епископ Митрофан чем-то не устроил митрополита Кирилла и в 1269 г. был сменен Феогностом. Не исключено, что поставление Феогноста было встречным ходом Константинополя для установления доверительных отношений с Сараем.

С превращением Руси в ордынский улус остатки ее международных отношений реализовались через христианство. Впрочем, и эта функция контролировалась Ордой. Именно сарайский епископ Феогност выполнял дипломатические поручения хана: Менгу-Тимур трижды посылал его в Византию к императору и патриарху (последний визит Феогноста в Константинополь состоялся в 1279 г.). Показательно, что именно на вопросы сарайского епископа Феогноста в 1276 г. Константинопольский Собор под председательством патриарха Иоанна Векка давал ответы по поводу крещения татар и принятия в православие монофизитов и несториан. Не исключено, что именно посредством сарайско-константинопольской дипломатии удалось добиться признания иерархами церкви хана царем Руси. В связях с Сараем патриарх приобретал политическую опору в лице хана без ущемления прав церкви при сохранении пространства Руси как сферы своего религиозного влияния. Более того, индифферентный к ортодоксии хан не претендовал на «национализацию» христианства и оставлял это поле для греков.

Со своей стороны хан получил право (не без согласования с Константинополем) утверждать своими ярлыками назначенных на Русь митрополитов. В 1267 г. хан Менгу-Тимур впервые выдал митрополиту Кириллу ярлык, начинавшийся со слов: «Силою вечного Неба... Чингиза царя...» В ярлыке 1357 г., который «Бердибек

царь дал Алексею митрополиту», есть ссылка на «бессмертнаго бога силу» и «величество» хана-Чингисида «из дед и прадед» (Кривошеев 2003:302, 303). Ханские ярлыки указывали основания такой милости: «Чингис-хан и первые цари, отцы наши, жаловали церковных людей, кои за них молились... И мы... есмя Алексея митрополита пожаловали. Как сядет на своем столе и молитву воздаст за нас и за наше племя» (Хорошев 1986:75). В ордынскую эпоху православные митрополиты принимали ханское благословение и окормляли Русь именем Чингис-хана; при этом православная церковь обязывала прихожан молиться за хана и Орду.

После смерти митрополита Кирилла в 1280 г. константинопольский патриарх в 1281 г. поставил в митрополиты грека Максима, который сначала, в 1283 г., прибыл в Киев, а затем отправился в Сарай за ханским ярлыком — он первым приобрел титул «митрополита всея Руси». Максим был лоялен к Орде, и в русских церквах продолжали молиться за здравие царя — золотоордынского хана. В 1299 г. митрополит Максим перебрался из Киева во Владимир, подвинув владимирского епископа в Ростов; случилось это при великом князе владимирском Андрее Александровиче, известном своей преданностью Орде. Между тем летописец называет причиной его переезда татарское насилие: «Митрополит Максим, не терпя татарьского насилья, оставя митрополью и збежа ис Киева, и весь Киев разбежалъся, а митрополитъ идее ко Брянску, и оттоле идее в Суждальскую землю и со всем своимъ житьем» (ПСРЛ Т. 1 1846:208).

По этому поводу принято говорить о трагическом событии в истории церкви, в частности запустении Киевской митрополии, и представлять грека Максима едва ли не героем освободительной борьбы русского народа против татар. Однако в антиордынских взглядах Максим не замечен. Что касается «татарского насилия», то оно вызвано не позицией Орды вообще (ханы не раз подтверждали свое благорасположение к церкви), а начавшимися среди ордынцев распрями. Эпизод насилия, о котором говорит летописец, скорее всего, связан с конфликтом между ханом Тохтой и темником Ногаем, делившими между собой пространство Орды (в том числе ее улуса Руси, где их ставленниками были, соответственно, Даниил и Андрей Александровичи). Другими словами, Максим укрывался не от татар вообще, а от враждебных татар под крылом дружественных татар.

Останься митрополит в Киеве, он рисковал потерять русскую епархию. В то время Орда и Сарайская епархия стремительно наращивали свое присутствие во Владимирском княжестве, и Максим поспешил к очагу реальной власти. На юге Руси дряхлеющий Киев отступал в тень набирающего мощь Сарая, тогда как Владимир, где под надзором великого владимирского баскака правили покорные князья, становился цитаделью крепнущей Ордынской Руси. За эту цитадель и началась конкуренция киевского митрополита и сарайского епископа. В 1293 г. сарайский епископ Измаил, известный как «проводник политики Тохты» (Горский 2005:47), участвовал в Дюденевой рати, а затем вместе с епископом владимирским Симеоном в 1296 г. улаживал на княжеском съезде во Владимире отношения между Даниилом и Андреем Александровичами. К концу правления князя Даниила Сарайская епископия уже построила себе подворье близ Москвы на Крутицах, где останавливались приезжавшие в Москву сарайские епископы (позже там был основан Крутицкий монастырь).

Сарайский эпизод византинизма на Руси, продолжавшийся с 1260-х по 1310-е гг., отделяет предшествующий киевский период от последующего московского. Наследием сарайского периода можно считать традицию тесной связи религии с властью (вплоть до выдачи ярлыков церковным иерархам), а также канонизацию некоторых преуспевших в ордынской политике князей, в том числе Александра Невского и Федора Черного (который не только долго жил в Орде и был зятем Менгу-Тимура, но и не раз приводил на Русь татарские войска).

Сарайские епископы играли особую роль в русской политике Орды и в ордынской политике Руси, чем вызывали ревность иерархов: в 1269 г. митрополит Кирилл отстранил от кафедры сарайского епископа Митрофана, в 1312 г. митрополит Петр «сня санъ» с сарайского епископа Измаила (ПСРЛ Т. 18 1913:87). Именно Петру удалось прервать карьеру Измаила, воспользовавшись смертью его патрона хана Тохты: по мнению Н. С. Борисова, после получения известия о смерти Тохты осенью 1312 г. Митрополит отправился в Сарай и там снял Измаила и поставил Варсонофия с санкции нового хана Узбека (Борисов 1999:137, 138). Примечательно, что в Орду для получения ярлыков от нового хана съехались все русские «князи и епископи» (ПСРЛ Т. 10 1885:178). Тем самым Петр в нужное

время и в нужном месте одолел сарайского епископа, укрепив свою позицию как митрополита всея Руси.

Примечательно, что пики исламизации в Орде совпадают с пиками православной активности Сарая: открытие Сарайского епископата произошло при Берке, принявшем мусульманство, а поощрение московского православия — при Узбеке (1313–1342), развернувшем массовую исламизацию в Орде (царствовавший между ними шаманист и ламаист Тохта не проявлял религиозного рвения, ограничиваясь контактами с Измаилом). И Менгу-Тимур, отдав свою дочь в жены русскому князю Федору Черному, согласился на ее крещение (под именем Анна), и его внук Узбек, отдав замуж за Юрия московского сестру Кончаку, благословил ее крещение под именем Агафья.

Ключевая функция Сарая сместилась в Москву и вернулась митрополиту. Церковно-политическое значение Сарая падало по мере распада Орды. В конце XIV в. епископ Сарайский стал именоваться Сарским и Крутицким (подворье сарайских епископов в подмосковных Крутицах существовало с конца XIII в.). В 1460-е гг. сарайский епископ Вассиан перебрался в Крутицы — тем самым сарайская епархия окончательно перекочевала в Москву. Ее историческая значимость прослеживается в том, что доныне митрополит Крутицкий, викарий и правая рука Патриарха Московского и всея Руси, обладает особым статусом в Русской православной церкви.

Освящение и проклятие

С воцарения Узбека и победы митрополита Петра над сарайским епископом Измаилом берет начало успех Москвы, куда из Киева, Владимира и Сарая сошлись нити стратегии взаимодействия ханства и церкви. Поставленный в Константинополе митрополит Петр (1308–1326), оставаясь «Киевским и всея Руси», по примеру Максима перебрался во Владимир. Москва стала для него опорой в конфликте с великим князем Михаилом Ярославичем тверским, который отторгал Петра, пытаясь провести в митрополиты своего ставленника Геронтия. На переяславском соборе 1311 г., где тверской епископ Андрей по наущению князя Михаила обвинил митрополита Петра в симонии (поставлении на церковные должности за мзду), за него вступился московский князь Юрий Данилович и добился оправдания Петра. В том же 1311 г. Петр

вернул долг Юрию, отлучив от церкви Дмитрия, сына тверского князя Михаила. А. В. Карташёв полагает, что именно «бестактная вражда» Михаила тверского с Петром «превратила митрополитов в политиков-приверженцев Москвы» (Карташёв 1959:302).

Не только тверская вражда, но и московская дружба готовила новое «седалище митрополии». Доверительные отношения митрополита с московским княжеским домом продолжились частыми визитами Петра к Ивану Калите. О личной приязни Петра и Ивана известно из жития св. Петра, написанного ростовским епископом Прохором. По просьбе Ивана Калиты Петр участвовал в строительстве московского Успенского собора и незадолго до смерти собственными руками устроил себе каменный гроб в стене собора, где и был погребен в 1326 г.

Наследник Петра на митрополии, константинопольский грек Феогност (1328–1353) был изначально настроен на контакт с ордынским ханом и московским князем. Сразу по прибытии на Русь Феогност выразил намерение поселиться на митрополичьем подворье в Москве и с первых дней решительно поддержал Москву в борьбе с Тверью. В церковном возвышении Москвы значимы три деяния Феогноста. (1) Использование религиозной анафемы в угоду Орде и Москве для травли тверского князя Александра, укрывшегося в отдаленном Пскове после убийства в Твери ханского посла Шевкала; по настоянию московского князя митрополит предал анафеме князя Александра и мятежный Псков, после чего Александр бежал в Литву. (2) Причисление покойного митрополита Петра к лику святых (с благословения константинопольского патриарха Иоанна Калеки в 1339 г.), благодаря чему гроб святителя в Успенском соборе стал местом крестоцелования на верность князю московскому (после смерти от чумы Феогност и сам был погребен в Успенском соборе рядом с Петром). (3) Отстаивание льгот и статуса русской церкви в Орде, где пришедший на смену Узбеку в 1342 г. взыскательный Джанибек усмотрел в растущем богатстве церкви[2] вызов могуществу Орды: хан задумал, в нарушение давней традиции, брать с духовенства дань, а митрополита обязать соби-

[2] Митрополит Феогност действительно отличался впечатляющими поборами. Например, новгородский летописец под 1341 г. замечает: «Приеха митр. Феогност-Гречин в Новгород с многими людьми; тяжко же бысть владыце и монастырем кормом и дары» (Карташёв 1959:306).

рать эту дань в Орду. Феогност сумел, несмотря на принуждение и даже пытки, путем взяток убедить окружение хана в своей верности и вновь получить ярлык с льготами для церкви.

Чутье не обманывало бдительного Джанибека: за внешним смирением православного духовенства уже различалась растущая политическая мощь церкви. Если прежде греческие иерархи безропотно ладили с Ордой и молились за благополучие хана-царя, то отныне в летописное клише «пожалованы богом и царем» (в отношении ярлыков на власть) вкралась новая интонация. В унии политики и религии, при сохраняющейся доминанте «ордынского царя», уже усилилась роль «христианского бога». Когда в условиях ордынского ига церковь в привычной для себя манере прильнула к мощному политическому телу, от этого брака по расчету родилось дитя, со временем переросшее своих родителей. Было бы преувеличением считать, что Москву как эмбрион столицы создали ордынский хан Узбек и грек-митрополит Феогност, но именно они осенили рачительного Ивана Калиту идеей собирания и накопления богатства и власти. Схождение в Москве силовых линий ордизма и понтизма предопределялось не географией, а персоналиями.

Механизм колонизации в данном случае реализовался не в массовом переселении на Русь татар и греков, а в одновременном «прощупывании» стратегиями ордизма и понтизма пространства Руси в поисках опор. В отличие от строптивой Твери и вялого Киева, Москва проявила себя как наиболее активная собирательница внешних влияний и сил — ордынских и византийских «ярлыков». Она и стала опорой сразу двух направлений колонизации, доверенным лицом хана и патриарха, сборным пунктом власти и дани Орды и Церкви. Слуга двух господ, Москва оказалась узлом переплетения изощренных стратегий, пунктом контроля над огромным пространством и, вследствие этого, ростком новой метрополии.

Ордо-понтистский гибрид в лице Москвы унаследовал потенциал обеих сторон, но в дальнейшем баланс силовых линий сместился в пользу более устойчивой стратегии теополитики. Замятня в Орде и смута в Византии почти синхронны, но все же первой со смертью Джанибека в 1357 г. зашаталась Орда, и теряющая равновесие Москва ухватилась за «вертикаль понтизма», причем успела это сделать проворней и успешней, чем Киев, Галич, Литва, Тверь и Новгород. К этому, кстати, приложил руку все тот же митропо-

лит-гречин Феогност, который, в гроб сходя, благословил на русскую митрополию своего ученика Алексия (1354–1378). Впрочем не остался в долгу и хан Бердибек, в 1357 г. давший митрополиту Алексию ярлык на митрополию с освобождением русской церкви от ордынских даней.

Как прозорливый хан Джанибек тревожился ростом богатства и влияния русской церкви при Феогносте, так и константинопольский патриарх Филофей с подозрением отнесся к выдвижению на роль пастыря Руси потомственного черниговского боярина Елевферия Федоровича Бяконта, в пострижении Алексия. Такова внутренняя драматургия отношений метрополии и колонии, в которых чрезмерный успех чреват опрокидыванием и рокировкой ролей. В тактике сдерживания колоний Византия ничуть не уступала Орде, будто конкурируя с ордынской традицией «приручения» иноземных князей.

Будущего митрополита Алексия в Константинополе продержали около года на испытании (1353–1354 гг.), после чего он получил от патриарха Филофея соборный акт с примечательными оговорками. Акт гласил, что утверждение русского по происхождению митрополита всея Руси — исключение из правил. «Подобное дело совершенно необычно и небезопасно для церкви»; только из клириков Константинополя «должны быть поставляемы митрополиты русские». Алексию вменено было в обязанность через каждые два года лично являться с отчетом в Константинополь и только в крайнем случае представлять отчет через избранных клириков. По мнению А. В. Карташёва, «данная фразеология свидетельствует, что греки чувствовали нараставший национализм русской церкви и под ним опять оживавшую мечту об автокефалии» (Карташёв 1959:308).

Константинопольские клирики не напрасно колебались: за двадцатилетие пастырства Алексия Москва действительно превратилась в православную столицу Руси. Более того, он так опекал трех московских князей — Семена, Ивана и Дмитрия, что именно его нередко называют истинным правителем Московского княжества, ставшего «великим» при Дмитрии Донском. Алексий нередко пускал в ход доступные ему религиозные средства политической борьбы, например отлучение от церкви противников Москвы тверичей и нижегородцев. По его указу Сергий Радонежский затворил церкви и прекратил богослужение в Нижнем Новгороде за своеволие

князя Бориса. За союз с Ольгердом Алексий не только предал анафеме Михаила тверского и Святослава смоленского, но и запросил у патриарха ее подтверждения — в ответ из Константинополя пришла анафема патриарха с назиданием русским князьям повиноваться митрополиту и поддерживать Дмитрия в борьбе с нечестивым Ольгердом (Карташёв 1959:312).

«Москва стала церковной столицей Руси задолго прежде, чем сделалась столицей политической», — высказался В. О. Ключевский (2 1988:23). Действительно, именно в истории Москвы митрополия стала метрополией. Произошло то, чего опасались хан Джанибек и патриарх Филофей: освящая себя чужеземными символами, окрепшая Москва мало-помалу перенимала и тон митрополий, представляя себя средоточием «бога и царя».

Уже Дмитрий московский, повзрослев, позволял себе пренебрегать не только призывами ханов, но и вердиктами патриархов. В 1375 г. происками Литвы и Твери при действующем митрополите Алексии на митрополию Киева, Руси и Литвы был рукоположен болгарин Киприан, правда с оговоркой, что обладать «всей Русью» он будет после изобличения проступков Алексия. Дмитрий и Алексий ответили патриаршему собору протестными грамотами с осуждением поставления «на живого митрополита». На следующий год, будто кара небесная, патриарха Филофея вместе с императором Иоанном V Палеологом смел путч Андроника IV. Дмитрий бранно отзывался о византийском царе и патриархе, а когда после смерти Алексия (в 1378 г.) Киприан явился в Москву, князь велел взять его под стражу, сутки проморил голодом и холодом, осмеял и выпроводил вон вместе со свитой (Булгаков 1995). В ответ летом 1378 г. Киприан предал всех причастных к его «иманию, и запиранию, и бещестию, и хулению», включая князя, анафеме, и в сентябре 1380 г. Дмитрий московский вышел на Куликово поле формально отлученным от церкви.

Военный успех Дмитрия не был игрой случая. В других ситуациях он вел себя столь же независимо. Еще при жизни Алексия, преодолев его сопротивление, он выдвинул в митрополиты своего любимца — коломенского попа Митяя, красавца и златоуста, эрудита и дипломата, но человека скорее светского, чем церковного. Более того, в обстановке византийских смут 1379 г. он пренебрег патриаршим рукоположением и избрал Митяя собором русских епископов

(треть века спустя, в 1415 г., на подобный шаг решится литовский князь Витовт, самостоятельно избрав Григория Цамблака киевским митрополитом).

Избранный на Руси митрополит Митяй уже носил знаки митрополичьего достоинства. Более того, настроение самостоятельности Дмитрия и Митяя выразилось в эпизоде новой для русской церкви собственной миссионерской активности. Именно Митяй вместе с коломенским епископом Герасимом в 1379 г. благословил Степана Храпа (Стефания Пермского) на подвижническую миссию крещения Перми. Стефан вел себя в Перми как посланец митрополии-метрополии.

Интриги суздальского епископа Дионисия, позднее добившегося рукоположения в митрополиты, побудили Митяя предпринять путешествие в Константинополь для подтверждения сана митрополита. Это паломничество закончилось неожиданной смертью Митяя буквально в преддверии Царьграда и вспышкой абсурда в отношениях Константинополя и Москвы. За десятилетие на Русь были поставлены митрополитами Киприан, Пимен и Дионисий, создавшие своими интригами обстановку хаоса и склоки. Реноме «хитрых греков», включая патриарха Нила, за эти годы упрочилось. Церковная смута угасла лишь в 1389 г. со смертью основных фигурантов — князя Дмитрия и патриарха Нила (а также одного из митрополитов Руси Пимена).

Можно только догадываться, насколько необычной для московского князя была ситуация, когда он не только лишился двух стратегических для Москвы партнеров, Орды и Византии, но и боролся против них. С варяжских времен ни один русский князь не действовал без оглядки на бога и царя. Почти синхронно в 1379–1380 гг. Дмитрий начал меряться силой с Патриархатом и Ордой. Москва еще не избавилась от ордынской и византийской зависимости и не стала метрополией, но именно Дмитрий сумел обуздать ордизм и понтизм — отныне эти стратегии стали орудиями самой Москвы, а не ее подчинения извне. Независимая Русь родилась в князе Дмитрии. Остается в очередной раз отметить сущностную правоту автора «Слова о житии и преставлении великого князя Дмитрия Ивановича», назвавшего его «царем русским».[3]

[3] Не только Москва, но и Тверь участвовала в разработке доктрины Русского царства. В XIV в. монах Акиндин называл князя Михаила тверско-

До превращения Москвы в метрополию оставался по меньшей мере век. Лишь правнуку Дмитрия, Ивану III, удалось сделать решающий шаг в метаморфозах Московии. Долгий век «вызревания» был наполнен событиями, которые можно охарактеризовать как медленную реакцию сращивания ордизма, понтизма и новой ментальной формации, заложенной Дмитрием Донским.

Затмение

Сын и преемник Дмитрия князь Василий I унаследовал прохладное отношение отца к грекам, вызвав нарекания патриарха Антония IV, выраженные в послании Василию Дмитриевичу 1393 г.:

> За что ты показываешь пренебрежение ко мне, патриарху, и не воздаешь мне той чести, какую воздавали [прежним патриархам] твои предки, великие князья, напротив — неуважительно относишься и ко мне и к моим людям, которых я туда посылаю, так что они не получают у вас той чести и места, какое всегда имели патриаршие люди? Ужели ты не знаешь, что патриарх занимает место Христа, от котораго и посаждается на владычнем престоле? Не человека ты уничижаешь, но самого Христа!
> ... С огорчением слышу еще, что твоим благородием сказаны некоторыя слова и о высочайшем и святом самодержце-царе [Византии]. Говорят, ты не позволяешь митрополиту поминать божественное имя царя в диптихах, т. е. хочешь дела совершенно невозможнаго, и говоришь: «мы-де имеем церковь, а царя не имеем и знать не хотим». Это нехорошо (РИБ Т. 6 1880:265–276).

Увещевания патриарха со ссылкой на свое «место Христа» не спасли вселенский престол от внутренней смуты и внешних ударов — Ромейскую столицу уже осаждал турецкий султан Баязид Молниеносный, и вскоре император Мануил II стал просыпаться под пение допущенных им в Константинополь муэдзинов. К чести Василия, во время кризиса 1395–1396 гг., когда после провального крестового похода короля Сигизмунда осажденный турками Царьград запросил денежной помощи, московский князь забыл «пренебрежение» и послал патриарху и императору 20 тыс. рублей (впечатляющую по тем временам сумму), собранных по всей

го царем своей земли, а в XV в. другой монах, Фома, называл царем князя Бориса Александровича и сравнивал его с императором Константином (Стремоухов 2002:427).

Русской митрополии (Карташёв 1959:339). Это была уже не церковная дань господину, а помощь бедствующим единоверцам.[4]

Мануила II избавил от Баязида не русский взнос и не божий перст, а Тимур, разбивший и пленивший османского султана летом 1402 г. Однако император не забыл русской услуги, и в 1411 г. состоялся брак дочери князя Василия Анны с сыном императора Мануила Иоанном (позднее императором Иоанном VIII Палеологом). Это позволило Василию II Темному в послании 1451 г. Константину IX Палеологу называть себя «сватом» царствующего ромейского дома (РИБ Т. 6 1880:575, 576).

«Русским зятем» Иоанну VIII Палеологу довелось побыть лишь три года, до смерти Анны от чумы. Впоследствии он спасал Ромейскую империю от надвигающейся катастрофы, и именно его стараниями готовилась Флорентийская уния 1439 г. патриархатов с папством. Соответственно вел себя и присланный из Константинополя на московскую митрополичью кафедру в 1436 г. грек Исидор. Несмотря на недовольство московского князя Василия Темного, он отбыл на Ферраро-Флорентийский собор, где истово ратовал за унию. После ее подписания в марте 1441 г. Исидор, уже в сане кардинала, вернулся в Москву с посланием великому князю от папы Евгения IV. Василий Темный не прельстился «папиными письмами», низложил Исидора, назвал его «волком», «латинским злым прелестником» и заточил в Чудов монастырь.

Блестящий ромейский интеллектуал Исидор оказался совершенно не у дел в Москве. И не потому, что Василий Темный не дорос до восприятия унии, а из-за того, что мотивы и пути греков и московитов решительно разошлись, что и показывает яркая и драматическая судьба Исидора. В отличие от многих своих предшественников, он был не хитрым, а честным греком — искренним патриотом Византии, пытавшимся спасти ее в унии с папством. Бежав из монастырского заточения, Исидор в 1452 г. в статусе папского легата зачитал решения Флорентийского собора в византийском храме св. Софии, а в 1453 г. сражался с турками за гибнущий Константинополь. Затем, чудом избежав смерти в турецком

[4] Д. Островски связывает отказ Василия поминать на службах имя византийского императора с тем, что в отрочестве московский княжич долго жил заложником при ставке Тохтамыша и позднее восстановил традицию молений за хана, а не за императора (Островски 2001:146, 147).

плену, он из Италии до последнего вздоха призывал Запад к походу на турок. В 1458 г. Исидор стал титулярным (номинальным) патриархом Константинопольским, но в глазах Москвы он оставался «волком». А Василий Темный предстал в сочинении Симеона Суздальца, участника Ферраро-Флорентийских баталий, защитником «православной веры греческой», подобным Константину Великому и Владимиру Святому (Стремоухов 2002:427).

Взгляд Москвы в те годы был изрядно замутнен, в том числе буквально: в 1446 г. князь Василий II был ослеплен в отместку за ослепление им князя Василия Косого. Можно говорить о «затмении» и в переносном смысле, поскольку на Руси в то время не было митрополита, а в последние два года существования Византии в Константинополе не было патриарха. В этой смуте, если не пустоте, собор русских епископов по указу слепого московского князя избрал митрополитом уроженца Галицкой Руси Иону (1448–1461), открыв эпоху автокефалии Русской церкви. Отныне Москва стала реальным и формальным противовесом Киеву, а греческому наставничеству было противопоставлено «русское благочестие». В послании московского митрополита Ионы православным епископам Великого княжества Литовского (1460) определение княжения Василия II как «православного великого самодержьства» означало зарождение представления о Руси как о христианском царстве (Синицына 1998:100).

В отличие от своего деда Дмитрия Донского, Василий Темный не был царем по призванию, но стал им по нужде в силу краха прежних царств. Одного из роковых событий середины XV в. — Флорентийской унии 1439 г. или падения Константинополя 1453 г. — вполне хватило бы для пресечения понтизма/византизма на Руси, не будь эта традиция уже глубоко укорененной. Русская церковь вобрала в себя основные черты греческого православия, включая прямое подчинение царю. Поскольку на Руси царя не было, его следовало незамедлительно создать усилиями клириков, книжников, агиографов и летописцев.

Средневековые русские писатели и создали, по воле князей и архиереев, царство на Руси. С начала 1440-х гг. царями стали называть не только ромейских цезарей и ордынских ханов, но и русских князей — столпов православной веры. Им и оказался, вслед за Константином Великим и Владимиром Святым, князь Василий

Темный. В послании Василия II константинопольскому патриарху Митрофану II (1441 г.) креститель Руси удостоен звания «благочестивый царь русскиа земли Владимир» (РИБ Т. 6 1880:525–536). Самого Василия царем титуловали Симеон Суздалец в первой редакции его «Повести о Флорентийском соборе» («белый царь всеа Руси») и Пахомий Серб в третьей редакции «Жития Сергия Радонежского» («великодержавный царь Русский», «благоразумный царь»), в обоих случаях при изложении конфликта великого князя с митрополитом Исидором по поводу решений Флорентийского собора (Горский 2005:150). До венчания на царство Ивана IV оставался еще век, но религиозные мыслители и писатели уже творили идеологию царства.

Траектория мифа

Иерусалим и Рим сходны мифологической судьбой: превращенный римлянами в руины (70 г.) Иерусалим обрел вечность в христианстве, а сокрушенный готами (410 г.) и вандалами (455 г.) Рим стал на все времена символом города-империи. Новый Рим (Византий) со времен Константина соединил в себе черты империи (*Βασιλεία Ρωμαίων*) и христианской святости; при этом ромеи называли Новый Рим и Новым Иерусалимом, архитектурно повторив в Золотых вратах и храме св. Софии черты Золотых врат и иудейского храма Иерусалима. В средневековой Европе распространилась идея *Roma mobilis* — движущегося Рима. Преемницей вечного города со времен Оттона I стала Священная Римская империя (*Sacrum Imperium Romanum*), также претендовавшая на охват христианского мира. Гибель Иерусалима и Рима обернулась, в стиле новозаветного мифа, их воскрешением и повторным пришествием. Так у ромеев родилась подхваченная соседями идея *renovatio/translatio imperii* (обновления/переноса империи). При этом повсюду, несмотря на детали различения «богова и кесарева» — Рим ассоциировался с политикой, а Иерусалим с религией (Stupperich 1935:352), — сложился миф о вечном возвращении священного царства.

Претензии на царство как ромейское наследие изъявляли государи стран «византийской ойкумены»; например, «вторые Константинополи» создавались в Никее и Трапезунде (Карпов 2011:59). В 1346 г. Стефан Душан IV, создавший мощное сербское государство, был провозглашен «басилевсом Сербии и Романии», а венчал

его на царство предстоятель только что учрежденной Сербской патриархии Иоанникий II. Болгарские книжники в XIV в. представляли миссию Тырново как «второго после Константинополя» средоточия церковного благолепия, «седалища церкви» патриархата и царства (Стремоухов 2002:427). Однако эти попытки *renovatio imperii* были вскоре пресечены турками-османами.

Принцип *translatio imperii* был известен на Руси в славянских переводах X–XI вв. «Откровения» Псевдо-Мефодия Патарского (VII в.), толковавшего о вечности Ромейского христианского царства. Идеология центра мира, намеченная в размышлениях киевского митрополита Илариона в сопоставлениях князя Владимира с императором Константином и Киева с Иерусалимом и Царьградом, с упадком Киева и пришествием монголов надолго ушла в тень. Она сохранялась лишь в идеологеме истинной веры, и Русская (Киевская) митрополия считалась одной из епархий вселенской греческой патриархии. Впрочем, именно киевский прототип послужил позднее опорой в разработке идеологемы «Москва — третий Рим».

У Руси был свой резонанс идей «бога и царя» в сочетании ордынского и христианского влияния, благодаря чему идея вызрела в идеологию. Однако это же сочетание стало преградой на пути дальнейшего роста идеи, остановив амбициозную Москву на перепутье. XV век стал свидетелем уже не конкуренции метрополий за Москву, а выбора самой Москвой идеи своего царства. Первую скрипку сыграли книжники и летописцы, отстояв свое предпочтение перед соперничающей «военно-ордынской» партией. При прочих равных условиях — почти одновременном крахе Орды и Византии — выбор «идеи царства» остался за интеллектуалами, среди которых преуспели духовники князей (Алексий, Митяй, Виссарион и другие).

Альтернатива «грек или татарин» была разрешена Иваном III. Его отец, Василий Темный, несмотря на набожность, еще заметно колебался между постордынской (уже в виде казанской и касимовской) и поствизантийской (не то остаточной греческой, не то агрессивной латинской) версиями. Судя по всему, Иван III принял это решение под давлением обстоятельств в начале 1470-х гг.

В отличие от своих предшественников, Иван III вступил на великое княжение без формальных санкций хана и никогда не ездил в Орду. Его отношения с ордынскими царями включали как партнерство (например, с крымским ханом Менгли-Гиреем, казанским ха-

ном Мустафой, многочисленными татарскими царевичами), так и вражду (с ханом Большой орды Ахматом). Хан Ахмат — последний ордынский правитель, пытавшийся возродить былую мощь Орды. Тон его ярлыка-послания великому князю Ивану Васильевичу категоричен: собрать дань в 40 дней и принять позу подчинения («а на собе бы еси носил Ботыево знамение, у колпака верх вогнув ходил»). Призывая Ивана III к себе, Ахмат указывал его место — «у царева стремени» (Алексеев 1989:109; Горский 2005:198).

Иван III не относился к числу импульсивных людей, отличаясь, по оценке Н. М. Карамзина, «опасливым умом» и «осмотрительною уклончивостью». Из состояния колебаний его вывела женитьба на византийской принцессе Зое, в православии Софье. Впрочем, и женитьба не обошлась без колебаний: переговоры о браке начались в 1469 г., помолвка состоялась в Ватикане 1 июня 1472 г. (доверенным лицом московского князя выступал итальянец Джанбаттиста делла Вольпе), а венчание — 12 ноября того же года в Москве (Карамзин 1 2003:681–687, 717; Вернадский 2001:27–29).

Синхронно осложнялись отношения Ивана III с ханом Большой орды Ахматом. Летом 1472 г., в то самое время, когда состоялась, по словам П. Перлинга, «свадьба Ивана в Ватикане», московский князь расставлял по Оке полки для отражения ударов Ахмата. Хану удался глубокий рейд и разгром г. Алексина, но затем он поспешно отступил. Внимательный обзор свидетельств тех событий (Алексеев 1989:4; Горский 2005:169) наводят на мысль о том, что маневры лета 1472 г., даже более чем «стояние на Угре» 1480 г., позволили Ивану III принять судьбоносное решение — «перестать признавать зависимость от Орды».[5]

Подоспевшая Софья сразу включилась в новый сценарий, и ее категоричность в отторжении «ига» выдает в ней не капризную принцессу, а по-женски настойчивую сторонницу устранения татарского влияния в Москве.

---

[5] Польский хронист Ян Длугош, умерший в мае 1480 г. (т.е. до событий на Угре), под 1479 г. поместил (в связи с темой отношений Польско-Литовского государства с Москвой) панегирическую характеристику Ивана III. Начинается она с утверждения, что московский князь, «свергнув варварское иго, освободился со всеми своими княжествами и землями, и иго рабства, которое на всю Московию в течение долгого времени... давило, сбросил» (Горский 2005:167).

> Впрочем, как он [Иван III] ни был могуществен, а все же вынужден был повиноваться татарам. Когда прибывали татарские послы, он выходил к ним за город навстречу и стоя выслушивал их сидящих. Его гречанка-супруга [Софья] так негодовала на это, что повторяла ежедневно, что вышла замуж за раба татар, а потому, чтобы оставить когда-нибудь этот рабский обычай, она уговорила мужа притворяться при прибытии татар больным. В крепости Москвы был дом, в котором жили татары, чтобы знать все, что делалось в Москве. Не будучи в состоянии вынести и это, жена Иоанна, назначив послов, отправила их с богатыми дарами к царице татар, моля ее уступить и подарить ей этот дом, так как-де она по указанию божественного видения собирается воздвигнуть на его месте храм; татарам же она обещала назначить другой дом. Царица согласилась на это, дом разрушили, а на его месте устроили храм. Изгнанные таким образом из крепости татары не смогли получить другого дома ни при жизни княжеского семейства, ни даже по смерти их (Герберштейн 2008:87).

В византийском браке Иван не был оригинален — его тетка, Анна Васильевна, была женой дяди его невесты, Иоанна VI Палеолога; в этом смысле Иван лишь продолжил прежние отношения элитных домов православного мира. Кроме того, вовсе не одни московские князья удостаивались руки лишившихся царства византийских принцесс — например, в свое время (1273 г.) Михаил VIII Палеолог отдал свою дочь Ефросинью за ордынского беклярибека Ногая. Не было в этом браке и православной миссии, поскольку Зоя была католичкой и находилась под патронатом папы, а сватовские хлопоты взял на себя кардинал Виссарион и дипломат Вольпе. Для папства это была повторная после миссии Исидора попытка привлечь Москву к унии, а для Москвы византийский брак оказался «выбором царства». Поддержка Рима сыграла важную роль в самоутверждении Москвы, и Иван III не случайно проявлял симпатии к итальянцам, приглашая их на Русь строить храмы. С Софьей в Москву прибыл герб Палеологов (двуглавый орел), и его принятие Московским княжеством было визуализацией идеи *translatio imperii* (вербализация последовала чуть позже).

Можно думать, что подобным настроением была охвачена вся московская элита, и прежде всего клирики и книжники. По неслучайному совпадению именно в 1470-е гг. в русском летописа-

нии появляются уничижительные эпитеты в отношении ордынских ханов — как современных (Махмуд в сообщениях о его походе на Переяславль-Рязанский 1460 г. и о несостоявшемся походе на Русь 1465 г. именуется «безбожным»), так и прежних (в виде вставок в древние тексты о взятии Киева в 1240 г. и об убиении в Орде князя Михаила черниговского в 1246 г., где Батый называется «безбожным» и «окаянным») (Горский 2005:167, 168). Если учесть, что летописание велось монахами, то можно вести речь о своего рода летописной анафеме Орде.

В русско-православной мифологии на рубеже XV–XVI вв. сложились легенды о сокрушении Батыя (вымышленные победы над усопшими победителями имеют свойство вдохновлять на реальные подвиги). В «Повести о убиении Батыя» всемогущему хану, разрушающему грады, противостоит венгерский «краль Владислав» (его прототипом стал либо Владислав I (1077–1095) Святой, либо Владислав IV Кун), который «нача Бога молити» и обрел чудесного коня и секиру: «На кони седя и секиру в руце держа, ею же Батыя уби» (Горский 2001:218–221). В «Слове о Меркурии Смоленском» благочестивый смолянин Меркурий, ободренный явившейся к нему богородицей, «достигнув войск злочестивого царя, с помощью божьей и пречистой богородицы истребляя врагов, собирая плененных христиан и отпуская их в свой город, отважно скакал по полкам, как орел в поднебесье летая». Злочестивый же царь великим страхом был охвачен и бежал от города с малой дружиной, а когда добрался до Угорской земли, был убит Стефаном-царем (Памятники 1981:205, 207). В былине «Илья Муромец и Батый Батыевич» «стар казак Илья Муромец» по просьбе князя киевского Владимира бьется с Батый-царем за веру христианскую и прогоняет «собаку» с Куликова поля; и «убирался Батый-царь с большими убытками… со страмотою вечною» (Песни 1862:38–46). В пылу «свержения» ордынских царей досталось и Джучи, не имевшему отношения к завоеванию Руси: «Сего убо мучителнаго народа оный царь Егухан [Джучи]… бяше поганий идолопоклонник… окаянный свою душу извергши, сниде во ад» (Лызлов 1990:21).

Известное послание архиепископа Вассиана Ивану III по поводу стояния на Угре выглядит лишь одним из голосов в антиордынском хоре. Вселяя в колеблющегося князя боевой дух, Вассиан превозносит Ивана как «богом утвержденного… наипаче же в царях пресвет-

лейшего преславного государя... всея Руси» и низлагает «окаянного Батыя, который пришел по-разбойничьи и захватил всю землю нашу, и поработил, и воцарился над нами, хотя он и не царь и не из царского рода» (Памятники 1982:531; Алексеев 1989:117). Летописцы освещают противостояние Ахмата и Ивана 1480 г. как борьбу зла и добра: «Того же лета злоименитый царь Ахмат Болшие Орды поиде на православное христианство, на Русь, святые церкви и на великого князя»; при этом хан «похвалялся разорити святые церкви и все православие пленити и самого великого князя, яко же и при Батыи беше» (ПСРЛ Т. 25 1949:327; Т. 18 1913:267). Истинными защитниками христианства и вдохновителями победы рисуются митрополит Геронтий и ростовский архиепископ Вассиан.

Дружная священническая «анафема» ордынским царям открыла путь к православному царству. После двухвекового моления за Орду и ханов христианство в очередной раз адаптировалось к ситуации, заявив о себе как о силе русско-христианской реконкисты.[6] Ослабление Орды облегчило московским князьям и митрополитам отречение от ордизма в пользу понтизма. Избавление от господства Орды оказалось делом трудным и больше идеологическим, чем военным. Мифологема царства сыграла ключевую роль в самоопределении Москвы, хотя в ее подноготной немало условностей и натяжек, включая косвенное отношение Зои/Софьи к империи и махинации ее брата Андрея с продажей своей титулатуры. Важным этапом в траектории мифа было утверждение Иваном III своим наследником на московском княжении сына от Софьи Василия. Возможно, Василий уступал по боевитости Ивану Молодому, сыну Ивана от первого брака, но обладал исключительным качеством — был «природным царем», наследником дома Палеологов по материнской линии.

В сношениях с некоторыми иностранными правителями, например с ливонским магистром, Иван III начал титуловать себя царем всея Руси. Московский князь «нашел, что теперь ему не пригоже называться в правительственных актах просто по-русски Иваном, государем великим князем, а начал писаться в церковной

[6] Антиордынская позиция намечалась и ранее: «с середины XIV века церковь была духовным лидером русского сопротивления татарам и борьбы за независимость» (Вернадский 2001:19), но «до середины XIV в. нет свидетельств об участии церкви в антиордынской борьбе» (Феннел 1989:265).

книжной форме: “Иоанн, божиею милостью государь всея Руси”... С конца XV в. на его печатях появляется византийский герб — двуглавый орел» (Ключевский 2 1988:115, 116). В 1492 г. в «Изложении пасхалии» на начало наступающего восьмого тысячелетия московский митрополит Зосима по-новому изложил вехи христианской истории: Константин Великий основал Новый Рим, Владимир Святой крестил Русь, теперь же Иван III является «новым царем Констянтином новому граду Констянтину — Москве».[7]

Эта идея нашла афористичное выражение в знаменитых посланиях Филофея, старца Псковского Трехсвятительского Елеазарова монастыря. Монах Филофей, был озабочен не столько освящением власти московского князя, сколько чистотой церковного обряда (причащения, крестного знамения) и монастырских нравов (избавлением от содомии гомосексуализма). Хранение истинной веры он считал залогом благополучия царства, а отклонение от нее — причиной падения первого и второго Рима. Высказывая в послании к Василию III тревогу относительно распространения мужеложства и нарушения крестного знамения, Филофей увещевал князя взять на себя заботу о благочестии, ссылаясь на его происхождение от императора Константина и князя Владимира:

> Тебе пресветлейшему и высокостольнейшему государю великому князю, православному христианскому царю и всех владыце, браздодержателю святых божиих престол святыя вселенския соборныя апостольския церкви пречистая Богородицы честного и славного ея Успения, иже вместо Римския и Константинопольския просиявшу. Старого убо Рима церкви падеся неверием аполинариевы ереси, второго Рима Константинова града церкви агаряне внуцы секирами и оскордами рассекоша двери, сия же ныне третьего нового Рима державного твоего царствия святые соборные апостольския церкви, иже в концых вселенныя в православной христианской веры во всей поднебесной паче солнца светится. И да весть твоя держава благочестивый царю, яко все царства православныя христианския веры снидошася в твое едино царство. Един ты во всей поднебесной христианам царь.

В послании к дьяку Мисюрю Мунехину эта идея выражена афористично:

[7] Наречение правителя «новым Константином» берет начало в византийской традиции (Карпов 2011:48).

> Яко вся христианская царства приидоша в конец и снидошася во едино царство нашего государя, по пророческим книгам, то есть Ромеиское царство: два убо Рима падоша, а третии стоит, а четвертому не быти (цит. по: Синицына 1998:прил. 1).

Как отмечает Н. И. Ульянов, «кто читал послание полностью, тот знает, что борьба с мужеложством занимает автора больше, чем учение о третьем Риме». У Филофея нет ничего похожего на агрессивные настроения современных ему католиков, проповедовавших и практиковавших в XVI в. Drang nach Osten. В строках к Василию III о том, что «все царства православныя христианския веры снидошася в твое едино царство», он подразумевает последнее прибежище православия, а вовсе не всемирную империю: «у псковского идеолога третьего Рима не находим даже намека на идею всемирного территориального расширения Москвы». Кроме того, высказывания Филофея вряд ли охватили умы и сердца его современников; «идея Москвы — третьего Рима не выходила за предел узкого круга ученых монахов и книжников», и в самой церкви она «выродилась в XVI веке в чисто практическую идею — возведение московского митрополита в сан вселенского патриарха». Сочинения старца были опубликованы лишь в середине XIX в., когда идеологема Москва — третий Рим обрела популярность в свете утверждения восточных рубежей империи. Именно тогда «несколько строчек из послания Филофея обросли пышной легендой, корни которой уходят не в эпоху Василия III, а в идейный и политический климат царствования Александра II» (Ульянов 1994:152). Русь как третий Рим описывается и в «Повести о белом клобуке», относящейся, по разным датировкам, к началу или концу XVI в. (Стремоухов 2002:431).

Внешний фон событий XV в. — Флорентийская уния 1439 г. и падение Константинополя в 1453 г. — дополнился внутренней русской мобилизацией. В этом смысле риторика христианского оплота создавала позицию активного действия и ответственности. На этот раз из репертуара христианства взамен образца смирения был активирован образец священного действия. Если прежде русское христианство состояло в покорности царю, то отныне к покорности добавилась идея спасения истинной веры и христиан в борьбе с «нечестивыми агарянами».

Европа провоцировала понтийско-византийские устремления Москвы. Папа Лев X в 1518–1519 гг. через посольство Дитриха

Шомберга призывал Василия III к борьбе против турок, обещая короновать его и признать за ним право на византийские владения. В 1575 г. послы императора Максимилиана Иоган Кобенцель и Даниил Принц склоняли Ивана Грозного содействовать избранию эрцгерцога Эрнеста королем Польши и великим князем Литвы: «Ты, Эрнест, цесарь, король испанский, папа римский и другие христианские государи вместе на сухом пути и на море нападете на главного недруга вашего, султана турецкого, и в короткое время выгоните неверных в Азию; тогда по воле цесаря, папы, короля испанского, эрцгерцога Эрнеста, князей имперских и всех орденов все цесарство Греческое восточное будет уступлено твоему величеству и ваша пресветлость будете провозглашены восточным цесарем» (Соловьев 6 1989:615). В том же духе папа Григорий XIII в 1580 г. через посольство Антония Поссевино увещевал Ивана IV видеть пользу в унии церквей: «В братском союзе с сильнейшими монархами Европы... ты возьмешь не только Киев, древнюю собственность России, но и всю империю Византийскую, отъятую Богом у греков за их раскол и неповиновение Христу Спасителю» (Карамзин 2 2003:326). Впрочем ни Василий III, ни Иван IV не проявил живого интереса к византийскому наследию, по крайней мере в официальной дипломатии.

По-видимому, в начале XVI в. составилось сказание о том, будто Август, кесарь римский, обладатель всей вселенной, когда стал изнемогать, разделил вселенную между братьями и сродниками своими и брата своего Пруса посадил на берегах Вислы-реки по реку, называемую Неман, что и доныне по имени его зовется Прусской землей, «а от Пруса четырнадцатое колено — великий государь Рюрик». Опираясь на этот миф о происхождении московских Рюриковичей, московские бояре-дипломаты в 1563 г. оправдывали царский титул Ивана IV в переговорах с польскими послами. В это же время мифологический репертуар Руси пополнился сказанием о получении Владимиром Мономахом от греческого царя Константина Мономаха венца царского и сердоликовой чаши, из которой пил кесарь Август: «Оттоле тем царским венцом венчаются все великие князья владимирские» (легенда для венчания Ивана IV в 1547 г.). Чуть позже, в XVII в., дьяк Грибоедов составил учебник русской истории, в котором династия Романовых выводится через царицу Анастасию от сына некоего

«государя Прусской земли» Романова, сродника Августу, кесарю римскому (Ключевский 2 1988:117, 127).

Будучи в течение нескольких веков религиозной колонией Византии и политической колонией Орды, Русь настолько основательно насытилась этими воздействиями, что стала форпостом как ордизма, так и понтизма. К XVI в. эти два потока колонизации дали эффект «миграции двух царств», и Москва оказалась средоточием двух традиций и идеологем, которые в смешении образовали доктрину нового царства-метрополии, вобравшего в себя мощный потенциал экспансии.

Византийские грезы

Накануне Смуты Московия преуспела в реализации идей, долгое время остававшихся грезами. В царствование Федора Москву навестили два восточных патриарха, чего прежде никогда не случалось. В июне 1586 г. за «милостыней»[8] прибыл антиохийский патриарх Иоаким, к которому Борис Годунов обратился от имени царя Федора с просьбой об устроении в Московии патриаршества. Вскоре Москвы достигли вести об интересе восточных патриархов к этому предложению, и в июле 1588 г. за «милостыней», ибо «церкви божьей строити и келей ставити нечем», в Москву пожаловал вселенский константинопольский патриарх Иеремия II. Через полгода, 23 января 1589 г., собор с его участием избрал митрополита Иова патриархом московским. Уложенная грамота о введении русского патриаршества содержала упоминание «третьего Рима» в выражениях старца Филофея.[9] Правда,

[8] Антиохийский патриарх привез царю Федору послание от константинопольского патриарха Феолипта и александрийского патриарха Сильвестра, в котором они просили милостыни в размере 8 тыс. золотых на покрытие долгов антиохийской апостольской церкви, обещая взамен: «Вам то господь бог заплатит седьмерицею во царствии небеснем и буди на вас благодать и милость господа нашего Исуса Христа всегда во веки» (Шпаков 1912:267).

[9] В тексте грамоты содержится обращение Иеремии к московскому царю: «Понеже убо ветхий Рим падесе аполинариевою ересью, вторый же Рим иже есть Константинополь агарянскими внуци от безбожных турок обладаем, твое же, о благочестивый царь, великое росийское царствие, третий Рим, благочестием всех превзыде, и вся благочестивая царствия в твое воедино собрася, ты един под небесем хрестьянский царь...» (Шпаков 1912:346).

соборы восточных патриархов 1590 и 1593 гг., утвердившие постановление Московского собора и признавшие московского патриарха пятым по чести после константинопольского, александрийского, антиохийского и иерусалимского с титулом «патриарх Московский и всея России и северных стран», отклонили определение Москвы как третьего Рима — в греческих актах оно отсутствует (Сахаров и др. 1989:146–152; Флоря 2008:64). Тем не менее с учреждением патриаршего престола в подписанной патриархом Иеремией уложенной грамоте Москва предстает «третьим Римом».

Тогда же едва не случился переезд вселенской церкви из Константинополя в «царствующий град Москву». От обилия мощей, которые Иеремия II привез в дар царю, создается впечатление, что он собирался в Москву не гостить, а переезжать. В золотой панагие, поднесенной им царю, находились: крестик из щепы животворящего креста, на котором был распят Христос; кровь Христова; часть ризы Христовой; часть тернового венца Христова; три пуговицы от ризы богородицы; локтевая кость императора Константина; рука левая по локоть св. Якова; перст Иоанна Златоуста (в дар царице Ирине); мощи сорока мучеников и др. Настроение Иеремии понятно: незадолго до поездки за милостыней он вернулся на патриарший престол после четырехлетнего тюремного заточения и вряд ли полагался на дальнейшую милость султана Мурада. Сопровождавшему его митрополиту Ерофею он как-то обмолвился, что не намерен утверждать автокефалию Русской митрополии, «но если хотят, то я останусь здесь патриархом». В изощренной дипломатии Годунова и Иеремии нелегко уловить соотношение реальных мотивов, но однажды Иеремия произнес: «Остаюсь» (Шпаков 1912:286).

Судя по всему, возможность создания в Москве исконной для восточной церкви «симфонии» (*συμφωνία*) церкви и государства всерьез увлекла Иеремию и казалась осуществлением заветных чаяний обеих сторон. Проект предполагал избавление греческого патриарха от бремени «раба султана» и уже не символическое, а реальное превращение Москвы в Царьград — в недалекой перспективе русский царь обрел бы титул императора священной православной империи, а Московская патриархия стала бы вселенской и первой по чести среди православных поместных церквей. Однако проект осуществился лишь частично — московская патриархия была учреждена, но Царьградом Москва не стала.

До сих пор не вполне ясно, как изворотливому Годунову удалось сначала прельстить грека патриаршеством на Руси, а затем, оставив в силе договоренность о патриаршестве, отправить вселенского патриарха восвояси. Иеремии было предложено утвердить патриаршую кафедру не в Москве, а во Владимире, от чего он отказался, «ибо патриарх всегда бывает при царе». Требование Годунова создать московскую патриаршую кафедру выглядело условием, непринятие которого грозило патриарху неопределенно долгой задержкой в Москве, и совсем не в статусе святителя. Согласие Иеремии «против воли своей поставить патриарха» больше напоминало мольбу об освобождении — чтобы его «государь благочестивый и христолюбивый царь пожаловал отпустил в Царьгород» (Шпаков 1912:294).[10] Иеремия гостил в Москве без малого год, до 19 мая 1589 г., пока не скрепил подписью уложенную грамоту об учреждении патриаршества; еще год он пробыл в Литве, западной Руси и Молдавии, вернувшись в Константинополь только весной 1590 г. (все это время вселенской патриархией управлял дьяк Никифор Кантакузин — случай в истории восточной церкви беспрецедентный).

Можно упражняться в догадках, чего опасались «ангел-царь» Федор, правитель Годунов и его сподвижник Иов и что потеряла или обрела Москва отказом приютить Иеремию с его вселенским патриархатом. Если отвлечься от риторики духовной зрелости Святой Руси к концу царствования Ивана Грозного, то московская патриархия предстает проектом тандема — Иова, которого Годунов возвел в патриархи (1589 г.), и Годунова, которого Иов венчал на царство (1598 г.). В дальнейшем патриархат не только не уберег страну от смуты, но и стал ее гнездом. Одним из свидетелей и участников деяний Иова был служивший у него дьяконом Григорий Отрепьев, который в 1604 г. объявился Лжедмитрием. В 1605 г. он низложил Иова, сменив его греком Игнатием, после чего началась чехарда «лжевенчаний». Так, по законам пародии, в Москве все же воссел «лукавый грек», но не константинопольский

[10] Сопровождавший Иеремию архиепископ Арсений, оставшийся позднее на Руси, представляет диалог между Годуновым и Иеремией иначе: Годунов просил патриарха остаться на престоле в Москве, а тот, отказываясь, сам предложил учредить кафедру для русских и поставить на нее русского архиерея.

патриарх Иеремия, а кипрский архиерей Игнатий, и не в ауре воссияния священной империи, а в смуте развала «третьего Рима».

Возможно, именно пародийность воплощения римского мифа надолго остудила пыл его поборников. Иногда осуществленная идея просто исчерпывает себя, как на обывательском уровне теряет силу сбывшаяся мечта. Сложнее, если она оборачивается фарсом или трагедией, как это случилось с московским «третьим Римом». Людей, склонных верить в двукратное воскрешение «самозарезавшегося» царевича Дмитрия, равно как и в то, что жена обоих Лжедмитриев, венчанная патриархом царица Марина Мнишек улетела из Москвы сорокой,[11] можно было убедить и в том, что они — жители Нового Царьграда (от обилия мистификаций вера не угасает, а народ не прозревает). Однако доктрина Филофея самоопрокинулась — провозглашенный при учреждении патриаршества «третий Рим» тут же рухнул, потеряв династию, патриарха, святость. В обстановке всеобщего страха, взаимных проклятий, «бунта всех против всех» возникла вполне апокалипсическая картина, уклончиво называемая смутой. На месте священного царства образовалось нечто вроде «лже-Рима».

Пик понтизма сменился смутой, в которой Москва забыла на время о своем «римском призвании». Однако, как ни парадоксально, именно на время «кризиса царства» пришлась впечатляющая русская экспансия на восток (о чем речь пойдет ниже). Впрочем возрождение византийских настроений не заставило себя долго ждать, и подогревали их голоса из самого «седалища» вселенской церкви. В начале 1640-х гг. греческий богослов Григорий Власьев в посланиях к царю Михаилу мечтательно представлял его на престоле великого царя Константина: «Сядет великое твое царствие в царских праотеческих палатах» и войдет в храм св. Софии, который «праотец твои Устиниян великий царь сотворил» (Флоря 2008:65).

Между тем текст уложенной грамоты с пассажем о Москве как о третьем Риме был включен в состав печатной Кормчей (1650–1653 гг.) и, благодаря тиражу в 1200 экземпляров, широко разошелся по православному миру, включая епархии России, Сербии, Болгарии. Греки и московиты обменивались взаимными подба-

[11] В свое время бабка Ивана IV, Анна (дочь сербского воеводы Якшича и мать Елены Глинской), слыла колдуньей, летала сорокой, и от ее колдовства выгорела Москва.

дриваниями. В 1649 г. прибывший в Москву иерусалимский патриарх Паисий прямо склонял царя Алексея к византийским грезам: «Пресвятая Троица... да умножит вас превыше всех царей... да утвердит она вас восприети вам превысочайший престол великого царя Константина» (Каптерев 1895:137). В свою очередь «тишайший» царь Алексей обращался к находившимся в Москве греческим купцам, говоря о готовности освободить их родину от турок, после чего она должна была войти в состав «державы богохранимых» русских «великих государей» (Усачев 2012:69–87).

К середине XVII в. зачастившие в Москву южные патриархи и архиереи вели регулярный «милостынный промысел». В 1649 г. иерусалимский патриарх Паисий добился у царя 4000 рублей соболями «на милостыну и на искупление святому животворящему Гробу Господню»; после него антиохийский патриарх Макарий «однажды выторговал соболей на 3000 и во второй раз — на 6000 рублей». Промысел приобрел такой размах, что русские власти установили норму милостыни для патриархов в 2000 рублей и более скромные «тарифы» для епископов и архимандритов. Мало того, в религиозном потоке Московию наводнили проходимцы вроде прибывшего с Паисием «богослова» Арсения Грека, который, как сообщил Паисий, менял веру в каждой стране пребывания: в Италии был католиком, в Польше — униатом, в Турции — мусульманином, но трижды возвращался в православие. Свиты патриархов и сопровождавшие их купцы вели себя так «нецерковно», что в конце 1640-х гг. им был запрещен вход в русские храмы (Каптерев 1895:145; Зеньковский 2006:140, 141). Подобная религиозная ксенофобия со стороны русских была вызвана не только девальвацией образа грека (он и прежде был не идеален), но и своего рода похмельем от «третьего Рима».

Пребывая в Москве, патриарх Паисий высказал царю и Никону (тогда архимандриту Новоспасского монастыря) свои замечания о «неправильности» русского устава и расхождениях между русским и греческим обрядами, в том числе о несоответствии русского двуперстного крестного знамения греческому трехперстному. Так же греческие богословы отнеслись к присланным на Афон русским книгам с упоминанием двуперстного знамения — их решили сжечь. Взволнованная Москва послала вслед за греками монаха Арсения Суханова, которому довелось первым сразиться с греками в дебатах

по православной литургике, доказывая, что «русская практика была более древней и лучше, чем новогреческая церковь, сохранила древнегреческий обряд»; ныне, после падения Константинополя, Россия вместо Греции стала главной хранительницей православия: «Были вы первые, а стали последние, а мы были последние, а стали первые» (Зеньковский 2006:148–150). Тем самым раскол Русской церкви исходил из глубин христианства, от Святого Гроба (коим ведал иерусалимский патриарх), и изначально состоял не в прениях староверов с никонианами, а в споре русских с греками о приоритете во вселенской церкви и об истинном уставе.

Патриарх Никон, обвороженный в свое время Паисием, принял сторону зарубежного благочестия в ущерб русскому. Он провозгласил себя русским по рождению и греком по вере. Еще будучи митрополитом, он ввел в богослужение пение на греческом языке (наряду со славянским); после избрания в патриархи принялся править богослужебные книги по новогреческим образцам, утвердил в Русской церкви греческие амвоны, клобуки и мантии, греческие церковные напевы, учредил в Москве греко-латинскую школу под началом Арсения Грека.[12] Никон подверг гонениям и проклятию многое из того, что считалось «русским благочестием», включая двуперстное знамение, установленное Стоглавым собором 1551 г. Ревнители древлего благочестия ответили встречными проклятиями, объявив московский третий Рим царством антихриста (Стремоухов 2002:440). В старообрядческом толковании «римский миф» приобрел зловещее звучание.

Послужив еще некоторое время ориентиром просвещения, в том числе при создании славяно-греко-латинской академии, византийский миф уступил место идее имперскости Петра I с западно-римскими ориентирами. По наблюдению Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского, «семиотическая соотнесенность с идеей “Москва —

[12] По словам В. О. Ключевского, патриарх Никон пытался забыть «свою нижегородскую мордовскую родину и хотел заставить себя стать греком. На церковном соборе 1655 г. он объявил, что хотя он русский и сын русского, но его *вера* и убеждения — греческие. В том же году после торжественной службы в Успенском соборе он на глазах всего молившегося народа снял с себя русский клобук и надел греческий... Никон хотел даже стол иметь греческий... В 1658 г. сам архимандрит греческого монастыря на Никольской улице с келарем “строили кушанье государю патриарху по-гречески” и за то получили по полтине» (Ключевский 3 1988:285, 286).

третий Рим" неожиданно открывается в некоторых аспектах строительства Петербурга и перенесения в него столицы. Из двух путей — столицы как средоточия святости и столицы, осененной тенью императорского Рима, — Петр избрал второй. Ориентация на Рим, минуя Византию, естественно ставила вопрос о соперничестве за право исторического наследства с Римом католическим... В этом новом контексте наименование новой столицы Градом Святого Петра неизбежно ассоциировалось не только с прославлением небесного покровителя Петра Первого, но и с представлением о Петербурге как Новом Риме. Эта ориентация на Рим проявляется не только в названии столицы, но и в ее гербе... герб Петербурга содержит в себе трансформированные мотивы герба города Рима (или Ватикана как преемника Рима), и это, конечно, не могло быть случайным». К этому же ряду относится собор Петра и Павла в Петербурге, «культ апостола Андрея в идеологии Петровской эпохи», орден Андрея Первозванного и Андреевский флаг (Успенский 1994:63, 64).

В XIX в. «римский миф» отозвался в святорусской легенде славянофилов, а затем вдохновил балкано-понтийские притязания России. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и национализм на Балканах придали римскому мифу оттенок «восточного вопроса» и освобождения христианских народов от турецкого ига. Ф. Тютчев мечтал о России будущего — «великой православной империи, законной империи Востока», о «возвращении» Константинополя, выразив свою мечту в стихотворении «Русская география» (1848/1849 г.): «Москва, и град Петров, и Константинов град — вот царства русского заветные столицы...»

Как отметил Ф. И. Успенский, из «государственно-правовой фикции о Москве — третьем Риме» впоследствии был сделан практический вывод о том, что «Византийская империя принадлежит русскому царю по праву наследства, есть его вотчина, которую ему следует добывать». Таким образом, идея «третьего Рима» служила «основанием для политических притязаний московского правительства» на наследие Византийской империи (1997:664–666).

К. Н. Леонтьев основательнее других размышлял о всеславяно-православной империи со столицей в Царьграде. Апофеозом понтийских грез стало вознесение византизма как национальной идеи:

> С какой бы стороны мы ни взглянули на великорусскую жизнь и государство, мы увидим, что византизм, т. е. Церковь и Царь, прямо или косвенно, но во всяком случае глубоко проникают в самые недра нашего общественного организма... Византийские идеи и чувства сплотили в одно тело полудикую Русь. Византизм дал нам силу перенести татарский погром и долгое данничество (Леонтьев 1996:104, 107).

> Основы нашего как государственного, так и домашнего быта тесно связаны с византизмом... Напомню еще, что наша серебряная утварь, наши иконы, наши мозаики, создания нашего византизма, суть до сих пор единственное спасение нашего эстетического самолюбия на выставках, с которых пришлось бы нам без этого византизма бежать, закрывши лицо руками (Леонтьев 1996:96).

> Византийское начало... единственный надежный корень нашего не только русского, но и всеславянского охранения» (Леонтьев 1996:116).

Позднее в византинистике стало традицией подчеркивать византийские истоки российской религиозно-политической традиции. По замечанию Д. Оболенского, Византия дала Руси пять даров: религию, право, взгляд на мир, искусство и письменность (Obolensky 1950:42).

Вл. Соловьев представлял третий Рим объединителем человечества, примирителем церквей, а позднее (1894 г.) в «Панмонголизме» выразил тревогу: «Судьбою павшей Византии / Мы научиться не хотим, / И все твердят льстецы России: / Ты — третий Рим, ты — третий Рим». Н. А. Бердяев усматривал в русско-мессианской идее третьего Рима «империалистический соблазн»: «духовный провал идеи Москвы как Третьего Рима был именно в том, что Третий Рим представлялся как проявление царского могущества, мощи государства, сложился как Московское царство, потом как империя и, наконец, как Третий Интернационал» (Бердяев 2004:20). Вслед за Бердяевым зарубежные авторы связывали с «римским мифом» советский империализм.

***

Религиозное движение идей и людей обычно не называется колонизацией. Между тем, как показывает русская история, в нем

было все, что характеризует этот феномен: переселение греков на Русь, плата дани (милостыни) митрополии, управление религиозной колонией. Обнаруживаются и свойственные именно колонизации явления вроде религиозной реконкисты и преобразования колонии в метрополию.

Теополитика основана на идеологеме исключительности, освящающей царство божие на земле. Она несет в себе идею мирового господства, даже если в реальности далека от ее осуществления. Заявление религиозной исключительности обычно предшествует зарождению империи: так случилось в английской истории, когда Генрих VIII взял на себя миссию главы английской церкви, и в русской истории, когда Иван III добился автокефалии Московской патриархии. Религиозные зародыши империй появляются за одно-два столетия до расцвета империи. В этом смысле не империя порождала идеологию исключительности, а, наоборот, идея исключительности была ростком империи. Конечно, не все подобные идеи разрослись до империй, но и тех, что пустили корни, хватило для геополитических революций в истории. Успешный проект скоро обрастал соответствующими ритуалами и атрибутами (инсигнии, помазание самодержца как наместника бога на земле, сына бога, главного пророка, главы церкви, первосвященника и т. д.). Теополитика сама по себе не создает «царство избранных», а выступает дизайнером базовых силовых линий, в случае Руси — нордизма и ордизма. Тем не менее она возводит себя в ранг «национальной идеи православия» и претендует на опорную мировоззренческую роль. В триаде нордизм–ордизм–понтизм именно третий элемент обладает своим выразительным голосом и институтом волеизъявления (клиром), отлаженной риторикой и интеллектуальной стратегией.

В истории России и русской натуре присутствует вся триада. Спор о том, кто более русский — новгородец, смолянин, москвич или нижегородец, — лишен смысла, поскольку все они по-своему русские, и русскость сложена из многообразия. Русские магистрали в разных вариациях вошли в деятельностные схемы всех русских и образовали ту сложную композицию, которую принято называть русским миром. Впрочем в каждом русском эта триада выражена в своем неповторимом сочетании, и ситуативно один русский ведет себя как выразитель нордизма, другой как побор-

ник ордизма, третий как дитя понтизма. Осознание этой «русской формулы» предполагает ее восприятие не как приговора судьбы, а как поля возможностей и выбора пути самореализации.

Кому-то такая трехмерность может показаться избыточной сложностью. Даже интеллектуалы в России предпочитают одномерность и однозначность, самоотверженно полемизируя о единственной правде и ее поиске. Подобные «искания» увлекательны, но чреваты бесконечным достижением и низвержением истин. Трехмерность создает устойчивую систему ценностей (и антиценностей), в которой возможна экспертиза и навигация без слома и опрокидывания системы. Это относится и к позиционированию Руси–России в общем антропологическом пространстве.

Историкам не менее, чем антропологам, присущ синдром примордиализма — необоримая страсть и искренняя привязанность к предмету своего исследования. Особенно трудно избежать этого притяжения, если оно направлено к родному отечеству. Это доброе чувство мешает видеть историю в ее реальных диалогах, динамике и разверстке силовых линий. Вольно или невольно Русь становится «пупом планеты», вокруг которого и ради которого течет история. На самом деле Русь существует в галактике стран и народов, в сплетении событий и обстоятельств, когда она оказывается то поглощенной иными мирами, то обретающей собственное (очередное) лицо. Русь не статична, а поразительно изменчива и многообразна: из эпохи ига она выходит совсем не той, что была завоевана Батыем, и бывший ханский улус вдруг называет себя третьим Римом. Ничто историческое Руси не чуждо, в том числе состояния периферийности и колониальной зависимости. Эпизоды поражений и покорений не портят историю, а, напротив, насыщают ее красками, жизнью и драматургией. На их фоне тем более впечатляют сюжеты преобразования колоний в метрополии, как это случалось в истории многих стран мира, в том числе России.

Часть III. Прирастание России

Глава 8. Окраинные люди

Глава 9. Северный ход

Глава 10. Уральская рапсодия

Глава 11. Рывок на восток

Глава 8. Окраинные люди

Поле. Шаткая украйна. Казачьи промыслы.
Живая граница. Стихия Смуты.
Возвращение на окраину

В истории окраинные персонажи колонизации нередко предстают изгоями и смутьянами, хотя их роль, как отметил на примере Африки Ф. Ратцель, иногда судьбоносна:

> [Если] у негров основывается относительно упорядоченное государство, то на его границах вскоре возникает другое сообщество из лиц, принадлежащих к тому же племени и не желающих подчиняться установленному порядку. Эта выделившаяся часть населения, не признающая законов, вследствие свободы от всякого стеснения законом и устранения каких-либо отношений к своему племени, а также и уважения, какое питают к нему самые смелые и наиболее неимущие из соседних племен, часто приобретает большую силу, могущую превратить разбойничье племя в народ завоевателей и основателей государств. Грабеж и завоевание легко переходят друг в друга. Во всех странах, история которых нам известна, разбойничьи племена играли видную историческую роль (Ратцель 1902:129).

На просторах Северной Евразии окраин неизмеримо больше, чем центров, а пограничья или трансграничья так много, что иногда вся Россия видится окраиной: «Россия есть государство пограничное, есть европейская окраина, или украйна со стороны Азии» (Соловьев 17 1988:709). Случалось, что центр и периферия менялись местами, и маргинальное сообщество превращалось в державу и метрополию, как не раз происходило с разбойничьими ордами степей и морей. Статус окраины изменчив и ситуативен: например, Киев был окраиной для Хазарии (позднее для Орды и Москвы), но столицей для полян и киян, днепровских варягов и древнерусских христиан.

Окраина может рождать вольность и самобытность, быть унылой периферией, местом выселения и изгнания, а может сочетать в себе все эти черты. Отдаленность подталкивает к «самостийности», особенно если существует возможность пограничного маневра между соседними странами. Пограничье противобор-

ствующих держав часто оказывается полем их конкурентных стратегий и перекрестком военных рейдов.

На Руси окраины (украйны) нередко противопоставлялись столице и служили местом сбора разбойной вольницы. В русской традиции украйнами назывались все порубежные земли, а украйной «классической» считалось пограничье леса и степи. Общей чертой всех окраинных людей была «стихийная демократия», контрастировавшая с государственным порядком метрополии. Нередко эта демократия была протестной и исходила не из собственной позиции, а из пограничной конъюнктуры. Окраинные люди могли менять одну украйну на другую под давлением обстоятельств или в поисках лучшей доли. «Украйна» была стихией трансграничья со смесью разбойных, вольных, изгойных, протестных и иных мотивов и настроений.

Поле

В рассказе о заговоре против Бориса Годунова К. Буссов упоминает «Дикое поле» (wilde Feld), куда к «полевым казакам» (Feld-Cosaquen) отправился монах Григорий Отрепьев (Буссов 1961:95). С тех пор выражение «Дикое поле», прежде означавшее всякий участок целинной земли, приобрело географический и исторический смысл (Папков 2004:12). На польской карте Гильома де Боплана 1648 г. область к северу от Черного и Азовского морей названа Dzike Polie. В Московском царстве причерноморские степи и лесостепи назывались просто Полем. Не исключено, что с этой традицией связано племенное имя днепровских полян.

С древности южнорусская степь была геополитическим перекрестком, по которому в разных направлениях перекатывались миграционные и колонизационные волны. Военно-разбойничья вольница осваивала пограничье степи и леса, вероятно, с эпохи бронзы, когда появились первые конные орды. Долгое время это пространство находилось в орбите кочевий и кормлений степняков, включая хазар, печенегов и половцев. В X в. варяги сдвинули южный рубеж Руси к Азово-Понтийскому побережью, где при Святославе существовала русская Тмутаракань, однако с ослаблением варяго-греческой магистрали к XIII в. граница откатилась назад к Киеву.

В военно-разбойные банды на пограничье леса и степи собирались удальцы, беглецы, изгои, авантюристы и другие люди неспокойной судьбы. В военных поселениях XI в. близ Киева на реке Рось С. М. Соловьев видит «зерно казачества» (Соловьев 1 1988:66). М. К. Любавский полагает, что русских людей в степь издавна влекли «богатые звериные, рыбные и пчелиные угодья».

> ... в степь уходили преступники от наказания, рабы от господ, неоплатные должники от кредиторов и разные отбившиеся от семьи и общества люди, простолюдины-изгои, подобно тому, как уходили в эту же степь князья-изгои. В половине XII в. этого бродячего русского населения накопилось, по всем данным, довольно значительное количество, и оно подобно позднейшему казачеству играло известную роль в политических событиях страны (Любавский 1996:138).

Говорящих по-русски бродячих разбойников-воинов степей звали бродниками. На Калке они бились в рядах монголов, а затем опустошали Русь в составе Батыевой орды (венгерский король Бела IV в письме к папе Иннокентию упоминает «злочестивых христиан» *brodnici* в татарском войске). Татары ценили бродников как проводников-переводчиков и «щадили их при встрече с ними в степи». Этих «отбившихся от родины» русских людей было так много, что Половецкая степь звалась на Западе *terra Cumaniae et Brodiniae* (земля половцев и бродников). Преемственность бродников и казаков видна в том, что «самое слово “казак” по смыслу своему близко стоит к слову “бродник”, и весьма вероятно, что одно есть замена другого, слово “казак” существовало уже у половцев для обозначения передового стража, передового бойца». В начале XIV в., судя по греческой надписи из Судака, бродники уже назывались на турецко-татарский лад «казаками» (Любавский 1996:139, 167, 340).

Бродник и *казак* действительно сходны в значении «бродяга-воин». Тюркское слово *казак* первоначально имело смысл «отделившийся или одичавший конь» (Благова 1970:144, 145). Кыпчакский глагол *казакла* (скитаться, жить вольно, казаковать) обозначал «временное состояние отколовшегося от своего рода удальца, жившего военным бытом в степи» под началом атамана — «организатора набегов на ближних соседей и походов в даль-

ние страны» (Кляшторный, Савинов 2005:58). «Казаковать» могли и ханы, проигравшие борьбу за власть и лишившиеся своих улусов; на долю многих ханов и султанов выпадали «дни казачества».

В. О. Ключевский считал казака «преемником киевских богатырей, стоявших в степи “на заставах богатырских”, чтобы постеречь землю Русскую от поганых».

> Историческим продуктом степи… является козак, по общерусскому значению слова — бездомный и бездольный, «гулящий» человек, не приписанный ни к какому обществу, не имеющий определенных занятий и постоянного местожительства, а по первоначальному и простейшему южнорусскому своему облику человек «вольный», тоже беглец из общества, не признававший никаких общественных связей вне своего «товариства», удалец, отдававший всего себя борьбе с неверными… Со Смутного времени для Московской Руси козак стал ненавистным образом гуляки, «вора» (Ключевский 1 1987:84, 85).

Предположительные увязки казаков с кавказскими касогами (со ссылками на Константина Багрянородного) или с хазарами (в украинской версии древней самостийности казаков-малороссов)[1], несмотря на лингвистическую слабость, имеют свои историко-антропологические основания, поскольку бродячие ватаги степных воинов-разбойников действительно были разноплеменным сбродом удальцов и изгоев. Первые упоминания казаков в половецком словаре “Codex Cumanicus” (1303 г.) и «Сугдейском синаксарии» (1308 г.) обозначают их как «стражей». В XIV–XV вв. среди казаков (сторожевых войск) Каффы и Таны в Крыму значились армяне и тюрки, тогда как русские казаки появились позднее.[2] «Ордынскими казаками» именовали в XV в. татар, кочевав-

[1] «Хазарский миф», обосновывающий раздельное происхождение и крещение великороссов и малороссов, популярен на Украине со времен гетмана Мазепы и нашел выражение в «Конституции Орлика» (гл. 1): «Так и народ боевой старинный казацкий, который раньше назывался казарским, сперва был поднят бессмертной славой, просторными владениями и рыцарскими почестями, которыми не только окружающим народам, но и самому Восточному государству был страшен на море и на земле, и то так далеко, что цезарь восточный, желая его себе пожизненно примирить, соединял супружеским союзом сыну своему каганову дочь, т. е. князя казарского».

[2] Карпов С. П. Доклад на сессии РАН 18.12.2012.

ших независимо от ханов и совершавших самостоятельные набеги на московские владения (Горский 2005:180). Казаки (вероятно, татары) упоминаются в Крымской орде с 1474 г., в Казанском царстве — с 1491 г., на Волге — с 1492 г., в Азове — с 1499 г., в Астраханском царстве — с 1502 г. (Сухоруков 1903:3). «У татар под именем козаков разумелся третий, самый низший отдел войска, состоявшего из уланов, князей и козаков» (Соловьев 3 1989:305).

Со времен Н. М. Карамзина и И. Н. Болтина принято считать, что Русь заимствовала слово *казак* от ордынских баскаков, ездивших по «Русскому улусу» с охраной из казаков. Татарские корни обнаруживает казачья военная лексика: *атаман* (предводитель), *есаул* (помощник атамана), *караул* (охрана), *ертаул* (разведывательный отряд), *сеунч* (известие о победе) и др. Впервые на Руси казаки упоминаются в 1444 г., когда они вместе с княжескими войсками прогнали от Рязани татарского султана Мустафу. Этими казаками могли быть татары из окружения султана Касима — в Московском княжестве «городецкие казаки» состояли при касимовских царевичах. В XV в. казаки упоминаются все чаще, в том числе на службе у татарской знати (например, у Сатылгана, сына крымского хана Менгли-Гирея). В 1538 г. на жалобу ногайского мирзы Келмагмета о разорениях от городецких казаков Иван IV отвечал: «На поле ходят казаки многие: казанцы, азовцы, крымцы и иные баловни казаки; а и наших украин казаки, с ними смешавшись, ходят, и те люди как вам тати, так и нам тати и разбойники» (Сухоруков 1903:3).

С 1490-х гг. в украинских летописях слово «казак» означает степного добытчика-воина, а выражения «ездить в казачество», «казачествовать» обрели смысл степного промысла (Пономарев 2000:36). В начале XVI в., по сведениям Матвея Меховского, в приднепровских степях Алании бродили казаки, «ища... кого пожрать» (Меховский 1936:72). Одновременно казаки упоминаются на Дону. В 1502 г. Иван III писал рязанской великой княгине Аграфене по поводу хождений «в молодечество» из Рязани на Дон:

> А ослушается кто и пойдет самодурью на Дон в молодечество, их бы ты, Аграфена, велела казнить, вдовьим да женским делом не отпираясь. А по уму бабью не учнешь казнить, ино мне велети казнити и продавати: охочих на покуп много.

По словам М. К. Любавского, грозное предписание великого князя объясняется тем, что удальцы, ходившие на Дон, «забирали турок и татар, грабили купцов, проезжавших через степи, и причиняли дипломатические неприятности московскому правительству... Тогдашнее общество постоянно выделяло из себя предприимчивых людей, стремившихся уходить на прибыльные промыслы, на вольную волюшку, молодецкую удаль, как поется в казачьих песнях. Тот самый процесс, который до татар создавал бродников степей, продолжался и при татарах и позже, с образованием Литовского и Московского государств, и создавал казаков запорожских и донских» (Любавский 1996:312, 313).

Вопреки княжеским запретам, число казаков множилось. В 1546 г. воевода Путивля кн. Михайло Троекуров извещал великого князя: «Ныне, государь, казаков на Поле много и черкасцов, и киян, и твоих государевых, вышли, государь, на Поле из всех украин» (Сухоруков 1903:3). По составу казаков угадывается доминирование того или иного государства в Поле: в XV в. преобладали казаки-татары, в XVI в. их потеснили украинские (литовские) и русские (московские) казаки. Географически среди казачества, заполнившего с упадком Орды степи между Карпатами и Алтаем, обособляются три области разного этнического облика: (1) русские на Дону; (2) украинцы на Днепре; (3) тюрки в Крыму, Приазовье, Дешт-и Кыпчак и Мавераннахре (Благова 1970). В первой сформировалось российское казачество, во второй — запорожское и украинское, в третьей (между Балхашом и Аралом) — казахи. В состав терских и гребенских казаков, появившихся в конце XVI в., входили кабардинцы, чеченцы, кумыки, ногайцы, грузины, армяне, черкесы (Аверин 2003:118, 119).

По своей природе казачество было эхом ордизма с его культом войны, разбоя и воли атаманов. Казачий «стихийный ордизм» воспроизводил архаичные степные алгоритмы «войны всех против всех». Дикое поле было адом для смирных и раем для дерзких. Впрочем не только Поле формировало характер стекающихся сюда людей, но и сами они привносили удаль и авантюризм разной этнической природы. Казачье Поле выглядело ареной состязательного взаимодействия удальцов из татарских орд, с Кавказа, из Литвы, Московии. По описанию С. М. Соловьева,

> как обыкновенно бывает в странах колонизующихся, усевшаяся часть народонаселения, предавшаяся постоянному труду земледельческому, выделяет из себя людей, которых характер и разные другие обстоятельства... заставляют выходить из общества и стремиться в новые, незанятые страны... Понятно, что эти люди, предпочитающие новое старому, неизвестное известному, составляют самую отважную, самую воинственную часть народонаселения... [Казак был] предоставлен одним собственным силам, должен постоянно стоять настороже против степных хищников. Отсюда эти люди должны соединяться в братства, общины, для которых война служит главным занятием (Соловьев 3 1989:304).

Казачье сообщество лишь извне выглядело монолитным, а изнутри представляло собой котел разных нравов, интересов и затей. Будучи в своих истоках изгойской и протестной, казачья вольница кишела конфликтами. Находясь на пограничье, казаки и во внешних действиях ориентировались на конфликты, вникая в противоречия и интриги соседних держав, принимая то одну позицию, то другую, то несколько кряду. Эта турбулентность обусловила своеобразную пограничную ментальность, в которой маневр преобладал над постоянством. Казаки могли служить нескольким правителям сразу, легко меняя союзников и противников, и в этом выражалась не шаткость взглядов, а образ пограничной жизни.

Авантюризм, удаль, маневренность и маргинальность в совокупности задавали мощный импульс колонизации. При этом казаки, даже будучи изгоями и бунтарями, были по-своему порождением державы и сохраняли с нею связь. Парадокс состоял в том, что чем больше изгоев выталкивало государство, тем шире становилось осваиваемое ими порубежье. Переходя границы, «лишние люди» открывали путь следовавшему за ними государству. Тем самым внутренняя напряженность в стране подгоняла внешнюю экспансию. При этом возникала и другая зависимость — разрастающаяся окраина несла в себе заряд смуты.

Шаткая украйна

После монгольского завоевания картина мира перевернулась — южная окраина Руси стала северной окраиной Орды. Пограничье степи и леса осталось краем, но уже другой метропо-

лии. В ордынскую эпоху эта украйна была владением татар и пастбищем для их табунов с вкраплениями земледельческих житниц (например, Болоховской земли), поставлявших провизию в Орду. С развалом ханства украйна оказалась территорией соперничества и раздора, на которую в той или иной мере претендовали, помимо кочевых орд, Литва, Москва, Польша, Венгрия, Молдавия. Окружающие державы пытались включить южнорусскую украйну в орбиту своего влияния, и она представляла собой не самостоятельную страну, а поле конкурентных стратегий и перекрестной колонизации.

По существу южнорусская украйна была схождением окраин соседних государств, и многообразие окраинных (украинских) сообществ связано именно с их внешней привязкой. Например, Галиция была преимущественно литовско-польской областью, Закарпатье — венгерской (так называемая Венгерская Украина), Буджак — турецкой (запорожцы Буджака до 1808 г. служили Турции), Слобожанщина — русской (хотя и с весомой долей черкасов). В этих областях складывались локальные варианты *батьківщині* — местного самосознания.

На украйне эпизодически возникали самостоятельные политические образования (Киевское, Галицко-Волынское княжества), но они довольно быстро теряли влияние и независимость. Например, Даниилу галицкому в 1250-е гг. удалось избежать подчинения Орде, но вскоре Галиция оказалась под властью Венгрии, а с 1387 г. — Польши. Центральным районом южнорусской украйны (и ядром будущей Украины[3]) было Среднее Поднепровье — Киевщина и Переяславщина, где сложилось сообщество, называвшееся «украинцами», и откуда позднее это название распространилось по всему южнорусскому пространству от Закарпатья до Слобожанщины (Пономарев 2000:34). Правда, по словам В. О. Ключевского, в ордынские времена значительная доля русского населения Среднего Поднепровья мигрировала на запад, к Карпатам и Висле, а в XIV–XV вв., с усилением Польско-Литовского государства, произошло обратное движение в Малороссию и «вторичное заселение среднего Приднепровья» (Ключевский 1 1987:288, 289).

[3] Название «Украина» для обозначения этнической территории употребляется с конца XVI в. (Українська народність 1990:44, 45).

На исходе ордынского владычества в днепро-донском междуречье располагались осколки Орды — княжество Мансура, Яголдаева тьма, Глинск (Багалей 1886:2, 4; Русина 2001:144–152). Кроме кочевников, Поле осваивали жители соседних лесов, в том числе севрюки (северские казаки), происходившие частью из местных славян-северян, частью из азовских и днестровских казаков, прибывавших в Путивль и его окрестности при Василии III.

Когда Орда впала в «замятню», претензии на Поле заявили две Руси — Литовская и Московская. Первой в реконкисте преуспела Литва, сложившаяся в державу под началом князя Миндовга в XIII в., а в начале XIV в. при Гедимине, Ольгерде и Любарте расширившая свои южные владения до Галиции и среднего Днепра. Ольгерду удалось отнять у татар Подолье, Киевщину, Черниговщину, Северщину. Поражение от Орды на Ворскле в 1399 г. остудило пыл Витовта, намеревавшегося, если верить летописям, распространить свое влияние на ордынское поле от Днестра до Урала. В XV в. «полукочующий угол Европы» (выражение Н. В. Гоголя применительно к польской украйне) наводнился казаками и их походно-промысловыми станами-сечами, которые к середине XVI в. объединились в Запорожскую Сечь.

На востоке азово-черноморского Поля сложилась своя вольница: азовские казаки упоминаются с XV в., донские — с начала XVI в. Н. М. Карамзин называл донское казачество «новой воинственной республикой», а казаков представлял как «людей, говорящих нашим языком, исповедующих нашу веру, а в лице своем представляющих смесь европейских с азиатскими чертами» (Карамзин 2 2003:149, 150). В числе их атаманов были татары, что вполне вписывается в традицию татарско-русского ордизма. Например, ногайский князь Юсуф в послании 1549 г. Ивану IV упоминал Сарыазмана: «Холопи твои, нехто Сарыазман словет, на Дону в трех и в четырех местах городы поделали, да наших послов и людей наших, которые ходят к тебе и назад, стерегут, да забирают, иных до смерти бьют... Этого же году люди наши, исторговав в Руси, назад шли, и на Воронеже твои люди — Сарыазманом зовут — разбойник твой пришел и взял их». Татары входили в состав донского казачества и позднее. Например, в 1589 г. крещеный крымский татарин выехал на Дон и служил там государю московскому 15 лет: «крымских людей грамливал и на

крымских людей и на улусы на крымские воевать с казаками донскими хаживал, а с Дону в Путивль пришел». Он просил государя освободить его двор в Путивле от налогов и повинностей, «обелить» его и велеть ему служить царскую службу вместе с белодворцами (Ключевский 3 1988:100).

Первым на Дону упоминается казачий городок Раздоры на острове при слиянии Донца с Доном. Позже роль главного гнезда донского казачества перешла к Монастырскому городку, а в начале XVI в. — к Черкасскому, основанному выходцами из польской украйны (Малороссии) на острове в дельте Дона (Любавский 1996:313). Сходство днепровских и донских «сечей», как и название опорного городка (Черкасы), роднит запорожских и донских казаков и свидетельствует о весомой роли малороссов в становлении раннего казачества.

В XVI в. южнорусские казаки условно разделялись на донских русских казаков и украинских черкас. Наименование днепровской казачьей вольницы «черкасами» указывает на их связь с кавказскими черкесами с тех времен, когда остатки бродников укрывались от монголов в горах Кавказа и вместе с адыгами-черкесами подвизались в войне и страже. «Черные клобукы, еже зовутся Черкасы» упомянуты в составе войска князя Изяслава Мстиславича еще под 1152 г. (ПСРЛ Т. 25 1949:54). В XVI в. черкасами именовали украинских казаков, а к середине XVII в. — всех жителей Украины и переселенцев из Литвы в Россию (Папков 2004:17, 18). Ногаи в XVI в. называли короля польского царем черкасским (Сухоруков 1903:6), а в западных документах XVI–XVIII вв. Украина фигурировала как «страна казаков» (Cosacorium) (Пономарев 2000:20).

Освоение Поля казаками в XVI в. не мешало крымскому хану считать степь и лесостепь между Днепром и Доном своими летними кочевьями. Из Крыма («неприступной с суши разбойничьей берлоги», по выражению В. О. Ключевского) татары совершали набеги на Московию, Литву и Польшу. Эти рейды были «главным жизненным промыслом» Крымской орды. В самом Крыму в середине XVI в. насчитывалось не более 30 тысяч конных ратников, но в походах к ним присоединялись другие татарские улусы; крымский хан дважды, в 1571 и 1572 гг., приводил на Москву до 120 тыс. человек. Из Крыма на Москву вели удобные для конницы

пути (шляхи, сакмы) по водоразделам, минуя речные переправы. Главным из них был Муравский шлях, шедший от Перекопа до Тулы по водоразделу Днепра и Северного Донца. Крымские татары тревожили Московию один-два раза в год, во время сева или жатвы, «когда легче было ловить людей, рассеянных по полям». Случались и зимние набеги, когда мороз облегчал переправу через реки и топи (Ключевский 2 1988:196, 197; 3 1988:225).

У Ивана III сложились доверительные и даже дружеские отношения с крымским ханом Менгли-Гиреем, но в княжение Василия III союз разладился. В XVI в. Московия часто подвергалась набегам крымцев, и хан еще долго рассматривал Россию как промысловое угодье — даже в Бахчисарайском договоре 1681 г. Москва не смогла добиться «ни отмены постыдной ежегодной дани хану, ни признания московского подданства Запорожья» (Ключевский 3 1988:225). И все же крымцы не завоевывали Московию, а лишь грабили ее, избегая крупных сражений. В отличие от Батыевой орды, они не претендовали даже на приручение князей, тем более на колонизацию русских украйн. Им привычнее и выгоднее было пустое Поле, дававшее простор их маневрам и походам.

Колонизация Поля из оборонительных побуждений была заботой Литвы и Москвы, причем с первых же шагов конкурентной. Спор Литвы и Москвы за южные украйны вызвал Странную войну 1487–1494 гг., в ходе которой Верховские княжества перешли от Литвы к Москве. Князья Воротынские, Новосильские, Мезецкие и другие лавировали между Литвой и Москвой по политическим, религиозным и персональным мотивам. Эстафету шаткости подхватили князья Бельские, Мосальские, Трубецкие, Стародубские, Рыльские. После русско-литовской войны 1500–1503 гг. Северские земли, в том числе Путивль, Чернигов, Брянск, Рыльск и Новгород-Северский, перешли от Литвы к Москве, а в ходе русско-литовской войны 1507–1508 гг. на Русь выехали князья Глинские (Зимин 1982; Кром 2010).

Все это время великие князья Литвы (Александр, Сигизмунд I) и Москвы (Иван III, Василий III) заявляли свои права на спорные порубежные земли, а многочисленные удельные князья украйн метались от одного подданства к другому. Ставшая украинской традицией политическая шаткость элиты находила отклик в настроениях казаков, которые в путанице прав и претензий

разбойничали на «ничейных землях», легко меняя подданство и творя собственные законы и беззакония.

В последние десятилетия XVI в. россияне и украинцы, по словам А. И. Папкова, «столкнулись на Поле как подданные враждующих государств». В царских грамотах 1630-х гг. черкасы, наряду с поляками, причислялись к «искони вечным врагам» России. В 1638 г. была сделана попытка провести русско-польскую границу между Северскими и Полтавскими землями: по ней были вырыты разделительные рвы, вкопаны кресты, сделаны затесы на деревьях и высечены буквы «W» (Владислав) с польской стороны и «ЦМ» (царь Михаил) — с русской (Папков 2004: 91, 199, 153).

Вражда в Поле больше напоминала смутную склоку, чем внятное противостояние. Так же смутно и смешанно выглядели два потока колонизации Поля — русский и украинский. Различались они тем, что «русская колонизация была преимущественно правительственной, опиравшейся на строящиеся государством города-крепости и формировавшиеся в регионе вооруженные силы», тогда как украинская была стихийной, отчасти поддерживаемой польскими землевладельцами, а государство лишь не препятствовало переселению черкас (Папков 2004:109). В остальном нравы и действия русских и украинских казаков скорее сходились, чем рознились.

Обстановку вольного разбоя передает случай с черкасом Алексеем Боровским. В 1632 г. он в числе 38 черкас, под командованием донского казака Мокея Шелудяка, отправился в степь стеречь татар. Не найдя крымцев, черкасы пошли грабить казацкие поселения на Дону, захватили станицы Хопер и Медведицу, затем двинулись «воровать» в Борщев монастырь под Воронежом. В этот момент Боровской, по его словам, от черкас отстал и поехал «на государево имя»; после допроса он был направлен на русскую службу в Казань (Папков 2004:140).

В действиях 38 черкас видна «разбойничья всеядность»: выйдя на промысел, они готовы грабить без разбору татар, донские станицы, монастыри. Донец Шелудяк выглядит еще маргинальней, чем черкасы, поскольку ведет их на донские станицы и казачий Троицкий монастырь (основанный в 1613 г.), где коротали дни престарелые донские казаки. А главный герой рассказа, черкас Боровской, в конце концов идет на царскую службу, махнув

рукой и на собратьев по разбою, и на польско-литовское подданство, и на казачью волюшку. Впрочем подобные зигзаги судьбы для казаков и черкас были не попранием чести и морали, а обыденностью «окраинных людей».

Переход черкас на государеву службу был одним из путей расселения украинцев в России. Московские власти принимали черкас охотно, но с опаской. Например, в 1589 г. запорожский атаман Матвей Федоров изъявил желание «служить государю и над крымскими людьми промышлять». По этому поводу Афанасию Зиновьеву, отправленному с отрядом из Путивля на Северский Донец и Оскол, велено было вызнать намерения атамана: в сговоре ли он с «воровскими черкасами» (в ту пору Мишак с товарищами ходил по Донцу, Осколу и Дону, громя государевых людей и угоняя скот в окрестностях Рыльска и Новосили) или, напротив, готов способствовать их поимке. В случае конфликта Зиновьеву предписывалось разгромить отряд Федорова. История завершилась во благо Москвы — атаман Федоров поступил на государеву службу и успешно поставлял «языков», в том числе татарина и «воровского черкаса» (Папков 2004:96–98). Служилые черкасы были удобны в охране границ от татар и «воровских черкас». Иногда, правда, случалось, что служилые черкасы, бежавшие из России, вновь появлялись в ее пределах уже в виде «воровских» (Багалей 1886а:105; Папков 2004:183, 254). Летучие казачьи станицы (в старом значении «стаи») легко чередовали «воровство» и «службу».

По заключению А. И. Папкова, российская государственная колонизация оказалась более эффективной, чем украинская народная; при этом царское правительство нашло применение и черкасам, которым разрешалось селиться в пределах России с условием их перехода в служилое сословие и российское подданство (Папков 2004:128). Переселение черкас из Речи Посполитой в Московское царство приобрело настолько массовый характер, что М. С. Грушевский назвал его «украинским колонизационным походом на восток» (Грушевский 1995:41–57).

В порубежной колонизации привлечение воинов-разбойников играло роль «вспашки» чужих границ, после чего государевы люди обустраивали там свой порядок, перебрасывая или вытесняя казаков и черкас на отдаленные «целинные» земли (например, в

Сибирь). Московское царство использовало казаков для пробивания чужих границ, при этом оправдываясь непричастностью к их разбоям и сохраняя видимость добрососедства с Портой, Крымским ханством, Ногайской ордой.

Казачьи промыслы

В русском языке до сих пор сохраняется старый смысл слова «казачить» — жить и служить на стороне; например, у поморов «пойти в казаки» означает отправиться на отхожий промысел, что не исключает подневольного состояния. В XVI–XVII вв. казаками назывались разбойники украйны, татары на русской службе, бездомные работники, беглые рабы, странники; на Поле казачество подразумевало вольницу и своеволие, при этом одних казаков называли «воровскими», других «служилыми», а на самом деле их роли чередовались. С петровских времен казаки составили регулярное войско и стали верными слугами государя, нередко выполняя полицейские функции. Диапазон занятий казаков впечатляюще обширен, что подразумевает высокую мобильность и адаптивность. Казачий быт включает не только походы и разбои, но и множество мер и дел по обеспечению безопасности, оперативному обмену информацией, добыванию средств к существованию, а временами и процветанию. Способность казаков к разнообразным самостоятельным и решительным действиям, выработанная в турбулентном пограничье, стала эффективным инструментом российской колонизации.

В XVI в. вольные ватаги выходили на Поле казаковать — «промышлять пчелой, рыбой, зверем и татарином» (Ключевский 3 1988:102). Каждое занятие само по себе предполагало вариации: лов рыбы и воровство чужих ловушек, охоту на лис и кражу чужой добычи (пушнины и капканов), пастушество и конокрадство, бортничество и захват пасек (меда), а также добычу ясыря (рабов), походы «за зипунами» на Русь и за кафтанами в Персию и Турцию. Казачьи ватаги, пройдя разбойную школу Крымской и Ногайской орд, применяли ордынские приемы налетов и грабежей. Эти приемы они обращали против самих орд, выслеживая и грабя их станы и караваны.

Главным промыслом был разбой, называвшийся «казацким хлебом». По словам В. О. Ключевского, «ни до чего другого, кро-

ме добычи, казакам не было дела». При этом они не были отягощены патриотизмом: если первоначально украинские (запорожские) казаки промышляли больше на крымской, турецкой, молдавской или московской чужбине, то в XVI в. они стали «воровать» и в собственном отечестве — Речи Посполитой. Подобно другим вольным воинам, казаки презирали земледелие, считая плуг сродни оковам. Хлеб, одежду и амуницию они захватывали или получали в виде платы за службу (в том числе от Москвы). Во времена «рыцарства войска Запорожского» казаки разделялись по необходимости или жребию на воинов-налетчиков и добытчиков провианта. В Сечь не допускали женщин, а женатые казаки (*сидни*, *гнездюки*) жили отдельно по зимовникам и сеяли хлеб для сечевиков (Ключевский 3 1988:102–104).

По описанию Гийома де Боплана, в 1630-е гг. насчитывалось 120 тыс. запорожцев, «закаленных в битвах и всегда готовых по первому приказанию, чрез неделю, выступить в поле, на службу королевскую. Это те самые казаки, которые почти ежегодно на челнах своих разгуливают по Эвксинскому Понту для нанесения ударов туркам; неоднократно они грабили владения Крымского хана, опустошали Патолию, разоряли Требизонд, доплывали до Босфора и даже в трех милях от Константинополя предавали все огню и мечу». Казаки отправляются в походы числом до 10 тыс. человек, в плен берут только детей. Они владеют разными ремеслами, умеют пахать и «стараются превзойти друг друга в пьянстве и бражничестве, и едва ли найдутся во всей христианской Европе такие беззаботные головы, как казацкие» (Боплан 1832:4, 5).

Военной добычей жили и донские казаки. В середине XVI в. они, судя по жалобе турецкого султана ногайцам, «с Озова оброк емлют, и воды из Дона пить не дадут», а крымскому хану «срамоту учинили» — «пришед, Перекоп воевали; да казаки Астрахань взяли» (Скрынников 1986:119). Вместе с запорожцами донцы захватывали купеческие корабли на Черном и Азовском морях, громили берега Малой Азии, в 1590 г. разорили и сожгли Синопу и Трапезунд, опустошали окрестности Константинополя. После паузы на время Смуты военные промыслы донских казаков на Азовском и Черном морях продолжились. В 1648 и 1649 гг. они погромили берега Крыма и Предкавказья, в 1650 г. — Анатолии, в 1652 г. — окрестности Константинополя, в 1653 г. вновь грабили

Анатолию и Крым, в 1654 г. — Крым; в 1655 г. взяли Тамань и опустошили берега Крыма, в 1657 и 1659 гг. снова грабили Крым и Предкавказье. На требование турецкого султана свести казаков с Дона московское правительство в 1647 г. отвечало, что учинить этого нельзя: «Донские казаки бежали из Московского государства, заворовав, от смертные казни и живут в тех местах изстари кочевым обычаем, и с ними живут разные веры люди — литва и немцы, и горские и запорожские черкасы, и крымцы, и ногайцы, и азовцы» (Любавский 1996:314, 315).

Воины Поля совершали и северные рейды. Черкасы нападали на русские селения, казачьи станицы и сторожи (конные сторожевые посты у засечной черты). В 1590 г. воевода Чернигова сообщал о разгроме черкасскими и каневскими казаками сторож Василия Оладьина, Игнатия Тютчева и Третьяка Кузьмина, посланных на Донец, о нападениях на бортные ухожьи в Путивльском и Рыльском уездах, о совместных разбоях черкасского атамана Дениса и татар в Брянском уезде (Папков 2004:102, 103). Примечательно, что во время набегов и войн казаки «обращались с русскими и их храмами нисколько не лучше, чем с татарами, и хуже, чем татары» (Ключевский 3 1988:105).

Одним из главных казачьих промыслов был захват и продажа полона — *ясыря* (от тур. *esir*, «военнопленный»). Казаки были не понаслышке знакомы с рабством, поскольку среди них было немало беглых пленников-рабов (Lantseff, Pierce 1973:75–77; Скрынников 1986:130). Казаки принимали в свои ряды рабов, промышляли ясырь и поддерживали связи с работорговцами и невольничьими рынками. Промысел рабов долгое время был излюбленным занятием казаков, а они — ключевыми фигурами работорговли и перемешивания населения соседних с Полем стран.

Работорговля в Поле стала устойчивой традицией. Московский князь Василий III в 1523 г. через посла Ивана Морозова пенял турецкому султану на то, что азовские казаки ловят и продают пленных: «Наши украинные люди ходят по Украине, иные по своей воле, иных наместники посылают на Поле для соглядания злых людей. А твои азовские казаки емлют наших людей на Поле, отводят в Азов и продают, окупы же берут с них великие, и вообще твои казаки азовские людем нашим много зла причиняют». Из расспросных речей побывавшего на Дону Тимофея

Мыхнева следует, что из морского похода 1651 г. казаки привезли захваченных в соседнем с Синопом городке Каменный Базар 600 «турок обоего пола» и продавали их горским черкесам, а затем в Черкасском городке (Сухоруков 1903:2, 211).

Среди полонянок, захваченных казаками, упоминаются девки-турки, девки-черкаски, жонки-татарки, которые стоили в полтора-два раза дороже пленных мальчиков. Нередко женщин-ясырок казаки держали у себя в качестве наложниц и работниц. Подобный военно-полевой брак, иногда полигамный, был в обычае у казаков и признавался их привилегией (хотя известны и установки безбрачия казаков на Сечи и Дону). Например, путивльским казакам в 1634 г., с учетом их службы и разорения во время войны, Москва дозволила захваченных девок и малолетних детей держать у себя. Случалось, что черкас имел одну семью в Польше, другую — в России; этому многобрачию способствовало то, что в Речи Посполитой действовала гражданская регистрация брака, а в России — церковная (Папков 2004:169, 221). Многолетний «гендерный промысел» казаков способствовал отбору женщин приятной наружности на южнорусской украйне.

Пристрастие к добыче рабов и работорговле сочеталось у казаков с культом собственной свободы (подобный сплав воли и неволи присущ многим рабовладельцам, от эллинов и римлян до англичан и американцев). По свидетельству современника, «казаки страстно любят свободу; смерть предпочитают рабству, и для защищения независимости часто восстают против притеснителей своих — поляков: в Украйне не проходит семи или осьми лет без бунта» (Боплан 1832:7). Воля в Диком поле не произрастала сама по себе, подобно ковылю, а требовала распорядка и ухода, что видно по укладу Запорожской Сечи.

> На Днепре сечи устраивались в труднодоступных местах — на днепровских островах Запорожья. В XVI в. главное поселение запорожцев возникло на ближайшем к порогам острове Хортице. Это и была знаменитая в свое время Запорожская Сечь. Позднее она переносилась с Хортицы на другие запорожские острова. Сечь представляла вид укрепленного лагеря, обнесенного древесными завалами, *засекой*. Она снабжена была кое-какой артиллерией, маленькими пушками, забранными в

> татарских и турецких укреплениях. Здесь образовывалось из бессемейных и разноплеменных пришельцев военно-промышленное товарищество... До конца XVI в. Запорожье оставалось подвижным, изменчивым по составу обществом: на зиму оно расходилось по украинским городам, оставив в Сечи несколько сот человек для охраны артиллерии и прочего сечевого имущества... Военным братством Запорожья, *кошем*, правил избираемый сечевой радой кошевой атаман, который с выборными есаулом, судьей и писарем составлял сечевую старшину, правительство. Кош размещался отрядами, куренями, которых было потом 38, под командой выборных куренных атаманов, также причислявшихся к старшине. Запорожцы всего более дорожили товарищеским равенством; все решал сечевой круг, рада, казацкое коло. Со старшиной своей это коло поступало запросто, выбирало и сменяло ее, а неугодивших казнило, сажало в воду, насыпав за пазуху достаточное количество песку (Ключевский 3 1988:102).

Особого рода промыслом для казаков был наем к правителям соседних стран, в том числе Москвы, Речи Посполитой, Турции, Крыма и Ногаев. Эта служба давала заработок и удобство в пользовании именем того или иного царя для собственных разбоев. При этом казаки создавали своего рода кругооборот угроз, выступая одновременно их носителями и гасителями — одна часть казаков разбойничала в степях Днепра, Дона, Яика и числилась «воровской», а другая значилась «служилой» и ловила разбойников.

В Москве XVI в. казаков часто называли ворами и разбойниками, но столь же часто прибегали к их помощи в завоеваниях и колонизации. Примечательно, что казаки не очень страшились Ивана Грозного, наводившего ужас на мирян. Во времена опричнины и репрессий казачество только крепло за счет притока беглецов и растущей популярности вольной жизни в сравнении с московской тиранией. По мере роста царского единовластия при Иване IV «усилилось и бегство населения на Дон»; «проторенной “сиротской” дорогой шли на Дон и холопы от своих “государей”, и крестьяне от землевладельцев, и мелкий служилый люд из украинных городов» (Любавский 1996:314).

Окраинные люди жили то в нищете, то в довольстве. Добыча от разбоев и работорговли иногда дополнялась жалованьем от Москвы или Литвы. «Жалованье» было лейтмотивом отношений

казаков с соседними державами. Этот подход они унаследовали от ордынцев, у которых в обычае было ожидать и требовать подарков и дани. Подобное отношение к союзникам имело мало общего с надежным партнерством, основываясь на расчете и корысти. Обман врага считался не меньшим удальством, чем ратная храбрость.

Обзор казачьих промыслов можно прервать высказыванием В. О. Ключевского: казак — «мастер все разорить, но не любивший и не умевший ничего построить» (Ключевский 1 1987:85). Разумеется, доводилось казакам и строить, но в деле колонизации их действия действительно больше напоминали пробивание заслонов, чем благоустройство. Впрочем, эта боевая функция была по-своему созидательной, и не лишено оснований изречение Л. Н. Толстого: «граница породила казачество, а казаки создали Россию».

Живая граница

Во фразе Толстого заключен парадокс «курицы и яйца», поскольку казаки и границы взаимно порождали друг друга. Казаки сами собой представляли «живую границу», которую они охраняли, населяли, пересекали, нарушали, олицетворяли. Степное пограничье было столь обширным и политически напряженным, что в нем эпизодически возникали самостоятельные политии (орды, княжества, сечи). В какой-то мере эти пограничные сообщества копировали устои окружающих держав, смешивая их в своей практике.

В ордынскую эпоху на юге Руси вместо границы существовала сеть татарских дорог (сакм, шляхов), и пустынность Поля была удобна кочевникам. Создание границы предполагало контроль над этими путями, поскольку иные средства защиты, включая оборону городов, не устраняли стратегического преимущества кочевников. Как показало Мамаево побоище, остановить татар можно было только на шляхе, по которому они шли в набег. Уже в 1380 г. князь Дмитрий осознавал, что обороняться от татар лучше на путях их кочевий, чем за крепостными стенами. С той первой битвы за шлях началась русская реконкиста, которая, как и другие реконкисты, исходила из обороны, но разрасталась в экспансию. Ставший притчей во языцех российский экспансионизм

уходит корнями в оборону и гипертрофированный инстинкт безопасности, заданный изматывающей ордынской угрозой.

Парадокс состоит в том, что русская граница против татар возводилась самими татарами. При этом одни татары (ордынские, крымские) к обороне побуждали, а другие (московские, касимовские) эту оборону осуществляли. Первая заградительная черта по Оке была создана татарскими царевичами при Василии Темном и дополнилась регулярной конной разведкой (*ертаул*) при Василии III. Изначально по своей технологии она была мобильной и конной, что выразилось в облике пограничного казачества. Основным фактором становления московских границ на юге был Крым, терзавший своими набегами Московию и одновременно поощрявший ее независимую политику.[4] Во многом именно Крым создал Поле как обширное и тревожное порубежье, и именно в противоборстве с Крымом выросла «живая граница» России — казачество.

Рост и движение «живой границы» просматривается в тактике обороны Москвы от ордынских набегов. Защита от татар обеспечивалась разведкой на шляхах, прежде всего на Муравском шляхе, ведшем от крымского Перекопа до Тулы. По известиям разрядных книг, в первой половине XVI в. крымские татары почти ежегодно совершали набеги на Московию. Оборона Москвы состояла из пяти полков: большой полк располагался у Серпухова, полк правой руки — у Калуги, левой — у Каширы, передовой — у Коломны, сторожевой — у Алексина, а мобильную разведку вел выдвинутый навстречу татарам шестой полк — летучий *ертаул* (Ключевский 2 1988:198). Название разведывательного полка, впервые упомянутого в войске Василия III, указывает на его тюркское происхождение (у М. Фасмера тюрк. *jortaγul* означает «конный отряд, посылаемый для угона скота и вообще для добычи и для грабежа»). Вспоминая ключевую роль разведки в тактике монголов, можно оценить значение ертаула, а также казачьих станиц и сторож в московском противодействии Орде. Татарских облав удавалось избегать не числом армии и толщиной крепостных стен, а усилиями казачьей разведки.

---

[4] По наблюдениям Н. М. Карамзина, дружба Ивана III с крымским ханом Менгли-Гиреем, «ускорив гибель Большой, или Золотой, Орды и развлекая силы Польши, явно способствовала величию России» (Карамзин 1 2003:693).

> Порядок, которого они придерживаются, чтобы обнаружить врагов в этих громадных равнинах Татарии, таков. Имеются дороги, которые они зовут: дорога Императора, крымская дорога, дорога Великой Ставки. Кроме этого, на равнинах здесь и там рассеяны дубы, удаленные друг от друга на восемь, десять, и до сорока верст. Под большинством этих деревьев помещены дозоры, а именно два человека, каждый с подставной лошадью. Один несет дозор на вершине дерева, другой пасет оседланных лошадей, они сменяются каждые четыре дня. Если тот, кто наверху, видит, что в воздух поднимается пыль, ему приказано спускаться не говоря ни слова, пока не окажется в седле, и скакать на своей лошади во весь опор к следующему дереву, подавая знаки и крича, что он увидел людей. Тот, кто стережет коней у другого дерева, садится на лошадь по команде того, кто, сидя на дереве, еще издали обнаруживает его [первого дозорщика], и как только он может услышать или разобрать, на какую сторону указывает тот, кто увидел эту пыль, то скачет во весь опор до другого дерева, где происходит то же самое. И так из рук в руки до первой крепости, а оттуда — в Москву (Маржерет 2007:147).

Пограничные станицы[5] (разъезды) и сторожи (заставы), несшие дозор у татарских шляхов XVI в., состояли из казаков и служилых людей. Они стерегли *гряды* (степные водоразделы), дороги, речные переправы, а также совершали рейды в степь и захватывали «языков» (Любавский 1996:297). Чем глубже была казачья разведка, тем тревожней для татар становились их собственные набеги: умелая разведка могла обратить их облаву в облаву на них — это единственное, что всерьез пугало кочевников.

В отличие от кочующей орды, выпускающей вокруг себя летучие дозоры, русская оборона крепилась к территории, и русские дозоры нуждались в опорных крепостях. Каждый новый острог с сетью станиц и сторож — шаг усиления обороны, и последовательное продвижение острогов по шляхам навстречу татарам было поступью военной колонизации. Разведывательные дозоры готовили «почву» для нового острога, который становился форпостом обороны и опорой для движения дальше по шляху. В середине XVI в. поступь военно-оборонительной колонизации

[5] У В. И. Даля станица — стая или стадо, табун, гурт, вереница, руно, толпа, гурьба, ватага.

обозначилась на верхней Оке по Муравскому шляху крепостями Дедилов (1553), Болхов (1556) и Орел (1566), в верховьях Дона по Ногайскому шляху — крепостями Шацк (1553) и Данков (1563) (см. рис. 8).

До середины XVI в. южные и восточные рубежи Московии охраняли главным образом служилые татарские царевичи, ставки которых располагались по Оке (Касимов, Кашира, Серпухов). После взятия Казани и Астрахани усилившаяся угроза крымских вторжений вызвала укрепление южной обороны. Заградительная линия против крымских татар, перекрывавшая Муравский шлях и другие ордынские пути, была выстроена в 1550–1570-е гг. за Окой в виде Большой (Тульской) засечной черты, протянувшейся от Переяславля-Рязанского на Тулу, Белев и Жиздру; местами она расходилась на два, три или четыре (между Белевом и Перемышлем) ряда укреплений. В отличие от грандиозных фортификаций китайской стены или римского лимеса, московская «засечная черта» (украинная линия) впечатляет своим «лесным дизайном».

> «Черта» была собрана из участков и полос естественных заграждений, рек, лесов, болот, озер и оврагов, которые в опасных местах были дополнены и сцеплены между собой искусственными сооружениями — лесными завалами или засеками в собственном смысле слова, валами, рвами, надолбами, частоколами и т. п. (Яковлев 1916:38).

Для надзора и охраны засеки делились на звенья, обозначенные пнями, затесами на деревьях и другими лесными метами. В местах пропуска через черту, у больших дорог, сооружались опорные пункты с башнями, подъемными мостами, острогами и частоколами. Леса, где проходили засеки, назывались заповедными, в них запрещалось самовольно рубить деревья и прокладывать дороги. Засечная стража насчитывала более 30 тыс. ратных людей, в том числе станичников и сторожей из казаков (Яковлев 1916; Новосельский 1948).

После погрома Москвы, учиненного в 1571 г. крымцами, организацией сторожевой службы занялись боярин кн. Михаил Воротынский и воеводы Ногайской и Крымской сторон. В 1571 г. в Москве собрался военный съезд детей боярских и казаков, чем-то напоминавший казачий круг. Съезд согласовал и регламенти-

ровал пограничную охрану от татар и принял приговор «о станичной и сторожевой службе». Согласно приговору, центрами южной пограничной охраны определялись Путивль и Рыльск. Из этих и других пограничных городов с 1 апреля по 1 декабря выдвигались конные пограничные заставы (сторожи) и подвижные дозорные отряды (станицы). Через шесть недель первая сторожа сменялась второй, затем третьей, после чего на заставу снова уходила первая сторожа, но уже сроком на четыре недели. Каждый пограничный город выпускал «на поле» по восемь станиц. Они несли дозор поочередно по две недели, с 1-го по 15-е число каждого месяца. Через четыре месяца, 1 августа, станицы выезжали вторично и несли дозор до 1 декабря. Если зима была бесснежной и угроза татарского рейда сохранялась, станицы продолжали дозор. Если станица пропадала или попадала в плен, на ее место выезжала следующая за ней по очереди, и соответственно изменялось общее расписание дозора. Каждым отрядом дозора командовал голова. Каждый сторож и станичник имел на службе две лошади; на «худых» лошадях нести охрану и дозоры запрещалось. При обнаружении врага станичник должен был через своих товарищей оповестить ближайший пограничный (украинный) город, а сам, разъезжая по сакмам (путям), определить численность вражеского войска. Все добытые сведения станичник через своих товарищей сообщал в ближайший город и соседним сторожам. Если войско противника было большим, сторожи снимались со своих мест и объединялись для совместных действий со станицами в тылу врага. Пограничная служба возлагалась главным образом на казаков (Чернов 1954).

Пограничный устав, детально расписывающий действия сторожей и станичников, предполагал не исполнение приказов, а маневры самостоятельных отрядов. Особенность пограничного войска состояла в действии без приказа из центра, по ситуации, хотя и согласно уставу. Это правило «живой границы» передалось казачьим кругам Днепра, Дона и Яика, хотя «приговор» несет в себе и заряд державной дисциплины.

Многое в пограничном уставе заимствовано из казачьих норм, начиная с беспрецедентного по форме и сути (особенно в обстановке опричнины) военного съезда «украинных людей». В этом смысле «приговор» 1571 г. в значительной мере основан на «поле-

вом» опыте казаков.[6] В короткий срок превратить посадского человека или крестьянина в пограничника невозможно даже царским указом — крестьянин, умевший на коне лишь пахать, не только сам становился легкой добычей татарина, но и пропускал его на Москву. Поэтому столичные поборники единоначалия были столь обходительны со своевольными окраинными станичниками.

Живая граница быстро прирастала острогами: в 1586 г. были построены Ливны и Воронеж, в 1592 г. — Елец, в 1593 г. — Белгород и Оскол. Всякий новый острог становился очередной опорной базой русской обороны на Поле и отмечал поступь военной колонизации. Например, воеводам основанного в 1599 г. Царева-Борисова велено было выяснить количество казачьих и черкасских юртов по рекам Осколу и Донцу. Черкас следовало согнать, а казаков вербовать на службу, обещая хлебное и денежное жалованье и право «безданно и беспошлинно» владеть своими юртами. Кроме того, на службу в украинные города собирались отбившиеся от тягла посадские люди и крестьяне Московии (Любавский 1996:299).

Первое время поставленный на новом месте острог представлял собой военный лагерь, укрепленный тыном, валом и рвом. Через несколько лет, после подчинения окрестностей, острог перестраивали в рубленый город. Гарнизоном острога командовал голова, города — воевода. А. И. Папков проследил эту последовательность по синхронным событиям на Поле и в Сибири 1590-х гг. (Папков 2004:81).

Таким образом, первоначально русская колонизация южного порубежья имела оборонительные мотивы. Эта тактика наращивания обороны во многом была стихийной, поскольку каждый новый форпост для собственной защиты тут же выпускал перед собой мобильные станицы и сторожи. В свою очередь аванпосты, контролируя новый участок Поля, отыскивали удобные позиции для следующего опорного стана, где они закреплялись и готовили место для острога. Так, по мере продвижения навстречу неприятелю станиц, сторож и

[6] В 1537 г. крымский хан Саип-Гирей жаловался на казаков королю Сигизмунду: «Приходят козаки черкасские и каневские, становятся под улусами нашими на Днепре и вред наносят нашим людям... Черкасские и каневские властители пускают козаков вместе с козаками неприятеля твоего и моего (великого князя московского), вместе с козаками путивльскими по Днепру под наши улусы (Соловьев 3 1989:306).

острогов происходила военная (преимущественно казачья) колонизация Поля. Шаг за шагом, вслед за подвижной разведкой, граница ползла на юг, а ширящийся тыл укреплялся слободами.

Впрочем расширение границ Московии не было лишь непроизвольной «экспансией обороны». Уже Иван III претендовал на возвращение в свою отчину всех владений Рюриковичей, включая новгородские и литовские земли, а Иван IV счел себя наследником царского (ханского) права на татарские владения. Триада имперских мотивов, обозначенных в предыдущих главах как нордизм, ордизм и понтизм, преобразовала русскую реконкисту в российскую экспансию евразийского размаха. Казаки как живая граница чутко реагировали на состояние и настроение державы, то отстраняясь от нее, то охраняя ее, то прокладывая ей дорогу. Правда, не всегда эта экспансия была центробежной; в Смуте начала XVII в. она вдруг обернулась вспять, и «живая граница» захлестнула столицу.

Стихия Смуты

В начале XVII в. казачьи промыслы пополнились разгулом на Руси, включая самозванство. Это был звездный час окраинных людей, по существу захвативших Московию. Смута, которую на Руси называли «великой разрухой», а иностранцы «московской трагедией» (tragoedia moscovitica) (Ключевский 3 1988:17), обычно характеризуется как кризис державы, иностранная интервенция, смена династий, тогда как о колонизации речь не идет. На самом деле экспансия продолжилась, но обернулась вспять, с окраин Московии на столицу, и «живая граница» сыграла в этом повороте решающую роль. Подобно взбунтовавшимся римским конфедератам казаки поднялись на метрополию и смяли ее, едва не превратив в лжецарство.

К XVII в. казачья украйна, опоясавшая Московию со всех сторон, представляла собой не только живую, но и разбухшую границу. Вольница Днепра, Дона, Волги и Яика заметно расширила географию своих набегов. В 1580-е гг. волжские и яицкие казаки теснили Ногайскую орду (и в 1584 г. основали г. Уральск), часть донских казаков перешла на Терек, образовав Терское войско, часть волжских — на Урал к Строгановым, а затем в Сибирь. На южнорусской украйне вольница образовала мощный казачий

пояс, связанный степными дорогами, в том числе Гетманским шляхом между Днепром и Доном.

При Борисе Годунове казакам запрещалось появляться в русских городах, особенно в Москве, а нарушивших «заповедь» ждала тюрьма (Сухоруков 1903:64; Станиславский 1990:16). От казачества исходила угроза как врагам державы, так и самой державе. На Поле сложились самостийные квазиполитии (запорожцы, донцы), приобретшие опыт набегов на соседние страны и ощутившие «запах власти». Казаков Днепра, Дона и Урала сближало с Московией и друг с другом православие, однако они отделяли себя от московитов и не гнушались грабежом русских селений и православных монастырей.

Окраинная воля подразумевала свободу маневра, в том числе политического. Казаки набрались опыта в попеременной или даже одновременной службе Москве, Польше, Турции, Орде. Противопоставляя себя государству, они научились играть с властью и во власть. Впрочем и игру во власть они расценивали как своего рода промысел, исполненный азарта и удали. Не случайно именно казаки стали главными игроками в самозванство.

Историки давно обратили внимание на особую роль казаков в выдвижении и поддержке самозванцев. Р. Г. Скрынников отметил «значимость участия запорожских казаков в начальном этапе похода Лжедмитрия на Москву» (Скрынников 1997:389–400). По наблюдениям А. И. Папкова, «население окраины поддержало самозванца»; «черкасы, как правило, выступали в качестве воинов Самозванца или Речи Посполитой» (Папков 2004:111–114, 129). По заключению И. О. Тюменцева, «у истоков самозванческой интриги на Северо-Западе страны, как и на Юго-Западе и Юге, стояли местные казаки»; «Лжедмитрий III, так же как Лжепетр, Лжедмитрий II и др., являлся типичным “казацким самозванцем”» (Тюменцев 2010:120, 121). Решительнее всех о связи самозванства и казачества высказался венгерский русист Д. Свак:

> Я утверждаю, что явление самозванчества не только поддерживалось казаками в ходе его функционирования, но и могло быть в определяющей степени казацким изобретением в момент его возникновения...

> Определяющую часть социальной базы самозванцев неизменно составляли казаки, которые и сами охотно выставляли лжецаревичей…
>
> Уже во время выступления Лжедмитрия I они составляли большинство его войска, и позже их постоянно можно было найти в антицарском лагере… Они до конца сохранили верность первым двум Дмитриям, в то время как остальные социальные группы постепенно оставили их…
>
> Казаки нуждались в самозванцах… и не страшились выдвигать их из собственных рядов…
>
> Легенда о самозванцах зародилась или получила окончательное оформление в среде казачества, которое с удовольствием снова и снова репродуцировало во множестве копий созданный им прототип (Свак 2010:47, 50–52).

Считая самозванство идеологией борьбы за власть, Д. Свак поясняет: «Нет сомнений, что наиболее естественной средой существования самозванчества, опиравшегося на легенды, чудесные, вымышленные элементы и откровенное мошенничество, было именно казачество, весь образ жизни, система ценностей и верования которого питались из таких же многообразных источников». При этом самозванство — «не столько утонченная идеологическая конструкция, сколько продукт грубого, склоняющегося к цинизму прагматизма». «Будучи первоначально неприкрытым мошенничеством, самозванство и позже неизменно пользовалось средствами сознательного обмана… Казаки пустили в ход то, что было им присуще: смелый, грубый трюк и были готовы довести первоначальную идею до абсурда… Более изощренное его применение было им не по силам, выходило за рамки их способностей, да у них и не было такого желания». Впрочем не вполне корректно «изображать самозванчество казачьим явлением par excellence»; это — «польско-казацкая микстура» (Свак 2010:51–53, 60).

Самозванство принято считать историческим курьезом и болезненной реакцией народа Московии на тиранию Ивана Грозного. К. В. Чистов видел в нем исполнение народной утопии — мифа о возвращении царя-избавителя (Чистов 1967:29). Однако можно разглядеть в нем и промысел окраинных людей. Если московский

люд был склонен к вере в абсурд, то нашелся и генератор абсурда, превративший идею призраков-царей в технологию.

Почву для самозванства создал сам Иван Грозный, сделавший Московию царством, а с захватом татарских ханств придавший ей качества империи. Самопровозглашение московского князя царем было по-своему узурпацией высшего статуса, и позднее именно этот статус стал предметом игры во власть. Как заметил Б. А. Успенский, «самозванцы появляются в России лишь тогда, когда в ней появляются цари», в то время как прежде «притязания на княжеский престол неизвестны» (Успенский 1994:76). Мало того, что Иван IV сам «нарядился» царем, он в своей манере деспотического шутовства преподал России первые уроки «игры в царя». Известна, например, описанная А. Шлихтингом расправа Ивана Грозного в 1567 г. над московским воеводой Иваном Челядниным. Заподозрив боярина в претензии на власть, мнительный царь вызвал его во дворец:

> ...приказал дать ему одеяния, которые носил сам, и облечь его в них, дал ему в руки скипетр, который обычно носят государи, препоручил ему взойти на царственный трон и занять место там, где обычно сидел сам великий князь... сам тиран поднялся, стал перед ним и, обнажив голову, оказал ему почет, преклонив колена, и сказал ему так: «Ты имеешь то, чего искал, к чему стремился, чтобы быть великим князем Московии и занять мое место; вот ты ныне великий князь, радуйся теперь и наслаждайся владычеством, которого жаждал». Затем после короткого промежутка он снова начинает так: «Впрочем, — сказал он, — как в моей власти лежит поместить тебя на этом троне, так в той же самой власти лежит и снять тебя». И, схватив нож, он тотчас несколько раз бросал его ему в грудь и заставлял всех воинов, которые тогда были, пронзать его ножами, так что грудные кости и прочие внутренности выпали из него на глазах тирана» (Шлихтинг 2005:336).

«Игрой в царя» было и венчание на Московское царство в 1575 г. Симеона Бекбулатовича, когда Иван Грозный отдал крещеному татарину свой царский чин, знаки царского достоинства, а сам принял имя «Ивана московского» и ездил «как боярин, в оглоблях» (Успенский 1994:84, 85). Эти игрища имели свои основания, однако Иван IV придал им облик царственного шутовства

и сделал достоянием всей страны.[7] С монаршим садомазохизмом связано и убийство царем своего сына Ивана, и состояние царевича Федора, который коротал юность в шутовском монастыре («игуменом» был его изобретательный отец) и, по словам В. О. Ключевского, «вечно улыбался, но безжизненной улыбкой» (Ключевский 3 1988:17, 18, 20). Своего рода «игрой в царя» стало и соборное утверждение на царство в 1584 г. Федора Ивановича, оставленного отцом без благословения, и избрание царем Бориса Годунова в 1598 г.:

... Какая честь для нас, для всей Руси!
Вчерашний раб, татарин, зять Малюты,
Зять палача и сам в душе палач,
Возьмет венец и бармы Мономаха...
(А. С. Пушкин. «Борис Годунов»).

Годунов, последний перед Смутой правитель Московии, не без оснований характеризуется как выдающийся колонизатор, создавший «русско-азиатскую империю», вышедший к Балтике и Сибири, укрепивший Смоленск и Курск, построивший Яренск, Архангельск, Воронеж, Белгород, Оскол, Уфу (Lantseff, Pierce 1973:125, 126). Однако именно на пике экспансии держава надломилась, будто не выдержав собственной мощи, и Московию накрыла волна колонизации-вспять в лице окраинных людей. Успехи узурпатора Годунова открыли русский «ящик Пандоры», сделав престол предметом промысла. Поскольку с 1589 г. «игра в царя» дополнилась «игрой в патриарха» (стараниями того же Бориса Годунова), технология самопровозглашения обрела цикличность. По наблюдению С. Ф. Платонова, «еще Борис не стал царем, а идея самозванства уже бродила в умах» (Платонов

[7] Манера «игры в царя» Ивана Грозного широко известна по фильму С. М. Эйзенштейна, где в сцене убийства Владимира Старицкого Иван наряжает двоюродного брата в царские одежды, а подосланный убийца по ошибке его разит. Эта сцена — режиссерский вымысел; в действительности Владимира с семьей привели к царю Василий Грязной и Малюта Скуратов, а Иван заставил несчастных выпить заранее приготовленную отраву; умирающие молились, а царь наблюдал действие яда (Смирнов 1998:17). Превращение выдуманной сцены в кульминацию второй серии фильма можно считать фальсификацией истории, а можно видеть в ней продолжение «игры в царя» в том же шутовском стиле, который был присущ самому Ивану Грозному.

1910:225). Дело стало за случаем и актером, которым оказался монах Григорий Отрепьев; впрочем и эта случайность обнаруживает корни в «проекте» правителя Годунова и патриарха Иова, дьяконом у которого — и свидетелем «игры в самопровозглашение» — был будущий Лжедмитрий (см. раздел «Византийские грезы» гл. 7).

Самозванец бежал из столицы, но был с восторгом встречен на украйне. Лжедмитрий до тех пор безуспешно искал поддержки у главы польской православной партии кн. К. Острожского, а затем у вождя ариан пана Г. Гойского, пока не обзавелся связями среди запорожцев и донцев. Именно казаки узрели в Григории Отрепьеве «красно солнышко» и вернувшегося, подобно воскресшему Христу, истинного царя. В походе на Москву войско Лжедмитрия прирастало казаками (под Севском к нему примкнул 12-тысячный отряд донцев). В критической ситуации поражения от московского войска, когда самозванец укрылся за стенами Путивля, именно запорожцы и донцы удержали его от бегства в Польшу. Правда, в Москву Лжедмитрий въехал со свитой бояр и поляков, наградив и отпустив казаков восвояси (задержавшиеся казаки «раздражали москвитян» своей заносчивостью, «оказывали им явное презрение и называли в ругательство жидами» — Сухоруков 1903:68; Станиславский 1990:20). Смерть Годунова облегчила дальнейшее шествие самозванца: 30 июля 1605 г. он был венчан на царство возведенным им в сан патриархом Игнатием и в течение 11 месяцев носил шапку Мономаха как «царь и великий князь всея Руси», а в сношениях с иностранцами звал себя Императором Димитрием (*Demetreus Imperator*).

«Император» не забыл заслуг украйны и отменил на десятилетие налоги на юге России (чем вызвал ропот в других областях Московии). Казаки на свой лад опекали самозванца, позаботившись о его «семье» — они произвели на свет царского «племянника» Петра (никогда не существовавшего сына Федора Ивановича).[8] Лже-Петр был не столько самозванцем, сколько избранником казачьего круга. На роль псевдоцаревича атаман тер-

[8] По версии терских казаков, у царя Федора и царицы Ирины родился сын Петр, которого при рождении подменили дочерью Феодосией (Сухоруков 1903:68).

ских казаков Федор Бодырин присмотрел двух молодых казаков-чур (служек)[9] — сына муромского посадского Илейку и сына астраханского стрельца Митьку. Выбор войскового круга пал на Илейку Муромца, поскольку он бывал в Москве и, по случаю, обладал былинным прозвищем. До прихода на Терек Илейка был беглым холопом Коровиным, звался незаконнорожденным сиротой, кашеварил на торговых судах, торговал яблоками и обувью на астраханском базаре. Шалость атамана Бодырина, судя по допросам, объясняется намерением вытребовать казацкое жалованье, положенное милостивым царем и задержанное злыми боярами: «И стало де на Терке меж козаков такие слова: “Государь де нас хотел пожаловати, да лихи де бояре, переводят де жалованье бояре, да не дадут жалованья”» (Перри 2010:69). Войсковой круг известил Лжедмитрия I о «племяннике Петре», получив в ответ приказ «племяннику» и его товарищам «итти к Москве наспех». На пути, под Свияжском, казаков настигла весть об убийстве самозванца в Москве 17 мая 1606 г. (сам лже-Петр уверял, что он прибыл в Москву на следующий день после гибели Лжедмитрия, 18 марта).

В замысле атамана Бодырина читается мотив похода на Москву «за данью». Судя по всему, дело было даже не в задержанном жалованье (хотя казаки «беспрестанно» его требовали), а в претензии на участие в управлении делами и богатствами Московии. Лжедмитрий, обязанный казакам своим воцарением, оставил их на обочине, увлекшись отношениями с московской знатью и поляками. Царевич Петр понадобился казакам, чтобы напомнить царю Дмитрию о его «родственных» обязательствах и получить доступ к Москве.

Со смертью Лжедмитрия Илейка-Петр вновь стал сиротой. Прежний сценарий был исчерпан, перехватившая московскую власть группировка Шуйских на все лады кляла самозванца, атаман Бодырин остался не у дел, и лже-Петра подобрали новые заговорщики, на этот раз «воровские бояре», составившие оппозицию Василию Шуйскому. Воевода Путивля кн. Григорий Шаховской распустил слух о том, что царь Дмитрий спасся; воевода пригрел лже-Петра и впустил в город примчавшихся на подмогу терских и

[9] Слово *чура* заимствовано казаками из татарского языка в значении «слуга», «младший товарищ» (Станиславский 1990:8).

волжских казаков. В Путивле же началось формирование войска Ивана Болотникова, а в Польше шел поиск очередного исполнителя роли царя Дмитрия.

Тем временем казачья вольница плодила новых лжецаревичей. Летом 1606 г. в Астрахани объявились сразу три «царевича» — Иван Август, Лавр и Осиновик, а к весне 1607 г. их число выросло до дюжины (в донских, волжских, терских и запорожских станицах объявились «царевичи» Федор, Клементий, Савелий, Семен, Василий, Ерошка, Гаврилка, Мартынка). Возможно, «детей и внуков» Ивана Грозного было еще больше, поскольку самозванство вошло у казаков в моду. «Фальшивоцарствие» той поры было для казаков не только забавой, но и новым промыслом — теперь станичники совершали грабительские походы именем царя. Кроме того, казачье «многоцарствие» стало идеологемой превосходства вольницы над царством, и по сути казаки претендовали не на «легитимацию» лжецаревичей, как полагают законопослушные историки, а на установление права Дикого поля в обезззаконенной Московии.

Настроение превосходства, легко усваиваемое казаками, выразилось в отношении Ивана Болотникова, недавнего холопа, к Москве как к добыче. По словам В. О. Ключевского, «Болотников шел напролом: из его лагеря по Москве распространялись прокламации, призывавшие холопов избивать своих господ, за что они получат в награду жен и именья убитых, избивать и грабить торговых людей; ворам и мошенникам обещали боярство, воеводство, всякую честь и богатство» (Ключевский 3 1988:44). Болотников называл себя «воеводой царевича Дмитрия» и, возможно, взял бы Москву, будь при нем не лже-Петр, а подходящий лже-Дмитрий. Когда Болотникова и лже-Петра пленили и казнили в 1608 г., на Московию уже шла новая казачья армия Лжедмитрия II.

Не вполне ясно, сколько было Лжедмитриев вторых. Запрос на нового царя поступил сразу после расправы с Лжедмитрием I, когда по Москве распространились подметные письма о спасении самозванца. Первым «чудом спасшимся царем» стал Михалко Молчанов, приближенный Лжедмитрия I, бежавший или вывезенный из Москвы кн. Григорием Шаховским. В очередной раз очагом самозванства стал украинный Путивль, привет-

ствовавший царя Дмитрия и восставший против царя Василия Шуйского. Однако вскоре самозванец исчез и в новом обличье объявился лишь два года спустя. Не исключено, что за это время на роль царя Дмитрия пробовалось несколько человек, и в этом кастинге нет смысла выискивать «истинного самозванца», поскольку все они были по-своему истинными — и поповский сын Матвей Веревкин с Северщины, и некий Иван, и «крещеный еврей Богданка». Последний, учитель из Шклова, известен тем, что обучал детей священников в окрестностях Могилева и пытался соблазнить жену приютившего его протопопа. Высеченный и изгнанный ревнивым мужем, учитель-обольститель был подобран «под забором» польским ротмистром Миколаем Меховецким ввиду того, что внешностью (или только низкорослостью) напоминал Отрепьева. Этого самозванца, как и лже-Петра, вынудили играть роль царевича, толком не обучив надлежащим манерам. Возможно, он и стал в 1608 г. новым московским «цариком» — «тушинским вором».

Путивль (с участием стародубцев) признал очередного самозванца, после чего донской атаман Иван Заруцкий со своим войском сопроводил Лжедмитрия II до Москвы (Тушино). Ценой триумфа этого самозванца «было то, что польско-литовские и казацкие разбойничьи банды практически разделили империю между собой» (Свак 2010:44). К «дяде» поспешили присоединиться казацкие «царевичи» (Федор, затем Иван Август и Лаврентий), которых он сначала приветил, а затем «велел бить кнутом», «пометать в тюрьму» и казнить (позднее та же участь постигла еще семерых окраинных самозванцев). Гетман кн. Роман Рожинский разоблачал и казнил «царевичей», а их отряды передавал казацким воеводам Ивану Заруцкому и Александру Лисовскому.

Двоевластие в Московии Лжедмитрия II и Василия Шуйского превратилось в четверовластие с призванием Шуйским «варягов» (шведского войска Якоба Делагарди) и интервенцией поляков (походом на Москву коронного гетмана Станислава Жолкевского). К этому добавилось «двупатриаршество»: в стане Шуйского патриархом был Гермоген, а в стане самозванца — Филарет Романов. В обстановке хаоса 1610 г., когда Москва присягнула польскому королевичу Владиславу, калужский лагерь

Лжедмитрия II был резиденцией казаков, дворян и служилых татар[10], многие из которых позднее вошли в 1-е и 2-е ополчения.

К концу своего правления Лжедмитрий II уже почти полностью опирался на казачество, чиня расправу над пленными поляками, которых по казацкому обычаю топили в мешках — «в куль да в воду». При этом казаки рассеялись по всей Московии, получая от самозванца «в корм» села и города. Известно, что в октябре 1608 г. атаман К. Миляев собирал вино с дворцовых сел под Переяславлем; в январе 1609 г. «Володимер отдан на корм казакам»; в 1611 г. многие кабаки в Рязанском уезде находились на откупе у казаков, а Соловецкий монастырь принял на службу 70 «ратных казаков» во главе с двумя атаманами (Станиславский 1990:27, 30, 47, 82).

Вскоре после гибели Лжедмитрия II объявился Лжедмитрий III — «Псковский вор» — уже на севере России, но по тому же казачьему сценарию. «Новую прелесть» затеял казак (или сын дьякона, связавшийся с казаками) Сидорка, торговавший в Великом Новгороде ножами, а весной 1611 г. въехавший в город с «сотней конных товарищей по беспутству», «таких же, как сам, разбойников и проходимцев», и объявивший себя в очередной раз «чудом спасшимся царем Дмитрием». Новгородцы отнеслись к чуду прохладно, и отряд «новгородского казачья» подался в Ивангород, где «был принят с праздничным салютом и многодневными торжествами» (Тюменцев 2010:119, 120).

Таким образом, за семь лет (1605–1611 гг.) вольные казаки покорили Московию, выдвигая самозванцев и подчиняя им страну. На время Смуты казачий Дон обезлюдел — все ушли на Москву. Как отмечал М. К. Любавский, донская вольница «хлынула в Московское государство, коль скоро там разложилась верховная власть и началась Смута. Казаки разбрелись по внутренним областям государства, и Дон... опустел» (Любавский 1996:314). Выдвигая и поддерживая лжецарей и лжецаревичей, казаки шагали по Московии: с Лжедмитрием I они укрепились в Путивле, с лже-Петром продвинулись до Тулы, с Лжедмитрием II вошли в Москву, с Лжедмитрием III достигли Пскова.

---

[10] 11 декабря 1610 г. Лжедмитрий II был зарублен татарским князем Петром Урусовым, отомстившим за казненного самозванцем касимовского царя Ураз-Мухаммеда.

Возвращение на окраину

Романовы своим возвышением обязаны Смуте: Филарет стал митрополитом (Ростовским) при Лжедмитрии I, а патриархом — при Лжедмитрии II. С. Ф. Платонов не исключал, что Филарет Романов с братией и свояками не чужд был интриги самозванства, и недаром в свое время Отрепьев «жил у Романовых во дворе» (Платонов 1910:233, 234). «Тушинский патриарх» возглавлял посольство, предложившее Московское царство католику Владиславу, а сын Филарета, Михаил Романов, в числе других бояр присягнул «царю Владиславу».

Избрание Михаила на царство стало очередным триумфом казачества. Именно казаки, окружившие в то время Москву таборами, отвергли претендентов монарших кровей — польского королевича Владислава (уже провозглашенного русским царем) и шведского герцога Карла Филиппа (за которого ратовал кн. Пожарский). После убийства Прокопия Ляпунова 22 июля 1611 г. казацкие таборы овладели Москвой. Накануне Земского собора их в Москве было значительно больше (свыше 10 тыс.), чем дворян: «И хожаху казаки в Москве толпами», — свидетельствует «Повесть о Земском соборе 1613 г.». В день избрания, 21 февраля 1613 г., казаки устроили в Москве «майдан» и, ворвавшись в зал Собора, настояли на избрании Михаила: «казаки и чернь не отходили от Кремля, пока дума и земские чины в тот же день не присягнули». 13 апреля 1613 г. шведские лазутчики сообщали из Москвы, что казаки избрали Михаила Романова против воли бояр, принудив Трубецкого и Пожарского дать согласие на эту кандидатуру после осады их дворов. Жак Маржерет в 1613 г. писал английскому королю Якову I, что казаки выбрали «этого ребенка», чтобы манипулировать им, и что большая часть русского общества с радостью встретит английскую армию, поскольку живет в постоянном страхе перед казаками (Станиславский 1990:84–89). Поляки не напрасно называли Михаила Романова «казачьим ставленником»; по существу Михаил — такой же «казачий царь», как и Лжедмитрии, только утвержденный Собором.

Избрание Романова — пик власти окраинных людей в Московии. Однако именно тогда произошла метаморфоза в статусе вольных казаков — присягнув своему избраннику, они вдруг

оказались «на государевой службе». Михаил призвал освободителей Москвы показать «первоначальную службу свою и раденье» и обещал пожаловать, «смотря... по службе». В 1613 г. был создан Казачий приказ, и московское правительство начало переводить вольных казаков на положение служилых «по прибору», имеющих постоянное жительство, например в Путивле или Осколе. На Дон была послана царская грамота, «преисполненная ласковости и похвал» и призывавшая казаков «стать за царя, отечество и православную веру»; вскоре донцам было передано царское знамя для утверждения «усердия их к России» (Сухоруков 1903:76–82; Станиславский 1990:8, 19, 91–96).

Закат казачьей воли обозначился в судьбе атамана Ивана Заруцкого. Соратник всех трех «царей Дмитриев», он дошел до Москвы с Лжедмитрием I, служил воеводой Лжедмитрию II, присягнул на верность Лжедмитрию III. По мнению Р. Г. Скрынникова (1987а:198), Заруцкий обладал всеми качествами народного вождя, впечатляя современников красотой, умом и отвагой. Правда не вполне ясно, вождя какого народа: родился Заруцкий в Галиции, детство провел в турецком рабстве, атаманом стал на Дону, воеводой и боярином — в Московии. В российской историографии ему приписывается шаткость, если не всеядность (из-за его шараханий от Лжедмитрия II к Жолкевскому, затем к Ляпунову, Лжедмитрию III, гетману Ходкевичу). Однако в хаосе Смуты прежней страны не стало, а ее растерянный и рассеянный «народ» терзали разные вожди. Заруцкий возглавлял и олицетворял казачество как боевую и решительную силу Смуты и был последовательным приверженцем казачьей идеи самозванства; верность этой идее и была для него «служением народу». В этом смысле он ответственно исполнил свой долг — взял под опеку (и в постель) вдову двух Лжедмитриев Марину Мнишек и ее грудного сына Ивана (Воренка).[11] Будучи одним из вождей 1-го ополчения, Заруцкий от лица казачества противостоял земщине (при этом одолел и погубил ее вождя Ляпунова). Во 2-м ополчении он проиграл лидерство кн. Дмитрию Пожарскому, а затем соборное избрание царя, где безуспешно поддерживал Воренка в противовес Михаилу Романову.

[11] Злые языки поговаривали, что отцом «царевича» был Заруцкий. По другим слухам, атаман лихо сочетал эротику и политику, в трудный момент предложив вдову в гарем ногайского мурзы Яштерека.

Впрочем, в те дни никто не знал, что Романову уготована доля, отличная от судеб иных «смутных избранников» (Годунова, Шуйского, Лжедмитриев, Владислава). Теснимый рязанской ратью воеводы Мирона Вельяминова и войском свияжских татар кн. Аклыма Тугушева, атаман отходил, теряя покидавшие его казачьи станицы, на украйну. Скрываясь сначала в Астрахани, затем на Яике, Заруцкий рассчитывал на продолжение казацкой смуты и поддержку ногаев. Однако Москва вернулась к царству, а атаман Заруцкий остался в смуте — летом 1614 г. он был пленен, привезен в Москву и посажен на кол, а Воренок повешен.

Поражение атамана Заруцкого было отступлением казачества, вернее его возвращением на круги своя. После смерти Лжедмитрия III и исчезновения Лжедмитрия IV[12] самозванство как будто иссякло, вернее, схлынуло вместе с казачеством на окраину, откуда и нахлынуло. С воцарением Романовых самозванцы появлялись уже редко и вне России. Например, в 1630–1640-е гг. Иван Луба и Иван Вергун (Вергуненок) под именем «царевича Ивана» (сына Лжедмитрия II и Марины Мнишек) объявились в Польше и Турции; за границей же обнаружились два «сына» Василия Шуйского, в том числе Тимофей Акиндинов, выдававший себя за Рюриковича, а Романовых называвший купеческим родом «от торговых людей Юрьевых» (Перри 2010:72, 85).

Казаки в составе правительственных войск разошлись по разным сторонам — к Смоленску, Путивлю, Новгороду — освобождать занятые поляками и шведами города. В 1614 г. казачьи отряды, двинувшиеся на север Московии, искали «кормления» по Русскому Северу и Верхнему Поволжью. В сентябре 1614 г. кн. Борису Лыкову-Оболенскому было поручено усмирить бродивших по Московии воровских казаков. В начале 1615 г. Лыков двинулся на север, громя воровских казаков под Вологдой, в Каргопольском, Белозерском, Пошехонском, Угличском и других уездах (Станиславский 1990:91, 110, 133). Теснимые войсками Лыкова и городовых воевод, казаки под началом атамана Михаила Баловня к лету 1615 г. отошли с севера под Москву, однако вместо «таборов» их ждали «разборы» — разгромленное в июле казачье войско было частично приведено к

[12] В 1611 г. в Астрахани объявился еще один «царь Дмитрий», четвертый по счету из лжецарей; он был признан царем в Нижнем Поволжье, но в начале 1612 г. исчез.

присяге, частично рассеяно; атаман Баловень был повешен, а пленные атаманы и есаулы разосланы по тюрьмам.

Дольше других держались казаки и черкасы на западной (Литовской) украйне, откуда они в составе отрядов атамана Александра Лисовского совершали набеги на Московию. Черкасы (запорожцы) поддержали и королевича Владислава, продолжавшего именовать себя «московским государем», в походе на Московию. На помощь королевичу летом 1618 г. двинулось 20-тысячное войско запорожцев, ведомое гетманом Петром Сагайдачным. Этот поход был последним «казачьим нашествием» в стиле Смутного времени — на Москву шло казачье войско, поддерживавшее «истинного царя» (на этот раз Владислава), причем реальным военачальником выступал не польский королевич, а казачий гетман.

Подобно своим предшественникам, Сагайдачный видел в России промысловое угодье, хотя формально выступал за честь польской короны и возвращение Владиславу московского трона. Его поход сопровождался грабежами и разорением украинных и других городов Московского царства. В финале рейда запорожское войско в свойственной черкасам манере начало распадаться и рассеиваться «по интересам»: часть (четыре полка) ушла промышлять грабежами на Русский Север, часть (во главе с полковником Тарасом) отправилась в Европу воевать за австрийского императора Фердинанда, часть нанялась на службу к персидскому шаху Аббасу, часть (полк Ждана Коншина) перешла на московскую службу (Федоровський 2006:42, 43). Несмотря на разбои и погромы, вскоре Сагайдачный направил в Москву посольство Петра Одинца с грамотой, в которой извещал об извечной службе запорожцев российским государям и намекал на царское жалованье, не собираясь при этом выходить из подчинения Польше (Папков 2004:125, 126).

Если у запорожцев сохранялся «промысловый» взгляд на Московию, то казаки Дона, Волги и Яика переориентировались на внешний промысел (по крайней мере, до Разина). Вернувшиеся на Дон вольные казаки возобновили набеги на Турцию и Крым: в 1624 г. они опустошили окрестности Константинополя, в 1630 г. разбойничали в Крыму, в 1633 г. прошлись по берегам Анатолии, в 1637 г. взяли Азов (Любавский 1996:314).

В месиве авантюр и раздоров начала XVII в. Россия и Польша, во многом в диалоге друг с другом, приобрели очертания наций с сопутствующим обособлением русских казаков и украинских черкас (хотя Гетманский шлях между Днепром и Доном оставался торным). Уже в 1611 г. донские и волжские казаки в большинстве своем встали за Лжедмитрия II (затем Лжедмитрия III), а черкасы — за Сигизмунда и Владислава (Станиславский 1990:34, 35). В июле 1613 г. на Земском соборе был принят указ вешать на месте попавших в плен «воровских» черкас, для поимки которых шире стали привлекать волжских и донских казаков. Царскими грамотами 1620-х гг. донским казакам запрещалось принимать к себе запорожцев, посланцев польского короля (Папков 2004:119, 137). Правда, вопреки державным запретам, колонизация Поля черкасами продолжалась, во многом вследствие попыток Владислава IV и польской шляхты окрестьянить и омещанить украинское казачество, а также распространить на них униатство (Папков 2004:195, 196).

В 1630-х гг. Москва восстановила и усилила старую засечную черту за Окой, причем не только против Крыма, но и против черкас. В 1635 г. развернулось строительство Белгородской засечной черты протяженностью более 800 км, перекрывшей Изюмский, Кальмиусский, Муравский и Ногайский шляхи. К четырем десяткам пограничных городов по Оке добавилось 27 крепостей новой черты (см.: Яковлев 1916; Новосельский 1948). Строительство городов и формирование пограничного войска вызвало еще одну волну колонизации Поля казаками, на этот раз в основном служилыми.

***

В мировой истории Россия слывет едва ли не чемпионом по самозванству. Впрочем не только Московское царство на рубеже XVI–XVII вв. подверглось этому искушению; лжекороли и лжецари объявились и на других окраинах Европы — Лжебастианы в Португалии, лжегосподарчики в Молдавии (Свак 2010:48, 49). Однако нигде лавина самозванства не была столь обильной и сокрушительной, как в Московии, и в этом велика роль казаков. Провал центральной власти, посеявший смятение в людях зависимых, людям независимым развязал руки, и казачий анархизм обернулся квазимонархизмом. В политическом кризисе разбойничья вольница всегда превосходит законопослушных

граждан силой самоорганизации, пусть и «воровской». В Смуте начала XVII в. казачья экспансия обернулась внутрь страны, и «живая граница» захлестнула столицу.

Не ограничен ли взгляд на самозванство как на сугубо политическое интриганство? Взращивавшие самозванцев поляки и игравшие в них казаки нередко просто куражились и забавлялись. Казаки, выбирающие на кругу очередного царевича, рисуются мне не с серьезными лицами, а с минами «запорожцев» Ильи Репина. Абсурд — порождение не только фанатизма, но и юмора. Дюжина растиражированных в станицах «царевичей» — кукольный театр из чур-служек, недавних сирот и холопов. Сами по себе самозванцы — маргиналы даже в сравнении с казаками, пограничные люди, которых заставляли исполнять по-своему шутовские роли. У человека низкого происхождения, если он не в помешательстве, не хватит смелости и глупости всерьез царствовать. И только казачий театр, явно не без нагайки атамана, вынуждал холопов играть царевичей. Мятежные казачьи вожди не только в Смуту, но и позднее, любили окружать себя ряжеными: у терского атамана Федора Бодырина был свой лже-Петр (которого он уступил Болотникову), у Степана Разина — лже-Алексей. Это даже не самозванцы, а казацкие ряженые. Театром абсурда веет от сцены турнира в Стародубе между «цариком» и Иваном Заруцким, когда атаман вышиб «царя» из седла, а тот оправдывался, что-де специально упал для испытания народа на верность; состязание сопровождалось площадной бранью, которую исторгал «царь Дмитрий». Впрочем иногда «игра в царя» обретала угрожающе серьезные формы, особенно когда игрушкой, помимо царя, становилось царство.

В политическом смысле большая окраина чревата большой смутой. В деле колонизации окраинные люди иногда проявляют неожиданные амбиции — казаки, недавние изгои, в Смуте ощутили себя вершителями судеб метрополии, а заодно создателями новых царств и покорителями новых пространств. «Живая граница» в это время превратилась в псевдоцарство, плодящее многоцарствие. Казаки выдумывали царей для Московии и играли во власть далеко за ее пределами. Остается только догадываться, за кого выдавали себя казаки в сибирских и яицких юртах. Впрочем большие завоевания невозможны без больших амбиций, и синдром самозванства стал не только спутником Смуты, но и импульсом экспансии.

Окраинные люди пребывали в постоянном тонусе, мобилизуя и комбинируя разнообразные доступные ресурсы. Историки не раз отмечали, что сила казаков, позволившая им одержать «беспрецедентную победу» над евразийскими кочевниками, состояла в сочетании оседлости с мобильностью:

> Казаки обезоружили кочевников весьма оригинальным способом. Они обосновывались на реках, представлявших собой естественное препятствие для кочевых племен. Реки были серьезной преградой для кочевников-скотоводов, не имевших навыков использовать их как транспортные артерии, тогда как русский крестьянин или дровосек, издавна знакомый с традицией скандинавского мореплавания, был мастером речной навигации. Следовательно, казаки, когда они выходили из русских лесов, чтобы оспорить у кочевников право на естественное обладание степью, имели все возможности с успехом применять свое древнее наследственное искусство. Научившись у кочевников верховой езде, они не позабыли и своих исконных навыков и именно с помощью ладьи, а не коня проложили путь в Евразию (Тойнби 1991:140, 141).

> Легкие черные суда — струги — заменяли лошадей. Верхом на коне казаку трудно было ускользнуть от подвижных ордынских отрядов, на струге же он был неуловим (Скрынников 1986:118).

Окраинные люди обладали превосходными навыками жизни на границах, пересечения границ и захвата новых территорий, но они не были готовы к основательному освоению новых земель, созданию устойчивых сообществ. Они выступали не устроителями новых владений, а «колониальными щупальцами» (посредниками, проводниками, переводчиками, разведчиками) метрополий. Маргинальность окраинных людей выражалась и поныне выражается в адаптивности к экстремальным ситуациям, в изменчивой, порой мозаичной и эксцентричной, идентичности. До сих пор украинцы отличаются высоким колонизационным потенциалом, осваивая труднодоступные территории, например Крайний Север и Восток Евразии. И все же прочным освоение новых земель получается у окраинных людей лишь в компании с устроителями — промышленными людьми Севера, крестьянами, государственными чиновниками.

Глава 9. Северный ход

Дорога в поморы. Морские диалоги.
Шкипер Барроу и кормчий Лошак. Купцы-искатели.
Дело Аники Строганова. «Новая Голландия».
Мангазейский путь. Божья дорога океан-море.
Северная самобытность.

Север загадочен в своей самобытности. В эпоху нордизма отсюда исходила главная магистраль Руси, а затем Север будто замерз. Даже история здесь текла на свой лад — без крепостного права и дворянства, зато с боярами и купцами, всегда с риском, но с опорой на самих себя. До сих пор отличительным свойством северянина считается власть над собственной судьбой (ДоРЧА 2007:16). Эти обстоятельства во все времена мешали южным властям осваивать и колонизовать Север по своему усмотрению. Покорив Новгород и Псков, Москва двинулась на освоение их северных владений, но столичные чиновники с трудом и неохотой добирались до Арктики, а северяне правдами и неправдами ускользали от их контроля — не случайно в отношении северян администраторы обходились туманными определениями вроде «гулящие люди».

В свое время эти северные «гуляния» привели европейцев к открытию арктических путей: исландец Лейф Счастливый прибыл в Америку на полтысячелетия раньше Колумба; примерно на тот же срок новгородцы опередили казаков и московских воевод на путях в Сибирь. Именно северяне, русские поморы, проложили арктический ход от Скандинавии до Берингии. Север сам себя открыл, хотя и уступил южным летописцам в проворстве объявления приоритетов.

Поморов от других русских отличает морская культура, основанная на мореходстве и морских промыслах. Эта исключительность особенно заметна на фоне сухопутного облика остальной Московии. Вестфалец Генрих Штаден, служивший в опричнине Ивана IV, смело обобщал: «Русские не ходят в море; у них нет кораблей, и морем они не пользуются — ни Западным, ни Восточным, ни Черным, ни Каспийским» (Штаден 2005:438). Штаден не упомянул северного моря, но именно там жили «морские русские», продолжавшие варяжско-новгородскую традицию.

Это историческое знание не избавляет от граничащего с недоумением вопроса: откуда люди Севера черпали энергию движения по ледовитым морям, вязким тундровым волокам, непролазным таежным чащам? В северных путешествиях я часто примерялся к их мотивации, и всякий раз, пережидая пургу или блуждая по тундре, ловил себя на примитивном сомнении: наваги на уху можно наловить и в лунке у родного берега, зачем рваться на Новую Землю, Ямал или Шпицберген? Стоит ли моржовый клык или соболий хвост тех испытаний и страданий, которыми платили за них поморы?

Дорога в поморы

«Северное кольцо» норманнов, замыкавшее в IX–XII вв. пространство Скандинавии, Балтии, Беломорья и Поволховья, с расцветом Ладоги и Новгорода обрело новые очертания. Отныне уже ладожане и новгородцы совершали длительные поездки по Бьярмии-Перми, превращая ее в Русский Север. Владения новгородских и двинских бояр были не только данническими и промысловыми областями, но и сетью обжитых погостов. Первоначально новгородские словене оказались у Студеного моря не по собственному разумению, а были расселены по погостам на «северном кольце» ладожскими и новгородскими боярами, что «от рода варяжьска». На Севере сработал тот же механизм сдвоенной колонизации, что и на южных магистралях — норманны проложили дальние пути, а славяне их населили.

Согласно «Исландским анналам», последний поход норманнов в Бьярмию состоялся в 1222 г., однако северный путь не замер, а приобрел новую конфигурацию. Бьярмия превратилась во владение Новгорода, и скандинавы утратили над ней контроль, став из властителей посетителями. Впрочем след норманнов сохранился в поморском названии Кольского берега — Мурман; скандинавов звали «мурманами», а русских поморов — «мурманщиками».

Скандинавское наследие поморов выражено в мореходстве. Морская культура не характерна для славян, людей рек и лесов, и свойственна лишь балтийским поморянам и русским поморам. Эта общность просматривается даже в мелочах. Например, поморы (Поморского берега), водь и северные карелы сваху называли

брюдга (от древнегутнийского *brȳttȳgha*) (Thörnquist 1948:28, 29; Бернштам 1983:136) — в этой параллели просматривается общее поле брачных связей норманнов, северных русских и прибалтийских финнов; столь же показательно сходство поморских и норвежских прялок (Дмитриева 2006:76), норвежских ставкирок и шатровых храмов Русского Севера. Уходящая во времена викингов связь между Скандинавией, Поволховьем и Подвиньем читается в названии *Холмогоры*, созвучном со староскандинавским *Hólmgarđr* (Новгород).

Город Холмогоры был основан в 1353 г., а одноименное селение отмечено на карте начала XIV в. С Холмогорами соотносится торжище (*kaupstađr*) на берегу Северной Двины, где, согласно «Саге об Олаве Святом», норвежские викинги Карли, Гуннстейн и Торир Собака вели обмен товарами с бьярмами (Vaughan 1982:320; Hofstra, Samplonius 1995:241). Норд-русский колорит Холмогор виден в их расположении на острове Двины, стыке морских и речных путей.

> Холмогоры построены на Двинском острове, от Белого моря в 112 верстах. Западный берег Двины, разделяемый от материка небольшим протоком, составляет Холмогорский остров, простирающийся в длину около пяти верст, в ширину же около двух верст с половиною. Лежащие против Холмогор на Двине четыре не малые острова расширяют сию реку более десяти верст между берегами матерые земли. Острова сии называются: Куростров, Нальостров, лежащие к западу, Ухтостров, Чухчеремский остров, лежащие к востоку (Крестинин 1790:8).

Норманнская колонизация шла по островам, обеспечивавшим безопасность «корабельных людей» и контроль над акваторией. Острова, образованные множеством рукавов Северной Двины, норманны могли использовать как перевалочные базы для смены морских судов на речные и для торга с туземцами. Новгородцы продолжили эту традицию: Иван-погост, древнейший новгородский поселок в Двинской земле, упомянутый в Уставной грамоте кн. Святослава Ольговича (1137 г.), располагался на Холмогорском острове. В XII–XIII вв. двинские посадники жили на Ухтострове и Матигорах, а купцы обосновались неподалеку, в деревнях Курцево, Качково, Подрокурья (Крестинин 1790:5, 6; Платонов 1922:32; Булатов 1997:172).

Холмогоры стали резиденцией двинских бояр — первое же их упоминание в грамоте 1335 г. включает обращение «от Великого князя Ивана [Калиты], от посадника Даниила, от тысяцкого Авраама и от всего Новгорода к Двинскому посаднику на Колмогоры и к боярам Двинским» (Соколов 1875:10). В уставной грамоте 1397 г. великий князь Василий Дмитриевич «пожаловал есмь бояр своих двинских», противопоставив их боярам новгородским (Данилова 1955:236–246). Само по себе присутствие бояр на Двине указывает на «аристократизм» ранней поморской колонизации, и С. Ф. Платонов не напрасно называл ее «боярской, промысловой и капиталистической» — Борецкие в середине XV в. владели большими имениями по Двине, Ваге и Кокшеньге, на Летнем и Поморском берегах Белого моря, Варфоломеевы — по Двине и Ваге (Платонов 1923:2–9, 32; Власова 2001:26). Едва ли двинских бояр было много, но, как видно на примере боярина Луки Мишинича (см. гл. 5), они обладали возможностями взять под контроль обширное Заволочье и утвердить его независимость. Позднее двинские и новгородские бояре возглавляли походы ушкуйников, а вояжи Анфала Никитина на рубеже XIV–XV вв. превратили Двинскую землю в новую метрополию, откуда северяне двигались в Поволжье. К XV в. Двинская земля была сопоставима с Новгородом по силе и богатству: в 1385 г. московский князь Дмитрий наложил на Новгород окуп за грабежи на Волге в 8 тыс. рублей; из них 3 тыс. пришлось на Новгород и 5 тыс. на Заволочье (Двину); в 1471 г. Иван III при наступлении разделил свое войско на отряды в 5 тыс. на Новгород и 4 тыс. на Двину. При этом Новгород оставался метрополией русской колонизации Севера, в том числе Поморья,[1] что обобщенно прокомментировал С. Ф. Платонов:

[1] Время от времени возобновляется дискуссия об участии «Средней Руси» в колонизации Севера. Например, Б. А. Серебренников указывал на «давление степи», в результате которого «основной путь проникновения на Север шел из Средней Руси» (Серебренников 1970:45). Т. А. Бернштам, обнаруживая в поморах «общерусские» основания, отмечает, что верхневолжские и южнорусские переселенцы «в большей мере, чем новгородцы, были носителями общерусских интересов»; следовательно, «признак общего “новгородского происхождения” поморов, считавшийся одним из главных для определения их внутреннего — этнического единства, следует снять»; «“новгородское” сознание севернорусского населения — довольно позднее явление» (Бернштам 1983:7, 8, 205, 215). Эти размышления не лишены интереса, тем более что Новгород в эпоху расцвета был «северным

> Главный мотив колонизационного движения — поиски товаров для новгородского рынка; вожаки движения — новгородские бояре, распорядители новгородского рынка; господствующий вид русского поселка на севере — промышленная заимка, стан охотников или рыболовов; преобладающий тип поселенцев — боярские люди, «холопи-сбои», работающие на своих господ-бояр. Им принадлежало первенство в освоении Поморья. За ними уже шли другие поселенцы — монах и крестьянин, садившиеся на малые участки и работавшие на себя, совсем в одиночку или же малыми «дружинами» в 2–3 «друга», в 10–12 «другое». Из этих-то дружин и слагалось мало-помалу, веками, то свободное население Поморья, которое в последующее время образовало в крае демократическую основу русского населения — крестьянского в «погостах» или «волостях» и иноческого в монастырях (Платонов 1923:36, 37).

Наряду с «боярской» колонизацией, Северу была свойственна «княжеская», представленная владениями верхневолжских Рюриковичей — князей Кемских, Ухтомских, Карголомских, Белозерских, Сугорских, Шелешпанских, Белосельских, Андожских, Водбальских, Судских, Моложских, Прозоровских, Новленских, Заозерских (Платонов 1923; Власова 2001:26). Удельные Рюриковичи сохранили северные ориентации своих предков, в том числе в предпочтении Белоозера, и северная колонизация для них, как и для новгородских бояр, была не вторжением в неизведанные земли, а поддержанием старых нордических традиций.

Со временем в колонизации Севера обозначился новый импульс — давление Орды. Е. Е. Замысловский полагал, что «после татарского погрома области, омываемые северными реками, представляли более безопасное убежище, чем другие области Русской земли, вследствие чего колонизационное движение должно было устремиться на север. Число монастырей — этих передовых постов русской колонизации — в XIV и XV веках здесь увеличивается...

Вавилоном», но не меняют общей картины новгородского преобладания в освоении Русского Севера, в том числе Поморья. Этнографически Русский Север условно делится на два пояса — поморский (прибрежья Белого моря, нижние течения Северной Двины, Онеги, Пинеги, Мезени и Кулоя), входивший в сферу влияния Новгорода Великого, и «южный» (среднее и верхнее течение Северной Двины с притоками), населенный в основном выходцами с Верхней Волги (Дмитриева 2006:28, 113).

Под 1419 годом упоминается монастырь св. Николая. Вскоре затем возникла знаменитая обитель на Соловках» (Замысловский 1884:116). К южному давлению присоединилась и Москва, претендовавшая на северные владения Новгорода.

Покорение Новгорода Москвой преобразило северный колониальный дизайн. Аристократический прежде Север окрестьянился — из центра нордизма он превратился в окраину ордизма. Великий князь отнял владения у новгородских «бояр-капиталистов», прибрал к рукам вотчины удельных князей, и «Поморье приняло вид крестьянского мира с примитивными формами хозяйства и общественности» (Платонов 1923:30). Лишь Двинская земля, благодаря отдаленности и политическому союзу с Москвой, избежала репрессий — Иван III не «вывел» двинских бояр и не отдал их владения московским дворянам. Часть земель перешла в разряд государственных, а затем слилась с «черносошными»; «своеземцы», сохранившие свои вотчины, постепенно сблизились по статусу с черносошным крестьянством, хотя среди них выделялись богатые землевладельцы Прошельнины, Кологривовы, Амосовы (Копанев 1971:286, 287).

Смена метрополий в колонизации Русского Севера вызвала ряд прямых и опосредованных следствий. Поскольку Москва и Новгород не только соперничали, но и различались цивилизационно (как орд-русская и норд-русская традиции), многие новгородцы не подчинились новому суверену, как это случилось в «низовых» княжествах, а отъехали в дальние волости. Начался исход новгородцев на север и восток, усилившийся при Иване Грозном (особенно после резни 1570 г.). Тем самым московская деспотия ускорила бег новгородцев в поморы, и многие русские северяне были «новгородцами в изгнании». Как казаки на юге, северные изгои играли роль «гвардии колонизации». При этом автономность новгородцев, выражавшаяся и ранее в выведении самостоятельных колоний, обеспечивала стойкость их рассеянного сообщества, не нуждавшегося в централизованной метрополии.

Новгородцы шли к Студеному морю по рекам, озерам и волокам Ладоги, Онеги, Двины. Самым торным был Двинский путь, и новгородский исход дал новый импульс развитию Холмогор, где, по словам англичанина Джона Гасса, в середине XVI в. «сосредоточивалось торговое движение северного поморского края». На

зимнюю Никольскую ярмарку в Холмогоры «свозились все роды товаров, какие производил северный край России, как-то: тюлений жир, соль, рыба (семга и треска), ворвань, меха»; ворвань привозили из Двинского края, где ее «добывалось больше, чем в других местах России», рыбу — из «Мурманского моря», меха — «с Пинеги, из Лампаса и Пустозерска; промышленники этих мест скупали их у самоедов и меняли холмогорским купцам на сукно, олово, медь и другие товары». Холмогоры «снабжали Новгород, Вологду, Москву и все окрестные страны солью, добываемою из морской воды, и соленою рыбой» (Ключевский 1866:241).

Культура поморов строилась на диалогах с соседями по морю. Прямым продолжением новгородско-норманнских контактов были промыслы и торговля на Мурмане, где в XVI в. возникли русские селения Печенга (Печенгский монастырь), Кегор, Цып-Наволок, Кола. Печенгский монастырь вырос на границе с Норвегией в 1530–1540-е гг., и в 1533 г. фогт соседнего пограничного норвежского городка Вардё вел на морском побережье торговлю с русскими и карелами. Голландский купец Салингер сообщал, что монахи монастыря в 1562, 1563 и 1564 гг. продавали в Вардё «рыбу, ворвань и прочее сырье, добытое ими за зиму и лето». В 1557 г. англичанин Стивен Барроу наткнулся у мыса Кегор на крупный торг, в котором участвовали русские, норвежцы, голландцы, лопари, карелы (Готье 1938:91, 92; Шаскольский 1970:49; Булатов 1997:213–215).

Морские диалоги

В историографии время от времени возобновляется спор, кто первым проложил арктический маршрут между Европой и Россией, московский дипломат Григорий Истома в 1496 г. или английский капитан Ричард Ченслер в 1553 г. В действительности оба прошли по давно проторенной дороге, а вспыхнувший на рубеже XV–XVI вв. интерес европейцев к Арктике связан не с географическими открытиями, а с охватившей Европу колониальной лихорадкой.

Путь по Ледовитому океану с древности был известен скандинавам: плавания в Бьярмию вокруг Скандинавии и Мурмана (Кольского полуострова), начавшиеся с вояжа халогаландца

Оттара в IX в., продолжили норманны (в том числе их конунги), а затем ладожане и новгородцы. Со временем этот путь превратился в «Северное кольцо», по которому не только норманны достигали Бьярмии, Ладоги и Новгорода, но и новгородцы навещали Скандинавию. Например, в 1316 и 1323 гг. русские совершили набеги на Халогаланд, после чего норвежцы возвели у Варангерфьорда пограничную крепость Вардегуз (Замысловский 1884:115). В начале XV в. русские и норвежцы продолжали обмен военными рейдами: в 1412 г. «ходиша из Заволочья воиною на Мурмане... воевода Яков Степанович, посадник Двиньскыи, и повоеваша их», а в 1419 г. «пришед Мурмане воиною в 500 человек, в бусах и в шнеках» (НПЛ 1950:403, 411, 412). В 1496 г. кн. Петр Ушатый с братом Иваном Ляпуном (из ветви северных ярославских Рюриковичей) во главе войска устюжан и двинян ходил морем-океаном от устья Двины до Каянской земли на Мурмане, а затем от Мурманского Носа в глубь Каянской земли, повоевав берега восьми рек (Замысловский 1884:96, 97; ПСРЛ Т. 37 1982:98, 115).

Одновременно с Петром Ушатым, в 1496 г., тем же северным путем по «морю-океану» отправился из Московии в Европу великокняжеский посол Григорий Истома в компании шотландца Давида, посла датского короля. На четырех ладьях они прошли из устья Двины в норвежский Дронт (Тронхейм), откуда на оленях и лошадях добрались до Бергена и Копенгагена. Выбор северного пути взамен балтийского Сигизмунд фон Герберштейн объяснил тем, что «у московского владыки были несогласия со шведами», и потому «они не могли держаться общедоступного и обычного пути, а избрали другой, правда более длинный, но и более безопасный». Ладьи Истомы прошли Финлаппию, населенную лопарями, «данниками московского владыки», затем подвластную Швеции Каянскую землю (Нортподен) и полуостров Мотку с норвежской крепостью Вардегуз. Тронхейм, где они «покинули свои лодки» (остальную часть пути проехали по суше на санях), был известен русским — по словам Герберштейна, «государь Московии обыкновенно взыскивает подать вплоть до сих мест» (Герберштейн 1908:185, 187).

В Лапландии, где смыкались владения Новгорода–Москвы, Норвегии и Швеции, местные жители вели торг с купцами разных стран и нередко платили двойную дань. Смежной для скандинавов

и московитов была Каянская земля от Мурмана до Ботнии. В шведские владения нередко наведывались «русские коробейники» — *laukkuryssā* (букв. «русские с заплечными сумками»), как их звали финны. В 1492 г. в Швеции вышел запрет беломорским коробейникам появляться в Ботнии, и нескольких торговцев-нарушителей фогт Приботнии велел арестовать и казнить. Однако, несмотря на гонения, купцы с востока «цепко держались за ботническую торговлю и приезжали большими группами на лодках на ярмарки в Оулу, Кеми и Торнио» (Киркинен и др. 1998:41, 64). На карте (*Carta Marina*) Олафа Магнуса, изданной в 1539 г. в Венеции, показаны «московиты», перетаскивающие лодки между озерами — на зимнюю ярмарку в шведском городе Торнио они являлись целыми ватагами, «неся свои ладьи на плечах, чтобы при первой же возможности спустить их на воду» (Савельева 1983:76).

В XIV–XV вв. северные русские торговцы посещали Фенноскандию на встречных курсах со скандинавами, ходившими на Русский Север. Об этом же свидетельствует знание русскими разных групп лопарей: Истома описал «кротких» лопарей Финлаппии, которые «живут разбросанно вдоль моря в низких хижинах», а также «диких лопарей», искусных стрелков, которые едят «только рыбу да зверей», охотно торгуют с московитами и платят им дань мехами и рыбой, «склонны к сладострастию» и оставляют своих жен с гостями-купцами (Герберштейн 1908:186, 189). При этом сам Истома не ступал на берег до Тронхейма и лишь внимал рассказам попутчиков, ранее посещавших лопарей.

Помимо вояжа Истомы, Герберштейн упомянул еще две подобные поездки русских послов: «Власий [Игнатьев], другой толмач государя, который несколько лет тому назад послан был своим государем к цесарю в Испанию», тоже прошел тем же морским путем «к самому норвежскому городу Бергену и перенес все труды и опасности, про которые выше излагал Истома; наконец, прямою дорогою прибыл он в Гафнию, столицу Дании, называемую германцами Копенгаген... Точно также и тот Димитрий [Герасимов], который весьма недавно исполнял обязанности посла в Риме у верховного первосвященника, и по рассказам которого Павел Иовий написал свою Московию, был посылаем ранее в Норвегию и Данию тем же самым путем» (Герберштейн 1908:185–188).

Со слов Дмитрия Герасимова итальянский географ Павел Иовий (Паоло Джовио) в 1525 г. составил «Книгу о посольстве Василия, великого князя Московского, к Клименту VII», высказав догадку:

> ...достаточно хорошо известно, что Двина, увлекая бесчисленные реки, несется в стремительном течении к Северу, и что море там имеет такое огромное протяжение, что, по весьма вероятному предположению, держась правого берега, оттуда можно добраться на кораблях до страны Китая (Павел Иовий 1908:262).

Наряду с Дмитрием, героем повествования Павла Иовия выступает «генуэзский капитан Павел» (Паоло Чентурионе), который «искал нового и невероятного пути для добывания благовоний из Индии». Паоло прибыл в Москву с грамотой от папы Льва X и пытался увлечь своим проектом великого князя Василия. «Павел сильно и превыше меры рассержен был на несправедливость лузитанцев [португальцев], которые покорили значительную часть Индии оружием и, заняв все рынки, скупали затем все благовония и отправляли их в Испанию, после чего обычно продавали их всем народам Европы за более значительную, чем раньше, цену и с огромною выгодою» (Павел Иовий 1908:252, 253). Василий прохладно отнесся к проекту генуэзца, но Паоло все же удалось втянуть в переговоры Москву и Рим: он повторно посетил Москву в 1524 г., а в 1525 г. московский посол Дмитрий Герасимов уже был на приеме у папы Климента VII. Лишь смерть в конце 1525 г. помешала Паоло Чентурионе осуществить свой проект (в ту пору он был в Лондоне и делился своими планами с английским королем Генрихом VIII).

Чентурионе и его современники обсуждали не один вариант северного пути в Индию и Китай. Сам Паоло толковал по большей части о маршруте из Ледовитого океана на юг по Волге и Каспию; Герберштейн сообщал о том, что Обь вытекает из «Китайского озера», подразумевая путь до Китая по Оби; Павел Иовий допускал, что в Китай можно пройти по северному океану в обход материка. Итальянский географ XVI в. Дж. Рамузио в своих «Плаваниях и путешествиях» упомянул, что некий русский показывал ему в Аугсбурге карту и убеждал, что Индии

можно достичь Ледовитым морем. Этим русским был один из послов, ездивших в Европу северным путем, — Григорий Истома, Власий Игнатьев или Дмитрий Герасимов.[2] Помимо теорий, рождались и практические проекты поиска северо-восточного морского пути в Китай: в 1522 г. один из семейства Центурионе — Гаспар — отправился на корабле из Италии «в Индию» через Прибалтику, но был задержан в Нормандии (Алексеев 1941:98).

Проект Центурионе был частным случаем колониальной лихорадки, охватившей европейцев, особенно итальянцев, после двух экспедиций Колумба 1492–1496 гг. и триумфального плавания в Индию Вашку да Гамы в 1497–1499 гг. Своими успехами Португалия и Испания во многом обязаны венецианцам и генуэзцам — в начале XV в. итальянские мореходы подвизались в школе и экспедициях португальского принца Энрике, а книга Марко Поло, привезенная из Венеции в Португалию доном Педру, стала для Энрике путеводной в поиске южного морского хода на Восток; в конце столетия генуэзец Христофоро Коломбо (Христофор Колумб), после серии безуспешных попыток осуществить свой «индийский» (американский) проект в Италии, Португалии и Англии, «продал» его испанской королевской чете — Изабелле Кастильской и Фердинанду Арагонскому. По стопам соотечественника шел и Паоло Центурионе, предлагая очередной «индийский» (на этот раз арктический) проект в Генуе, Риме, Москве, Копенгагене, Лондоне. Хотя Паоло не суждено было стать северным Колумбом, его замысел не канул в небытие и даже не поменял своей исходной «этничности» — четверть века спустя его подхватил Себастьяно Кабото (Себастьян Кабот), сын генуэзца Джованни Кабото, открывшего на английской службе Ньюфаундленд.

---

[2] М. П. Алексеев допускал, что им мог быть Василий Власий, возвращавшийся с кн. Ярославским-Засекиным из Испании, или Дмитрий Герасимов, заезжавший в Аугсбург по пути в Рим; М. С. Боднарский указывал на Григория Истому, ездившего в 1518 г. к императору Максимилиану в Инсбрук; О. Ф. Кудрявцев не исключает, что им был Власий Игнатьев, направленный в 1525 г. в составе московского посольства к императору Карлу V (Алексеев 1941:97; Боднарский 1947:23, 24; Кудрявцев 2013:61). Итальянский картограф Баттиста Агнесе составил свою карту Московии в 1525 г. с помощью русского посла в Риме Дмитрия Герасимова (Goldenberg 2007:1854).

До конца 1540-х гг. Себастьян подвизался в исследовании южных морей, будучи главным штурманом флота Карла V, императора Священной Римской империи. На склоне лет он прибыл в Бристоль и взялся за организацию первой в Англии акционерной компании (по итальянскому опыту) для отыскания северного пути в Китай и Индию. Ему было за 70, когда в 1552 г. он вместе с Хью Уиллоби и Ричардом Ченслером основал в Лондоне торговую компанию с красноречивым названием “Mystery and Company of Merchant Adventurers for the Discovery of Regions, Dominions, Islands, and Places unknown” (Гильдия и компания купцов-искателей неведомых стран, владений, островов и пространств); позднее — “Moscovy Company” (Московская компания). Затея выглядела многообещающе — в компанию вошли 215 акционеров, в том числе видные купцы Лондона.

Обратиться к идее северо-восточного пути Себастьяна Кабота побудила вышедшая в свет в 1549 г. книга Герберштейна о Московии и ее северо-восточных владениях. В 1555 г. она, как и сочинение Павла Иовия, была издана по-английски и стала настольной книгой англичан, интересовавшихся Россией; не случайно придворный поэт Елизаветы Георг Турбервилль писал своему другу Паркеру:

Friend Parker, if thou list to know the Russies well,
To Sigismundus book repair, who all the truth can tell
(Mund 2008:352).[3]

Англичане задержались с выходом на авансцену морской колонизации. К XVI в. три пути из Европы в «изобильную Индию» были уже разведаны и заняты: восточный (средиземноморский) контролировали турки, южный (африканский) — португальцы, западный (южноамериканский) — испанцы. Папскими буллами 1454 и 1493 гг. утверждался «католический раздел» морей и колоний между Испанией и Португалией, и мятежной Англии Генриха VIII оставалось пытать счастья лишь на последнем, северном, направлении. Эту идею как английскую доктрину в 1527 г. выразил купец Роберт Торн, долгое время живший в испанской Севилье, в письме к Генриху VIII. Торн убеждал короля,

[3] Друг Паркер, если хочешь хорошо Россию знать, / Обратись к книге Сигизмунда, который может всю правду рассказать.

что Англии предназначен северный путь, поскольку остальные перекрыты Испанией и Португалией. Торн предлагал «снарядить экспедицию на север, с тем чтобы она, достигнув большой широты, повернула на восток и, огибая Татарию, Китай, Малакку и Ост-Индию, добралась до мыса Доброй Надежды и оттуда — в Европу, т. е. объехала вокруг света». Он не исключал и иных вариантов северного пути: на запад вокруг Северной Америки и прямо по меридиану вокруг света. Интерес Англии на Севере он подкреплял перспективой превращения холодных стран в рынок сбыта английской шерсти. Торна не страшил Север — он ссылался на успешный опыт своего отца, участвовавшего в бристольской экспедиции, открывшей Ньюфаундленд в 1494 г., за три года до Джона Кабота. Выражение Торна “There is no land inhabitable, there is no sea innavigable” (нет земель необитаемых и нет морей непроходимых) стало крылатым (Боднарский 1926:11, 12; Рамсей 1982:96, 97; Кудрявцев 2013:61, 62).

В 1553 г. в Арктику на поиск северо-восточного прохода двинулась экспедиция в составе трех судов под командованием Хью Уиллоби.[4] Шторм у Лофотенских островов разбросал флотилию: два корабля прошли до Новой Земли, а затем трагично зазимовали на Мурманском берегу (сэр Хью и его моряки погибли на зимовке в устье Варзины при загадочных обстоятельствах, будто все разом были застигнуты внезапной смертью), и лишь капитан Ченслер, главный штурман флотилии, провел свой корабль “Edward Bonaventure” в бухту св. Николая в устье Северной Двины.[5] После «обсылки» с русскими властями в Холмогорах Ченслер отправился с устья Двины сначала на Холмогоры, а затем в Москву, где в феврале 1554 г. был принят Иваном Грозным как посол короля Эдуарда. Визит Ченслера открыл впечатляющую главу англо-русских отношений, стоивших Ивану IV прозвища «английский царь», отозвавшихся в его просьбе (1567 г.) о

[4] Поиск англичанами северо-западного прохода начался на двадцать лет позже экспедицией Мартина Фробишера (1576–1578), за которым последовали Джон Дэвис (1585–1587), Генри Гудзон (1607–1611), Уильям Баффин (1615–1616), Роберт Байлот (1615).

[5] Бухта именовалась по расположенному на берегу монастырю св. Николая; Белое море тоже называлось заливом св. Николая, а выросший неподалеку Архангельск — портом св. Николая.

политическом убежище в Англии и в его едва не состоявшейся женитьбе на английской принцессе из дома Тюдоров.

Не вполне ясно, чем, кроме письма Эдуарда VI,[6] Ченслер обаял царя Ивана настолько, что Московской компании были предоставлены в России льготы свободной и беспошлинной торговли. То, что Ганзе стоило огромных усилий, англичанам удалось сразу. Возможно, царю Московии пришелся по душе проект пути на восток, совпадавший с его собственными видами на ордынские владения.

Шкипер Барроу и кормчий Лошак

В своде «Главных навигаций, путешествий, торговых экспедиций и открытий Английской нации» Ричарда Хаклюйта опубликован навигационный дневник шкипера Стивена Барроу (1525–1584) о плавании на барке (пинасе) “Serchthrift” в 1556 г. из Англии к северным берегам Московии (Hakluyt 2 1903:322–344). В нем повествуется о попытке пройти к Оби, о промыслах русских поморов и языческих обрядах самоедов. Записи передают оттенки наблюдений морехода: каждый эпизод дневника содержит сведения о координатах, глубинах, направлении и силе ветра, тумане, дожде, шторме, волне. Ощутима и склонность путешественника-искателя метить карту своими названиями. Например, об островке Bommeloe у берегов Норвегии Барроу заметил: «Подошли к острову св. Дустана, как я его назвал». Подобная пометка отнесена и к Нордкапу: «Северный Мыс (как я назвал его в первом путешествии)». В этой манере кроются амбиции «искателя неведомых стран»; символично и название судна Барроу: *Serchthrift* — «Поиск выгоды».

В 1553 г. Стивен Барроу, в ту пору 27-летний уроженец Северного Девоншира, выросший на берегу Бристольского залива, ходил шкипером (штурманом) на «Бонавентуре» капитана Ченслера, а в 1556 г. он предпринял самостоятельный северный вояж. После напутствия 80-летнего Себастьяна Кабота Барроу двинулся в путь и, обогнув Скандинавию,[7] бросил якорь в устье

---

[6] Послание короля Эдуарда VI, которое имел при себе Ченслер, было вообще-то адресовано не московскому царю, а «всем королям, князьям, правителям, судьям и губернаторам земли» (Willan 1956:4).

[7] До Нордкапа Барроу шел на «Бонавентуре», а затем перешел на мобильный барк (пинасу) «Серчтрифт».

р. Кола (Cola, Colaye).[8] Среди находившихся там поморов нашелся шкипер по имени Гаврил (Gabriel), взявшийся опекать и сопровождать Барроу в плавании на восток. В критических ситуациях Гаврил, подобно джинну, являлся на выручку «Серчтрифту», и Барроу не случайно называл его другом. В пути Гаврил «приспускал паруса и поджидал» отстававших англичан, предупреждал о мелях и помогал стаскивать с них пинасу, а в шторм отводил ее в укрытие; он добывал для англичан канаты, древесину и питьевую воду. Однажды утром, заметив дым на берегу, Гаврил отправился туда и доставил на борт «Серчтрифта» молодого самоеда, который подарил Барроу трех гусей и казарку (это событие приобрело в литературе известность как «первая встреча англичан и самоедов»).

Обогнув Канин Нос, «Серчтрифт» в середине июля бросил якорь в устье Печоры. Избегая льдов и китов, барк пробился к Новой Земле (один из островов архипелага тут же получил английское название св. Джона). 28 июля, когда Барроу собирался встать на якорь, показался парус, и к английской пинасе подошел поморский коч. Кормчий по имени Лошак (Loshak) сообщил Барроу, что англичане ошиблись в выборе курса на Обь. «Эта земля, — сказал он, — называется Noua Zembla» (Hakluyt 2 1903:337). Лошак описал англичанам путь на Обь и сообщил, что следует туда же; правда, он спешил и не желал задерживаться, поскольку лето уходило и его товарищи были уже в пути (еще четыре ладьи поморов шли от Канина Носа к Новой Земле). Барроу подарил ему стальной стакан, две оловянные ложки и два ножа в бархатных ножнах. Лошак, отдарившись 17 дикими гусями, согласился задержаться и объяснил более подробно путь к Оби.

На следующий день, двигаясь на восток, англичане заметили еще один парус и, расспросив подошедших поморов, убедились в правильности указанного Лошаком курса на Обь. Два дня спустя ветер резко усилился, подул встречный, и «Серчтрифт» встал на якорь у Вайгача. Здесь к барку подошли еще две русские ладьи, поморы одарили Барроу буханкой хлеба и рассказали, что все они — холмогорцы, кроме одного печорянина, самого среди них

[8] Убедительна версия М. Филиппова, видевшего в Cola не речку Колу на Мурманском побережье, а реку Кулой, впадающую в Мезенскую губу (Филиппов 1901:307, 308; см. также: Нильсен 2012).

богатого и добычливого на моржей. С борта «Серчтрифта» Барроу наблюдал, как на Вайгаче русские (те самые, что поделились хлебом) преследовали белого медведя, сгоняя его со скал в воду.

Наступил август, ветер не стихал и нагонял все больше льдов. В один из дней Барроу сошел на остров поглядеть на трех моржей, добытых поморами. Те предложили шкиперу клык моржа за рубль и шкуру медведя за три, после чего поведали, что на острове живут самоеды, которые не переносят иноземцев; у них нет жилищ, кроме чумов из оленьих шкур; они отличные стрелки и владеют стадами оленей. Пройдя на «Серчтрифте» вдоль Вайгача на северо-восток, Барроу вновь встретил Лошака. Кормчий пригласил шкипера сойти на берег и повел его к капищу самоедов, на котором Барроу рассмотрел более 300 идолов, изготовленных «хуже некуда: глаза и рты некоторых были в крови, они имели форму мужчин, женщин и детей, очень грубо сделанных» (Hakluyt 2 1903:338). Здесь же лежали старые нарты, оленьи шкуры, вертела для приготовления на кострах жертвенного мяса. Попутно Лошак пояснял, что здешние самоеды не такие злодеи, как на Оби, где они убивают всякого, не говорящего на их языке. Со знанием дела кормчий уточнял, что самоеды ездят на оленях, а из шкур делают покрытие для чумов и кожаные лодки, которые несут на спинах, когда выходят на морской берег.

После этнографической экскурсии «Серчтрифт» перешел в бухту, где стоял коч Лошака. Русский кормчий поднялся на борт пинасы и сказал шкиперу Барроу: «Если Бог пошлет погоду и подходящий ветер, я пойду на Обь с тобой, потому что мало моржа на Вайгаче, но если не смогу добраться до Оби, пойду в реку Нарамзай,[9] где люди не такие дикие, как обские самоеды» (Hakluyt 2 1903:339).

6 августа, пока Барроу в очередной раз бродил по берегу, поморские кочи неожиданно снялись с якорей и ушли к югу вдоль Вайгача (в направлении Югорского пролива). Барроу с обидой отметил, что Лошак двигался спешно и по мелям, где «Серчтрифт» не мог за ним следовать. Оправдание действиям поморов он усмотрел в погоде — вскоре поднялся шторм со снегом и дождем,

[9] Река Нарамзай может быть соотнесена с реками Бол. Аю (Великая) и Мал. Аю (Никольская), впадающими в пролив Югорский Шар.

а затем пал густой туман. Лишь три дня спустя Барроу тронулся в путь, пытаясь пройти на юго-восток, вслед за Лошаком, но опять застрял в тумане. Четыре следующих дня, с 8 по 11 августа, отмечены в дневнике Барроу словом *mist* (туман). Когда развиднелось, он отправил трех матросов на берег искать самоедов, но помешал дождь. Следующие три дня осторожного плавания с промером глубин вновь сменились чередой туманных дней, теперь уже с пометкой *very mistie* (очень туманно). 19 августа открылся горизонт, и англичане разглядели берег материка к востоку от Печоры, но тут же разразился невероятной силы шторм.

Вконец расстроенный, Барроу повернул вспять. Свое решение он оправдал неудобными для плавания северными ветрами, обилием льдов и наступлением темных ночей с осенними штормами. Дождавшись попутного ветра, капитан укрылся в знакомой бухте св. Николая в устье Двины, а затем переместился на зимовку в Холмогоры. Спутник Барроу Ричард Джонсон среди зимы посетил самоедов на Печоре и стал свидетелем камлания шамана.

Барроу намечал продолжить следующим летом путь к Оби, но вынужден был по приказу из Лондона искать у берегов Мурмана следы трех пропавших кораблей Московской компании.[10] После бесплодных поисков шкипер вернулся в Холмогоры, а летом 1557 г. — в Англию. На штурм карских льдов он больше не решился. Возможно, этому помешала смерть в 1557 г. Себастьяна Кабота, главного вдохновителя поиска «прохода в Китай», или взятие русскими Казани и Астрахани, открывшее англичанам дорогу в Китай через Каспий (Evans 2013). В 1560–1561 гг. Барроу еще раз посетил бухту св. Николая, доставив на корабле “Swallow” сукно, соль, изюм, вино, чернослив для обмена на пушнину. На обратном пути он забрал Энтони Дженкинсона, только что завершившего вояж через Московию в Центральную Азию.

---

[10] Названия трех кораблей, снаряженных в 1553 г. Московской компанией на поиск северо-восточного прохода, связаны общим словом *bona* (добро), однако всех их постигла «недобрая» судьба: в 1556 г. “Edward Bonaventure” затонул у берегов Шотландии (с капитаном Ченслером на борту), “Bona Esperanza” и “Bona Confidentia”, восстановленные после трагичной зимовки Хью Уиллоби на Мурмане, погибли у берегов Норвегии — первый разбился на мели, второй бесследно исчез.

Заголовок повести Барроу «Плавание и открытие по пути к реке Оби...»[11] не вполне точно отображает итоги путешествия. На самом деле путь прервался у пролива Югорский Шар, а Обь осталась лишь в названии и мечтах. Как отметил Й. П. Нильсен, наиболее важными результатами путешествия Барроу «стали не географические открытия, а свидетельства того, насколько уже в середине XVI века россияне были активны в арктических морях. Англичане наблюдали многочисленные русские суда, направлявшиеся на места охоты на моржей и тюленей; семужный промысел на реке Печоре и вдоль берегов Новой Земли. Барроу засвидетельствовал и хорошее качество кораблей, и высокую морскую выучку промысловиков, с которыми познакомился во время первого пребывания “Серчтрифта” в России, на “реке Cola”, где они стояли на якоре в течение 12 дней» (Нильсен 2012:84).

Англичанам сопутствовал успех до тех пор, пока их вел и выручал поморский кормчий Гаврил. Как только «Серчтрифт» пустился в самостоятельное плавание у берегов Новой Земли и Вайгача, он будто лишился руля и лишь менял якорные стоянки со ссылками на плохую погоду. В отличие от Гаврила, новый гид англичан, Лошак, не заслужил звания «друга». Случайно встретив пинасу близ Новой Земли, он не скрывал, что озабочен не планами Барроу, а собственным промыслом. Обмен подарками смягчил помора, но его обещание провести «Серчтрифт» к Оби или к «реке Нарамзай» осталось благим намерением.

В Студеном море «Серчтрифт» выглядел осторожным гостем. Трагический опыт Уиллоби и загадочная мгновенная смерть его команды (по одной из версий, от угара), несомненно, впечатлили Барроу и его спутников. Он явно колебался в движении по мрачному морю. Англичане лишь наблюдали, стоя на якоре, как русские кочи лавировали среди мелей и льдов, а поморы, невзирая на погоду, гоняли белых медведей и промышляли моржей.

О мыслях и мотивах Лошака можно только догадываться. Как кормчий и артельщик он был озабочен собственным делом (нетрудно представить, как отнеслись бы его подельники к идее пожертвовать промыслом ради случайных гостей). План англичан,

[11] “The navigation and discoverie toward the river of Ob, made by Master Steven Burrough, Master of the Pinnesse called the Serchthrift, with divers things worth the nothing, passed in the yere 1556.”

если и не вызывал ревности, представлялся ему иначе, чем Барроу. Наблюдения за «Серчтрифтом» подсказывали, что английский барк может стать легкой добычей льдов и мелей, не говоря уже о малых шансах его прохода по Ямальскому волоку. Поэтому Лошак дипломатично запугивал Барроу свирепыми обскими самоедами.[12] Не могло ускользнуть от Лошака и то, что Барроу сам колебался и под разными предлогами откладывал отправление на восток. Помор знал, что такое ход по Карскому морю в августе и возвращение в сентябре, но еще лучше понимал, что пройти это море можно только решительным броском, а не ожиданием на якоре хорошей погоды. Он облегчил бремя шкипера, без прощания снявшись с якоря и уйдя «от греха». Неизвестно, повезло ли в той навигации Лошаку, но благодаря его уходу Барроу избежал судьбы Уиллоби.

Эпитафия Барроу гласит, что он «открыл Московию по северному морскому пути, [достигнув залива] св. Николая в 1553 году».[13] Не всегда удобно вести диалог с умершим, но вопросы к нему есть: связано ли приписывание ему «открытия Московии» в обход капитана Ченслера с его реальными заслугами в плавании 1553 г. или с отсутствием могилы самого Ченслера, утонувшего у берегов Шотландии? Вероятно, эпитафия зазвучала столь амбициозно в редакции не слишком щепетильных наследников семейной славы. Как бы то ни было, риторика «открытия» (не только в эпитафии Барроу, но и в английской историографии) выдает «тон метрополии» в английских навигациях и их описаниях; русский посол Осип Непея не декларировал «открытия Англии», посетив ее в 1556 г.

Могила Лошака неизвестна, коч его безымянен, да и сам помор известен только благодаря дневнику Барроу и своду Хаклюйта. Однако не Барроу, а Лошак владел в совершенстве арктической навигацией, бывал на Оби и посвящал англичан в обычаи самоедов. Очевидно, реальные и письменные события за-

[12] Рассказы Лошака о самоедах, в том числе сравнение печорских и обских, впечатляют основательностью; он вполне мог владеть их языком, поскольку бывал на Оби и остался цел (а там «убивают всякого, не говорящего на их языке»). По свидетельству Н. Витсена, среди русских северян были говорящие по-самоедски (Витсен 2010:1175).

[13] «He in his life time discouered Moscouis, by the Northerne sea passage to St. Nicholas, in the yere 1553» (Encyclopedia Arctica T. 15 1947–1951).

метно разнятся. У поморов был Лошак, но не было Хаклюйта; между тем в немалой степени именно метки на карте и заметки в печати расставляли приоритеты в колонизации.

Купцы-искатели

Морской и обской варианты северо-восточного «пути в Китай» застряли в карских льдах, тогда как волго-каспийский ход вселял все больше надежд. Серией успешных поездок 1564, 1565, 1568, 1569 и 1579 гг. новый (после смерти Хью Уиллоби и Себастьяна Кабота) глава Московской компании Энтони Дженкинсон не только освоил маршрут от Арктики до Центральной Азии, но и добился у Москвы разрешения на торговый транзит в Персию, а в самой Персии — торговых привилегий, подобных московским.[14]

Дженкинсон, как и Ченслер с Барроу, Индии и Китая не достиг, но поиск обернулся открытием богатств и возможностей самой Московии. В этом «открытии» заложен казус исторической памяти, ситуативно засыпающей и пробуждающейся. «Руссия» была хорошо известна на Западе в эпоху викингов, но после того как, по выражению Гервазия Кентерберийского, она была «равнодушно уничтожена» тартарами, у европейцев случился «прерыв памяти», и в XVI в. «Россия предстала перед англичанами поистине как terra incognita» (Матузова 1979:11, 12, 104). Впрочем за истекшие четыре века Англия тоже заметно изменилась, превратившись из норманнской колонии в морскую метрополию.

В XVI в. все страны и их государи заново изучали друг друга в измерении метрополия–колония. Английские «искатели», стесненные в южных морях монополией иберийцев, выбрали для колониального поиска Север. Пройдя по пути викингов, англичане во многом повторили их опыт торговой колонизации, а распахнутые им навстречу объятия Ивана Грозного чем-то напоминали «призвание варягов».

Шествие Московской компании по России впечатляло успехами. Через три года после высадки Ченслера, в 1557 г., она уже

---

[14] Путь по Московии в Китай стал популярен: Г. Меркатор его картографировал, а Д. Мильтон в красках описал; в 1719 г. Д. Дефо при редакции второй части своего романа «Робинзон Крузо» направил своего героя по дороге из Китая в Архангельск (Алексеев 1941:XLVII).

создала в Холмогорах фабрику для изготовления канатов из пеньки и прислала восемь канатных мастеров (пенька для канатов и лес для мачт обладали особой ценностью для мореходов). В устье Двины возникла пристань св. Николая (неподалеку от которой вырос Архангельск), на Вычегде — железоделательный завод. Английские дворы появились в Холмогорах и Вологде, Ярославле, Борисове и Москве[15], конторы компании — в Новгороде, Пскове, Ярославле, Казани, Астрахани, Костроме, Ивангороде. В конце XVI в. в Холмогорах жили английские купцы, имея свою землю и «прекрасные дома» (Ключевский 1866:241, 242). В 1569 г. английские купцы-искатели получили право беспошлинного торга во всей Московии и монополию на торговлю в Казани, Астрахани и Нарве. Особая забота Ивана Грозного выразилась в том, что он взял компанию в опричнину. Стараниями Дженкинсона от Архангельска до Астрахани протянулась контролируемая англичанами «зона свободной торговли».

Англичане имели возможность выбирать опорные базы для своих складов и факторий. Джон Гасс в 1554 г. в качестве лучшего места для склада английских товаров рекомендовал Вологду, потому что «это город большой, находящийся на удобном водном пути, в сердце России, окружен многими большими и хорошими городами, изобилует хлебом, вообще жизненными припасами и всеми русскими товарами, особенно льном, пенькой, воском и салом, все вещи здесь вдвое дешевле, чем в Москве или Новгороде; нет города в России, который не торговал бы с Вологдой; даже Москва не так удобна для компании в этом отношении, ибо там, благодаря пребыванию двора, компании придется тратить половину своих барышей на подарки царским чиновникам и другие расходы» (Ключевский 1866:240).

Интерес Англии состоял не только в выгоде заготовки пеньки и пушнины, но и в перспективе колониального освоения Московии или, по крайней мере, ее окраин (в будущем подобные проекты успешно осуществились в Америке, Индии и других странах). Не случайно власти Лондона, включая королеву Елизавету, покровительствовали Московской компании и принимали в ее

[15] Английский двор в Москве начался с каменного дома (на Варварке), пожалованного англичанам в дар от царя «в знак особого его благоволения» (Любименко 1912:37).

делах живое участие (например, ради Московии был снят запрет на вывоз из Англии драгоценных металлов). По мнению Н. И. Костомарова, «английское правительство, требуя для компании исключительных прав, таило за этим другие более обширные виды политического преобладания в России... Утвердить в России монополию компании значило подчинить Россию английскому правительству» (Костомаров 1862:22). Англо-русская торговля XVI в. «во многом напоминала обмен, сложившийся между Англией и ее колониями» (Willan 1956:54).

Англичане везли в Москву шерстяную и хлопчатобумажную ткань, вино, бумагу, сахар, изюм, соль, посуду, медь, свинец, олово, колокола, свинцовые плитки для крыш, оружие и амуницию, порох, селитру, серу, лекарства, ювелирные изделия, миндаль, конскую сбрую, алебарды, музыкальные инструменты (клавикорды, орган) и даже львов (пару живых зверей привез в 1557 г. посол Осип Непея в дар Ивану Грозному от английской королевской четы, Филиппа и Марии). Из России в Англию поставлялись корабельные мачты, древесина, пенька, лен, канаты, воск, кожи, пушнина, моржовый клык, ворвань, мясо, сало, смола. При этом московский царь был «одним из наиглавнейших поставщиков воска и собольих мехов» (Willan 1956:14; Демкин 1994:35).[16] Северная пушнина была популярна в Европе не в последнюю очередь благодаря напоминавшим рекламу высказываниям:

> Наиболее превосходны собольи меха с гладкой шерстью и легкой проседью; они служат ныне для прокладки царского одеяния и для защиты нежных шей знатных женщин... жители Пермии и Печоры обыкновенно выплачивали за железный топор столько собольих шкурок, сколько их, связанных вместе, московитские купцы могли протащить в отверстие топора, в которое влагается ручка (Павел Иовий 1908:252, 267).

В середине XVI в. в Англии слагались стихи о самоедах и пушнине. Англичанин Р. Джонсон перевел на английский сказание

[16] В Англии наибольший сбыт имели не собольи, а беличьи, лисьи и куньи меха; и Московская компания предписывала своим агентам слать больше дешевых мехов и меньше дорогих. И не только пушнина привлекала англичан на севере России — в 1560 г. английское правительство вообще распорядилось не носить иностранных мехов; зато рос спрос на сало и интерес к металлам, красильным веществам и тису (Ключевский 1866:242).

«О человецех незнаемых», где говорится о самоедах-малгонзеях, носящих соболье платье. Через путешествия купцов-искателей Англия познакомилась с окраинами Московии, поморами, лопарями и самоедами. Англичане «вместо оказавшегося недоступным Китая ... открывают для себя Сибирь» (Алексеев 1941:XLIV, XLV).

Если английский «торговый пояс» вытянулся по Двине и Волге от Архангельска до Астрахани, то датско-норвежские и голландские торговые базы сначала сконцентрировались на Мурмане (в Печенге и Коле), а затем распространились в Беломорье. Между Англией, Голландией и Данией развернулась конкуренция за северную окраину Московии.

Дело Аники Строганова

В галерее персонажей русской колонизации Севера, где значатся ладожанин Улеб и новгородец Гюрята, Лука Мишинич и Марфа Борецкая, монахи Зосима соловецкий и Трифон печенгский, возвышается фигура Аники Строганова, основоположника российской «промышленной колонизации». А. А. Введенский не преувеличивал, заявляя, что «Строгановы являли собою более не повторявшийся тип и русских Фуггеров, и русских Пизарро, и Кортеса одновременно» (Введенский 1962:18). Правда, северная эпопея Строгановых нередко затмевается их выдающейся ролью в освоении Урала и взятии Сибири, однако «восточной политике» Строгановых предшествовала целая эпоха их «северной политики».

По происхождению Строгановы — новгородцы с присущей им норд-русской деятельностной схемой. Их пращур Спиридон, из новгородского дома Добрыниных, был современником Дмитрия Донского и, по родословной легенде, братом Анфала Никитина; внук Спиридона, Лука Козьмич, располагал владениями на Двине и состоянием, позволившим ему весомо вложиться в выкуп из татарского плена Василия II (Темного); Василий III дал Строгановым жалованную грамоту на Соль Качаловскую в Устюжском уезде, где вырос Сольвычегодск и «дом Строгановых». Версии о татарских[17] и

[17] Витсен вслед за Исааком Массой привел легенду о происхождении Строгановых от «строганного» (изрезанного ножами) татарского мурзы, но тут же упомянул и версию о новгородских корнях Строгановых (Витсен 2010:918–920).

крестьянских[18] корнях Строгановых по-своему привлекательны, поскольку диапазон их деятельности и связей широк настолько, что в нем умещается и крестьянская линия (окрестьянившаяся ветвь Строгановых в д. Циренниково рядом с Сольвычегодском), и «татарский эпизод» (выкуп у татар московского князя в 1445 г.). Однако их статус и деятельность, начиная с упоминания в летописях и царских грамотах и включая отмеченные в документах 1470-х гг. претензии на обширные северные владения, выдают в них состоятельных и, по титулу XVII в., «именитых» людей. Сложность их статусной идентификации связана с принципиально различными социальными традициями Новгорода и Москвы, а затем с нарочитым подавлением новгородской знати московскими чиновниками. Неловко вести речь о «крестьянах» или «мужиках» применительно к людям, выступавшим спонсорами московских князей, по меньшей мере, с середины XV в. Примечательно, что состояние Строгановых (не только богатство, но и дело) зародилось и выросло на Севере: внук Спиридона, Лука Козьмич, владел землями и правом сбора оброка на Двине; правнук, Федор Лукич, обосновался в 1470-е гг. в Соли Вычегодской; праправнук, Аника Федорович, развернул на Вычегде и по всему северо-востоку страны солеваренный, железодутный, кузнечный и другие промыслы (Устрялов 1842:2–7; Введенский 1962:15–17; Гаврилин 2002:7–13).

Еще до грамот Ивана IV дом Строгановых в течение нескольких поколений вел с Москвой диалог в стиле партнерства, а не холопства, и свои обширные вотчины Строгановы создавали не путем захвата чужих владений, а на основании «деловой колонизации». Их привилегии, подтвержденные грамотами, рождались из дела, вокруг которого сложился самостоятельный фамильный домен. Примечательно, что Строгановы создали его на окраине страны, вопреки столично-державной логике, вдали от Москвы, даже не в Вологде и не в Холмогорах, а в Соли Вычегодской.

Свой домен они обустраивали всесторонне, включая полный цикл промыслов и производств — приглашение рудознатцев, поиск месторождений болотных руд, разработку железняка для

[18] «Выйдя из разбогатевших поморских мужиков, Строгановы поднялись до звания гостей, стали в начале XVII века единственными в стране именитыми людьми, в XVIII в. превратились в баронов, а позже — в графов Российской империи» (Введенский 1962:4).

добычи железа, плавку и ковку железа для изготовления цren, использование цren для солеварения, заготовки топлива для солеварен, торговлю солью и т. д. Торговая сеть Аники Строганова объединяла склады и дворы в Вологде, Великом Устюге, Москве, Коломне, Переяславле-Залесском, Калуге (через которую шла строгановская торговля с Литвой), позднее в Рязани, Казани, Коле. Наряду с промыслами, производствами и торговлей, домен обладал своей разведкой и дипломатией, проводил внутреннюю и внешнюю политику, с одной стороны, реализуя собственные проекты, с другой — действуя агентом Москвы во внешних контактах на Севере и Востоке, с третьей — выступая инвестором царского двора. Мало того, Строгановский дом создавал свою культуру и идеологию: в XVI–XVII вв. в нем велось летописание и архивное дело, сложилось самобытное иконописание (усольская эмаль); в библиотеке Аники было около полутысячи книг, он вел переписку с митрополитами о крещении инородцев и возводил храмы, поражавшие воображение современников. От хлеба насущного до пищи духовной, от соли до веры — все звенья жизнеобеспечения и экономической самоорганизации производил и воспроизводил «Строгановский мир».

Внутренним механизмом передачи строгановского стиля была родственная порука. Аника в 18 лет построил солеварню, своих сыновей Якова, Григория и Семена он с юных лет расставил по многочисленным промыслам и торговым делам в селах Поморья и посадах Московии. Возмужавшие и женившиеся сыновья не отделялись от отца, а составляли прочную семейную корпорацию. Случавшиеся разлады разрешались властью патриарха Аники, про суровость которого ходили легенды: например, по преданию, однажды он восстановил порядок в семье, бросив непослушную дочь в воды Вычегды. И после смерти Аники его сыновья продолжали строгановское дело совместно, «от лица всех братьев» (Введенский 1962:24).

По размаху и характеру строгановское дело походило на английский бизнес, и траектории деятельности Строгановых и Московской компании пересеклись не случайно. Сети их дворов и складов раскинулись в сходном дизайне, от Мурмана до Бухары; сопоставим и диапазон торговли от Сибири до Европы; те и другие оказались в милости у Ивана Грозного и в 1560-е гг. были зачислены в опричнину (см. рис. 9).

Эти совпадения объясняются не только сходством английских и новгородских деловых технологий, но и прямым конкурентным взаимодействием Строгановых и Московской компании. Для Аники появление в 1550-е гг. англичан в зоне его интересов было одновременно вызовом и шансом. Не исключено, что Строганов с первых шагов Ченслера по Московии участвовал в «английском проекте», а затем выступил гидом англичан в поиске руд — английские разработки железа начались именно на Вычегде, вблизи вотчины Строгановых, а 12 апреля 1556 г. уже Аника Строганов получил от Ивана IV позволение «искать медные и железные руды».

Строгановы одновременно сотрудничали и конкурировали с англичанами, вели свое хозяйство и выступали агентами царя. За несколько лет умелой «политэкономии» они переняли у англичан кое-что из промышленных технологий (горнорудное дело, железоделательное производство и др.) и убедили Ивана IV в том, что именно они, Строгановы, служат опорой и щитом государственных интересов в сдерживании иноземной торговой интервенции. Со стороны царя ставка на Строгановых была протекционизмом вдвойне, поскольку, с одной стороны, укрепляла корпорацию Строгановых как русское дело, с другой — использовала эту корпорацию как противовес иностранной торговле, по крайней мере на Севере.

Царской грамотой от 8 августа 1570 г. Строгановым было поручено следить за покупкой англичанами канатной пеньки, корабельного леса и железа, за соблюдением ими условий торговли (чтобы не торговали в розницу, платили пошлины и штрафы за скупку льна и поскони) и обязательств по разработке железных руд (англичане добывали руду на Вычегде, а выплавляли из нее железо в Лондоне). Статус «государственных контролеров» позволял им детально вникать в технологии английского бизнеса (Введенский 1962:26, 27). Дом Строгановых сыграл ключевую роль в сдерживании английской торговой колонизации Русского Севера и Востока, установив контроль над Московской компанией и предотвратив перерастание ее льгот в монополию. В конкуренции с англичанами Строгановы одержали верх и в дальнейшем сами выступали деловым центром торгово-промышленной колонизации окраин Московии.

Аника Строганов развивал гибкие стратегии не только в отношении московской власти и английского бизнеса, но и в общении с туземцами Севера. Повесть об открытии Сибири, записанная в 1609 г. Исааком Массой и опубликованная Николаасом Витсеном, красочно характеризует колонизацию по-строгановски и достойна подробного цитирования. Главным ее героем выступает Аника Строганов и «род Аниконов».

> Этот Аника был богат землей и жил около реки Вычегды, впадающей в реку Двину... Побуждаемый большой страстью к наживе, он хотел узнать, какие страны населяют те люди, которые ежегодно приходили в Московию торговать ценными мехами и другими товарами... Они называли себя самоедами и разными другими именами. Они появлялись ежегодно, спустившись по Вычегде со своим товаром, обменивая его в русских городах Усолье и Юстюге, лежащих на Двине, где в то время были склады всякого рода товаров и мехов (Витсен 2010:1049).

В предании примечателен выбор стартовой ситуации: не русские движутся покорять соседние народы, а сами туземцы по своей воле приезжают в северные города и вотчину Строгановых. Первый шаг Аника делает у себя дома, выступая в роли радушного хозяина, отзывающегося на нужды гостей. В его поведении нет и намека на «цивилизационное превосходство», которое сквозит в записках европейцев по отношению к «дикарям».

> Аника думал, что можно вывезти от этих людей большие богатства, так как красивые меха, которые они ежегодно привозили, составляли крупную сумму. Он потихоньку подружился с некоторыми людьми из этого народа и послал к ним своих рабов и слуг, в количестве 10–12 человек, приказав им тщательно заметить, через какие земли они будут совершать путешествие, запомнить хорошо нравы, жилища, образ жизни и обычаи жителей и рассказать все, когда вернутся домой. Это было сделано. Слуг, которые там были, он хорошо угостил и был с ними милостив, но строго приказал им молчать. Он тоже хранил эти сведения, не говоря никому ни слова. На следующий год он послал туда больше людей и с ними некоторых из своих друзей, с малоценным товаром, немецкими мелочами, колокольчиками и т. п. Они тоже, как и первые, все

> осмотрели и выведали. Проехали до реки Обь, через многие пустынные местности, по разным рекам, которых там очень много. Завели большую дружбу с некоторыми самоедами и узнали, что меха там низко ценятся, и оттуда можно извлечь много прибыли (Витсен 2010:1049, 1050).

В типично новгородской манере плетения клиентских сетей Аника «потихоньку подружился с некоторыми людьми из этого народа и послал к ним своих рабов и слуг». Ключевое в этой фразе выражение «потихоньку подружился» передает характер взвешенного и даже вкрадчивого контакта, с которого завязывается дружба с самоедами. Все последующие действия — обмен визитами и дарами (малоценными товарами), угощения, узнавание нравов и обычаев — происходят уже на основе этой дружбы, перерастающей в «большую дружбу». Посланники Аники — доверенные «рабы и слуги», а затем «друзья» — напоминают в своих ролях «отроков» Гюряты Роговича и «холопов-збоев» Луки Мишинича. Это «слуги» новгородского типа, на долю которых выпадает этически и интеллектуально сложная миссия географо-этнографического исследования и межэтнического диалога. Ко всему прочему, этнография по-строгановски предстает сокровенным знанием, не подлежащим разглашению, своего рода know-how и коммерческой тайной. В итоге обские самоеды, свирепостью которых Лошак пугал Барроу, у Строгановых оказываются «очень мирным народом»:

> ... у них нет городов, и они живут общинами. Это очень мирный народ. Они управляются старшинами. В еде они были нечистоплотны и питаются дичью, которую добывают, не знают ни зерна, ни хлеба. Почти все они хорошие стрелки из луков, сделанных из гибкого дерева. К концу стрелы прикрепляют заостренный камень или острую рыбью кость. Стрелами они убивают дичь, которой там изобилие. Они шьют при помощи рыбьих костей, употребляя сухожилья животных вместо ниток. Так сшивают шкуры, в которые они одеваются. Летом носят их мехом наружу, а зимой — внутрь. Они покрывали свои дома шкурами оленей и морских животных, которые у них невысоко ценятся. Короче говоря, путешественники рассмотрели все и вернулись домой, нагруженные богатыми мехами. Рассказали Анике все, что он хотел знать. Таким образом он

> со своими друзьями несколько лет вел торговлю с этими странами (Витсен 2010:1050).

Строгановское народоведение характеризуется столь обстоятельно не из любви к экзотике, а потому что именно оно (в сегодняшних терминах «этнологическая экспертиза») предопределило «экономическое чудо» и сказочное богатство Строгановых.

> Эти Аниконы стали очень могучи, купили много земель, и люди удивлялись их огромному богатству, не зная, откуда оно. Они строили церкви в некоторых своих деревнях, а впоследствии построили необыкновенно красивую церковь в городе Усолье на реке Вычегде, где они жили. Этот храм был выстроен из белого чисто обтесанного камня, потому что не знали, куда девать свое достояние (Витсен 2010:1050).

Впрочем это еще не счастливый конец сказки, а лишь поворот к очередному испытанию, требующему взвешенных действий и утонченной дипломатии. Поворот, на котором Строгановым предстояло преодолеть самую опасную преграду — зависть обывателей и ревность правителя.

> Они мудро представили себе, что счастье может когда-нибудь отвернуться от них, как это обыкновенно и бывает в таких случаях, тем более что они заметили, что многие им завидовали, хотя они никому не причиняли зла. Поэтому, чтобы удержать свои богатства, они с большой предусмотрительностью решили принять свои меры (Витсен 2010:1050).

Действие переносится через поколение, и правителем Московии в диалоге со Строгановыми выступает уже Борис Годунов (хотя и при живом царе Федоре). Повесть обходит молчанием поход Ермака и продолжает сюжет дружбы с самоедами, о которых Строгановы через своего знакомого при государевом дворе сообщают Годунову, а тот получает царское одобрение выгодного дела.

> [Годунов] отнесся к ним милостиво и даже с необычным вниманием. Когда они ему все рассказали о своих исследованиях в самоедских и сибирских землях, о том, что там слышали и видели, и о том, какие богатства государство могло бы полу-

> чить, Борис страстно захотел все это исследовать и полюбил их, как своих собственных детей. Он возвысил их, давая им грамоты от царского имени, чтобы они могли взять в свое вечное потомственное владение те земли, где только пожелают, не платя никакой дани ни теперь, ни в будущем. Так как они были в Москве в зимнее время, Борис возил их в своих санях, оказав им тем самым большую честь перед московитами, так как Борис был могущественным боярином, в руках которого находилась большая власть (Витсен 2010:1050).

Далее повествуется о преобразовании строгановского дела в московскую колонизацию с заменой купцов на солдат, а дружбы на подчинение. Борис отправляет своих дворян и солдат через Вычегду с людьми Строгановых и приказывает им обходиться с туземцами «дружески, но замечать все удобные места, где впоследствии можно будет построить несколько крепостей или острогов». Посланники Годунова уже не только задабривают туземцев подарками, но и поражают их богатством своего одеяния, блеском вооружения, рассказами о царе, который «почти земной Бог»; и туземцы, «увидев богатую одежду русских... сочли их почти богами». Оставив несколько человек у самоедов «для изучения языка», царские посланцы привозят нескольких самоедов в Москву.

> [Жители Москвы смотрели] с большим удивлением на привезенных самоедов и заставляли их стрелять из луков. Они стреляли так, что это вызвало особое удивление: прикрепив к ветке дерева монетку меньше стюйвера, они отходили на такое расстояние, что ее едва можно было различить, и всякий раз попадали в нее, ни разу не промахнувшись.
>
> Со своей стороны, эти дикие люди с великим удивлением смотрели на московскую жизнь, на город и другие подобные вещи. Со страхом смотрели они на царя, когда он, роскошно одетый, ехал на коне или в коляске, в которую запряжено много лошадей, великолепно убранных, окруженный важными господами в дорогих одеждах. С любопытством смотрели на воинов, ехавших с ружьями, в красных кафтанах, в свите царя. Всякий раз, когда царь выезжал, с ним было примерно 400 стрельцов. Самоеды слушали с удивлением звон колоколов, которых в Москве очень много, разглядывали богатые

> лавки и другие диковинки города. Им казалось, будто они попали к трону Бога, и они мечтали вернуться к собратьям и рассказать обо всем, считая себя счастливыми, что могут повиноваться такому господину, как московитский царь...
>
> Они обещали царю считать его своим повелителем и убедить в этом своих собратьев, далеких и близких. Они просили царя оказать им милость и послать к ним воевод, которые управляли бы ими и собирали наложенную на них дань... В Москве решено было поставить крепости, замки и города вдоль реки Оби, в местах, годных по природным условиям, и снабдить их гарнизонами (Витсен 2010:1051, 1052).

Текст передает по-строгановски искусную картину сплетения различных замыслов и действий в сценарий колонизации. В повести немало спрямленных линий, но строго выдержана строгановская идея партнерского диалога с туземцами. В финале «Аникины дети еще больше возвысились... Их владения лежат в сотне миль друг от друга, на реках Двине, Вычегде и Сухоне, так что они богаты и всегда находятся в почете» (Витсен 2010:1052). В предании Аника и его потомки предстают персонажами «русской мечты», и, вероятно, в свое время подобные сказания действительно мотивировали многих русских на поиск новых земель и народов.

«Новая Голландия»

В 1560-е гг. на Мурмане появляются голландцы. Первым был Филипп Винтерконинг, молодой клерк на службе датского губернатора городка Вардё на севере Норвегии (в то время Норвегия входила в состав Датского королевства). На противоположном от Вардё берегу Варангер-фьорда расположился Печенгский монастырь, основанный иеромонахом Трифоном в 1524 г. и освященный в 1532 г. во имя св. Троицы. В 1562 г., когда Винтерконинг служил в Вардё, печенгские монахи приезжали туда продавать рыбу, китовый жир и прочие дары природы. В 1563 г. юный голландец оставил датскую службу и, прибыв в Антверпен, убедил состоятельных купцов организовать компанию для северной торговли. В 1564 г. он вернулся в Вардё на корабле с товарами, но новый датский губернатор, сменивший прежнего, посадил его в тюрьму за нарушение торговых привилегий городов Бергена и Тронхейма,

а судно и груз конфисковал. На счастье улов и торг в тот год были столь обильными, что губернатор привлек к перевозкам даже арестанта с его кораблем, но взял с него клятву не появляться больше в Вардё. Винтерконинг сдержал слово и в следующий раз появился, минуя Вардё, в Мунке-фьорде, как датчане называли Печенгскую бухту. В 1565 г. он нанял для торговых нужд русское судно с экипажем из 13 человек. Загрузив его полотном, вином и другими товарами, он направился напрямик к пристани св. Николая в устье Двины, имея в дальнейших планах поездку в Москву. Тем самым голландец посягнул не только на датские, но и на английские привилегии (не говоря уже о поморских). В «чужих» водах молодого авантюриста ждало возмездие — встретившиеся ему русские торговцы приняли его за контрабандиста и в ночи застрелили, а судно ограбили. Несмотря на грустный финал, Винтерконинг открыл для соотечественников дорогу в Студеное море, положив начало «приключениям голландцев в России» (см. подробнее: Велувенкамп 2006).

В дальнейшем, несмотря на противодействие английских купцов-искателей и датских властей в Вардё, голландцы настойчиво пробивались в Московию. По следам Винтерконинга его торговые компаньоны, Корнелис де Мейер и Симон вон Салинген, в 1566 г. освоились на Мурмане и даже пробрались в Москву, где, переодетые русскими, безуспешно искали аудиенции царя. Лишь новгородцы, а за ними холмогорцы и каргопольцы, склонились к торгу с голландцами. Благодаря зачастившим на Мурман голландским судам, Кола, где при первой высадке голландцев в 1565 г. стояли лишь три избы, к 1574 г. разрослась до 44 дворов. Печенгский монастырь тоже быстро прирастал: в 1565 г. в нем было 20 монахов и 30 работников, а в 1572 г., соответственно, 50 и 200. Кола стала одним из центров международной торговли, наряду с Нарвой и бухтой св. Николая. В Колу стали приезжать летом для ловли рыбы лопари и карелы. В середине 1570-х гг. Мурман (в основном Колу) посетило от 10 до 15 голландских судов. Растущие масштабы голландской торговли вызвали тревогу англичан и жалобы датчан — в 1578 г. король Дании Фредерик II извещал Виллема Оранского, что голландские купцы и шкиперы, в нарушение прав Датского королевства, торгуют с русскими в Малмусе (Коле). Первое время голландцы скупали у поморов сушеную и соленую

треску, китовый жир, тюленьи шкуры, семгу, меха, слюду, воск, лен и кожи, а продавали привезенные из Нидерландов сукно, вино, перец, оловянные изделия и соль (для засолки рыбы). К 1575 г. голландский импорт пополнили металлические изделия, специи, южные фрукты, сахар, химикалии, лекарства, сукно, вина, благородные металлы.

Среди молодых и амбиционных голландцев, торговавших в середине 1560-х гг. в Коле, был Оливер Брюнель. Как и Винтерконинг, он сделал попытку переехать из Колы в Холмогоры для изучения, как он уверял, русского языка. Однако контролировавшие Двину англичане склонили русскую администрацию арестовать его за шпионаж. Брюнеля отослали в Москву, а затем посадили в тюрьму Переславля. Из заточения его выкупил Яков Строганов в 1570 г.

В те годы Строгановы нередко приобретали слуг нужного происхождения и образования из плена и тюрем, благодаря чему в их конторах трудились разноязыкие «немцы и литвяки». Неизвестно, встречал ли прежде Яков Строганов Оливера Брюнеля в Коле, но в тот момент ему явно понадобился голландец — возможно, для сбора досье на англичан.

Строгановы не могли не отреагировать на появление нового международного торгового узла на Севере. В 1570-е гг. сыновья Аники, Яков и Григорий, поставили на Коле солеварню, завели торг с голландцами, которые в числе других товаров доставили им «несколько сот колоколов... и всякого рода церковные украшения» (Штаден 2005:437). В 1578 г. у Строгановых в Коле уже были «варница с цыреном и с двором», хоромы, склад, ладьи, большие и малые дощаники, а на полуострове Рыбачьем — корабельная пристань и промысловый стан Оникиево (Введенский 1962:28, 48; Булатов 1997:216, 217).

У Строгановых Брюнель стал служить международным торговым агентом и в начале 1570-х гг. несколько раз побывал в голландском Дордрехте, затем в Антверпене и Париже. Судя по всему, к Брюнелю со времен «изучения русского языка» не напрасно приклеился ярлык «шпион», и он выступал в роли агента, по меньшей мере, двух корпораций — русской и голландской. К концу 1570-х гг. он стал проявлять повышенный интерес к «пути в Китай» и, выполняя очередные поручения Строгановых, дважды побывал на Оби (Платонов 1923; Введенский 1962:55; Bagrow 1975:105).

Проектно-посредническая миссия Брюнеля подогрела очередной виток поиска северо-восточного прохода. Сам Брюнель в той или иной мере уже опробовал два отрезка искомого пути, западный и восточный, которые осталось свести вместе — в маршрут от Европы до Оби, о чем давно грезили итальянцы и англичане. Дело стало за подготовкой морской экспедиции. В 1581 г. Строгановы заказали шведскому кораблестроителю два морских судна, а Брюнеля послали в Антверпен для найма опытных моряков. Возможно, это был один из немногих промахов Строгановых, вовремя не заметивших, как предприимчивый голландец превратился из торгового агента в купца-искателя.

Одновременно Строгановы готовили еще одну экспедицию за Урал — не морскую, а речную, на казачьих стругах. Не исключено, что в их замысел входила встреча этих двух экспедиций где-то на Иртыше или Оби с последующим поиском ходов в Индию и Китай. Во всяком случае, масштаб геополитики Строгановых выходил далеко за рамки местных уральских усобиц.

Попав в Европу Брюнель добился встречи со знаменитым картографом Герардом Меркатором и его другом Иоанном Балаком. Рисуя перспективы экспедиции, Брюнель уверял, что сибирский (обской) путь в Китай, «без сомнения, очень короток и удобен». Для убедительности он сыпал сведениями о 70 устьях великой реки Оби;[19] о том, что обские жители, плавающие в кожаных лодках, «видели очень большие и богато нагруженные корабли, которые мулаты или желтые люди водили вниз по реке Обь»; о неких стариках, которые бывали у Катайского озера, из которого вытекает Обь, и «слышали нечто очень похожее на колокольный звон, и видели очень большие здания»; о том, что верхеобской народ кара-колмаки — «то же, что народ Катая»[20] (Витсен 2010:1175, 1176).

---

[19] Подобная гипербола «70 устьев» — из области мифологии или книжных клише; в одном из повествований 70 устьев приписывалось и Волге (Витсен 2010:1153, 1175).

[20] Возможно, Брюнель действительно бывал у самоедов и югры в числе строгановских «отроков». Не исключено, что от них ему довелось слышать о южных людях катаях. Ненцы, ханты и манси зовут так (*хотан*, *катань*) сибирских татар. Слово это действительно имеет отношение к китайцам и татарам, но опосредованное — через киданей, от которых это название распространилось столь широко. Для проекта Брюнеля эта этнонимическая справка послужила бы причиной разочарования.

Брюнель пытался убедить Меркатора в целесообразности экспедиции, которой после прохода в Обь останется пара недель плавания до людей, чьи предки слышали колокольный звон, а затем добраться до Катайского озера, где можно «хорошо перезимовать, отдохнуть и приобрести все необходимое» (впрочем, если повезет, можно и в то же лето «достигнуть границы Катая»). Поддержка знаменитого картографа придала бы экспедиции известность и обеспечила ее инициатору приоритет открытия. Неизвестно, как отразил напор визитера Меркатор, но рассказ об их встрече дополняется ироничной припиской по поводу энергичного прожектера: «Желательно, чтобы этот человек был лучше знаком с частями света, что ему в этом деле очень помогло бы» (Витсен 2010:1176).

Как бы то ни было, в новом плане Брюнеля его прежним хозяевам, Строгановым, места не нашлось. В 1584 г. он отправился открывать Китай в компании зеландского купца Балтазара де Мушерона. Однако и это европейское судно уперлось во льды у Новой Земли. После кораблекрушения Брюнель уцелел и, выбравшись из России, прибыл в Данию, где поступил на службу к королю Фредерику II (Введенский 1962:56). Жил он в норвежском Бергене, а свой интерес к Северу переключил на Гренландию. На карте Лукаса Вагенера 1592 г. запечатлено его имя: «Новая Земля, которую открыл Оливер Брюнель, расположенная под Северным Полюсом и называемая Nova Zembla» (Zeeberg 2005:57).

Разлад Брюнеля со Строгановыми приостановил проект морской дороги в Китай. Правда, Строгановы уже по-своему открыли ход к Оби, снарядив казачью дружину Ермака. На Новой Земле они организовали «промысловую колонию из своих дворовых или специально нанятых людей для добычи моржей, нерп, китов-касаток и рыбы», выварки сала, ворвани и добычи пушнины. Память о строгановской колонии на Новой Земле осталась в названии одной из бухт — «Строгановская губа» (Введенский 1962:54, 57).

Голландцы, со своей стороны, настойчиво продолжали поиск. Купец Мушерон сумел убедить[21] правительство Нидерландов в

[21] В своих доводах Мушерон ссылался на Брюнеля: «Оливер Брюнель, который некоторое время провел в Казани и Астрахани, уверял меня и сам был убежден в том, что, достигнув устья Оби, он доплывет и до Китая. Он собирал информацию, когда находился в тюрьме и на службе у русского господина, знакомого с местностью» (Zeeberg 2005:58).

необходимости установить контроль над стратегически важным Югорским проливом и направить в 1594 г. на открытие северо-восточного прохода экспедицию Виллема Баренца. Два корабля голландской флотилии, ведомые Корнелисом Наем и Брантом Тетгалисом, наконец, прошли в Карское море, после чего, ошибочно приняв Югорский полуостров за берег Оби и поспешно назвав его «Новой Голландией» (*Hollandia Nova*), вернулись назад на воссоединение с Баренцом. Последующие голландские экспедиции 1595–1597 гг. достигали Шпицбергена и Новой Земли, но трагическая смерть Баренца приостановила арктические изыскания голландцев; тело Баренца предали морю, которое назвали его именем, а комиссар экспедиции Ян Гюйген ван Линсхотен вынес неутешительный вердикт северному морскому ходу: «Не следует советовать выбирать этот путь в поисках Индийских стран. И следует считать проход там невозможным и нереальным» (Витсен 2010:1134).

Настрой англичан и голландцев на освоение российских окраин исходил из искренней убежденности в том, что весь мир подлежит европейской колонизации, и вопрос лишь в том, какой из европейских корон достанется тот или иной кусок земли и моря. Как англичанин Барроу без стеснения давал арктическим островам новые имена, так и голландцы называли Югорский полуостров «Новой Голландией» (в конце XVI в. никто не мог предугадать, в какой части мира приживется это название).[22]

Из диалогов Лошака и Барроу, Строгановых и Брюнеля видно, что европейские искатели в Арктике следовали путями, уже известными поморам. Однако в то время сама Россия была для Европы *terra incognita*, и поморы с их знаниями воспринимались европейцами наподобие туземцев, которые сами подлежат открытию. Еще долго «открытие» оставалось привилегией европейцев, а прочим странам и народам надлежало быть «открываемыми». Трудно сказать, кто из европейских «искателей» одержал бы верх в конкуренции за Север России, если бы неожиданно сильный конкурент не обнаружился внутри самой России — дом Строгановых.

[22] Позже «Новой Голландией» называли и Австралию (XVII в.), и приморскую часть Квебека (XVII в.), и несколько областей в США, Бразилии, на Ямайке, и пару островов в дельте Невы.

Мангазейский путь

Как давно и далеко прошли на восток по Арктике новгородцы и ранние поморы, остается неясным, поскольку русские северяне, в отличие от англичан и голландцев, не публиковали навигационных дневников. По сей день живы легенды о новгородцах, достигших во времена Ивана Грозного Индигирки и даже Аляски (Farrelly 1944; Федорова 1964; Зензинов 2001; Савельев 2012). Судя по сказанию «О человецех незнаемых» (см. раздел «Полунощные страны» в гл. 5), новгородцы в XV в. были осведомлены о сибирских самоедах малгонзеях, носящих платье соболье и торгующих соболями. П. Н. Буцинский полагал, что «морской путь в Мангазею известен был новгородцам и новгородским и суздальским колонистам задолго до основания Архангельска» (Буцинский 2003:281). В 1570-х гг. страну Mungosia, где ловят соболей, упоминал Г. Штаден (2005:488, 490), а в царствование Федора Ивановича эти соболя считались на московском рынке лучшими, наряду с печорскими (Бахрушин 1955:141).

По свидетельству Н. Витсена, в XVII в. название «Мангазея» распространялось не только на город, но и на обширную страну: «Обь впадает в океан или в Сибирское Мангазейское студеное море, откуда город Мангазея и получил свое название»; «из Мангазеи и окрестностей отправляются на лов китов» (Витсен 2010:921, 930). Г. Ф. Миллер связал это имя с родовым названием самоедов *Мокасе* (1937:309), а Б. О. Долгих этимологизировал его как ненецкую огласовку энецкого этнонима Муггади в звучании *Монгкаси-я* и значении «земля Муггади» или «Лесная земля» (1970:193, 194, 205).

Путь к этой обильной соболями «лесной земле» на реке Таз лежал морем (с Чесским волоком через Канин и Сеяхинским волоком через Ямал) или проходил по рекам с волоками и чрезкаменными переходами по Соби, Щугору или Илычу (Бахрушин 1955:72–90). Ход морем-океаном был, по выражению автора XVII в., «тужен и прискорбен и зело страшен от ветров» (Резун 1982:48). Морская дорога между Поморьем и Сибирью при «парусном погодье» занимала около месяца, вдвое короче сухопутно-речного маршрута, однако ее риски были непомерно выше, да и «погодье» в Арктике было скорее случайностью, чем обыденностью.

Круговой рейд, включая промыслы и зимовку, мог растянуться на полтора-два года. На летних волоках и зимних проездах поморы прибегали к помощи проводников-зырян, оленных самоедов, а также взаимодействовали друг с другом на встречных курсах. Цепь русских и зырянских становищ и городков, вытянувшаяся от Поморья до Сибири, служила перевалочными и страховочными базами на случаи крушений, ледовых блокад, штормов и других невзгод. На всем протяжении этот путь с бесконечной чередой опасностей и «злых мест» строился на партнерстве и взаимопомощи, имея мало общего с завоеванием или покорением.

Когда речь заходит о чьем-либо приоритете в открытии Мангазейского пути, непременно обнаруживается предшественник или важный попутчик. У англичан это были поморы, у поморов — зыряне, у зырян — самоеды или югра. Это был во всех смыслах путь на паях, в том числе по мотивации и безопасности. Ключевая роль поморов в нем очевидна, но жизнь арктической магистрали основывалась на международном партнерстве. Мангазейский путь сложился как пространство обширных, но устойчивых коммуникаций и партнерских связей русских поморов с карелами, лопарями, пермью, самоядью, югрой.

Мангазейский ход был открыт не успешным плаванием, а основательной и поступательной колонизацией Севера. Новгородская формула колонизации как партнерской сети применима и к истории Мангазеи. «Гулящие» и «промышленные» люди Русского Севера строили не крепости, а отношения партнерства и создавали торгово-перевалочные базы, иногда превращавшиеся в долговременные селения. Сетевая технология предполагала, особенно в среде кочевников, подвижность баз и факторий, стягивающих к себе местные маршруты, товары, людей. Мангазейский путь был не дорогой в «златокипящий» город, а обширной сетью ходов и коммуникаций, где город играл роль опорного и транзитного пункта.

Ранее подобная сеть возникла на Двине с центром в Холмогорах. Двинская сеть, будучи дочерней для новгородской сети, стала материнской для Уральского и Сибирского Севера. Она связала Север через Устюг и Вологду с остальной Россией и создала свои колонии на востоке. В устье реки Мезени узловой стала слобода Лампожня, расположенная на острове (в холмогорском стиле);

впервые она упомянута в грамоте Ивана Грозного 1545 г.; в 1560 г. в ней было три двора, и дважды в году собиралась ярмарка. Далее к востоку, на Печоре, возникла сеть промышленных селений: Ижемская слобода с окружающими станами и дворами и Усть-Цилемская слобода, устроенная новгородцем Ивашком Ласткой.

Основание слобод — поморская практика выведения колоний (если пользоваться лексикой греческой колонизации). Слобода основывалась по частной инициативе, обычно закрепляемой царской грамотой; иногда подобные колонии-слободы разрастались до больших доменов (строгановские владения тоже выросли из слобод). Усть-Цильма появилась как частная инициатива слободчика-новгородца Ивашка Ластки, создавшего селение «от людей далече, верст за 500 и больше», где «лес черный». В 1542 г., по жалованной грамоте Ивана Грозного, Ивашко основал слободку у впадения Цильмы в Печору и призвал желающих приселиться к нему: в 1564 г. в Усть-Цильме было уже 14 дворов (19 душ), в 1575 г. — 16 (23 души). Слободчик как предприниматель пользовался «третьею долею во всех угодьях». Согласно царской грамоте, «своих слобожан ведает и судит Ивашко сам во всем, а с суда у них емлет с виноватого 5 денег новгородских». За льготы Ивашко платил великому князю «с году на год оброку по кречету, а не будет кречета, и ему давати за кречета по рублю». Судя по тому, что Ластка построил церковь Николы Чудотворца и устроил при ней попа, налог кречетами не слишком его обременял (Бахрушин 1955:77, 78, 223, 224). А в целом владения Ивашка напоминали Строгановский домен в миниатюре.

Пустозеро — печорское гнездо северорусской колонизации XV в.,[23] на месте которого в конце XV в. воеводы Ивана III «град зарубили». В XVI в. пустозерцы ездили «на море промышлять рыбьего зуба», который затем отвозили на оленях в Лампожню, на Мезень и оттуда в Холмогоры. Ежегодно в июне пустозерцы, усть-цилемы и ижемцы ходили на устье Печоры и в Болвановскую губу «для рыбных и белужьих промыслов». Продукты морских промыслов (белужье сало, моржовые кожи) и рыбной ловли (семга, сиг, омуль, лох, нельма, язь, сухая щука, икра), а также

[23] В Атласе 1797 г. о Пустозерске сообщалось: «Заложен в начале XV столетия для собирания дани с самоедов, а окрестность его именовалась в древности Югорией» (Овсянников 1990:165).

оленьи шкуры доставлялись в каюках с Печоры на Устюг и в Соль Вычегодскую. Зимой рыбу караванами в несколько десятков нарт на оленях отправляли для продажи в Мезень. Пустозерцы и усть-цилемы не ограничивались промыслами в окрестных угодьях; в конце XVI — начале XVII вв. они ходили морем в Обскую губу и Мангазею. В XVII в. Пустозерск служил «для опочиву Московского государства торговых людей, которые ходят ... в Сибирь торговать» (Бахрушин 1955:77–80). Здесь же русские вели торг с самоедами, выменивая у них «соболей на сукно, котлы, сало, масло, кольчуги и толокно» (Штаден 2005:438).

Североуральским узлом коммуникации с давних пор был Роговой городок в верховьях Усы, «под Камнем». Б. О. Долгих полагал, что он восходит «к временам деятельности здесь Гюряты Роговича и его отроков» (Долгих 1970:50). Согласно царской грамоте 1607 г., «приезжают пустозерцы в Березовский уезд, по вся годы многие люди и ходят Печерою рекою в судах с великими товары, а с Печеры на Усу реку под Камень в Роговой городок, и тут они осенуют; а как дорога [станет] и к ним приезжают пустозерская менная самоядь, их знакомцы и други, и та пустозерская самоедь у тех торговых людей наймаютца, и товары их возят за Камень по тундрам к ясашной кунной самоеди, которая приходит с нашим ясаком в Обдор и Казым» (РИБ II 1975:167). В этом описании примечательно упоминание «знакомцев и другов» среди европейских и сибирских самоедов, а также практика найма самоедов с оленными нартами для перевозки грузов по зимним дорогам.

Подобная схема движения и взаимодействия реконструируется и по моим полевым наблюдениям в экспедициях разных лет на Соби и Ямале, посвященных обследованию чрезкаменного и чрезъямальского путей. Судя по экспериментам прохождения этих путей и по собранным у ненцев, коми и хантов сведениям, летний ход через волоки и речные мели был возможен лишь при участии местных жителей в проводе судов летом (бечевой) и в перевозке грузов зимой (на оленьих и собачьих упряжках). Этнография подтверждает, что чрезкаменный путь был сложной системой коммуникации с непременным участием туземцев, и правильнее его рассчитывать не верстами, а узлами взаимодействия разных туземных групп. В этноизмерении конца XVI в. он представлял собой цепь поморы–пермяне–югра–самоеды с

подключением в отдельных эпизодах и местах карел, московитов, татар, англичан, датчан, голландцев.

Печора стала важным узлом разворачивающейся сети торговли и коммуникации, откуда прокладывались пути и создавались новые фактории на Оби. В 1597 г. помор из Усть-Цильмы Юрий Долгушин «со товарищи» проведал дорогу на реку Таз, пройдя на Обь, в устье Надыма, где перезимовал, и на следующее лето перешел на Мангазейскую сторону. Зырянско-поморские фактории возникали в устьях западносибирских рек, продолжая цепь колоний европейского Поморья — в устье Оби существовал Носовой городок (где позднее был построен Обдорск); промышленное зимовье располагалось в устье Северной Сосьвы (где вырос Березов); на Мангазейской стороне сургутские служилые люди в 1601 г. наткнулись в верховьях Таза на «Зырянский городок». До сих пор дороги, ведущие с Печоры на Обь, называются зырянскими (Бахрушин 1955:82). По словам М. И. Белова (1980:128), «задолго до постройки Мангазеи торгово-промысловый люд Поморья создал на Мангазейской земле, в междуречье Оби и Енисея, целую группу городков-факторий. В документах, в том числе чертежах-картах, названы такие городки, как Обдорский (в устье р. Оби), Надымский и Казымский (на одноименных реках — притоках Оби), Пантуев (на р. Пур). Тазовский городок оказался восточнее остальных и как бы замкнул собой цепь первых русских поселений за Уралом».

Поморские станы за Уралом нередко воспринимаются на московский лад как «пункты власти». По словам С. В. Бахрушина, поморы закрепляли за собой «свои мирные приобретения постройкой укрепленных факторий: на пути, “не дошед Мангазеи”, и в самой Мангазее они понаставили остроги и городки; на месте одного из таких городков возник в 1601 г. Мангазейский город... Из этих городков торговые люди объясачили местных жителей и “дань с них имали воровством для себя”» (Бахрушин 1955:141). Из того же уподобления исходит убежденность М. И. Белова в том, что поморский город Мангазея существовал до постановки на его месте московского острога (Белов и др. 1980:30). Между тем недавние раскопки Мангазеи показали: «Утверждение М. И. Белова о том, что город Мангазея был основан на месте Тазовского поморского городка, стоявшего в устье Мангазейки, нельзя принять из-за отсутствия доказательной базы» (Визгалов, Пархимович 2007:22).

На мой взгляд, поиск поморских «городов» за Уралом не лишен дезориентации, заложенной в московских документах, на свой лад толковавших действия поморов и обвинявших их в незаконном «объясачивании» туземцев (коль скоро законную дань всегда собирала только Москва). В отличие от царских воевод, поморы не покоряли сибирских туземцев, а заводили с ними партнерство и дружбу. Амплуа поморского гостя и московского господина различались не только в одежде, тоне и жестах, но и в обустройстве. Поморам хватало походных станов, гостеваний и ярмарок, тогда как московские воеводы не могли обойтись без острогов и городов.

Присутствие северорусских «промышленных и гулящих людей» обнаруживается не в крепостях, а в узах. Когда московские сборщики ясака в 1607 г. впервые составляли списки енисейских самоедов, они обнаружили в составе туземцев род Яши Вологжанина (Долгих 1960:133). Не ясно, был ли еще жив Яша и где он находился, среди самоедов или в родной Вологде; очевидно лишь то, что задолго до появления «служилых людей» он оставил неизгладимый русский след на туземном Севере.

Не вполне ясно и другое: чью сторону в противостоянии московских воевод и самоедов принял Яша или его наследники. С давних пор выходцы с вольного Русского Севера часто делали выбор в пользу собственных, а не правительственных интересов. Это относится и к эпохе Ивана Грозного, волею которого в 1570 г. московская рать устроила побоище в Великом Новгороде, а через пару десятков лет царские воеводы добрались и до Обского Севера. К тому времени пространство от Урала до Енисея было неплохо освоено поморами и зырянами, и не удивительно, что отряд кн. Мирона Шаховского, отправившийся в 1600 г. покорять Мангазею, был разбит в устье Таза самоедами, «которых, как полагали, подучили зыряне». Ходили также слухи, что погром этот «произошел не без участия русских торговых людей» (Бахрушин 1955:143, 144),[24] что вполне вероятно — сражение случилось совсем неподалеку от владений рода Яши Вологжанина.

[24] Позднее наказы мангазейским воеводам предостерегали: «пустозерцы и вымичи, и зыряне, и пермичи или иных которых городов торговые люди учнут воровати по прежнему и мангазейской и енисейской самояди говорить, чтоб государеву острогу у них в Мангазее впредь не быть, чтоб торговать им в Мангазее и в Енисее всякими заповедными товары».

Божья дорога океан-море

К концу XVI в. Студеное море превратилось в арену колониальной конкуренции. Казалось, «божья дорога океан-море» по природе своей не может принадлежать никому, кроме всевышнего, а людям разных стран и народов остается лишь пользоваться этой дорогой. Примерно так, по крайней мере, рассуждали поморы, судя по их преданиям и традициям в отношении моря. Однако в мировой геополитике произошел сдвиг, означавший выход на первый план «мореполитики», или, как писал Л. И. Мечников (1995), «океанический» этап истории человечества. Начавшаяся на юге в XV в. приватизация «божьей дороги» через век достигла северных морей. Именно за этими «географическими открытиями», а не за канатной пенькой и мачтовым лесом, устремились в Арктику английские, голландские и датские капитаны и купцы. Вскоре о «божьей дороге» забеспокоилась и Москва, на первых порах распахнувшая перед англичанами двери, о существовании которых она прежде и не подозревала. Тут же обозначилось неприметное ранее обстоятельство: сухопутная Москва сама по себе была неконкурентоспособна на морях, а поморы в своей самобытности выглядели автономным «новым Новгородом», сдвинувшимся после погрома 1570 г. к Студеному морю.

Между тем в борьбу за арктическую «божью дорогу» вступили датчане, норвежцы и шведы, имевшие на нее давние виды. В начале 1580-х гг. шведский король Густав I выразил недовольство тем, что англичане своими плаваниями к пристани св. Николая «всем окрестным государствам превеликий вред и убыток наносят», и высказал пожелание, чтобы «король датский Фридрих... изволили оную английскую навигацию пресечь» (Огородников 1890:43, 44). По Белому морю начали курсировать датские и шведские эскадры, угрожая английским судам и наводя страх на прибрежные селения.

Москва ответила, как умела — централизацией управления. В 1584 г. был учрежден административный и торговый центр Поморья — Архангельск, а Кола закрыта для международной торговли. В 1585 г. Кольский воевода объявил датскому «державцу» в пограничном Вардегузе, что московский государь на устье Двины-реки «корабельную пристань велел учинити... и двор го-

стин там поставлен для торговли… а в Коле-волости государь наш торговым людям никоторых земель никакими большими товары торговати не велел». На просьбу датского короля Фредерика II отменить это распоряжение и оставить торг в Коле, царь Федор Иванович в 1586 г. ответил отказом, «занеже в том месте торгу быть непригоже: то место убогое». Административной волей торговля из мурманских гаваней была перенесена в Архангельск. В 1587 г. туда же, по распоряжению властей, были переселены 133 купца из 26 торговых семей Холмогор и других двинских селений, а в 1591 г. русское правительство вынудило и англичан перебраться в Архангельск (голландцы и англичане называли его Архангелом)[25] (Платонов 1923).

Опасения Москвы относительно «иностранной интервенции» не лишены были оснований, хотя порой приобретали избыточный накал из-за патологической бдительности Ивана Грозного и его окружения. Не исключено, что в нагнетании напряженности повинны сами англичане и голландцы, наперебой доносившие друг на друга московскому царю. Впрочем повод для тревоги действительно был, поскольку именно Север стал фигурировать как «гнездо заговорщиков» и плацдарм для вторжения. Первым его в этом качестве представил уроженец Вестфалии опричник Генрих Штаден. В 1578 г. он предложил римско-германскому императору Рудольфу II план завоевания Московии со стороны Ледовитого океана (Савицкий 2000:301). Пробыв в России 12 лет, из них половину в опричнине, Штаден неплохо разобрался в русской геополитике и в своем проекте скрупулезно описал укрепленные и незащищенные объекты Севера, распределение в них войск и имущества, а также пошаговые действия по покорению и колонизации Московии:

> Чтобы захватить, занять и удержать страну, достаточно 200 кораблей, хорошо снабженных провиантом, 200 штук полевых орудий или железных мортир и 100 000 человек; так много надо не для борьбы с врагом, а для того, чтобы занять и удержать всю страну… Это должны быть такие воинские люди, которые ничего не оставляли бы в христианском мире

[25] Первоначально новое поселение называлось Новохолмогорским посадом, но вскоре на него перешло название Архангельского монастыря, рядом с котором в Жилецкой слободе обосновались переселенцы.

[в Европе]: ни кола, ни двора... Ваше римско-кесарское величество должны выбрать одного из братьев вашего римско-кесарского величества в качестве государя, который взял бы эту страну и управлял бы ею...

[Выдвигаться из Германии следует] 1 апреля и плыть сначала к заливу и реке Коле в Лапландии... Колу можно взять и укрепить с отрядом в 800 человек, из них половина — мореходцы, другая половина — стрелки. Затем можно взять и укрепить Кильдин-остров с отрядом в 500 человек, из которых половина — мореходцы. Таким образом будет защищена и укреплена вся Лапландия на 100 миль в глубь материка и вдоль по берегу.

Далее с отрядом в 500 человек — половина мореходцев — следует занять Соловецкий монастырь. Пленных, взятых с оружием в руках, надо увезти в Империю на тех же кораблях... Далее у Поморья на реке Двине лежат Холмогоры — незащищенный город. Сюда приезжают англичане. Холмогоры можно занять и укрепить с отрядом в 800 человек...

На реке Онеге будет Порог-Холм... Этот Порог надо занять и укрепить с отрядом наполовину конным, наполовину пешим... Убивать не надо никого, кроме тех, кого захватят с оружием в руках. Здесь живут только крестьяне и торговые люди; раньше в этих местах и войны-то никогда не бывало; никто не имеет здесь и оружия. Отсюда до Московского двора — 300 миль пути... У русских надо будет отобрать прежде всего их лучших лошадей, а затем все наличные струги и лодьи — маленькие корабли — и свезти их к укреплениям, чтобы при случае защитить их артиллерией...

Монастыри и церкви должны быть закрыты. Города и деревни должны стать свободной добычей воинских людей...

Отправляйся дальше и грабь Александрову слободу, заняв ее с отрядом в 200 человек! За ней грабь Троицкий монастырь! (Штаден 2005:441–445).

В плане Штадена чувствуется рука бывалого опричника (кстати, опричнина, как и всякая экспансия власти, включала многие приемы колонизации). Причудливо сплетая московский опыт тирании и европейский зуд колонизации, Штаден мотивирует необходимость захвата России кошмарами правления Ивана, а завершает проект изощренной фантазией массовой казни:

> [в] большой беде находится теперь Русская земля!..
>
> Так жестока и ужасна тирания великого князя, что к нему не чувствуют расположения ни духовные, ни миряне; ему враждебны все окрестные государи. Да! Как язычники, так и христиане — и так, что и описать невозможно!
>
> Москва может быть взята без единого выстрела... Настоящие воеводы великого князя все перебиты...
>
> Когда будет пойман великий князь, необходимо захватить его казну... и вывезти в Священную Римскую империю... А великого князя вместе с его сыновьями, связанных, как пленников, необходимо увести в христианскую землю..., а затем отправить его в горы, где Рейн и Эльба берут свое начало. Туда же тем временем надо свести всех пленных из его страны и там в присутствии его и обоих его сыновей убить их так, чтобы они видели все своими собственными глазами. Затем у трупов надо перевязать ноги около щиколоток и, взяв длинное бревно, насадить на него мертвецов... (Штаден 2005:446, 447).

Трудно сказать, прочел ли, и с каким чувством, это послание император Рудольф. Не ясно также, что из этого сценария улавливал в паутине заговоров царь Иван. Понятно лишь, что не один Штаден рассматривал Север как плацдарм для оккупации и колонизации Московии или, по крайней мере, ее окраин.

Если при жизни Ивана Грозного подобные планы зрели, то Смута сделала их вполне осуществимыми. В начале XVII в. англичане ощутили себя если не хозяевами Русского Севера, то ответственными за его судьбу. Агенты Московской компании все основательнее располагались в северных городах и слободах. В 1611 г. Уильям Порсглоу и Джошуа Логан высадились с товарами в Пустозерске и остались на зимовку.[26] Они обследовали окрестности, побывали в Усть-Цильме, собрали сведения о Сибири — Енисее, Пясине, Хатанге и даже об Амуре. В то время на Русском Севере можно было случайно наткнуться на англича-

[26] Судя по дневниковым записям штурмана корабля, высадка была согласована с поморами: 11 июля 1611 г. «Джошуа Логан, Вильям Гордон и Вильям Порсглоу на нашей шлюпке пошли к городу Печоре, предварительно получив от русских некоторые указания о проходах и пути. Однако когда они находились на расстоянии двух дней от корабля, они без сомнения сбились бы с пути, если бы не встретили маленькое русское судно, которое их привело на правильный путь» (Витсен 2010:1180).

нина: в Пустозерске Порсглоу встретил соотечественника Томаса Лайгона, который там постоянно жил и торговал, а в Холмогорах — Фабиана Смита. Следом на Печоре появились Уильям Гордон, которому удалось в 1614 г. побывать на северном Урале, и Мармадьюк Вильсон, который годами жил в Усть-Цильме и скупал пушнину (Платонов 1923; Алексеев 1941:XLVI).

Миссию «английского Штадена» взял на себя капитан Томас Чемберлен, наемник в корпусе Якоба Делагарди и участник похода кн. М. В. Скопина-Шуйского на Москву. По возвращении в Англию в 1612 г. он подал королю Якову I проект колонизации Русского Севера. Чемберлен упоминал неких русских дворян, выражавших желание видеть короля Якова «императором и покровителем России». Свой проект установления контроля Англии над пространством от Архангельска до Астрахани он сравнивал с проектом Колумба, в свое время пытавшегося увлечь Генриха VII планом открытия Вест-Индии.

Русских северян Чемберлен рассматривал как союзников англичан, поскольку за полстолетия, «благодаря непрестанному общению обоих народов», между ними сложились доброжелательные отношения. Однако он не исключал военных действий и предлагал отправить в Россию войско и флот. В своем проекте Чемберлен, как и Штаден, обстоятельно описывал фортификации Казани, Астрахани, Нижнего Новгорода, Ярославля. Впрочем обстановка Смуты позволяла обойтись без масштабной военной кампании: направить английскую флотилию и посольство в Московию (на средства самой Московии) под видом помощи, а через нее утвердить английское присутствие и доминирование в России.

Судя по всему, этот (или подобный) план установления британского протектората в Московии или зоне английской торговли от Архангельска до Астрахани был одобрен. В мае 1613 г. Яков I вручил верительную грамоту руководителям Московской компании Джону Мерику и Уильяму Расселу, назначив их английскими комиссарами в России с полномочиями: «Все, что будет принято нашими посланниками и каждым из них в отдельности по условиям договора, будет одобрено и ратифицировано». Однако по прибытии в Архангельск комиссары узнали об изгнании из Москвы поляков и избрании Михаила Романова на царство. Они

сумели вовремя «скрыть истинные мотивы своего приезда» и представить своей целью восстановление «торговых сношений между странами». Вскоре Англия признала Михаила Романова легитимным царем, а план вторжения на Русский Север «был быстро забыт» (Любименко 1912; Dunning 1989:94–99).

В годы Смуты Россия балансировала на грани колония/метрополия. Польша, Швеция, Англия и Голландия всерьез рассматривали перспективы колониального освоения России или отдельных ее частей. Назревшему, с точки зрения европейцев, разделу России на зоны влияния помешали только распри между самими европейцами и противодействие несговорчивых русских. Примечательно, что Русский Север, вопреки доводам Чемберлена, остался опорой Шуйских и игнорировал самозванцев. Особенно старались Строгановы, посылавшие ссуды царю Василию Шуйскому, а затем финансировавшие ополчение и пополнявшие его своими военными отрядами.

И все же страх перед иноземным захватом, застывший в жилах московских правителей в Смутное время, был велик. С ним связано настороженное отношение Москвы к Студеному морю, где сухопутным русским воеводам мерещились европейские флотилии, английские комиссары, «Новые Голландии». В этой обстановке успехи русских поморов в освоении Северного морского пути завершились… его запретом.

Еще в 1610 г. двиняне, бывшие на промыслах в Мангазее, сделали «географическое открытие». Кондрат Куркин «с товарищи» вышел на кочах из Туруханa в устье Енисея и, после пятинедельной борьбы со льдами и северным ветром, собрался было воротиться назад. «Да как потянул полуденный ветер, и тем ветром лед из устья отнесло в море… одним днем, а как река и море прочистились… и они выехали из Енисея в море». Оказалось, что Енисей впадает в то же море, «которым ходят немцы [англичане и голландцы] из своих земель к Архангельскому городу, и проезд с моря к енисейскому устью есть…, и большими кораблями из моря в Енисей пройти мочно» (Бахрушин 1955:91; Обдорский край 2004:75, 76).

Новость затерялась в Смуте (хотя могла бы вдохновить Мерика, Хаклюйта или Мушерона на очередные discoveries) и лишь в 1616 г. вызвала переполох в Тобольске. Воевода кн. Иван Куракин

доносил царю о своих опасениях: «И мы, холопы твои... в Мангазею и в Енисею приходу чаем немецких торговых людей, потому что река Енисея угодна, рыбы в ней много, а живут по ней пашенные татаровя, и зверь по ней дорогой... а им ходить с немецкими товары податно». Воевода сообщал полученные от самоедов сведения о том, что в прежние годы «приходили на Карскую губу из своих земель на кораблях немцы, не заимуя Архангельского города, и имали землю в корабли; а для чего та земля надобна, того они не ведают». Он высказывал опасения, как бы «немцы дорог не узнали, и приехав бы воинские многие люди сибирским городам какой порухи не учинили», и ходатайствовал о запрещении ходить в Мангазею морем. Ответом была царская грамота с повелением:

> торговым и промышленным людем всех городов и ясачным самоеди и татаром... учинити заказ крепкой, чтоб немецких людей на Енисею и в Мангазею отнюдь никого никоторыми мерами не пропускали и с ними не торговали, и дорог им ни на которые месте не указывали, и торговых и промышленных и всяких людей из Мангазеи на волок и на Карскую губу на Пустоозеро, и к Архангельскому городу пропускати не велели, а велели их отпускати из Мангазеи на Березов и Тоболеск. А будет кто учнет с немецкими людьми торговати или дороги указывати, или торговые люди учнут вперед ходити из Мангазеи на волок на Новую Землю, и на Карскую губу на Пустоозеро, и к Архангельскому городу, или, заимуя Архангельского, морем, а не на Березов, мимо нашего указу, и тем людем быти от нас в великой опале и в казни (Обдорский край 2004:80).

Поморы пытались опротестовать указ о запрете морского пути и подали через мангазейских воевод Ивана Биркина и Воина Новокщенова челобитную, чтобы государь «пожаловал, велел им из Мангазеи к Руси и в Мангазею с Руси ходить позволить большим морем... по-прежнему, чтоб им вперед без промыслов не быть, а... соболиной казне в их бесторжишке и беспромыслу... убытку не было». Благодаря хлопотам мангазейских воевод указ в 1618 г. был отменен, и вновь было разрешено «ходити торговым и промышленным людем со всякими товары потому ж большим морем и через Камень по прежнему». В отдельной грамоте кн. Куракину предписывалось блюсти интересы царя и казны, чтоб «порухи никакой

в нашем деле не было», и самому решать судьбу «морского мангазейского хода». В 1619 г. Куракин своею властью повторно запретил морской ход, а в 1620 г. Москва утвердила «заказ крепкий» — «которые руские люди пойдут в Мангазею большим морем и учнут с немцы торговати мимо нашего указу, а тем их непослушанием и воровством и изменою немцы или иные какие иноземцы в Сибирь дорогу отыщут, и тем людем за то их воровство и за измену быти казненным злыми смертьми, и домы их велим разорити до основания» (Бахрушин 1955:92; Обдорский край 2004:90).

В переписке царя и воевод так часто звучала «немецкая угроза», что любые доводы в пользу морского пути меркли. Ямальский волок был перекрыт заставой (на время летней навигации), и «божья дорога» стала называться «воровской». В последующие годы «крепкая заповедь с смертной казнью» возобновлялась, и морской ход постепенно пустел. Вместе с ним увядали ранее процветавшие поморские городки и слободы, в том числе Мангазея, Пустозерск, Усть-Цильма.

Будучи не в ладах с мореходством и не в силах освоить Северный морской путь, Москва предпочла административный запрет конкуренции. Заодно ужесточился контроль над северными «гулящими и промышленными людьми», прежде обходившими по морю московские таможни. Запреты сработали и по прямому назначению — ограничили хождение «немцев» по Студеному морю. Впрочем активность англичан в России еще раньше пошла на убыль ввиду смены вектора их колониального поиска — в 1600 г. указом королевы была учреждена Британская Ост-Индская компания, приступившая к колонизации Индии. Голландцы проявили больше упорства, чем англичане, но и их визиты шли на убыль: в 1618 г. Архангельский порт принял 3 английских и 30 голландских кораблей, в 1635 г. — 1 английский и 11 голландских. Еще скромнее выглядели датчане: созданная в 1619 г. датским королем Кристианом IV Печорская компания ограничивалась промысловыми рейдами в устье Оби, скупая у туземцев пушнину в обход русской таможни (Алексеев 1941:XLVI; Дания и Россия 1996:96).

Таким образом, колониальный натиск европейцев на Россию завершился превращением самой России в метрополию, и этот неожиданный эффект создал ей реноме неудобной для Европы страны.

Северная самобытность

Поморы, подобно казакам, населяли окраину, однако, в отличие от казаков, осваивали не межгосударственное Поле, а берега Ледовитого океана. Здесь вражде и конъюнктуре предпочитали партнерство и взаимопомощь, хотя и на Севере срабатывал «синдром казачества», выражавшийся в вольностях и грабежах ушкуйников. Поморы были не буйными беглыми холопами, а основательными промысловиками и торговцами. По характеру Поморье больше походило не на казачье Поле, а на средневековые колонии Скандинавии, куда отправлялись вольные люди, не ладившие с государственностью, например норвежцы, бежавшие в Исландию и Гренландию от объединителя Норвегии конунга Харальда Прекрасноволосого и превратившие средневековую Исландию в сокровищницу саг и других традиций викингов (столь же впечатляюще выглядит самобытная «былинная» культура Русского Севера).

Устойчивость и насыщенность поморской культуры выражаются и в эстетике селений и домов. «Внешний вид селений Поморья производил впечатление чистоты и зажиточности и тем самым резко отличался, по мнению многих путешественников, от сельских видов средней и центральной России. Эта черта вообще свойственна поселениям северорусской зоны, особенно северной ее части: живописное расположение сел по берегам рек, большие избы, часто богато украшенные резьбой и даже росписью, деревянные мостки на улицах, изумительные ансамбли церковной архитектуры» (Бернштам 1983:25). Побывавший у старообрядцев Русского Севера православный миссионер, впечатленный их трудолюбием, опрятностью, честностью, грамотностью и трезвостью, заметил: «Хорошо было бы, если бы все православные в раскол перешли» (Майнов 1877:66).

В культуре поморов примечательно сочетание и чередование основательности и подвижности. На родном берегу помор возводил роскошные хоромы, а в походе довольствовался землянкой, промысловой избушкой или просто перевернутой лодкой. В документах XVI–XVII вв. поморские усадьбы назывались *хоромы* и представляли собой большой крытый дом-двор с множеством построек и помещений, включая клеть, хлев, амбары, погреб, баню,

тын, ворота, кладовые, сеновалы, сараи, отделения для сушки сетей и для строительства судов. В усадьбах, расположенных на берегу моря (Летний, Терский, Поморский берега), помимо этого, находились пристани, амбары для хранения снастей, помещения для обработки рыбы и зверя, сушильни, коптильни, салотопни и т. п. В домах состоятельных поморов-старообрядцев были свои молельни, иногда две — для мужчин и женщин. На Пасху в усадьбах устраивались деревянные качели. На поветь (второй этаж) дома-двора можно было въехать по бревенчатому взвозу на запряженной лошадью телеге, а в богатом доме — на тройке лошадей. Зато промысловым укрытием помора (например, на Мурмане) нередко была *вежа*: «Посудину разобьют, опрокинут и живут» (название связано с формой дна лодки, напоминающей вежу). «В таких вежах, где можно было только лежать или сидеть, промышленники жили несколько месяцев, обогреваясь очагом из камней в центре вежи и покрываясь *ро́вами* — одеялами из оленьих шкур» (Бернштам 1983: 29, 34, 37, 41; Дмитриева 2006:37).

Подобный контраст свойствен и одежде северян. С одной стороны, поморы были неравнодушны к городской моде; например, на богатом Поморском берегу в конце XIX в. мужчины надевали по воскресеньям и праздникам костюмы-тройки, платки и шарфы, фуражки и шляпы, гетры и камаши; девушки и женщины выходили в пышных крахмальных сорочках, дорогих шалях, меховых, крытых шелком шубках, широких поясах наподобие корсета (крестьянин мог быть зажиточнее помора, но выглядел в сравнении с ним «мужиком», «ходящим в армяке, лаптях, шапке, похожей на воронье гнездо»). На промысле помор больше походил на арктического туземца — носил самоедскую малицу (одежду из оленьих шкур мехом внутрь) и совик (одежду мехом наружу), карельский рокан (кафтан) и куколь (головной чехол-накомарник) (Бернштам 1983:63–65).

Сочетание хором и веж, модного наряда и малицы — свойство многомерной культуры, обладающей широким диапазоном вариативности и адаптивности. У поморов сочеталась этика походного минимализма и домашнего богатства. Хоромы обустраивались так, что были и опочивальнями, и мастерскими, и храмами; лодки изготовлялись так, что служили и транспортом, и жилищем. Экологически это обусловлено ориентацией на суровость климата,

громадные расстояния и экстремальные ситуации. Социально дизайн поморского промыслового быта был коллекцией арктических технологий, собранной по всему Северу.

Поморы были открыты к межэтническим контактам и взаимодействиям. Они изначально сложились в симбиозе славян, норманнов и бьярмов. В говоре поморов значительны прибалтийско-финские и саамские заимствования, особенно в рыболовной, географической (природной, растительной) и животной лексике. Тремя признаками, выделяющими поморское наречие и речевую практику поморов, были: морская лексика, русско-норвежский жаргон, знание поморами иностранных языков. *Руссенорск* (русско-норвежский пиджин), иначе называемый *моя-потвоя* (*moja på tvoja*), сложился в долговременном общении русских и норвежских моряков (Сало 1 1966:13–18; 2:91–98; Бернштам 1983:218–222). Контактность поморов создавала то обширное пространство этнодиалогов и партнерства, которое обладало одновременно устойчивостью и ситуативной вариативностью.

Ключевым свойством поморов была самоорганизация — мужчин в море, женщин в доме, мужчин и женщин во взаимодействии моря и дома. Это предполагало слаженную регламентацию ролей, особенно на дальних промыслах. Судя по «Морскому уставу новоземельских промышленников» XVIII в., нормой была взаимная выручка членов *котляны* (промысловой экспедиции), «ибо ходящему по морю без страха и взаимной помощи пробыть неможно». Добыча распределялась поровну на все выехавшие на промысел артели-лодки, даже если какая-то из них возвращалась пустой. Судохозяева снабжали каждого промышленника «олениной» на постель и овчинным одеялом; продукты складывались в общий котел, и все трапезы были совместными. Рачительные судохозяева ставили рядом с промысловой становой избой баню, а для спасения от цинги заготавливались бочки морошки. Помимо становой избы с широкими нарами и печью, у промысловиков были артельные избы; моржовая артель разбивалась для пушного промысла на 3–4 песцовых артелей. Кормщик распределял съестные запасы между песцовыми артелями и оставался в становой избе ждать сбора моржовой артели; промысловой избой могла пользоваться любая артель, даже не строившая и не имевшая своей избы. Имущественные споры и раздоры на дальних промыслах

не допускались. С этим сочеталась доведенная до культа честность: помор не мог набрать артель и даже войти в артель, если за ним водились кражи, утайки, обманы. «Мы нигде не видели более идеально развитого уважения к трудовой собственности, чем на нашем глухом Севере» (Ефименко 1864:145; см. также: Лепехин 1821–1822:141–146; Бернштам 1983:75–77).

Самобытность поморов означала самостоятельность и самодостаточность, которые проявлялись и на персональном уровне (в том числе в распорядительности женщин в отсутствие мужчин-промысловиков), и на уровне семьи (обычно большой, «патриархальной» или «братской»), и лодки-артели, и котляны, и деревни, и всего «берега». Поморы разных беломорских берегов — Терского, Кандалакшского, Карельского, Поморского, Онежского, Летнего, Зимнего — различались одеждой, архитектурой, промыслами, обрядами, даже календарями. Например, на Поморском берегу год начинался осенью, в сентябре–октябре, с окончанием трескового лова на Мурмане; на Терском — в ноябре, с завершением семужьего лова; на Зимнем — в январе, с открытием зверобойного промысла; на Кандалакшском — весной, с началом сельдяного лова (Бернштам 1983:147, 148).

Три качества поморов — мобильность, контактность и самодостаточность — определяли их самобытность. И все же поморами их делало море. До сих пор они трогательно относятся к морю, называя его «морюшко». Это созвучно с тем, как южные русские произносят «полюшко», но с оттенком драматизма, выраженным в пословице «в море — горе, а без него — вдвое». Море представлялось стихией, способной приносить удачу и беду, как это видно в ремарке по поводу плавания Афанасия Кузмина в 1597 г. между Двиной и Тазом: на обратном пути «побило их море» (Белов и др. 1980:117). «Помор — это тот, кто живет у моря, ходит по морю, кормится морем», — высказался один из сегодняшних жителей Онежского берега.

Арктическое мореходство генерировало культуру «власти над собственной судьбой» и опоры на свои возможности. Мобильность, контактность и самодостаточность поморов сыграли ключевую роль в северной колонизации, а мореходство обеспечило им партнерство с немореходными культурами Урала и Сибири. Впрочем и со скандинавами, англичанами и голландцами поморы устанавливали устойчивое партнерство.

Морская культура создала свою религиозную ауру. Поморам передалась новгородская традиция духовной самобытности, выраженная в высокой общественной значимости св. Софии и владычной миссии новгородского архиерея. На поморском Севере религиозная самобытность проявилась в создании святыни на Соловецких островах (вполне в духе морской колонизации). Соловецкий монастырь, основанный Савватием и Зосимой в XV в. (келья Савватия появилась на острове в 1429 г., Зосимы — в 1436 г.), продолжил традицию новгородской Софии после трагедии 1478 г.

Этот перенос традиции ознаменован притчей о Марфе Борецкой и Зосиме Соловецком, согласно которой Зосима в 1470 г. посетил Марфу в Новгороде, ища ее защиты от двинян. Марфа прогнала соловецкого игумена со двора. Тогда он предрек: «Настанет время, когда жители этого дома не будут ходить по своему двору; двери дома затворятся и уже не отворятся; этот двор опустеет». Вскоре, благодаря заступничеству архиепископа Феофила, Марфа сменила гнев на милость и пригласила Зосиму в свой дом на обед, где соловецкому игумену вдруг привиделись шесть безголовых бояр. Марфа испросила прощения у Зосимы и дала Соловецкому монастырю грамоту на рыболовные тони. Но пророчество сбылось: московский князь, одолев новгородцев, лишил Марфу владений и казнил бояр, которых Зосима видел обезглавленными (Жития Зосимы и Савватия 2005).

Большой вес Соловецкий монастырь приобрел после окончательного разгрома Новгорода Иваном IV и массового исхода новгородцев. Волна религиозности разлилась по всему Русскому Северу. В это время северорусский «пантеон» пополнили местные чудотворцы — Артемий Веркольский, Иона и Вассиан Пертоминские, Иоанн и Логгин Яренгские, Варлаам Керетский. Образы пертоминских, яренгских и пинежского (Варлаама) святых связаны с сюжетами морской бури, грозы, и поклонение им полно магии: например, спасая утопающих, один из соловецких угодников превращается в орла (Бернштам 1983:195, 200, 201).

Соловецкий и другие северорусские монастыри были не только местами моления, но и сгустком всей поморской культуры. Со времен С. Герберштейна Соловки известны тем, что там ловили сельдь и вываривали соль «в изобилии» (Герберштейн 1908:122).

В XVI в. многие северные солеварни перешли во владение Соловецкого монастыря; часть земель была ему пожалована, часть досталась в виде дарений и залогов (Киркинен и др. 1998:123). В 1548 г. на Соловках была основана верфь для строительства больших морских парусников, по судну в год (Яковлев 1970:35). «Свободный, промышленно-предпринимательский дух поморов, привыкших полагаться на свои знания, опыт, умение больше, чем на “божью волю”, поддерживал в них чувство собственного достоинства и убеждение в том, что их земля — Поморье — освоена и устроена собственными силами» (Бернштам 1983:92). Монастырь превратился в мастерскую Севера, центр торговли и хозяйства, школу ремесел и искусств. Настрой на преодоление тяжелых испытаний в арктических плаваниях, на открытие и освоение новых земель, на восприятие Севера как благословенной земли реализовался через религию, создав особое духовное царство в Студеном море. Стихия моря по-особенному настраивала восприятие бога, что выражено в поморской пословице «Кто в море не ходил, тот бога не молил».

Из христианских святых поморы выделили Николу, храмы которого были вехами водных путей: «От Холмогор до Колы тридцать три Николы», — записал С. В. Максимов доныне бытующую поморскую поговорку (Максимов 1987:259). Это новгородская традиция — Г. М. Лебедев насчитал десяток «Никол» по Волхову от Ильменя до Ладоги — по одному на дневной переход по реке (Лебедев 2005:507). В Холмогорской и Устюжской епархиях «больше всего было выстроено часовен во имя Николая Чудотворца, великомучеников Георгия, Флора и Лавра, Власия и Ильи Пророка»; при этом число «никольских» часовен в 2–3 раза превышает количество «флоровских», «георгиевских», «ильинских» и «власьевских» (Теребихин 1995:21).

Все устье Двины было отмечено «Николой» — порт, залив, море. Первый порт на Севере, расположенный на Яграх, недалеко от Николо-Корельского монастыря, носил имя святого Николая (Булатов 1997:178). Крупнейшей зимней ярмаркой в Холмогорах была Никольская; важнейшие в жизни поморов осенняя и зимняя путины разделялись днем Николы Зимнего. На Руси Николай Чудотворец почитается широко, но его особая миссия — покровительство мореплавателям, путешественникам и рыбакам —

связана с поморами. Именно поморы разнесли по пантеонам Сибири и Севера образ Николы, присутствующий в разных языческих мифологиях, ритуалах, шаманских камланиях. Как видно, Никола не только покровительствовал тем, кто в пути, но и путешествовал вместе с ними. При этом «Никольская религиозная колонизация» была частью диалога поморов с другими коренными жителями Севера.

***

Европейцы, за исключением норманнов, не сыграли магистральной роли в Евразийской Арктике, но добавили темпа и драйва в освоение Студеного моря. В конкуренции и взаимодействии со скандинавами, англичанами и голландцами русские, прежде всего поморы, создали самобытную арктическую культуру, включающую мореходство, зверобойный и рыболовный промыслы, международную торговлю и дальние путешествия. В XVI в. Арктика впервые обрела место в геополитических стратегиях Западной Европы и России. Колониальный натиск европейцев на Россию в XVI–XVII вв. отозвался превращением ее самой в метрополию, и этот неожиданный эффект создал ей прочное реноме неудобной для Европы страны.

Поморы совершали долгие морские путешествия не только потому, что вдали (например, на Мурмане) лучше ловилась треска. Они унаследовали от новгородцев ментальность большого пространства, пристрастие к движению, заморской торговле, контактам с другими народами. Арктическое плавание помора — не подвиг ради славы и богатства, а повседневность, образ жизни. Благодаря этому естественному движению северорусская морская культура распространилась по всему северу Евразии — от Атлантики на западе, где поморы торговали со скандинавами, до Тихого океана на востоке, куда на поморских кочах вышли русские мореходы (начиная с экспедиции 1648 г., снаряженной холмогорцем Федотом Алексеевым при участии казака Семена Дежнева).

Именно к поморам может быть отнесена характеристика Р. Дж. Кернера русской колонизации как «стремления к морю» (Kerner 1942:27). Этот норд-русский стиль конфликтовал со столичным централизмом, причем каждое столетие: в XIV в. Иван

Калита и Дмитрий Донской отнимали у Новгорода даннические области, в XV — Иван III объявил «вечу колоколу в отчине нашей в Новегороде не быти», в XVI — Иван IV устроил резню новгородцев, в XVII — Михаил Романов запретил северный морской ход, в XVIII — Петр I уничтожил поморский флот.

И все же Север сберег многое из своего достояния, причем не в последнюю очередь за счет колонизации, которая позволяла северянам избегать лобовых столкновений с центральной властью путем продвижения на восток вдоль Арктики. Этому способствовал и характер северной колонизации — многомерной и многослойной, в которой участвовали норманны, новгородцы, московиты, поморы, англичане, голландцы, датчане, норвежцы, коми-зыряне, ненцы. При этом, благодаря партнерскому стилю, колонизация нередко оказывалась взаимной, или встречной, или совместной (как в случае с Мангазейским ходом). Иногда колонизуемый был одновременно колонизатором. Например, Новгород, подчиненный Москвой, заселил Бьярмию, жители которой (зыряне) распространились в земли югры, сдвинувшейся во владения самоедов, которые в свою очередь расселились в пространстве от Мурмана до Таймыра. Возможно, только «сборная колонизаторов» и была способна освоить Евразийский Север.

Глава 10. Уральская рапсодия

Святитель Стефан и кудесник Пам.
Московский марш. Ордынский пояс.
От Казани до Сибири. Переменчивый сентябрьский год.
Казачьи маневры

Едва ли не каждое описание Урала сопровождается его характеристикой как перекрестка путей и мозаики культур. Он представляется барьером, пусть и невысоким, между Европой и Азией, а устойчивые выражения «перевалить за Камень», «чрезкаменный путь» подчеркивают его значение транзитного перевала. Однако, подобно другим горным странам, Урал обладает свойствами не только разделителя, но и объединителя равнин. Рубеж Европы и Азии — не символ, а сложная функция синтеза и преобразования разнохарактерных обстоятельств и действий. Кроме того, здесь сходятся как Запад с Востоком, так и Юг с Севером, образуя замысловатую «розу путей». На таких территориях сочетаются и чередуются качества центр–периферия, метрополия–колония, перевал–очаг, превращая их в полигоны межэтнического взаимодействия и культурного обмена. Урал с эпохи камня был, с одной стороны, пространством пересечения и конкуренции подвижных магистральных культур, с другой — местом оседания и формирования локальных культур.

В древности Урал стал хребтом пространства, в котором расселилась уральская языковая семья. В бронзовом веке южный Урал был одним из плацдармов степных индоевропейцев; на рубеже эр он вошел в орбиту движения алтайских кочевников, став ареной превращения азиатских хунну в европейских гуннов; в средние века отсюда двинулись на «завоевание родины» мадьяры. На севере Урала сложилось кочевое сообщество «каменных самоедов», охвативших своими кочевьями евразийскую тундру от Белого моря на западе до Таймыра на востоке. Здесь был перекресток движения народов алтайской, индоевропейской и уральской языковых семей.

В пространстве Евразии Урал играл роль рубежа или перехода между бассейнами Волги и Двины на западе и Иртыша и Оби на востоке. Вместе с тем Урал был не только пограничьем, но и транс-

граничьем степных, таежных и тундровых культур. Ландшафтное и ресурсное многообразие предрешило, с одной стороны, контактный характер Урала, с другой — аккумуляцию различных культурных традиций и генерацию новых культурных импульсов. В разные эпохи направления и характер культурных связей менялись, но общее значение Урала как этноперекрестка и трансграничного узла для всей Северной Евразии сохранялось на всем протяжении истории.

Выступая метрополией ряда культур, Урал одновременно испытывал воздействие крупнейших североевразийских очагов экспансии — центральноазиатского и североевропейского. Южноуральские степи и леса оказались в зоне колонизации тюркских каганатов и монгольского улуса, приуральский север — в орбите движения викингов, ладожан, бьярмов (перми). На рубеже I–II тыс. н. э. на Урале пересеклись магистральные культуры Великого Булгара и Великого Новгорода, позднее — Орды и Москвы. В эпоху средневековья Урал представлял собой не самостоятельную метрополию, а «украйну» нескольких метрополий, в том числе Московского государства.

Святитель Стефан и кудесник Пам

В 1380-е гг. в северном Приуралье, Перми Вычегодской, развернулась кампания христианизации, которую проводил с благословения московских властей иеромонах Стефан Храп (в 1547 г. причислен к лику святых и известен ныне как св. Стефан Пермский). Он был «москвитянин по духу деятельности в собирании Руси» (Лыткин 1889:4), хотя вряд ли персональная мотивация его деяний сводима к исполнению заданий московских иерархов церкви и князя Дмитрия Ивановича. В лице Стефана Москва впервые заявила о себе как об очаге миссионерства (см. раздел «Освящение и проклятие» гл. 7, а также Головнёв 2010:41–55).

Сорокалетний иеромонах, проведший много лет в монастырском Братском затворе, Стефан Храп был искренне убежден в своей миссии крестителя народов. Автор «Жития Стефана Пермского» Епифаний называл его «наследником апостолов» (Епифаний 1995:55), и, судя по всему, Стефан мнил себя «равноапостольным». Ему достало сил за десяток лет создать пермскую письменность и выполнить переводы богослужебной литературы,

написать иконы (с оригинальными надписями на пермском) и обучить священству бывших язычников, сокрушить множество капищ и построить несколько церквей, отразить удары новгородцев и склонить московскую власть к открытию Пермской епархии. Одержимость, с которой он вершил громаду дел, выдает в нем не только «храброго воина Христова», но и выдающегося интеллектуала и политика своей эпохи («ущедрил Бог преподобного Стефана»).

Почему его равноапостольская миссия пала на пермян? Свою роль, как полагают многие историки, сыграли притязания Москвы на приуральские владения Новгорода — не случайно в Вычегодско-Вымской летописи статья о начале проповеди Стефана на Вычегде 1379 г. следует за статьей 1367 г. о том, что «князь великий Дмитрей Иванович заратися на Ноугород», и «люди пермские за князя Дмитрия крест целовали, а новугородцом не норовили» (ВВЛ 1989:23). Однако в самоопределении крестителя решающее значение имела его причастность по рождению (в Устюге) к вычегодскому миру. Более того, есть основания считать его полукровкой: в Великом Устюге записано предание о том, что мать святителя Мария была родом из семьи зырянина по имени Дзебас (Смоленцев 1993:19). Пристрастие Стефана к языку пермян и уровень владения им обычны для родного, а не выученного языка. По оценке Г. С. Лыткина, стефановские «переводы на зырянский язык обнаруживают, что он и думал по-зырянски, а не по-русски, как делают новые переводчики-зыряне» (Лыткин 1889:5). Согласно «Житию», Стефан «родом русинъ, от языка словенска» (Епифаний 1995:57), что не исключает его смешанной этничности; напротив, столь необычная для агиографии этнографическая справка может проистекать из стремления утвердить его русскость. Успех в обретении сочувствия пермян также предполагает, по мнению П. Ф. Лимерова, «этническую или даже родовую близость им святителя» (Лимеров 2008:84).

Двойственная идентичность усложняет и усиливает мотивацию. Для Стефана единение русских и пермян в религии — внутреннее побуждение и путь к преодалению персональной двойственности. Трудно сказать, насколько Стефан стремился к созданию собственного «духовного царства» или «национальной

Пермской церкви»,[1] но он определенно проложил между Московией и Пермью новую, религиозно-политическую, магистраль, которая разрушила прежние узы и заново объединила локальные группы Перми Вычегодской, отделив крещеных (коми-христиан) от некрещеных (чуди, вогулов). В отношении пермян Стефан выступил в роли народостроителя, и коми фольклор рисует его демиургом, объезжающим всю страну (плывущим по рекам на чудо-камне), дающим новые названия селениям и урочищам.

Вторым персонажем уральского «народостроительства» XIV в. выступает противник Стефана — «чародеевый старец, лукавый мечетник, нарочит кудесник, волхвам началник» Пам (Пансотник), которого язычники-пермяне «чтяху паче всех прочих чаровникъ» и в руках которого «управление быти Пермстей земли» (Епифаний 1995:122). Слово *пам* имеет в коми языке значения «жрец», «владыка» (Лыткин, Гуляев 1999:216); *пам* — «человек, обладающий громадной силой воли, могущий повелевать стихиями и лесными людьми» (Налимов 1903:120). Определение «сотник» указывает на статус Пама как управителя и сборщика дани Перми Вычегодской под рукой московского князя со времен, возможно, Ивана Калиты (к 1380 г. Пам был глубоким стариком).

Несмотря на идеологическую ангажированность Епифания и его дружескую расположенность к Стефану, образ его соперника Пама в «Житии» не лишен достоинства — и в многословной экспозиции, и в картине религиозных прений. Старый волхв на равных дискутирует с иеромонахом: «и многократно они спорили об этом между собой, и не была ровной беседа их, и не было конца их речам: этот тому не покорялся, а тот этому не повиновался... И не договорившись, они расходились, потому что один свою веру хвалил, а другой свою». «У вас, христиан, — говорил Пам, — один Бог, а у нас много помощников и на суше, и на воде, подающих нам счастливую ловлю в лесах и ее избытками снабжающих

[1] П. Ф. Лимеров полагает, что в замыслах святителя Пермская земля, по территории не уступавшая Московскому государству того времени, могла стать автокефальной: «национальная Пермская церковь должна была объединить в вере и языке богослужения всех пермян, исповедующих христианство»; «Пермь наряду с духовной автономией в виде Церкви (епархии) могла бы получить и политическую автономию как удельное образование, подданное Москве, но со своей административно-политической системой» (Лимеров, 2008:91).

Москву, орду и дальние страны; они сообщают нам в волхвовании тайны, недоступные вам». Выразительна верность волхва религии предков: «В вере, в которой я родился, был воспитан, вырос, жил и состарился, в которой пребыл все дни моей жизни, в ней я и умру» (Епифаний 1995:125, 143).

В идеологии Пам — ревнитель традиций и свободы пермян, с позволения сказать, средневековый пермский националист. Поддавшихся Стефану крещеных соплеменников он увещевал: «Братья, мужи пермские! Отеческих богов не оставляйте, а жертв и треб их не забывайте! <...> Иже творили отцы наши, тако творите. Мене слушайте, а не слушайте Стефана, иже новопришедшего от Москвы». О притязаниях Москвы он судил с присущей старцу прямотой: «От Москвы может ли что доброе быти нам? Не оттуда ли нам тяжести были, и дани тяжкие, и насильства, и тиуны?» В противовес волхв превозносит этническое родство: «Не слушайте его, но меня паче послушайте, добра вам хотящего. Потому как я есть род ваш и единая земля с вами; и един род, и единоплеменен, и едино колено, един язык» (Епифаний 1995:124, 125).

Стефан и Пам сошлись в состязании за истинную веру и за народ Перми. То, что в «Житии» представлено диспутом о вере, в действительности вылилось в религиозную войну, которую затеяли и возглавили вожди христианства и язычества. Первым преступил заветную грань Стефан, крестивший в 1379 г. пермян на Пыросе и Виледи и устроивший себе келью вблизи главного святилища пермян у устья Выми. Вскоре ему удалось склонить к крещению десяток пермян. Как только весть об «измене» дошла до Пама, чей Княж-Погост стоял выше по р. Вымь, старый волхв собрал тысячное войско (в таежных измерениях — армию) и в 1380 г. подошел к вражескому стану, «хотяху келью разбити и Стефана отогнати или смерти предати, несяху собою всяк дреколие и лук и стрелы» (ВВЛ 1989:24; Повесть 1996:64, 65).

Последующие события полны чудес: подступившее языческое войско молитвою Стефана ослеплено, колдун Пам и его соумышленники просят пощады и по милости святителя прозревают, выполняют работу по устройству христианской миссии, вновь затевают бунт и вновь лишаются зрения. Чудо ослепления случается четырежды, и всякий раз язычники, искупая очередное затмение, трудятся во благо крестителя, в том числе насыпают

горстями и подолами гору для возведения на ней церкви Благовещения Богородицы, а Стефан, подобно Христу, кормит тысячу людей тремя рыбами и тремя хлебами. В итоге восемьсот (из тысячи) язычников принимают крещение, а остатальные во главе с Памом в бессилии убираются восвояси (Повесть 1996:65–68; ВВЛ 1989:24).

Чудо ослепления противоположно библейским чудесам прозрения и гармонирует не столько с христианством, сколько с христианизацией — речь идет о религиозной войне, выворачивающей этику наизнанку. Ненавистью объят Стефан, когда он крушит святилища, и летописец не жалеет слов для раскраски сцен расправы с язычеством: «Разъярился владыко Стефан на кумирници пермскии поганые, истуканные, изваянные, издолбанные боги их в конец сокрушил, раскопал, огнем пожег, топором посек, сокрушал обухом, испепелил без остатку и по лесом, и по погостом, и на межах, и на перепутьях» (ВВЛ 1989:24).

Истребление святилищ, драматично отраженное в предании о рубке Стефаном истекающей кровью и разноголосо вопящей «прокудливой березы»,[2] означало религиозное покорение Перми. Толкователи христианизации как благостной проповеди, сопровождавшейся издержками вроде порубки деревьев и сжигания истуканов, не считают насилием глумление над святынями и попрание духовного достоинства. Многие пермяне в XIV в. считали иначе. Крещению они предпочитали уход из родных мест или даже добровольную смерть — легенды о захоронившей себя языческой чуди воспроизводят мотив «конца жизни» с появлением христианства. Другие приняли крещение, «и случилось, что народ разделился на две части: одна сторона называлась “новокрещеные христиане”, а вторая “неверные кумирослужители”. И не

[2] По легенде, святителю является Бог и велит «искоренить кумирницу» — увешанную звериными шкурами священную березу в три обхвата. Стефан три дня рубит ее, истекающую синей и зеленой кровью, издающую после каждого удара стоны и крики мужские, женские, старческие и младенческие: «Стефан, Стефан! зачем нас гониши? Сие есть наше древнее пребывание». На третий день на глазах собравшихся христиан Стефану удается одолеть березу, и она падает «с воплем и многим кричанием и вихром» с утеса в реку Вымь. Стефан приказывает разрубить дерево на куски и сжигает их. На месте «прокудливой березы» он воздвигает церковь во имя архистратигов Михаила и Гавриила и прочих Небесных сил (Повесть 1996:106–117).

было между ними согласия, — только распря; и нет мира у них, только разногласие. И потому кумирники ненавидели христиан и не любили быть с ними едины» (Епифаний 1995:107). Раздор, внесенный в пермский мир, был отягощен инквизиционным методом доносов и дознаний. Стефан велел крещеным пермянам выведывать скрываемых кумиров и, найдя, ломать их у всех на виду. «Они же, услышав это, старались каждый, опередив другого, узнать, где находится, и найти скрываемый кумир, дабы другой первым не показал свое старание... сами у себя разыскивали, так как каждый боялся, как бы прежде друг не обличил его. Даже и обвинителями хорошими друг у друга бывали, они ведь знали тайны друг друга, будучи другу соседями» (Епифаний 1995:193).

Пам возглавил тех, кто покинул «освященную» землю. В 1384 г. старый волхв увел непокорных язычников на Удору и Пинегу. Пять лет спустя, в 1389 г., «идолопоклонники» с Удоры и Пинеги напали на Еренский городок, «монастырское Пречистые Богородицы пожгли, пограбили, людей монастырских посекли». Именно в годы религиозной войны появился новый народ — «безверные вогуличи», сражавшиеся во главе с «окаянным» Пам-сотником против вымских христиан. Первое летописное известие о них 1392 г. гласит: «Пришедшу на владычный город на Устьвым погаными вогуличи, а с ним Пан-сотник окаянной. Стояли вогуличи станом на Юруме на месте зовемый Асыкояг неделю, к городку не приступали, а погосты около тех мест разорили. Узнав те вогуличи из слухов устюжский полк идет на вогуличов, сели в ладьи и утекли вверх Вычегдою-рекою» (ВВЛ 1989:25). Фольклор коми сохранил предания о том, как Стефан в епископском облачении выплывал в ладье из Усть-Выми на бой с язычниками-вогулами (Лимеров 2008:200).

В языке коми-зырян словосочетание *лёзь вогыль* означает «человек с косматыми волосами» (Лашук 1972:61), а название *вогул*, имеющее в коми языке значение «дикий» (Бахрушин 1955:86), связывается ивдельскими манси (хотя и не вполне отчетливо) с язычниками, некогда бежавшими от крещения (Федорова 1996:11–13). В сочетании этих сведений рисуется картина явления нового народа среди пермской чуди: принявшие христианство и московское подданство жители Перми (в боль-

шинстве коми) выступили проводниками миссии Стефана, а мятежники и беглецы стали зваться «дикими», «косматыми», «язычниками» — *вогулами*.

Исход схватки застал главных героев далеко от Перми Вычегодской. Епископ Стефан умер в 1396 г. в Москве и был погребен в великокняжеской усыпальнице. Судя по изображениям на его посохе, смерть святителя связывалась с порчей от волхва: на одной из композиций изображены лежащий в постели больной Стефан и фигура в шапке волхва, а следующая за ней сцена — похороны епископа (Чернецов 1988:38, 39).

Между тем сам волхв, несмотря на более чем преклонный возраст, совершил переход через Югорские горы (Урал) на реку Обь. В конце XVII в. предание о крещении и переселении «остяков» было известно Н. Витсену:

> Говорят, остяки вышли из Перми и Зыряни. Они до сих пор все были язычниками. Но были крещены набожным священником по имени Прокопий. Рассказывают, что эти люди, прежде чем принять христианскую веру, захотели увидеть чудо, чтобы узнать, святой ли он, после чего признали бы истину его учения. Дело происходило зимой; они сделали несколько прорубей во льду и протащили его, связав веревками, от одной проруби до другой. Он остался жив, и они стали считать его слова святыми и истинными и добровольно подчинились. Но часть из них остались язычниками и ушли, покинув свое отечество, и поселились на Оби, Иртыше, вблизи Сургута и Кети, оставаясь в своем неверии, почему и получили название остяки, что на народном языке значит как бы «сбежавшие варвары» (Витсен 2010:794).

Версию о появлении в Коде беглецов-язычников из Перми записал в начале XVIII в. Г. Новицкий:

> Юрты некия, нарыцаемыя Атлым, его же мнять от повествования древних тамошних жителей быти населенна Пансотником, кудесником неким, иже со святым Стефаном, епископом Пермским, препирашеся от зловерия своего; последи же побежден в злочестии своем убежа с Перму за Камень, в Сиберскую страну и ту поселися» (Новицкий 1884:75).

Подобные сведения приводят Г. Ф. Миллер и И. Г. Георги.[3]

> Надо признать весьма вероятным рассказ о том, что в то время, когда пермяне были обращены в христианство епископом Стефаном, многие из них, не желая принимать христианство, бежали из Пермской земли в отдаленные местности — на реку Обь и там искали защиты для своих старых верований. У обских угров найдено много идолов, про которых они рассказывают, что эти идолы были перевезены ими из Пермской земли (Миллер 1937:188).
>
> [Угроза крещения побудила] большую половину пермяков и зирян, в Великой Пермии живших, покинуть привольные свои, на западной стороне Уральских гор, места и перейти в суровые северные, около реки Оби, страны (Георги 1776:66).

Очевидно, старый волхв шел не наобум. Кодские городки, в том числе Атлым, издавна служили местом торгово-промысловых походов и миграций пермян из-за Урала. Их селения на Перегребном и в Шеркалах существовали с XII в. «Зырянская дорога» за Камень не отдыхала, о чем свидетельствует обилие коми топонимов в Приобье, включая большинство названий городков Коды (и само слово *Кода* может происходить от имени легендарного коми богатыря Кудым-Оша). Пам перешел в места, давно обжитые его соплеменниками (Морозов и др. 1995:60–68).

Исследователи давно обратили внимание на «миграцию религии» через Урал, в том числе знаменитого «шайтана» Мастерко, бога нижнего мира Куля, Зарни Ань — Золотой Бабы, впервые упомянутой в Никоновской летописи в связи с кончиной Стефана Пермского (Миллер 1937:247, 248; Бахрушин 1955:106–108; Конаков 1999:159 и др.). В параллелях пермского и угорского пантеонов обычно усматривают общие корни или долгие связи. Однако переселение богов не может происходить без их жрецов. Судя по всему, «волхвов начальник» Пам был тем, кто направлял на рубеже XIV–XV вв. «движение религии» за Урал. После крещения Перми новым оплотом старой веры стала Обь, особенно район Белых гор, где нашли приют вымские изгои. Нередко случается, что религиозные мигранты создают на новом месте уси-

[3] Остяки Б. Атлыма и в XIX в. хранили память о своих предках-коми, пришедших из-за Урала во главе с вождем Памом (Абрамов 1857:346).

ленный вариант «теократии». На Оби от Белогорья до Вежакар, где сосредоточены главные святыни угров, выросла цитадель язычества. Названия родственных народов, вогулов и остяков, означают одно и то же — «дикарь/язычник», но даны с разных сторон: *вогулы* — от пермян-христиан, а *остяки* (*иштяки*) — от татар-мусульман.[4] Религиозная схватка Пама и Стефана породила, по меньшей мере, три общности: (1) коми-христиан; (2) пермско-угорскую вольницу язычников-вогулов; (3) Кодское княжество, ставшее военно-политическим ядром язычников-остяков. Во всех случаях магистральную роль сыграли духовные лидеры, а обстоятельствами народообразования стали колонизация и религиозная война.

Московский марш

Право на вычегодско-вымские земли досталось Москве от ростово-суздальских Рюриковичей, осваивавших северо-восточные окраины Руси с норманнских времен. Город Гляден в устье р. Юг был заложен Всеволодом Большое Гнездо в 1178 г., а в 1212 г. князь ростовский Константин Всеволодович «заложил град Устюг Великый за четыре стадии от Гледены и детинец и церкви устроил в нем» (ВВЛ 1989:23). Великий Устюг был острием ростово-суздальского, а затем московского клина во владениях новгородцев. Через Москву до Устюга дотянулась ордынская власть — в 1262 г. здесь сидел татарский баскак Буга (Устюжский 1950:4). Устюг служил московской заставой на восточных путях новгородцев: например, в 1322 г. «устюжане заратились с новгородцами и избили новгородцев, ходивших в Югру» (Булатов 1997:112).

Экспансия Москвы на север и восток шла через Устюг, преимущественно путем захвата новгородских владений и даней. В 1324 г. Юрий московский принудил Новгород платить дань Орде и совершил рейд из Устюга в Орду «по Каме реке» через Пермь Великую (ПСРЛ Т. 10 1885:189), обозначив тем самым восточный вектор притязаний Москвы как «наместницы» Орды. Его брат Иван Калита, продолжая московско-ордынскую экспансию, в

[4] Со времен религиозных войн учеников шейха Багаутдина в Сибири сохранилось предание о приходе в 1394 г. проповедников ислама на Иртыш, где жили народы хотан, ногай, кара-кыпчак и иштяк; последнее название происходит от того, что народ иштяк бежал в леса и «остался без веры» (Исхаков 2010:16).

1328 г. выдал свою дочь за сидевшего в Устюге ростовского князя Константина (ПСРЛ Т. 25 1949:169) и послал на Печору ватагу для рыбного промысла с грамотой, утверждавшей право московского князя на ростово-суздальские владения (Оборин 1990:70). В 1332 г. Калита «возверже гнев на Новгород, прося у них серебра закамьское» (НПЛ 1950:99, 344) для уплаты ордынской дани,[5] и вскоре (в 1333 г.) новгородцы «дали князю Ивану на черный бор Вычегду и Печору, и с тех времян князь московский почал взимати дани с пермские люди» (ВВЛ 1989:23). В 1363 г. князь Дмитрий, продолжая дело Калиты, пожаловал своего наместника Андрея Фрязина «Печорою, как было за его дядею за Матфеем за Фрязином» (ААЭ Т. 1 1836:3). В 1364 г. Дмитрий, в наказание за неспособность ростовского князя Константина воспрепятствовать походам новгородцев за Урал (ПСРЛ Т. 16 1889:90, 91), отнял у него «Ростов и Устюг и пермские места Устюгские», и с этого времени северные пермяне (предки коми-зырян) оказались под управлением московских наместников и воевод (Савельева 1993:29).

Москва двигалась на восток в состязании с Новгородом. За успешным походом новгородцев за Камень в 1364 г.[6] последовало приведение пермян к московской присяге в 1367 г. и их крещение Стефаном Пермским в 1380-е гг. В XV в. соперничество продолжалось и сопровождалось драматическими эпизодами: в 1455 г. большая новгородская экспедиция (3 тыс. человек) была разбита югрой (НПЛ 1950:425; ПСРЛ Т. 16 1889:187), а епископ Питирим «приездил в Великую Пермь на Чердыню крестити ко святей вере чердынцев», но «безвернии вогуличи» «поимали и убили» его (ВВЛ 1989:26).

Наследником дела пермского кудесника Пама в противостоянии Москве предстает вогульский князь Асыка. В 1455 г. он воз-

---

[5] В Воскресенском списке летописи серебро называется «закаменьским». В. А. Оборин полагал, что летописцы подразумевали не серебряные рудники, а серебро в виде драгоценной посуды и монет, поступавших в обмен на пушнину из стран Ближнего Востока и Средней Азии (Оборин 1990:71).

[6] Разделившись на две рати, новгородцы во главе с Олександром Абакумовичем и Степаном Ляпой прошли по Оби на север и на юг, заложив первые русские городки в Зауралье, в том числе Ляпин на р. Сыгве, названный по имени одного из воевод — Степана Ляпы (Кочедамов 1968:67–69).

главляет отряд «безверных вогуличей» и вершит расправу над крестителем коми-пермяков епископом Питиримом — наследником миссии Стефана. В то время именно уральские вогулы были силой, противостоящей нарождающейся московской экспансии. Иван III еще не покорил Новгорода, не осмелился противостоять Ахматовой орде, не обрел ореола царственности в лице Софьи Палеолог, но через Устюг уже настойчиво тянул руку к Уралу. В 1465 г. устюжский воевода Василий Скряба перевалил через Камень по новгородскому пути — «велел князь великий Иван Васильевич Василью Скрябе устюжанину Югорьскую землю воевати, а шли за ним хотячие люди, да с ними же ходил князь Василей Вымский Ермоличь с Вымичи и с Вычегжаны; а пошла рать с Устюга... Они же шедщи да Югорскую землю воевали и полону много вывели», в том числе вогульских князей Калба и Течика (ПСРЛ Т. 24 1921:185). Пленные вогульские князья вернулись домой, но уже с «ярлыками» от Ивана III и обязательством платить дань Москве.

Ход к Уралу открылся Москве благодаря союзу с вятчанами, использовавшими московскую силу в противостоянии со своей бывшей метрополией Новгородом и в конфликтах с воинственными вогулами. В 1467 г. «поиде вятчаны на вогуличи, да с ними пермяни из Чердыни, вогулич воевали и князя их Асыку в полон взяли да от Вятки упустили» (ВВЛ 1989:26). Четырнадцать лет спустя, в 1481 г., уже после победы Москвы над Новгородом, пелымский князь Асыка совершил новый набег на Пермь Великую, осадил Чердынь, сжег Покчу и погосты разорил (ВВЛ 1989:26, 27). На этот раз его остановила устюжская рать Андрея Мишнева. Через два года после «вогульского разорения», в 1483 г., состоялся ответный поход московской рати Ивана Салтыка и Федора Курбского на вогульских и остяцких князей. Вологодско-Пермская летопись под 1483 г. сообщает:

> Отпустил князь великий с Москвы на князя на вогульского на Асыку воеводу своего Ивана Ивановича Салтыка, а с ним своих детей боярских да вологжан. А другого князя Феодора Курбского, а с ним своих детей боярских да устюжан, да вычегжан, да вымич, да великопермьцов. И поидоша в судах с Вологды, Иван Иванович Салтык, месяца апреля 25, и приидоша на вогуличи месяца июля в 29, и бои бысть. И побегоша

вогуличи, Асыка и сын его Юмшан, и поидоша оттоле воеводы великого князя в Сибирь и повоеваша Сибирьскую землю, и поидоша оттоле на великую реку Обь, ширина ее шездесят верст, и поимаша князя Молдана на реце Оби, и княжих Екмычеевых дву сынов поимаша. И прииде Иван Иванович Салтык на Вологду ноября в 9 (ПСРЛ Т. 26 2006:276).

«Охота на князей», которую Москва переняла у Орды, удалась — захват кодского князя Молдана привел к признанию угорской знатью московской власти. Дипломатия Московии мало чем отличалась от ордынской: избегая поклонов хану Ахмату, Иван III сам повторял ханские манеры и маневры, пленяя князей покоряемых земель, а затем милостиво отпуская их уже в роли своих данников.

Того же лета приходили к великому князю от вогульского князя Юмшана, Асыкина сына, бити челом о опасе шурин его вогулятин Юрга да сотник его вогулятин Анфим. А печаловался об нем владыка Филофей Пермьскы. И князь великий Иван Васильевич пожаловал владыки для Филофея, Юмшану опас дал и велел ему у себя быти. И послал владыка с великого князя опасом к Юмшану слугу своего Леваша. Того же лета приходил к великому князю бити челом вогулятин князь Пыткей с поминки с великими от князей кодских, от Лаба до от Чангила, и от всее земли Кодские и Югорские, да били челом о полоненых князех о Молдане с товарищы, чтоб государь смиловался, отпустил бы их в свою землю. И князь великий пожаловал тех князей полоненых, отпустил их в свою землю да и Пыткея печалованием владыкы Филофея да Володимера Григорьевича Ховрина (ПСРЛ Т. 26 2006:276).

В продолжение посреднической миссии Стефана Пермского, Филофей Пермский выступает проводником власти метрополии к покоряемым народам. И в дальнейшем владыка опекает «паству», обращающуюся к нему за заступничеством перед великим князем.

Того же лета [1485 г.], августа 18, прииде ко владыце Филофею Пермьскому на Усть Выми по опасу великого князя вогульский князь Юмшан, Асыкин сын, а с ним вогуличи, тесть его Калба да Ломотко. И сентября в 1 поиде с ними владыка к великому князю бити челом о нем, князь же великий тогда жаловал владыку, почтив велми, а Юмшана жаловал же, и с ве-

> ликою честью владыку отпустил и Юмшана. И с тех мест почал Юмшан дань давати великому князю, а дотолева дани не давывал, ни знал великих князей, а лиха от него бывало и от отца его много (ПСРЛ Т. 26 2006:277).

Московский натиск продолжился в 1499 г. походом кн. Семена Курбского, кн. Петра Ушатого и Василия Бражника большой ратью (свыше 4 тыс. человек) «на Югорскую землю да на Куду, на вогуличи». Северный отряд Ушатого прошел по землям печорских самоедов: южный отряд Бражника двинулся на Пелым, и воеводы «князей ослушников в Москву приведоша, да земских людем к целованию по их вере» (ВВЛ 1989:28; Бахрушин 1955:77). Рейд сопровождался строительством городков на северном пути (Печора–Сосьва–Обь), которые служили русскими станами, а некоторые (например, Ляпин) использовались до конца XVI в. (Мартюшев 1930:66–84; Оборин 1990:110). После похода 1499 г. Иван III пополнил свой титул званием «Югорский» и в 1504 г. уже завещал Югру старшему сыну Василию, который в свою очередь завещал ее своему сыну Ивану. Кроме того, Иван III звался князем Кондинским и Обдорским.

Отношение Ивана III к северному Уралу как своему владению выразилось в посылке горнорудной экспедиции на Печору в 1491 г. Если Иван Калита лишь грезил «закамским серебром», то Иван III всерьез озаботился разведкой уральских недр, впрочем явно не без участия наводнивших московский двор европейских искателей сокровищ и колоний. Стараниями грека Траханиота два немца-рудознатца, Иван и Виктор, в сопровождении Андрея Петрова и Василия Болтина, отправились из Москвы на Печору. Семь месяцев спустя они возвратились с известием об обнаружении серебряной и медной руды на реке Цильме. На следующий год в Москву поспешил еще один немец, Михаил Снупс, с письмом от императора Максимилиана и эрцгерцога Зигмунда, дружески просивших великого князя дозволить «сему путешественнику рассмотреть все любопытное в нашем отечестве, учиться языку русскому, видеть обычаи народа и приобрести знания, нужные для успехов общей истории и географии». Снупс изъявил желание ехать на восток в страны полунощные на Обь. Иван III обласкал посланника, продержал в довольстве несколько месяцев в Москве, но на Обь не пустил, ссылаясь в ответном письме к Максимилиану и Зигмунду на

трудности и опасности пути: «Из дружбы к вам мы ласково приняли вашего человека, но не пустили его в страны отдаленные, где течет река Обь, за неудобностию пути: ибо самые люди наши, ездящие туда для собирания дани, подвергаются немалым трудам и бедствиям» (Карамзин 1 2003:748).

В конце XV в. Москва, покорив Новгород, считала его северные даннические земли, в том числе Югру, своими владениями и ограждала их от избыточного интереса европейцев. Московские городки встали на новгородских путях, но их военное назначение расходилось с привычным для туземцев торговым обликом новгородских факторий. Отношения туземцев и пришельцев изменились, и московские ратные рейды стали шагами московской военно-административной колонизации: З. Я. Бояршинова видела в походах русских войск за Урал конца XV в. начало присоединения Сибири к России, а Ю. Г. Алексеев назвал рейд 1483 г. Салтыка и Курбского «исходным рубежом важнейшего исторического процесса — включения сибирских земель и народов в состав России» (Бояршинова 1957; Алексеев 1989:146). До экспедиции Ермака оставался еще век, но Москва уже заявила о себе как о новой власти на северных и восточных «украйнах».

Претензии Москвы на подчинение Югры в глазах самих жителей Урала и Сибири не означали утраты независимости. Со смертью Ивана III вогульские князья возобновили набеги на русские городки Урала. Например, в 1521 г. пелымский князь в Перми Великой «погосты разорив, а Чердыню не взял» (ВВЛ 1989:265). Эта «неверность» часто связывается с интригами Тюменского ханства, чем принижается роль вогульских и остяцких князей (Маслюженко, Рябинина 2011:35–50). В действительности Пам, Асыка и их последователи пытались встречными ударами остановить московскую экспансию, принимая на себя ключевые роли и лишь отчасти опираясь на поддержку татар.

Ордынский пояс

Установление ордынской власти в уральском пространстве рисует Плано Карпини:

> Возвратившись оттуда [из Европы], они [татары] пришли в землю мордванов, которые суть язычники, и победили их войною. Продвинувшись отсюда против Билеров, то есть Великой

> Булгарии, они и ее совершенно разорили. Продвинувшись отсюда еще на север, против Баскарт, то есть Великой Венгрии, они победили и их. Выйдя отсюда, они пошли дальше к северу и прибыли к парроситам, у которых, как нам говорили, небольшие желудки и маленький рот; они не едят мяса, а варят его. Сварив мясо, они ложатся на горшок и впитывают дым и этим только себя поддерживают; но если они что-нибудь едят, то очень мало. Подвинувшись оттуда, они пришли к самогедам, а эти люди, как говорят, живут только охотами; палатки и платья их также сделаны из шкур зверей. Подвинувшись оттуда далее, они пришли к некоей земле над Океаном, где нашли неких чудовищ, которые, как нам говорили за верное, имели во всем человеческий облик, но концы ног у них были, как у ног быков, и голова у них была человеческая, а лицо, как у собаки; два слова говорили они на человеческий лад, а при третьем лаяли, как собака, и таким образом в промежутке разговора они вставляли лай, но все же возвращались к своей мысли, и таким образом можно было понять, что они говорили. Отсюда вернулись они в Команию, и до сих пор некоторые из них пребывают там (Плано Карпини 1993:42).

Траектория татарских походов по землям мордвы, булгар, башкир, «парроситов», самоедов и кыпчаков образует петлю — от средней Волги к Уралу, затем к северу и назад в степь. Орда, сколько бы ни воевала, возвращается в степь, и дальнейшее управление покоренными народами происходит путем повторных набегов, «приручения» или замещения правителей (в том числе путем захвата в заложники-аманаты их родни), контроля наместников и сборщиков ясака — *баскаков* или *даруг*. Эта военно-административная колонизация затрагивает элиты, но нередко сопровождается значительными подвижками кочевого и оседлого населения.

Земли Урала, кроме оставшегося за Новгородом Севера, вошли в улус Шибана, младшего брата Батыя. Шибаниды (восточная ветвь Джучидов) в разное время правили Бухарским, Хивинским, Узбекским, Сибирским ханствами и другими частями «ордынского пояса», образовавшегося в Великой степи из орд и улусов Монгольской империи (см. рис. 10). Весь этот пояс был подконтролен Чингисидам и колонизован монгольской элитой. В ордынский период Волжская Булгария, Московское княжество, Сибирь и другие «улусы» были частями одной империи, и евразийцы

небезосновательно видели в Московии наследницу державы Чингис-хана, возрожденную путем «собирания татарских земель» (Трубецкой 1995:157, 230; Савицкий 2003:691).

В средние века Урал не обладал богатыми оседлыми оазисами и был своего рода ордынским заповедником, где среди немногочисленных промысловиков-пастухов укрывались беглые вожди, создавались окраинные улусы, а иногда собирались новые банды и затевались реванши. Урал, как и всякий горный край, служил высотой, откуда кочевники, набравшись сил и наметив жертву, скатывались в долины. Среди ордынских ханов-Шибанидов, кочевавших по Уралу, выделяются Абу-л-Хайр (Абул-Хайр, Абулхайр-хан; 1412–1468) и Ибак (Ивак, Упак, Ибрагим, Саид-Ибрагим; ок. 1441–1495).

Абу-л-Хайр создал обширное ханство в пространстве степей и лесостепей Синей орды (Кок орды) от р. Урал на западе до оз. Балхаш на востоке и от Арала на юге до нижнего Иртыша на севере. Он собрал орду на окраине (предположительно северной), где был провозглашен ханом, а затем расширил свои владения к югу, совершая набеги на Хорезм, Сыгнак, Самарканд, Бухару. В 1446 г. Абу-л-Хайр стал верховным ханом (хаканом) Узбекского ханства Шибанидов, а в 1448 г. откочевал на юг и перенес ставку в Мавераннахр. На западе влияние и ясак Абу-л-Хайра время от времени распространялись на правобережье Волги от Булгара до Дербента.

Траекторию Абу-л-Хайра по-своему повторил Ибак, собравший орду и ставший ханом на севере страны Шибанидов. Через два года после смерти Абу-л-Хайра, в 1470 г., он при поддержке ногайских (мангытских) мурз Мусы и Ямгурчея взял Тюменский улус, убив его князя Мара из рода Тайбугидов. Диапазон кочевий Ибака в волго-уральском пространстве расширялся, а после расправы в 1481 г. над ханом Большой орды Ахматом он стал ключевой фигурой в ордынском поясе. Не вполне ясно, ханом какой орды был Ибак: по Львовской летописи — ногайским, по сибирским летописям — казанским и тюменским (при этом не вполне понятно, какой Тюменью он владел — уральской на Туре или кавказской на Тереке). Судя по всему, одиссея хана Ибака охватила все эти улусы: в разное время он кочевал и воевал в союзе с ногайскими мурзами, владел Тюменским юртом, а в 1493 г. стал «казанским царем».

Каганские амбиции Ибака видны в его письме Ивану III 1494 г.: «Ино мне съчястье дал бог, Тимер Кутлуева сына убивши, Саинский [Батыев] есми стул взял» (Посольская книга 1984:48, 49).

Благодаря высокой мобильности и коммуникации кочевой элиты, ордынский пояс представлял собой политическую и культурную непрерывность, жил в одном ритме и по одной ясе (позднее во многих ордынских областях ясу Чингис-хана заместил ислам). Даже в XV–XVI вв., когда постордынский мир был фрагментирован, события в одном улусе вызывали цепную реакцию в других. Перемещения ханов и султанов по всему ордынскому поясу (например, крымских царевичей — в Казань, бухарских — в Сибирь, казахских — в Ногаи) исходили из убежденности Чингисидов в своем праве на все это пространство. Кроме того, ордынской элите была свойственна высокая демографическая мобильность благодаря обильной плодовитости гаремов и впечатляющей смертности из-за ставшей чуть ли не обычаем братоубийственной конкуренции. Междоусобица, иногда чудовищно жестокая, по-своему стимулировала движение элиты, а вслед за ней — кочевых улусов и оседлых жителей. Эти коммуникации поддерживали этнокультурную непрерывность ордынского пояса, и всякий раз очередная подвижка приводила к освежению этой непрерывности, а заодно к нивелировке культуры, языка и физико-антропологического облика населения смежных улусов.

Поздняя Орда иногда напоминала сутолоку бродячих войск, в которой вожди отнимали друг у друга целые улусы и армии. Классическим случаем такого рода был конец Большой орды хана Ахмата, казавшейся накануне «стояния на Угре» могучей армией. Львовская летопись под 1481 г. скупо описывает ее финал: «Егда же прииде [Ахмат] в Орду, и прииде на него князь Ивак Ногайский и Орду взя. А самого безбожного царя Ахмата уби шурин его, ногайский мурза Амгурчей» (ПСРЛ Т. 20 1910:346).

Выражение «Орду взя» означает, что Ибак не громил армию Ахмата, а просто отнял ее у хана-неудачника, застав его врасплох на зимовье близ Азова. Большая орда, преемница Золотой орды с 1430-х гг. (Кучкин 1991:27), легко перешла из рук в руки; обошлось даже без обильного кровопролития (не считая убийства хана). Двадцать лет спустя Большая орда в последний раз сменила хозяина и номинально прекратила свое существование —

весной 1502 г. у слияния рек Самары и Сулы ее хан Ших-Ахмет был разбит крымцами и бежал. На сей раз Орду «взя» крымский хан Менгли-Гирей, тут же объявивший себя преемником ордынских владык, а сыновья и племянники большеордынского хана «бежали в Россию и по обыкновению получили себе в управление волости и города» (Худяков 1923:76; Горский 2005:183). Подобные неожиданные, на первый взгляд, миграции элиты свидетельствуют о включенности Москвы в ордынский пояс и о ее статусе «укрытия царей».

Претензии Менгли-Гирея на «Саинский стол» (престол Батыя) еще менее соотносились с реальностью, чем амбиции его предшественников на этом поприще — Ахмат-хана и Ибак-хана. Укрывшись с трофейным престолом в Крыму (этой «неприступной с суши разбойничьей берлоге», по выражению В. О. Ключевского), он спровоцировал претензии других окраинных Чингисидов на номинальную верховную власть — уже не во всей Кыпчакской степи, а в своих улусах. Завоевательные стратегии уступили место ясачно-грабительским притязаниям мелких ханов и султанов на соседние земли и торговые перекрестки, а также захватам друг у друга этих «кормлений».

Частые переделы владений оживляли стихию «стайности» — своеобразную ордынскую демократию, выражавшуюся в переходах целых улусов и элей от побежденных к победителями (которые при этом постоянно менялись ролями). Ордынский пояс, утратив целостность и прочность, часто рвался и срастался уже из лоскутов. Перемещение силовых узлов по ордынскому поясу во многом связано с персональными качествами и мотивами кочевых вождей, а относительная устойчивость постордынского мира определялась: (1) высокой мобильностью кочевой элиты (прежде всего Золотого рода Чингис-хана); (2) привязкой орд к различным очагам оседлости (в «пустых местах» большие орды не собирались); (3) конкуренцией вождей с частой ротацией власти и перемешиванием степного населения.

Ордынский пояс был связан общей иерархией элит или, вернее, постоянно обновляющейся иерархизацией. Для степной элиты место во власти было ведущей мотивацией и смыслом мироустройства. Крымский хан Саадет-Гирей, едва вступив на престол после смерти Мухаммед-Гирея в 1523 г., изложил свою картину

мира в письме великому князю московскому Василию III: «И как [турецкий] салтан Сюлеймен Шаг таков у меня брат есть, так же и астороканской Усейн-царь, то мне брат же. А и в Казани Саип-Гирей цар[ь], и то мне родной брат, и с ыную сторону — казатцкой цар[ь], то мне брат же, а [ногайский] Агыш княз[ь] мой слуга. А с сю сторону черкасы и тюмени мои же, а [польский] король холоп мой, а волохи — и то мои нутники и стадники» (Зайцев 2004:99).

Траектории вождей впечатляют протяженностью и извилистостью. Например, путь хана Тохтамыша в конце XIV в. начинается в пространстве Кок орды (Синей орды), где под опекой Тимура хан двинулся в первые походы. Затем, после «великой замятни» и пресечения династии Батыя, Тохтамыш захватил власть в западной части Орды (Белой орде, Ак орде), кочевал с войной по Средней Азии, Закавказью, Крыму, Литве и Руси, после чего, разбитый Тимуром, укрылся в Тюмени — не то за Кавказом, не то за Уралом. Если учесть, что маневры хана сопровождались миграциями и смешением улусов и элей, то очевидна его роль (несмотря на неудачи) в поддержании ордынской коммуникации.

Вместе с Чингисидами и независимо от них татарские беки и мирзы мигрировали из улуса в улус, в том числе через Волгу и Урал. По сообщению татарской летописи, «пришел Мир-Тимур [эмир Тимур] и взял Болгар, разорил», а сын правителя Булгарского вилайета хана Абдуллы по имени Алтун-бек перешел в «город Казань», где «держал юрт»; другой сын хана, Алим-бек, «не возлюби Казань, пришел в Тобол-Туру… держал [там] юрт. Старая Тобол-Тура построена им»; по воле Ибака предки ряда башкирских родов переселились с берегов Иртыша к «Чулману» (Исхаков 2010:20, 30). В 1509–1515 гг. под нажимом крымцев ногайские мирзы переправились с правого берега Волги на левый, а в 1519 г. под натиском казахского хана Касима перекочевали назад (Исин 1985:41–44). После гибели хана Хакк-Назара в 1580 г. «многие из Казатцкие Орды люди розошлися по иным землям — в Ногаи и в Бухары»; по сообщению ногайского бия Уруса, в 1581 г. двадцать тысяч казахов явились к нему, а остальные во главе с новым царевичем отступили на Иртыш (Трепавлов 2002:370, 371).

Помимо элей и улусов, по ордынскому поясу текли потоки невольников, ради которых совершались многие кочевые рейды. Основными рынками рабов в Причерноморье были Азов, Кафа

(и далее Стамбул), в Прикаспии — Астрахань, в Средней Азии — города Мавераннахра. Рабы были самым ходовым товаром, мерилом престижа, предметом роскоши и удовольствий, обслугой и «строительным материалом», строившим для себя селения. Захват ясыря сам по себе был азартным промыслом, а его дележ, дарение и перераспределение — основой идеологии господства и этики элитных связей. В плане колонизации этот «кругооборот ясыря» был механизмом миграций, смешения, кооперации и размножения — ордынский пояс поглощал и переваривал разноэтничное население соседних народов и стран.

Сила хана или султана измерялась численностью его войска, и не случайно подобными сведениями (нередко эпически преувеличенными) пестрят известия о степных владыках и войнах. Эта сила могла ситуативно колебаться от горстки приближенных до огромной армии, и важной ее характеристикой была скорость сбора войска. По словам Ибн Рузбихана, когда старший хан казахов, Бурундук, «во все стороны улуса казахов посылал: “садитесь на коней для набега”, то в тот же час являлись четыреста тысяч колчанов богатырей» (Султанов 1982:88). При этом собственная гвардия хана могла быть немногочисленной — например, у хана Ибака его собственных «казаков» насчитывалось всего около тысячи, а остальное войско составляли «улусники», которых хан мобилизовал и, по своему усмотрению, перемещал (Исхаков 2010:23).

Степная демократия выражалась в том, что улус мог однажды не явиться на зов хана и покинуть его. Этот своеобразный плебисцит — голосование сбором (за) или откочевкой (против) — случался обычно осенью, в преддверие сезонных набегов. Например, осенью 1511 г. тот самый Бурундук, который собирал четырехсоттысячное войско, в одночасье оказался ханом без орды и уже в роли изгнанника удалился к своей дочери в Самарканд, где умер на чужбине; преемник Абу-л-Хайр-хана, Шайх-Хайдар-хан, однажды разослал во все стороны своих владений призыв к сбору для сражения с Айбак-ханом, но «люди и войско не собрались» (Султанов 1982:115, 116). Общая ситуация наращения и сокращения войска и власти у ханов и султанов во многом зависела от их персональных качеств и успехов конкурентов — соседние орды и улусы сплетались в силовую сеть,

внутри которой перетекала кочевая масса ордынцев, эпизодически скапливаясь в одних узлах и растворяясь в других. Ритмы расхождения и схождения чередовались, создавая динамику — своеобразное дыхание — ордынского пояса.

Степная демократия нередко оборачивалась смутой после смерти хана,[7] особенно успешного завоевателя и собирателя земель. Например, в 1512–1518 гг. огромное пространство от Волги до Иртыша с миллионом подданных находилось под властью 60-летнего казахского хана Касима, но после его смерти в 1521 г. орда едва выжила: его преемник Мамаш-султан неожиданно умер в сражении от удушья, а Тахир-хан (1523–1524), отступая под ударами ногаев с Яика в Кочкару, сохранил лишь пятую часть войска: «люди, которых было около четырехсот тысяч, вдруг отвернулись от него и рассеялись»; «весь народ разом отделился и покинул его»; «он остался среди киргизов и умер в самом несчастном положении» (Султанов 1982:21, 82, 116; Абусеитова 1985:43, 44).

Казахская и Ногайская орды — типично уральские по своей окраинности и кочевой демократии, хотя первой правили Чингисиды, а второй — мирзы из рода Эдиге. Их корни и устои связаны с «голосованием откочевкой», или «казачеством». История казахов («киргизских казаков», киргиз-кайсаков) началась в 1450-е гг., когда султаны Гирей и Джанибек увели у Абу-л-Хайр-хана часть кочевых «узбеков» (около двухсот тысяч) в Могулистан, где их прозвали *узбак-казак* — «казакующие» (отколовшиеся, свободные) узбеки. После смерти Абу-л-Хайр-хана в год мыши (1468) Гирей и Джанибек вернулись в Узбекский улус и захватили там верховную власть, частью истребив, частью изгнав своих соперников. Прежнее двойное название, имевшее смысл в Могулистане, в Узбекском улусе сохранилось наполовину — *казаки* (Султанов 1982:114).

По-своему «казачьей» была и Ногайская орда, раскинувшаяся от Волги до Иртыша. Ее элиту образовали мангыты, в 1391 г. уведенные бием (князем) Эдиге из владений Тимура в отдаленное междуречье Яика и Эмбы. В. В. Трепавлов, посвятивший Ногайской орде обстоятельное исследование, отмечает, что главная

[7] По наблюдению Т. И. Султанова, «почти всякий раз после смерти хана в степи наступали смутные времена» (Султанов 1982:85).

особенность ногаев состояла в их «казачестве» (состоянии отколовшейся бродячей орды), а имя свое они получили, скорее всего, не от беклярибека Ногая (конец XIII в.), а от хана Тугатимурида Кара-Ногая (середина XIV в.) (Трепавлов 2002:140, 488). Рискну допустить, что им все же досталось имя Ногая, но не как собственное имя правителя, а как нарицательное обозначение бека-раскольника, отложившегося от Золотой орды на дунайской ее окраине. Преобразования имен собственных в нарицательные у ногаев обычны: например, от Нур ад-Дина пошел титул *нурадин* (князь правого крыла), от Кой-Кабады — *кековат* (князь левого крыла). Впрочем траектории названий у кочевников настолько подчас замысловаты, что их разыскания удобнее завершать обычной для мусульманских сочинений ссылкой «а Аллах лучше знает».

Казахи и ногаи сходны «казачеством» («ногайством») и кочевой демократией, не отягощенной устойчивым единоначалием. Уральские орды выглядят вольными на фоне жесткой иерархии Коренного юрта, Золотой орды или Крымского ханства. Они более всего подходят под определение «вольной степной колонии», поскольку создавались отколовшимися от основных ханств вождями. Изгойство султанов и беков — обычный мотив позднеордынской колонизации, когда в степи действовал маховик «рассеяния царевичей»: элита одинаково бурно плодила (в гаремах) и губила (в усобицах) потомство, и многие царевичи находили спасение в свободном кочевье — казачестве.

Дочерние улусы вырастали и из «крыльев» орды. Ногаи и казахи естественным для кочевников образом не только собирались в орды, но и делились внутри орд — в боевом порядке, в регулярной мобилизации — на десятки, сотни, тысячи, тумены (тюмени), крылья. Султаны и князья не имели прав на землю (территорию), но распоряжались своими войсками; а коль скоро война была ведущим мотивом социальной организации, военачальники нередко воспринимались как родоначальники. Со временем в Казахском ханстве обособились Улу жуз (Большой, или Старший, жуз), Орта жуз (Средний, или Серединный, жуз) и Киши жуз (Малый, или Младший, жуз) (Султанов 1982:83). В Ногайской орде выделялись части бия (центр), нурадина (правое крыло) и кековата (левое крыло); кроме того, ногаи раздели-

лись по берегам Волги на Большую (бия Исмаила) и Малую (мирзы Гази) орды (Трепавлов 2002:311).

Иерархизация одновременно структурировала и фрагментировала ордынский пояс. Доминирование одной части над другой определялось «по даругам»: в подчиненные земли направлялись *даруги* (управляющие и сборщики налогов, баскаки), отчего округа тоже назывались *даругами* или *дорогами*. В «Шейбанинаме» при описании событий 1429–1430 гг. рассказывается о назначении даругами в подвластную Абу-л-Хайру область Чимги-Туры знатных лиц из племени кушчи, найман, уйгур, кунграт, дурман (Исхаков 2010:17). В свое время даруги (баскаки) собирали татарскую дань на Руси: помимо московского даруги, упоминаемого в Симеоновской летописи под 1432 г., были даруги в Твери, Нижнем Новгороде и Рязани (Вернадский 1997:451–485). На «дороги» были поделены земли башкир, и Сибирская, Ногайская, Казанская и Осинская *дороги* сохраняли свои административные очертания в Башкирии до XVIII в. (Чагин 1995:50–52). Земли Казанского ханства делились на пять *даруг* — Алатскую, Арскую, Галицкую, Зюрейскую (или Чувашскую) и Ногайскую; в русских источниках даруги отождествлялись с дорогами, ведшими из Казани в Алат, Арск, Галич, Зюри и Ногаи (Худяков 1923:19; Чураков 2005:142, 143). Право даруги (дороги) читалось так: кто направляет *даругу* (*дорогу*), тот и правит.

От Казани до Сибири

После «великой замятни» ордынский пояс ослаб, но его остаточный потенциал послужил успехам московской колонизации. Приемы дипломатии и подчинения ордынских владений первоначально были выработаны в треугольнике Москва–Касимов–Казань. Роль татарских (прежде всего касимовских) царей и царевичей — ключевая не только в судьбе Московского царства (см. гл. 6), но и в русском движении на восток. «Родство в ордизме» долгие годы обеспечивало взаимопонимание Казани и Москвы, несмотря на языковые и религиозные различия, равно как и подогревало конкуренцию за первенство в одном геополитическом поле.

Становление Казанского царства связано с московско-ордынскими контактами и конфликтами на Волжском пути. Великая Булгария, жестоко разгромленная монголами, в ордынскую эпоху

сохраняла самобытность благодаря окраинности в пределах кочевой империи — ханы предпочитали лесам степи, и область слияния Волги и Камы оставалась отдаленным улусом. В 1361 г. Булгар достался беку Булат-Тимуру, который в 1370 г. был разбит русскими войсками и бежал на Нижнюю Волгу. Булгаром овладел бек Хасан («Осанн» русских летописей), но его, опять-таки силой московских войск, сместил беклярибек Мамай, посадив в Булгаре своего ставленника Мухаммед-султана. Изгой Хасан поднялся по Волге к устью Камы и в ста верстах от Булгара в 1370-е гг. основал новый город, названный его именем — (в переогласовке) «Казань» (Худяков 1923:20; Егоров 1985:63, 102–104). Казань с первого дня была перекрестком влияния Москвы и Орды и уже в 1376 г., после похода московско-суздальской рати, приняла русского даругу (Любавский 1996:259). В 1436 г. низложенный ордынский хан Улу-Мухаммед, внук Тохтамыша, отступил сначала с Волги в Крым, затем откочевал на Русь, заняв город Белев, после чего поднялся по Волге и взял Казань. Явление в 1438 г. хана-изгоя Улу-Мухаммеда и его трехтысячного войска выглядело татарской колонизацией края и стало вехой образования Казанского ханства (Худяков 1923:22, 23). Примечательно, что и это окраинное для Орды ханство возникло как убежище хана-казака и его гвардии.

После успешных походов Улу-Мухаммеда на Москву в 1439 и 1445 гг. русско-татарские отношения приобрели вид унии, а появление внутри Московии Касимовского царства обогатило связи Казани и Москвы взаимными притязаниями по родству, поскольку султан Касим был братом казанского царя Махмутека. Казанцы и московиты (касимовцы) так же непринужденно воевали друг с другом, как и мирились: например, после неудачных военных приготовлений казанский Али-хан (Ильхам) и Иван III сошлись на мире по правилу «быть другом с другом и врагом с врагом». Обоюдной была даже дань: присутствие в Казани московского даруги не исключало встречной московской платы казанскому (как и касимовскому) царю (см.: Нольде 2013:134, 139). При сыновьях хана Ибрагима рука Москвы легко дотягивалась до Казани. Например, царевич Мухаммед-Эмин (Махмет-Амин) еще в детстве отъехал в Москву и получил от великого князя в кормление Каширу, в то время как его брат Али-хан (Ильхам) правил

в Казани. В 1487 г. произошла «рокировка»: рать Мухаммед-Эмина и кн. Даниила Холмского взяла Казань, место Али-хана занял Мухаммед-Эмин, а Али-хан был увезен в Москву; отныне Мухаммед-Эмин сидел в Казани, а Али-хан — в Москве (затем в ссылке в Вологде). В 1490 г. казанцы, касимовцы и крымцы дружно участвовали в походе против Большой орды. В конце XV в. казанско-московские связи укрепились настолько, что Мухаммед-Эмин правил Казанским царством в качестве московского присяжника и данника, при нем был московский даруга Федор Киселев, а Иван III присоединил к своему титулу звание «Болгарский». В 1500 г. казанский хан Мухаммед-Эмин командовал московской армией в войне с Литвой. Граничащая с побратимством прочность казанско-московских уз выражалась в том, что Кашира и Звенигород — два коренных города, которые считались уделами старшего и второго сыновей московского князя, — были отданы в кормление казанским царевичам Мухаммед-Эмину и Абдул-Латифу (Худяков 1923:52, 55–59; Любавский 1996:260, 261; Нольде 2013:138).

Реваншем Орды стала северная стратегия держателя «Саинского стула» Менгли-Гирея. В притязаниях на Казань крымский хан в очередной раз использовал брачно-родственные узы: он предусмотрительно взял в жены (в гарем) Нур-Султан, овдовевшую казанскую ханшу, мать казанского царя Мухаммед-Эмина. Когда в 1518 г. Мухаммед-Эмин умер, не оставив наследников (династия Улу-Мухаммеда пресеклась), крымские Гиреи заявили претензии на казанский престол наперекор Москве, сажавшей в Казань касимовских царевичей. С той поры политика Казани напоминала шахматную партию, в которой двигали фигуры правители Крыма и Москвы.

В 1519 г., когда по воле Москвы касимовский царевич Шах-Али (Шигалей) был провозглашен казанским царем, из Крыма в Казань уже собирался царевич Сахиб-Гирей, который в 1521 г. прогнал Шах-Али и занял казанский престол; в 1524 г. его сменил крымский султан Сафа-Гирей, правивший в Казани больше 20 лет до 1549 г. с четырехлетним перерывом (1532–1535), когда в Казани сидел касимовский царевич Джан-Али (Нольде 2013:140–143). Тридцать лет с короткими «касимовскими паузами» в Казани царствовали крымские Гиреи: Сахиб-Гирей (1521–1524),

Сафа-Гирей (1524–1532; 1535–1546; 1546–1549), Утемиш-Гирей (1549–1551) (Трепавлов 2002:216).[8]

Десятилетие пассивности Москвы в пору малолетства Ивана IV не сгладило противоречий между казанской знатью и крымской свитой Сафа-Гирея. В 1546 г. казанцы (татары Кадыш и Чура Нарыков, а также Тугай от горной черемисы) запросили в Москве Шах-Али на царство. Правда, и на этот раз он оказался «халифом на час» и вскоре был изгнан Сафа-Гиреем при поддержке ногаев. Б. Э. Нольде полагает, что именно тогда Иван IV потерял надежду на «своего хана» в казанской междоусобице и пришел к мысли «об уничтожении Казанского царства» (Нольде 2013:147).[9] По наблюдениям М. Г. Худякова, до 1552 г. «войны между Казанью и Москвой с обеих сторон нельзя назвать завоевательными»: три вторжения казанцев (1439, 1445 и 1521 гг.) и пять походов московитов (1469, 1487, 1506, 1524 и 1530 гг., не считая кратких рейдов 1478, 1523, 1545, 1549 и 1550 гг.) не имели целью территориальные захваты (Худяков 1923:121).

Взятие Казани в 1552 г. было уже завоеванием и сопровождалось заменой хана московским наместником, а также «уничтожением татарской аристократии» (Нольде 2013:159) и замещением ее московской знатью, что вполне в духе тотальной колонизации с «выводом бояр». На место князей и мурз в Казань прибыли московские воеводы и дьяки; вновь построенные крепости Свияжск (1551), Алатырь (1552), Лаишев (1557) были заселены стрельцами и казаками. «Таким образом, первая здешняя русская колония (которая оказалась не единственной) возникла в результате изъятий больших территорий, ранее принадлежавших казанскому царю и его правящему классу, практически уничтоженному в ходе завоеваний» (Нольде 2013:195, 196).

Однако во взятии Казани участвовали не только русские, но и «московские татары» (касимовцы), а также Шах-Али и казанские князья Чапкун Отучев, Бурнаш, Костров и другие (около 500 че-

[8] Крымский хан Мухаммед-Гирей заявлял претензии и на Касимов — например, в 1516 г. он предлагал поставить касимовским царем крымского султана Сахиб-Гирея вместо Шах-Али (Худяков 1923:76).

[9] Другие авторы считают, что Иван IV вплоть до января 1552 г. не имел намерений включать ханство в состав России, и лишь беспомощность Шах-Али подтолкнула его к взятию Казани с заменой хана русским наместником (см.: Котляров 2005).

ловек) (Худяков 1923:131). Кроме того, в казанской драме особую роль сыграли ногаи, предводитель которых, бий Исмаил, видел в Москве союзника (в частности, в борьбе с Крымом). Именно ногаи возвели на казанский престол астраханского царевича Едигера, который прежде восемь лет служил на Руси, затем перебрался в Ногайскую орду, после чего стал последним ханом Казани, а после поражения снова вернулся в Москву, где был крещен как Симеон Касаевич.

За взятием Казани последовала тотальная московская колонизация края «всем миром» с участием князей, дворян, крестьян, служителей культа. В первую очередь земли получили князья Гагарины, Темкины-Ростовские, Сицкие, Ушатые, Щетинины, Засекины, Булгаковы, Мезецкие, Лобановы-Ростовские, Бахтеяровы-Ростовские, Стародубские и др. Князья и дети боярские осваивали новые владения силами своих крепостных и слуг. В 1566 г. в Свияжске числилось 28 русских князей и детей боярских, которым принадлежало 30 деревень с 543 крепостными. Следом хлынул поток купцов, ремесленников, промысловиков и бродяг, которые становились волжскими рыбаками, грузчиками или разбойниками (Нольде 2013:208–213).

Особую роль к колонизации играла православная церковь, которая «шла вслед за русским войском и внедрилась в Казани сразу после ее падения»: в 1556–1557 гг. архиепископу Казанскому и Свияжскому Юрию воевода Петр Шуйский пожаловал рыбные угодья и землю по обоим берегам Волги вблизи устья Камы; за десятилетие во всех уездных городах появились церкви, а в Казани — два десятка, в большинстве каменные. Развернувшееся крещение татар играло роль присяги новой власти. По словам Б. Э. Нольде, «крещение давало татарам что-то вроде гражданства, которое юридически уравнивало их с русскими. С XVI в. крещеные стали занимать местные административные должности. Те из них, кто принадлежал к княжеским родам, получали высокие посты при московском дворе и в правительстве, иногда становились воеводами в уездах, населенных их соотечественниками и бывшими единоверцами» (Нольде 2013:203, 234, 237).

Многое из случившегося в Казани на свой лад повторилось в Астрахани. Подобно Казани, Астрахань была крупным «базаром» на Волжском пути и представляла собой не столько само-

стоятельную орду, сколько ханскую резиденцию и таможню, приносившую обильный доход от продажи рабов, рыбы и соли. С распадом Орды в середине XV в. Астрахань стала прибежищем большеордынских ханов, зависящих в своей власти от соседей: как за Казань боролись правители Крыма и Москвы, так за Астрахань — ханы Крыма и мирзы Ногайской орды. В известном смысле Астраханское царство во владениях Ногайской орды напоминало Касимовское царство в пределах Московии. В 1520-е гг. Астрахань, как и Казань, подпала под крымское влияние.

Москва была вовлечена в далекие для нее астраханские дела чуть ли не поневоле. Крымцы и ногаи видели в ней не нарождающуюся империю, а покладистую пособницу в обустройстве Нижнего Поволжья. Предводители орд поочередно зазывали Москву в астраханские распри. Например, крымский хан Мухаммед-Гирей предлагал московскому князю занять Астрахань и оставить в ней гарнизон: «Великого же князя людем сидети тысячи три или четыре с пушками и с пищалми, и рыба и соль, что надобное, то брату моему великому князю, а моя толко бы слава была». Саадет-Гирей весной 1524 г. провоцировал Василия III к походу на Астрахань: «А учнеш Азсторокан воевати, Волгою суды запроважу, а полем конную рат[ь] пошлю, так же и на ногаев, недругов твоих рат[ь] пошлю, а водою будет суды надобе, и яз суды пошлю» (Зайцев 2004:81, 104). В свою очередь ногайский нурадин Исмаил в 1551–1552 гг. не раз склонял Ивана IV воевать Астрахань и посадить туда Дервиш-Али, а после взятия Казани предлагал объединить в походе на Астрахань ногайскую конницу и русскую судовую рать (Трепавлов 2002:262, 263). Поддаваясь на уговоры, московский царь в 1549–1551 гг. все еще скрывал за рейдами казаков свои притязания на Астрахань (Зайцев 2004:143, 145).

Астрахань была скорее символом власти, чем ее средоточием. «Чехарда» ханов выражалась в частом, если не регулярном, переходе ставки из рук в руки между ногаями, крымцами, черкесами и русскими. И внешне Астрахань слабо напоминала неприступную крепость, располагаясь (или даже перемещаясь) по островам, а ее «фортификации» состояли из присыпанного землей камышового плетня (Зайцев 2004:109, 166). Неудивительно, что ее легко брали ногаи, крымцы и казаки, и в 1556 г. русские воеводы вошли в город без выстрела.

В 1550-е гг. Москва взяла не просто города Казань и Астрахань, она взяла Волгу — ключевую магистраль Северной Евразии, перекресток коммуникаций Юга, Севера, Запада и Востока. На Волге сходились водные и степные пути русских, татар и финно-угров. Великая река во все времена была руслом геополитики, по которому шел поток власти и рабства, и до Москвы никто не обладал ею целиком. Контроль над Волгой открыл Москве горизонт всей Евразии, и за Волгой началась Российская империя.

Взятием Казани и Астрахани Иван IV во многом обязан ногайскому бию Исмаилу. При наступлении Москвы на Казань в 1552 г. Исмаил (тогда еще нурадин), вопреки воле брата Юсуфа, предотвратил контрудар ногаев, а в 1554 г. обеспечил успех рати Юрия Шемякина-Пронского при взятии Астрахани, хотя сам не участвовал в походе. При этом Исмаил достиг своей цели — обрел высоту в ордынском поясе, сокрушив руками Москвы волжских ханов и ущемив господство крымского хана.

Мирза Исмаил проложил Москве путь и в Сибирь. Под его воздействием Москве присягнули башкиры, состоявшие в подчинении у ногаев. Его присяга Ивану IV в 1554 г. — «нагаи... ныне все ко государю нашему приложилися и шерть дали на том, что им во всяких делах слушаться государя нашего» (Кобеко 1886:12) — побудила сибирского князя Едигера в январе 1555 г. бить челом Ивану IV, чтобы он землю Сибирскую взял «во свое имя и от сторон ото всех заступил и дань свою на них положил и дорогу своего прислал, кому дань собрать». В ответ московский царь объявил, что принимает Сибирь «под свою руку» (ПСРЛ Т. 13 1965:248) и к титулам своим добавил «всеа Сибирскыа земли повелитель» (Преображенский 1964:384). Иван IV направил в Сибирь своего *даругу*, сына боярского Дмитрия Непейцына, и хотя дань собиралась неисправно, сибирский князь числил себя подданным русского царя. В 1557 г. ногайский князь Исмаил вторично принес шерть царю Ивану IV, назвав себя холопом московского царя, и за ним тут же последовал Едигер, приславший в Москву шертную грамоту в том, что «учинил князь в холопстве, дань на всю свою землю положил и вперед ежегод беспереводно та дань царю и великому князю со всей Сибирской земли давати» (ПСРЛ Т. 13 1965:285).

После первой присяги Едигера Сибирь «воевал шибанский царевич и людей поимал многих» (ПСРЛ Т. 13 1965:276), а после

второй присяги этот царевич — Кучум — убил Едигера (и его брата-соправителя Бекбулата) и взял Сибирь. Судя по хронологии, нашествие Шибанидов (султана Кучума в компании с отцом Муртазой и братом Ахмет-Гиреем) на Сибирь было ответом на переход князя Едигера в подданство Москвы (в историографии последовательность событий обычно выглядит иначе, будто агрессия бухарских Шибанидов подтолкнула Едигера к Москве).

Едигер следовал воле Исмаила не только потому, что Сибирский юрт в 1550-е гг. находился в орбите влияния Ногайской орды (не исключено, что сибирские князья и сами происходили из ногаев-мангытов). Общая геополитическая ситуация зависела от того, кто перетянет «ордынский пояс», и в середине века Москва неожиданно для степных соседей выступила в роли победоносной державы. Сибирские князья следовали за казанцами, астраханцами, ногаями, башкирами, а бухарские ханы, подобно крымским, пытались удержать за собой ордынский пояс. Северный поход бухарских султанов напоминает реванш «старого ханства», в династийных счетах выглядящий как «возвращение Шибанидов».

Сюжет «легитимности» Кучума в Сибири уходит на столетие вглубь, когда его дед (или прадед), хан Ибак, в 1460–1470-е гг. утвердился за Уралом, убив своего шурина, сибирского князя Мара из «Тайбугина рода» (убийство — вполне обычный, т. е. «легитимный», путь к власти в орде). В 1495 г. внук убитого Мара, Мамет, убил Ибака, разрушил прежнюю ханскую ставку Чимги-Туру, «и отойде оттуду внутрь Сибирские земли, и постави себе град на реке Иртыше, и назва его град Сибирский» (СЛ 1907:273). В свою очередь внук (или правнук) Ибака, султан Кучум, в 1563 г. убил сибирских князей из «Тайбугина рода» Едигера и Бекбулата с их сыновьями (за исключением Сейдяка) и утвердился в качестве Сибирского хана. Таким образом, «легитимной» (устоявшейся) в Сибири можно считать не династию, а традицию вражды и взаимных убийств Шибанидов и Тайбугидов. Этот контекст объясняет последующие маневры Кучума, в частности его опасения, колебания и отступления.

Мотивации и миграции султанов и князей были двигателями колонизации, в том числе появления новых окраинных юртов. В истории города Сибири (Искера, Кашлыка) примечательны па-

раллели с историей Казани в том, что оба городка были основаны местными князьями (на Иртыше — Маметом, на Волге — Хасаном), удалившимися от прежних ханских ставок. Изначально эти «бекства» представляли собой окраинные «княжеские заимки», в которых укрылись изгои. Разросшиеся до улусов, они стали центрами торга и сбора дани, а потому привлекательной добычей для бродячих султанов. Захват этих «бекств» Чингисидами поднял их статус до ханств (царств), а приход султанов и их гвардии изменил этнокультурный облик ордынских колоний: крымский султан Сафа-Гирей прибыл в Казань с крымцами и ногаями, бухарский султан Кучум пришел в Сибирь из Бухары с сартами.[10] В обоих случаях вновь образованные северные (лесные) ордынские колонии поддерживали связи с южными метрополиями — Крымом и Бухарой.

Примечательно, что на покорение Сибирского юрта Кучум двинулся в сопровождении мулл, ахунов и абызов, «чтобы провести дело обращения... с большой настойчивостью и успехом» (Миллер 1 2005:194; Исхаков 2010:27). Семь лет Кучум вел борьбу с местной знатью, насаждая ислам. По преданию, бухарский хан Абдулла трижды отправлял в Кашлык шейхов и сеидов, а незадолго до прихода Ермака в Сибирь прибыл Шербети-шейх с сотней всадников (Скрынников 1986:92). В этом эпизоде теополитики видится прямая аналогия с синхронной колонизацией русскими Поволжья, куда воеводы явились в сопровождении служителей церкви.

Столицы этих колоний нередко рисуются городами с царскими палатами и тронами. Однако, как уже говорилось, оседлость в городе в ордынское и постордынское время была для кочевника признаком слабости или старости. Историки доискиваются, в каком из покоренных городов проживал хан Улу-Мухаммед — Казани или Нижнем Новгороде (Вельяминов-Зернов 1863:8, 9), тогда как на самом деле он жил в кочевой юрте. Так же вел себя хан Кучум, который «бродил» не потому, что лишился крова по

[10] По преданию сибирских татар, войско Кучума разделялось на пять частей, из которых четыре назывались по землям (Кордак, Туралы, Аялы, Бараба), а пришедшие с ханом из Бухары и занявшие столичный округ — Сарты (Катанов 1896:10). Для степных кочевников в слове *сарт* заключен смысл «оседлый житель», городской и сельский, на каком бы языке он ни говорил (Бартольд 5 1968:189).

милости Ермака, а потому, что был кочевником и даже на склоне лет не изменял этому царскому образу жизни.

Города по всему ордынскому поясу — от Сарайчика на Яике до Бахчисарая в Крыму — представляли собой базары и ставки (обычно зимовья) правителей.[11] Слово *сарай* (перс. *sarāi* — «дворец») первоначально означало резиденцию правителя, а из-за соседства рынка могло распространиться на складские помещения. Нередко ордынские сараи-базары устраивались у переправ через большие реки (Астрахань, Казань, Сарайчик), благодаря чему служили удобными таможнями и стратегическими узлами передвижений. В этом случае правитель собирал мзду не только за торговлю и провоз товара, но и за переправу (известны платы за переправы через Волгу, Яик, Белую). Кроме того, ордынские столицы были центрами культа и ритуалов. Например, в Сарайчике на Яике располагалась ставка саида и *курук* — некрополь Джучидов и усыпальницы ногайских мирз (Бартольд 1966:395; Трепавлов 2002:589, 590).

Ордынские города населяла по большей части не знать (она кочевала в степи), а промысловики, ремесленники, торговцы, землепашцы, бурлаки, паромщики и другие работники и рабы. В Астрахани и Сарайчике оседлых горожан называли *тумаки*; их не брали в войско («сараичевские люди — не воинские»), а при угрозе захвата города отгоняли в безопасное место, иначе они становились добычей победителей. По преданию, после казачьего погрома Сарайчика в 1581 г. местные тумаки были переселены в Хиву (Трепавлов 2002:585–588, 591). Подобная подвижность «горожан» объясняет, почему захватчикам часто доставались пустые города, а сибирская столица Искер переходила из рук в руки всякий раз обезлюдевшей.

Всех, кто видел остатки Искера (Кашлыка), смущали малые размеры Кучумова городища и скудость археологических находок. Николай Спафарий в 1675 г. назвал его «островом» (Спафарий 1882:45); В. Н. Пигнатти, проводивший в 1915 г. его раскопки, настаивал на его статусе города, но признавал:

> Площадь земли, занятой крепостью, была мала, и нельзя как будто бы допустить, что здесь находился город и могло посто-

[11] Г. И. Перетяткович полагал, что ногайский Сарайчик был торговым центром и зимовьем мангытского государя (Перетяткович 1877:139, 523).

> янно жить значительное количество людей. Вернее, что здесь жил властитель, его приближенные, прислуга и стража, — все это, конечно, в ограниченном числе; здесь же во время вражеских нападений собирались и войска (Пигнатти 2010:200).

Последняя догадка — явно связана с русским стереотипом «города». Кочевники, напротив, в случае угрозы избегали заграждений, предпочитая им сколь угодно дальние маневры. И Кучумов городок, судя по летописям, ни разу не осаждался, поскольку пустел при подходе врага. Малую площадь городища принято объяснять размывами Иртыша, однако расположение Искера крайне неудобно для оседлой жизни. Археолог А. П. Зыков, копавший Кучумово городище в 1988 и 1993 гг., живописует:

> Условий хуже, чем здесь, мне испытывать не приходилось... Раскоп на маленькой площадке, расположенной на самом краю 60-метрового почти отвесного обрыва... Оба полевых сезона раскопок на Искере неизменно стояла жаркая безветренная погода. Впрочем, скорее, это можно было считать благом — при сильном ветре и дождях работа здесь просто невозможна. Но самой главной проблемой искерской экспедиции было отсутствие воды. И это на берегу величайшей сибирской реки! Вода, вот она — рядом, внизу под обрывом. Но на многие километры ни одного сколько-нибудь удобного спуска, только отвесные обрывы или очень крутые склоны. С другой стороны речка Сибирка — огромный лог глубиной 40–55 метров, склоны которого, крутые сами по себе, еще и завалены в несколько слоев осклизлыми стволами упавших деревьев (Зыков 2010:115, 116).

Достаточно побывать на Кучумовом городище под Тобольском, чтобы задуматься об эфемерности городов у кочевников. Возможно, «столица» была удобна для обзора окрестностей, сбора ясака, торговых встреч, остановок в зимнее время. Не исключено, что неподалеку от городища находились усыпальницы знати (*астана*), требовавшие присмотра. Прибывшие с султаном сарты наверняка использовали свои строительные навыки, но вряд ли им приходило в голову возводить крупный город на крутом осыпающемся обрыве без доступа к воде. Не исключено, что известное ныне городище было лишь последним местонахождением «сарая-базара» и городок Сибирь перемещался с места на

место, как это происходило с другими ставками ханов и биев. На границу тайги бухарского султана привела стратегия контроля над иртышской магистралью с сетью факторий, селений и охотничьих угодий. Искер представлял собой северный узел этой обширной сети и ключ к таежным ресурсам с доступом к податному населению остяков и их пушному ясаку. Царь Кучум едва ли подолгу наслаждался уютом землянок, ибо ритм его жизни состоял в кочевьях по всему Прииртышью.

Тайга Зауралья не притягивала к себе больших степных орд, поскольку не представляла собой богатых угодий для грабежей-кормлений вроде Мавераннахра или Руси. Кроме того, западносибирские буреломы служили естественной преградой для степняков, и, судя по преданиям хантов, татарская конница гибла в болотах (Головнёв 1993:145, 146). И все же влияние степняков оставило настолько глубокий след в памяти жителей тайги, что до недавних пор они называли любого правителя ханом (например, в языках коми, хантов и селькупов «царь» — *кан*, *кон*, *хон*). Отзвуки ордынской эпохи слышны в именах и фамилиях остяцкой и вогульской знати — Аблегирим, Алачев, Мурзин, Тайшин.

Переменчивый сентябрьский год

С взятием Казани обычно связывают движение на Урал Строгановых: например, С. В. Бахрушин полагал, что «падение Казани открывало доступ “на вершину Камы, на места изобильные”... Казань пала в 1552 г., а уже в 1558 г. сольвычегодские промышленники Строгановы ходатайствуют о разрешении обосноваться на новых “местах пустых”» (Бахрушин 1955:96). Однако события эти связаны не столь прямолинейно.

Строгановы варили соль на Каме с начала XVI в., задолго до взятия Казани, а до них почти век этим занимались посадские люди Калинниковы из Вологды, устроившие соляной промысел сначала на р. Боровой, а в 1430 г. на р. Усолке, основав Усолье Камское (Соликамск). Первые русские колонии-фактории на Урале были выведены из Новгорода, и число торговых лавок в них (в Чердыни — 67, в Соли Камской — 26 в 1579 г.) свидетельствует о торговом характере колонизации (Берх 1821:3, 4, 188, 198), в которой Строгановы были не пионерами, а последователями своих новгородских соотечественников. Энергично осваивать

Средний Урал Строгановы принялись в 1558 г., причем, как заметил А. А. Введенский, «сразу с широким размахом» — заведением соляных и железоделательных промыслов, пашен и поселений (Введенский 1962:32). Вряд ли это случилось потому, что они вдруг разведали новый промысел на Каме или осознали выгоду торговли солью.[12]

«Промышленная колонизация» Строгановых, будучи исходно новгородской, по стилю напоминает колониальную практику английских и голландских компаний. И речь может идти не только о сходстве, но и о конкуренции английского и строгановского проектов (см. рис. 9). Трудно сказать, как далеко размахнулись бы Строгановы в своих притязаниях, если бы Иван Грозный не был встревожен успехами английских купцов-искателей, быстро освоивших Волжский путь и рвавшихся к Оби. Не исключено, что земли на Каме были срочно отписаны Строгановым для того, чтобы перекрыть англичанам ход с Волги на Обь (см. раздел «Дело Строгановых» в гл. 9). В середине 1550-х гг. Иван IV в грамоте к английскому королю Эдуарду VI не упустил случая предъявить свой недавно приобретенный титул «повелителя всея Сибири» (Commander of all Siberia) (Небольсин 1849:33).

В 1558 г. Григорий Строганов в ответ на свою челобитную получил царскую грамоту, в которой Иван IV пожаловал ему «по обе стороны по Каме до Чюсовые реки места пустые, лесы черные, речки и озера дикие, острова и наволоки пустые, а всего деи 146 верст», чтобы «на том месте городок поставити, и на городе пушки и пищали учинити, и пушкарей и пищальников и воротников устроити для береженья от Нагайских людей и от иных орд». Со ссылкой на пермитина Кодаула, доставлявшего в Москву дань со всех пермичей, отведенные Строганову земли представлены ничейными («места искони вечно лежат впусте, и доходу в нашу казну с них нет никоторого»), поэтому от строгановских поселений «пермичем и проезжим людем никоторые споны [помех]

[12] Солеварение с давних пор известно на Руси и Урале: на Европейском Севере оно упоминается в Уставе новгородского князя Святослава Ольговича 1137 г., а начало выварки рассола из глубинных подземных вод отмечается в Тотьме с XIV в. (Колесников 1988:7). По археологическим свидетельствам, в XII–XIII вв. на Каме существовала булгарская фактория, где торговали солью; здесь же, на Городищенском, найден и медный русский крестик (Белавин 1986:13–142).

не будет». Выбор места для городка солепромышленника обусловлен «береженьем от Нагайских людей и от иных орд», а отнюдь не удобством соледобычи: грамота (и, соответственно, челобитная) лишь намечала впредь «росолу искати, а где найдетца росол, и варницы ставити и соль варити». Из расчета Строганова и царя следовало разрастание колонии и создание слобод: «около того места лес по речкам и до вершин и по озерам сечи, и пашню росчистя пахати, и дворы ставити, и людей называти неписьменных и нетяглых». Поселенцы на 20 лет освобождались от даней, оброков и дорожных повинностей, подлежали суду не пермских наместников и их тиунов, а Григория Строганова; в пожалованном владении дозволялся свободный торг: «а которые люди кто приедет в тот город нашего государства, или иных земель люди, с деньгами или с товаром, соли или рыбы купити, или иного товару, и тем людем вольно туто товары свои продавати и у них покупати безо всяких пошлин». Из ограничений значились запреты добывать серебряные, медные и оловянные руды (если таковые будут найдены), принимать на поселение людей тяглых и письменных, беглых боярских людей, воров, татей и разбойников. Грамота завершалась оговоркой: «А что будет нам Григорей по своей челобитной ложно бил челом, или станет не по сей грамоте ходити или учнет воровати, и ся грамота не в грамоту» (см.: ДАИ 1 1846:168–170; Миллер 2005 1:325–327).

Вслед за братом Яков Строганов получил в 1568 г. жалованную грамоту на соседние с камскими «места пустые, лесы черные, и речки и озера дикие» по р. Чусовой на тех же условиях, но с льготами на 10 лет (видимо, для одновременного истечения льгот всех строгановских уральских городков на Благовещение 1578 г.). Таким образом, главное звено пути от Волги до Оби по Каме–Чусовой оказалось под контролем Строгановых и, опосредованно, Москвы. Разумеется, в своих действиях Строгановы и царь имели в виду не только «английскую угрозу», лишь подстегнувшую движение русских на восток. Англичане занесли в Россию вирус европейской колониальной лихорадки, но и без них Москва и Строгановы были по-своему увлечены приобретением новых земель. При этом на севере Строгановы выступали больше как промышленники, на востоке — как колонизаторы-администраторы, рубившие остроги и крестившие туземцев.

Братья Строгановы начали с городков «для береженья [от] Сибирских и Нагайских и иных орд людей»: Григорий в 1558 г. поставил Канкор на Пыскорском мысу Камы, а в 1564 г. двадцатью верстами ниже по Каме на Орловском наволоке — Кергедан (Орел); Яков в 1568–1570 гг. срубил остроги по Чусовой для перекрытия путей сибирцам и ногайцам, а «для утеснения сылвенских и иренских татар и остяков и чусовских и яйвинских и инвинских и косвинских вогулич над Сылвою и над Яйвою реками острожки [срубил] и наряд скорострельной и пушечки затинные и пищали и ручные и людей пушкарей и затинщиков и пищалников и воротников в тех острожках устроил» (ДАИ 1 1846:168–175; СЛ 1907:2–5). В 1560 г. был основан Пыскорский монастырь, получивший соляные варницы в Рождественском усолье (Дедюхине) на Каме. По благословению митрополита Макария Строгановы строили церкви и приглашали священников, которым с 1565 г. было разрешено крестить татар и вогулов. В 1566 г. камские городки Строгановых были милостиво зачислены в опричнину (ДАИ 1 1846:172; Любавский 1996:440, 441; Оборин 1990:129).

Земли, отписанные Строгановым, лишь в Москве считались подвластными русскому царю, тогда как туземцы иначе воспринимали эти претензии. Летом 1572 г. пришедшие с Волги 40 черемисов в компании с остяками, башкирами и буинцами побили у камских городков 87 «торговых людей и ватащиков», на что царь предписал братьям Строгановым отрядить голову, дать ему «ратных людей казаков охочих» и окаянных изменников из числа ногайцев, вотяков, остяков побить, а живых пленников к шерти привести и аманатов (заложников) взять. Среди черемисов, остяков и вогулов следовало отделить союзников от противников: первых надлежало беречь и жаловать, а вторых «побивать» и отнимать у них «живот» (имущество), а жен и детей отдавать «в работу» первым (ДАИ 1 1846:175, 176; СЛ 1907:5–7). В ответ летом 1573 г. татарский царевич Маметкул побил «данных» (платящих русским дань) остяков, а их жен и детей забрал в полон; попутно он пленил московского посла Третьяка Чебукова и сопровождавших его служилых татар (СЛ 1907:5–7). В конфликтах 1572–1573 гг. уральские реалии заместили былые кремлевские опасения относительно бойких англичан (тем более что их активность пошла на спад), и перед Строгановыми открылась новая

геополитика, связанная с «ордынским поясом» и несговорчивыми таежными князьями.

Если в жалованной грамоте 1558 г. главной угрозой выступали «Нагайские люди и иные орды», то через 6 лет, в грамоте 1564 г., на их месте оказались «Сибирские люди и иные орды», и был упомянут «Сибирский салтан», сулящий войну Перми (ДАИ 1 1846:171). Еще десять лет спустя, в грамоте 1574 г., недругами называются «сибирские и нагайские люди» (или «сибирцы» и «ногаи»); здесь же содержится известие о том, что «Сибирский салтан» подчинил себе область Тахчеи и запретил остякам, вогуличам и югричам давать дань Москве, а также сожаление о том, что Григорий и Яков Строгановы «своих наемных казаков за Сибирскою ратью без нашего [царского] веления послати не смеют». В ответ царь жаловал братьев Строгановых новыми землями «в Сибирской украине, меж Сибири и Ногаи» на Тахчее и Тобол-реке «с реками и с озеры и до вершин». Грамота содержательно повторяла предыдущие, включая льготы на 20 лет, но оставляла открытыми пределы отводимых владений. При этом Сибирь уже названа «Сибирской украиной» — окраинной частью Московии. Завершается грамота более чем щедрым пожалованием — «на Иртыше и на Обе и на иных реках, где пригодитца для береженья и охочим на опочив, крепости делати и сторожей с вогняным нарядом держати». В числе возможных союзников в движении на восток упомянуты, помимо остяков и вогулич, югричи и самоедь, что предполагает охват куда более обширных пространств, чем прежде на участках Камы и Чусовой (Миллер 2005 1:332–334). Речь идет уже не об отдельных городках, а о широкой экспансии; по словам Р. Г. Скрынникова, грамотой 1574 г. «фактически царь одобрил планы завоевания Сибирского ханства, разработанные Строгановыми» (Скрынников 1986:102).

Композиция грамот обнаруживает, что царь принимал на веру и утверждал замыслы промышленников, превращая их в восточную политику Московии. Строгановы и царь вдохновляли друг друга, и в их взаимоотношениях ощутима партнерская доверительность. Например, когда в 1573 г. Иван IV заказывал Якову Строганову партию соболей, он обращался к нему как к продавцу, а не слуге, обещая выслать за пушнину денег, и Яков предложил царю сорок пермских соболей по цене 10 рублей за штуку (Введенский 1962:32).

Впечатляет не только скорость экспансии, позволившая Строгановым за 20 лет шагнуть через Урал в Сибирь, но и ее содержание. Строгановская колонизация включала международную дипломатию и внутреннюю политику, военные, конфессиональные, градостроительные, миграционные, поисковые, экономические, финансовые и иные замыслы и действия. Строгановская колония на Урале росла не сама по себе, а в связке с Севером, Москвой и ее Пермским наместничеством.

Богатея и ширясь на соли, пушнине, железе, а главное на царских льготах, «вотчина» выступала местом притяжения разного люда. По замечанию В. А. Оборина, «пример быстрого обогащения Строгановых, выходцев из зажиточных крестьян, порождал наивную иллюзию обогащения на новых землях» (Оборин 1990:115). За двадцатилетие льгот, от первой жалованной грамоты 1558 г. до 1579 г., на их камских землях, помимо городков и монастыря, возникло 39 деревень с 203 дворами, а их население (в основном выходцы из Новгорода и Москвы) увеличивалось с невероятной быстротой, удваиваясь каждые десять лет (Зимин, Хорошкевич 1982:145, 146).

Со Строгановых начинается до сих пор изумляющий историков легендарный русский «рывок на восток». Мотивы «бег» и «изобилие» сопровождают это движение в уральской версии легенды о Строгановых, изложенной в «Описании Сибирского государства»:

> А тот мужик Строганов породою новгородец, посадцкой человек, иже от страха смерти и казни великаго государя царя Иоанна Васильевича, всеа Росии самодержца, из Новаграда убежал со всем домом своим в Зыряны, сиречь в Пермь Великую, чрез Великой Устюг на вершину Камы реки, на места изобилныя, на великую реку Каму (СЛ 1907:368, 369).

Строгановская колония на Урале была, с одной стороны, сколком новгородской традиции, с другой — восточным форпостом Москвы, с третьей — восточной украиной, куда стекались «люди веча» с Севера и «люди круга» с Юга. Строгановы умудрялись сочетать в себе северную самостийность и московскую дипломатию. Под стать им и облик уральской украины с льготами и вольностями. К Строгановым бежали и переселялись изгои и авантюристы, привлеченные свободой от налогов и надзора

царских чиновников, вольной торговлей, а также мечтой о сокровищах и изобилии. Впрочем строгановская колония, будучи краем вольности, все же существенно отличалась от Дикого поля промышленной основательностью. По словам Б. Э. Нольде, «две вотчины Строгановых на Каме и Чусовой являются уникальными в истории русской колонизации явлениями, не только из-за своих размеров, но и в юридическом отношении. Им были пожалованы не только поместья, но и “акты публичного права”, что делает эти решения похожими на колониальные хартии европейских государств того времени» (Нольде 2013:253).

Строгановская колонизация сочетала приемы Новгорода (промышленность, торговля, партнерство) и Москвы (остроги, церкви, воеводы, казаки). Эта композиция элементов нордизма и ордизма предполагала изрядную изворотливость, и роль солепромышленников состояла в «вываривании» нового для России стиля освоения и управления, включающего крайности насилия и согласия, тирании и вольницы. На Севере Строгановы вполне удовлетворялись новгородской манерой промышленной колонизации (от нордизма), тогда как на юге пограничная политика толкала их к силовой стратегии (от ордизма). Попытки сочетать оба стиля были смелым и рискованным уральским экспериментом.

Строгановы на свой страх и риск вели собственную «казачью политику». Всякий раз они старались заблаговременно предупредить наем казаков царским благословением или указом. Например, весть о черемисском выступлении на Каме побудила Москву в августе 1572 г. повелеть Строгановым нанять казаков. Однако, судя по всему, казаки у Строгановых уже были, и в немалом количестве, поскольку к лету того же года они отрядили тысячу казаков с пищалями и прочей амуницией под Серпухов для защиты Москвы от крымских татар (Введенский 1962:34). Известия о вогульских набегах на Пермский край в начале 1580-х гг. (в связи с которыми упоминаются князья Аблегирим, Тагай, Таутий, Кихек, Бегбелий Агтаков) Строгановы сопровождали описанием ужасов погромов и просьбами к царю позволить им «прибрати охочих людей казаков, и теми казаками и своими людми от вогулич уберечи», на что следовали одобрительные царские указы нанять «охочих людей» (Скрынников 1986:47, 48, 193–195). Подобные разрешения Строгановы получали и, соответственно, располагали

казачьими дружинами, по меньшей мере, с 1572 г., и ничто, кроме предупредительности, не вынуждало их многократно повторять один и тот же ритуал челобитной царю.

Обстоятельность, с которой оговаривали Строгановы нужду в казаках, показывает, насколько щекотливым был «казачий вопрос». При этом у каждого Строганова, несмотря на старания Аники сохранить свое потомство «одним домом», были свои владения и свои казаки. Строгановский летописец повествует, как Максим Строганов привлек атамана Ермака к поимке своего дяди Григория Строганова; известно и о разладе между внуками-Строгановыми, в связи с чем сам царь в грамоте 1581 г. наставлял Никиту Строганова выступить на защиту чусовских владений его двоюродных братьев Семена и Максима от пелымского князя и вогуличей (ДАИ 1 1846:182, 183). С учетом отдаленности уральской украйны нетрудно представить, насколько значимыми для состояния колонии были семейные дела Строгановых и насколько непредсказуемыми были похождения вольных казаков на «диком востоке».

В начале 1580-х гг. главным героем таких похождений стал атаман Ермак, прибывший на Урал «по присылке Максима Строганова». Согласно строгановскому летописцу, Ермак оказался в чусовских городках еще летом, 28 июня, 1579 (7087) г., и «пожиста они атаманы и казаки в городках их два лета и месяца два», до 28 августа 1581 (7089) г., и накануне нового года (в то время год начинался в сентябре) ушли из строгановских владений в сибирский поход. В тексте Строгановской летописи обнаруживаются три даты начала похода Ермака — 1580, 1581 и 1582 гг. (Скрынников 1986:155).

Нет оснований подозревать летописца в забывчивости или сочинительстве. Вполне вероятно, что Ермак со своей станицей был действительно нанят Строгановыми в 1579 г. и занимался, как и другие вольные казаки, обороной и боевой разведкой на Урале. В конце 1581 г., под новый (сентябрьский) год, к Строгановым явились волжские разбойные атаманы, пополнив казачье воинство. В этом случае Ермак, уже два года служивший у Строгановых, мог выступить собирателем этого войска.

Обстановка располагала к собиранию сил, поскольку набеги пелымского князя Аблегирима на русские городки стали регулярны-

ми, и к ним примкнул сибирский царевич Алей. К тому же в очередной раз поднялась мятежная «луговая черемиса», «а которые дальние волости луговые стороны поддались к Сибири». В новый год (1 сентября) 1582 г. Алей вместе с пелымским князем и войском из татар, башкир, остяков, вогулов и вотяков подошел к Чердыни. Максиму Строганову, чьи чусовские городки были крайними на востоке, пришлось «деятельнее всех хлопотать о приглашении вольных казаков» (Скрынников 1986:191, 198–200).

Призвание волжских атаманов-разбойников потянуло в Пермь «ногайский конфликт»: атаманы Иван Кольцо, Богдан Барбоша, Никита Пан и Савва Болдыря, прославившиеся погромами ногаев, в августе 1581 г. ограбили на волжской переправе посольство Василия Пелепелицына, ехавшего из Ногайской орды на Русь в сопровождении купцов и мурз. К осени 1582 г. пути грабителей и ограбленного нечаянно сошлись в Пермском крае, где Пелепелицын служил воеводой Чердыни и куда атаманы шли на призыв Максима Строганова. Возмущенный воевода так искренне и убедительно нажаловался царю на произвол казаков и Строгановых, что Иван IV в «опальной грамоте» разразился никогда ранее не адресовавшимися промышленникам угрозами:

> Волжских атаманов к себе призвав, воров, наняли в свои остроги без нашего указу; а те атаманы и казаки преж того ссорили нас с Нагайскою ордою, послов нагайских на Волге на перевозех побивали, и ордобазарцов грабили и побивали, и нашим людем многие грабежи и убытки чинили... а Перми ничем не пособили... А не вышлете из острогов своих в Пермь волжских казаков, атамана Ермака Тимофеева с товарыщи, а учнете их держати у себя и пермских мест не учнете оберегати... и нам в том на вас опала своя положити болшая, а атаманов и казаков, которые слушали вас и вам служили, а нашу землю выдали, велю перевешати (ДАИ 1 1846:184, 185).

Возможно, и прежде Строгановы прибегали к сомнительным, с точки зрения Москвы, услугам и контрактам, но это сходило им с рук за дальностью расстояний и обширностью дел. Теперь они оказались в щекотливом положении, наняв на службу тех самых атаманов, которые недавно поглумились над чердынским воеводой. Строгановы держали в своих руках обмен информацией между Уралом и Москвой, сами готовили царские решения, а за-

тем усердно их выполняли. При малейшем разладе, как это случилось годом ранее между Строгановыми-внуками, они немедленно в угоду царю согласовывали свои действия — собственно и призвание волжских казаков было исполнением царского наказа Максиму и Никите совместными усилиями нанять охочих людей и держать оборону от пелымских вогуличей. Однако на сей раз они не успели заблаговременно известить царя о «призвании казаков». Первой пришла челобитная Пелепелицына, и эта пустяковая, на первый взгляд, история вмиг разъярила мнительного царя: нет худшего проступка, чем наступить, пусть нечаянно, на «мозоль власти» самодержца, тем более Ивана Грозного.

По грамоте от 16 ноября 1582 г. «волжских атаманов и казаков», которых Строгановы 1 сентября отправили «воевати вотяки и вогуличи и Пелынские и Сибирские места», следовало «взяв отвести в Пермь и в Усолье в Камское, и туто им стоять... и из тех мест на Пелынского князя зимою на нартах ходить воевать» (в другом месте грамоты велено нанятых казаков, за исключением сотни, отослать в Чердынь под начало воеводы Пелепелицына). Строгановым вменялось в вину безразличие к судьбе государевых городков, прежде всего Чердыни (ДАИ 1 1846:184, 185).

Грамота производит впечатление спешного нервного указа, пестрящего несуразностями, начиная с распоряжения отправить уже отправленное войско в другую сторону, включая путаницу остяков с вотяками и завершая троекратным повторением слова «измена» и оборота «по нашему указу». Нелегко сопережить состояние Максима Строганова, вознамерившегося было унять пелымского князя силами боевых волжских атаманов, но вместо этого заполучившего недоброжелателя в лице чердынского воеводы, а также угрозу царской опалы. Когда он снаряжал казаков в путь, опальная грамота еще не подоспела,[13] но было понятно, что Пелепелицын пустил в ход опасное слово «измена» и на вверенной ему территории игр в казаки-разбойники не потерпит.

Сентябрь — не самое подходящее время для похода по сибирским рекам, поскольку небо низкое (дожди) и вода низкая (мели), и по сложившимся обычаям пора возвращаться, а не отправляться

[13] Царская грамота Максиму и Никите Строгановым датирована ноябрем 1582 г., когда волжские атаманы вместе с Ермаком уже обживали Искер.

в путь. В этом смысле рать царевича Алея была в нужное время в нужном месте, когда 1 сентября грабила окрестности Чердыни и собиралась в обратный путь. А вот волжские атаманы оказались в конце лета явно не у дел в городках Строгановых. Судя по всему, они только что подошли с Волги, решив после грабежей на переправе убраться подальше от возмездия со стороны Москвы и Ногаев. Иван Кольцо со товарищи на этот раз явно перестарался: в Москве, обычно снисходительной к шалостям «окраинных людей», показательно казнили нескольких воровских казаков; новый царский посланник в Ногаях П. Ф. Павлов получил приказ спешно ехать в орду, по пути разузнать, где находятся волжские атаманы, и тех «воров Ивашка Кольца и Барбоши» изловить и повесить (Скрынников 1986:143, 181).

Не исключено, что после грабежа на волжской переправе у «воровских казаков» состоялся круг, принявший решение об уходе в отдаленное поле. Известно, что казаки разделились примерно поровну: одна половина во главе с Кольцом двинулась на Каму и Чусовую, другая во главе с Барбошей — на Яик. В дальнейшем обе ватаги по сходному сценарию и примерно равным числом (более 500 человек) ударили на Сибирь и на Яик.

Казачий отряд, прибывший к Строгановым, сразу отправился в поход за Урал, почти без остановки, в неурочное осеннее время. Спешка объяснима разгоравшимся скандалом с участием воеводы Пелепелицына, и казаки со своей стороны не прочь были убраться подальше от царева ока. Атмосфера бегства с Волги передана Ремезовской летописью: казаки «здумали бежать в Сибирь разбивать, обратя струги по Волге и по Каме вверх. И тот их государев указ в станах не застал, а коих схватили, тех и приказнили... [и казаки] бежали прочь. И сентября 26 день обмишенилися, не попали по Чюсовой в Сибирь и прогребли по Сылве вверх и в заморозок дошли до урочища, Ермаково городище ныне словет» (СЛ 1907:313).

Таким образом, у Максима Строганова воровские атаманы побывали мимоходом, и тон их общения напоминает скорее конфликт, чем контракт. Казаки требовали у Максима провизии и вооружения, а самого хозяина «убити хотеша и жита его разграбить, дом его и при нем живущих разорити в конец и приступи к Максиму гызом», настаивая на пожалованиях без «кабалы» и угрожая расстрелять «по клоку».

Полтысячи вольных казаков — угроза не только городку, но и государству. Вероятно, первоначальный расчет Строгановых состоял в запуске этого «казачьего катка» с Урала на восток. Теперь, из-за раздора с воеводой, эта армия грозила разбоем самому Строганову. Казаки на ходу разбирались и маневрировали в меняющихся обстоятельствах. Договорившись со Строгановым о походе за добычей, они могли и к нему отнестись как к добыче. Из текста летописи следует, что он откупался от казаков: «Максим же страхом одержим и с подданными своими отворил анбары хлебные, и по именом полковых писарей и весом успевающе, дающее день и нощь коемуждо по запросу числу на струги» (СЛ 1907:315). Как видно, в страхе и впопыхах Максим выпроводил буйных атаманов, толком не согласовав, куда и зачем они идут.

Историки задаются вопросом, почему казачья армия Ермака не отразила набег царевича Алея, а двинулась своей дорогой на восток. При этом речь заходит о стратегических замыслах Строгановых и/или Ермака по взятию Сибири. Между тем для казачьих атаманов царские воеводы были в тот момент враждебнее сибирского хана — для Кольца встреча с Пелепелицыным грозила виселицей. И когда на Урал дошла царская грамота с требованием отдать казаков в распоряжение воеводы, Ермак со товарищи уже изучал окрестности Искера. Появление казаков обескуражило и сибирского хана, не ожидавшего непрошеных гостей в неурочное время. Погодинский летописец отметил, что Кучум «приходу на себя Ермакова не чаял, а чаяху, что он воротитца назад на Чюсовую» (СЛ 1907:276).

«Опальная грамота» не успела остановить казаков, но остановила Строгановых — они больше не поддерживали экспедицию, и казаки оказались предоставлены самим себе совсем неподалеку от строгановских городков. Впрочем, строгановский летописец убеждал, что о победе над Кучумом казаки сообщили прежде всего своим «хозяевам» Строгановым, а уж те известили царя, который пожаловал им «за службу и раденье» новые городки на Волге и беспошлинный торг (СЛ 1907:29). С. В. Бахрушин считал, что экспедиция Ермака «была в сущности промышленным предприятием, организованным Строгановыми в своих личных выгодах»; не случайно «вновь подчиненная земля выступает сначала с чертами строгановской вотчины» (Бахрушин 1955:102, 103). Строгановская летопись

повествует, что по взятии Сибири «начаша Семен и Максим и Никита [Строгановы] из городков и из острошков своих того ясашного ради збору по рекам в тотарские и в вогульские улусы людей своих посылати и ясак с них бусормен собирати и в Москву с людьми своими в Ноугородскую четь посылати» (СЛ 1907:45). Однако Сибирь не стала строгановской, как можно было ожидать еще в 1570-е гг., когда царь великодушно поощрял промышленников в их движении на Иртыш, Обь «и на иные реки». Вскоре сбор ясака был передоверен воеводам; что же касается Строгановых, то, по свидетельству английского посла Д. Флетчера, «царь Федор был доволен их податью до тех пор, пока они не прибрали землю в Сибири... тут он насильно отнял у них все» (Флетчер 1906:70).

Казачьи маневры

За Иваном Грозным напрасно закрепилась репутация ненавистника вольности; на свой лад он ее поощрял и лелеял, но не в Москве, а на украйнах, где лихая вольница играла роль агрессивной живой границы. Царь демонстративно гневался на казаков, грабивших торговые и посольские караваны, но не мог втайне не наслаждаться ужасом, который они наводили на некогда грозных степняков. Например, в 1553 г., в ответ на жалобы ногайских князей Юсуфа и Исмаила, Иван велел повесить нескольких казаков на виду у ногайских послов, а князьям отписать, что он «из дружбы к ним Волгу от разбойников казаков очистил, а другим дал крепкую заповедь жить смирно». На следующий год московские послы уверяли ногайцев, что «все злые казаки казнены, а на место их поставлены казаки добрые, в которых воровства нет». Однако не прошло и трех лет, как «добрые казаки» устроили разбой и грабеж у Астрахани (Сухоруков 1903:21). В 1577 г. ногайский князь Тинахмет жаловался русскому послу, что в Сарайчик (зимовище на устье Яика) «приходили государские люди и над его мертвым отцом изругались». В 1581 г. казаки снова напали на Сарайчик и, овладев им, перебили обывателей, сожгли городок и разорили ногайские кладбища. Ногайцы жаловались московскому царю, «что им самим и животине их от русских казаков на Яику и на Волге добре тесно» (Любавский 1996:326).

При синхронизации казачьих походов в разных краях Поля видно, что на 1570–1580-е гг. приходится пик казачьего разгула по всей украйне, в том числе на Волге, Яике и в Причерноморье, когда казаки громили и грабили разного рода сараи и ордобазары. В конце XVI в. они представляли собой силу, сопоставимую с ордами степняков, и в политической «рулетке» вокруг Поля везло тому, кто сноровистее их использовал. Правда, эта игра в казаки-разбойники была полна риска. Иван IV справлялся со стихией Поля, но после его смерти казаки хлынули в Московию и наводнили ее лжецарями (см. гл. 8). В этом смысле покорение казаками Сибирского царства было разминкой перед покорением Московского царства.

Противоречив русский контекст, в котором Ермак и другие атаманы называются «ворами», но исполняют волю царя. В этом плане особого внимания заслуживает рождение самой идеи покорения страны за Камнем. К 1580-м гг. она была не нова — московский князь уже четверть века звался «всея Сибирской земли повелителем», а титулы «Югорский», «Кондинский» и «Обдорский» значились за ним без малого столетие. Независимо от стоящих за этими званиями реалий Сибирь рассматривалась как край прирастания Московии. Правда, северные (югорско-самоедские) земли учитывались, по еще живой новгородской традиции, отдельно от южных (татарских), и покорение Сибири в XVI в. означало не переход за Югорский камень, а поражение сибирского хана. В этом отношении идея власти над Сибирью тоже давно укоренилась в московской идеологии стараниями Тайбугидов, а затем и самого Кучума, посылавшего дань «белому царю».

На фоне московской экспансии Сибирское взятие выглядело судьбой или, по понятиям XVI в., божьим промыслом (в науке то же самое называется «исторической закономерностью»), и лихие казаки поневоле выступили орудием провидения. В случае с Сибирью религиозная окраска событий сгущалась тем, что Кучум совсем недавно подчинил Сибирский юрт под знаменем ислама, и его дуэль с Ермаком выглядела войной вер. Кроме того, поскольку в России бог и царь трудноразличимы, олицетворением идеи Сибирского взятия оказался Иван IV. Москва приняла Сибирь как чудо и дар божий, что ярко передано Н. М. Карамзиным: в «Москве унылой» государь и народ воспрянули духом —

«новое царство послал Бог России!», «казалось, что Сибирь упала тогда с неба для россиян» (Карамзин 2 2003:373).[14]

Вероятно, казачьи походы лишь постфактум были причислены к богоугодным подвигам во имя царя. Однако казаки на всех окраинах часто выдавали себя за «государевых людей», что затрудняло московскую дипломатию, но облегчало грабеж от имени «белого царя». С этим гармонировала склонность казаков к самозванству и ряжению, особенно в сибирской тайге под грохот пищалей и пушек. В этом смысле не кажется анекдотичным и фантастичным рассказ Ремезовской летописи о присутствии в войске Ермака трех попов и команды музыкантов — трубачей, сурначей, литаврщиков, барабанщиков.

В движении за Камень сошлись разные персонажи, чьи роли и сочетания (в соответствии с алгоритмами сукцессии и симбиоза) по ходу событий менялись. Головоломка — по чьей воле, Ивана Грозного, Строгановых или атамана Ермака, была взята Сибирь — заложена в разноголосице сибирских летописей, из которой со временем выросла пышная историография (Скрынников 1986), в совокупности показывающая, что речь должна идти не о приоритетах, а о динамичной композиции мотивов, обстоятельств и действующих лиц.

В предельно сжатой форме сценарий Сибирского взятия включает несколько ключевых эпизодов. Ватага вольных казаков, при содействии Строгановых, движется по восточному склону Урала в земли вогулов и татар, устремляясь сначала на Пелым, затем на Сибирь (Искер, Кашлык). Ермак покоряет одно селение за другим, включая городок сибирского хана, а Кучум отходит со своей кочевой ставкой в степи. Расположившись на слиянии Иртыша и Тобола, казаки совершают речные рейды в разных направлениях, разбойничая и собирая дань с окрестных татар, вогулов и остяков. За три года казачьей власти ясачные походы достигают Оби и Ишима, Тавды и Вагая. В последнем походе атаман Ермак гибнет (5 августа 1585 г.), после чего остатки его дружины уходят на Русь северным чрезкаменным путем.

---

[14] По остроумному замечанию Р. Г. Скрынникова, строгановский летописец в угоду своим покровителям заменил концепцию «призвания богом» прагматической концепцией «призвания Ермака Строгановыми» (Скрынников 1986:33).

В давнем споре о длительности похода противоборствуют две версии: (1) длительная экспедиция с зимовкой или несколькими зимовками;[15] (2) стремительный поход от Урала до Искера осенью (1 сентября — 26 октября) 1582 г. Первая утвердилась со времен Г. Ф. Миллера и Н. М. Карамзина, вторая обосновывается рядом современных авторов (Р. Г. Скрынников, А. Т. Шашков и др.). Путаница в подсчетах в немалой степени связана со сменой календаря при Петре I с сентябрьского на январский, из-за чего события августа/сентября ныне воспринимаются как внутригодовые, тогда как в свое время они приходились на рубеж лет. Реконструкции «стремительного похода» по-своему убедительны.

> Флотилия Ермака двинулась в путь 1 сентября 1582 г. До наступления зимы и ледостава казаки заняли ставку Кучума, весной 1583 г. выслали гонцов в Москву. Иначе говоря, им понадобилось два-три месяца, чтобы разгромить Сибирское «царство». Рассказы поздних летописей о трехлетних боях, выдержанных Ермаком на пути к Кашлыку, надо отбросить как недостоверные. На самом деле экспедиция Ермака была типичным казачьим набегом, стремительным и неодолимым... Сибирская экспедиция продолжалась не четыре «лета», как значилось в Синодике, а неполных три года — с 1582 по 1585 г. (Скрынников 1986:167, 206, 250).
>
> Так начался стремительный и дерзкий поход казачьего отряда Ермака Тимофеевича в Сибирь. Предшествовавшие ему события (погром ногайско-русского посольства на Волге, уход дружины Ермака с Яика через Иргиз, Волгу и Каму в Приуралье, зимовка на Сылве, приглашение ермаковцев Строгановыми на службу для обороны своих владений от вогульских набегов, подготовка пелымской экспедиции и, наконец, отпор, данный воинству Алея и Аблегирима на Чусовой) свидетельствуют о том, что главными инициаторами этого похода были не Строгановы и уж тем более не государство, а сами казаки, привыкшие действовать по обстоятельствам. У них не было ни времени, ни возможности двигаться медленно, «с искусом», зимовать на Тагильском волоке или же на Туре. С самого нача-

[15] Согласно Строгановской летописи, казаки прибыли 28 июня 1579 г. и пожили у Строгановых, защищая их от «агарян», 2 года и 2 месяца (СЛ 1907:9). В. И. Сергеев полагал, что Ермак оказался в вотчинах Строгановых уже в 1577 г.; в 1579 г. он зимовал на уральских перевалах, а затем три года пробивался с боями к столице Сибири (Сергеев 1959).

> ла это был типичный разбойничий набег, который неожиданно для самих казаков привел к крушению грозного Сибирского «царства» и в силу различных обстоятельств затянулся впоследствии на целых три года (Шашков 2000:114).

Р. Г. Скрынников и его сторонники «выпрямляют» экспедицию Ермака до нацеленного удара по Искеру. Однако «Сибирские летописи» пестрят подробностями «кривых» путей, зимовок, столкновений, свидетельствующих о сложной траектории казачьего рейда. «Кривизна» начинается уже в городках Строгановых, откуда атаманов спешно выпроводили в поход на восток. При этом о Кучуме и покорении его царства речь как будто не шла, и Ермак первоначально шел на Пелым, подыскивая стан, удобный для разведки и военно-грабительского промысла. Одно «ермаково городище» известно на Сылве, где казаки (по Ремезовской летописи) зимовали в свойственном им стиле:

> По-за Камени вогулич воевали и обогатели, а хлебом кормилися от Максима Строганова. И в поход ходиша на вогуличей 300 человек и возвратишася с богатством в домы своя и на подъем в Сибирь и к тому приправиша вдоволь легких струг с припасы... И на Бую городище зимовали и кормилися вогуличами птицею, рыбою и зверем, якож и они. И многими бои улусы их погромили и рухледи много взяли, и многие суды легкие вновь доспели доволно (СЛ 1907:313, 314).

Возможно, подобных станов было несколько, и отряд Ермака рассредоточился для охвата окрестностей в пространстве уральского водораздела. В этом случае упомянутые в летописях городки-зимовья (на Сылве, Серебрянке, Тагиле, Туре) можно считать сетью станов и станиц, на которые разбилось в движении казачье войско. И рассказ Ремезовской летописи о захвате казаками Чимги-Туры (Тюмени), зимовке в ней и переговорах с Кучумом через пленного Кутугая вполне реалистичен, как и сведения о последующей серии летних рейдов и стычек (на устье Туры, на Тоболе у Березового Яра и Караульного Яра и др.). В практике казаков была рассылка разведывательных отрядов-станиц для грабежа и предупреждения татарских облав. Таким образом, поход Ермака, по крайней мере до Тобола, представлял собой движение нескольких казачьих станиц по Туре и Тавде; затем начался об-

щий караванный ход по Тоболу, где казаки, пробивая татарские заслоны, нацеленно шли на ханский городок.

В ходе зимовки на уральском водоразделе выяснилось, что удобный для степных рейдов полутысячный отряд[16] избыточен для таежных дебрей и «невоистых» (по выражению Ремезовской летописи) туземцев. Такой армии на Тавде и Туре попросту не хватало корма и ратных дел. Дружина Ермака даже ради собственного выживания была обречена на завоевания и грабеж, а также на поиск угодий побогаче вогульских паулей. Не исключено, что зимой на Туре Ермак задумал поход на «царство», а окончательное решение принял после поимки «языка», — татарина Таузака, осведомленного о Кучуме (СЛ 1907:16, 317).

Казаки научились у степняков не только быстрым маневрам, но и глубокой разведке, включающей подбор проводников, взятие «языков», заброску сторожей, выдвижение ертаулов. Глубокая разведка обеспечивала быстрый успех, а ее отсутствие — быстрый крах. Наивно, хотя и романтично, представлять Ермака первопроходцем, озирающим со стругов неведомые дали. На самом деле зыряне, «вожи» Ермака (СЛ 1907:313), давно и основательно ведали пути, по которым прошла казачья дружина.

В историографии захват Ермаком «столицы Сибири» представляется решающим событием. Однако власть в Сибири была не сидячей, а кочующей, предполагающей контроль над огромной территорией, а не скопление силы в одном месте. Имея дело с кочевниками, казаки понимали, что само по себе взятие Искера не означает победы над кочующим ханом, не говоря уже о том, что городок мог стать для них ловушкой. Как уже говорилось, Искер был не городом в обычном смысле, а северным «сараем-базаром». Не случайно он был пуст во всех случаях его захвата — Ермаком, Алеем, Сейдяком, после убийства Сейдяка. Р. Г. Скрынников допускает, что «городище Кашлык оказалось непригодным для того, чтобы пять казачьих сотен могли разбить в нем свой лагерь. Поэтому, заняв Кашлык, Ермак в дальнейшем перенес свое зимовье в Карачино городище на Тоболе» (Скрынников 1986:241).

Остановка казаков в Искере грозила им не только пустыми желудками, но и превращением в мишень. Первое поражение

[16] Прибывший к Строгановым отряд насчитывал 540 казаков (СЛ 1907:8).

они потерпели, когда расположились в городке и сменили пищали на промысловые снасти. 5 декабря 1582 г. отряд казаков есаула Брязги отправился под Абалак на рыбалку и был побит татарами Маметкула. По Есиповской летописи, казаки под Абалаком «поставиша стан свой и почиша бес стражи. Кучюма ж царь сын, царевич Маметкул, пришед на них тайно со многими воинскими людми татары и поби их». И позднее ключевые события сибирской эпопеи были не открытыми ратями, а ночными маневрами в «сонной войне». В северном походе Богдан Брязга «на сонных ударишa из ружья и убиша княжца Самару и с родом его»; по сходному сценарию был пленен на Вагае царевич Маметкул (на его стан казаки «нападоша нощию»); затем казаки напали на спящий лагерь Карачи в Саускане; наконец, на Вагае татары «нападоша внезапу на спящих казаков» и погубили Ермака (СЛ 1907:205–221, 335).

Ермак не хуже Кучума осознавал, что правление (и спасение) в Сибири достигается не сидением в Искере, а в походах, и между казаками и татарами развернулась дуэль маневров. Кочевья сибирского хана охватывали огромное пространство долины Иртыша; он появлялся то на Вагае, то в Куларах, то в Тарханах, то у калмыков; сходным размахом характеризовались кочевья мурзы Карачи, который после потери татарами Искера легко отошел по Иртышу к Оми (СЛ 1907:141, 339). Ермак заимствовал татарский опыт, совершая из Искера протяженные военно-даннические походы.

Первый (северный) ясачный поход казаков — полусотни во главе с Богданом Брязгой — достиг Белогорья на Оби. При взятии городков казаки проявляли показную жестокость; например, в Аремзянах туземцев казнили и подвешивали за ногу, отчего «вси иноземцы ужаснулися и за страх грозы не смели не токмо руки поднять, ниже слова молвить во всей волости Надцынской»; в качестве шерти есаул Брязга велел им окровавленную саблю «целовати за государя царя, чтоб им служить и ясак платить по вся годы, а не изменить». В Нарымском городке при появлении казаков остяки «разыдошася», а «жены их и дети и от страха омертвеша, плача, крыча и бегая»; казаки не тронули жен и детей, и остяки тут же «любезно данью и есаком поклонишася». Достигнув городка князя Самара у слияния Иртыша и Оби, где казаков под-

жидали восемь остяцких князей, есаул Брязга исполнил классический ход колонизатора — убил князя Самара и поставил на его место своего союзника из местной элиты — кодского «большого князя» Алачея (СЛ 1907:333–336).

Во втором (западном) ясачном походе на Тавду казаки взяли ряд волостей (Калымскую, Лабутану, Паченку, Кошуни, Чандырь, Табары), захватили кошунского есаула Ичимха и заставили камлать чандырского шамана (он предвещал Ермаку победу). Вогульские князья Роман Славный, Ишбердей и Суклем шертовали Ермаку, и казаки собрали ясак с Тавды. Однако западный поход, в отличие от северного, не достиг главной цели: Ермаку не удалось добраться до «пелымского княжца» Аблегирима и заместить его своим ставленником (Скрынников 1986:68, 244).

Судьба казачьей экспедиции решалась на юге, где кочевал Кучум. Отнять у него власть можно было только через союз с другим татарским вождем. В отличие от вогулов и остяков, татары не спешили с присягой, хотя сочувствующие встречались (например, татарин Сейбохта, выдавший Ермаку местонахождение Маметкула). Надежда на раскол среди татар имела основания — от Кучума отошел Карача, и «со многими воинскими людми» готовился к реваншу бек Сейдяк (сын убитого Кучумом Бекбулата) (СЛ 1907:28). Судя по всему, Ермак сделал ставку на союз с Карачой, а тот умело этим воспользовался в своей контригре. Однажды он запросил у атамана помощи не то от казахов, не то от ногаев, и Ермак, посовещавшись с кругом, направил к Караче свою гвардию.

> В третие же лето по Сибирском взятье присылал нечестивый Корача, думчей царев, послов своих к Ермаку с товарыщи по люди, обороняти я от Казачьи орды. И по приговору всего товарства, а повериша их нечестивому безверному шерстованию и отпустиша к тому Кораче с приговору отомана Ивана Кольца, а с ним 40 человек товарства. И предашеся неволне судом Божиим в руки нечестивых. Отоману Ивану Колцу, Владимеру, Василию 2, Лукияну и всей дружине их со всею дружиною своею, единокупно вси главы своя под меч положиша и живот свой скончаша в плену, вечная память большая (ПСРЛ Т. 36 1987:73).

После расправы над отрядом Ивана Кольца Карача двинулся к Искеру и осадил его; тем временем татары «начаша во многих местех казаков побивати, где обретаемы бываху по волостем и по улусом» (СЛ 1907:145). В ответ Матвей Мещеряк ночью напал на стан Карачи в Саускане и убил двух его сыновей (СЛ 1907:35). Однако осада Искера показала, что казаки уступили инициативу, и что вернуть ее может только успешный поход на татар. Со своей стороны Кучум, наученный опытом Карачи, спровоцировал Ермака на такой рейд классическим для степняков приемом западни.

Третий (южный) поход Ермака лишь условно можно назвать «ясачным»; на самом деле в нем смешались последняя надежда казаков и реванш татар. Кучум выманил Ермака на свою территорию слухом о якобы задержанном бухарском караване. Для вольных атаманов купеческий караван — лучшая приманка и излюбленная добыча, и Ермак не устоял перед соблазном «помочь» бухарским купцам.[17] В походе атамана с полусотней казаков по татарским волостям в поисках каравана немало проблесков удачи: взятие городка князя Бегиша со скатыванием двух пушек в Иртыш, бегство каурдакских татар «в темный ельник и болота», смирение князя Елыгая, предложившего Ермаку дары, ясак и красавицу дочь в жены. Но уже звучат ноты обреченности в «царицыном плаче» с напевом *яным, яным, биш казак, биш казак* — о гибели пяти казаков в рукопашном бою в устье Ишима (СЛ 1907:341–343).

Южный поход завершился 5 августа 1584 г. гибелью Ермака, прервавшей краткую историю вольной казачьей колонии в Сибири. Судя по летописям и фольклору, за три-четыре года власти и походов в Сибири Ермак обрел прижизненный и посмертный культ.[18]

---

[17] Р. Г. Скрынников убежден в спасательной миссии Ермака: «Казаки не жалели усилий, чтобы выручить бухарских купцов»; «можно считать установленным, что Ермак отправился вверх по Иртышу на выручку каравану бухарских купцов» (Скрынников 1986:254, 258).

[18] По легендам, через неделю после гибели Ермака его кровоточащее не тронутое тленом тело было найдено туземцами, извлечено из воды и вознесено на высокий мыс. В течение шести последующих недель мертвый Ермак оставался невредим, и даже птицы не смели касаться его. Дух атамана являлся туземцам во снах, требуя погребения. Говорят, кто-то из очевидцев лишился рассудка, кто-то стал его именем божиться и клясться. Наконец Ермака похоронили под «кудрявой сосной» и зарезали в его честь тридцать быков и трех баранов. От его тела и одежды

Сибирские казаки еще долго называли себя «ермаковыми», подчеркивая верность атаману, и в их среде сибирская одиссея прочно связывалась с его именем.

Р. Г. Скрынников задается вопросом: что помешало Ермаку «учредить в Сибири порядок, отвечавший вековечной мечте народа о воле», и побудило его «править именем царя», облагая туземцев государевым ясаком? Ответ сводится к осознанию атаманом невозможности удержать Сибирь без поддержки государства, обращению к его прежнему опыту службы Москве (Скрынников 1986:223).

Возможен и другой ответ: Ермаку и его казакам все-таки удалось устроить на Иртыше «сибирскую сечь», и казачий Искер вполне сопоставим с Хортицей на Днепре, Раздорами на Дону и Кошем на Яике. Правда, сибирская казачья колония оказалась недолговечной, поскольку здесь не было богатых разбойно-промысловых угодий и связей с другими казачьими гнездами для подпитки свежими силами.

Ермак был первым и последним атаманом сибирской вольницы, и нет нужды видеть в нем кающегося разбойника, просящего царской милости в обмен на сибирский сеунч. Этот образ, как и версии «державного Ермака», «православного Ермака», создан летописцами,[19] а затем перебрался в науку и публицистику — вплоть до объявления вольного атамана эталоном неволи,

---

продолжали исходить чудеса, над могилой его по ночам возносился огненный столб. Значительную часть устных поэтических преданий о Ермаке составили былины, в которых он иногда предстает как богатырь князя Владимира и упоминается вместе с Ильей Муромцем и другими киевскими богатырями. В посвященных Ермаку исторических песнях атаман разгуливает со своими молодцами по Волге, а также покоряет Кучумово царство (СЛ 1907:346; Буганов 2010:190).

[19] См., например, обращение Ермака к казакам в ремезовском «Описании Сибири»: «Братия моя милая, атаманы, козаки, постойте за веру християнскую и послужите царю православному Иоанну Васильевичю, всеа Росии самодержцу, и за свою вину страдничию, что мы пред ним, государем своим, виноваты и пред всем Московским християнством; государскую казну и его государских подданных людей грабили и многую кровь християнскую пролили и многие души християнские осквернили; послужите, государи братцы, ныне верою и правдою. А когда мы виноватые ему, государю своему царю, послужим и прибыль учиним, и он, государь наш царь, Иоанн Васильевич, за нашу службу пожалует нас, вину нашу страдничию отдаст» (СЛ 1907:373).

поскольку он-де «выбрал… царскую службу» (Иванов 2010:47, 185). Ермак выбрал именно волю (или, по-казачьи, волюшку), перейдя ради нее с Волги на Иртыш через весь Урал. В его действиях нет и намека на подчинение ни царю московскому, ни царю сибирскому, за исключением путаного известия о сеунче Ермака к Ивану IV и ответном даре двух панцирей (под тяжестью которых Ермак утонул). Однако эпизод этот, как не раз говорилось, вымышлен, и более адекватен погодинский летописец: «Ермаку указал государь быть в Москве, и Ермак в тое пору убит, покамест сеунщики ездили к Москве» (СЛ 1907:283). К тому же сеунч не означал верноподданства и посылался как союзникам, так и соперникам (например, Москва направила в Литву сеунч о взятии Астрахани в 1554 г.).

Отношение казаков к царской власти видно по неудачам воевод в Сибири. В 1584 г., после получения ермакова сеунча, царь отрядил в Сибирь дружину князя Семена Болховского с головами Иваном Киреевым и Иваном Глуховым с пятью (по ремезовской «Истории») или тремя (по Погодинской летописи) сотнями бойцов, а также велел Строгановым заготовить под эту рать 15 стругов «со всем струговым запасом» (Бахрушин 1955:103; Скрынников 1986:50). Подобное войско могло еще раз покорить Сибирь, но с ним случилось нечто странное: «Все присылные люди, казанские и свияжские стрельцы и пермские и вяцкие люди, померли в старой Сибири з голоду, а осталось толко ермаковских казаков девяносто человек» (СЛ 1907:284). Примечательно, что еды не хватило даже князю Болховскому, тогда как казаки уцелели (остался невредим и пленный царевич Маметкул, зимовавший в Искере). И позднее атаманы избегали встреч с воеводами — при подходе рати Ивана Мансурова остававшиеся в Искере казаки под началом атамана Матвея Мещеряка спешно удалились прочь, причем двинулись не навстречу воеводе, а на север к Оби и далее через Урал Печорским путем.

Вряд ли точна оценка Б. Э. Нольде: «экспедиция Ермака несомненно закончилась полным провалом» (2013:280). Главные герои действительно сошли со сцены: атаман Ермак погиб, Строгановы попали в опалу и свернули свои планы на востоке, царь Иван умер, престарелый хан Кучум ослаб и почти ослеп. Однако взятие Сибири все же состоялось, даже два взятия —

казачье и царское.[20] Исторически первое было мгновенным, второе — долговременным. Из таких ступеней, в том числе «отделяющихся», и состоит колонизация.

Нечто похожее случилось на Яике, где в те же 1580-е гг. вольные казаки взяли ногайский Сарайчик, а затем в 1584 г. (или 1586 г.), поставили свой город и «содержали ногайцев во всегдашнем страхе, нападали на улусы, разоряли и уводили пленных». При этом командовал ими атаман Богдан Барбоша, соратник Ивана Кольца по волжским разбоям; и пришли они с той же Волги тем же числом в шесть-семь сотен (Сухоруков 1903:37; Скрынников 1986:145, 146). Трудно сказать, были ли походы Ермака (Кольца) и Барбоши связаны одним умыслом, но вместе они создали эффект тотальной агрессии «живой границы». Не исключено, что спор на кругу о том, куда уходить с Волги, который Кольцо и Барбоша решили по-разному, включал и заклад на успех в выводе новой казачьей колонии.

Походы Ермака в Сибирь и Барбоши на Яик сходны и почти синхронны (см. рис. 11). Как сибирский хан Кучум отступил перед Ермаком, так ногайский бий Урус — перед Барбошей. В обоих случаях Москва попыталась присвоить победы вольных казаков, и воеводы одновременно двинулись в Сибирь и на Южный Урал: в 1586 г. была основана Тюмень, и тогда же царь известил князя Уруса о намерении построить крепости «на Уфе, да на Увеке, да на Самаре, да на Белой Воложке». По словам Р. Г. Скрынникова, «выстроив крепость Уфу на среднем течении р. Белой (Белой Воложке) и еще одну — в ее устье (неподалеку от р. Яик), основав город в устье Самары и в окрестностях Увека (будущий Саратов), правительство рассчитывало взять под свой контроль все пути с Волги на Яик». Правда, на Яике воеводы задержались недолго: срубив в 1595 г. острог на устье, они вскоре отступили назад на Волгу, а атаман Барбоша с 250 казаками решительно отклонили предложение о найме на государеву службу на условии «прощения прежних вин» (Скрынников 1986:146, 149, 183). Впрочем это были уже годы Смуты, когда казаки и государи запутались в правах прощать и повелевать.

---

[20] В наказах 1589–1590 гг. московским послам в Грузии «взятие» приобрело новый вид: «Сибирское царство искони вечная вотчина государей наших, а взял Сибир великий государь царь и великий княз Иван Васильевич всеа Русии» (Нольде 2013:281).

Колония вольных казаков, созданная Ермаком в Сибири, оказалась недолговечной, а созданная Барбошей на Южном Урале просуществовала два века, до пугачевского бунта. Их судьбы разошлись из-за случайностей (например, гибели Кольца и Ермака), а также потому, что Сибирь была менее удобной для казачьего промысла, чем Южный Урал и Каспий. Сыграла свою роль и близость Яика к Волге и Дону, обеспечивавшая связь между казачьими колониями (в отличие от отдаленной Сибири). Наконец, казачью вольницу в Сибири просто накрыла хлынувшая через Урал лавина российской колонизации.

***

Казаки были первыми, кто прошел Урал вдоль и поперек, с юга на север и с запада на восток. Возможно, до них это удавалось каким-то древним уральцам в каменном веке, но в средние века миграции от Волги до Оби и от Великой степи до Студеного моря с пересечением экологических, этнических и государственных границ были по силам только казакам. При взгляде из Москвы казачья жизнь выглядит пограничными метаниями, однако на окраине она обнаруживает самобытные пространственно-временные ритмы и очертания. Для Москвы действия вольных казаков видятся в черно-белых тонах союза/вражды, верности/измены, победы/поражения, тогда как для самих казаков они имеют смысл самостийности, боеспособности, промысла.

Жителям Москвы, в том числе исследователям, свойственно предубеждение о всеобщем и неизменном стремлении в Москву. На самом деле во все времена были люди, которые уходили подальше от столицы вовсе не для того, чтобы с добычей или триумфом туда вернуться, а с намерением держаться подальше от политики и тирании; к их числу относились и вольные казаки, осознанно рвавшие связи со столицей и ее порядками. Для них миром и стихией была украйна, а главными ценностями — удалая вольная жизнь и пространство этой воли.

Н. М. Карамзин называл Ермака «российским Пизарро» (Карамзин 2 2003:367), американские историки Ланцев и Пирс — «русским Кортесом» (Lantseff, Pierce 1973:93). В обоих сравнениях подразумеваются жестокая и решительная конкиста. Мне ближе сравнение Ермака с Дрейком — и по синхронности походов, и по

сложным отношениям с властью (даже легенда о посвящении королевой Дрейка в рыцари сродни легенде о царских дарах Ермаку), и по общему характеру пиратства, хотя один разбойничал на море, а другой на суше, а главное — по сходной роли корсаров и казаков в колонизации. И те и другие пробивали пути, преодолевали границы и вдохновляли своих соотечественников на небывалые свершения, но в обустройстве колоний они не преуспели.

В антропологическом измерении колонизация Урала, включая Сибирское взятие — многоголосие, в котором соучаствовали, помимо Ермака и Строгановых, сибирские царевичи и мурзы, вогульские и остяцкие князья, мятежные черемисы и зырянские торговцы-проводники. Они действовали не по воле одного дирижера, а вразнобой, хотя и сплетались в один событийный поток, как сливаются в рапсодии разнородные мелодии. На Урале «народные темы» звучали разнообразно, подчас даже противоречиво: например, русские здесь были представлены московской властью, казачьей вольницей, новгородской промышленностью, ордынцы — ногаями и казахами, башкирами и татарами, враждебными друг другу Чингисидами и Тайбугидами (чьи противоречия доходили до свирепой резни: так, Сейдяк убил семерых из десяти сыновей Кучума). К началу 1580-х гг. эти силы пребывали в разных состояниях: русские Севера приспосабливались к нормам Москвы; династия в лице Ивана IV впечатляла внешним могуществом, но доживала предпоследние дни; казачья стихия раздвигала границы России, но угрожала ей самой; татарские элиты конкурировали за власть в «ордынском поясе»; вогульские князья пытались сдержать русский ход на восток; зырянские торговцы и промысловики использовали русскую колонизацию в своем продвижении в Приобье. В колонизации Урала по-своему развернулись все три магистрали Руси: нордизм — в промышленной практике Строгановых, ордизм — в завоевательных стратегиях царств и казачьих отрядов, понтизм — в миссионерстве Стефана Пермского и его последователей.

Глава 11. Рывок на восток

Наказ князю Горчакову: инструкция по колонизации. Воеводы и остроги. Гулящие и служилые. Попутчики. Непокорные кочевники. Frontier и украйна

Отечественные и зарубежные историки и геополитики то с восхищением, то с недоумением обсуждают стремительное продвижение русских от Урала до Тихого океана в XVII в.

> Какая же сила влекла в Восточную Сибирь казаков-разведчиков, заставляя их претерпевать холод, голод, неимоверные труды и лишения? <...> Казацкие экспедиции в Восточную Сибирь предпринимались в сущности для грабежа, как и экспедиции казаков на Волгу, на Каспийское море, на Азовское и Черное, с той только разницей, что в Сибири им покровительствовало государство (Любавский 1996:447).

> Эпоха Тюдоров, увидевшая экспансию Западной Европы на морских просторах, лицезрела и то, как Русское государство продвигалось от Москвы в сторону Сибири. Бросок всадников через всю Азию на восток был событием, в той же самой мере чреватым политическими последствиями, как и преодоление мыса Доброй Надежды, хотя оба эти события долгое время не соотносили друг с другом (Макиндер 2003:24–25).

> Начиная с 1620-х годов русские служилые люди, идя по следам промышленников, в неимоверно короткое время обошли все обширные пространства земель к востоку от Енисея до Восточного океана. На Лену и дальше на Восток ринулись искатели добычи и приключений отовсюду, из всех углов русской Сибири — из Мангазеи, из Енисейска, из Тобольска, даже из Томска: служилых людей охватила какая-то горячка — шли вперед, на свой риск, в погоне за наживой. Поиски «новых землиц» производились без всякой системы, небольшими партиями служилых людей, иной раз в несколько человек; «вожами» в эти «далекие от века неведомые земли» являлись промышленные люди, при непосредственном участии которых совершались наиболее рискованные предприятия (Бахрушин 1955:152).

> Людские ресурсы, которыми Москва располагала для покорения Урала и Западной Сибири, были крайне невелики. Удивительно, как при этом Русскому государству удалось за

какие-то сто лет присоединить к себе эти земли (Нольде 2013:292).

Почему русским удалось в баснословно короткое время пройти вдоль северной анэйкумены через Сибирь и достичь Тихого океана, создать громадное имперское образование, которое проникло в американское пространство вплоть до бухты Сан-Франциско и лишь под сильным нажимом англосаксов, а позже китайцев и японцев, вынуждено было отступить назад? Решающим был все же тот факт, что продвигавшийся в Северную Америку русский не считал эти пространства незаселенными и поэтому проникал туда, в то время как другие крупные народы мира, в том числе восточноазиатские, с чьим жизненным пространством он скоро соприкоснулся, считали их непригодными для жизни, не имеющим ценности пространственным владением... Перед китайцами лежали земли на Амуре, которые они считали непригодными для жилья, не представляющими ценности для огосударствления. Они стояли на Амуре, как Древний Рим — на Дунае и Рейне, наблюдая за рекой, но ничего не организуя там (Хаусхофер 2001:60).

Русские землепроходцы добрались в 1643 г. до бассейна Амура, в 1696 г. они обследовали огромный полуостров Камчатку, а в следующем столетии достигли Аляски, где русские колонисты обосновались в 1799 г. Это было быстрое, хотя и хрупкое — но оттого тем более заслуживающее восхищения — мирное завоевание (Бродель 1986:114).

Как чудовищный каток, империя, подминая под себя десятки сибирских племен и народов, тысячами своих активных членов докатилась до побережья Тихого океана и, толком даже не заметив его, перевалилась в Северную Америку (Кызласов 1996:55).

Если англичанам понадобилось 125 лет, чтобы пройти Америку поперек от Атлантики до Тихого океана, и 225 лет — с севера на юг, то русские вдоль всей Сибири от Урала до Тихого океана «пробежали» за каких-то 75 лет, а к границам современной России в Азии — за 120–130 лет (Резун, Шиловский 2005:121).

Русское движение «встречь солнцу», поражающее своей стремительностью, было вызвано поиском земель, богатых пушным зверем, прежде всего соболем, который в XVII в. выпол-

> нял в России роль важнейшего товара («мягкого золота»). Погоня за соболем сыграла главнейшую роль в продвижении за Урал, она же стимулировала дальнейшее движение до берегов Тихого океана (Зуев 2009:34).

Было ли русское движение «встречь солнцу» на самом деле движением встречь соболю? Высказывания историков о «пушной лихорадке» (fur fever) дополняются размышлениями о ее сходстве с золотой лихорадкой в Америке, о персональном участии в меховой торговле царя — «первого бизнесмена России» (Любавский 1996:448; Fisher 1943:28, 142–145; Forsyth 1992:40, 41). Воздействие пушной торговли было столь велико, что она «ввела новую систему отношений в циркумполярном мире, которую правильнее всего назвать доиндустриальным колониализмом» (Southcott 2010:30, 31). Последний из цитируемых авторов, Крис Саускотт, узнав, что я пишу эту книгу, сказал мне в тоне дружеского напутствия: «Конечно, ты покажешь, как русских влекли меха», и был озадачен моим ответом: «Что меха в сравнении с волей? К тому же русские — не самые искусные торговцы, и чем дальше они углублялись в Сибирь, тем реже возвращались назад».

В приведенных выше цитатах упоминается «империя», однако на самом деле не империя осуществляла экспансию, а экспансия рождала империю. Колониальная гонка развернулась в самой, казалось бы, неподходящей обстановке, когда пораженное Смутой Московское царство само едва не превратилось в колонию. Эта историко-антропологическая загадка имеет отгадкой обширность и устойчивость России.

Наказ князю Горчакову: инструкция по колонизации

Борис Годунов стяжал славу виртуозного колонизатора уже в бытность свою правителем при Федоре Ивановиче, когда он со своими подручными, прежде всего дьяком Андреем Щелкаловым, скрупулезно выверял каждый шаг продвижения на юг и восток. Разработанный под его контролем наказ воеводе кн. Петру Горчакову 1592 г. о походе на Пелымское княжество, к которому дважды безуспешно подступал Ермак, выглядит образцовым пособием по колонизации (текст наказа см: РИБ 2 1875:103–120; Миллер 1 2005:339–346).

Главные роли в походе отводятся воеводам кн. Петру Горчакову и Никите Траханиотову, а первым действием определяется поиск поддержки среди туземцев-вогулов. Горчакову предписывается по прибытии в Пермь разослать приехавших с ним из Москвы детей боярских к вогулам на реки Ляля и Вишера, причем в сопровождении людей, «которые бы умели по-вогульски говорить», с задачей собрать на государеву службу полсотни вогулов (по 26 с Ляли и Вишеры) во главе с сотниками. Тем временем Горчаков, переместившись с «нарядом» в Лозьвинский городок, встречает собранный вогульский отряд. Туземцев уверяют в том, что московский государь к ним благоволит, обещает им легкую дань, а ныне жалует деньгами и хлебом: вогулы получают деньги (по два рубля — сотники, по рублю — рядовые) и муку (по чети на человека). Наказ содержит точную калькуляцию «государева жалованья» (52 чети муки и 54 рубля), которое везет с собой на Лозьву князь Петр. Этот ход мотивирован не только и не столько нуждой пополнения войска, сколько задачей раскола стана пелымского князя Аблегирима. Методы привлечения вогулов, в том числе уговоры на родном языке, «государево жалованье» и включение в московскую рать, позволяют использовать (отныне) «служилых» вогулов в качестве проводников и заложников, а также искушать их примером других туземцев, держа князя Аблегирима в напряжении и неопределенности.

Второй приоритет состоит в «государевом судовом деле». Наказ предусматривает заблаговременную подготовку Иваном Нагим «больших судов, малых судов и стругов гребных». Воеводам же вменяется тщательный досмотр и опись судов, включая старые, новые и прибывшие с государевой казной из Сибири. При выявлении недоделок им предписывается «тотчас велети суды делать и конопатить наспех неотступно день и ночь», отрядив на это всех людей, чтобы к весне, когда сойдет лед, флотилия была укомплектована. Дотошность составителей наказа кажется избыточной, когда речь заходит о росписи судов по людям и о сбережении провианта и вооружения от дождя — «хлебные запасы и наряд и пушечные запасы в суды покласти и укрыти гораздо, чтобы государева запасу не подмочило». В этой рачительности выражен не только стиль московских бюрократов, но и опыт речных походов — стратегического средства русской колонизации.

Третье по последовательности действие состоит в устройстве острога (городка). Горчакову следует «присмотреть под город место, где пригоже», и, согласовав выбор с Траханиотовым, «на чертеж начертити и всякие крепости выписать». При этом рассматриваются варианты занятия старого вогульского городка или постройки нового (в этом случае старый надлежит «разорити, чтоб у тоборовских людей города не было»). В начале строительства следует «всею ратью лесу припасти»: служилым казакам —заготовить по 5-ти бревен, а пермичам, вымичам и усольцам — по 15-ти (или по 10, «как будет пригоже»). Первым делом нужно наскоро срубить острог из «легкого леса», а затем «город обложити всеми людьми вместе». Воеводе Траханиотову с ратью надлежит стоять «туто с неделю, покамест острог укрепят», а после его ухода в Тобольск Горчакову «велено быти в Тоборах и город доделывать наспех, чтоб город зделати вскоре». К строительству привлекаются и вогулы — прибывшая с русской ратью полусотня (под началом уже не своего сотника, а сына боярского), а также «тутошние люди пелымские вогуличи», собранные «с 3-х луков по человеку с топоры» (каждый третий мужчина). Однако вогулов рекомендуется «беречься» и использовать только на лесоповале и доставке леса к острогу, а в город «не пущать», «и им дати место возле острогу, а с русскими людьми бы им не быть».

Четвертое действие — поимка и ликвидация непокорного вогульского князя и его приближенных в течение недели (или десяти дней). Воеводе Траханиотову следует «приманить Пелымскаго князя Аблегирима, да сына его большаго Тагая, да племянников его да внучат Пелымскаго, тех всех приманив, извести, и лутчих его людей пяти-шести, которые самые пущие, от которых смута была, про тех сыскав, переимав их, извести». Инструкция обращается повторно к теме «приманивания», предлагая воеводам сочетать напор и лукавство: «А будет Пелымской князь Аблегирим слышит ратных людей и к воеводам не приявитца, а почнет бегать, и воеводам Микифору Васильевичю с товарыщи, став против Пелымки на старом городище, послать ратных людей в малых судех ото всех воевод искать Аблегирима Пелымскаго, и жоны и дети их и люди воевать и побивать, и городок его жечи». Пока Траханиотов занят рассылкой поисковых групп, Горчаков должен убеждать вогулов в том, чтобы они «пошли без боязни ко государевым воеводам и

Пелымского князя привели, а государь их пожалует, и Пелымскому князю ничего не будет. А будет Пелымской князь и дети его придут к воеводам, и их обнадежить, чтоб их всех приманити». Но даже в случае добровольной явки пелымского князя приговор наказа неумолим: «А приманя князя Пелымского Аблегирима и детей его по тому ж, самого князя и сына большего казнить, да с ним 5–6 человек пущих, сыскав, казнить». Милость предусмотрена лишь для младшего княжича и простолюдинов: «А меньшего сына Таутия и з женою и з детьми отпустить с Микифором в Тобольской город ко князю Федору к Лобанову... А черных людей всех примолыти и обнадежить, чтоб жили по своим юртам и в город приходили». В наказе заложен выверенный годами опыт оперативного расчленения и подчинения элит, что было едва ли не самым эффективным методом военно-административной колонизации.

Пятое действие — обустройство колонистов-кормильцев, которых наказ называет «жилецкими людьми» или просто «жильцами». Князю Горчакову с помощью Семена Ушакова следует «жилецких пашенных людей... устроить по городу, людей оставить и хлебные запасы... и велети житницы делати плотником в ту же пору тотчас, как город почнут делать... и места под дворы роздавати жилецким людем и казаком». В числе поселенцев значатся «веденцы» — приведенные воеводами жилецкие люди из Каргополя (9 человек), с Вятки (20) и Перми (20). По инструкции, «веденцы» берут с собой из дома лошадей (хотя бы одну на четверых), скот, сохи («хоти немного, чтоб им пашни вскоре завести»), семенную рожь «на завод 10 чет». Жен и детей пермским веденцам велено пока не брать, а съездить за ними только на следующий год, после того «как они устроятся... дворы себе поставят и пашню распашут» (вятским веденцам, за отдаленностью их края, дозволяется сразу ехать с семьями). Предусматривается, что «жильцами» станут и некоторые ратные люди: «А которые захотят в жильцы туто изо всяких из ратных людей, и князю Петру их переписати. А устроить туто 50 человек конных, тем и земли пометив роздавать. А жалованья годового сулить им польским казаком по 7-ми рублев, а атаману 10 рублев, а хлеба по 7-ми чети муки, а овса потому ж... А земли бы им всем давати, чтоб вперед всякой был хлебопашец, и хлеба не возить». Близ города велено устраивать слободы «в котором месте пригоже, и земли на пашни высмотреть лутчие, и у

крепостей подавать пашни на государя пахать всяким людем. А лутчие места пашенные выбрав оставить под государев обиход до трех сот чети, а вперед та земля пахать на государя жилецким людем, которых устроят на житье». К пашне привлекаются и туземцы из Тоборов и Кошуков, которых следует переселить к городу «со всеми семьями и с лошадьми и посадить туто на пашне в Тоборах, где город станет, и пашни пахати велети на государя. И на Тоборы и на Кошуки на тутошные люди положить хлебом оброк, чтоб с них не имать никакого оброку, ни соболей, а имать бы хлебом».

Шестым действием следует доставить в новый город «образы, и книги, и колокола и все церковное строенье; а попа в тот новой город в Тоборы... взять из Перми Углетцкого, а дьякона, едучи в Сибирь, взять в Ростове, которого владыка велел выбрать, и подмогу тому дьякону взяти в Сибирь с попов с посадских и с уезду 40 рублев... А приехав в Тоборы, как город обложат и почнут делать, и в ту пору велети князю Петру и церковь поставить всею ратью, Рождество Христово, да в приделе Никола Чудотворец, и церковное строение велети устроить, и церковь освящати велети. Да с ним же со князем Петром послано с Москвы 2 фунта ладану, 2 фунта темьяну, да пуд воску, да ведро вина церковнаго». Этот пункт (со ссылкой на волю царя Федора Ивановича) венчает куполом храма проект обустройства колониального форпоста.

Попутно в наказ вписана «память», обнаруживающая руку распорядителя. Одно из поручений Горчакову касается разбоев, устроенных по дороге в Сибирь атаманом Еустратом и его попутчиками. Выяснилось, что «они, едучи, воровали по дороге: боярина Дмитрея Ивановича Годунова в вотчине крестьян били и грабили, и жены их крестьянские соромотили, и убили в деревне в Заболотье ис пищали крестьянина, у иных у многих крестьян животину, коровы и свиньи, побили и платье грабили». По этому случаю воеводе предписывалось прибывших на Лозьву «детей боярских бить батогами, а атаманов и казаков, пущих воров, бить кнутьем. А Еустрата атамана бить кнутом». В этом примечании к наказу видна особая забота о чести и имуществе Дмитрия Годунова, дяди правителя Московского царства.

Судя по всему, инструкция была исполнена с надлежащим тщанием: Пелымский острог был поставлен, князь Аблегирим устранен, его младший сын Таутий пленен. Г. Ф. Миллер нашел в пелым-

ском архиве сведения о том, что в 1597 г. Таутий и внук Аблегирима по имени Учет содержались в Москве под караулом. На следующий год Учет был, вероятно, крещен под именем Александра. Какие-то потомки Аблегирима, числившиеся князьями пелымскими, жили сначала в Пелыме, потом служили в Верхотурье и были пожалованы в тобольские дворяне (Миллер 1 2005:276).

Наказ кн. Андрею Елецкому 1593–1594 гг. по постройке Тары был составлен по пелымскому шаблону, со своей детализацией. В нем ставятся сходные задачи: двумя ратями, судовой и конной, «идти города ставить вверх по Иртышу, на Тару реку, где бы государю было впредь прибыльнее, чтоб пашню завести, и Кучюма царя истеснить, и соль устроить». Высланным вперед из Тобольска детям боярским, казакам и служилым татарам следует убеждать ясашных татар-двоеданцев (платившихъ дань московскому царю и Кучум-хану) в расположении к ним царя и облегчении ясака при условии их присоединения к московской рати в походе на Кучума и ногаев. На Таре, как и на Пелыме, нужно «острог на чертеж начертить» и «делать город и возить лес всею ратью», а местных татар, как и вогулов на Пелыме, привлекать к строительству, но опасаться и в город не пускать, дозволяя лишь к стенам лес возить. Тем временем воеводе предписывается «береженье накрепко от Кучюма царя держати», а переговоры начать с уловки, что-де государь московский «Кучюма царя хочет держать под своею царскою рукою, и сына к нему Облагаира [плененного ранее Абул-Хайра] и людей, вперед пожаловав своим царским жалованьем, отпустит». При этом надлежит «над Кучюмом и над его женами и над детьми промыслить и извоевати их накрепко», а тем временем уговорами отлучить от Кучума его людей, «чтоб ехали к государю служить; а ссылались бы с ними тобольские служивые татарове. А которые от царя придут, и тех жаловать, и сукна давать, и хлебца невелика давать» (Миллер 1 2005:347–352).

Борис Годунов и думный дьяк Андрей Щелкалов, ведший переписку с воеводами, в восточной стратегии, как в шахматах, вдумчиво расставляли на карте Сибири фигуры воевод и острогов. Их инструкция — не только строгий приказ с персональной ответственностью и точными сроками, но и сценарий с пошаговой концентрацией на ключевых действиях. Применявшаяся в московской военно-административной колонизации «сумка с трюками» —

переговоры, подарки, лесть, ниспровержение сильных и патронаж слабых (Pierce 1960:17) — не народное творчество, а пункты инструкции. Благодаря школе Годунова–Щелкалова сибирские воеводы и головы сохраняли дееспособность даже в период Смуты, действуя по старым наказам царя Бориса. Эффект инструкции состоял и в узаконении московского права вершить судьбы туземной знати и рубить остроги на чужих землях.

Воеводы и остроги

Инструкция Годунова–Щелкалова выросла из опыта «острожной колонизации» Поля и Поволжья. В 1586 г. были построены Самара, Уфа (в статусе города) и Тюмень. Далее самарская цепь острогов потянулась на юг, перекрывая ногайские переправы (Царицын на Переволоке появился в 1589 г., Саратов на устье Б. Иргиза — 1590 г.), а уфимско-тюменская цепь — на восток, охватывая владения Кучума (строительство Уфы мотивировалось обороной от сибирского хана и прокладыванием пути в Сибирь). Шаг за шагом ордынский пояс был рассечен цепью острогов. После закрепления на линии Уфа–Тюмень–Тобольск, в 1593–1594 гг., московские стратеги делают «царский ход» сразу в четырех направлениях — на Пелым (1593), Березов (1593), Тару (1594), Сургут (1594). «Острожная колонизация» идет тотально и быстро, напоминая ордынские походы: еще не просохли строения Пелыма, а оттуда уже направляется отряд (в составе рати Елецкого) на Тару; одновременно воевода Траханиотов движется на Березов. Вскоре цепи острогов вытягиваются по северу таежного пояса Зауралья (Березов, Обдорск, Мангазея, Туруханск) и по его югу (Тюмень, Тобольск, Пелым, Верхотурье, Сургут, Нарым, Томск) (см. рис. 12).

В каждом шаге «острожной колонизации» просматривается следующий ход: «А мочно из того из нового города [Тары] полем и в Пегую орду по ясак посылать, и посылки конные и пешие для войны» (Миллер I 2005:353). Наказ 1604 г. о строительстве Томска содержит план: «а до Чат де будет от того города 10 дней; а до киргиского князька до Немчи 7 ден, а людей у него 1000 человек; а до Ород, до князца до Бинея, до ближнего кочевья 10 ден, а до дальнего кочевья 4 недели, а людей у него 10000 человек; а до телеут дальнее кочевье 5 ден; а князек в телеутах Обак, а людей у него 1000 человек; а до умацкого князца до Чити дальнее кочевье

14 дней, а людей у него 300 человек. А как де в Томи город станет, и тех де городков кочевные волости все будут под государевой царскою высокою рукою и ясак с них имати мочно» (РИБ 2 1875:159).

По наблюдениям М. К. Любавского, покорение Сибири «на первых порах носило характер военной оккупации и выражалось в построении в землях туземцев русских городов, городков и острогов. В этих пунктах поселялись прежде всего казаки, стрельцы, различные иноземцы и другие служилые люди; одновременно с ними или несколько позже селилось духовенство, а затем уже в Западной Сибири пашенные крестьяне и посадские люди» (Любавский 1996:455). Остроги окружались слободами «веденцев» и других пашенных людей, воля которых учитывалась лишь в той мере, в какой она соответствовала административным наказам. В 1599 г. Борис Годунов тобольскому воеводе Семену Сабурову наказывал:

> ...пашенных и посадских людей призывать из Перми и с Вятки из Солей на льготу охочих людей от отца сына и от брата и от дяди племянника и от сусед суседов. А льгота им давати, смотря по тамошнему делу, насколько лет пригож... и на подмогу им давати из государевой казны деньги и хлеб, смотря по тамошнему делу, и угодья им давати на кормление, чем бы им мочно прокормитца... искати государю прибыли, чтоб прибыль учинить (Шунков 1946:22).

Если воля пашенных людей с наказом не совпадала, приходилось прибегать к мольбе, как это выразили в челобитной 1599 г. пелымские вогулы и татары, просившие царя вернуть их от землепашества к ясаку:

> Милосердый царь государь, пощади сирот своих, вели свою государеву пашню отставити, и не вели сиротам своим впредь своей государевы пашни пахати, и вели, государь, с нас свой государев ясак соболми имати (РИБ 2 1875:147).

Принудительное переселение пашенных людей,[1] сопровождавшее строительство городов, ямов (первая русская ямская слобода

[1] Б. Э. Нольде полагает, что последний принудительный перевод дворцовых крестьян в Сибирь состоялся в 1621 г. и ему на смену пришла стихийная колонизация. Однако принудительное переселение людей в Сибирь сохранилось в виде ссылки (Нольде 2013:294).

возникла в Тюмени в 1601 г.) и застав (на Собском, Сымском и других волоках), укрепило колониальный каркас и создало опору для дальнейшего движения на восток. Под защитой Тобольска и других городов в XVII в. сформировался земледельческий пояс по рекам Вагай, Иртыш, Тавда, Тура, Пышма, Тобол. Большая часть слобод в Сибири возникла при острогах, выстроенных по «южной оборонительной линии» и подведомственных Тобольску, а к самому Тобольску в конце XVII в. было приписано более полусотни слобод. Полоса от Верхотурья до Тобольска стала «житницей Сибири», и в 1685 г. были отменены хлебные поставки в Сибирь из Поморья — отныне «земледельческий пояс» обеспечивал провизией не только себя, но и северные остроги.

Слаженность действий воевод в годы правления Годунова сменилась разладом в период Смуты. Вряд ли при Годунове было возможно то, что происходило в междуречье Оби и Енисея в 1610 г.: к остякам рек Сым и Кас повадились ходить за ясаком сборщики из Кетска и Мангазеи. Воеводы обоих острогов знали об этом двоеданстве (кетские сборщики требовали по 12 соболей с человека, а мангазейские — наполовину меньше) и писали в Москву жалобы друг на друга от имени одних и тех же остяков. В ответ от королевича Владислава последовал указ 1611 г., который в лучших традициях тогдашнего польского народовластия предлагал воеводам и остякам самим согласовать, кому куда платить. Вместо согласования последовали новые челобитные, уже кн. Дмитрию Трубецкому и атаману Ивану Заруцкому, которым было явно не до остяков Сыма и Каса. Наряду с русскими воеводами, намерение собирать ясак с остяков междуречья Оби и Енисея изъявили тунгусы. Собранный в 1618 г. пелымско-тобольский отряд под началом Петра Албычева и Черкаса Рукина двинулся на Енисей строить Тунгусский (Енисейский) острог, но по пути основал, без указа из Москвы, Маковский острог на Кети. Бедствовавшие все это время остяки Сыма и Каса были, наконец, приписаны к основанному в 1619 г. Енисейску (Миллер 2 2000:28, 29, 50)

За Енисеем (географически) и за Смутой (хронологически) последовал разгул колонизации, в котором смешались наказы и капризы воевод, своеволие и «воровство» казаков, сопротивление енисейских кыргызов и прибайкальских бурят, у которых были свои виды на власть и свои данники-кыштымы. Впрочем иногда

вспоминались и инструкции. Пройдя в 1624 г. разведкой вверх по Енисею, Андрей Дубенский составил чертеж расположения будущего Красноярского острога и для его строительства собрал по сибирским городам отряд в 300 казаков. Инструкция воеводе Дубенскому напоминает своей обстоятельностью наказы Щелкалова, хотя составляли ее не московские, а тобольские дьяки (от лица воевод кн. Андрея Хованского и Ивана Волынского). В ней прописан маршрут по Оби, Кети и Енисею с остановками в Маковском и Енисейском острогах, распорядок доставки вооружения и провианта, проведения разведки, обустройства острога на Красном Яру и приведения жителей соседних «землиц» под государеву высокую руку (с особенным вниманием к «киргиским людям»). Кроме того, наказ содержит специальное поручение воеводе следить за тем, чтобы служилые люди «меж собя не дрались, и грабежу никакого не чинили, и зернью и карты не играли, и государева денежного и хлебного жалования не проигрывали, и никаким воровством не воровали, и насильства и продажи никому не чинили, да в посылках, как их для государева ясаку пошлют, ясашных людей не грабили и не побивали... чтоб однолично в них никакова воровства, и зерни, и блядни, и душегубства не было» (Миллер 2 2000:60, 384–388). Список запрещений впечатляет обстоятельностью и не оставляет сомнений в том, что тобольские дьяки знали, о чем пишут. Как бы то ни было, 15 октября 1628 г. от Дубенского пришла в Тобольск отписка о том, что острог на Красном Яру построен согласно наказу.

Стихия смуты надолго задержалась в Сибири, охватив не только казаков и служивых, но и воевод, что видно на примере затяжной склоки 1629–1631 гг. между воеводами Мангазеи Григорием Кокоревым и Андреем Палицыным. Их противостояние включало массовые потасовки и даже сражения, разделившие жителей Мангазеи и окрестностей на враждебные лагеря со своими войсками, резиденциями и союзниками. Одним из действующих лиц «мангазейской смуты» был Ерофей Хабаров, вскоре проявивший себя и в даурских походах (Бахрушин 1955:179–185).

Н. И. Никитин подметил, что Енисей стал рубежом между различными по своему характеру этапами «присоединения». Если в Западной Сибири «его направления почти целиком определялись московским правительством, которое тщательно вырабатывало

план присоединения той или иной “землицы”, вручая воеводам подробнейшие инструкции, а для выполнения конкретных военно-политических задач часто высылало за Урал войска из Европейской России», то в Восточной Сибири ввиду отдаленности, гигантских размеров территории и низкой плотности населения, «инициатива все полнее переходила в руки местной администрации, получавшей из Москвы предписания поступать “смотря по тамошнему делу”. Оперативность управления при этом значительно возрастала, однако у представителей государственной власти очень часто терялась согласованность действий. Движение на восток становилось не только стремительным, но и все более стихийным, нередко хаотичным» (Никитин 1987:26). Впрочем, Западную Сибирь в свое время тоже открыли «гулящие люди» и казаки, а московское правительство в лице распорядительного Годунова и его дьяков лишь догоняло ушедшую вперед вольницу; за Енисеем картина повторилась, но в другом темпе.

Гулящие и служилые

Если поступь «острожной» колонизации отмечена городками и документами, то хождения северных «гулящих», «промышленных» и «торговых» людей, равно как и южных вольных казаков (даже если они переходили в разряд служилых), скрывались от властей или самими властями, поскольку письменных инструкций поморам и казакам никто не составлял. По документальной истории «гулящие люди» бродят как тени и предстают чуть ли не досадной помехой действиям чиновников. Так, наказ 1601 г. мангазейским воеводам Василию Мосальскому и Савлуку Пушкину испещрен ссылками на «воровство» торговых людей.

> А будет пустозерцы, и вымичи, и зыряне, и пермичи или иных которых городов торговые люди учнут воровати по прежнему и мангазейской и енисейской самояди учнут говорить, чтоб государеву острогу у них в Мангазее впредь не быть, чтоб торговать им в Мангазее и в Енисее всякими заповедными товары с самоядью по прежнему, и князю Василью и Савлуку против воров умышленья сыскивать допряма, а сыскав отсылать их на Березов, а с Березова в Тобольск, и животы их имати на государя царя и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии, чтоб неповадно было впредь иным воровати в таком в дальном в новом месте смуту чинить (РИБ 2 1875:824).

Как и другие историки, опиравшиеся на чиновничьи записи, М. К. Любавский был убежден, что «с наступлением Смутной эпохи распространение русской колонизации в Сибири приостановилось. Москве было не до Сибири; посылки туда новых партий русских людей прекратились. Оставшиеся в Сибири заняты были не столько приискиванием новых ясачных людей московскому государю, сколько борьбой с покоренными уже инородцами, которые, как только началась Смута, повсеместно восстали против русских. Поступательное движение русской колонизации возобновилось только с окончанием Смуты» (Любавский 1996:446).

На самом деле в первое десятилетие XVII в. русские промышленные люди прошли из Мангазеи на Енисей и в 1607 г. основали в устье р. Турухан Новую Мангазею (Туруханск). Все сведения о дальних «землицах», вошедшие позднее в отписки чиновников, были разведаны не ими. Смута остановила не русское движение на восток, а растерявшихся на время воевод. В вольнонародном потоке не всегда различимо соотношение промышленников и казаков. М. К. Любавский подчеркивает роль казаков: «Обыкновенно новые землицы и новых плательщиков ясака отыскивали московскому государю партии служилых людей, преимущественно казаков, отправлявшихся под предводительством “опытовщиков” на свой страх и риск на лодках и на лыжах за тысячи верст по рекам Восточной Сибири... В какие-нибудь 20 лет казаки прошли таким образом всю Сибирь до Охотского моря. За казаками или вместе с ними ходили с теми же целями промышленные люди, также ставившие острожки и зимовья. По их следам шла уже правительственная колонизация, строились более или менее значительные города и остроги, поселялись на постоянное жительство служилые люди, окончательно приводились в покорность туземцы» (Любавский 1996:447). С. В. Бахрушин отдает первенство промышленникам: «Впереди идут промышленные люди... По следам промышленников, часто на свой страх и риск, небольшими партиями в несколько человек, идут служилые люди сибирских городов для сбора ясака с новооткрываемых “немирных иноземцев”» (1955:149).

Пути промышленных людей и казаков на сибирской «украйне» пересеклись и переплелись. Трудно сказать, в ком из них, северянах или южанах, был ярче выражен дух подвижничества и граничащей с авантюризмом предприимчивости. Северяне делали

ставку на мирную торговлю, южане — на военную силу. Со временем те и другие подчинились державной воле Москвы, которую по-своему не слишком жаловали. Их встречи на просторах Сибири не всегда завершались дружескими объятиями. Например, в 1628 г. на Оби неподалеку от Нарыма повстречались служилые люди Якова Хрипунова и промышленные люди с пушниной; служилые тут же ограбили промышленных, но те выкупили назад свою пушнину, причем остались довольны умеренной ценой (Миллер 3 2005:44).

На севере Сибири пионерами открытий были торговые и промышленные люди, тогда как на юге (например, при основании Красноярска в 1628 г.) воеводы и казаки нередко обходились собственными силами. По этому поводу Г. Ф. Миллер рассуждал: «Город Красноярск никогда не достиг[ал] большого развития. Причиной этого была отчасти его удаленность от большой дороги, которая в прежние времена всегда, сухим путем или водою, проходила через Енисейск, отчасти же то, что тамошние дети боярские и служилые люди не принимали в свою среду настоящих торговых людей». Казаки на свой лад добывали провизию и утоляли голод. Когда в 1629 г. атаман Иван Кольцов вернулся из Тобольска в Красноярск с деньгами для раздачи жалованья, но без хлеба, его убили, а тело бросили в Качу. После этого служилые люди обратились к воеводе Дубенскому с просьбой отпустить их в поход на бурят. Чуя неладное, воевода запер город и посадил нескольких смутьянов в тюрьму, но казаки все же двинулись на бурят и захватили добычу, в том числе женщин (Миллер 2 2000:61, 62).

Этот эпизод иллюстрирует не только старую истину, что ущербность торговли оборачивается разбоем, но и нравы казаков, о которых воевода Яков Тухачевский писал царю: если казаков не «нять, то они и всех воевод из Сибири вышибут» (Резун, Шиловский 2005:74). Из официальных донесений может сложиться впечатление, что казаки и служилые люди были озабочены исключительно сбором ясака в казну, а туземцев — под государеву руку. На самом деле они рвались в походы не столько ради государевой прибыли, сколько в азарте дозволенных под видом ясака разбоев и не в последнюю очередь ради добычи пленниц.

«Женский вопрос» был одним из главных мотивов их поисков и походов. Острота его озаботила тобольского архиепископа

Киприана, упрекавшего служилых людей в том, что в поездках в Москву они соблазняют женщин и увозят их в Сибирь. В 1630 г. дворянин Григорий Шестаков согласно царскому указу специально «прибрал» в северных городах России 50 женщин для Сибири, главным образом Енисейска, хотя этого недоставало даже для одновременно прибранных им 500 служилых людей. В том же году казаки промышляли женщин на Ангаре (Верхней Тунгуске) и пленили знатных буряток; правда, енисейский воевода Семен Шаховской отнял добычу с намереньем вернуть женщин бурятским князьям для умиротворения (Миллер 2 2000:101; 3 2005:46). По подсчетам М. К. Любавского, этот промысел достиг демографического выражения; например, к 1641 г. потери женщин у туземцев Тарского уезда были столь значительными, что, судя по учету умерших ясачных плательщиков, только у 5 из 147 остались жены и дети (Любавский 1996:462).

Первыми, еще в XVI в., на Енисей вышли северные «гулящие люди», и первым был освоен обско-енисейский волок с Таза на Турухан (их сходящиеся вершинами притоки не случайно называются Волочанками); лишь в XVII в. были разведаны южные волоки по Ваху–Елогую, Кети, Тыму–Сыму. Северный (тазовско-туруханский) волок был по-своему комфортно обустроен: на нем стояли волоковая баня с буфетом, где продавались кислый квас и сусло, и дом для игры в зернь, в «картяные» и «всякие закладные игры» (Бахрушин 1955:120). Эта атмосфера уюта была особенным настроением северной колонизации: «гулящие люди» шли сюда не на каторгу, а на волю, и выпадавшие на их долю испытания перемежались с состояниями благополучия.

Северные «гулящие люди» первыми увлеклись слухами о богатствах «великой реки» за Енисеем и двинулись на Лену. По преданию, путь туда в начале 1620-х гг. проложил промышленный человек Пантелей Пенда, который с партией в 40 человек прошел по Нижней Тунгуске, ставя зимовья, занимаясь соболиной охотой и отбиваясь от тунгусов. На исходе трехлетнего похода он добрался через Чечуйский волок до средней Лены, а затем вернулся через Ангару в Енисейск. За ним последовали другие: о наплыве на правобережье Енисея промышленных людей можно судить по отписке из Туруханска о том, что в 1626 г. на Нижнюю Тунгуску отправилось 28 каюков с 189 промышленными людьми,

а на Подкаменную Тунгуску — 44 каюка с 312 промышленными людьми. От них и узнали о якутах служилые из Енисейска, Мангазеи и Тобольска. Енисейский атаман Иван Галкин в 1631 г. прошел по верхней Лене и Алдану, объясачив несколько якутских родов. Следом, в 1632 г., сотник Петр Бекетов с отрядом в 30 человек добрался до центральной Якутии и срубил Ленский острог, взяв ясак с окрестных якутов (Миллер 3 2005:53–60; Алексеев 1996:10). Однако вскоре поступь колонизации утратила легкость из-за конфликтов колонистов с туземцами и эха смуты в Сибири.

«Колонией Смуты» стала Мангазея, где разгорелась склока между воеводами Кокоревым и Палицыным. По случаю там оказался шляхтич Павел (Бальцер) Хмелевский, который уже в московской Смуте проявил себя экстравагантно, сражаясь против поляков под знаменами Трубецкого и Пожарского. Сосланный в Тобольск, он пробился в чиновники и занялся выгодной торговлей: отправившись в 1622 г. с ревизией в Мангазею, он захватил с собою четыре бочки вина и котлы для винокурения. Государева кабака там не было, и торговля вином принесла Хмелевскому изрядную прибыль (он вывез из командировки добра на сумму 1140 руб., в том числе 15 сороков соболей). Правда, по возвращении в Тобольск он был «бит кнутом нещадно» и лишен «рухляди», но в 1630 г. Хмелевский вновь едет в Мангазею с государевыми хлебными запасами. Угодив в пекло мангазейской свары, он принял сторону Палицына, попутно собрав вокруг себя ссыльных поляков и черкас. После зимовки Хмелевский отбыл в Туруханск (Новую Мангазею) в сопровождении черкас и с изрядным запасом вина и меду. На Турухане он тоже ставил «братчины медовые», продавал вино по полушке за скляницу, а мед — по 5 и 6 руб. за бочку (выручка составила 10 сороков соболей). «Молясь и торгуя вином», Хмелевский переписывался с Палицыным, а когда в Мангазее вспыхнула открытая война, послал ему на помощь полсотни казаков (Бахрушин 1955:164–170).

Пока в Мангазее кипели страсти, на Турухане бражничали черкасы. Именно отсюда в 1633 г. повел отряд на Лену и Алдан черкас Стефан Корытов. Он принялся собирать ясак с якутов, которые уже заплатили его енисейским казакам. Возмущенные якуты убили пятерых посланцев Корытова, а затем встретили

войной атамана Ивана Галкина, который в благодушном настроении зимой 1633 г. разослал по якутским наслегам известие о своем возвращении, но «все они вдруг отказались ему повиноваться». Покладистые еще недавно якуты собрались в большое войско во главе с кангаласскими тойонами и осадили Якутск (при этом тойон Тынья и его сын Откурай преследовали и убивали тех, кто платил ясак русским). Пока Галкин в осажденном Якутске отбивал атаки кангаласцев, Корытов отсиживался на реке Амге, а когда после снятия двухмесячной осады Галкин призвал его к ответу, дело дошло до рукопашной схватки. В «казачьей войне», сопровождавшейся погонями и убийствами, одолел Галкин: Корытов лишился собранного ясака и был выслан через Енисейск в Мангазею. Однако ему на помощь из Мангазеи и Туруханска уже спешил отряд во главе с черкасом Остафьем Коловым, который в свою очередь сшибся на Вилюе с тобольским отрядом сына боярского Воина Шахова (Миллер 3 2005:65–71).

Сибирские группировки казаков и служилых людей — мангазейская, енисейская, томская, тобольская — открыто и скрыто, с ведома и без ведома воевод конкурировали за «ясачные угодья». В 1636 г. томский атаман Дмитрий Копылов с полусотней служилых людей прошел из Томска мимо Енисейска, несмотря на протесты енисейских властей, затем мимо Якутска на Алдан без согласия якутских властей. Уйдя за пределы владений «енисейцев», Копылов поставил в устье реки Маи Бутальское зимовье, откуда в 1639 г. отправил отряд Ивана Москвитина к Тихому океану. Пройдя разведкой по Охотскому взморью, томские казаки получили сведения даже об Амуре. Правда, на обратном пути первопроходцы Пацифики были остановлены на Анге отрядом служилых людей Якутска во главе с сыном боярским Парфеном Ходыревым. У томских казаков были отняты 300 лошадей и 300 коров, а 30 якутов, сопровождавших томский отряд, были зарублены (Миллер 3 2005:77–80; Бахрушин 1955:152). Сквозной рейд Копылова и Москвитина через всю Восточную Сибирь демонстрирует не только размах хождений сибирских казаков, но и реквизит походов, напоминающих кочевье: облик томской экспедиции наводит на размышление о том, что казаки были готовы в удобном месте не только собрать ясак и перезимовать, но и основательно осесть.

Сибирские воеводства и города порой напоминали враждующие княжества. В 1645 г. енисейские воеводы Василий Пушкин и Кирилл Супонев послали лихого атамана (в ту пору уже сына боярского) Ивана Галкина в Якутск освободить арестованных воеводой Петром Головиным енисейских служилых и промышленных людей. Преодолев в очередной раз путь от Енисейска до Якутска, Галкин отворил тюрьмы и выпустил заключенных. Очередной «воеводский скандал» закончился в 1648 г. отзывом Головина в Москву (ДАИ 3 1848:33–35, 139).

Восточная Сибирь превратилась в «дикий восток», где делили угодья разные партии любителей «ничейных землиц» и ясака: «меж себя у тех тобольских и у енисейских, и у мангазейских служилых людей для тое своей бездельные корысти бывают бои; друг друга и промышленных людей, которые на той реке Лене соболи промышляют, побивают до смерти, а новым ясачным людям чинят сумнение, тесноту и смуту и от государя их прочь отгоняют» (Бахрушин 1955:152–153). Если на первых порах туземцы встречали русских с миром, то позднее, насмотревшись на их склоки и растерявшись от обилия сборщиков «государева ясака», сменили милость на гнев.

С Лены колониальная лихорадка распространилась на юго-восток и северо-восток Сибири. На Яне, Индигирке, Колыме, Анадыре пересекались маршруты отрядов, шедших с Лены «кочами и коньми». В 1634 г. енисейский служилый человек Илья Перфильев, а затем сменивший его десятник Елисей Буза освоили путь «кочами» (по морю) от Лены до Оленека и Яны, объясачив янских юкагиров. Одновременно Посник Иванов во главе отряда казаков перешел «коньми» (по суше) с Яны на Индигирку, построив Индигирское зимовье и наложив дань на юкагиров. Примечательно, что людей на кочах юкагиры встретили мирно, а на конных ополчились, тогда как якуты, наоборот, приветили конных казаков (Миллер 3 2005:74, 84; Бахрушин 1955:125; Алексеев 1996:12).

За Индигиркой последовали Алазея и Колыма, где в 1643 г. Михаил Стадухин поставил три укрепленных зимовья. По его наблюдениям, у кочующих за Колымой чукчей «соболя нет, потому что живут на тундре у моря, а доброй де самой соболь все по Колыме», зато у них много «моржового зуба» (ДАИ 3 1848:100).

Промышленных людей не смутила переориентация с «рухляди» на «зуб», и из устья Колымы они двинулись морем на восток. В 1646 г. мезенец Исай Игнатьев достиг Чаунской губы, на следующий год партия холмогорца Федота Алексеева вышла в том же направлении, но уперлась во льды, а год спустя, в июне 1648 г., тот же Федот Алексеев повел из устья Колымы шесть кочей, одним из которых правил Семен Дежнев, тобольский казак родом с Русского Севера. После трехмесячного плавания и встреч с «чухчами» и «зубатыми людьми» (эскимосами) кочи достигли Большого Каменного носа (мыса Дежнева), где буря раскидала их. «Неволею» коч Дежнева унесло далеко к югу, где он, «прошед Анадырское устье», оказался на восточном берегу Чукотки (Бахрушин 1955:153). Однако и это открытие было омрачено ссорой между Дежневым и подошедшим к Анадырю сухим путем Стадухиным: «встреча соотечественников на далекой Чукотке получилась не теплой — между отрядами едва не произошло кровавое столкновение из-за ясака, и Дежнев поспешил удалиться на судах обратно в море» (Любавский 1996:451, 452).

Одновременно на южном краю восточной экспансии разыгралась драма, главными героями которой стали Василий Поярков и Ерофей Хабаров. Письменный голова Поярков в 1643 г. вышел из Якутска и в 1646 г. вернулся обратно, очертив дугу по Алдану, Зее, Амуру, Охотскому морю, Улье и Мае. Поярков шел на Амур воевать — с пушкой и войском свыше сотни служилых людей. С первых шагов он брал аманатов и ясак, разорял туземные селения и требовал покорности. На лобовую агрессию амурские туземцы (дауры, дючеры, шунгалы) ответили взаимностью, окружив пришельцев враждой. Русские пришли в изобильный край «сидячих хлебных людей», но «питалися всю зиму и весну сосною и кореньями», и померло голодной смертью сорок служилых людей, а иные «служилые люди, не хотя напрасною смертию помереть, съели многих мертвых иноземцов и служилых людей, которые с голоду примерли, приели человек с пятьдесят», а иных служилых людей из своего отряда Поярков «своими руками прибил до смерти», и «всего он Василей потерял государевых служилых людей человек со сто» (правда, на дознании Поярков уверял, что в походе погибло не 100, а 80 человек) (ДАИ 3 1848:50–60). Как бы то ни было, рейд Пояркова ознаменовался не только открытием

новых «землиц», но и разладом с туземцами, раздором среди самих служилых людей, распространением их образа «людоедов»; а острог, поставленный на Зее, стал для них моровой западней. Этот поход иллюстрирует стиль «выжженной земли», причем в буквальном смысле — в вину Пояркову его недоброжелатели вменяли приказ выжечь луг, где голодные служилые люди копали коренья. Де-факто Поярков бежал с Амура, уходя морем к охотскому берегу и оставив по себе недобрую память.

Впрочем вскоре в Якутске нашлись новые охотники искать удачи на Амуре. Их возглавил Ерофей Хабаров — промышленный человек из Сольвычегодска, поучаствовавший в свое время в мангазейской «войне воевод». Он первым устроил соляную варницу в Усть-Кутском остроге, завел пашню, мельницу, занялся торговлей и извозом. Хабаров сочетал в себе предприимчивость своих земляков Строгановых и удаль своего современника атамана Ивана Галкина, которого С. В. Бахрушин назвал смелым исследователем и завоевателем «новых землиц», типичным русским Пизарро (1955:153). Замысел Хабарова был его частной инициативой и как будто обещал вылиться в основательное освоение «землицы» на Амуре.

Между походами Пояркова и Хабарова произошли события, изменившие отношение якутских властей к туземцам. На воеводство в Якутск вместо отозванного Головина в 1649 г. прибыл Дмитрий Францбеков, которому вскоре пришлось разбираться с убийством «гулящим человеком» Федулом Абакумовым тунгусского князя Ковыри. По разъяснениям Федула, тунгусский князь посетил стан промышленных людей на реке Мае, а затем вернулся в свои юрты и «учал говорить тунгусам своим по-тунгусски». Тут Федулу «послышалось» (толмача не было), будто князь говорит о сыне, который «из аманатов ушел». Опасаясь расправы, Федул застрелил князя из пищали. На беду Ковыря оказался не только самым влиятельным человеком в округе, но и отцом дюжины сыновей, один из которых сидел в аманатах в Якутске (вероятно, напугавший Федула уход аманата был обычной заменой одного заложника-сына на другого — Юманея на Турченея). Остальные сыновья убитого князя подняли соплеменников и принялись бить русских. От якутского воеводы они требовали повесить Федула в присутствии тунгусов или «отдать его убить»

им самим. Францбеков оказался в ситуации, когда тунгусы, пусть и в настроении мятежа, все же обратились к нему как к верховной власти; вместе с тем ему надлежало сохранить лицо в конфликте, грозящем перерасти в войну. Царская грамота (скорее всего, по подсказке самого воеводы) содержала сдержанное решение: в присутствии Турченея (аманата, сына убитого Ковыри) Федула следовало «бити на козле кнутом нещадно» и посадить в тюрьму, но не выдавать на растерзание. А Турченею растолковать, что меж тунгусами тоже «неумышленные смертные убойства бывают, и убойцов они из рода в род не выдают»; кроме того, жажда мести тунгусов уже утолена расправой над одиннадцатью русскими. Примечателен миротворческий тон грамоты, предписывающей говорить с Турченеем «ласкою, а не жесточью», и ясак на Охотском побережье отныне собирать «ласкою и приветом, с великим радением» (ДАИ 3 1848:175, 176).

Воевода Францбеков поощрял затею Хабарова и даже в частном порядке ссудил его деньгами. Казалось, все идет к тому, что новый поход во главе с промышленником (и при участии многих промышленных людей) изменит характер русского присутствия на Амуре. Однако след Пояркова оказался глубок: появление Хабарова с отрядом казаков и промышленных людей (первоначально в 70 человек) на Амуре в 1649 г. вызвало опустошительный ужас: прослышав о казаках, жители Амура оставляли свои дома и уходили прочь с женами и детьми. Сыграл свою роль и сопровождавший все казачьи походы «вирус смуты»: незадолго до прихода Хабарова проворный казак Ивашко Квашнин ездил по амурским улусам и, собирая ясак, пугал дауров приближающимся русским войском в 500 человек, которые хотят-де даурских людей «побить и животы пограбить, а жен и детей в полон поимать».

Хабаров прошел Амур от верховьев, где он стоял в городке Албазин (по имени даурского князя Албазы), до низовьев, где казаки срубили Ачанский острог. Его описания впечатляют не ладом с туземцами, а казачьей бравадой: «улусы громили, все улусы»; «дауров в пень порубили»; «и от нашего бою побежались врознь», «и тут все живут дючеры, и все то место пахотное и скотное, и мы их в пень рубили, а жен их и детей имали и скот»; «и яз Ярофейко тех аманатов пытал и жог, и они одно говорят, что де

отсеките наши головы, уже де однако мы к вам на смерть достались». В одном из городков было взято «бабья поголовно старых и молодых 243 человека, да мелкого ясырю ребенков 118 человек, да коневья поголовья взяли мы у них дауров больших и малых 237 лошадей, да у них же взяли рогатого скота 113 скотин» (ДАИ 3 1848: 360–364). В обычае казаков было начинать переговоры с взятия заложников, а захваченного языка сначала опрашивать без пытки, потом с пыткой (например, «жечь огнем»), после чего сопоставлять показания.

Настал день (24 марта 1652 г.), когда разгулу казаков был положен конец — под стены их острога-зимовья в низовьях Амура подступила маньчжурская армия богдыхана («богдойского царя Шамшакана») с пушками и конницей. Казаки выстояли и, по их версии, даже победили, но вскоре покинули острог. Примечательно, что, несмотря на военные потери, их число выросло за счет вольных и служилых казаков с 70 до 348 (из них 212 вернулись с Хабаровым в Якутск, а 136 продолжили грабежи). Среди пополнения оказались и «новоприборные даурские казаки» (ДАИ 3 1848:368, 370).

Трудно сказать, насколько итог экспедиции соответствовал замыслу, но с «лаской и приветом» у Хабарова не сложилось. Составляя на Амуре «земли чертеж», он размышлял: «Даурская земля будет прибыльнее Лены… и против всей Сибири будет место в том украшено и изобильно» (ДАИ 3 1848:258–261). Однако не с сохой пришел на Амур Хабаров, а с пушками (хотя Годунов в свое время учил брать и то и другое), и в отчете своем, ничуть не смущаясь, похвалялся жестокостью. Создается впечатление, что обстоятельства вынудили предприимчивого земляка Строгановых предпочесть казачий стиль освоения земель промышленному.

По оценке скупого на похвалы Г. Ф. Миллера, Хабаров — «человек, принесший столько пользы, заслуживает, чтобы его имя было увековечено» (Миллер 3 2005:85). С. В. Бахрушин назвал амурский поход «головокружительным успехом частного предприятия Хабарова», сопоставив его с экспедицией Ермака (Бахрушин 1955:155). В каком-то смысле рейд действительно был «головокружительным», но тяжела доля «украйн» на стыке держав: если внутренние колонии оберегают, то к пограничным нередко относятся как к заграничным и грабят как в последний раз.

Вместе с тем именно украйна влечет казака и промышленника своей волей, а удобством амурской украйны было пограничье с Китаем. Воеводы остановились перед лицом империи, зато казаки разглядели в буферной зоне убежище. На Амур потек вольный люд, причем настолько резво, что якутская администрация в 1656 г. поставила на Олекме заставу «для побегу в Дауры служилых и промышленных и всяких людей и пашенных крестьян» (Бахрушин 1955:131), а два года спустя был основан Нерчинский острог.

На далеком Амуре сбылась наконец мечта казаков (не сбывшаяся на Иртыше) о создании за Уралом вольной казачьей сечи. В 1665 г. на месте разрушенного городка Албазы беглые казаки во главе с поляком Никифором Черниговским срубили Албазинский «воровской острог». На Амуре «возникла своеобразная казацкая республика, лишь номинально признававшая власть нерчинских воевод, которая на свой риск распространяла русское господство по Амуру и его притокам». Укрепив Албазин, «воровские казаки» построили еще несколько острогов на Зее и Селинбе (Бахрушин 1955:155). Причастность к этим событиям ссыльного поляка Черниговского вполне объяснима: с одной стороны, в ходе службы на Чечуйском волоке и устроенной Хабаровым Усть-Кутской солеварне он узнал о путях на Амур, с другой — был настроен на «своезаконие», подобно Хмелевскому, Корытову и другим высланным в Сибирь полякам и черкасам. Его побег с 84 казаками на Амур связан с убийством илимского воеводы Лаврентия Обухова, изнасиловавшего не то жену, не то сестру Черниговского. Колонизация обильна криминалом, и нередко вождями вольных походов выступают иноземцы, охотно нарушающие шерть, пренебрегающие царской и воеводской властью.[2]

Соперничество между разными казачьими и гулящими ватагами было едва ли не главным ускорителем колонизационного рывка. Самые дальние и рискованные походы — Стадухина и Федота Алексеева на Колыме и Чукотке, Хабарова на Амуре — затевались по частной инициативе. Лихорадка захвата «новых землиц» стала массовой, и развернувшаяся гонка (чего стоит только

[2] Например, в 1621 г. отряд, посланный из Тобольска за солью к Ямышеву озеру, столкнулся с калмыками, и участвовавшие в походе черкасы тут же перебежали к калмыкам (Миллер 2 2000:109).

рейд томских казаков к Тихому океану) наращивала темп и азарт движения, в том числе воевод, пытавшихся или вынужденных конкурировать друг с другом и контролировать казачьи захваты. При этом материальная нажива, обычно (в стиле западной политэкономии) рассматриваемая как ведущий мотив походов, в русском варианте выглядела лишь сопровождением (к тому же ценность ясака определялась не только стоимостью соболя, но и причастностью к власти). Риски и мучения походов стоили того, чтобы обрести собственную «землицу» — пусть на время и под видом государевой службы. Для русской вольницы и полувольницы этот образ жизни стал чем-то вроде кочевания с его приключениями, страданиями, страстями и трофеями.

Попутчики

Когда в 1586 г. воеводы Василий Сукин и Иван Мясной ставили Тюмень на месте старой Чимги-туры, а письменный голова Данила Чулков направлялся рубить острог в устье Тобола, городком Сибирью на Иртыше владели татары, будто и не было похода Ермака; правда, очередным хозяином городка был не хан Кучум, а его неприятель князь Сейдяк. Коварное пленение Сейдяка и Карачи, которых Чулков пригласил на трапезу во вновь отстроенный острог и, перебив их свиту, пленил и отправил в Москву, надолго впечатлила сибирскую знать. Не случайно ни Аблегирим, ни Кучум до конца своих дней не поддавались на уговоры погостить у царских воевод; избегали городов и калмыцкие тайши, приносившие шерть через послов. Трудно сказать, сыграл ли свою роль случай (замысел поквитаться за Ивана Кольца и Ермака мог прийти в голову не Чулкову, а участвовавшему в походе ермаковскому атаману Матвею Мещеряку) или новая сибирская власть намеренно жестоко избавлялась от местной знати, но «охота на князей» стала традицией, вошедшей в инструкции. Тарский воевода Андрей Воейков в 1598 г. с гордостью сообщал:

> И пришел, государь, я холоп твой на Кучюма царя августа в 20 день, на солнечном восходе, и бился с Кучюмом царем до полдень; и Божиим милосердием и твоим государевым царевым и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии счастьем, Кучюма царя побил, и детей его царевичев и цариц его поимал, и брата Кучюмова Илитен царевича, да сына Кучюмова

> Каная царевича, да дву царевичев, Алей царевича детей, на бою убили, да живых взяли кучюмовых детей, пять царевичев Асманака, Шаима, Бибадша, Моллу, Кумыша, да восмь цариц кучюмовых жон, восмь царевых дочерей, да Осмей царевича... с сыном да с дочерью, да Чюрай царевича... Уруса князя нагайского дочь, с двема дочерми, да лутчих людей Кучюмовых взяли на бою, князей и мурз пять человек, Байтеряк мурзу с товарыщи, да убили на бою шесть князей, князя Моймурата с товарыщи, да десять мурзъ, Ахита мурзу с товарыщи, да пять аталыков, Чегей аталыка, Кучюмова тестя, с товарыщи, да полтораста человек служивых людей; да со сто, государь, человек потопло на Оби на реке, как они поплыли за Обь реку, и твои государевы царевы и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии люди их побивали, с берегу, из пищалей и из луков; да с пятдесят, государь, человек служивых людей взяли живых, и я холоп твой велел их побить, а иных перевешать (Нольде 2013:284).

Обсуждая высказывание С. В. Бахрушина о безболезненном переходе туземной знати на царскую службу, Б. Э. Нольде настаивал: «только одна часть знати, загнанная в угол и благодаря удивительно гибкой политике русских, охотно принимавших ее в свои ряды и забывших прежние обиды, стала сотрудничать со своими покорителями, а другая часть поднялась на борьбу с завоевателями... Инородческая аристократия или погибла в сражениях с русскими, или была вывезена в Россию. Если же она заключала союз с победителями, то пополняла московские силы в Сибири. Став “служилыми людьми”, князья и мирзы вместе с другими инородцами участвовали в завоевании своей родины» (Нольде 2013:306, 308). Русский путь на восток обернулся для некоторых сибирских царевичей (Маметкула, Абул-Хайра, Алтаная и др.) дорогой на запад. На русской службе оказались и другие высокородные туземцы, например татарские мурзы Кульмаметевы и тунгусские князья Гантимуровы.

Покорению Сибири сопутствовали удачные альянсы. Главными партнерами русских в движении на восток и противоборстве с татарами были... татары. И не впервые: силами служилых татарских царевичей и мурз ранее были подавлены или замирены Казанское и Астраханское ханства, Ногайская орда; помощь ногайского мирзы Исмаила обеспечила русским поддержку

сибирских татар. Русский арсенал методов наступления (глубокая разведка, нагнетание страха, подавление элиты) был хорошо знаком татарам, потому что у них он и был заимствован: в свое время теми же средствами татары подчиняли русские княжества. Поиск и обретение партнеров среди покоряемого населения обычно облегчался туземными распрями и готовностью части местной элиты призвать иноземцев для наказания соседа-врага. В действительности часто сталкивались не народы, а враждующие фракции их элит, и этнографически единый народ дробился на союзников и противников пришельцев.

Воевода кн. Андрей Елецкий в 1594 г. вел на Кучума отряд, состоявший больше чем наполовину из татар. Помимо стрельцов и казаков, ставить Тарский острог шли: сотня казанских и свияжских татар, три сотни башкир, полсотни тюменских татар, сотня тобольских служилых татар, три сотни тобольских ясачных татар и полторы сотни ясачных татар для судовых работ. Удивляясь «тому, как решились взять такое большое количество татар для отправки в опасные татарские места, где постоянно можно было ожидать враждебного нападения хана Кучума», Г. Ф. Миллер полагал, что опора на служилых татар была продолжением татарской дипломатии Ермака (Миллер 2 2005:282, 351). В этом смысле примечательно, если не трогательно, известие о том, что тобольскими татарами командовал в походе атаман Черкас Александров — сподвижник Ермака.

Отряд успешно справился с правительственным наказом и построил на Таре новый город, чтобы Кучума-царя «истеснить». В наказе проявлена особая забота о призванных в поход казанских татарах и башкирах, которых предписывалось поскорее отправить домой (не то ради их благополучия, не то во избежание задержки на Иртыше): «А как над Кучумом царем промыслят и его извоюют, и их изтеснят, и воеводе князю Ондрею с товарыщи отпустить казанских и свияжских и башкирцов назад к себе, чтоб им поспеть к себе до заморозков и с голоду б им не помереть» (Миллер 1 2005:349). Между тем это был один из первых походов казанских татар за Урал (если не учитывать древнюю булгарскую торговлю); с тех пор волжские и сибирские татары оказались в одном административном поле, и делами Сибири на рубеже XVI–XVII вв. ведал Казанский дворец. Так, попутно с

русской колонизацией началась миграция на Урал и в Сибирь волжских татар.

Русские обретали союзников по всему «татарскому поясу», например в лице еуштинского князя Тояна, изъявившего желание быть «под государевою царскою высокою рукою» и платить ясак, а также сказывать о непослушниках в округе. В 1609 г. Тоян бил челом государю о строительстве в его вотчине острога, а затем по поручению воевод привлек в Томск телеутского князя Абака и даже остался у телеутов[3] в заложниках на время поездки их князя к воеводам. Сходным образом в 1629 г. князец камасинцев Байга «сразу же изъявил покорность и для начала дал 40 соболей ясаку» служилым людям Красноярска (РИБ 2 1875:159, 160, 195–199; Миллер 2 2000:65).

На севере в роли проводников и попутчиков выступили коми-зыряне — торговцы и промысловики. Как уже говорилось в предыдущей главе (сюжете о Стефане и Паме), пермяне/зыряне ходили за Камень с XII в., и топонимия Зауралья подтверждает их присутствие названиями на *-кар* («городок» — Войкар, Шурышкар, Карымкар и др.) и *-ва* («река» — Сосьва, Лозьва и др.) (Европеус 1874). Зыряне пришли со Строгановыми из Сольвычегодска для освоения Урала; зырянские «вожи» вели Ермака в Сибирь; чрезкаменный путь на Сосьву не случайно назывался «Зырянской дорогой»; на зырянских крытых лодках (каюках) передвигались по сибирским рекам и волокам, и кетский воевода с татарским именем Чеботай Челищев в 1609 г. измерял путь от Оби до Енисея ходом на зырянских каюках (Миллер 1 2005:210; 2 2000:49). После неудачи Мирона Шаховского в 1600 г. воеводам Василию Мосальскому и Савлуку Пушкину предписывалось взять в поход на Мангазею «в вожи зырян торговых людей и вымич на все суды, сколько человек пригоже, которые б Мангазейский и Енисейский ход знали и толмачить умели» (РИБ 2 1875:817).

«Вож» может показаться вспомогательной фигурой, если не учитывать, что в Сибири воевали не числом, а маневрами, и от проводника зависела судьба похода. «Вож» не только вел, но и планировал движение и оснащение отряда, а его роль толмача была по существу дипломатической миссией. Правда, по мере

[3] Русские звали телеутов (теленгутов) белыми калмыками (Функ 2006:177).

движения на восток туземные связи и знания коми проводников иссякали, зато в совместных походах укреплялся альянс с русскими, особенно с северными промышленными и гулящими людьми. По ходу колонизации русские и зыряне смешались настолько, что в документах XVII в. их не различали, и лишь по прозвищам и фамилиям можно уловить их коми корни (и то с долей условности, потому что Зыряновыми и Пермяковыми могли прозываться и русские выходцы из Приуралья). Многие коми записывались в казаки и относились к числу торговых, промышленных и гулящих людей. Л. Н. Жеребцов полагает, что коми могли быть участники восточносибирских походов Федор Чукичев, Дмитрий Зырян, Богдан Зырянов, Федор Чуркин; в экипаже Дежнева значились Иван Зырянин и Фома Пермяк, в отряде Хабарова — Тренька Зыренин и Калинка Зырянин (Жеребцов 1982:102, 103; см. также: Повод 2006:31–39). По наблюдениям И. Л. Жеребцова, миграции коми за пределы своего края были как добровольными (исходящими из экономических интересов), так и принудительными (по правительственной мобилизации на военную службу, строительство новых городов и освоение новых землиц) (1996:238–240).

Пермским посредничеством объясняется особое расположение к русским остяцких князей Коды. Связанные корнями с Пермью Вычегодской, они стали союзниками Ермака, а затем московских воевод. Кодский князь Алач, поставленный казаками (Брязгой) главным над обскими остяками, возглавил «служилых остяков», ставших новой туземной элитой и сопровождавших русских в походах (не случайно, по легенде, один из панцирей Ермака достался князю Алачу). Сын Алача, Игичей, вместе с двоюродным братом Онжей, громил вместе с русскими селькупскую Пегую орду князя Вони, союзника Кучума. Кодские остяки строили Сургут, Томск, Енисейск, Кетский и Маковский остроги, а позднее составили компанию русским в походах за Енисей «в тунгусы»: в 1628 г. на Нижнюю Тунгуску ходило 40 кодских остяков (Миллер 3 2005:61). В 1594 г. царь Федор пожаловал князю Коды Игичею волость Лену на Вычегде (откуда вышли предки княжеского рода), а также две остяцкие волости на Оби, Васпалукук и Колпукулук (в них насчитывалось всего 11 ясачных душ).

Вскоре привилегии Коды стали воеводам досаждать. Кодские князья устроили на соседней Конде нечто вроде угодья для добычи

ясыря. В 1595 г. березовскому воеводе Василию Волынскому пришлось разбираться с одним из трофеев князя Игичея — «девкой-княжной», взятой в полон у князя Большой Конды. Со своей добычей Игичей по неосторожности прибыл в Березов, где воеводы Траханиотов и Благой девку у него отняли и отдали березовским остякам (возможно, из благих побуждений вернуть ее в отчие юрты). Игичей бил челом царю Федору, а тот в грамоте отписал воеводе Волынскому, чтоб «тое девку сыскали у березовских остяков, кондинского князя дочь, а взяв отдали ему князю Игичею тотчас». Несколько лет спустя, в 1600 г., история с полоном повторилась, но на этот раз челом царю Борису били вогулы Конды, жалуясь на Игичея за погромы и увод полона: «И нынеча деи князь Игичеевы люди приходят к ним в Конду, их побивают, и жены их и дети и людей емлют к себе в юрты попрежнему в холопи, и юрты деи их пустошат; и они деи от князь Игичея и от его людей от убийства и от насильства живут бегаючи». Вердикт Годунова содержал угрозу князю Коды: «А которые учнут вперед воровати, Большие Конды вогуличам насильство и обиду чинити, и жон их и детей и людей имать насильством, а опосле про то сыщется, и им быть от нас в великой опале» (Миллер 1 2005:363, 378).

С годами нужда в остяцкой кодской гвардии шла на убыль — сибирская украйна отодвигалась все дальше на восток. Потомков Алача крестили, в их вотчине построили две церкви; в 1628 г. в Коде была проведена перепись, и князя Михаила Алачева за утайку 260 ясачных душ вызвали в Тобольск. Он предпочел искать правды в Москве и на время отстоял свои права. Его наследнику Дмитрию пришлось труднее: кодские служилые остяки затеяли против него бунт. В 1636 г. они отказались идти за солью на Ямыш-озеро, взяли Дмитрия в осаду и принялись писать на него жалобы: «бьет и мучает, и в тюрьму сажает», рыбные ловли и рухлядь отнимает, жен и дочерей «насильством на постель себе емлет». Тобольские воеводы Григорий Куракин и Михаил Гагарин охотно внимали множащимся доносам на кодского князя, обвиняемого и в поклонении шайтану, и в том, что не дает остякам черпать воду в проруби. Князь Дмитрий не понимал, что дело не в грехах, а в политике, и пытался тягаться с воеводами, заявляя: «Наперед сего в Тобольску и не такие воеводы бывали, а его де князя Дмитрия не бесчестили». Финал был близок: в

1644 г. Кода и другие сибирские владения Алачевых были отписаны «на государя», а Дмитрию в утешение оставили ту самую «на Вычегде реке волость, зовомую Лена», откуда пришли на Обь его предки. Вскоре Кодский городок пришел в запустение, а затем стал заселяться русскими (Перевалова 2004:45–64). Так поток колонизации смыл некогда важный ее форпост.

Попутчиками русской колонизации оказались и другие группы туземцев, не столь явственно, как кодские остяки, выражавшие свои союзнические или служебные намерения. Известно, что предки селькупов были потеснены кодскими остяками из Среднего Приобья, однако и они по-своему воспользовались ходом событий. Г. П. Визгалов и С. Г. Пархимович предполагают, что расселение селькупов в XVII в. на север, в бассейн Таза и Турухана, связано с русской колонизацией: «Закрепиться в бассейне Таза селькупам помогли русские: в противовес ненцам — пуровской юракской самояди, представители которых периодически совершали нападения на промышленников, санные поезда и караваны кочей. Дальнейшее расселение селькупов происходило строго по территории, в большей степени контролировавшейся русскими: река Таз до Мангазеи и пути русских волоков на Енисей» (Визгалов, Пархимович 2007:27). По ходу русской колонизации в освоении Засаянского края (Тувы) участвовали хакасы (Дацышен 2003:45–48), в казачьих походах на бурятские «землицы» — «канские люди» и верхнеленские тунгусы (Миллер 2 2000:64; 3 2005:55), в заселении севера Ленского края — якуты (Боякова 2001:23).

Отношение якутов к экспансии русских неоднозначно и изменчиво. С одной стороны, они восприняли появление в 1632 г. небольшого отряда енисейского сотника Петра Бекетова с поразившим еще Г. Ф. Миллера хладнокровием: «одинаково кажется невероятным, как русские на это отважились и почему якуты остались при этом спокойными. Во всяком случае, последние были либо приучены уже к покорности многочисленными промышленными и отдельными служилыми людьми, которые бывали у них, либо же не верили, что такое небольшое число служилых людей может причинить им какой-нибудь вред и что им необходимо сопротивляться». Более того, якуты, как и тунгусы, способствовали продвижению русских хотя бы тем, что «распро-

страняли среди других народов слух о непреодолимом могуществе русских, так что всюду, где только показывались русские служилые люди, хотя бы в самом небольшом числе, им редко кто осмеливался сопротивляться». С другой стороны, три года спустя, в 1635 г., из-за поднятой черкасом Корытовым смуты якуты, прежде всего знатные кангаласские тойоны Откурай и Богейко, решительно выступили против русских, стянув к Якутску полутысячное войско. При этом особенно пострадали союзные русским якуты: кангаласцы захватили их имущество, и «их жестокость дошла до того, что они не оставили в живых даже женщин и детей» (Миллер 3 2005:56, 64, 73, 74).

По мнению Г. В. Ксенофонтова, первоначальный успех Бекетова объясняется тем, что якутские тойоны были ошеломлены неожиданным приходом казаков, и если бы они проявили хоть десятую долю «той энергии и смелости, с которой они позже поднимали упорные восстания, то Петр Бекетов со своими 30-ю воинами мог быть и легко уничтожен. Его спасло лишь то обстоятельство, что якуты, переселившиеся с юга в глухой Ленский край, где кроме малочисленных тунгусов не было сильных противников, давным давно утратили свою древнюю воинственность, не имея никакой боевой практики» (Ксенофонтов 1 1992:234, 235).

На мой взгляд, первоначальная благожелательность якутов, в том числе воинственной кангаласской элиты, к Бекетову связана с двумя обстоятельствами. Во-первых, они воспринимали русских по опыту прежних контактов с «гулящими» русскими северянами, которые со всеми туземцами Севера находили общий язык. Во-вторых, сами якуты как недавние мигранты на средней Лене находились далеко не в мирном тунгусском окружении и могли увидеть в русских подспорье в укреплении своих позиций.

К приходу русских якуты жили в основном в районе будущего Ленского острога и на реке Амге. По словам В. Серошевского,

> Не подлежит сомнению, что как северные, так и южные, западные и восточные окраины якутских поселений суть новейшего происхождения, и предания прямо указывают на окрестности Якутска и на Амгино-Ленское плоскогорье, как на метрополию этих колоний. Здесь застали их русские. На Вилюе и Олекме их не было, или было очень мало (Серошевский 1896:219).

Массовое расселение якутов на огромном пространстве вплоть до Арктики происходило при русских, и вряд ли их миграции были только бегством от ясака. Среди якутов нашлись сторонники и участники русских походов. Например, в 1636 г. на верхней Яне якуты приветили Посника Иванова, «надеясь на помощь казаков в противостоянии юкагирам. Объединившись с якутами, Посник Иванов и Иван Ерастов ходили в поход на юкагиров и привели их в русское подданство» (Алексеев 1996:12).

Отношение туземцев к русским менялось ситуативно. По наблюдениям О. В. Бураевой, на первых порах бурятские князья благосклонно приняли русских, поскольку усмотрели в них средство избавления от господства монголов. При этом буряты допускали, что «проникновение русских закончится установлением обычных кыштымских отношений. Но русские пошли дальше монголов: не ограничиваясь периодическими наездами для сбора дани, они строят остроги и прочно обосновываются в Прибайкалье» (Бураева 2005:8). В 1631 г. буряты отказались давать ясак в Братский острог, заявив, что и раньше они вносили не ясак, а выкуп за пленников (Миллер 3 2005:48).[4]

Как заметил историк колонизации М. К. Любавский, русско-туземные альянсы сказались на облике старожилов Сибири: «В результате получилось широкое и повсеместное смешение русского населения с инородческими племенами. В бывших Березовском и Сургутском уездах русские старожилы напоминают остяков своими скуластыми лицами и узким разрезом глаз. В Барабе и приалтайских местностях русскими восприняты татарские и киргизские черты. В Восточной Сибири многие потомки русских старожилов приняли почти инородческое обличье... На Лене и ее притоках иные русские объякутились и наружно и внутренне, хорошо говорят по-якутски и плохо по-русски» (Любавский 1996:462). Н. Н. Дьяконова несколько иначе комментирует «объякучивание»: «Русское население Якутии из категории “чужих” довольно быстро переходило в категорию “своих”, усваивая язык, обычаи и культуру якутов» (Дьяконова 2002:21).

---

[4] Неприятие ясака как принудительной дани и готовность давать его в виде обмена дарами — позиция, свойственная многим народам Сибири, например тунгусам (Slezkine 1994:19, 20) и чукчам (Зуев 2009:351).

Непокорные кочевники

Самыми неудобными для завоевания и колонизации были и остаются кочевники — как степные, так и тундровые. Дело не только в том, что за ними трудно угнаться, но и в том, что они не склонны покоряться. Им гораздо менее, чем людям оседлым, свойственна потребность в сторонней защите и покладистость в отношении власти; они сами выступают в роли «пастырей» и умеют охранять свои стада и своих людей. Для кочевников с их обостренным инстинктом власти вторжение чужаков, претендующих на господство, равносильно объявлению войны. Поскольку для Москвы вопрос власти тоже всегда был главным,[5] конфликт растущей империи и кочевников был неизбежен. Как выяснилось позднее, в этой дуэли компромиссы возможны, но первоначальные сражения — неизбежны.

Кучум не склонил головы даже после ряда тяжелых поражений. Ослепший и оглохший, он неумолимо отклонял мирные предложения царя, превосходно осознавая, что переговоры ведутся не о мире, а о господстве. Чем больше дряхлел Кучум, тем тверже в нем проступал инстинкт власти. Сибирский хан всю жизнь, «по обыкновению степных кочевников, кочевал с места на место в кибитках, как об этом устно рассказывают тобольские татары» (Миллер 1 2005:227), однако после русского вторжения, несмотря на потерю орды, его кочевья расширились, и он превратился, по наблюдению В. В. Трепавлова, в царя-казака (Трепавлов 2012:10–31).

Кочевник реагирует на опасность усилением кочевания. Подъем мобильности сопровождается рейдами, разбоями, захватами чужих стад и женщин, но мотив этой агрессии — не нажива, а маневренная самозащита. Как оседлый человек, волнуясь, ходит по комнате, так кочевник носится по степям, не всегда точно выбирая цель. Последняя траектория Кучума напоминает кочевую агонию, уходящую в никуда — смерть настигает его не то у

---

[5] Примечательны сведения, собранные посольством Василия Тюменца в ставке монгольского Алтын-хана в 1616 г. Первая часть посольского отчета посвящена соотношению титулов и статусов царей («золотого», «желтого», «белого»). Вторая содержит описание царств, но внимание уделяется не товарам или диковинам, а тому, какой у царей «бой» (лучной или «пищали да пушки»), из чего сделаны дома («холстяные» или «кирпишные») и как до них добраться (Андриевич 1889:207–210).

калмыков, не то у ногаев, не то у башкир, не то у каракалпаков около 1600 г.[6] «Бесследность» кончины Кучума — своего рода посмертное кочевье.

Кучумовичи тоже всеми силами избегали зависимости: в 1601 г. посланцы уфимского и тюменского воевод звали старших царевичей Алея (унаследовавшего статус «царя Сибири») и Каная «ехать на государево царское имя и быть под его высокою царскою рукою в его царском жалованье». Оба отказались от русского подданства, как впрочем и от бухарского княжения (РИБ 2 1875:274–283). Зато они пошли на союз с калмыками, появившимися в 1620 г. в степях Прииртышья явно не без участия Кучумовичей: царевич Ишим не случайно взял в жены дочь калмыцкого тайши Урлюка и стал кочевать со своим тестем (Миллер 2 2000:109). Правда, калмыки сами находились в состоянии кочевого шока после поражения от монгольского алтын-хана (Шолой Убаши), ударов со стороны казахов и бегства через Алтай. Как отметил М. М. Батмаев, начало XVII в. было для калмыков «временем интенсивных передвижений, пережидания неблагополучных обстоятельств, без ясного и очевидного намерения поселиться в пределах России» (Батмаев 1993:32, 33).

Московские воеводы заперли иртышские кочевья с севера линией острогов от Уфы до Томска: к 1631 г. были возведены Каурдацкий, Тебендинский, Ишимский, Вагайский и Тарханский остроги, в которых ежегодно сменявшиеся служилые люди из Тобольска стерегли калмыков и Кучумовичей (Миллер 2 2000:97). В 1630–1650-е гг. калмыки перекочевали с Иртыша на Волгу, но Кучумовичи продолжали набеги на российские владения и до 1660-х гг. не упускали случая возглавить восстания башкир, черемис или вогулов (Трепавлов 2012:112).

Менее агрессивно, но не более лояльно к российской власти были настроены телеуты во главе с князем Абаком. В 1609 г. удалось зазвать его в Томск и добиться от него заявления о готовности «служить и прямить государю», кочевать близ Томска и царских «непослушников воевать» (РИБ 2 1875:195–199). Однако приближение телеутов к городу отозвалось тем, что они принялись томских людей «по землям и по пашням побивать». Вскоре

[6] По татарской версии, смерть настигла Кучума у башкир, по башкирской — у каракалпаков (Трепавлов 2012:16, 19).

князь Абак «отпал» от России, а затем снова шертовал на верность. По этому поводу Г. Ф. Миллер не удержался от эмоций:

> Но не было ничего более непостоянного и более неверного, чем обещания и торжественные шерти на верность народов, подобных теленгутам. Они жили в степи, кочуя с места на место, и знали, что до них нелегко добраться. Они тогда показывали покорность, когда под давлением других врагов своих были вынуждены приближаться к русским пределам или когда могли опасаться нападения со стороны русских. Но как только проходила опасность, данная ими шерть переставала беспокоить их совесть... если они могли рассчитывать на безнаказанность, то никакие рассуждения не могли удержать их от грабежа (Миллер 2 2000:107).

Ожесточенно сопротивлялись русским князья енисейских кыргызов (хакасов), которые слышать не хотели о ясаке, а посланных к ним служилых людей избили плетьми и чуть не уморили голодом (впрочем и среди них нашлись соглашатели, например князь Номча, пославший в Томск ясак в 1609 г.). В 1614 г. кыргызы осадили Томск, склонив на свою сторону ясачных людей и служилых татар. Окрестности города были опустошены, несколько человек убито, «хлеб на поле был сожжен или потоптан, и весь скот, принадлежавший русским, достался неприятелю». В ответ из Томска в 1616 г. выступил карательный отряд и взял приступом три кыргызских городка: «людей порубили, жен и детей побрали в плен, а от оставшихся в живых взяли аманатов». Сопротивление кыргызов временно пошло на убыль, князь Исек принес шерть и ясак, однако в 1620 г. они приняли сторону алтын-хана, отказавшись от ясака и побудив к тому же сагайских татар, саянов, аринцев, тубинцев, маторцев, матов, братов (Миллер 1 2005:317, 318; 2 2000:61, 68). Енисейские кыргызы отказывались подчиниться русским до начала XVIII в., когда они были уведены со своих земель джунгарами (Бутанаев 2007).

Не менее напряженно складывались отношения русских с кочевниками тундры. У русских Севера в свое время наладился партнерский диалог с самоедами (ненцами), приблизившими свои кочевья к русским селениям: в XIV в. «самоядь и лопяне» соседствовали у берегов Онежского озера с монахами Муромского монастыря (Лашук 1958:60). Как отметил Б. О. Долгих, движение

ненцев на запад до бассейна Онеги было связано «с установлением добрососедских отношений с местным русским и другим населением», когда ненцы «получили возможность мирно осваивать пространства лесов и лесотундр между редкими поселениями русских, потому что последние были заинтересованы в земельных угодьях совсем другого характера, чем оленеводы-ненцы» (Долгих 1970:26; см. также: Васильев 1979:76).

Московский военно-ясачный стиль колонизации вызвал у ненцев отторжение. Погром самоедами войска Мирона Шаховского на пути к Мангазее в 1600 г. был тревожным сигналом для Москвы, и отправка в 1601 г. новой усиленной рати Мосальского и Пушкина сопровождалась наказом в стиле Годунова-Щелкалова, предписывавшим воеводам не только карать, но и прельщать северных кочевников. Воеводам следовало встретить самоедов в остроге «в цветном платье» и сказать «государево жалованное слово» с обещанием «от торговых и от всяких людей и ото всяких обид беречи». Однако тут же рекомендовалось «лучших людей» у самоедов поймать и держать в остроге, а непослушников повоевать и в в тюрьму посадить, пока не станут государю бить челом и ясак платить. И лишь тех из самоедов отпускать (да еще «суконца давати»), кто будет государю служить и надлежащий пример соплеменникам подавать (РИБ 2 1875:819–824).

Укрепление русской власти в Обдорске и Мангазее отозвалось в тундре кочевой лихорадкой. Как заметил С. В. Бахрушин, самоеды «легко меняли места своих стойбищ и необычайно быстро перебрасывались с одного конца тундр к другому. Малейший повод — и они снимаются с места, как стая птиц, спугнутая человеком. Попробовала березовская администрация захватить несколько самоедов в аманаты, и тотчас “которые были в Карачее самоеди, кочевные людишка, разбрелись врозь в Мангазею и на Енисей и в Пясиду и в иные сторонние реки”» (Бахрушин 1955:5). С 1640-х гг. последовала серия набегов самоедов на Пустозерск и Мангазею. В 1642 г. две сотни Карачеев во главе с князцом Хулеем в течение месяца опустошали окрестности Пустозерска: «образы кололи, людей грабили, а иных били и пытали и животину имали и неводы и сети и лодки и ветки и котлы и якори и парусы поимали ж и свезли, и кочи посекли, и воевав отошли в тундру». Самоеды родов Айваседа и Аседа грабили караваны русских кочей на

Тазовской губе и осаждали Мангазею (Вершинин 2003:12, 13). Русские документы тех лет, упоминающие самоядь, пестрят эпитетами «немирная», «воровская», «кровавая».

Экспансия российской власти вызвала рост подвижности и отход самоедов в отдаленные тундры — «бегство в оленеводы». Одновременно вспыхнула «оленная лихорадка», вылившаяся в грабительские рейды и захват оленей у соседей. Независимость в тундре достигается только движением, и кочевник стремится к ней путем наращивания стада и маневренности, что приводит к концентрации оленей у вождей и становлению крупностадного оленеводства. Так в ненецкой тундре произошла «оленеводческая революция»; впрочем, в качестве метафоры можно использовать и слово «мобилизация», поскольку в действиях кочевников олени служили военно-стратегическим ресурсом в борьбе за независимость и господство в тундре. Главным очагом накопления оленей и последующей экспансии оленеводов стала область кочевий «каменных самоедов» (обитателей Полярного Урала), в частности многочисленного и элитного рода Харючи (в архивных источниках Карачеи). Ветви этого рода под красноречивыми названиями Окотэта (Многооленные) и Сэротэта (Белооленные) проложили кочевья от границ тайги до арктических берегов, от Таймыра до Большеземельской тундры. Вожди Каменных самоедов (Хулей, Пось, позднее Пайгол) собрали вокруг себя Карачейскую «орду», ставшую в это тревожное время ядром общности ненцев-кочевников.

Новая волна конфликтов в начале XVIII в. была вызвана развернутой «сибирским апостолом» Филофеем Лещинским кампанией массового крещения сибирских иноверцев. Кочевники-ненцы восприняли ее как религиозную войну, в разгаре которой Карачеи свирепо расправлялись с крещеными соседями-остяками: в 1720-е гг. Ану-Карачеи во главе с «народным злодеем» Пунзы Тыровым устроили погром в Подгородной волости (князца Никифора Еурова «во многих местах копьями изранили и над телом делали поругания»), а на Куновате убили нескольких остяков «с обычными поруганиями и варварством». После того как Пунзы и его сообщники были пойманы казаками и развешены на столбах в Обдорском, Казымском и Ляпинском городках, карачейский старшина Тынжа Енисеев вновь «взбунтовал» две сотни

своих сородичей (Головнёв 1995:102–105, 127). Напряжение спало лишь в середине XIX в. благодаря смягчению позиций власти и согласительной дипломатии обдорских чиновников, прежде всего Юрия Кушелевского (Golovnev, Osherenko 1999:64–67; Лёзова 2000:201–205).

Не менее остро драма колонизации развернулась на другом краю Арктики — на Чукотке, где вспыхнула «столетняя война» между русскими и чукчами.[7] Как отметил А. С. Зуев, если «сопротивление кыргызов поддерживалось сначала монгольским государством алтын-ханов, затем Джунгарией», то народы крайнего северо-востока Сибири «сами по себе смогли оказать длительное вооруженное сопротивление Московскому царству — Российской империи» (Зуев 2009:4). Составитель первого этнографического свода России И. Г. Георги так характеризовал чукчей на исходе XVIII в.:

> Они наравне с страною своею крайне дики, суровы, необузданны и жесточае всех сибирских народов; у них нет ни грамоты, ни учения, и потому они еще и по сие время совершенно не покорены... Они несколько крат побеждаемы были российским оружием, но паки сотрясали с себя власть и отнюдь не хотят терпеть принуждения... они гораздо дичае, суровее, гордее, необузданнее, смелее, вороватее, лукавее и мстительнее кочевых коряков: словом сказать они с природы толико же злые и опасные люди, колико тунгузы добры. Двадцать чукчей прогонят верно пятьдесят человек коряков, и они бы их всех перевели, если бы российские остроги их не обуздывали. Самые ближние к ним остроги всегда в опасности (Георги 3 1799:74).

Подобно самоедам, чукчи ревниво отнеслись к вторжению казаков, ясаку, аманатству и острогам. Особенно решительно повели себя «каменные чукчи» — кочевники Чукотского нагорья (совпадение названий «каменных» самоедов и чукчей как активной части кочевников не случайно: именно «арктические горцы» были собирателями тундровых орд). Первый же контакт русских с чукчами на Алазее в 1642 г. вылился в вооруженную стычку. С тех пор за полвека (до конца XVII в.), по подсчетам А. С. Зуева,

[7] А. К. Нефёдкин называет ее «типичной колониальной войной» (Нефёдкин 2003:20).

произошло 19 нападений колымских чукчей и русских друг на друга, причем 8 раз атаковали русские и 11 — чукчи (8 раз они осаждали Нижнеколымский острог). К началу XVIII в. русским удалось установить контроль лишь над алазейско-колымской тундрой, и то только потому, что чукчи ее покинули (Зуев 2009:40, 46).

Организация в 1727 г. на уровне Сената Анадырской партии во главе с казачьим головой Афанасием Шестаковым и капитаном Дмитрием Павлуцким была обусловлена геополитической стратегией подчинения Чукотки для контроля над коммуникациями с Китаем, Японией и Америкой. Однако высокий статус Анадырской партии и решительность действий командиров не дали искомого результата, вернее вызвали обратный эффект. В 1730 г. ополчение чукчей разгромило отряд Шестакова, причем казачий голова погиб, а знамя и огнестрельное оружие было захвачено кочевниками. На смену Шестакову поспешил кадровый офицер Павлуцкий, приведший в 1731 г. на Чукотку внушительный по численности отряд в 435 человек. Длительный рейд в 2 тыс. км и шесть ничего не решивших боев с чукчами показали «бессилие русских в отношении чукчей», спровоцировав «шатость» и «измену» соседей (коряков, юкагиров, ительменов), плативших ясак и полагавшихся на защиту русских. Потери в боях не только не ослабили, но, наоборот, повысили боевитость кочевников, сплотив оленных и морских чукчей (сражаться с «капитаном» отправились даже жители острова Ратманова). После отлучки Павлуцкий вернулся на Чукотку уже майором, с инструкцией искоренять немирных чукчей и с огромным по тундровым меркам войском в 646 человек. В восьмимесячном походе 1744 г. эта армия съела все на своем пути, затем на зимовке в Анадырске чуть не вымерла от голода, но чукчей не покорила. В 1747 г. Павлуцкий пал в бою с чукчами в числе 52 убитых русских; кочевники вновь захватили знамя, пушку, 40 ружей, а главное — славу победителей русских и их «худоубивающего» (так чукчи прозвали Павлуцкого) командира (Зуев 2009:57, 69, 73–75, 78, 81, 85, 119–123, 127).

Военные успехи чукчей не были случайностью. В открытой тундре они превосходили русских стремительностью бега и мастерством мобилизации (Головнёв 2015). Их не гипнотизировал

«огненный бой», и сразу после залпа они бросались на противника, не давая перезарядить ружья (так погиб казачий голова Шестаков). Их самоотверженность граничила с фанатизмом: мужчины не сдавались в бою, захваченные заложники кончали жизнь самоубийством, женщины при угрозе плена убивали своих детей: например, в 1746 г. чаунские чукчи при подходе отряда Павлуцкого «сами себя в юртах исприрезались, не хотя идти в покорность, тако ж де жен и детей своих прикололи ж и привешали». Столь же решительно чукчи отказывались платить ясак и выручать своих аманатов (Зуев 2009:68, 125). Разное понимание свободы, жизни и смерти, казалось, исключало возможность взаимопонимания между русскими и чукчами (ко всему прочему чукчи свирепо громили коряков и юкагиров за их служение русским).

Перемена в позиции непримиримых чукчей произошла неожиданно, как стихает ураган. И причина решающего поворота проста, как открытие двери в нужную сторону. Чукчи добились своего: русские в лице вновь назначенного анадырского «командира» майора Ивана Шмалева стали относиться к ним с опаской и почтением. Примечательна сцена переговоров в 1756 г., когда войска русских и чукчей стояли друг против друга, а на принесенный чукчами ясак в виде 98 красных лисиц и 45 песцов русские ответили подарками на сумму 221 руб. 15,5 1/8 коп., существенно превышающую стоимость ясака. Чукотские тойоны Мего, Менигытьев, Тегрувья согласились на ясак и шерть, а майор Шмалев — на устную клятву «солнца не видать» и условие не брать заложников (Зуев 2009:157–167).[8]

Вряд ли кто-то глубже Г. Ф. Миллера проник в сюжеты сибирской колонизации (он был их свидетелем), но явно не к чукчам обращено его размышление: «Некультурные народы не умеют различать причины мягкого с ними обращения; они не знают, происходит ли оно от великодушия или от страха. Они скорее

[8] В последней главе своей содержательной книги о колонизации Чукотки А. С. Зуев высказался по поводу моего объяснения кочевой войны-экспансии как ответа на давление империи: «Оно вполне применимо в отношении чукчей, но полностью опровергается историей русско-корякских отношений» (Зуев 2009:370). Думаю, и к корякам это объяснение применимо с поправкой на то, что их ответ (в частности союз с русскими) был не прямой, а отраженной реакцией на русских как на «врага моего врага» (т. е. чукчей).

склонны предполагать последнее, и их нельзя держать в повиновении иначе, как справедливым принуждением» (Миллер 2 2000:42). Чукчи по сей день говорят, что поддались только на доброе отношение русских, изрядно к тому же сдобренное водкой. В перемене отношений русских и чукчей велика персональная роль Ивана Шмалева, как в случае с самоедами — Юрия Кушелевского, и в целом этот сдвиг от насилия к партнерству показал: то, что в течение века не решила война, было достигнуто путем переговоров и взаимных уступок.

Frontier и украйна

Со времен Карамзина, назвавшего Сибирь «вторым новым миром для Европы», популярно сопоставление колонизации Америки и Сибири. Недавно отечественные историки заимствовали американский термин *frontier* (граница), перенеся вместе с ним на российскую почву заокеанскую историческую матрицу. Американский бросок на запад действительно напоминает российский рывок на восток, а автор концепции фронтира Ф. Дж. Тёрнер, как и В. О. Ключевский относительно России, полагал, что «американская история вплоть до наших дней в значительной мере была историей колонизации Великого Запада» (Turner 1893; Тёрнер 2009:13).

Frontier — движущийся рубеж и в то же время стык цивилизации и дикости. *Frontiersman* («человек фронтира», прибывший в Новый Свет европеец) сначала окунается в дикость и адаптируется к ней, а затем «шаг за шагом он преобразует дикую местность» и создает новую Америку. «Это вечное возрождение, эта текучесть американской жизни, эта экспансия на запад с ее новыми возможностями и непрекращающимся соприкосновением с простотой примитивного общества — все это порождает силы, доминирующие в американском национальном характере». Волны людей фронтира одна за другой неслись через континент: «Встаньте у перевала Камберленд и понаблюдайте за ходом цивилизации, представители которой вереницей пройдут перед вами, сменяя друг друга — бизон, скачущий по тропе к соленым ручьям; индеец; торговец мехами и охотник, скотовод, пионер-фермер — и вот перед вами прошел весь фронтир». Вопрос, «почему так получилось, что люди, торговавшие с индейцами, столь быстро пересекли континент?» звучит у Тёрнера риторически: «Все они

отправлялись за мехами... товарообмен с индейцами открывал маршруты следования по руслам рек... В этом и заключается объяснение силы торговца и быстроты его продвижения» (впрочем во французской колонизации доминировал торговый фронтир, в английской — фермерский). «Общая опасность на границах заселенной полосы приводила к сплочению в единых оборонительных действиях», и фронтир «способствовал формированию американского народа смешанного национального состава», а также «развитию национализма». «Но самым важным влиянием фронтира оказалось его содействие развитию демократии» на основе индивидуализма (Тёрнер 2009:14, 19, 20–22, 28, 34, 35, 52).

Концепт Тёрнера вскоре был применен к истории России и колонизации Сибири там, где это было уместно, — в исследованиях американцев, писавших на английском языке для своих читателей, в той или иной мере разделявших американский взгляд на мировую, в том числе российскую, историю. Например, *frontier* как понятие подвижной границы используется в работах представителей калифорнийской школы (Р. Дж. Кернер, Дж. Ланцев, А. Малоземов, Р. Пирс, Дж. Харрисон, Р. Фишер, Б. Самнер, Дж. Гибсон, Б. Дмитришин), изучавших колонизацию Сибири на фоне колонизации Америки. По наблюдениям Т. В. Воробьевой, эти параллели не лишены оснований ввиду сопоставимости масштабов, целей и «духа продвижения» с его ощущениями свободы, «большого неба», риска и опасностей; при этом главным мотивом колонизации в обоих случаях называется добыча пушнины. Сходство обнаруживается и в том, что «приграничье подсказало формирование сложной национальности» и что «слабые коммуникации, природа вовлеченных в это людей и отставание в учреждении центрального контроля благоприятствовали приграничному беззаконию, так характерному для обеих стран». Однако в Америке преобладало то, чего недоставало России: индивидуализм и чувство неограниченных возможностей, договоры приобретения земли (наряду с беззаконными аннексиями), индустриализация за счет объединения капиталов и труда, притока внутреннего и иностранного капитала (Воробьева 2012:22, 23, 67, 77, 117, 186, 188).

В постсоветское время слово «фронтир» в числе прочих быстрых заимствований обрело в российской науке благодатную

почву и дало буйные всходы в условиях поиска новых подходов и свежих концепций. А. Т. Шашкову оно приглянулось как обозначение подвижной границы (в советской традиции «граница» несла в себе смысл незыблемости и статики).

> Фронтир — это создание цепи или отдельно быстро сооружаемых и легковооруженных военных пунктов (остроги, слободы, форпосты, пасы, погосты, укрепленные деревни и заимки), которые всегда выдвинуты в пограничные земли и отдалены от основных административно-хозяйственных центров (городов) относительно большим расстоянием. Границы сибирского фронтира были весьма подвижны и не совпадали с официальными границами Русского государства в Сибири. Так, если в конце 1580-х годов фронтир начинался сразу же за городской чертой первых русских городов — Тюмени и Тары, то с каждым последующим десятилетием его рубежи стремительно двигались на восток и в глубь Азии и к 1649 г. достигли Тихого океана (Шашков 2010:70).

Д. Я. Резун и М. В. Шиловский принялись за разработку нового для российской историографии понятия всерьез. Для них фронтир — встреча и контакт двух культур разного уровня цивилизационного развития; «именно такой была встреча белой и индейской цивилизаций в Северной Америке, испанской и индейской в Южной Америке, русской и аборигенной — в Сибири». В колонизации Сибири обнаруживаются три вида фронтира: внешний — по отношению к территориям и этносам, не вошедшим в «огораживающее поле» колонизации; внутренний — по отношению к народам, оказавшимся внутри него; внутрицивилизационный — между старожилами и переселенцами. «Человеку фронтира» в Америке и в Сибири одинаково присущ низкий уровень духовной культуры и религиозности. Основное различие американского и сибирского фронтиров состоит в том, что в Америке менталитет формировался в условиях рыночной экономики и политических свобод, а в Сибири — в условиях тотального вмешательства государства в повседневную, прежде всего экономическую, жизнь. Предприимчивость здесь сдерживалась отсутствием спроса на производимую продукцию из-за малочисленности городского населения и отсутствия дорог, что вело к сочетанию трудолюбия, упорства, энергичности с ленью, малопод-

вижностью, ограниченностью потребностей. Если для Америки век колонизации — это эпоха обретения независимости, то для Сибири — время подавления «гражданских» порядков абсолютизмом. Освоение Северной Америки началось как сугубо мирная акция переселения колонистов из метрополии с последующим занятием их сельскохозяйственным трудом и промыслами; присоединение Сибири началось и продолжалось как чисто военная акция и первыми здесь появились служилые люди (Шиловский 2003:101; Резун 2005:3; Резун, Шиловский 2005:16, 138–141, 164).

И. В. Побережников считает концепцию фронтира «удобным познавательным инструментом для изучения стран, в истории которых существенную роль играла колонизация, континентальная экспансия, имелись “свободные земли”, были свои “запад” и “восток”». Из «фронтиров освоения», которыми, по его мнению, буквально окружена Россия, важнейшими «являлись северный, восточный и южный», а Сибирь стала пространством «фронтирной модернизации» в условиях незавершенного освоения (Побережников 2011:191, 192).

Симптоматично, что во всех случаях понятие «фронтир» применительно к России и Сибири нуждается в разъяснении и сравнении. Если в американских построениях *frontier* представляет собой определенность (как опыт собственной страны), то в российских фронтир напоминает чужой костюм, который не очень ладно сидит, но моден. Единственное, что оправдывает вторжение «фронтира» в отечественную историографию — уподобление российской колонизации американскому образцу.

Тёрнер рассматривал *frontier* как американский код. В русской традиции сходное понятие с летописных времен (XII в.) обозначается словом «окраина» или «украйна» (например, в 1626 г. А. Дубенский получил приказ идти на «украйну сибирской землицы» и поставить Красноярский острог). Принципиальное различие между американским *frontier* и русской *украйной* состоит в том, что первый — новообразование эпохи трансатлантических завоеваний, а вторая — старая, как евразийский мир, формула контактов давних соседей. В Евразии и России это пограничное пространство было не местом знакомства и противоборства разных цивилизаций, а ареной обновления прежних связей и перераспределения власти между стареющими и новоявленными

метрополиями. Мне представляется, что понятие «украйна» содержит в себе целый спектр значений (от географического до политического), базовых для историко-антропологического изучения реалий российской колонизации, и в первую очередь следует осмыслить ее русский облик, а уже затем, если хочется, сравнивать русскую «украйну» и американский “frontier”.

Концептуальное значение украйны в русской истории заметил исследователь, которого трудно заподозрить в верхоглядстве, — С. М. Соловьев. Его последняя статья «Начала русской истории», не оконченная из-за смерти автора в 1879 г. (кстати, за десяток лет до выхода в свет книги Тёрнера), звучит как завещание человека, пропустившего через себя всю отечественную историю. Именно в ней С. М. Соловьев использует понятие «украйна» как концептуальное: «Россия есть государство пограничное, есть европейская окраина, или украйна со стороны Азии. Это украинное положение, разумеется, должно иметь решительное влияние на ее историю» (Соловьев 17 1988:709).

На мой взгляд, ключ к пониманию российской колонизации XVI–XVII вв. дает не поиск удобного слова из набора «завоевание», «присоединение», «вхождение» или «освоение», а русское понимание «украйны» с ее притяжением, напряжением, стратегией, мифологией. Украйны, без которой не может жить Центр, в которой есть место лихим казакам и цепким чиновникам, туземцам и каторжанам, язычникам и священникам. Российская украйна предстает «живой границей», сочетающей в себе проекцию столицы и самобытность, умножаемую полиэтничностью.

В главе «Окраинные люди» речь уже шла об украйне с ее вольностью и шаткостью, с противоречивой, но неизменной взаимной тягой между окраиной и столицей (российская украйна — одновременно клон и антипод столицы). Примечательно, что московская автократия даже в самом деспотическом ее облике времен Ивана IV не только плодила окраинную вольницу, но и успешно с ней взаимодействовала. Именно в этом парадоксальном, на первый взгляд, состоянии притяжения–отталкивания кроется источник энергии, раскинувшей Россию на огромное пространство Евразии. В конкуренции и гонке вольницы и деспотии состоял и механизм стремительной колонизации Сибири.

***

Двадцать лет назад я различал в российской колонизации Западной Сибири этапы-захваты: военный (XVI–XVII вв.), конфессиональный (XVIII в.) и правовой (XIX в.) (Головнёв 1995:90). Сегодня меня больше интересуют мотивы, диалоги, действия людей в их переплетениях и проявлениях, подчас неожиданных. И чем детальнее выстраивается картина событий, тем менее очевидны в ней «чистые» этапы, типы и законы. Этапы в истории, как слои в археологии, образуются из «отложений» деятельности людей, которые и не помышляли об этапах, а руководствовались собственными нуждами и склонностями.

Один человек может оказаться целым букетом разных типов и этапов. Например, Борис Годунов являет собой энциклопедию колонизации: он — воплощение ордизма, стратег острожной экспансии, учредитель крепостного права, невольный провокатор Смуты. Эти ипостаси задают разные импульсы колонизации, соединяясь в сценарий с участием широкого круга действующих лиц: дьяка Щелкалова, воеводы Траханиотова, князей Аблегирима и Игичея, казаков, служилых татар, кочевников-самоедов. Такая же персона-энциклопедия — хан Кучум, который колонизовал Сибирский юрт с помощью сартов, используя приемы военного и конфессионального завоевания, а затем испытал внешнюю колонизацию на себе, но предпочел не подчинение, а изгойскую долю хана-казака. При синхронизации сценария с его участием на арену колонизации выступают царь Иван Грозный, промышленники Строгановы, бий Исмаил, английские купцы-искатели, атаманы Ермак и Барбоша.

Российский рывок на восток осуществлен силами промышленных людей, казаков и воевод. На старте (Урале) эти три силы сошлись из разных очагов — севера, юга и центра европейской России, а в финале (у Тихого океана) они перераспределились в смешанные группы. Преимуществом первых было мастерство судовождения и торгово-промыслового партнерства, вторых — воинская удаль и огнестрельное оружие, третьих — эгида «белого царя», власть и остроги. В общем потоке «скольжение» северян, «удары» казаков и «твердость» воевод создавали пеструю картину движения: в авангарде торили пути «гулящие» северные следопыты, за ними шли в набеги казаки, а следом столбили землю

острогами воеводы. Динамику лавине колонизации задавало притяжение-отталкивание этих сил в поиске и освоении новых «землиц», ясака, пушнины, женщин, убежищ. Эта гонка (иногда представляющаяся игрой в убегалки-догонялки) прочертила сеть путей и крепостей, на которую впоследствии наросла плоть нового народонаселения — российской Сибири.

На ритм и аритмию движения оказывали влияние встречные действия туземных элит, которые в разных амплуа (проводников, противников, союзников, служилых, ясачных плательщиков) участвовали в колонизации. Опорную роль в начале сибирской экспансии сыграли татары и зыряне, с которыми русские вступили в отношения, характеризуемые в теории колонизации как симбиоз. Многоликость и разноголосица колонизации стали средой взаимной адаптации и преобразовались в сложный «этноценоз», до сих пор сохраняющий потенциал устойчивости.

Эпилог: колонизация вспять

«Украйна возвращается», — так в старорусской манере можно озаглавить это послесловие, имея в виду не то проклятье, не то очищение метрополий, на которые обрушиваются обратные волны колонизации. В каком-то смысле это омовение даже гигиенично. Наверное, ни один завоеватель, собираясь в свое время в поход, не задумывался всерьез о том, что он отворяет ворота в собственную страну. Между тем любое завоевание (колонизация, миграция) несет в себе эффект бумеранга, потому что прокладывает путь, по которому почти сразу начинается встречное движение (например, в виде пленных), а позднее разворачивается «колонизация метрополии». Эта судьба выпадает на долю всех метрополий, независимо от стиля их экспансии. Колонизация всегда — дорога с двусторонним движением, и со временем метрополии и колонии могут меняться ролями, как когда-то Мидия и Персия, Греция и Рим, Орда и Москва. Но и на встречной волне колонизация не замирает: Синопа была колонизована греками трижды (и одновременно сама выступала метрополией); в средние века изменчивый политический ветер гонял встречные колонизационные волны через Ла-Манш; после Второй мировой войны евреи в очередной раз колонизовали Землю обетованную.

Если считать, что первой метрополией человечества была северо-восточная Африка, то первой колонией стала Евразия; и всякое последующее вторжение в Африку арабов и европейцев (мусульман и христиан) можно оценить как колонизацию вспять. Очередной обратной волной колонизации выглядит и нынешнее освоение Европы выходцами из африканских и азиатских колоний. Обозреватели, несмотря на деликатность темы, уже применяют термины «колония» и «колонизация» в описаниях заселения Европы мигрантами из бывших колоний (например: Leiken 2012). Политики и общественные деятели из разряда «правых» рисуют мрачные картины будущего, когда из-за наплыва африканцев и азиатов коренные европейцы (например, французы) окажутся в своей стране на положении изолятов, и «останется лишь воспоминание об исчезнувшем виде, который назывался французами и погиб в результате неведомой генетической метаморфозы» (Филиппова 2007:215, 216).

Колонизацией вспять стала в XVI в. экспансия Москвы во владения своей бывшей метрополии Орды, когда «собирание татарских земель» придало Российской державе континентальный размах. Позднее, будто фильм на обратной перемотке, колонизованная Москвой северная Евразия начала собираться в свою метрополию, и нынешняя огромная и непрерывно растущая «многонациональная Москва» — портрет империи и пример обратной колонизации.

Самый впечатляющий случай колонизации вспять — мировое господство США. Недавняя колония взяла реванш на всех направлениях, откуда шло заселение Нового Света. При этом Америка продолжает колонизоваться, превратив иммиграцию в индустрию накопления человеческого потенциала и капитала. По существу крупнейшие североамериканские доктрины современности — «плавильный котел» США, мультикультурализм Канады (Тишков 2003:237–246) — вариации на тему колонизации. Технологии трансграничных коммуникаций (включая обращение идей, людей и капитала), которые обусловили и поддерживают лидерство США, происходят из арсенала средств колонизации.

Если оставить в стороне нервную политическую риторику и вернуться к спокойному тону антропологии, колонизация окажется не грехом прошлого и не угрозой будущего, а повседневностью человечества, естественной его динамикой на протяжении всей праистории и истории. Из-за вездесущности и многогранности этот феномен нелегко представить обобщенно, но пора это сделать хотя бы эскизно.

Хронологически в колонизации условно обозначаются эпохи: праисторическая, античная, «великое переселение народов», закат кочевников, европейская экспансия (включая русскую), колониальный раздел мира, деколонизация, постколонизация. Географически выделяются крупнейшие очаги метрополий: Африка (в палеолите и эпоху египетской цивилизации), Ближний Восток, Европа, Китай с прилегающей Монголией, Центральная Америка (до европейской экспансии). По политическому формату среди колоний различаются: (1) периферии империй (Персидская держава, Рим, Великий Монгольский улус, Омейядский халифат, Византия, Османская империя, Россия и др.); (2) дочерние полисы в обширной торгово-политической сети (Финикия, Эллада, норманнские «гарды», Новгородская земля), (3) колонии-«домены» с иноземм-

ной элитой и подчиненным местным населением (Спарта, Египет Гиксосов, Англосаксонская Британия, Норманнская Англия, Варяжская Русь, Южная Родезия и др.); (4) колонии переселенцев, массово потеснивших туземцев и создавших свои страны (Венгрия, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и др.); (5) заморские колонии-владения европейских держав (в Африке, Океании, Азии, Южной Америке); (6) колонии-«фактории», выросшие из резиденций иноземных торговцев и промышленников (Гонконг, Малакка, Сингапур, Русская Америка и др.), (7) метис-колонии со смешанным туземно-иноземным населением (Латинская Америка, Трансвааль); (8) колонии-«плантации» с преобладанием подневольных переселенцев эпохи индустриального рабства (Сан-Доминго, Ямайка, Барбадос); (9) колонии-диаспоры переселенцев-иноземцев (еврейские гетто, греческие, армянские, китайские, турецкие и другие, в том числе конфессиональные, анклавы и общины мигрантов).

Эта типология условна, поскольку колонизация динамична и одни и те же страны в разные эпохи попадают сразу в несколько категорий (например, Англия и Россия). Не менее условны типологии колонизации на уровне одной страны, например различение в российской колонизации княжеской, боярской, землевладельческой, монастырской, казацкой, крестьянской и государственной колонизации (Любавский 1996), как и неутихающие споры о том, как удобнее называть колонизацию Сибири — «освоением», «присоединением», «завоеванием», «взятием», «вхождением». Наблюдения за стратегией и механизмами колонизации сводятся в ряд столь же условных обобщений:

- Колонизация — изначальное и всеобщее свойство живой материи (от бактерий до человечества) распространяться по планете; в этом движении действуют общие для природы и общества механизмы адаптации, конкуренции, симбиоза, сукцессии;
- Человек более других живых существ преуспел в колонизации, освоив всю планету и сохранив при этом свое биологическое единство;
- Создание (выведение) нового поселения — лишь эпизод общей стратегии движения, основанной на мобильности и власти над пространством;

- Колонизация — дорога с встречным движением, и колонии по-своему колонизуют свои метрополии (через пленников, элиту, наемных солдат и рабочих), благодаря чему возникает эффект колонизации вспять;
- Пересекая границы, колонизация вызывает прямой контакт народов и культур, в котором происходят социокультурные взаимодействия в конкурентном и нередко продуктивном диалоге;
- Всем странам довелось быть колониями, и в ряде случаев происходила «миграция метрополий» и рокировка ролей колонии и метрополии;
- Колонизация часто устанавливает отношений иерархии (господства и подчинения) между народами в виде империй, торгово-промышленных сетей и других форм зависимости; при этом колонистами могут выступать как представители элиты, так и зависимые сословия (особенно часто крестьяне, ремесленники, рабы, рабочие);
- Есть два вида колонизации — локальная (освоение экониш с их биоресурсами) и магистральная (охват больших пространств с их социальными ресурсами); в их взаимодействии (альянсе, симбиозе) магистральная культура играет роль несущей, локальная — укореняющейся;
- В магистральной колонизации обнаруживается три стиля: кочевой, силовой и сетевой; первый подразумевает мобильную власть над пространством зависимых народов и стран; второй — военно-административное подчинение (нередко в виде имперского порядка), третий — торгово-промышленную паутину отношений с элементами партнерства;
- В кочевой колонизации метрополией выступает движущаяся орда, а колонизуемой периферией — оседлые сообщества; кочевник не живет в оседлых колониях, а контролирует их и заселяет оседлыми колонистами; сообщества кочевников (орды) жестко соперничают за власть над пространством, а вторжение конкурентов встречают мобилизацией, войнами, разбоями, захватами табунов; кочевое общество наименее податливо внешнему административному (государственному) подчинению;
- Облик границы — *limes* в Риме, *chángchéng* (長城) в Китае, *украйна* в России, *frontier* в Северной Америке — определяет

отношение метрополии к колонизации: римский лимес и китайская стена ограждали империю, американский фронтир был фронтом наступления европейцев на туземцев, русская украйна (живая граница) конкурировала и взаимодействовала с державным центром в пространственной экспансии;

- В беспрецедентной по скорости и размаху российской колонизации Сибири сплелись мотивы и ресурсы трио — северных промышленных людей, южных казаков и воевод центра;
- Колонизацию сопровождает мифология (оракулы, мифы о диковинных землях), теополитика (духовная реконкиста, заветы богоизбранности, покорения и просвещения неверных), идеология (доктрины превосходства как основание колониализма, неоколониализма, постколониализма), специальные знания (логография, картография, геополитика);
- Колониализм в его негативной ипостаси — теория и практика использования инструментария колонизации для утверждения господства мировой метрополии (в недавнем прошлом — Западной Европы, затем Северной Америки);
- Колонизация многолика: вольно или невольно в ней участвуют разнохарактерные персонажи от нищего скитальца до строителя империи; мотивы и механизмы этого естественного для человека движения проявляются в потоке обыденности (например, новый руководитель «колонизует» место работы своей командой, а дети даже в играх «колонизуют» доступное пространство дома и улицы); и в этом выражается не размытость, а всеобщность феномена колонизации.

«Вспять» означает не только обратные потоки мигрантов в масштабах стран и континентов, но и бесконечное возвращение мотива колонизации. Сегодня впору размышлять над кибер-колонизацией, в которой участвуют все те же политики, кочевники, пираты и торговцы, хотя и скрытые за аватарами. Иногда с оглядкой в прошлое удобнее оглядываться по сторонам.

Литература

ААЭ 1836 — Акты археографической экспедиции. Т. 1. СПб., 1836.

Абрамов Н. А. 1857. Описание Березовского края // Зап. РГО. СПб. Кн. 12. С. 327–448.

Абрамович Г. В. 1975. Поместная система и поместное хозяйство в России в последней четверти XV и XVI в.: дисс. докт. ист. наук. Л.

Абусеитова М. Х. 1985. Казахское ханство во второй половине XVI века. Алма-Ата: «Наука». 104 с.

Аверин И. А. 2003. Казачество // Русские. М.: Наука. С. 118–123.

Алексеев А. Н. 1996. Первые русские поселения XVII–XVIII вв. на северо-востоке Якутии. Новосибирск: Изд-во ИАЭ СО РАН. 152 с.

Алексеев М. П. 1941. Сибирь в известиях иностранных путешественников и писателей. Иркутск. 609 с.

Алексеев Ю. Г. 1989. Освобождение Руси от ордынского ига. Л.: Наука. 220 с.

Андерсон Б. 2001. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М.: Канон-пресс-Ц, Кучково поле. 288 с.

Андриевич В. К. 1889. История Сибири. Ч. 1. СПб.

Аникович М. В., Анисюткин Н. К., Платонова Н. И. 2010. Человек и мамонт в Восточной Европе: подходы и гипотезы // Неандертальцы: альтернативное человечество. Stratum plus. № 1. С. 99–136.

Анимица Е. Г. 2003. Греки в судьбе России. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та. 302 с.

Артемьева Н. Г. 2008. Происхождение и эвоюция традиционной системы отопления (канн и ондоль) народов Дальнего Востока // Ойкумена. № 1. С. 38–45.

Багалей Д. И. 1886. Материалы для истории колонизации и быта степной окраины Московского государства. Харьков. Т. 1.

Багалей Д. И. 1886а. К истории заселения степной окраины Московского государства // ЖМНП. № 5–6 (чч. I–II, III–IV). С. 87–105; 250–287.

Бартольд В. В. 1968. Сочинения. М.: Наука. Т. 6.

Батмаев М. М. 1993. Калмыки в XVII–XVIII веках. События, люди, быт. Т. 1. Элиста: Калм. кн. изд-во.

Бахрушин С. В. 1955. Научные труды. Т. 3, ч. 1. М.: АН СССР. С. 13–160.

Бахтин А. Г. 2008. Образование Казанского и Касимовского ханств. Йошкар-Ола: МарГУ. 252 с.

Белавин А. М. 1986. Городищенское городище на р. Усолке // Приуралье в древности и средние века. Ижевск (Устинов). С. 13–142.

Белавин А. М. 2000. Камский торговый путь. Средневековое Предуралье в его экономических и этнокультурных связях. Пермь: Изд-во ПГПУ. 200 с.

Белов М. И., Овсянников О. В., Старков В. Ф. 1980. Мангазея. Мангазейский морской ход. Ч. 1. Л.: Гидрометеоиздат. 164 с.

Беляев Е. А. 1965. Арабы, ислам и арабский халифат в раннем средневековье. М.: Наука.

Бенцианов М. М. 2000. Дети боярские «Наугородские помещики». Новгородская служилая корпорация в конце XV — середине XVI в. // Проблемы истории России. Вып. 3. Екатеринбург: УрГУ. С. 241–277.

Бердяев Н. А. 2004. Русская идея. М.: АСТ; Фолио. 615 с.

Бернштам Т. А. 1983. Русская народная культура Поморья в XIX — начале XX в. Л.: Наука. 233 с.

Берх В. Н. 1821. Путешествие в города Чердынь и Соликамск для изыскания древностей. СПб.

Бичурин Н. Я. 1950. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. 1. М.; Л.

Благова Г. Ф. 1970. Исторические взаимоотношения слов «казак и «казах» // Этнонимы. М.: Наука.

Блэк Д. 2008. История Британских островов. Пер. с англ. С. В. Иванова. СПб.: Евразия. 540 с.

Богданов В. 1912. Рец. на кн.: Mikkola J. Altfi uiskoi fährbot. F.-U. F., B. XIII // ЭО. № 3–4.

Боднарский М. С. 1926. Великий Северный морской путь: Историко-географический очерк открытия Северо-восточного прохода. М.; Л.: Государственное издательство. 256 с.

Боднарский М. С. 1947. Очерки по истории русского землеведения. М.: АН СССР. 292 с.

Бокщанин А. А. 2002. Китай во второй половине XIV — XV вв. (Империя Мин) // История Востока. Т. II. Восток в средние века. М.: Восточная литература. С. 528–546.

Болье Л. 1877. Колонизация у новейших народов. СПб.

Боплан Г. де. 1832. Описание Украйны. СПб.: Типография Карла Крайя.

Борисов Н. С. 1999. Полики московских князей: конец XIII — начало XIV века. М.

Борухович В. Г. 2002. Научное и литературное значение труда Геродота // Геродот. История. Пер. и прим. Г. А. Стратановского. М.: Ладомир. С. 585–623.

Ботор Т. 2009. Обоснование теории «Москва — Третий Рим» в зеркале новейшей литературы // Государство и нация в России и центрально-восточной Европе. Budapest: Russica Pannonicana. С. 78–90.

Боякова С. И. 2001. Освоение Арктики и народы Северо-Востока Азии (XIX в. — 1917 г.). Новосибирск: Наука.

Бояршинова З. Я. 1957. К вопросу о присоединении Западной Сибири к русскому государству // Труды ТГУ. Т. 136. Томск. С. 147–156.

Браун Т.-Ф.-Р.-Г. 2007. Греки в Египте // Кембриджская история древнего мира. Т. III, ч. 3. Расширение греческого мира VIII–VI века до н.э. М.: Ладомир. С. 47–74.

Бродель Ф. 1986. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Т. 1. Структуры повседневности: возможное и невозможное. М.: Прогресс. 624 с.

Бродель Ф. 1988. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Т. 2. Игры обмена. М.: Прогресс. 632 с.

Бродель Ф. 1992. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Т. 3. Время мира. М.: Прогресс. 680 с.

Бродянский Д. Л. 1985. Кроуновско-хуннские параллели // Древнее Забайкалье и его культурные связи. Новосибирск: Наука.

Буганов А. В. 2010. Самозванчество и социально-утопические представления русских // Самозванцы и самозванчество в Московии. Будапешт: Russica Pannonicana. С. 185–198.

Буганов В. И. 1986. Очерки истории классовой борьбы в России XI–XVIII вв. М.: Просвещение.

Буданова В. П. 1990. Готы в эпоху Великого переселения народов. М.: Наука. 232 с.

Бужилова А. П. 2005. Инфекции в истории цивилизаций // Труды ОИФН. 2005. Ред. А. П. Деревянко. М.: Наука. С. 452–461.

Булатов В. Н. 1997. Русский Север. Кн. 1: Заволочье (IX–XVI вв.). Архангельск: Изд-во Поморского ун-та. 352 с.

Булгаков М. 1995. История Руской церкви. Кн. 3, т. 4. М.: Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.

Бураева О. В. 2005. Этнокультурное взаимодействие народов Байкальского региона в XVII — начале XX в. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН. 212 с.

Буссов К. 1961. Московская хроника. 1584–1613. М.; Л: Изд-во АН СССР. 400 с.

Бутанаев В. Я. 2007. История вхождения Хакасии (Хонгорая) в состав России. Абакан: Изд-во Хакас.гос. ун-та. 296 с.

Буцинский П. Н. 2003. К истории Сибири. Тюмень: «Мандрика». 368 с.

Вайман А. А. 1974. Обозначение рабов и рабынь в протошумерской письменности // ВИ. № 2. С. 138–148.

Вайнштейн С. И. 1991. Мир кочевников центра Азии. М.: Наука. 296 с.

Варенов А. Б. 1997. Карельские древности в Новгороде (опыт топографирования) // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып. 11. Новгород: Новгородский музей-заповедник. С. 94–105.

Варьяш О. И., Черных А. П. 1990. Португалия: дороги истории. М.: Наука.

Васильев В. И. 1979. Проблемы формирования северосамодийских народностей. М.: Наука. 243 с.

Васильев С. В. 1999. Дифференциация плейстоценовых гоминид. М.: Изд-во УРАО.

Васильев Ю. С. 1976. К вопросу о двинских боярах XIV–XVI веков // Материалы XV сессии симпозиума по проблемам аграрной истории СССР. Вып. 1. Вологда. С. 5–21.

Введенский А. А. 1962. Дом Строгановых в XVI–XVI веках. М.: Соцэкгиз. 308 с.

Величко А. А. 1997. Глобальное инициальное расселение как часть проблемы коэволюции человека и окружающей среды // Человек заселяет планету Земля. Глобальное расселение гоминид. М. С. 255–275.

Вельяминов-Зернов В. В. 1863. Исследование о касимовских царях и царевичах. Ч. 1. СПб.

Велувенкамп Я. В. 2006. Архангельск. Нидерландские предприниматели в России. 1550–1785. М.: РОССПЭН. 312 с.

Вернадский Г. В. 1997. Монголы и Русь. Тверь: Леан, М.: Аграф.

Вернадский Г. В. 2001. Россия в средние века. Тверь: Леан, Москва: Аграф. 352 с.

Вершинин Е. В. 2003. Русская власть и сибирские самоеды в XVI–XVII вв. // Вестник НГУ. Сер. История, филология. Т. 2, вып. 2. История. Новосибирск: НГУ. С. 5–21.

Визгалов Г. П., Пархимович С. Г. 2007. Мангазея — первый русский город в Сибирском Заполярье. Нефтеюганск; Екатеринбург: «Баско». 320 с.

Виллетс Р.-Ф. 2007. Критские законы и общественный строй // Кембриджская история древнего мира. Т. III, ч. 3. Расширение греческого мира VIII–VI века до н. э. М.: Ладомир. С. 280–296.

Витсен Н. 2010. Северная и восточная Тартария. Пер. с голл. В. Г. Трисман. Т. I–III. Амстердам: Pegasus. 1225 с. (I–II тт.), 579 с. (III т.).

Вишняцкий Л. Б. 2008. Культурная динамика в середине позднего плейстоцена и причины верхнепалеолитической революции. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета. 251 с.

Вишняцкий Л. Б. 2010. Неандертальцы: какими они были, и почему их не стало // Неандертальцы: альтернативное человечество. Stratum plus. № 1. С. 25–95.

Власова И. В. 2001. Этническая история и формирование населения Русского Севера // Русский Север: этническая история и народная культура. XII–XX века. М.: Наука. С. 16–36.

Воробьева Т. В. 2012. Калифорнийская историческая школа о расширении территории Российского государства. Петропавловск-Камчатский: КамГУ. 223 с.

ВВЛ 1989 — Вычегодско-Вымская (Мисаило-Евтихиевская) летопись. 1989 // Родники Пермы. Сыктывкар: Коми кн. изд-во. С. 23–34.

Гаврилин М. Л. 2002. Из истории российского предпринимательства: династия Строгановых. М.: РАН ИНИОН. 136 с.

Гальперин Ч. 2001. Идеология молчания: предвзятость и прагматизм на средневековой религиозной границе // Американская русистика: вехи историографии последних лет. Период Киевской и Московской Руси. Антология. Самара: «Самарский университет». С. 65–97.

Георги И. Г. 1776. Описание всех в Российском государстве обитающих народов. Ч. I. СПб.

Георги И. Г. 1799. Описание всех в Российском государстве обитающих народов. Ч. III. СПб.

Герберштейн С. 1908. Записки о московитских делах. СПб.: Издание А. С. Суворина. 382 с.

Герберштейн С. 2008. Московия. М.: АСТ, Астрель; Владимир: ВКТ. 703 с.

Геродот. 2002. История. Пер. и прим. Г. А. Стратановского. М.: Ладомир. 740 с.

Гиппиус А. А. 2006. Скандинавский след в истории новгородского боярства (в развитие гипотезы А. А. Молчанова о происхождении посадничьего рода Гюрятиничей-Роговичей) // Slavica Helsingiensia 27. Helsinki. С. 93–108.

Глазырина Г. В. 1996. Исландские викингские саги о Северной Руси. М.: Ладомир. 240 с.

Гоббс Т. 1991. Сочинения в 2 томах. Т. 2. М.: Мысль.

Головнёв А. В. 1993. Историческая типология хозяйства народов Северо-Западной Сибири. Новосибирск: НГУ. 204 с.

Головнёв А. В. 1995. Говорящие культуры: традиции самодийцев и угров. Екатеринбург: УрО РАН. 607 с.

Головнёв А. В. 2004. Кочевники тундры: ненцы и их фольклор. Екатеринбург: УрО РАН. 344 с.

Головнёв А. В. 2009. Антропология движения (древности Северной Евразии). Екатеринбург: УрО РАН; «Волот». 496 с.

Головнёв А. В. 2010. Колонизация в древности // III Северный археологический конгресс. Доклады. Екатеринбург: «ИздатНаука Сервис». С. 210–235.

Головнёв А. В. 2013. Sapiens-колонизация: природные основания и потенциал движения // Фундаментальные проблемы археологии, антропологии и этнографии Евразии. К 70-летию академика А. П. Деревянко. Новосибирск: Изд-во ИАЭ СО РАН. С. 511–522.

Голубева Л. А. 1973. Весь и славяне на Белом озере. X–XIII вв. М.: Наука. 213 с.

Горский А. А. 2001. «Повесть о убиении Батыя» и русская литература 70-х гг. XV века // Средневековая Русь. Вып. 3. М. С. 191–221.

Горский А. А. 2005. Москва и Орда. М.: Наука. 214 с.
Готье Ю. В. 1938. Английские путешественники в Московское государство в XVI в. М.: Соцэкгиз.
Грамоты Великого Новгорода и Пскова. 1949. М.; Л.: АН СССР.
Гранберг Ю. 2006. Вече в древнерусских письменных источниках: функции и терминология // Древнейшие государства Восточной Европы. Политические институты Древней Руси. М.: Восточная литература РАН. С. 3–163.
Грант М. 1998. Греческий мир в доклассическую эпоху. М.
Грейвс Р. 1992. Мифы Древней Греции. Пер. с англ. К. П. Лукьяненко. Ред. и послесл. А. А. Тахо-Годи. М.: Прогресс. 620 с.
Греков Б. Д. 1929. Революция в Новгороде Великом в XII веке // Уч. зап. Ин-та истории РАНИОН. Т. 4. С. 13–21.
Грин Дж. Р. 2007. История Англии и английского народа. 2-е изд. М.: Кучково поле; Гиперборея. 888 с.
Грушевский М. С. 1995. История Украни-Руси: в 11 т. Т. 8. 856 с.
Грэхэм А.-Дж. 2007. Колониальная экспансия Греции // Кембриджская история древнего мира. Т. III, ч. 3. Расширение греческого мира VIII–VI века до н. э. М.: Ладомир. С. 103–195.
Гумилев Л. Н. 1990. Этногенез и биосфера Земли. Л.: Гидрометеоиздат.
Гумилев Л. Н. 1993. Хунну. СПб.: Тайм-Аут–Компасс. 224 с.
Гумилев Л. Н. 1997. Поиски вымышленного царства. М.: «Институт ДИ–ДИК». 480 с.
Гумплович Л. 1895. Социология и политика. М.
Гуссаковский Л. П. 1962. Археологические исследования в с. Никульчино Кировской области // ВАУ. Свердловск.
Давидан О. И. 1971. К вопросу о контактах древней Ладоги со Скандинавией (по материалам нижнего слоя Староладожского городища) // Скандинавский сборник. Вып. XVI. Таллин. С. 134–146.
Давыдова А. В. 1985. Иволгинский комплекс (городище и могильник) — памятники хунну в Забайкалье. Л.: ЛГУ.
Давыдова А. В. 1995. Иволгинский археологический комплекс. Т. 1: Иволгинское городище. СПб.: Центр «Петербургское востоковедение».
Данилевский И. Н. 2005. Александр Невский: Парадоксы исторической памяти // «Цепь времен»: Проблемы исторического сознания. М.: ИВИ РАН. С. 119–132.
Данилов С. В. 2004. Города в кочевых обществах Центральной Азии. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН. 202 с.
Данилова Л. В. 1955. Очерки по истории землевладения и хозяйства в Новгородской земле в XV–XVI вв. М.
Дания и Россия — 500 лет. Юбилейный сборник. М.: Международные отношения, 1996.

Дацышен В. Г. 2003. Участие хакасов в русском освоении Засаянского края // Этнография Алтая и сопредельных территорий. Вып. 5. Барнаул. С. 45–48.

Демкин А. В. 1994. Западноевропейское купечество в России в XVII в. М.: ИРИ РАН. 110 с.

Деревянко А. П. 2005. Две основных миграционных волны древних популяций человека в Азию // Труды ОИФН. 2005. С. 105–115.

Деревянко А. П. 2012. Новые археологические открытия на Алтае и проблема формирования Homo sapiens. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. 132 с.

Деревянко А. П., Шуньков М. В. 2012. Новая модель формирования человека современного физического вида // Вестник РАН. Т. 82, № 3. С. 202–211.

Джаксон Т. Н. 1991. Исландские королевские саги как источник по истории древней Руси и ее соседей. X–XIII вв. // Древнейшие государства на территории СССР. Ред. А. П. Новосельцев. М.: Наука. С. 5–169.

Дмитриева С. И. 2006. Традиционное искусство русских Европейского Севера: этнографический альбом. М.: Наука. 286 с.

ДоРЧА (Доклад о развитии человека в Арктике). 2007. Пер. с англ., ред. А. В. Головнёв. Екатеринбург; Салехард.

Долгих Б. О. 1960. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII веке. // ТИЭ. Т. 55. М. 622 с.

Долгих Б. О. 1970. Очерки по этнической истории ненцев и энцев. М.: Наука. 270 с.

Долгоруков П. В. 1857. Российская родословная книга. Ч. 4. СПб.

Долуханов П. М. 2008. Эволюция природной среды и раннее расселение человека в Северной Евразии // Путь на Север: окружающая среда и самые ранние обитатели Арктики и Субарктики (материалы международной конференции). М.: Институт географии РАН. 3–47.

ДАИ 1 1846 — Дополнения к актам историческим. Т. 1. СПб., 1846.

ДАИ 3 1848 — Дополнения к актам историческим. Т. 3. СПб. 1848.

Древнемонгольские города. 1965. М.: Наука. 367 с.

Дубов И. В. 1982. Северо-Восточная Русь в эпоху раннего средневековья. Л.: ЛГУ.

Дьяконова Н. Н. 2002. Якутская интеллигенция в национальной истории: судьбы и время (конец XIX в. — 1917 г.). Новосибирск.

Дюркгейм Э. 1991. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука. 573 с.

Егоров В. Л. 1985. Историческая география Золотой Орды в XIII–XIV вв. М.: Наука. 246 с.

Егоров В. Л. 1997. Александр Невский и Чингизиды // Отечественная история № 2. С. 48–58.

Епифаний Премудрый. 1995. Преподобного в священноиноках отца нашего Епифания Слово о житии и учении святого отца нашего Стефана, бывшего в Перми епископом // Святитель Стефан Пермский / ред., пер., сост., коммент. Г. М. Прохоров. СПб.

Еремеев И. И. 2012. Полоцкая земля // Русь в IX–X веках: археологическая панорама. Ред. Н. А.Макаров. М.; Вологда: Древности Севера. С. 275–297.

Ефименко А. Я. 1864. Исследование народной жизни. Вып. 1. М.

Жеребцов И. Л. 1996. Население Коми края во второй половине XVI — начале XVIII в. Екатеринбург: УрО РАН. 259 с.

Жеребцов Л. Н. 1982. Историко-культурные взаимоотношения коми с соседними народами (X — начало XX в.). М.: Наука.

Жития Зосимы и Савватия Соловецких // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 13. СПб.: Наука, 2005.

Зайцев И. В. 2004. Астраханское ханство. М.: Восточная литература. 303 с.

Замысловский Е. Е. 1884. Герберштейн и его историко-географические известия о России. СПб.: Типография брат. Пантелеевых. 563 с.

Заходер Б. Н. 1962. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Горган и Поволжье в IX–X вв. М.: Изд-во Восточной литературы. 280 с.

Заходер Б. Н.1967. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Т. 2. М.

Зензинов В. М. 2001. Старинные люди у холодного океана. Якутск: «Якутский край». 350 с.

Зеньковский С. А. 2006. Русское старообрядчество. М.: Институт ДИ-ДИК. 688 с.

Зимин А. А. 1982. Россия на рубеже XV–XVI столетий. М.: Мысль. 332 с.

Зимин А. А. 1988. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой трети XVI в. М.: Наука. 350 с.

Зимин А. А., Хорошкевич А. Л. 1982. Россия времени Ивана Грозного, М.: «Наука». 184 с.

Зубов А. А. 2004. Палеоантропологическая родословная человека. М.: ИЭА. 552 с.

Зуев А. С. 2009. Присоединение Чукотки к России (вторая половина XVII — XVIII век). Новосибирск: СО РАН. 444 с.

Зыков А. П. 2010. Городище Искер — остатки города Сибирь // Искер — столица Сибирского ханства. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ. С. 112–121.

Иванов А. В. 2010. Хребет России. СПб.: «Азбука-Классика». 272 с.

Иванчик А. И. 2005. Накануне колонизации. М.; Берлин: «Палеограф». 312 с.

Ингрэм Дж. К. 2011. История рабства от древнейших до новых времен / пер. с англ. З. Н. Журавской. М.: Книжный дом «Либроком». 344 с.

Исин А. И. 1985. Казахско-ногайское соперничество в первой половине XVI века // Вопросы истории Казахстана в русской дворянско-буржуазной и современной историографии советологов. А.-А.

История Древнего Востока: Тексты и документы. 2002 / ред. В. И. Кузищин. М.: «Высшая школа». 719 с.

Истрин В. М. 1897. Откровение Мефодия Патарского и апокрифические видения Даниила в византийской и славяно-русской литературе. М.: Университетская типография. 541 с.

Исхаков Д. М. 2010. Введение в этнополитическую историю сибирских татар // Искер — столица Сибирского ханства. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ. С. 12–32.

Каптерев Н. Ф. 1895. Сношения иерусалимских патриархов с русским правительством с половины XVI до конца XVIII столетия // Православный палестинский сборник. XV, вып. 1. СПб., 514 с.

Карамзин Н. М. 2003. История государства Российского. Кн. 1–2. СПб.: «Золотой век». 832 с., 767 с.

Карпов С. П. 2011. Доктрина императорской власти в Византии и ее судьба после 1204 г. // Империи и этнонациональные государства в Западной Европе в Средние века и ранее Новое время. М.: Наука. С. 46–65.

Карпов С. П. 2014. Древняя Русь и Причерноморье в XIII–XV веках. Результаты новых архивных изысканий // Труды ОИФН. Ред. В. А. Тишков. М.: Наука. С. 37–43.

Карташёв А. В. 1959. Очерки по истории Русской церкви. Т. 1. Париж: Ymca-Press.

Катанов Н. Ф. 1896. Предания тобольских татар о Кучуме и Ермаке. Тобольск.

Келли Р. Л. 1997. Добывание пищи охотниками-собирателями и колонизация Западного полушария // Человек заселяет планету Земля. Глобальное расселение гоминид. М. С. 211–225.

Киркинен Х., Невалайнен П., Сихво Х. 1998. История карельского народа. Петрозаводск. 334 с.

Кирпичников А. Н., Дубов И. В., Лебедев Г. С. 1986. Русь и варяги (русско-скандинавские отношения домонгольского времени) // Славяне и скандинавы. М.: Прогресс. С. 189–297.

Ключевский В. О. 1866 Сказания иностранцев о Московском государстве. М.: Университетская типография (Катков и Ко). 264 с.

Ключевский В. О. 1987. Курс русской истории. Т. 1. М.: Мысль.

Ключевский В. О. 1988. Курс русской истории. Т. 2, 3. М.: Мысль.

Кляшторный С. Г. 1964. Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии. М.

Кляшторный С. Г., Савинов Д. Г. 2005. Степные империи древней Евразии. СПб.: СПбГУ. 247 с.

Книга Марко Поло. 1956. М.: Изд-во географической литературы. 376 с.
Кобылина М. М. 1965. Милет. М.
Колесников П. А. 1988. Вклад народных масс Русского Севера в материальную и духовную культуру России // Культура Русского Севера. Ред. К. В. Чистов. Л.: Наука. С. 5–12.
Конаков Н. Д. 1999. Зарни Ань // Мифология коми. М.; Сыктывкар.
Копанев А. И. 1971. Землевладение после присоединения к Москве // Аграрная история Северо-Запада России: Вторая половина XV — начало XVI века. Л.
Корецкий В. И. 1969. Вновь открытые новгородские и псковские грамоты XIV–XV вв. // Археографический ежегодник за 1967 год. М.: Наука. С. 275–290.
Корзухина Г. Ф. 1977. Об Одине и кресалах Прикамья // Проблемы археологии Евразии и Северной Америки. М.: Наука. С. 156–162.
Котляров Д. А. 2005. Московская Русь и народы Поволжья в XV–XVI вв. Ижевск.
Кочедамов В. И. 1968. К вопросу о датировке первых русских построек в Сибири // КСИА. Вып. 113. М.
Крадин Н. Н. 2001. Империя Хунну. 2-е изд. М.: Логос. 312 с.
Крадин Н. Н. 2004. Политическая антропология: Учебник. 2-е изд. М.: Логос. 272 с.
Крадин Н. Н. 2010. Север и Юг в динамике внутренней Азии: движение людей, империй и технологий // III Северный археологический конгресс. Доклады. Екатеринбург: «ИздатНаукаСервис. С. 236–266.
Крестинин В. В. 1790. Начертание истории Холмогор. СПб.
Кривошеев Ю. В. 2003. Русь и монголы. СПб.: Изд-во СПбГУ.
Кром М. М. 2010. Меж Русью и Литвой: Западнорусские земли в системе русско-литовских отношений конца XV — первой трети XVI в. 2-е изд. М.: Квадрига. 318 с.
Ксенофонтов Г. В. 1992. Шаманизм. Избранные труды. Якутск.
Куббель Л. Е. 1988. Очерки потестарно-политической этнографии. М.: Наука. 271 с.
Кудрявцев О. Ф. 2013. Несостоявшийся маршрут, или русский проект генуэзца Паоло Чентурионе (из предыстории открытия Северного морского пути) // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. № 2(52). С. 56–63.
Кук Дж.-М. 2007. Восточные греки // Кембриджская история древнего мира. Т. III, ч. 3. Расширение греческого мира VIII–VI века до н. э. М.: Ладомир. С. 234–264.
Кулишова О. В. 2001. Дельфийский оракул в системе античных межгосударственных отношений (VII–V вв. до н. э.). СПб.
Кульпин Э. С. 1998. Золотая Орда (проблемы генезиса Российского государства). М.: «Московский лицей». 222 с.

Кучкин В. А. 1975. О маршрутах походов древнерусских князей на государство Волжских булгар в XII — первой трети XIII века // Историческая география России XII — начала XX века. М.

Кучкин В. А. 1991. Русь под игом: как это было? М.: «Панорама». 32 с.

Кызласов Л. Р. 1996. О присоединении Хакасии к России. Абакан; М.

Кычанов Е. И. 1997. Кочевые государства от гуннов до маньчжуров. М. 317 с.

Лашук Л. П. 1958. Очерк истории Печорского края. Сыктывкар.

Лашук Л. П. 1872. Формирование народности коми. М. 292 с.

Лебедев Г. С. 2005. Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси. СПб.: Евразия. 640 с.

Лёзова С. В. 2000. Сибирские ненцы (самоеды) в середине XIX в.: диалог кочевников и чиновников // Древности Ямала. Вып. I. Екатеринбург; Салехард: УрО РАН. С. 191–206.

Леонтьев А. Е. 1986. Волжско-Балтийский торговый путь в IX в. // КСИА. Вып. 183. М.

Леонтьев А. Е. 1996. Археология мери. К предыстории Северо-Восточной Руси. М.

Лепёхин И. И. 1821–1822. Записки путешествия // Полное собрание ученых путешествий по России. Т. IV–V. СПб.

Лимеров П. Ф. 2008. Образ св. Стефана Пермского в письменной традиции и в фольклоре народа коми. М.: Наука. 256 с.

Липец Р. С. 1984. Образы батыра и его коня в тюрко-монгольском эпосе. М.

Лихачев Д. С. 2007. Русская культура. СПб.: «Искусство – СПБ». 440 с.

Луппов П. Н. 1929. Исторический очерк Вятского края // Вятский край. Вятка.

Лызлов А. 1990. Скифская история. М.: Наука. 519 с.

Лыткин В. И., Гуляев В. С. 1999. Краткий этимологический словарь коми языка. Сыктывкар. 386 с.

Лыткин Г. С. 1889. Зырянский край при епископах пермских и зырянский язык. СПб.

Любавский М. К. 1996. Обзор истории русской колонизации с древнейших времен и до XX века. М.: МГУ. 688 с.

Любименко И. И. 1912. История торговых сношений России с Англией. Вып. 1. XVI век. Юрьев: Министерство торговли и промышленности.

Майнов В. 1877. Поездка в Обонежье и Корелу. СПб.

Макаров Л. Д. 1985. Вятская земля в эпоху средневековья (по данным археологии и письменным источникам): автореф. канд. дисс. Л.

Макаров Л. Д. 1991. Формирование территории Вятской земли в XII–XIII вв. // Исследования по средневековой археологии лесной полосы Восточной Европы. Ижевск. С. 140–154.

Макаров Н. А. 2012. Исторические свидетельства и археологические реалии: в поисках соответствий // Русь в IX–X веках: археологическая панорама. Ред. Н. А. Макаров. М.; Вологда: Древности Севера. С. 449–459.

Макаров Н. А., Носов Е. Н., Янин В. Л. 2014. Начало Руси глазами современной археологии // Труды ОИФН. Ред. В. А. Тишков. М.: Наука. С. 17–36.

Макиндер Х. Дж. 2003. Географическая ось истории // Классики геополитики. XX век. М.: АСТ. С. 7–30.

Максимов С. В. 1987. Куль хлеба. Рассказы и очерки. Л.

Малаховский К. В. 1980. Кругосветный бег «Золотой лани». М.: Наука. 167 с.

Манусаджянас Т. 2000. Новгород на политическом перекрестке в 1470–1471 гг. // Проблемы истории России. Вып. 3. Екатеринбург: УрГУ. С. 215–231.

Маргелис Л. 1983. Роль симбиоза в эволюции клетки. М.: Мир. 354 с.

Маржерет Ж. 2007. Состояние Российской империи. М.: Языки славянских культур. 552 с.

Марков Г. Е. 1976. Кочевники Азии. М.: МГУ. 320 с.

Маркс К., Энгельс Ф. 1961. Сочинения. 2-е изд. Т. 20. М.: Политиздат. 858 с.

Мартюшев А. М. 1930. Поход Курбского на Печору и за Урал в 1499 г. // Зап. об-ва по изуч. Коми края. Вып. 5. Усть-Сысольск. С. 66–84.

Маслюженко Д. Н., Рябинина Е. А. 2011. Поход 1483 г.: летописные реалии и исторические реалии // Сибирский сборник. Вып. 1. Казань.

Массон В. М. 1989. Первые цивилизации. Л.: Наука. 276 с.

Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху. 1984. Введ., пер. и коммент. В. С. Таскина. М.: Наука.

Матузова В. И. 1979. Английские средневековые источники IX–XIII вв. Тексты, перевод, комментарий. М.: Наука. 268 с.

Мачинский Д. А. 1988. Колбяги «Русской Правды» и приладожская курганная культура // Тихвинский сборник. Вып. 1. Археология Тихвинского края. Тихвин. С. 90–103.

Медведев И. П. 2014. О значимости византийского фактора в истории российской государственности // Труды ОИФН. Ред. В. А. Тишков. М.: Наука. С. 300–308.

Меховский М. 1936. Трактат о двух Сарматиях. М.; Л.: Из-во АН СССР. 288 с.

Мечников Л. И. 1995. Цивилизация и великие исторические реки. М.: Прогресс-Пангея. 464 с.

Миллер Г. Ф. 1937. История Сибири. Т. 1. М.; Л. 606 с.

Миллер Г. Ф. 2000. История Сибири. Т. 2. М.: «Восточная литература» РАН. 796 с.

Миллер Г. Ф. 2005. История Сибири. Т. 1; 3. М.: «Восточная литература» РАН. 630 с.; 598 с.

Мириханов Н. М. 2002. Татары и тюркский мир: воспоминания о будущем // Единство татарской нации. Ред. М. Х. Хасанов. Казань.

Молчанов А. А. 1997. Ярл Регнвальд Ульвссон и его потомки на Руси (О происхождении ладожско-новгородского посадничего рода Роговичей-Гюрятиничей) // Памятники старины: Концепции. Открытия. Версии. Памяти Василия Дмитриевича Белецкого. СПб.; Псков. С. 80–84.

Молчанов А. А. 2000. Социальные структуры и общественные отношения в Греции II тысячелетия до н. э. М.

Морозов В. М., Пархимович С. Г., Шашков А. Т. 1995. Очерки истории Коды. Екатеринбург: «Волот». 192 с.

Мусин А. Е. 2002. К истории некоторых боярских родов Великого Новгорода // Новгород и Новгородская земля: история и археология. Вып. 16. С. 82–92.

Муш Т. 2012. Территориальность и мобильность: о мигрирующих сообществах и территориальной «укорененности» // УИВ. № 2(35). С. 15–19.

Мэхэн А. Т. 2003. Влияние морской силы на историю // Классика геополитики. XIX век. М.: АСТ. С. 183–274.

Назаренко А. В. 2012. Русь IX века: обзор письменных источников // Русь в IX–X веках: археологическая панорама. Ред. Н. А. Макаров. М.; Вологда: Древности Севера. С. 12–35.

Налимов В. П. 1903. Зырянская легенда о паме Шыпиче // ЭО. Вып. 2. С. 20–124.

Насонов А. Н. 1940. Монголы и Русь. М.; Л.

Небольсин П. 1849. Покорение Сибири. СПб.

Нефёдкин А. К. 2003. Военное дело чукчей (середина XVII — начало XX в.). СПб.: «Петербургское востоковедение». 352 с.

Никитин Н. И. 1987. Сибирская эпопея XVII века (начало освоения Сибири русскими людьми). Новосибирск: Наука. 176 с.

Николаевский П. Ф. 1879. Учреждение патриаршества в России // Христианское чтение. Ч. 2 (июль–август).

Нильсен Й. П. 2012. Через Вардё к реке Cola: экспедиция Стивена Барроу на Белое море в 1556 году // Скандинавские чтения 2010 года. СПб.: МАЭ. С. 83–88.

НПЛ 1950 — Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. 1950. М.; Л.

Новгородские летописи. 1879. СПб.: Изд. Археогр. Комиссии.

Новицкий Г. 1884. Краткое описание о народе остяцком. СПб.

Новосельский А. А. 1948. Борьба Московского государства с татарами в первой половине XVII в. М.; Л.

Нольде Б. Э. 2013. История формирования Российской империи. СПб.: «Дмиртий Буланин». 848 с.

Носов Е. Н. 1990. Новгородское (Рюриково) городище. Л.: Наука. 215 с.

Носов Е. Н. 2012. Новгородская земля: Северное Приильменье и Поволховье // Русь в IX–X веках: археологическая панорама. Ред. Н. А. Макаров. М.; Вологда: Древности Севера. С. 92–121.

Нуаре Л. 1925. Орудие труда и его значение в истории развития человечества. Киев.

Обдорский край и Мангазея в XVII веке. Сборник документов. Екатеринбург: «Тезис», 2004. 200 с.

Оборин В. А. 1990. Заселение и освоение Урала в конце XI — начале XVII века. Иркутск: ИрГУ.

Овсянников О. В. 1990. Пустозерск — первый заполярный русский город (комплекс памятников III–XVIII вв. н. э.) // Памятниковедение. Проблемы изучения историко-культурной среды Арктики. Ред. П. В. Боярский. М.: НИИ Культуры. С. 150–186.

Огородников С. Ф. 1890. Очерк истории города Архангельска в торгово-промышленном отношении. СПб.

Островски Д. 2001. Монгольские корни русских государственных учреждений // Американская русистика: вехи историографии последних лет. Период Киевской и Московской Руси. Антология. Самара: «Самарский университет». С. 143–202.

Павел Иовий (Новокомский). 1908. Книга о московитском посольстве // Герберштейн С. Записки о московитских делах. СПб.: Издание А. С. Суворина. С. 251–275.

Павлов П. Ю. 2008. Основные этапы заселения человеком северо-востока Европы в эпоху палеолита // Путь на Север: окружающая среда и самые ранние обитатели Арктики и Субарктики (материалы международной конференции). М.: ИГ РАН. С. 69–78.

Павлов П. Ю., Робрукс В., Свендсен Й.-И. 2006. Средний палеолит и ранняя пора верхнего палеолита на Северо-Востоке Европы // II Северный археологический конгресс. Доклады. Екатеринбург; Ханты-Мансийск: «Чароид». С. 280–306.

Памятники 1884. — Памятники дипломатических сношений Московского государства с азиатскими народами: Крымом, Казанью, Ногайцами и Турцией. Ч. 1 (годы с 1474 по 1505) // Сборник Императорского Русского исторического общества. Вып. 41. СПб. 1884.

Памятники 1981 — Памятники литературы Древней Руси. XIII в. М., 1981.

Памятники 1982 — Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XV века. М., 1982.

Памятники русского права. 1953. Вып. 2: Памятники права феодально-раздробленной Руси XII–XV вв. М.: Изд-во юридической литературы.

Папков А. И. 2004. Порубежье Российского царства и украинских земель Речи Посполитой (конец XVI — первая половина XVII века). Белгород: «Константа». 352 с.

Перевалова Е. В. 2004. Северные ханты: этническая история. Екатеринбург: УрО РАН. 414 с.

Перетяткович Г. И. 1877. Поволжье в XV и XVI веках. Очерки из истории края и его колонизации. М.: Типография И. К. Грачева.

Перри М. 2010. Самозванцы XVII в. и вопрос о легитимности правящего царя // Самозванцы и самозванчество в Московии. Будапешт: Russica Pannonicana. С. 66–88.

Першиц А. И. 1968. Общественный строй туарегов Сахары в XIX в. // Разложение родового строя и формирование классового общества. М.: Наука. С. 320–355.

Песни, собранные П. В. Киреевским. 1862. Вып. 4. М.

Пигнатти В. Н. 2010. Искер (Кучумово городище) // Искер — столица Сибирского ханства. Казань: ИИ АН РТ. С. 186–215.

Питулько В. В. 1998. Жоховская стоянка. СПб.: Изд-во «Дмитрий Буланин». 187 с.

Плано Карпини И. де. 1993. История монгалов, именуемых нами татарами // Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Гильома де Рубрука. Алматы: «Гылым». С. 20–75.

Платонов С. Ф. 1910. Очерки истории Смуты в Московском государстве XVI–XVII вв. Опыт изучения общественного строя и сословных отношений в Смутное время. СПб. 624 с.

Платонов С. Ф. 1922. Новгородская колонизация Севера // Очерки по истории колонизации Севера. Вып. 1. Пг.

Платонов С. Ф. 1923. Прошлое русского севера: Очерки по истории колонизации Поморья. Пг.: «Время». 79 с.

Плетнева С. А. 1982. Кочевники Средневековья: Поиски исторических закономерностей. М.

Плигузов А. И. 1993. Текст-кентавр о сибирских самоедах. М.; Ньютонвиль: Археографический центр.

Побережников И. В. 2011. Азиатская Россия: фронтир, модернизация // Известия УрГУ. Сер. 2, Гуманитарные науки. № 4 (96). С. 191–203.

Повесть временных лет. 1950. М.; Л. Ч. 1–2.

Повесть временных лет. 2003. М.; Augsburg: Im Werden Forlag.

Повесть о Стефане Пермском. 1996 // История Пермской епархии в памятниках письменности и устной прозы. Ред. А. Н. Власов. Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского ун-та.

Повод Н. А. 2006. Коми Северного Зауралья (XIX — первая четверть XX в. Новосибирск: Наука. 272 с.
ПСРЛ Т. 1. 1846. Лаврентьевская и Троицкая летописи. Вып. 1. СПб.
ПСРЛ Т. 1. 1926. Лаврентьевская летопись. Вып. 1. Л.
ПСРЛ Т. 2. 1843. Ипатьевская летопись. СПб.
ПСРЛ Т. 4. 1848. Новгородские и Псковские летописи. СПб.
ПСРЛ Т. 4. 1925. Новгородские и Псковские летописи (Ч. 1, вып. 2).
ПСРЛ Т. 5. 1851. Псковские и Софийские летописи. СПб.
ПСРЛ Т. 9–10. 1965. Никоновская летопись. М.
ПСРЛ Т. 10. 1885. Никоновская летопись. СПб.
ПСРЛ Т. 13. 1965. Никоновская летопись. М.
ПСРЛ Т. 15. 1965. Тверская летопись. М.
ПСРЛ Т. 16. 1889. Летопись Авраамки. СПб.
ПСРЛ Т. 18. 1913. Симеоновская летопись. М.
ПСРЛ Т. 20. 1910. Львовская летопись. Ч. 1. СПб.
ПСРЛ Т. 24. 1921. Типографская летопись. Пг.
ПСРЛ Т. 25. 1949. Московский летописный свод конца XV в. М.; Л.
ПСРЛ Т. 26. 2006. Вологодско-Пермская летопись. М.
ПСРЛ Т. 37. 1982. Устюжская летопись. Л.
ПСРЛ Т. 42. 2002. Новгородская карамзинская летопись. СПб.
ПСРЛ Т. 43. 2004. Новгородская летопись по списку П. П. Дубровского. М.
Пономарев А. П. 2000. Начало украинской истории. Историко-этнографическое районирование // Украинцы. М.: Наука. С. 27–43.
Посольская книга по связям России с Ногайской Ордой. 1489–1508 гг. М., 1984.
Похлебкин В. В. 2000. Татары и Русь: 360 лет отношений, 1238–1598. М.: Международные отношения. 192 с.
Преображенский А. А. 1964. Русские дипломатические документы второй половины XVI в. о присоединении Сибири // Исследования по отечественному источниковедению. М.; Л.
Рамсей Р. 1982. Открытия, которых никогда не было. М.: Прогресс. 206 с.
Ратцель Ф. 1902. Народоведение. Т. 2. СПб. 877 с.
Рашид-ад-дин. 1952. Сборник летописей. Т. 1, кн. 1–2. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 222 с.; 316 с.
Рашид-ад-дин. 1960. Сборник летописей. Т. 2. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 248 с.
Резун Д. Я. 1982. Очерки истории изучения сибирского города конца XVI — первой половины XVIII века. Новосибирск: Наука. 219 с.
Резун Д. Я. 2005. Фронтир в истории Сибири и Северн́йо Америки в XVII–XX вв.: общее и особенное. Новосибирск.
Резун Д. Я., Шиловский М. В. 2005. Сибирь, конец XVI — начало XX века: фронтир в контексте этносоциальных и этнокультурных процессов. Новосибирск: «Сова». 196 с.

Репина Л. П. 2007. Феодальные элиты и процесс этнической консолидации в средневековой Англии // Социальная идентичность средневекового населения. М.: Наука. С. 234–243.

Роланд Н. 2008. Заселение гоминидами Северной Евразии: адаптивные «пороги» среднего палеолита // Путь на Север: окружающая среда и самые ранние обитатели Арктики и Субарктики (материалы международной конференции). Институт географии РАН. С. 48–52.

Рубрук Г. де. 1993. Путешествие в восточные страны // Путешествия в Восточные страны Плано Карпини и Гильома де Рубрука. Алматы: «Гылым». С. 75–173.

Русина Е. Е. 2001. Яголдай, Яголдаевичи, Яголдаева «тьма» // Славяне и их соседи. Славяне и кочевой мир. Вып. 10. С. 144–152.

РИБ 1875 — Русская историческая библиотека. 1875. Т. 2. СПб.

РИБ. 1880. Т. 6. СПб.

РИБ. 1884. Т. 8. СПб.

Рыбаков Б. А. 1982. Киевская Русь и русские княжества XI–XIII вв. М.: Наука.

Рыбаков Б. А. 1986. Культура средневекового Новгорода // Славяне и скандинавы. М.: Прогресс. С. 298–312.

Рыбина Е. А. 2000. Образование в средневековом Новгороде (по археологическим материалам) // Проблемы истории России. Вып. 3. Екатеринбург: УрГУ. С. 25–44.

Рябинин Е. А. 1985. Новые открытия в Старой Ладоге (итоги раскопок на Земляном городище 1973–1975 гг.) // Средневековая Ладога. Л.: Наука. С. 27–75.

Савельев И. В. 2012. Ранние русские поселения на Аляске: миф или реальность? // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: гуманитарные и социальные науки. № 5. С. 4–30.

Савельева Е. А. 1983. Олаус Магнус и его «История северных народов». Л.: Наука. 136 с.

Савельева Э. А. 1991. Роль Волжской Болгарии в развитии культуры Перми Вычегодской // Исследования по средневековой археологии лесной полосы Восточной Европы. Ижевск. С. 95–110.

Савельева Э. А. 1993. Начальный этап древнерусской колонизации Европейского Северо-Востока // Историческое познание: традиции и новации. Тезисы международной теоретической конференции. Ч. 1. Ижевск. С. 28–31.

Савицкий П. Н. 2000. Геополитические заметки по русской истории // Г. В. Вернадский. Начертание русской истории. СПб.: «Лань». С. 285–310.

Савицкий П. Н. 2003. Евразийство // Классики геополитики. XX век. М.: АСТ. С. 653–699.

Сало И. В. 1966. О некоторых прибалтийско-финских и саамских заимствованиях в русских говорах поморов Карелии // Советское финно-угроведение. Т. 2. № 1.

Сало И. В. 1966. Некоторые выводы о прибалтийско-финских и саамских заимствованиях и их освоении в севернорусских говорах Карельского Беломорья // Советское финно-угроведение. Т. 2. № 2.

Сахаров А. Н. 1999. Основные этапы внешней политики Руси с древнейших времен до XV века // История внешней политики России. Конец XV — XVII века. М.

Сахаров А. Н., Зимин А. А., Корецкий В. И. 1989. Церковь в обществе развитого феодализма (XIV–XVI вв.) // Русское православие: вехи истории. М.: Политиздат. С. 71–152.

Свак Д. 2010. Несколько методологических и историографических замечаний о «самозванчестве» // Самозванцы и самозванчество в Московии. Будапешт: Russica Pannonicana. С. 38–65.

Седов В. В. 1982. Восточные славяне в VI–XIII вв. Археология СССР. М.: Наука.

Седов В. В. 1999. Становление первых городов в Северной Руси и варяги // Раннесредневековые древности Северной Руси и ее соседей. СПб.: ИИМК РАН. С. 206–210.

Сергеев В. И. 1959. К вопросу о походе в Сибирь дружины Ермака // ВИ. № 1. С. 23–127.

Серебренников Б. А. 1970. Почему трудно разрешить проблему происхождения верхних слоев северорусской гидронимии? // ВЯ. № 1.

Середонин С. М. 1906–1909. Историческая география. Лекции, читанные в С.-Петербургском Археологическом институте и стенографически записанные. СПб.

СЛ 1907 — Сибирские Летописи. 1907. СПб.: Изд. Археографической комиссии.

Синицына Н. В. 1998. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV–XVI вв.). М.: Индрик. 416 с.

Скрынников Р. Г. 1981. Россия накануне «смутного времени». М.: «Мысль». 205 с.

Скрынников Р. Г. 1986. Сибирская экспедиция Ермака. 2-е изд. Новосибирск: Наука. 320 с.

Скрынников Р. Г. 1987. Смута в России в начале XVII ст.: Иван Болотников. Новосибирск.

Смирнов А. П. 1952. Очерки древней и средневековой истории народов Среднего Поволжья и Прикамья // МИА. № 28. М.; Л.

Смирнов И. 1998. Между двумя тиранами // Киноведческие записки. Историко-теоретический журнал. № 38. М. С. 13–20.

Смирнов П. 1928. Волзький шлях і стародавні Русы. Київ: Українська Акад. наук.

Смоленцев Л. Н. 1993. Великий зырянин // Родники Пармы. Сыктывкар. С. 15–27.

Сойер П. 2002. Эпоха викингов. Пер. А. П. Санина. СПб.: Евразия. 352 с.

Соколов М. 1875. Описание города Холмогор с очерком древней истории Двинского края. СПб.

Сокровенное сказание. 1941. Пер., введение, примечания Козин С. А. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 620 с.

Соловьев С. М. 1988. Сочинения. История России с древнейших времен. Т. 1. М.: Мысль.

Соловьев С. М. 1989. Сочинения. История России с древнейших времен. Т. 2. М.: Мысль.

Спафарий Н. Г. 1882. Путешествие через Сибирь в 1675 году // Зап. РГО по отделению этнографии. Т. 10, вып. 1. СПб.: Тип. В. Киршбаума. 214 с.

Спицын А. А. 1893. Розыскание о древнейших обитателях Вятской губернии // Материалы по археологии восточных губерний России. Вып. 1. М.

Стальсберг А. 1999. Торговый инвентарь женских погребений эпохи викингов (субъективная интерпретация) // Stratum Plus. ВАШ археологический журнал. Неславянское в славянском мире. № 5. СПб.; Кишинев; Одесса. С. 158–163.

Станиславский А. Л. 1990. Гражданская война в России XVII в. Казачество на переломе истории. М.: Мысль. 270 с.

Старр Ч. 2007. Экономические и социальные условия в греческом мире // Кембриджская история древнего мира. Т. III, ч. 3. Расширение греческого мира VIII–VI века до н. э. М.: Ладомир. С. 507–537.

Страбон. 1964. География. М.

Стремоухов Д. Н. 2002. Москва — Третий Рим: источник доктрины // Из истории русской культуры. Т. II, кн. 1. Киевская и Московская Русь. М.: Языки славянской культуры. С. 425–441.

Стурлусон С. 1980. Круг Земной. М.: Наука. 687 с.

Султанов Т. И. 1982. Кочевые племена Приаралья в XV–XVII вв. М.: Наука. 134 с.

Сухоруков В. Д. 1903. Историческое описание земли Войска Донского. 2-е изд. Новочеркасск: Частная Донская Типография.

Талицкий М. В. 1941. К этногенезу коми // КСИИМК. Вып. 9. М.

Таскин В. С. 1968. Материалы по истории сюнну. Вып. 1. М.

Татищев В. Н. 1964. История Российская с самых древнейших времен. Т. 3. М.; Л.

Татищев В. Н. 2003. История Российская. В 3-х т. Т. 1–3. М.: Изд-во АСТ. 568 с., 732 с., 860 с.

Телегін Д. Я. 1973. Средньостогівська культура епохи міді. Київ: Наукова думка.
Теребихин Н. М. 1995. Семиотика пространства культуры народов Европейского Севера: дис. (научн. докл.) докт. филос. наук. СПб.
Тёрнер Ф. Д. 2009. Фронтир в американской истории. М.: «Весь мир». 304 с.
Тиандер К. Ф. 1906. Поездки скандинавов на Белое море. СПб. 450 с.
Тизенгаузен В. Г. 1941. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. М.; Л.
Титов А. А. 1889. Летопись двинская. М.
Титов А. 1890. Сибирь в XVII веке. Сборник старинных русских статей о Сибири и прилежащих к ней землях. М.: Издатель Г. Юдин. 216 с.
Тихомиров М. Н. 1962. Россия в XVI столетии. М.: Наука.
Тишков В. А. 2003. Реквием по этносу. Исследования по социально-культурной антропологии. М.: Наука. 544 с.
Тойнби А. Д. 1991. Постижение истории. М.: Прогресс. 736 с.
Трепавлов В. В. 2002. История Ногайской Орды. М.: Восточная литература. 752 с.
Трепавлов В. В. 2012. Сибирский юрт после Ермака: Кучум и Кучумовичи в борьбе за реванш. М.: Восточная литература. 231 с.
Трефилов А. Ф. 1951. Удмурты в период образования Русского централизованного государства в XV–XVI веках // Зап. УдНИИ. Вып. 15. Ижевск.
Трубецкой Н. С. 1995. История. Культура. Язык. М.: Прогресс. 800 с.
Тюменцев И. О. 2010. Рождение самозванчества в России в начале XVII века // Самозванцы и самозванчество в Московии. Будапешт: Russica Pannonicana. С. 100–130.
Українська народність: нариси соціально-економичноі и етно-політичноі історії. Київ: Наукова думка, 1990.
Ульянов Н. И. 1994. Комплекс Филофея // ВИ. № 4. С. 152–162.
Уо Д. К. 2003. История одной книги: Вятка и не-современность в русской культуре Петровского времени. СПб.: Дмитрий Буланин. 392 с.
Усачев А. С. 2012. «Третий Рим» или «Третий Киев»? (Московское царство XVI века в восприятии современников) // Общественные науки и современность. № 1. С. 69–87
Успенский Б. А. 1994. Избранные труды. В 2 т. Т. I. Семиотика истории. Семиотика культуры. М.: Гнозис.
Успенский Ф. Б. 2002. Граница, дорога, направление в представлении древних скандинавов // Антропология культуры. Вып. 1. М.
Успенский Ф. И. 1997. История Византийской империи XI–XV вв. Восточный вопрос. М.: Мысль. 830 с.
Устрялов Н. Г. 1842. Именитые люди Строгановы. СПб.: Типография штаба военно-учебных заведений. 137 с.

Устюжский летописный свод. 1950. М.; Л.
Утемиш-хаджи. Чингиз-наме. 1992. Алма-Ата.
Фасмер М. 1987. Этимологический словарь русского языка. Т. 3; 4. М.
Фахрутдинов Р. Г. 1975. Археологические памятники Волжско-Камской Булгарии и ее территория. Казань: Татарск. книжн. изд-во.
Фахрутдинов Р. Г. 1984. Очерки по истории Волжской Булгарии. М.
Федоров-Давыдов Г. А. 2001. Золотоордынские города Поволжья: Керамика. Торговля. Быт. М.: МГУ. 256 с.
Федорова Е. Г. 1996. Обские угры: этнокультурная ситуация в период с XI по XVI в. // Сибирь: древние этносы и культуры. Ред. Л. Р. Павлинская. СПб.: МАЭ РАН. С. 6–38.
Федорова С. Г. 1964. К вопросу о ранних русских поселениях на Аляске // Летопись Севера. Вып. 4. М. С. 97–113.
Федоровський Ю. Р. 2006. Історія українського козацтва. Луганськ: Глобус. 124 с.
Феннел Дж. 1989. Кризис средневековой Руси. 1200–1304. М.
Филиппов М. 1901. Русские в Лапландии в XVI веке (сообщение Симона ван Салингена) // Литературный вестник. № 1 (3). С. 307–308.
Филиппова Е. И. 2007. Что такое французы? Кто такие французы? // Национализм в мировой истории. Ред. В. А. Тишков, В. А. Шнирельман. М.: Наука. С. 172–226.
Флетчер Д. 1906. О государстве Русском. СПб.
Флоря Б. Н. 2008. Представление о Москве как Третьем Риме и некоторые проблемы развития русской общественной мысли в XVI веке // «В кратких словесах многой разум замыкающе...»: сб. науч. тр. в честь 75-летия Р. Г. Скрынникова. СПб.: СПбГУ. С. 58–65.
Фокс К. 2011. Наблюдая за англичанами: скрытые правила поведения. М.: Рипол классик. 512 с.
Форрест У.-Дж.-Дж. 2007. Центральная Греция и Фессалия. Евбея и острова // Кембриджская история древнего мира. Т. III, ч. 3. Расширение греческого мира VIII–VI века до н. э. М.: Ладомир. С. 297–310, 339–381.
Фроянов И. Я. 1992. Мятежный Новгород. СПб.: Изд-во СПбГУ. 280 с.
Фроянов И. Я. 1996. Рабство и данничество у восточных славян. СПб.: СПбГУ. 512 с.
Фукидид. 1999. История. Пер. с греч. Ф. Г. Мищенко, С. А. Жебелёва. Ред. Э. Д. Фролов. СПб.: Наука. 590 с.
Функ Д. А. 2006. Телеуты. Этническая история // Тюркские народы Сибири. М.: Наука. С. 177–185.
Хаусхофер К. 2001. О геополитике. М.: Мысль. 426 с.
Хлевов А. А. 2002. Предвестники викингов. Северная Европа в I–VIII вв. СПб.: Евразия. 336 с.

Хорошев А. С. 1986. Политическая история русской канонизации (XI–XVI вв.). М.: Изд-во МГУ.

Худяков М. Г. 1923. Очерки по истории Казанского ханства. Казань: Комбинат изд-ва и печати.

Хэммонд Н.-Дж. Л. 2007. Пелопоннес // Кембриджская история древнего мира. Т. III, ч. 3. Расширение греческого мира VIII–VI века до н.э. М.: Ладомир. С. 382–429.

Чагин Г. Н. 1995. Этнокультурная история Среднего Урала в конце XVII — первой половине XIX века. Пермь: Изд-во ПГУ. 364 с.

Черепнин Л. В. 1965. Общественно-политические отношения в древней Руси и Русская Правда // Новосельцев А. П., Шушарин В. П., Щапов Я. Н., Пашуто В. Т., Черепнин Л. В. Древнерусское государство и его международное значение. М.: Наука. С. 128–278.

Чернецов А. В. 1988. Посох Стефана Пермского // Труды Отдела древнерусской литературы ИРЛИ (Пушкинский Дом) АН СССР. Т. 16. Л.: Наука. С. 215–240.

Чернов А. В. 1954. Вооруженные силы Русского государства в XV–XVII вв. М.: Воениздат. 224 с.

Черных Е. Н. 2009. Степной пояс Евразии: Феномен кочевых культур. М.: Рукописные памятники Древней Руси. 624 с.

Чистов К. В. 1967. Русские народные социально-утопические легенды XVIII–XIX вв. М.: Наука. 341 с.

Чураков В. С. 2005. Еще раз о происхождении русского административно-территориального термина дорога // Материалы межрегиональной научно-практической конференции «Материальная и духовная культура народов Урала и Поволжья: История и современность». Глазов. С. 142–143.

Шаскольский И. П. 1961. Политические отношения Новгорода и карел в XII–XIV веках // Новгородский исторический сборник. Вып. 10. Л.

Шаскольский И. П. 1970. Экономические связи России с Данией и Норвегией в XI–XVII вв. // Исторические связи Скандинавии и России. Л. С. 9–63.

Шаскольский И. П. 1978. Борьба Руси против крестоносной агрессии на берегах Балтики в XII–XIII вв. Л.: Наука. 246 с.

Шахматов А. А. 1904. Сказание о призвании варягов // Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук. Т. IX. СПб. С. 288–365.

Шашков А. Т. 2000. Взятие Сибири // Очерки истории Югры. Екатеринбург: «Волот». С. 103–134.

Шашков А. Т. 2010. Лодейный город // Искер — столица Сибирского ханства. Казань: ИИ АН РТ. С. 63–71.

Шиловский М. В. 2003. Фронтир и переселения (сибирский опыт) // Фронтир в истории Сибири и Северной Америки в XVII–XX вв.: общее и особенное. Вып. 3. Новосибирск.

Шинни М. 1982. Древние африканские государства. М.: Наука. 96 с.

Шишова И. А. 1991. Раннее законодательство и становление рабства в античной Греции. Л.: «Наука». 224 с.

Шлихтинг А. 2005. Новое известие о России времени Ивана Грозного // Источники истории. Рязань: «Александрия». С. 315–378.

Шпаков А. Я. 1912. Государство и церковь в их взаимных отношениях в Московском государстве. Царствование Феодора Ивановича. Учреждение патриаршества в России. Ч. I. Одесса: Типография «Техник». 399 с.

Шпенглер О. 1993. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 1. Гештальт и действительность. М.: Мысль. 669 с.

Штаден Г. 2005. О Москве Ивана Грозного // Источники истории. Рязань: «Александрия». С. 451–499.

Шунков В. И. 1946. Очерки по истории колонизации Сибири в XVII — начале XVIII веков. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 228 с.

Щапов Я. Н. 1989. Церковь в Древней Руси // Русское православие: вехи истории. М.: Политиздат. С. 10–70.

Эммаусский А. В. 1949. Вятская земля в период образования Русского государства. Киров.

Эря-Эско А. 1986. Племена Финляндии // Славяне и скандинавы. М.: Прогресс. С. 169–174.

Юрченко А. Г. 2003. «Ты уже наш, татарин!». Даниил Галицкий у Батыя // Родина. № 11. С. 78–82.

Юрченко А. Г. 2006. Историческая география политического мифа. Образ Чингис-хана в мировой литературе XIII–XV вв. СПб.

Яковлев А. И. 1916. Засечная черта Московского государства в XVII в.: очерк из истории обороны южной окраины Московского государства. М.: Тип. И. Лисснера и Д. Собко. 312 с.

Яковлев И. И. 1970. Корабли и верфи. Л.

Янин В. Л. 2004. Средневековый Новгород: Очерки археологии и истории. М.: Наука. 416 с.

Abu-Lughod J. 1989. Before European Hegemony: The World System A.D. 1250–1350. New York: Oxford University Press.

Anderson A. R. 1932. Alexander's Gate, Gog and Magog, and the Inclosed Nations. Cambridge, Mass.

Bagrow L. 1975. History of the Cartography of Russia up to 1600. Wolfe Island, Ontario: Walker Press.

Barfield T. J. 1981. The Hsiung-nu imperial confederacy: organization and foreign policy // The Journal of Asian Studies. Vol. 41. No 1.

Barfield T. 1992. The Perilous Frontier: Nomadic Empires and China, 221 BC to AD 1757. Cambridge: Blackwell.
Barton S. 2009. A History of Spane. 2nd edn. Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan.
Bierce A. 1925. The Devil's Dictionary. New York: Boni.
Black J. 2011. A Brief History of Slavery. L.: Constable & Robinson Ltd. 322 p.
Borge F. J. 2003. Richard Hakluyt, promoter of the New World: the navigational origins of the English nation // SEDERI (Yearbook of the Spanish and Portuguese Society for English Renaissance Studies). 13. Pp. 1–9.
Burbank J., Cooper F. 2010. Empires in world history. Power and politics of difference. Princeton University Press. 511 p.
Chagnon N. A. 1968. Yanomamö Social Organization and Warfare // War: The Anthropology of Armed Conflicy and Agression. M. Fried, M. Harris and P. Murphy, eds. New York, Garden City: The Natural History Press. Pp. 109–159.
Chunjiang Fu, Choo Yen Foo, Yaw Hoong Siew. 2005. The great explorer Cheng Ho: ambassador of peace. Singapore: Asiapac, 153 p.
Clements F. E. E. 1928. Plant Succession and Indicators. N. Y.: Hafner Press. 452 p.
Colonization of Unfamiliar Landscapes: The Archaeology of Adaptation. Rockman Marcy, James Steele, eds. 2003. London: Routledge. 272 pp.
de Bary H. A. 1879. Die Erscheinung der Symbiose. Strassburg: Verlag von Karl J. Trubner.
D'Andrea A. 2006. Neo-Nomadism: A Theory of Post-Identitarian Mobility in the Global Age // Mobilities. Vol. 1, No 1. Pp. 95–119.
Desborough V. R. d' A. 1972. The Greek Dark Ages. L.: Benn.
Dietler M. 2005. The archaeology of colonization and the colonization of archaeology // The Archaeology of Colonial Encounters: Comparative Perspectives. G. J. Stein (ed.). Santa Fe: School of American Research Press. Pp. 33–68.
Dixon E. J. 1999. Bones, Boats, and Bison: Archeology and the First Colonization of Western North America. University of New Mexico Press.
di Castri F. 1990. On invading species and invaded ecosystems: The interplay of historical chance and biological necessity // Biological Invasions in Europe and the Mediterranean Basin. Eds. F. Di Castri, A. J. Hansen, M. Debussche. Dordrecht: Kluwer Academic Publisher. Pp. 3–16.
Dreyer E. L. 2007. Zheng He: China and the Oceans in the Early Ming Dynasty, 1405–1433. New York: Pearson Longman. 256 p.
Drinkwater J. F. 1998. The Usurpers Constantine III (407–411) and Jovinus (411–413) // Britannia, 29. Pp. 269–298.

Dunning Ch. S. L. A Letter to James I Concerning the English Plan for Military Intervention in Russia // The Slavonic and East European Review. L., 1989. Vol. 67. N 1. Pp. 94–108.

Egler F. E. 1954. Vegetation science concepts. I. Initial floristic composition-a factor in old-field vegetation development // Vegetatio. No 4. Pp. 412–417.

Encyclopedia Arctica, 1947–1951, T. 15. http://www.dartmouth.edu/~library/digital/collections/manuscripts/arctica/index.html.

Europaeus A. 1923. Muinaistutkimuksen tehtäviä Karjalassa. Kalevalaseuran Vuosikirja, 3. Helsinki.

Evans J. 2013. Merchant adventurers: The voyage of discovery that transformed Tudor England. London: Weidenfeld & Nicolson. 400 p.

Farrelly Th. S. 1944. A Lost Colony of Novgorod in Alaska // The Slavonic and East European Rewiew. American series. Vol. XXII, № 60. Oct. Pp. 33–38.

Ferro M. 1997. Colonization: A Global History. London: Routledge.

Finlay R. 1992. Portuguese and Chinese Maritime Imperialism: Camoes's Lusiads and Luo Maodeng's Voyage of the San Bao Eunuch // Comparative Studies in Society and History. Vol. 34. № 2. Pp. 225–241.

Fisher R. H. 1943. The Russian fur trade 1550–1700. Berkeley, Los Angeles: University of California Press. 267 p.

Forsyth J. 1992. A History of the Peoples of Siberia:Russia's North Asian Colony 1581–1990. Cambridge University Press.

Gardner R. 2006. The Impulse to Preserve: Reflections of a Filmmaker. New York: Other Press LLC. 372 p.

Geertz C. 1973. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books. A Division of Harper Collins Publishers. 470 p.

Goldenberg L. A. 2007. Russian cartography to ca. 1700 // The History of Cartography. Vol. 3. Ed. by d. Woodward. The History of Cartography. Chicago and London: University of Chicago Press. Pp. 1852–1903.

Goldschmidt W. 1989. Inducement to Military Participation in Tribal Societies // The Anthropology of War & Peace: Perspectives on the Nuclear Age. P. R. Turner, D. Pitt, eds. Massachusetts: Bergin & Garvey Publishers. Pp. 15–31.

Golovnev A., Osherenko G. 1999. Siberian Survival: The Nenets and Their Story. Ithaca, New York: Cornell University Press. 224 p.

Gravina B., Mellars P., Bronk Ramsay P. 2005. Radiocarbon Dating of Interstratified Neanderthal and Modern Human Occupations at the Chatelperronian Type Site // Nature. V. 438. Pp. 51–56.

Green R. E., Krause J., Briggs A. W. Maricic T., Stenzel U., Kircher M., Patterson N., Li H., Zhai W., Fritz M., Hansen N. F., Durand E. Y., Malaspinas A.-S., Jensen J. D., Marques-Bonet T., Alkan C., Prüfer K., Meyer M., Burbano H. A., Good J. M., Schultz R., Aximu-Petri A.,

Butthof A., Höber B., Höffner B., Siegemund M., Weihmann A., Nusbaum C., Lander E. S., Russ C., Novod N., Affourtit J., Egholm M., Verna C., Rudan P., Brajkovic D., Kucan ., Gu ic I., Doronichev V. B., Golovanova L. V., Lalueza-Fox C., Rasilla M. de la, Fortea J., Rosas A., Schmitz R. W., Johnson Ph. L. F., Eichler E. E., Falush D., Birney E., Mullikin J. C., Slatkin M., Nielsen R., Kelso J., Lachmann M., Reich D., Pääbo S. 2010. A Draft Sequence of the Neandertal Genome // Science. Vol. 328. No. 5979. Pp. 710–722.

Guthrie R. D. 1990. Frozen Fauna of the Mammouth Steppe: The Story of Blue Babe. Chicago: Chicago Univ. Press. 338 p.

Gwynn A. 1918. The Character of Greek Colonization // Journal of Hellenic Studies. 91. Pp. 88–123.

Hackman A. 1905. Die ältere Eisenzeit in Finland, I. Helsingfors.

Hakluyt R. 1903. The Principal Navigations, Voyages, Traffiques and Discoveries of the English Nation. I–II. Cambridge University Press.

Hofstra T., Samplonius K. 1995. Viking Expansion Northwards: Mediaeval Sources // Arctic. Vol. 48 (3). Pp. 235–247.

Halliday W. R. 1928. A Commentary // The Greek Questions of Plutarch. Oxford: Clarendon Press.

Hollander L. M. 1964. Snorri Sturluson. Heimskringla. (Translation, Introduction, and Notes). Austin.

Huxley G. L. 1966. The Early Ionians. London.

Kapuscinski R. 2007. Travels with Herodotus. New York: Knopf. 288 p. [Originally published in Poland as Podroze z Herodotem. Krakow: Znak, 2004]

Kelsey H. 2003. Sir John Hawkins. Qeen Elizabeth's Slave Trader. New Have and London, Yale Univ. Press. 402 p.

Keynes J. M. 1930. A Treatise on Money. L.

Kirsten E. 1956. Die griechische Polis als historischesgeographisches Problem des Mittelmeerraumes. Bonn.

Krause J., Orlando L., Serre D., Viola B., Prüfer K., Richards M. P., Hublin J.-J., Hänni C., Derevianko A. P., Pääbo S. 2007. Neanderthals in Central Asia and Siberia // Nature. Vol. 449. Pp. 902–904.

Krause J., Fu Q., Good J. M., Viola B., Shunkov M. V., Derevianko A P., Pääbo S. 2010. The Complete Mitochondrial DNA Genome of an Unknown Hominin from Southern Siberia // Nature. Vol. 464. Pp. 894–897.

Lane P., Johnson D. 2009. The Archaeology and History of Slavery in South Sudan in the Nineteenth Century // The Frontier of the Ottoman World. Peacock A. C. S., ed. Proceedings of the British Academy. Vol. 156. L.: Oxford Univ. Press. Pp. 509–537.

Lantseff G. V., Pierce R. A. 1973. Eastward to Empire: Exploration and conquest on the Russian open frontier, to 1750. L., Montreal: MC Gill-

Queen's press. 226 p.
Lattimore O. 1940. Inner Asian Frontier of China. New York, London. Oxford University Press.
Leiken R. S. 2012. Europe's Angry Muslims: The Revolt of the Second Generation. Oxford University Press. 354 p.
Lieberman D. E. 2009. Palaeoanthropology Homo floresiensis from Head to Toe // Nature. Vol. 459. Pp. 41–42.
Lovejoy P. E. 1982. The Volume of the Atlantic Slave Trade: A Synthesis // Journal of African History, № 23(4). Pp. 473–501.
Marozzi J. 2008. The Man Who Invented History: Travels with Herodotus. London: John Murray. 400 p.
Mason A. E. W. 1941. The Life of Francis Drake. L.: Holder&Stoughton Ltd. 436 p.
Mayr E. 1999. Systematics and the Origin of Species, from the Viewpoint of a Zoologist. Cambridge: Harvard University Press. 334 p.
Mead M. 1968. Alternatives to War // War: The Anthropology of Armed Conflicy and Agression. M. Fried, M. Harris and P. Murphy, eds. New York, Garden City: The Natural History Press. Pp. 215–228.
Mellars P. A. 2006. A New Radiocarbon Revolution and the Dispersal of Modern Humans // Nature. Vol. 429. Pp. 931–935.
Metzenthin E. M. 1941. Die Länder- und Völkernamen im altisländischen Schrifttum. Pennsylvania.
Morwood M. J., Soejono R. P., Roberts R. G., Sutikna T., Turney C. S. M., Westaway K. E., Rink W. J., Zhao J.-X., Bergh G. D. van den, Rokus Awe Due, Hobbs D. R., Moore M. W., Bird M. I., Fifield L. K. 2004. Archaeology and age of a new hominin from Flores in eastern Indonesia // Nature. Vol. 431. Pp. 1087–1091.
Moses L., Halkovic S., Jr. 1985. Introduction to Mongolian History and Culture. Bloomington: Indiana University Press.
Mund S. 2008. The discovery of Moscovite Russia in Tudor England // Revue belge de philologie et d'histoire. Vol. 86. No 2. Pp. 351–373.
Myres J. 1953. Herodotus, Father of History. Oxford.
Nutall L. 1914. New Loght on Drake: A Collection of Documents Relating to His Voyage of Circumnavigation 1577–1580. L.
Obolensky D. 1950. Russia's Byzantine Heritage // Oxford Slavonic Papers. Ed. by S. Konovalov. Vol. 1. Oxford.
Oppenheimer F. 1914. The State: Its History and Development Viewed Sociologically. L.
Osterhammel J. 2005. Colonialism: A Theoretical Overview. Princeton: Markus Weiner Publishers.
Pagden A. 1995. Lords of All the World: Ideologies of Empire in Spain, Britain, and France, ca. 1500–ca. 1800. New Haven; London.

Pierce R. A. 1960. Russian Central Asia, 1867–1917: a Study in colonial rule. Berkeley; Los-Angeles: Univ. of California Press. 359 p.
Reich D. E., Goldstein D. B. 1998. Genetic Evidence for a Paleolithic Human Population Expansion in Africa // Proceedings of the Natural Academy of Science USA. Vol. 95. No 14. Pp. 8119–8123.
Relethford J. H., Jorde L. B. 1999. Genetic Evidence for the Larger African Population Size during Recent Human Evolution // American Journal of Physical Anthropology. Vol. 108. No 3. Pp. 251–260.
Richardson D. 1989. The Eighteen-Century British Slave Trade: Estimates of its Volume and Coasta Distribution in Africa // Research in Economic History. № 12. Pp. 151–196.
Ridgway D. 1973. The First Western Greeks: Campanian Coasts and Southern Etruria // Greeks, Celts and Romans. Christopher and Sonia Hawkes. London. Pp. 5–38.
Roebuck, Carl. 1959. Ionian Trade and Colonization. New York: Archaeological Institute of America.
Roland O., Atmore A. 2001. Medieval Africa, 1250–1800. Cambridge Univ. Press.
Schramm G. 1986. Sechs warägische Probleme. In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. B. 34, H. 3. Stuttgart. S. 363–373.
Service E. R. 1968. War and Our Contemporary Ancestors // War: The Anthropology of Armed Conflicy and Agression. M. Fried, M. Harris and P. Murphy, eds. New York, Garden City: The Natural History Press. Pp. 160–169.
Slezkine Yu. 1994. The USSR as a Communal Apartment, or How a Socialist State Promoted Ethnic Particularism // Slavic Review. Vol. 53. No 2. Summer. Pp. 412–452.
Slimak L., Svendsen J. I., Mangerud J., Plisson H., Heggen H. P., Brugere A., Pavlov P. 2011. Late Mousterian Persistence near the Arctic Circle // Science. № 332. Pp. 841–845.
Smith A. D. 1986. The Ethnic Origins of Nations. Oxford: Blackwell Publishing. 312 p.
Southcott C. 2010. History of Globalization in the Circumpolar World // Globalization and the Circumpolar North. Ed. by L. Heininen and C. Southcott. Fairbanks: University of Alaska Press. Pp. 23–55.
Stupperich R. 1935. Kiev, das zweite Jerusalem // Zeitschrift fur slavische Philologie, XII. S. 332–354.
Sumner B. H. 1947. Survey of Russian History. N. Y.; L.: Duckworth. 464 p.
The World Encompassed by Sir Francis Drake. 1854. London.
Thörnquist C. 1948. Studien über die nordischen Léhnwörter im Russischen. Uppsala; Stokholm.

Turner F. J. 1893. The Significance of the Frontier in American History. N. Y. Henry Holt & Co.

Vaughan R. 1982. The Arctic in the Middle Ages // Journal of Medieval History. № 8. Pp. 313–342.

Vilkuna K. 1966. Studien über alte finnische Gemeinschaftsformen. Finnisch-ugrische Forschungen. 36. Helsinki. S. 1–180.

Vogt J. 1979. Portuguese Rule on the Gold Coast, 1469–1682. Athens, GA.

Voisin J.-L. 2006. Speciation by Distance and Temporal Overlap: a New Approach to Understanding Neanderthal Evolution // Neanderthals Revisited: New Approaches and Perspectives. Harvati R., Harrison T., eds. Dordrecht: Springer. Pp. 299–314.

Wallace A. F. C. 1968. Psychological Preparations for War // War: The Anthropology of Armed Conflict and Aggression. M. Fried, M. Harris, P. Murphy, eds. New York, Garden City: The Natural History Press. Pp. 173–182.

Willan T. S. 1956. The Early History of the Russia Company. 1553–1603. Manchester University Press.

Williamson J. A. 1927. Sir John Hawkins: The Time and the Man. Oxford: Oxford University Press. 542 p.

Wilson J. B., Gitay H., Roxburgh S. H., King W. M., Tangney R. S. 1992. Egler's concept of 'Initial Floristic Composition' in succession — ecologists citing it don't agree what it means // Oikos, 64. Pp. 591–593.

Winter F. E. 1971. Greek Fortifications. London: Routledge.

Wycherley R. E. 1967. How the Greeks Built Cities. London.

Zeeberg J. 2005. Into the Ice Sea. Barents' wintering on Novaya Zemlya — A Renaissance voyage of discovery. Amsterdam: Rozenberg Publishers.

Список сокращений

ААЭ — Акты археографической экспедиции
БНЦ — Бурятский научный центр СО РАН
ВАУ — Вопросы археологии Урала
ВИ — Вопросы истории
ВЯ — Вопросы языкознания
ДАИ — Дополнения к актам историческим
ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения
ИВИ — Институт всеобщей истории РАН
ИГ — Институт географии РАН
ИИ АН РТ — Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан
ИИиА — Институт истории и археологии УрО РАН
ИИМК — Институт истории материальной культуры РАН
ИНИОН — Институт научной информации по общественным наукам РАН
ИрГУ — Иркутский государственный университет
ИРИ — Институт российской истории РАН
ИРЛИ — Институт русской литературы РАН
ИЭА — Институт этнологии и антропологии РАН
КамГУ — Камчатский государственный университет
КСИА — Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК — Краткие сообщения Института истории материальной культуры
МАЭ — Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР
НГУ — Новосибирский государственный университет
ОИФН — Отделение историко-филологических наук РАН
ПГПУ — Пермский государственный педагогический университет
ПГУ — Пермский государственный университет
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей
РАНИОН — Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук
РГО — Русское географическое общество
РОССПЭН — Российская политическая энциклопедия

СО РАН — Сибирское отделение Российской академии наук
ТГУ — Томский государственный университет
ТИЭ — Труды Института этнографии
УдНИИ — Удмуртский научно-исследовательский институт
УИВ — Уральский исторический вестник
УРАО — Университет Российской академии образования
УрГУ — Уральский государственный университет
УрО РАН — Уральское отделение Российской академии наук
ЭО — Этнографическое обозрение

Алфавитный указатель

А

Аблегирим (князь Пелымский) — 462, 468, 469, 477, 481, 491, 492–495, 512
Абу-л-Хайр-хан — 444, 448, 449, 451, 495, 513
Австралия — 9, 22, 34, 160, 405, 538
Азия — 19, 21–23, 26, 28, 30, 33–34, 36, 40, 43, 44, 53, 54, 58, 62, 68, 69, 114, 126, 163, 233, 279, 283, 316, 329, 343, 386, 389, 428, 438, 447, 448, 488, 489, 531, 533, 538
Александр Македонский — 95, 102, 157, 208
Александр Невский — 199, 203, 235, 256, 257, 259, 281, 298
Англия — 22, 23, 117, 129–141, 144, 145, 147–150, 156, 158–160, 162, 190, 273, 380–383, 386, 388–392, 416, 417, 538
Анфал Никитин — 222, 373, 392
Астраханское ханство — 333, 456, 513
Афины — 44, 51–53, 60–62, 70, 118
Африка — 19, 21–23, 28, 30, 34, 81, 121, 123–127, 129, 141, 155, 156, 160, 163, 164, 212, 279, 329, 536–538
Алачевы (князья Коды) — 462, 517, 518
Алтай — 21, 25–27, 29, 30, 33, 36, 101, 334, 522
Альпы — 29–31
Америка — 9, 13, 15, 16, 30, 81, 126, 141, 143, 144, 155, 158–161, 370, 382, 390, 489, 490, 527, 529–532, 537–540
Арктика — 9, 31, 37, 103, 169, 370, 376, 382, 389, 405, 406, 412, 426, 427, 520, 526
Атлантика — 29, 123, 127, 146, 149, 426, 489

Б

Балтика — 172, 176, 200, 357
Барбоша Богдан — 470, 472, 485, 486, 534
Барроу Стивен — 370, 376, 383–389, 397, 405

баскак — 258, 260, 270, 295, 298, 333, 437, 443, 451
Бату-хан (Батый) — 100, 241–244, 246–249, 312, 313
Бекетов Петр — 504, 518, 519
Бодончар — 29, 84, 92
Борецкая Марфа — 226, 392, 424
Британия (Британская империя) — 119, 128–131, 133–137, 145, 149, 150, 155, 156, 158, 160, 171, 538
Бродники — 167, 236, 240, 331, 334, 338
Брюнель Оливер — 402–404
Булгар (Булгария) — 93, 181, 185, 211, 217, 218, 265, 269, 429, 443, 444, 451, 452
Бухара — 152, 394, 444, 447, 459
Бьярмия — 182, 183, 185, 191, 211, 216, 371, 376, 377, 427

В

Вашку (Васко) да Гама — 122, 126, 159, 161, 380
вече — 169, 186, 189, 192–199, 202, 226, 228, 237
Византия — 215, 283, 285, 286, 288, 289, 291, 296, 301, 302, 304–309, 316, 317, 323, 324, 537
Вильгельм (Завоеватель) — 95, 132, 190
Владимир Святославич — 95, 184, 189, 190, 234, 256

Г

Галикарнасс — 39, 40, 50, 73
Гекатей — 38, 45, 46, 51, 57
Генрих VIII — 139, 140, 325, 379, 381
Геродот — 38, 39, 40–46, 49, 50, 52–56, 59, 62, 65–67, 69–73, 76, 118, 220
Годунов Борис — 274, 275, 317, 319, 330, 354, 357, 358, 365, 398, 490, 495, 497, 498, 500, 510, 517, 534
Голландия — 140, 141, 159, 162, 392, 405, 417
Гюрята Рогович — 186, 206–211, 392, 397, 409

Д

Даниил галицкий — 238, 241, 244, 248, 249, 251–253, 259, 294, 336
Дания — 134, 378, 392, 404, 419
даруга — 269, 443, 451–453, 457
Двинская земля — 183, 205, 217, 220, 221, 223–225, 228, 372, 373, 375
Дженкинсон Этнони — 386, 389, 390
Дежнев Семен — 426, 507, 516
Дельфы — 69–75, 204
Дешт-и Кыпчак — 93, 236, 334
Джучи-хан — 244, 249, 277, 291, 312
Дмитрий Донской — 225, 263, 266–268, 274, 281, 302, 305, 307, 392, 427
Дрейк Фрэнсис — 9, 141–150, 158, 486, 487

Е

Евразия — 13, 21–23, 28–31, 33, 35, 36, 81, 84, 99, 104, 111, 114, 141, 152, 168, 169, 230, 233, 329, 369, 426, 428, 429, 457, 532, 533, 536, 537
Европа — 7, 16, 19, 21–25, 30, 33–36, 43, 50, 53, 98, 99, 120, 123, 124, 126–129, 133, 139, 149, 155, 158, 159, 163, 168–170, 176, 180, 181, 191, 216, 220, 233, 242, 243, 246, 248, 251–253, 276, 279, 281, 283, 285, 290, 308, 315, 316, 337, 343, 366, 367, 376, 377, 379–382, 391, 394, 403, 405, 414, 419, 426, 428, 442, 488, 529, 536, 540
Египет — 41, 43, 52, 61, 62, 64, 66, 68, 69, 76, 152, 155, 156, 160, 212, 236, 241, 285, 538
Елизавета английская — 140–142, 145, 147, 149, 158, 187, 390
Ермак — 398, 404, 442, 459, 460, 469–471, 473, 475–487, 490, 510, 512, 514–516, 534

И

Ибак-хан — 272, 444–448, 458

Иван Калита — 203, 225, 262, 263, 275, 277, 300, 301, 373, 427, 431, 437–438, 441
Иван III — 198, 203, 225–229, 271, 272, 281, 305, 309–314, 325, 333, 339, 348, 353, 373, 375, 408, 427, 439–442, 445, 452, 453
Иван IV — 95, 198, 230, 232, 272–275, 280, 308,316, 319, 320, 333, 337, 346, 353, 355, 357, 370, 375, 382, 389–395, 407, 408, 411, 413, 415, 424, 427, 454, 456, 457, 463, 466, 470, 471, 474–476, 484, 487, 533, 534
Иберия — 24, 55, 56, 66, 117, 120, 121, 124
Индия — 21, 39, 41, 95, 100, 125–128, 142, 143, 156, 160, 161, 164, 379–382, 389, 390, 403, 416, 419
Искер (Кашлык) — 460, 462, 471, 476, 479, 483
Исмаил-бий ногайский — 451, 455–458, 474, 513, 534
Испания — 126, 128, 142, 149, 380
Италия — 38, 46, 56, 57, 61, 66, 69, 129, 162, 217, 307, 321, 380

К

Кабот Себастьян — 380, 381, 383, 386, 389
Кавказ — 21, 29, 30, 31, 36, 95, 118, 233, 236, 240, 265, 334, 338, 447
Казаки — 167, 223, 236, 240, 312,330–335, 337–347, 349–355, 358–360, 362–370, 375, 420, 426, 448, 449, 452, 454, 456, 465, 466, 468–488, 492–495, 497–507, 509–512, 514, 516, 521, 525, 533, 534, 540
Казанское ханство — 270, 451–454, 513
Каракорум — 99, 11, 112, 243, 27, 252, 291
Касим царевич — 270
Касимов — 270–273, 333, 350, 362, 447, 449, 454

Киев — 234, 235, 237, 238, 242, 246, 248, 274, 283–286, 294, 297–299, 301, 303, 304, 307, 309, 312, 316, 329–332
Китай — 22, 98, 114, 164, 379–382, 386, 389, 402–404, 537
Кнут Великий — 132, 135
Кода (Кодское княжество) — 436, 437, 440, 463, 481, 517, 518
Колумб Христофор — 126, 127, 148, 163, 164, 370, 380, 416
Кольцо Иван — 470, 472, 485, 502
Константинополь (Царьград) — 117, 171, 187, 279, 284–289, 294, 296, 299, 302–307, 309, 315, 317–319, 322, 343, 366
Котян (хан) — 100, 237, 241, 255
Крит — 53, 58, 68, 70, 73, 124
Крым — 279, 344, 348, 366, 452
Крымское ханство — 83, 270, 342, 450
Кучум-хан — 458, 459, 462, 473, 475–487, 495, 496, 512, 514, 516, 521, 522, 534

Л

Ладога Старая — 171, 172, 174, 177, 178, 186, 190, 201, 202
Левант — 13, 21, 23, 25, 34, 98, 105, 114
Литва — 226, 229, 246, 251, 263, 267, 269, 272, 274, 279, 290, 301, 303, 316, 319, 336–339, 344, 346, 394, 447, 453, 484
Лошак — 383–389, 397, 405

М

Мавераннахр — 95, 334, 448, 462
Мамай — 91, 266–268, 274, 452
Мангазея — 406, 407, 409–411, 417–419, 488, 496, 498–501, 504, 505, 515, 518, 524, 525
Менгли-Гирей — 82, 272, 309, 333, 339, 348, 446, 453
Милет — 44, 45, 51, 52, 57–61, 67, 68, 74, 118

Михаил черниговский — 244–248, 250, 251, 312
Мишинич Лука — 373, 392, 397
Монголия — 21, 98, 113, 114, 237, 243
Москва — 117, 118, 191, 193, 218, 222–230, 259–264, 267–275, 279, 280, 286, 287, 293, 298–307, 309–311, 313–315, 317–325, 329, 336, 338, 339, 341, 343, 345, 346, 348–350, 352, 354, 358–364, 367, 370, 375–377, 379, 380, 382, 389–394, 399–402, 411–419, 427, 429, 430–432, 435, 437–442, 446, 451–458, 463–470, 472, 474, 475, 477, 483–488, 491–494, 495, 498, 500–503, 505, 506, 512, 517, 521, 524, 536, 537
Московия — 121, 230, 231, 263, 268–276, 279, 280, 305, 310, 317, 321, 334, 338, 339, 348, 350, 352–368, 370, 377, 378, 380, 381, 383, 386, 388–398, 401, 413, 415, 416, 431, 440, 444, 452, 466, 475
Московское княжество — 220, 263, 270, 272, 302, 311, 333, 443
Московское царство — 273, 274, 281, 324, 330, 341, 342, 356, 363, 366, 367, 451, 475, 490, 494, 526
Мстислав Удатный (Удалой) — 193, 194, 196, 237, 238, 246, 256
Мункэ-хан — 97, 98, 106, 110, 244

Н

Навкратис — 52, 62, 66, 68
Новгород Великий — 174,177, 182, 185, 186, 189–191, 193, 197–205, 211–214, 217, 219–221, 224–229, 246, 252, 253–255, 258, 272, 294, 300, 370, 372, 373, 375, 376, 427, 438, 442
Ногайская орда — 88, 268, 272, 342, 350, 353, 449–451, 455, 456, 458, 470, 513

О

Одиссей — 46–50, 58, 63, 64
Ойкист — 52–54, 63, 66, 69, 73–75, 77
Ольвия — 52, 66, 67

П

Пам сотник — 428, 429, 431, 432, 434, 436, 442
Пацифика — 29, 505
Пермь — 183, 216, 218, 431, 437, 438, 467, 470, 471, 491, 516
Персия — 39, 44, 71, 95, 117, 156, 265, 342, 389, 537
Пифия — 71–74
Плимут — 141, 145, 147, 148, 158
Поле (Дикое поле) — 236, 330–334, 337–340, 342–345, 347, 348, 351–354, 360, 367, 420, 468, 475, 496
Полунощные страны — 205–207, 209, 212, 214, 217, 406, 441
Польша (Речь Посполитая) — 162, 226, 245, 249, 251, 279, 316, 321, 336, 338, 341, 343, 345, 346, 348, 354, 358, 360, 365–367, 417
Поморы — 206, 213, 230, 242, 370–376, 383, 384, 385, 387–389, 392–394, 401, 405–412, 414, 415, 417, 419–427, 498, 500
Понт — 33, 51, 57, 58, 65, 66, 168, 170, 171, 174, 181, 233, 234, 237, 238, 253, 282, 283, 285, 287, 330, 343
Португалия — 120–128, 138, 141, 146, 156, 158–160, 163, 164, 282, 367, 379–382
Причерноморье — 33, 52, 54, 66, 67, 171, 233, 283, 285, 447, 475
Псков — 192, 193, 196, 199, 201, 202, 205, 216, 225, 228, 229, 230, 252–254, 262, 290, 300, 314, 315, 362, 370, 390

Р

Рим (Римская империя) — 77, 102, 117–121, 127, 128–130, 133, 134, 136–139, 154, 157, 162, 170, 283, 286, 287, 308, 314–317, 323,

350, 380, 489, 536, 537, 539, 540
Россия — 7, 15, 36, 103, 119, 162, 167–170, 230, 269, 276, 281, 282, 286, 293, 316, 318, 320, 322–326, 329, 338, 340, 341, 345, 347, 348, 356, 358, 362, 364–367, 376, 381, 383, 387, 389–391, 393, 401, 404, 405, 407, 413, 414, 416, 417, 419, 420, 426, 442, 446, 454, 457, 464, 468, 475, 476, 486, 487, 489, 490, 500, 503, 513, 522, 523, 525, 526, 529, 530, 532, 533, 534, 537–539
Рюрик — 169, 171, 173, 174, 183–185, 190, 225, 316
Рюриковичи — 186, 230, 252, 316, 353, 365, 374, 377, 437
Русский Север — 213–214, 216, 217, 365, 366, 371–372, 374, 375, 378, 388, 392, 395, 406–408, 411, 415–417, 420, 424, 426, 487, 507, 519, 523
Русь — 80, 91, 96, 100, 111, 167–169, 171–174, 176–187, 190–194, 201, 204, 218, 222, 227, 233–238, 241, 242, 244–248, 250–263, 265–274, 276–281, 283–304, 306–309, 311–314, 316–319, 321–326, 329–333, 335, 337, 339, 342, 347, 353, 357, 358, 370, 373, 389, 415, 418, 425, 429, 437, 447, 451, 452, 455, 462, 463, 470, 476, 485, 487, 488, 500, 512, 513, 538

С

Сагриш — 123, 126, 127, 146
Сан-Доминго — 156, 157, 538
Сарай (Сарайская епархия) — 222, 223, 248, 252, 253, 258, 261, 294–299,
Сарайчик — 460, 474, 485,
Сахара — 34, 103, 125, 160
Сеута — 120, 121, 123, 124, 164
Сибирь — 21, 36, 162, 167, 230, 267, 342, 352, 353, 357, 368,

370, 392, 394, 396, 398, 403, 406, 407, 409–411, 415, 418, 419, 423, 426, 437, 440, 442–445, 451, 457–461, 463, 465–467, 469–490, 494–503, 505, 506, 510–518, 520–522, 525, 526, 528–535, 538, 540
Сидон — 64, 65
симбиоз — 16–18, 20, 24, 27, 28, 32, 37, 65, 68, 78, 83, 87, 91, 101, 106, 116, 135, 177, 178, 182, 215, 422, 476, 535, 538, 539
Синопа — 51, 54, 343, 345, 536
Скандинавия — 103, 110, 132, 162, 169–179, 181–184, 186–188, 190, 191–193, 216, 217, 234, 369–372, 376–378, 420, 423, 426
Скифия — 41, 57, 67, 68, 72, 77, 220, 233, 235, 283
Спарта (Лакедемон) — 42–44, 50, 53, 54, 56–58, 60, 62, 68–73, 84, 153, 154, 538
Средиземноморье — 33, 43, 52, 65, 83, 98, 118, 123, 125, 130, 146, 149, 153, 169, 180, 186, 381
Стефан Пермский — 304, 429–440, 487, 515
Строгановы — 222, 253, 392–400, 402–405, 408, 417, 462–474, 476–479, 484, 487, 508, 515, 534
Субэдэй — 236, 239, 240, 243
сукцессия — 14, 15, 17, 18, 20, 28, 35, 116, 160, 178, 476, 538

Т

Таньшихуай — 95, 104, 110, 113
Теополитика — 165, 283, 285, 289, 284, 301, 325, 540
Тимур (Тамерлан) — 88, 95, 104, 114, 267, 268, 293, 306, 447, 449
тинг — 192, 195, 200
Тохтамыш-хан — 89, 225, 267–270, 280, 306, 447, 452
Траханиотов Никита — 491, 492, 496, 517, 534
Тюркский каганат — 82, 91, 102, 111, 232, 429

У

Угэдэй-хан — 98, 99, 103, 112, 242, 243
Украина — 295, 332, 333, 334, 336, 338–341, 343, 344, 346, 367, 369
украйна (окраина) — 223, 271, 329, 330, 333–339, 342, 344, 345, 350–353, 358, 361, 365, 366, 429, 442, 466, 467, 469, 474, 475, 486, 488, 501, 510, 511, 517, 529, 532, 533, 536, 539, 540
Улу-Мухаммед — 269, 270, 280, 452, 453, 459
Урал — 33, 35, 36, 114, 180, 200, 209, 216, 218, 230, 337, 353, 354, 392, 403, 407, 409–411, 416, 423, 428–431, 435, 436, 438, 439, 441–444, 447, 449, 450, 458, 462–465, 467–470, 472, 473, 476–479, 484–490, 496, 500, 511, 514–516, 525, 534
ушкуйники — 191, 219, 220, 222, 223, 373, 420

Ф

Федот Алексеев — 426, 507, 511
Филипп II — 127, 128, 140, 142, 145, 147, 149, 391
Финикия — 50, 53, 58, 59, 64, 65, 77, 538
Франция — 25, 133, 134, 137, 139, 141, 149, 159, 162
фронтир (frontier) — 529–533, 539

Х

Хабаров Ерофей — 499, 507–511, 516
Хазария — 93, 103, 104, 173, 183, 234, 235, 277, 283, 329, 330, 332
Халха — 96, 111, 243
Холмогоры — 183, 224, 372, 373, 375, 376, 382, 384, 386, 390, 393, 401, 402, 407, 408, 413, 415, 416, 425, 426
Хорезм — 93, 100, 111, 114, 152, 237, 265, 266, 289, 444
Хоукинс Джон — 141–143
Хубилай-хан — 96, 107, 113

Хунну — 79, 102–104, 109, 118, 233, 428

Ц

ценоз — 14–16, 18, 32

Ч

Ченслер Ричард — 376, 381–383, 386, 388, 389, 395
Чингис-хан (Темучжин) — 29, 79, 88, 92–95, 98–100, 102–104, 111–113, 152, 157, 237, 238, 245, 247, 250, 274, 297, 444–446
Чингисиды — 94, 95, 99, 243, 244, 249, 250, 252, 270–272, 274, 297, 445–447, 449, 459, 487
черкасы — 334, 338, 340, 341, 344, 345, 352, 354, 366, 367, 447, 498, 504, 505, 511, 514, 519

Ш

Шибаниды — 243, 244, 257, 258
шляхи (сакмы) — 259, 260, 339, 347–351, 354, 367
Штаден Генрих — 370, 402, 406, 413–416

Э

Эллада — 41, 43, 46, 56, 61, 64, 69, 70, 204, 283, 537
эконишa — 13, 18, 20, 21, 30, 87, 539
Энрике (Генрих Мореплаватель) — 120–127, 146, 163, 282, 380

Я

Ямайка — 151, 156, 405, 538
Ярослав владимирский — 194, 235, 244, 246–248, 250–252, 260
Ярослав Мудрый — 181, 184, 187, 189, 190, 199, 209, 234, 236, 286, 287

H

Homo erectus — 13, 21, 28, 29
Homo neanderthalensis (неандертальцы) — 21–28, 34–36
Homo sapiens — 14, 20–28, 34–37

Andrei V. Golovnev

Phenomenon of Colonization

Summary

The book proceeds author's Anthropology of Movement, and its main protagonist, Homo mobilis (man mobile), is now featuring as a mover of colonization through various spaces and epochs from the initial peopling of planet to the mediaeval expansions of Europeans, Mongols, and Russians. The colonization as universal trait of living matter is far older than humankind and, in contrast to ideologically tinted "colonialism," appears as regular mechanism of natural and cultural life. Book's three parts titled Classic Variations, Mainstreams of Rus, and Expanding Russia display general characteristics and diversity of colonization. The first part consists of four chapters namely Sapiens-Colonization, Lessons of Herodotus, Nomad's Repertoire, and Effect of Reconquista.

Chapter 1 Sapiens-Colonization reconstructs scenario of prehistoric migrations and interactions in sections Natural Background, Potential of Movement, Levant Bridge, Altaic Man, Spatial Power, and Effect of Contact. A man did not invent colonization rooted far beneath the human epoch back to the era of primordial bacteria and algae; instead, man has inherited this mechanism of movement from nature. Such biological categories as succession and symbiosis applicable to anthropological data help to reveal complex strategies of migration, adaptation, and communication occurred in Paleolithic time. This approach allows avoiding evaluation of early contacts as primarily deathly struggle for survival. "Diversity in vicinity" designated by recent discoveries of Homo sapiens, neanderthalensis, and altaiensis in Siberia (Altai) renews vision of earliest alliances and links among different sapienses. Interaction and cooperation of various groups, despite of dissimilarity between their modes of adaptation, was basic mechanism of Stone Age colonization.

Chapter 2 Lessons of Herodotus includes the sections Logographer, Odyssey as Circumstance, Oikos and Oecumene, Multi-Trickiness, and Oracles. Historically, the significance of colonization is highlighted by fact that "father of history" Herodotus personally has witnessed,

evidenced and practiced colonization in ancient Greece. In his records the activity on raising colonies appears as everyday life. Greeks have developed particular norms and rituals on colonization (e. g. obtaining and interpreting oracle on making new colony), ethical system of interrelation between mother and daughter poleis, as well as special knowledge on logography, geography, and ethnography: the vocation of Herodotus himself was in studying peoples, countries, conflicts, contacts between ours and others, as well as destines of colonies in different parts of Oecumene. According to polis-style of colonization a metropolis was creating network of daughter-poleis, which by their turn might become metropolises (thus, Athens, "mother of metropolises," had given a birth to the whole chain of poleis including Miletus, "mother of colonies").

Chapter 3 Nomad's Repertoire contains sections Mobility and Mobilization, Contrast and Symbiosis, Band and Herd, Exceptionality, Totality, Imperiality, Settled Caravan, Town and Horde. In compare with sedentary groups, nomads more frequently and longer experience a tonus of mobilization producing specific mentality and spatial technologies. Nomadic style of colonization envisages the coverage of vast space via migrations of nomads and (often) forced settlers. The algorithm of mastering generated by nomadic mentality was efficient tool for conquest. A nomad easily crosses any border and rotates his attitude from visitor to vanquisher. In adjacent areas the variants of symbiosis between nomads and settlers emerged, in which nomads took part as mobile force and "men of soil" as feeding culture. Migratory horde usually played a role of "mobile metropolis" subjugating and uniting settlers. However, a horde used to live not so long time (about age) until a defeat from more mobile and bellicose band. At the beginning of this cycle the nomad succeeds in colonization, but then the "man of soil" sustained in long-term survival advances in front of the stage.

Chapter 4 Effect of Reconquista holds the sections Migration of Metropolis, Infante Dom Henrique's Project, Britain as Colony, Law as Technology, Odyssey of Captain Drake, Essay on Mastery and Slavery, Colonial Fever. Earlier or later any conquest entails counter-conquest which may like snowball overgrow into extended conquest and empire-building. The case of Portugal ("European stepchild") shows tremendous take-off path from local county to world power. Portugal reconquista was a response to Arabian expansion, and the "Infante Dom

Henrique's Project" has shaped it into overseas colonization. Britain story gives a lesson of conversion of long-term colony (of Romans, Anglo-Saxons, Danes, Vikings, and Normans) into Mistress of the seas. Birth of British Empire was triggered by energy and successes of pirates, first of all Francis Drake; then the empire-building was largely enhanced with the boom of slavery industry, where English proponents of liberty have gained a championship. The idea of Christian exclusiveness and matched right to rule other peoples, as well the European skill in making law and shaping any activity under the status of law, has divided the world into colonizers and colonized. After Popes' bullas of 1481 and 1506 distributed spheres of influence between Spain and Portugal the colonization acquires a face of colonialism.

Part II Mainstreams of Rus consists of chapters Nordism, Hordism, Pontism, or Theopolitics. Chapter 5 Nordism contains the sections Inter-Seas, Alliance, Three Routes, From Varangian Gens, Ting Man, Novgorodian Space, Midnight Countries, Northern Colonists, and Decline of Nordism. The Scandinavian hearth of colonization had emerged in Neolithic time and reappeared distinctly in Viking Age. The Rus stems from Ladoga, a stronghold of Viking (Varangian) colonization in the East. On the eastern route the Nordic mainstream colonization was followed by Slavic local colonization resulted in stable agricultural settlements. Similar to Greek poleis, Nordic gards easily multiplied and some of them became metropolises. North-Russian, or Novgorodian, scheme of colonial activity provided a network of trade, dependence, and partnership. Novgorod cloned colonies in semblance of itself and was linked with them bilaterally: Novgorodians moved to colonies, and migrants from colonies arrived to Novgorod. In this colonial circuit Novgorod appeared as aggregated colony of Novgorodian Land, which by its turn looked like spread Novgorod.

Chapter 6 Hordism includes sections Ab Initio, Cuman Friendship, Destiny of "Iron Dog," Batu's Suspension, "Tatar Honor," Horden Rus, Call-Princes, Drama of Five Murders, Horde's Self-Destruction, Tatar Tsars of Muscovy, and Flutter. The borderland between wood and steppe served as trans-border with two-sided movement. Scenario of nomads settling in south frontier of Russia repeated from age to age (Cumans, Torks, Tatars). At the beginning of invasion Mongols did not occupied Rus, but subjugated it through regular raiding and "taming" aristocracy. Batu Khan's horde considered and used Rus as dependent area (ulus)

comfortable for hunting slaves (especially women) and getting other tribute. Early Horden colonization did not carry Tatars' settling within Rus; instead, it was distant exploitation of Rus and exportation of Russians. New capital of Horden Rus, Moscow, was growing up due to its political and geographical (via Batu's migratory routes) proximity to Horde. While the Horde weakened because of inner discord, the peripheral ulus steadily strengthened. In the mid of 15th century khans and sultans from different hordes started to move into Rus for military service. Tatar Prince Kasim's khanate emerged within Moscow Princedom has been turning-point of hordism story, when Tatars began to defend Rus from other Tatars. Kasimov Tatars have provided not only shield against Horde, but new level of international policy and diplomacy. Hence Moscow could speak and act in alliance with Kasimov Khanate (Tsardom) using this status for own representation. Russian-Tatar alliance played a key role in castling "metropolis–colony" between Horde and Moscow. Meanwhile the hordism turn from nomadic to bureaucratic and anchored in Russian political structure and Moscow style of "power" or "administrative" colonization.

Chapter 7 Pontism, or Theopolitics is split into sections South-Centrism, Path to Humility, Mission in Saray, Consecration and Damnation, Obscuration, Trajectory of Myth, and Byzantine Dreams. The notion "pontism" is derived from Pont (as Greeks called the Black Sea) and denominates the path of Christianity with its theopolitics (policy "from God") to Rus. It could seem unordinary to consider religious expansion as colonization. However, in Russian history it has been endowed with all necessary traits like direct rule of Constantinople over Russian eparchy (confessional colony), migrations of Greek clergy to Russia, regular tribute payment to Patriarchy. With unique exception of Ilarion, all church hierarchy in yearly Rus was from Greece or other southern countries. Christian church has established its Russian headquarters in Kiev, which famous title "mother of Russian towns" was tightly cohered to confessional mission; thus, Kiev could be more accurately called god-mother (or god-father) of Russian towns. The cliché "Kievan Rus" (never mentioned in chronicles) has been produced as effect of pontism in two senses: as doctrine of south-centrism and theopolitics of Christianity. The pontic mainstream was not only channel for foreign religion, but also a generator of new Russian-Christian mythology. The idea of Kiev (later Moscow) as New Jerusalem or second Constan-

tinople or third Rome came to Russia by this way. Exterior stand of Greeks-hierarchs allowed them to bless foreign (Mongol) power over Rus. Keeping monopoly on the idea of kingdom (tsardom) the church has sanctified the khan's supremacy, and Russians were obliged to prey for the sake of Tsar Batu (then other khans-tsars); soon additional (in fact central) eparchy has been founded in Horde's capital Saray. After Horde's decay Moscow clergy shifted back to refocusing on pontic (Byzantine) version of tsardom, thereafter the Florence union and fall of Constantinople lead to the religious autonomy. Marriage between Ivan the Third and Zoe Palaiologos has evoked a myth of Moscow as Third Rome. By this identification Moscow has changed its rank of religious dependency (or colony) into church "metropolis" confirmed in the end of 16th century by foundation of Moscow Patriarchy.

Part III Expanding Russia includes the chapters Fringe People, Northern Route, Uralic Rhapsody, and Dash to the East. Chapter 8 Fringe People is divided into sections Field, Tottering 'Ukraina', Cossack Occupations, Mobile Border, Tide of Troubles, and Return to the Fringe. In Russia the ukraina (fringe, periphery) often confronted with capital and sheltered "free-hunters" Cossacks. Early Cossacks originated from Tatars and kept ordism's values of warfare, booting and power of headman (ataman). The Cossacks personified a "mobile border" that maneuvered between Muscovite state, Polish-Lithuanian Commonwealth, Crimean Khanate, and Nogai Horde. In strategy of colonization Cossacks fulfilled a task of "ploughing" of outer borders. In the Field (Pole), where free and servant (sluzhilye) Cossacks came into contact, Russian military colonization moved south along Tatar routes (sakma) as part of an "expansion of defense" waged by Cossack bands, cordons, and fortresses. In the Time of Troubles in the early 17th century, the Cossacks turned their expansion back toward Moscow, and the "mobile border" struck the capital. By sponsoring and supporting false tsars, Cossacks both disrupted and compelled the Muscovite state from 1605 to 1611. They played a key role in Michael Romanov's election though a remarkable status reversal immediately occurred as a result: by swearing an oath to Romanov, the free Cossacks found themselves in the tsar's service.

Chapter 9 Northern Route presents sections Pomor Road, Maritime Dialogues, Skipper Burrough and Helmsman Loshak, Merchant-Adventurers, Anika Stroganov's Affair, "New Holland", Route to Man-

gazeya, Divine Road the Ocean-Sea, and Northern Identity. The destiny of northern Russian Pomors was somewhat similar to southern Cossacks since both were escapees from Moscow regime (especially after massacre of Novgorod by Ivan the Terrible), and many of Russian Northerners were "Novgorodians in run." Like Cossack in the South, Pomors in the North played pioneering role in colonization. Arctic sea route that has been explored by Scandinavians since ancient time, in 16th century becomes a field of rivalry due to colonial fever burst out in Europe. The projects of northern passage to India and China were put forward by Italians (P. Centurione, S. Caboto) and then by Englishmen (R. Torn, R. Chancellor et al.). Captains and diplomats of the "Moscovy Company" played a key role in implementation of English commercial-colonial project. The Dutch seamen were their main competitors. In Arctic the European "adventurers" followed the routes known to Russian Pomors, but in travelogues they preferred "rhetoric of discoveries," being convinced that "discovery" is a privilege of Europeans as far as other countries and peoples should be "discovered." On the Russian North the "Moscovy Company" met effective contestant, i.e. Stroganov House, which became the commercial-business center in colonization of Northern and Eastern fringes. Europeans' (H. Staden in 1578 and T. Chamberlain in 1612) projects on colonizing Russia or its peripheries remained unperformed, though the "western threat" turned into Michael Romanov's closed-door policy in the Arctic. Europeans, with exception of Norsemen, have not played mainstream role in Euroasian Arctic. But they have added tempo and drive to development of "the Cold (Studenoye) sea." In competition and cooperation with Scandinavians, Englishmen and Dutchmen, Russians have created original Pomor culture which included navigation, sea-hunting and fishing industry, international trade and long-range journeys. European colonial rush upon Russia ended with Russia's turn into metropolis, and this unexpected effect has invested Russia with a repute of country uncomfortable for Europe.

Chapter 10 Uralic Rhapsody contains sections Missionary Stefan and Sorcerer Pam, Moscow March, Horden Belt, From Kazan to Siberia, Mutative September-Year, and Cossacks Maneuvers. In mediaeval time the Urals was an ukraina of several countries including Moscow state, Nogai Horde, Kazakh Khanate and Siberian Khanate. Moscow fortresses built on Novgorodian routes differed from previous trade post

by their military-administrative functions. By their turn, Northerners persistently prevailed in Russian expansion to the East. Stroganov clan, initially of Novgorod origin, performed "trade-industrial colonization" similar in style with colonial practices of English and Dutch companies. Stroganov domain in the Urals was organized in Novgorodian tradition, but at the same time it functioned as Moscow frontier and eastern "ukraina" for free-people from Russian North and Wilde (Cossack) Field. However, Stroganov colony being a country of "free will" contrasted by its industrial background to the Field. Stroganovs have supported the Siberian expedition of ataman Ermak who temporally succeeded in setting Cossack free colony on Irtysh River. More durable was another Cossack colony at Southern Urals, which has been founded by ataman Barbosha (that colony was cradle of so called Yaik or Ural Cossacks). Metaphorically the colonization of Urals is reminiscent of polyphony (or rhapsody) with bunch of calling to one another voices of Stroganovs, Cossacks, Siberian and Kazakh khans, Nogai, Vogul and Ostiak princes, Komi-Zyryan merchants and Cheremis insurgents. In Ural colonization all three mainstreams unfolded: nordism in trade of Stroganovs and other Northerners, hordism in conquest strategies of khanates and tsardoms, and pontism in missionary activity of Stefan Permsky and his followers.

Chapter 11 Dash to the East includes sections Mandate for Prince Gorchakov: Instruction on Colonization, Voivodes and Fortresses, Walking and Serving, Companions, Rebellious Nomads, Frontier and Ukraina. Russian and foreign historians do not hide their wonder when discussing strikingly fast movement of Russians across the whole Siberia in 17th century. Moreover, the colonial rush was unrolled in time of Trouble seemingly unfit to any expansion since the Moscow state has been itself invaded by foreigners and barely balanced on the verge of cracking into colonies. It was not empire that undertook colonization, rather the colonization constructed empire. Boris Godunov has deservedly acquired a glory of prominent colonizer; his scrupulous instructions to voevodes involve step-by-step guidance and might be reckoned as "manual for colonization." Well organized "fortress (ostrog) colonization" in Godunov period was replaced with chaotic actions in the time of Troubles. Eastern Siberia behind the Yenisei River was turn into "Wilde East" with concurrent ventures and raids of various seekers for "no-man's lands." This rampancy has accelerated the Russian

dash to the East where northern traders, southern Cossacks and central voevodes raced against each other. The most uneasy for conquest and subjugation were nomads, both in steppe and tundra. Russian expansion stimulated the series of conflicts, growth of mobility and retreat of Samoyed reindeer-herders to remote areas. This caused so called "reindeer revolution" or, better to say, mobilization ended with spread of large-scale reindeer-herding. No less turbulent drama has happened in the other edge of the Arctic, on Chukotka, where "hundred years' war" between Russians and Chukchi occurred. Russian blitz from Urals to Pacific coast hardly could be possible without alliance with Tatars and Zyryans; some clans and elites among Ostiaks, Yakuts, Tungus, Buryats, Koryaks, Yukagirs and others also assisted Russian movement producing effect of symbiosis.

Some general observations could be also pointed:

- Human beings more than other living creatures succeeded in populating the whole globe and, at the same time, preserving biological unity;
- Making new settlement is just an episode within the strategy of movement based on mobility and power over space;
- Colonization is two-sided road, and colonies use to colonize somewhat their metropolises (through captives, elite, hired soldiers and workers); that provokes an effect of colonization-in-reverse;
- By crossing borders the colonization sets a vivid contact between peoples and cultures, which entails concurrent and sometimes productive dialogue;
- All countries experienced a destiny of colony and many of them witnessed a "migration of metropolises" as well as castling of colony and metropolis roles;
- Colonization often shapes the relations of hierarchy (mastery and subordination) between peoples in a form of empire, trade-industrial network and other variants of dependency, although colonists might represent both elite and lower classes (slaves, peasants, craftsmen, workers);
- There are two main types of colonization: local one (usage of eco-niche with its bio-resources) and mainstream one (coverage of vast space with its social resources); in their interaction

(alliance, symbiosis) the mainstream culture is functioning as moving, the local one as rooting;

- Mainstream colonization performs three styles: nomadic, power, and networking; the first provides the mobile control over dependent peoples and countries; the second establishes the military-administrative subordination (sometimes imperial regime); the third constructs the trade-industrial web of interrelations with components of partnership;
- Character of borderland reveals the stand of main country toward colonization: Roman limes and Chinese Wall guarded the empire; American frontier was the front of European offensive onto Natives; Russian ukraina simultaneously competed and cooperated with central power in spatial expansion;
- Colonization is maintained by mythology (oracles, myths on miraculous lands), theopolitics (religious revenge, ideas of chosen people and others for subjugation and conversion), ideology (doctrine of supremacy as a pivot of colonialism, neocolonialism, and postcolonialism), special knowledge (logography, cartography, geopolitics);

Colonization is of many faces: different personages ranging from roaming beggar to empire builder partake in it willingly or not; the motives and mechanisms of this spatial movement might be seen in the stream of everyday life (for example new leader “colonizes” the work area by force of her/his team; kids “colonize” available home and outdoor space even in games); these are references to universality, rather than to uncertainty, of the colonization phenomenon.

Научное издание

Андрей Владимирович Головнёв
чл.-корр. РАН, доктор исторических наук, профессор

ФЕНОМЕН КОЛОНИЗАЦИИ

Рекомендовано к изданию
Ученым советом
Института истории и археологии УрО РАН

Редактор: *И. В. Зырянова*

Верстка: *С. В. Лёзова*

Иллюстрации: *А. С. Рогова*

Подписано в печать 01.06.2015
Формат 60x90 1/16. Бумага ВХИ 80 гр./м²
Печать офсетная. Гарнитура Georgia. Усл. печ. л. 37. Уч.-изд. л. 33.
Тираж 600 экз. Заказ № 460

Оригинал-макет подготовлен в научно-редакционном отделе
Института истории и археологии УрО РАН
620026, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 16
e-mail: UI_vestnik@mail.ru

Отпечатано в соответствии с предоставленным оригинал-макетом
в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»
620990, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13
http://www.uralprint.ru, e-mail: sales@uralprint.ru

ISBN 978-5-7691-2424-2